



СТЕФАН
ЦВЕНГ

СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание
сочинений
в десяти
томах

STEFAN ZWEIG

Stefan Zweig

Собрание
сочинений
в десяти
томах

СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание
сочинений

Том 4

ТРИ МАСТЕРА
БАЛЬЗАК



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

ББК 84.4 А
Ц26

Внешнее оформление
И. САЙКО

Ц26 Цвейг С.
Собрание сочинений: В 10 т. Т. 4: Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский. Бальзак / Пер. с нем.— М.: ТЕРРА, 1996.— 624 с.

ISBN 5-300-00430-8 (т. 4)
ISBN 5-300-00427-8

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В четвертый том вошли три очерка о великих эпических прозаиках Бальзаке, Диккенсе, Достоевском под названием «Три мастера» и критико-биографическое исследование «Бальзаю».

Ц 4703010000–206
А30(03)–96 Подписное

ББК 84.4А

ISBN 5-300-00430-8 (т. 4)
ISBN 5-300-00427-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996



ТРИ
МАСТЕРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эти три очерка — о Бальзаке, Диккенсе и Достоевском — появились на протяжении десяти лет, однако не случайно соединены они в одной книге. Они проникнуты единым намерением в лице трех великих и — в моем понимании этого слова — единственных писателей-романистов девятнадцатого века показать типы, которые благодаря резкому своему несходству как бы дополняют друг друга, и внести, может быть, ясность в понятие об эпическом изобразителе мира, о романисте.

Называя здесь Бальзака, Диккенса и Достоевского единственными великими писателями-романистами девятнадцатого века, я отнюдь не хочу умалить таким предпочтением величие отдельных произведений Гёте, Готфрида Келлера, Стендаля, Флобера, Толстого, Виктора Гюго и других, чьи единичные романы нередко далеко превосходят отдельные произведения, в особенности Бальзака и Диккенса. Поэтому мне представляется необходимым в точности установить проводимое мною внутреннее непоколебимое различие между сочинителем романа и романистом. Писателем-романистом в последнем, высшем смысле является лишь энциклопедический гений, всеобъемлющий художник, который — здесь широкий размах произведения и обилие действующих лиц становятся аргументом — строит целый космос и противопостав-

ляет земному миру собственный мир с собственными типами, собственными законами тяготения и собственным звездным небом. У такого писателя всякое действующее лицо, всякое явление настолько пропитаны его сущностью, что не только для него становятся они типичными, но и для нас самих приобретают ту убедительную образность, которая часто побуждает нас присваивать их названия явлениям и лицам и в жизни про живых людей говорить: это — бальзаковская фигура, это — диккенсовский образ, это — тип Достоевского. Каждый из таких художников в обилии созданных им образов являет некое жизнеощущение, некий закон жизни, столь единый и цельный, что он становится новой формой мира.

К попытке изобразить этот глубоко затаенный закон, этот душевный склад во всей сокровенной его цельности и сводится сущность моей книги, ненаписанный подзаголовок которой мог бы гласить: Психология романиста.

У каждого из этих трех писателей-романистов есть своя собственная сфера. У Бальзака — мир общества, у Диккенса — мир семьи, у Достоевского — мир личности и вселенной. Из сравнения этих сфер обнаруживаются существующие между тремя авторами различия, но ни разу еще не было сделано попытки обратить истолкование этих различий в оценку или подчеркнуть — дружелюбно или неприязненно — национальные элементы художника. Всякий великий творец представляет собой известное единство, заключающее в себе свои пределы и свой вес в собственных единицах меры. Ибо на весах справедливости каждому произведению присущ только внутренний, удельный, а не абсолютный вес.

Все три очерка предполагают знакомство с обсуждаемыми произведениями и являются не введением к ним, а продуктом возгонки, конденсацией, экстрактом. Поэтому, в силу своей сжатости, они могут касаться лишь того, что лично ощущается как нечто существенное. Более всего смущает меня этот неизбежный недочет в статье о Достоевском, чья беспредельность, равняющая его с Гёте, едва ли может быть охвачена даже самой широкой формулой.

Охотно присоединил бы я к великим образам француза, англичанина и русского портрет соответствующего немецкого писателя-романиста, эпического изобразителя мира в том высоком смысле, какой я вкладываю в слово «романист». Но ни в современности, ни в прошлом я не нахожу никого, кто достиг бы этой высшей ступени. И, может быть, смысл этой книги в том, чтобы потребовать явления его в будущем и его, еще далекого, приветствовать.

Зальцбург, 1919

***Ромену Роллану
в благодарность за незабываемую дружбу
в светлые и темные годы***



БАЛЬЗАК

Бальзак родился в 1799 году в Турени, провинции изобилия, на веселой родине Рабле. В июне 1799 года — эта дата достойна повторения. Наполеон — смятенный его подвигами мир называл его еще Бонапарте — вернулся в этом году из Египта, не то победителем, не то беглецом. Он сражался под чуждыми созвездиями, перед каменными свидетелями — пирамидами, а затем, устав упорствовать в завершении грандиозно начатого дела, проскользнул на утлом суденышке между подстергавшими его корветами Нельсона, через несколько дней по приезде собрал вокруг себя горсточку приверженцев, дочиста вымел пытавшийся оказать сопротивление Конвент и одним взмахом овладел верховной властью во Франции.

1799 год, год рождения Бальзака, является началом Империи. Новое столетие не знает больше ни *le petit caporal*, ни корсиканского авантюриста, знает только Наполеона, императора французов. Еще десять—пятнадцать лет — как раз отроческие годы Бальзака — и властолюбивые руки захватывают пол-Европы, а тщеславные замыслы орлиными крылами простираются уже над всем миром от востока до запада. Для человека, который так интенсивно переживает все окружающее, как Бальзак, не может быть безразлично, что шестнадцать лет первого знакомства его с миром совпадают с шестнадцатью годами Империи, с самой, пожалуй, фантастической эпохой мировой истории. Ибо ранние переживания и призвание — разве не являются они, в сущности, лишь внут-

ренной и внешней поверхностью одного и того же? Что кто-то с какого-то острова в лазурном Средиземном море пришел в Париж, без друзей и без дела, незванный и непрошенный, грубо захватил там брошенные бразды власти, повернул ее вспять и обуздал, что кто-то, один на один, всем чужой, голыми руками завладел Парижем, затем Францией, а потом и всем миром, — эта причуда мировой истории поведена ему, современнику, не черными письменами, не в ряду других невероятных легенд и преданий: красочно, через все его жадно раскрытые чувства внедряется она в его личную жизнь, населяя тысячеликой, пестрой правдой воспоминаний еще не исхоженный мир его души. Пережитое таким образом событие неизбежно должно стать примером. Мальчик Бальзак грамоте обучался, может быть, по прокламациям, которые гордо, сурово, почти с римским пафосом повествовали о далеких победах; детским пальчиком, неловко водил он, вероятно, по карте, где Франция, словно разбушевавшаяся река, постепенно разливалась по всей Европе, следил за переходами наполеоновских солдат, сегодня через Мон-Сенис, завтра через Сиерру-Неваду, или через реки — в Германию, или по снегам — в Россию, или по морю — под Гибралтар, где англичане спалили их флот раскаленными пушечными ядрами.

Днем, может быть, играли с ним на улице солдаты, которым казаки исписали лицо своими шашками; по ночам он часто, должно быть, пробуждался от гневного грохота артиллерии, спешившей в Австрию, чтобы под Аустерлицем разбить ледяной покров под русской конницей. И все помыслы его юности должны были раствориться в одном волнующем имени, в одной мысли, в одном представлении: Наполеон! Перед большим садом, ведущим из Парижа в широкий мир, выросла триумфальная арка, на которой высечены были названия городов половины этого мира, и в какое же беспредельное разочарование должно было преобразиться чувство господства, когда чужеземные войска с музыкой и развевающимися знаменами прошли под этими горделивыми сводами!

То, что происходило снаружи, в потрясенном бурями мире, прорастало внутрь в качестве пережитого. Рано пришлось мальчику познакомиться с невероятной переоценкой ценностей, как духовных, так и материальных. Он видел, как ассигнации, на которых за печатью Республики значилось 100 и 1000 франков, носились по ветру, словно клочки простой бумаги. На золотых монетах, попадавших в его руки, красовался то жирный профиль обезглавленного короля, то символ свободы — якобинский колпак, то римское лицо консула, то Наполеон в императорском облачении. В эпоху столь чудовищных сдвигов, когда иссякали или переливались через край нравственность, деньги, родина, законы, чины, — словом, все, что веками заключено было в твердые границы, в эпоху столь невиданных перемен он должен был рано осознать относительность всех ценностей. Какой-то вихрь закрутил окружающий его мир, и когда смущенный взор искал точку опоры, символ, созвездие над этими вздыбившимися валами, то в приливе и отливе событий он останавливался неизменно на одном, на действующем, на том, от кого исходили эти тысячи потрясений и колебаний.

Да и самого его, Наполеона, он пережил. Он видел его едущим верхом на парад, окруженным чадами его воли: мамелюком Рустаном, Иосифом, которому он подарил Испанию, Мюратом, которому отдал в собственность Сицилию, предателем Бернадотом, всеми, для кого чеканил он короны и завоевывал королевства и кого вывел из нищеты их прошлое в сияние своего настоящего. В одну секунду на его сетчатой оболочке наглядно и живо отобразилась лучезарная картина, более величественная, чем все примеры истории: он увидел великого завоевателя мира. А разве для мальчика увидеть завоевателя мира не равносильно желанию стать таким же самому? В двух других местах отдыхали в ту пору еще два завоевателя мира: в Кенигсберге, где один из них свел всю запутанность вселенной в единую систему, и в Веймаре, где поэт владел этой вселенной — всей целиком — не менее прочно, чем Наполеон со своими армиями. Но для

Бальзака это было еще надолго не осязаемой далью. Стремление всегда желать лишь целого, а не частичного, жадно добиваться всей полноты жизни — это лихорадочное честолюбие порождено было в нем на первых порах лишь примером Наполеона.

Эта огромная мировая воля не сразу познает свой путь. Бальзак не останавливается сперва ни на какой профессии. Родись он на два года раньше, он восемнадцати лет поступил бы в ряды наполеоновских войск, штурмовал бы, может быть, высоты при Белл-Альянсе, где сметала все живое английская картечь. Но мировая история не любит повторений. За грозой наполеоновской эпохи следуют теплые, мягкие, дремотные дни лета. При Людовике XVIII сабля превращается в изящную шпагу, солдат — в царедворца, политик — в краснобаю; высшие государственные должности приобретаются уже не силой испытанного в делах кулака, уже не силой случая с его темным рогом изобилия, а женские мягкие ручки даруют отныне милости и благоволение; общественная жизнь мелеет, становится все скуднее, и кипящая пена событий разглаживается в тихую поверхность пруда. Мир уже не поддавался более завоеванию оружием. Наполеон, пример для единичных людей, для многих был пугалом. Итак, остается искусство. Бальзак начинает писать. Но не так, как другие, не затем, чтобы наскрести денег, позабавить публику, наполнить книжную полку, вызвать разговоры на бульварах; в литературе его прельщает не маршальский жезл, а императорская корона.

За работу он принимается в какой-то мансарде. Под чужим именем, как бы испытывая свои силы, пишет он свои первые романы. Это еще не война, а лишь военная игра, маневры, а не сражение. Недовольный успехом, неудовлетворенный достигнутым, он бросает свое ремесло, служит три-четыре года на другом поприще, работает писцом в нотариальной конторе, наблюдает, приглядывается, вкушает, проникает взором в сущность мира, а затем начинает снова. Но на сей раз устремив всю свою огромную волю на целое, с

гигантской, фанатической алчностью, пренебрегающей единичным явлением, феноменом, отрывочным, лишь бы охватить то, что вращается большими размашистыми кругами, лишь бы послушать, как работают таинственные зубчатые колеса первобытных инстинктов. Извлечь из кипящего котла событий чистые элементы, из сумбура цифр — сумму, из шума и грохота — гармонию и из полноты жизни — ее эссенцию, загнать весь мир в свою реторту, вновь воссоздать его «в ракурсе», в точном сокращении, чтобы одухотворить эту покоренную вселенную своим собственным дыханием и управлять ею своими собственными руками: вот какова теперь его цель! Из этого многообразия ничто не должно быть утеряно, и, чтобы свести беспредельное к какому-то пределу, недостижимое к чему-то доступному для человека, существует только одно средство, один процесс: процесс сжатия.

И вот вся его сила работает в том направлении, чтобы сжать явления, пропустить их сквозь такое сито, где остается все несущественное и просеиваются только чистые, ценные формы; а затем спрессовать эту россыпь единичных форм в тепле своих рук, свести их подавляющее многообразие в наглядную, стройную систему, подобно тому, как Линней уложил миллиарды растений в одну тесную классификацию, как химик сводит бесчисленные соединения к щепотке элементов. В этом теперь все его честолюбие. Он упрощает вселенную, чтобы затем властвовать над ней, и втискивает побежденный мир в грандиозное училище «Comédie humaine». Благодаря этому процессу дистилляции, его люди всегда оказываются типами, сводками черт, характерных для какого-то множества, очищенными неслыханной художественной волей от всего лишнего и несущественного. Эти прямолинейные страсти служат ударной силой, эти чистые типы — актерами, это декоративно упрощенное окружение — кулисами для «Comédie humaine».

Он концентрирует, вводя в литературу административную систему централизации. Подобно Наполеону, он обращает

Францию в окружность мира, а Париж — в его центр. И в этот круг, в самый Париж, он вписывает еще несколько кругов: дворянство, духовенство, рабочих, писателей, художников, ученых. Из пятидесяти аристократических салонов он делает один — салон герцогини де Кадиньян. Из сотни банкиров — барона де Нюсенжена, из всех ростовщиков — Гобсека, из всех врачей — Ораса Бьяншона. Он заставляет этих людей жить плотнее друг возле друга, чаще соприкасаться между собой, ожесточеннее бороться друг с другом. Там, где жизнь порождает тысячу разновидностей, у него их только одна. Он не знает смешанных типов. Его мир беднее действительности, но зато интенсивнее ее. Ибо люди его являются экстрактами, его страсти — чистыми элементами, его трагедии — конденсатами.

Подобно Наполеону, он начинает с завоевания Парижа. Затем он захватывает провинцию за провинцией — каждый департамент как бы шлет своего представителя в бальзаковский парламент — и, наконец, бросает свои войска, как победоносный консул Бонапарте, во все страны. Размах его широк: он посылает своих людей к фиордам Норвегии, на опаленные солнцем, песчаные равнины Испании, под огненно-красное небо Египта, к обледенелой переправе через Березину; куда угодно и еще того дальше простирается его воля, подобная воле великого его прообраза. И, как Наполеон, отдыхая между двумя походами, создал *Code civil*, так Бальзак, отдыхая от завоевания мира в «*Comédie humaine*», создает нравственный кодекс любви и брака, целый принципиальный трактат, и над всеобъемлющей линией крупных произведений выводит, улыбаясь, еще шаловливый завиток своих «*Contes drolatiques*».

Из глубин нищеты, из крестьянских лачуг он переносится в богатые особняки квартала Сен-Жермен, проникает в покои Наполеона, всюду уничтожая четвертую стену и вместе с нею все тайны закрытых помещений. Он в Бретани заодно с солдатами располагается на отдых в палатках, играет на бирже, заглядывает за кулисы театра, следит за работой уче-

ного... Нет на свете такого уголка, куда бы не проливал света его волшебный пламень. В его армии насчитывается две-три тысячи человек, и в самом деле, из земли он их выжал, из плоской своей ладони вырастил. Нагими явились они из небытия, и он рядит их в одежды, дарит им (а потом отнимает), как Наполеон своим маршалам, титулы и богатства, играет ими и натравливает их друг на друга. Неисчислимо многообразие событий, и огромен встающий за ними ландшафт. Подобно тому, как Наполеон — единственный в новейшей истории, так единственно в современной литературе это завоевание мира в «Comédie humaine», это «держание в руках» всей плотно стиснутой жизни. Еще отроком мечтал Бальзак завоевать мир, а ничто так не могущественно, как ранний замысел, претворившийся в действительность. Недаром же написал он под одним из портретов Наполеона: «Ce qu'il n'a pu achever par l'épée, je l'accomplirai par la plume»*.

И каков он, таковы и его герои. Все они жаждут завоевать мир. Какая-то центростремительная сила бросает их из провинции, из родных мест, в Париж. Там — их поле брани. Пятьдесят тысяч молодых людей, целая армия, стекаются туда — неиспытанная, девственная сила, смутная энергия, ищущая разрядки; и здесь, в тесноте, эти люди сталкиваются между собой, словно пушечные ядра, истребляют друг друга, взмывают ввысь, срываются в бездну. Никому заранее не уготовано место. Всякий должен сам завоевать себе ораторскую трибуну, перековать в надежное оружие твердый, как сталь, упругий металл, именуемый молодостью, и сгустить свою энергию до пределов взрывчатого вещества. Что такая борьба внутри цивилизации не менее ожесточенна, чем на полях сражений, это впервые доказано Бальзаком, и он гордится этим. «Мои буржуазные романы трагичнее ваших трагедий!» — бросает он романтикам. Ибо первое, что узнают эти молодые люди, герои бальзаковских книг, — это закон

* Что он не мог докончить мечом, то я совершу пером (фр.).

неумолимости. Им известно, что их слишком много и что они — это сравнение принадлежит Вотрену, любимцу Бальзака, — должны пожрать друг друга, как пауки в банке. Оружие, выкованное ими из своей молодости, они должны еще отравить жгучим ядом опыта. Прав только тот, кто всех переживает. Из всех тридцати двух родин ветра стекаются они, как санкюлоты «Великой армии», обдирают свои башмаки по дороге в Париж, придорожная пыль въедается им в одежду, а глотки спалены неутолимой жаждой наслаждений.

И вот, оглядевшись в новой, волшебной сфере элегантности, богатства и могущества, они чувствуют, что для завоевания этих дворцов, этих женщин, этой власти та малая кладь, которую принесли они с собой, никакой цены не имеет и что для использования своих способностей необходимо переплавить молодость в упорство, ум в хитрость, доверчивость в вероломство, красоту в порок, отвагу в изворотливость. Ибо герои Бальзака сугубо требовательны: им подавай все! Все они переживают одно и то же приключение: мимо них мчится кабриолет, колеса обдают их грязью, кучер размахивает бичом, а в экипаже сидит молодая женщина, и в волосах ее сверкают драгоценности. Быстро промелькнул брошенный ею взгляд. Она прекрасна и обольстительна; она — символ наслаждения. И у всех героев в это мгновение только одно желание: мне, мне эту женщину, этот экипаж, лакеев, богатство, Париж, весь мир!

Их развратил пример Наполеона, доказавшего, что могущество доступно и малейшему из малых. Они не домогаются, подобно провинциалам-отцам, виноградников, префектуры или наследства; нет, они борются уже за символы, за власть, за восхождение в тот лучезарный круг, где сияют, как солнце, бурбонские лилии, а деньги, словно вода, текут меж пальцев. И становятся они теми великими честолюбцами, которым Бальзак приписывает более крепкие мускулы, более неистовое красноречие, более действенные побуждения и хоть более быстротечную, но зато и более яркую жизнь, чем другим. Это — люди, чьи мечты претворяются в действие,

поэты, которые — как он говорит — в гуще жизни творят поэзию. К делу приступают они двояким способом: гению предназначен один путь, простому смертному — другой. Надо найти свой собственный способ добиться власти или изучить чужие способы, методы, усвоенные окружающим обществом. Надо разрывным снарядом смертоносно врезаться в толпу тех, кто отделяет тебя от цели, или же медленно их отравить, словно чумной заразой, — так советует анархист Вотрен, грандиозная, любимая Бальзаком фигура.

В Латинском квартале, где в тесной каморке начал свою деятельность и сам Бальзак, сходятся его герои, первобытные формы социальной жизни: Деппен, студент-медик, карьерист Растиньяк, философ Луи Ламбер, художник Бридо, журналист Рюампре — целый сонм молодых людей, представляющих собой неоформленные элементы, чистые, рудиментарные характеры. И тем не менее: вся жизнь, как она есть, группируется вокруг стола в легендарном пансионе Воке. А затем, влитые в великую реторту жизни, прокипяченные в огне страстей, охлажденные разочарованиями, застывшие, подвергнутые многократному воздействию природных сил, управляющих обществом, механическим трениям, магнитному притяжению, химическому разложению, молекулярному делению, — эти люди преобразовываются и теряют свою истинную сущность.

Страшная кислота, именуемая Парижем, одних растворяет, разъедает, выделяет и ведет к исчезновению, а других, наоборот, кристаллизует, заставляет затвердевать, окаменеть. В них происходят все процессы превращения, окрашивания и соединения, из различных элементов образуются новые комплексы, и десять лет спустя уцелевшие и приспособившиеся — знаменитый врач Деппен, министр Растиньяк, великий художник Бридо — приветствуют друг друга улыбками авгуров на высотах жизни, тогда как Луи Ламбер и Рюампре разможены маховым колесом. Недаром Бальзак любил химию и изучал труды Кювье и Лавуазье. Ибо в многообразном процессе реакций, приближений, отталкива-

ний и притяжений, выделений и расчленений, разложений и кристаллизаций, в атомном упрощении химических соединений яснее, чем где бы то ни было, отражалась, по мнению Бальзака, картина соединения социального. Что всякое множество воздействует на единицу не менее, чем единица, в свою очередь, определяет множество (это воззрение, которое он называл ламаркизмом, было впоследствии сформулировано Тэнном), что всякий индивид является продуктом климата, среды, обычаев, случая и вообще всего, с чем он по воле судьбы соприкасается, и что всякий индивид впитывает свою сущность из атмосферы, а затем, в свою очередь, излучает из себя новую атмосферу, — эта всеобъемлющая обусловленность внутреннего и внешнего мира была для него аксиомой. Высшая задача художника, казалось ему, — зарисовывать этот отпечаток органического на неорганическом, следы живого в отвлеченном, итоги наличных в данный момент духовных приобретений социального организма, продукты целых эпох. Все переливается одно в другое, все находится в движении, ни одна сила не свободна. Столь неограниченная вера в относительность явлений отвергала всякую цельность, даже в области характера.

У Бальзака людей всегда творят события: словно глину, лепит их рука судьбы. Всякое из имен его героев объемлет нечто изменчивое, а не единое. В двадцати книгах Бальзака проходит барон де Растиньяк, пэр Франции. Кажется, будто его уже знаешь, по уличным ли, по салонным или по газетным встречам, его, этого наглого выскочку, этот прототип грубого, безжалостного парижского карьериста, вьюном проскальзывающего сквозь все лазейки в законе и мастерски олицетворяющего мораль развращенного общества. А между тем есть книга, где тоже живет Растиньяк, молодой, бедный дворянин, отправленный родителями в Париж с большими надеждами и малыми деньгами, — мягкий, кроткий, скромный, сентиментальный характер. Эта книга повествует о том, как он попадает в пансион Воке, — в этот дьявольский котел, в один из тех гениальных ракурсов, где в четырех стенах,

оклеенных дешевенькими обоями, Бальзак умещает все при-
сущее жизни многообразие темпераментов и характеров, —
и здесь этот юноша видит трагедию неизвестного короля Лира,
старика Горио, видит, как мишурные принцессы Сен-Жер-
менского предместья нагло обкрадывают старого отца, видит
всю низость человеческого общества. И вот, когда он следует,
наконец, за гробом этого слишком доброго человека, один,
сопутствуемый только дворником и служанкой, когда в суро-
вый час с высот Пер-Лашеза видит у ног своих Париж, гряз-
но-желтый, мутный, как злой нарыв, — тогда познает он всю
премудрость жизни.

В это мгновение ему слышится голос каторжника Вотрена,
слышатся его поучения о том, что с людьми надо обращать-
ся как с почтовыми клячами, гнать их в три кнута, а затем
пусть подышают у самой цели: и в эту секунду он становится
бароном де Растиньяком остальных книг, наглым, неумоли-
мым карьеристом, пэрм Франции. Такую секунду на пере-
путье жизни переживают все герои Бальзака. Все они стано-
вятся солдатами в войне всех против всех; всякий мчится
вперед, и через труп одного прокладывают себе дорогу ост-
альные. И Бальзак показывает, что у всякого есть свой
Рубикон, свое Ватерлоо, что одни и те же схватки происходят
во дворцах, в хижинах и в тавернах и что под одеяниями
священников, врачей, солдат и адвокатов гнездятся одни и
те же побуждения. Это прекрасно знает его Вотрен, анархист,
играющий самые разнообразные роли, выступающий в кни-
гах Бальзака под десятком личин, но всегда один и тот же —
и сознательно один и тот же. Под нивелированной поверх-
ностью современной жизни продолжают подземные бои.
Ибо внешнему уравниванию противодействует внутреннее
честолюбие. Так как никому не припасено особого места,
как некогда королю, дворянству или духовенству, и так как
всякий имеет право на все места, то усилия удесятерятся.
На сокращение возможностей жизнь отвечает удвоением
энергии.

Именно эта убийственная и самоубийственная борьба

энергий — именно она-то и прельщает Бальзака. Его страсть — описывать целеустремленную энергию, как выражение сознательной воли к жизни, описывать ее не в ее действии, а в ее сущности. Добрая она или злая, способна ли она давать полезное действие или же расточается впустую, — это ему безразлично, была бы она только интенсивна. Интенсивность, воля — это все, потому что они принадлежат человеку; успех и слава — ничто, потому что их определяет случай. Мелкий воришка, трус, который тащит с прилавка и прячет в рукав небольшую булку, скучен; крупный вор, профессионал, который грабит не только ради выгоды, но и в угоду страсти, чье существование полностью определяется понятием рвачества, — грандиозен. Вымерять эффекты, события — задача исторической науки; вскрывать первопричины, напряжения — кажется Бальзаку задачей писателя. Ибо трагична только сила, не достигающая цели. Бальзак описывает *les héros oubliés**; для него в каждой эпохе существует не один только единичный Наполеон, не только тот, исторический, что завоевал с 1796 по 1815 год весь мир, — нет, их у него на примете четверо или пятеро. Один пал, может быть, под Маренго, и звали его Десексом; другой мог быть послан настоящим Наполеоном в Египет, подальше от великих событий; третий пережил, может статься, самую потрясающую трагедию: он был Наполеоном, но так и не добрался до поля битвы и, вместо того, чтобы прогреметь горным потоком, иссяк в какой-нибудь провинциальной трущобе, однако же энергии затратил он не меньше, хоть и на мелкие дела.

Выводит он также и женщин, которые своим самопожертвованием и красотой могли бы прославиться не хуже самых лучезарных королей, чьи имена звучали бы, как имена Помпадур или Дианы де Пуатье; говорит о поэтах, сраженных немилостью породившего их времени; слава прошла мимо их имен, и другому приходится наделять их этой славой. Он знает, что каждая секунда жизни бесплодно тратит огромные

* Забытых героев (фр.).

запасы энергии. Ему известно, что сентиментальная провинциалочка Евгения Гранде в то мгновение, когда она, трепеща перед скупым отцом, дарит своему кузену кошелек с деньгами, проявляет не меньше мужества, чем Жанна д'Арк, чьи мраморные статуи сверкают по всей Франции на городских площадях.

Успехи не могут ослепить биографа бесчисленных карьер, не могут ввести в заблуждение того, кто химически разложил всю косметику общественного обихода. Неподкупное око Бальзака, выискивающее повсюду только энергию, видит в толчее событий всегда только живое напряжение и в давке на Березине, где разгромленная наполеоновская армия переправляется по мосту, где отчаяние, подлость и геройство сотни раз описанных сцен сконцентрированы в одной секунде, — выхватывает настоящих, величайших героев: тех сорок никому не ведомых солдат-саперов, трое суток простоявших по грудь в нестерпимо холодной воде, среди плывущих льдин, чтобы навести зыбкий мост, по которому спаслось пол-армии. Он знает, что за парижскими занавешенными окнами ежесекундно разыгрываются трагедии, отнюдь не менее значительные, чем смерть Юлии, конец Валленштейна или отчаяние Лира, и не перестает повторять горделивые свои слова: «Мои буржуазные романы трагичнее ваших трагедий».

Ибо его романтика захватывает до глубины души. Его Вотрен в обывательской своей одежде потрясает не менее, чем увешанный бубенцами звонарь собора Парижской богоматери Квазимодо у Виктора Гюго, а угрюмые утесы душевных ландшафтов и дикие заросли страстей и алчности в груди его великих честолюбцев наводят не меньший ужас, чем страшная скалистая пещера в «Ган-Исландце».

Бальзак ищет грандиозного не в драпировках, не в исторических или экзотических перспективах, а в сверхмерном, в повышенной напряженности чувства, ставшего в замкнутости своей единственным. Он знает, что всякое чувство лишь тогда становится значительным, когда сила его остается несломленной, и каждый человек лишь тогда велик, когда он

сосредоточивается на одной цели, не разбрасывается, не расщепляется на отдельные желания, когда его страсть, вбирая в себя соки, питающие другие чувства, противоестественно укрепляется за счет ограбленных, подобно тому как с удвоенной мощью расцветает ветвь после удаления садовником лишних побегов.

Он описал таких мономанов страсти, которые все свое миропонимание сводят к одному-единственному символу, устанавливая один-единственный смысл в хитросплетении хорова жизни. Основной аксиомой его энергетики служит нечто вроде механики страстей: убеждение, что всякая жизнь сопряжена с расходом некоторой постоянной суммы сил, независимо от того, на какие иллюзии она расточает эти волевые импульсы, независимо от того, разменивает ли она их постепенно на тысячи возбуждений или расчетливо копит для внезапных сильных экстазов, истощается ли жизненный огонь в медленном горении или в ярких вспышках. Кто живет быстрее, — живет не менее продолжительно, кто живет по единому плану, — живет не менее многообразно.

Для произведения, где изображаются одни лишь типы, где растворяются чистые элементы, — только такие мономаны и нужны. Вялые люди не интересуют Бальзака, его занимают лишь такие, которые являются чем-то цельным, которые всеми нервами, всеми телесными силами, всеми помыслами цепляются за какую-нибудь иллюзию жизни, будь то любовь, искусство, скупость, самопожертвование, храбрость, косность, политика, дружба, — за какой угодно символ, но уж зато целиком. Эти *hommes à passion*, эти фанатики ими же созданной религии, не озираются по сторонам. Они говорят между собой на разных языках и не понимают друг друга. Предложите, например, коллекционеру женщину, прекраснейшую в мире, — он ее не заметит; или влюбленному блестящую карьеру — он ею пренебрежет; или скупому что-нибудь другое, кроме денег, — он даже глаз не подымет от своего сундука. Но стоит ему поддаться соблазну и бросить любимую страсть ради другой, и он погиб. Ибо мышцы, ко-

торами не пользуешься, разрушаются, сухожилия, которых годами не напрягал, костенеют, и тот, кто всю жизнь был виртуозом одной-единственной страсти и атлетом одного только чувства, оказывается во всякой иной области дилетантом и заморышем.

Всякое превратившееся в манию чувство порабощает остальные, отводит от них воду и ведет их к иссыханию; однако возбудительные их свойства оно поглощает. Все степени и перипетии любви, ревности и печали, усталости и экстаза отражаются, как в зеркале, у скупца в его любви к стяжательству, а у коллекционера — в страсти к коллекционированию, ибо всякое абсолютное совершенство соединяет в себе всю совокупность чувственных возможностей.

Сосредоточенная односторонность содержит в своих эмоциях все многообразие желаний пренебреженных. Тут-то и завязываются великие бальзаковские трагедии. Делец Ньюсенжен, наживший миллионы, наиумнейший из всех банкиров Империи, становится глупым ребенком в руках какой-то девки; поэта, ударившегося в журналистику, жизнь растирает в прах, как зерно под жерновом. Являя собою как бы некое видение мира, каждый символ ревнив, как Иегова, и не терпит подле себя иных страстей.

Из этих страстей ни одна не выше и не ниже; для них, так же как для картин природы или сновидения, нет табели о рангах. Не бывает страсти слишком ничтожной. «Почему бы не написать трагедии глупости? — говорит Бальзак. — Или стыдливости, или робости, или скуки?» Ведь и они являются побудительной, движущей силой, ведь и они бывают значительны, поскольку они достаточно напряжены; и даже самая убогая линия жизни таит в себе размах и силу красоты, если без изломов стремится прямо вперед или завершает определенный ей судьбою круговорот. Вырывать эти первобытные силы (или, вернее, эти тысячи Протеевых форм подлинной первобытной силы) из груди человеческой, накалять их давлением атмосферы, бичевать чувством, опьянять вином ненависти и любви, заставлять бесноваться во хмелю,

разбивать порой о придорожный камень случая, сжимать их и рвать на части, устанавливая связи, мостами соединять мечту с мечтой, скупца с коллекционером, честолюбца с эротоманом, без устали перестраивать параллелограмм сил, в каждой судьбе под гребнями и провалами волн вскрывать грозную пучину, швырять их снизу вверх и сверху вниз и при этом глядеть разгоревшимися глазами на эту пламенную игру, словно ростовщик Гобсек на бриллианты графини Ресто, то и дело кузнечными мехами раздувать готовый погаснуть огонь, помыкать людьми, как рабами, ни на миг не давать им покоя, таскать их, как Наполеон таскал своих солдат, по всем странам, — из Австрии обратно в Вандею, за море в Египет, а потом в Рим, через Бранденбургские ворота и назад к склонам Альгамбры, наконец, после побед и поражений, в Москву, растеряв по дороге добрую половину людей, растерзанных гранатами, погребенных под степными снегами, — словом, из всего мира нарезать каких-то фигурок, подмалевать пейзажную декорацию, а затем тревожными пальцами руководить ходом кукольной комедии — вот в чем заключалась мономания самого Бальзака.

Ибо он, Бальзак, был сам одним из тех великих мономанов, каких он увековечил в своих произведениях. Разочарованный мечтатель, пренебрежительно отвергнутый миром, которому нелюбы начинающие и бедняки, он углубился в тишину и сам создал себе символ мира. Мира, ему принадлежащего, ему подвластного и с ним погибшего.

Действительность пронеслась мимо него, и он за ней не гнался. Он жил взаперти в своей комнате, прикованный к письменному столу; жил в лесу своих образов, как коллекционер Эли Магюс среди своих картин. С той поры, как пошел ему двадцать пятый год, действительность — за редкими исключениями (неизменно принимавшими трагический оборот) — занимала его, вероятно, только как материал, как горючее, приводившее в движение маховик его собственного мира. Почти сознательно сторонился он в жизни всего живого, словно предчувствуя, что соприкосновение

этих двух миров — его собственного и того, другого, — непременно окажется болезненным. В восемь часов вечера, утомленный, ложился он в постель и, проспав четыре часа, вставал в полночь.

Когда Париж, этот шумный окружавший его мир, смыкал воспаленные очи, когда мрак ниспадал на немолчный рокот улиц и мир куда-то исчезал, — тогда начинал жить его мир, и он строил его рядом с другим, из разрозненных элементов этого другого и часами пребывал в каком-то лихорадочном экстазе, беспрерывно подстегивая усталые нервы черным кофе.

Так работал он десять, двенадцать, а то и восемнадцать часов, пока что-нибудь не возвращало его из этого мира обратно к действительности. В такие-то минуты пробуждения и бывало у него, вероятно, то выражение, которое придал ему в своей статуе Роден, — этот испуг внезапного падения из заоблачных сфер в забытую действительность, этот потрясающе грандиозный, почти кричащий взор, эта рука, натягивающая одежду на зябкие плечи, это движение человека, только что оторванного от сна, или лунатика, громко окликнутого по имени. Никто из писателей не углублялся в свое творчество с таким самозабвением и напряженностью, ни у кого не было такой крепкой веры в свои грезы, ни у кого галлюцинации не были так близки к самообману.

Не всегда умел он останавливать свое возбуждение, как машину, задерживая чудовищное вращение махового колеса, отличать отражение в зеркале от действительности и проводить резкую черту между тем и другим миром. На целую книгу хватило анекдотов о том, как он в пылу работы проникался верой в существование своих героев, — анекдотов, зачастую смешных и по большей части немного жутких. Вот входит приятель. Бальзак, полный отчаяния, бросается ему навстречу с возгласом: «Представь себе, несчастная покончила с собой!» — и лишь по испугу и недоумению приятеля замечает, что образ, о котором он говорит, — Евгений Гранде, — жил только в надзвездных его краях.

Эта столь длительная, столь интенсивная, столь полная галлюцинация отличается от патологического бреда умалишенного, пожалуй, единственно лишь тождеством законов, наблюдаемых во внешней жизни и в этой новой действительности, одинаковой причинностью бытия, не столько формой жизни его типов, сколько тем, что они в самом деле способны жить, что они будто только что переступили порог его кабинета, войдя в его произведения откуда-то извне. Но по своей прочности, по упорству и законченности бредовой идеи эта самоуглубленность была достойна истого мономана, и его творчество было уже не прилежным трудом, а лихорадкой, опьянением, мечтой и экстазом. Оно было чудесным паллиативом, сонным зельем, помогавшим забывать о томившей его жажде жизни.

Приспособленный, как никто, к жизни для наслаждений, к расточительности, он по собственному признанию видел в этой лихорадочной работе не что иное, как способ наслаждаться. Ибо такой необузданно требовательный человек мог, подобно мономанам в его книгах, отказаться от всякой иной страсти лишь благодаря тому, что он чем-то ее заменял. Он мог легко обойтись без всего того, что подстегивает наше чувство жизни, — без любви, без честолюбия, игры, богатства, путешествий, славы и побед, потому что в своем творчестве он находил суррогаты, во много раз их превосходившие.

Чувства безрассудны, как дети. Они не умеют отличать подлинное от поддельного, обман от действительности. Только бы их питали, все равно чем — переживаниями или мечтой. И Бальзак всю жизнь обманывал свои чувства: вместо того чтобы дарить им наслаждения, он этими наслаждениями только морочил их; он утолял их голод запахом лакомств, в которых им отказывал. Все его переживания сводились к страстному участию его в наслаждениях своих созданий. Ведь это же он бросил десять луидоров на игорный стол, это он трепетал всем телом, пока вертелась рулетка, это он горячими пальцами загребал звонкий поток выигранных денег; это

он одержал только что блестящую победу на подмостках театра; это он штурмовал со своими бригадами высоты или подкапывался под твердыни фондовой биржи.

Все радости его созданий принадлежали ему; тут-то и крылись те восторги, которые снесли его столь убогую по внешности жизнь. Он играл своими людьми, как ростовщик Гобсек теми несчастными, что без всякой надежды на успех приходили просить у него займы, а он заставлял их дергаться, словно рыб на крючке, испытующе взирая на их горе, веселье и страдания, как на более или менее талантливую игру актеров. И сердце его под грязной курткой Гобсека говорит так: «Неужели вы думаете, что это ничего не значит, когда проникаешь таким образом в сокровеннейшие уголки человеческого сердца, когда проникаешь в него так глубоко и видишь его перед собой во всей его наготе?» Ибо он, этот волшебник воли, претворял чужое в свое и мечты в жизнь. Рассказывают, будто в дни молодости, питаясь у себя в мансарде одними сухарями, он рисовал мелом на столе контуры тарелок и вписывал туда названия самых лакомых и любимых кушаний, чтобы силой внушения ощутить в черством хлебе вкус изысканнейших блюд.

И если здесь он рассчитывал на известные вкусовые ощущения и в самом деле их обретал, то, вероятно, совершенно так же в эликсирах своих книг вкушал он неистовыми глотками все прочие прелести жизни и совершенно так же обманывал собственную бедность богатством и роскошью своих слуг. Вечно терзаемый долгами и преследуемый кредиторами, он испытывал несомненно чувственное возбуждение, когда писал: сто тысяч франков годового дохода. Ведь это он сам рылся в картинах Эли Магюса; это он в роли старика Горио любил двух своих дочерей-графинь, это он подымался с Серафитом на горные вершины над никогда не виданными им норвежскими фиордами или приковывал к себе вместе с Рюбампре восхищенные взгляды красавиц. Он, он сам был тот, ради кого, словно потоки раскаленной лавы, извергались страстные желания из всех этих людей, из людей, для кото-

рых он варил из светлых и темных трав напитков счастья и горя.

Никогда ни один писатель не приобщался так полно, как он, к наслаждениям своих героев. Именно там, где он дает картины вожаденного богатства, именно там сильнее, нежели в эротических приключениях, чувствуется опьянение самообольстителя, гашишные грезы одинокого. Это и есть его сокровеннейшая страсть — этот прилив и отлив цифр, это жадное выигрывание и проигрывание крупных сумм, эта переброска капиталов из рук в руки, разбухание балансов, бурное падение ценных бумаг, провалы и подъемы в беспредельность.

По его велениям миллионы, словно гром, обрушиваются на головы нищих, и, как ртуть, растекаются капиталы в слабых руках. Со сладострастием живописует он роскошные особняки богатых кварталов и всю магию денег. Слова «миллионы» и «миллиарды» произносятся у него всегда с затаенным дыханием, в каком-то косноязычном изнеможении, с хрипом исступленной похоти. Полные неги, словно одалиски в гареме, стоят рядами предметы убранства пышных чертогов, и, как драгоценные регалии, разложены атрибуты человеческого могущества. Даже рукописи его прожжены этой лихорадкой. Можно проследить, как спокойные, нарядные вначале строки вздуваются, подобно жилам на лбу разгневанного человека, как они расшатываются, становятся торопливее, рвутся опередить одна другую, испещренные пятнами кофе, которым он взбадривал утомленные нервы; кажется, будто слышишь прерывистое, шумное пыхтение перегретой машины, фанатические, маниакальные судороги творца этих строк, алчность «Дон-Жуана речи», человека, стремящегося все получить и всем обладать.

И новое бурное проявление ненасытности видишь на корректурных листах, застывшую верстку которых он то и дело ломал и взрывал, подобно тому как больной в жару берedit свою рану, чтобы прогнать лишний раз алую пульсирующую кровь строк по неподвижному, уже охладевшему телу.

Столь титанический труд был бы непонятен, если бы он не был вожделением, больше того — единственным, чего хотел от жизни человек, аскетически отказавшийся от всех других видов власти, человек страстный, для которого единственной возможностью обуздать себя было искусство. Раз или два довелось ему, правда, грезить и над другим материалом. Он пытался приспособиться к практической жизни. Первая такая попытка относится к тому времени, когда он, отчаявшись в своем творчестве, захотел достичь действительного финансового могущества, сделался спекулянтom и основал типографию и газету. Но по той иронии, которую судьба всегда держит наготове для отступников, он, в книгах своих ведавший все, все проделки биржевиков, все ухищрения мелких и крупных фирм, все приемы ростовщиков, он, знавший цену всякой вещи, создавший положение сотням людей в своих произведениях, путем правильных логических построений добывший им состояние, наделивший богатством Гранде, Попино, Кревеля, Горио, Бридо, Нюсенжена, Вербруста и Гобсека, — сам он потерял весь свой капитал, постыдно разорился и ничего себе не оставил. Ничего, кроме страшной свинцовой тяжести долгов, которую затем, став илотом неслыханного каторжного труда, полвека со стонами таскал на своих широких, как у грузчика, плечах, пока, надорвавшись, не свалился наконец безмолвно под бременем работы.

Ревность покинутой страсти, единственной, которой он отдавался, — страсти к искусству, — жестоко отомстила ему. Даже любовь, для других — чудесный сон о пережитом, о действительно бывшем, оказалась для него лишь переживанием, родившимся из сна. Госпожа фон Ганска, впоследствии его супруга, та самая *étrangère**, к которой были обращены знаменитые его письма, была страстно любима им раньше, чем он успел заглянуть ей в глаза, была любима им еще тогда, когда она была чем-то столь же нереальным, как

* Чужестранка (фр.).

la fille aux yeux d'or*, как Дельфина и Евгения Гранде. Для истинного писателя всякая иная страсть, кроме страсти к творчеству, к вымыслу, является уклонением от прямого пути. «L'homme des lettres doit s'abstenir des femmes, elles font perdre son temps, on doit se borner à leur écrire, cela forme le style»**, — сказал он как-то Теофилю Готье. В глубине души он любил вовсе не госпожу фон Ганска, а свою любовь к ней, любил не те положения, с какими сталкивался, а те, которые сам измышлял. Жажду действительности он так долго утолял иллюзиями, так долго играл образами и костюмами, что под конец, как актер в момент высшего подъема, сам уверовал в свою страсть.

Без устали предаваясь этой страсти к творчеству, он все подгонял процесс внутреннего стгорания, пока пламя не выбилося наружу и он не погиб. С каждой новой книгой, с каждым осуществленным таким образом желанием его жизнь съезжалась, подобно волшебной лосиной коже в его мистической новелле, и он покорялся своей мании, как игрок — картам, пьяница — вину, курильщик гашиша — роковой трубке, сластолюбец — женщинам. Он погиб от чрезмерно полного исполнения своих желаний.

Само собой разумеется, что столь исполинская воля, так щедро наделявшая мечты кровью и жизнью, напрягавшая их так, что возбуждение их не уступало в силе явлениям действительности, — само собой разумеется, что столь огромная, столь чудодейственно могучая воля видела тайну жизни в своей собственной магии и возводила себя в мировой закон. Своей подлинной философии не могло быть у того, кто никогда себя не выдавал, кто был, пожалуй, лишь некой изменчивостью, у кого, подобно Протею, не было своего облика, потому что он мог принять любой из многих; кто, словно дервиш или странствующий дух, перевоплощался в образы

* Девушка с золотистыми глазами (фр.).

** Писатель должен сторониться женщин: они вынуждают его терять время. Следует ограничиваться писанием им писем, это вырабатывает стиль (фр.).

тысяч людей и терялся в дебрях их жизни, являясь то оптимистом, то альтруистом, то пессимистом или релятивистом, кто мог принять или отвергнуть любое мнение, любую ценность, как включают и выключают электрический ток. Бальзак никого не оправдывает и никого не осуждает. Он всегда только *érouse les opinions des autres*, — на других языках нет соответствующего слова, обозначающего добровольное восприятие чужого мнения без длительного отождествления себя с ним; его захватывал момент, замыкал его в грудную клетку его героев, вовлекал в поток их страстей и пороков. Истинной и неизменной была в нем лишь чудовищная воля, которая, подобно заклинанию «сезам», распыляла скалы, заграждавшие вход в незнакомую душу, ввергала его в мрачные глубины чужого чувства и выводила оттуда нагруженным алмазами людских переживаний.

Более всякого другого был он, вероятно, склонен приписывать человеческой воле могущество не только духовного, но и материального порядка и ощущать ее как жизненный принцип и мировой закон. Ему известно было, что воля, этот флюид, который, исходя от Наполеона, потрясал мир, сокрушал государства, возводил на троны королей и запутывал в клубок миллионы судеб, — что это нематериальное колебание, это чисто атмосферное давление духа на окружающую его среду должно проявляться также и в области материальной, налагать свой отпечаток на физиономию, внедряться в тело, во все его части. Ибо если мимолетное волнение меняет выражение всякого лица, скрашивая грубые и даже совсем тупые черты, придавая им известное своеобразие, то насколько же более выпуклой скульптурой должна выступить на ткани лица постоянно напряженная воля и непреходящая страсть!

Человеческое лицо представлялось Бальзаку окаменевшей волей к жизни, отлитой из бронзы характеристикой, и как археолог восстанавливает по окаменелостям целую культуру, так и Бальзак полагал делом писателя определять по лицу человека и по окружающей его атмосфере внутреннюю его культуру. Эта физиогномика заставила его

полюбить учение Галля и его топографию заложенных в мозгу способностей и изучать Лафатера, который тоже видел в лице не что иное, как ставшую плотью и кровью жизненную волю или вывернутый наизнанку характер. Все, что подчеркивало эту магию, это таинственное взаимодействие внутреннего и внешнего, было ему по душе. Он верил в Месмерово учение о магнетической передаче воли от одного медиума к другому, верил, что пальцы — это огненные сети, излучающие волю, связывал это воззрение с мистическим одухотворением Сведенборга, и все эти не совсем сгустившиеся в теорию любительские домыслы свел воедино в учении своего любимца Луи Ламбера, *chimiste de la volonté**, этой необычайной фигуры рано умершего человека, странно сочетающей в себе автопортрет со стремлением к внутреннему совершенствованию и чаще, чем какой-либо другой персонаж Бальзака, соприкасающейся с его собственной жизнью.

Бальзаку всякое лицо представлялось шарадой, которую необходимо разгадать. Он утверждал, что в каждом облике он узнает физиономию какого-нибудь животного, верил, что по особым тайным признакам можно определить обреченного на смерть, и хвастал, что способен по лицу, движениям и платью угадать профессию любого прохожего на улице.

Однако такое интуитивное познание не представлялось ему еще высшей магией человеческого зора. Ибо все это охватывало только сущее, настоящее. А его глубочайшим желанием было уподобиться тем, кто, сосредоточив силы, может определить не только настоящее, но — по оставленным следам — и прошлое, а по развитию корней — также и будущее, породниться с хиромантами, гадалками, звездочетами, ясновидящими, словом, со всеми, кто одарен более глубоким взором — *seconde vue***, кто берется узнать сокровеннейшее по внешнему признаку, бесконечное — по опре-

* Химика воли (фр.).

** Вторым зрением (фр.).

деленным линиям и может по тонким бороздам на ладони проследить краткий путь прожитой жизни и осветить темную тропу, ведущую в будущее. Таким магическим взором наделен, по мнению Бальзака, лишь тот, кто не разбросал своего ума по тысяче направлений, а — идея концентрации постоянно повторяется у Бальзака! — сберег его в себе и устремил к одной-единственной цели. Дар *seconde vue* свойственен не одним волшебникам и ясновидящим: этим «*seconde vue*», этой самопроизвольной прозорливостью, этим несомненным признаком гениальности обладают и матери по отношению к своим детям, и врач Деппен, мгновенно определяющий по смутным страданиям больного причину его болезни и вероятную продолжительность его жизни, и гениальный полководец Наполеон, немедленно решающий, куда перебросить бригады, чтобы решить участь боя. Им обладает и соблазнитель Марсэ, улавливающий мимолетные минуты, когда может добиться падения женщины, и биржевик Нюсенжен, всегда успевающий вовремя со своими биржевыми операциями.

Все эти астрологи души приобретают свои познания благодаря устремленному внутрь себя взгляду, который словно в подзорную трубу различает горизонты там, где невооруженному глазу мерещится лишь какой-то серый хаос. Здесь таится известное родство между прозрением писателя и дедукцией ученого, между быстрым, самопроизвольным постижением и медленным, логическим познаванием. Бальзак, которому его собственная интуитивная пронизательность была, должно быть, непонятна и которому не раз, вероятно, доводилось в страхе, полубезумным взглядом взирать на свои произведения, как на нечто непонятное, — Бальзак поневоле прилепился к философии несоизмеримого, к мистике, которая не довольствовалась уже больше ходячим католицизмом какого-нибудь де Местра. И вот эта крупница магии, примененная к его сокровеннейшей сущности, эта непостижимость, обращающая его искусство не только в химию, но и в алхимию жизни, — именно она-то и служит тем меже-

вым знаком, который отделяет его от других, от позднейших, от подражателей, в особенности от Золя, подбравшего камушек к камушку там, где Бальзаку достаточно было одного оборота волшебного его перстня, чтобы воздвигнуть тысячеоконный дворец. Как ни огромна заложенная в его труд энергия, все же с первого взгляда прежде всего бросается в глаза колдовство, а не работа, не заимствование у жизни, а одаривание и обогащение ее.

Ибо Бальзак — и это витает облаком непроницаемой тайны вокруг его образа — в годы своего творчества уже больше не учился, не производил опытов и не вел житейских наблюдений, как, например, Золя, который, прежде чем написать роман, заводил на каждое действующее лицо особое дело, или как Флобер, перерывавший целые библиотеки, чтобы написать книжку в палец толщиной.

Бальзак редко возвращался в тот мир, что простирался за пределами его мира; он был заключен в тюрьме своих галлюцинаций, пригвожден к труду, как к стулу пыток, и то, что он приносил с собой, когда предпринимал короткую вылазку в действительность, — когда ходил воевать с издателем или сдавать корректуру в типографию, когда обедал с приятелем или рылся в лавках парижских старьевщиков, — все это оказывалось всегда скорее подтверждением, чем сбором новых данных. Ибо еще в ту пору, когда он только начинал писать, знание всей жизни успело уже проникнуть в него каким-то таинственным путем и покоилось в нем, собранное, уложенное в одно место. Наряду с почти мифическим явлением Шекспира, величайшей, пожалуй, загадкой мировой литературы является вопрос, каким образом, когда и откуда внедрились в Бальзака эти чудовищно огромные, почерпнутые из всех профессий, материй, темпераментов и феноменов запасы знаний.

В течение трех или четырех лет — юношеских лет — работал он на разных поприщах — писцом у адвоката, потом издателем и студентом, и в эти-то немногие годы он и впитал в себя, по-видимому, это совершенно необъяснимое, необоз-

римое множество фактов, это знание всех характеров и явлений. Он, должно быть, в те годы чрезвычайно много наблюдал. Взор у него был, вероятно, жадный, словно вампир вбиривший все, что попало, в свои тайники, в хранилище памяти, где ничто не увядало, ничто не проливалось, ничто не мешалось и не портилось, а все лежало в порядке, в сохранности, на своем месте, всегда под рукой, всегда обращенное самой существенной своей частью наружу; и все это раскрывалось и выскакивало, словно на шарнирах, от одного легкого прикосновения его воли, его желания.

Бальзаку ведомо было все: судебные процессы, сражения, биржевая тактика, спекуляция земельными участками, тайны химии, секреты парфюмеров, техника живописи, споры богословов, газетное дело, обманы театральных подмостков и других — подмостков политики. Он знал провинцию, Париж и весь свет; он, этот *connaisseur en flânerie**, читал, как книгу, замысловатые узоры улиц, знал о каждом доме, когда, как и для кого он построен, разрешал геральдические загадки герба над его входом, по стилю постройки восстанавливал целую эпоху и знал в то же время размеры квартирной платы, населял каждый этаж людьми, обставлял комнаты мебелью, наполнял их атмосферой счастья и несчастья и от первого этажа ко второму, от второго к третьему плел незримую сеть судьбы. У него были всеобъемлющие познания: он знал, во что ценится картина Пальмы Веккио, и знал, сколько стоит гектар пастбищной земли и во что обходится завиток кружева, кабриолет или содержание лакея. Он знал жизнь щеголей, которые, погрязая в долгах, ухитрялись спускать по двадцати тысяч франков в год, а двумя страницами дальше описывает существование горемычного рантье, в чьей мелочно расчетливой жизни прорвавшийся зонтик или разбитое оконное стекло означают катастрофу.

Перевернем еще две-три страницы, и вот уже он в кругу последних бедняков. Он исследует, как зарабатывает свои

* Знаток и ценитель празднотатания (фр.).

несколько су несчастный водонос, уроженец Оверни, мечтающий обзавестись маленькой-маленькой лошадкой, чтобы не возить бочку с водой на себе, или студент, или швея, что влачат в большом городе полурастительное существование. Возникают тысячи пейзажей, каждый из них готов обратиться в задний план для судеб его героев, помочь их формированию, и достаточно ему одного беглого взгляда на окрестность, чтобы рассмотреть ее с большей отчетливостью, чем видят ее местные старожилы.

Ему ведомо было все, чего хоть однажды коснулся он мимолетным взором, и — замечательный парадокс художника! — ему ведомо было даже то, чего он и вовсе не знал. Он из мечтаний своих воздвиг фиорды Норвегии и стены Сарагоссы, и получились они точно такие, как в действительности. Чудовищна эта быстрота прозрения! Он мог, казалось, распознать во всей ясности и обнаженности то, что для других было скрыто тысячью покровов. У него все было размечено, ко всему подобраны ключи, со всякого предмета мог он снять наружную оболочку, и все они являли ему внутреннюю свою суть. Перед ним раскрывались человеческие лица, и зернами спелого плода западало все в чувственное его сознание. Одним взмахом выхватывает он существенное из мелких складок несущественного; и не то, чтобы он выгребал его, мало-помалу откапывая слой за слоем, — нет, словно динамитом взрывает он золотоносные жилы жизни.

И одновременно с этими подлинными формами улавливает он и нечто неуловимое — окружающую их, словно облако газа, атмосферу счастья и несчастья, пронсящиеся между небом и землей сотрясения, близкие взрывы, грозные обвалы воздуха. То, что для других существует лишь в виде каких-то очертаний, что представляется им холодным и спокойным, будто заключенным под стеклянным колпаком, — то его волшебной чувствительностью воспринимается, как состояние атмосферы в трубке термометра.

В этом необычайном, несравненном интуитивном знании и заключается гениальность Бальзака. А так называемый

«художник», — распределитель сил, организатор и творец, связующий и разрешающий, — чувствуется в Бальзаке не столь отчетливо. Так и хочется сказать, что он вовсе не был тем, что называется «художником», — настолько был он гениален. «Une telle force n'a pas besoin d'art»*. Это изречение применимо и к нему. В самом деле, здесь перед нами сила, столь величавая и огромная, что она, подобно вольному зверю девственных лесов, не поддается укрощению; она прекрасна, как тернистые заросли, как горный поток, как гроза, как все те вещи, эстетическая ценность которых заключается единственно лишь в напряженной их выразительности. Ее красота не нуждается в симметрии, в декорациях, в тщательном распределении, ибо она воздействует необузданным многообразием своих сил.

Бальзак никогда не составлял точного плана своих романов; он погрязал в них, как в страсти, зарывался в описания и слова, как в мягкие ткани или в обнаженное цветущее тело. Он вычерчивает образы, набирая их отовсюду, из всех сословий и семейств, из всех провинций Франции, как Наполеон своих солдат, формирует из них бригады, назначает одного в конницу, другого приставляет к оружию, а третьего определяет в обоз, насыпает порошу на полки их ружей и предоставляет их затем собственным их неукротимым силам.

Несмотря на прекрасное — написанное, однако, задним числом! — предисловие, в «Comédie humaine» тоже нет внутреннего плана. Она лишена плана, подобно тому как и сама жизнь казалась ему лишенной плана; в ней нет никакой моральной, никакой обобщающей установки, она в изменчивости своей стремится показать вечно изменчивое. Во всех этих приливах и отливах нет непрерывно действующей силы, а есть лишь некая скоропреходящая тяга, вроде таинственного притяжения луны, — та бестелесная, словно из облаков и света сотканная атмосфера, которую называют эпохой. Единственный закон этого нового космоса сводится к

* Такая сила не нуждается в искусстве (фр.).

тому, что все участвующее в процессе взаимодействия само видоизменяется, что свободы действий, свойственной божеству, дающему лишь внешние толчки, не существует, что все люди, непостоянное сообщество которых и образует эпоху, сами творятся эпохой, что их мораль, их чувства так же производны, как и они сами; что все — относительно; что именуемое в Париже добродетелью за Азорскими островами оказывается пороком; что ни для чего не существует твердого мерила, и что страстные люди должны расценивать мир так, как расценивают они в романах у Бальзака женщину: стоит она, по их мнению, всегда столько, во что она им обходится.

Писателю, который и сам является только продуктом, созданием своего времени, не дано извлечь непреходящее из превратного, а потому задача его может заключаться лишь в изображении атмосферного давления, духовного состояния его эпохи, изменчивой игры сил, одухотворявших, сцеплявших и снова разъединявших миллионы молекул. Быть метеорологом социальных течений, математиком воли, химиком страстей, геологом первобытных национальных формаций, словом — быть многосторонним ученым, который, пользуясь всевозможными инструментами, исследует и выслушивает тело своей эпохи, и в то же время быть собирателем всех ее событий, живописцем ее пейзажей, солдатом ее идей, — вот куда влекло Бальзака честолюбие, и вот почему так неутомимо зарисовывал он как грандиознейшие, так и бесконечно малые предметы. И благодаря этому его произведения являются — по меткому выражению Тэна — величайшим со времен Шекспира хранилищем человеческих документов. Правда, в глазах своих да и многих наших современников Бальзак — лишь сочинитель романов. Если взглянуть на него с этой точки зрения, сквозь призму эстетики, то он не покажется таким гигантом. Ибо у него, собственно говоря, мало образцовых, классических вещей.

Но Бальзака надо судить не по отдельным произведениям, а в целом; его надо созерцать, как ландшафт с горами и

долинами, с беспредельными далями, с предательскими ущельями и быстрыми потоками. В нем берет начало, на нем, можно бы сказать, — если бы не явился Достоевский, — на нем и кончается идея романа как энциклопедии внутреннего мира. До него писатели знали только два способа двигать вперед сонную колымагу литературной интриги: они либо придумывали какой-нибудь действующий извне случай, который, словно свежий ветер, наполнял паруса и гнал ладью, либо избирали движущей силой, действующей изнутри, одни только эротические побуждения, перипетии любви. Бальзак решил транспонировать эротический элемент. Для него существовало два вида ненасытно-требовательных людей (а, как сказано, только требовательные, только честолюбцы его и занимали): эротики в собственном смысле слова, т.е. немногие, единичные мужчины и почти все женщины, те, для кого, кроме любви, нет иного созвездия, которые под ним и рождаются, и гибнут. Однако все эти растворенные в эротике силы являются не единственными, и перипетии страсти, ни на иоту не умаляясь, сохраняют и у других людей ту же первобытную движущую силу, не распыленную и не расщепленную, только выраженную в иных формах, в иных символах. Это плодотворное открытие сообщило романам Бальзака необычайную многогранность и полноту.

Впрочем, Бальзак насыщал свои романы действительностью, почерпнутой и из другого источника: он ввел туда деньги. Не признавая никаких абсолютных ценностей, он, в качестве секретаря своих современников и статистика относительности, дотошно изучал внешнюю, моральную, политическую и эстетическую ценность вещей, и прежде всего ту общепризнанную ценность объектов, которая в наши дни для каждой вещи приближается к абсолютной: денежную их ценность. С той поры как пали привилегии аристократии и были нивелированы различия, деньги стали кровью, движущей силой общественной жизни. Каждая вещь определяется ее ценой, каждая страсть — материальными ее жертвами, каждый человек — его доходами. Цифры служат термо-

метром для известных атмосферных состояний совести, исследование которых Бальзак полагал своей задачей. И деньги вихрем крутятся в его романах. У него описываются не только рост и гибель крупных состояний и неистовые биржевые спекуляции, не только большие сражения, где затрачивается столько же энергии, как под Лейпцигом или Ватерлоо, не только двадцать типов рвачей, рвачей из скупости, ненависти, расточительности или честолюбия, не только те люди, которые любят деньги ради денег или ради символа, или те, для которых деньги — лишь средство для достижения цели, — нет, Бальзак раньше и смелее всех показал на тысяче примеров, как деньги пропитали собой даже самые благородные, самые утонченные, самые нематериальные ощущения.

Все его герои то и дело подсчитывают, как и все мы невольно делаем это в жизни. Новички, приехав в Париж, быстро узнают, во что обходится посещение хорошего общества, нарядное платье, лакированные башмаки, новый экипаж, квартира, лакей и тысяча мелочей и пустяков, требующих оплаты и изучения. Им известно, какая это катастрофа, когда человека презирают за вышедший из моды жилет; они очень скоро догадываются, что только деньги или блеск денег раскроют перед ними все двери, — и вот постепенно, из мелких, но непрерывных унижений вырастают бурные страсти и дикое честолюбие. И Бальзак следует за ними шаг за шагом. Высчитывает расходы расточителей, проценты ростовщиков, прибыль торговцев, долги щеголей, взятки политиков. Добываемые итоги служат градусами для изменения растущего чувства тревоги, барометрическим показателем близких катастроф. А так как деньги являлись вещественным осадком всепоглощающего честолюбия и так как они проникли во все чувства, то, чтобы разобраться в кризисах больного организма, ему, патологу социальной жизни, пришлось предпринять микроскопическое исследование крови и устанавливать некоторым образом процентное содержание в ней денег. Ибо ими насыщена жизнь всех людей; они — кислород для переутомленных легких, и отказаться от них не может никто,

ни честолюбец ради своего честолюбия, ни влюбленный ради своего счастья, ни — менее всех — художник. Лучше всякого другого знал это он, он, на чьих плечах тяготел долг в сто тысяч франков, ужасающий груз, который он зачастую, в экстазе творчества, на мгновение сбрасывал с плеч и который, в конце концов, раздавил его.

Необозримы его творения. В восьмидесяти томах заключена целая эпоха, целый мир, целое поколение. До него никогда еще не делалось сознательной попытки осуществить столь могучие замыслы, и никогда еще такое дерзание сверхчеловеческой воли не вознаграждалось более щедро. Тем, кто ищет улады и отдыха, кто, вырываясь вечерами из тесного своего мирка, жаждет новых картин новых людей, тем преподносится возбуждающая, полная превратностей игра, драматургам дается материал для сотен трагедий, ученым — изобилие проблем и наводящих вопросов, небрежно брошенных, словно крохи со стола пресыщенного человека, влюбленным — поистине образцовый зной любовного экстаза. Но самая большая доля наследства досталась писателям. Предварительные наброски «*Comédie humaine*» содержат наряду с законченными еще сорок незаконченных, ненаписанных романов; один называется «Москва», другой — «На равнине Ваграма», третий посвящен борьбе за Вену, четвертый — жизни страстей. Это, пожалуй, хорошо, что не все они доведены до конца. Бальзак обмолвился однажды такими словами: «Гениален тот, кто во всякое время может претворить свои мысли в дело. Однако подлинно великий гений не проявляет деятельности непрерывно, иначе он слишком уподобился бы Богу». Ибо, если бы Бальзаку суждено было завершить все начатое и замкнуть полный круг страстей и событий, его труд разросся бы до пределов непостижимого. Он стал бы чем-то чудовищным, он отпугнул бы потомство своей недостижимостью, тогда как в настоящем его виде — в виде бесподобного торса — он служит величайшим понуждением, грандиознейшим примером для всякого творческого стремления к недостижимому.



ДИККЕНС

Нет, не в книгах и не у биографов следует справляться о том, как любили Чарльза Диккенса его современники. Любовь живет полным дыханием только в живой человеческой речи. Нужно, чтобы об этом порассказали; лучше всего — чтобы рассказал англичанин, из тех, что, вспоминая дни юности, припомнят и эпоху первых успехов Диккенса, из тех, что до сих пор, спустя пятьдесят лет, не могут решиться назвать автора «Пиквика» Чарльзом Диккенсом, а именуют его старинным, более дружеским и интимным, шуточным прозвищем Боз. По их позднему, тронутому скорбью волнению можно судить об энтузиазме тысяч людей, хватавшихся в ту пору с неистовым восторгом за ежемесячники в синей обложке, ныне ставшие редчайшей находкой для библиофилов и желтеющие в шкафах и на полках. В ту пору — так рассказывал мне один из этих *old Dickensians** — они не в силах были заставить себя, в день прибытия почты, дождаться дома, пока почтальон не доставит, наконец, в своей сумке вновь вышедшую синюю книжку. Целый месяц, изголодавшись, мечтали они о ней, терпеливо надеялись, спорили, женится ли Копперфильд на Доре или на Агнесе, радовались, что обстоятельства Микобера дошли опять до кризиса, — радовались, ибо прекрасно знали, что он героически преодолет этот кризис при помощи горячего пунша и доброго настроения! — и вот при-

* Старый диккенсовец, почитатель Диккенса (англ.).

ходилось ждать, пока притащится, наконец, почтальон в своей тележке и разрешит все эти забавные загадки. И из года в год, в торжественный день, старые и молодые выходили на две мили навстречу почтальону, только бы раньше получить книжку. Уже на обратном пути они принимались за чтение, заглядывали через плечо друг другу, читали вслух; и только самые благодушные бежали во всю прыть домой, чтобы поделиться добычей с женой и детьми. И так же, как этот городок, любили в ту пору Чарльза Диккенса каждая деревня, каждый город, вся страна и, за пределами страны, весь английский мир, расселившийся в разных частях света; любили с первого часа знакомства до последней минуты жизни.

Нигде, на протяжении девятнадцатого столетия, не существовало подобных сердечных, ничем не омраченных отношений между писателем и нацией. Слава Диккенса взмыла ввысь подобно ракете, но так и не угасла; она остановилась над миром, озарив его словно солнцем. Первый выпуск «Пиквика» вышел в четырехстах экземплярах, пятнадцатый — в сорока тысячах; такой лавиной обрушилась диккенсовская слава на свою эпоху. Дорогу в Германию проложила она себе чрезвычайно быстро: сотни и тысячи дешевых книжечек вселили смех и радость в самые ожесточенные сердца; маленький Никлас Никльби, несчастный Оливер Твист и тысячи других созданий этого неутомимого ума проникли в Америку, Австралию, Канаду. В настоящее время в обращении насчитываются миллионы диккенсовских томов, большого и малого формата, толстых и тоненьких, начиная с дешевых изданий для бедных и кончая американским изданием, самым дорогим из всех, каких удостоился какой-либо писатель (оно стоит, если не ошибаюсь, триста тысяч марок, это издание для миллиардеров); во всех этих книжках теперь, как и тогда, все еще гнездится блаженный смех, готовый, подобно чирикающей птичке, вспорхнуть, едва перелистаешь начальные страницы.

Любовь к этому писателю была беспримерна; если она и

не увеличивалась с годами, то только потому, что для страсти не представлялось уже дальнейших возможностей. Когда Диккенс решился выступить публично как чтец и впервые встретился лицом к лицу со своими читателями, Англия словно охмелела. Помещения брались приступом и заполнялись до отказа: восторженные поклонники карабкались на колонны, забирались под эстраду, только бы услышать любимого писателя. В Америке, в жесточайший мороз, люди спали перед кассами на принесенных с собой матрацах, официанты приносили им кушанья из соседних ресторанов; ничем нельзя было сдержать напор публики; все наличные помещения оказались слишком тесными, и, в конце концов, в Бруклине писателю отвели церковь в качестве зала для чтения. С церковной кафедры пришлось ему читать о приключениях Оливера Твиста и маленькой Нелль.

Слава его была безоблачна: она оттеснила Вальтера Скотта, затмила на всю жизнь гений Теккерея. И когда пламя погасло, когда Диккенс умер, потрясен был весь английский мир. Незнакомые люди передавали друг другу это известие; смятение, словно после проигранной битвы, овладело Лондоном. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, этом Пантеоне Англии, рядом с Шекспиром и Филдингом; тысячи людей приходили туда, и в течение ряда дней скромное обиталище усопших загромождено было венками и цветами. И сейчас, по прошествии сорока лет, редко-редко не увидишь там цветов — приношения благодарного сердца: слава и любовь не померкли со временем. Сейчас, как и в тот день, когда Англия вручила безвестному, ни о чем не помышляющему писателю нечаянный дар мировой славы, Чарльз Диккенс остается самым любимым, самым желанным и самым признанным рассказчиком для всего английского мира.

Столь огромное, как вширь, так и вглубь проникающее воздействие художественного произведения возможно только как редкий случай сочетания двух обычно противоборствующих начал, возможно только при тождественности человеческого гения с традицией, с духом эпохи. Вообще говоря, гений

и традиция подобны, во взаимодействии своем, огню и воде. Более того, признак гения заключается, пожалуй, в том, что он, в качестве воплощенного духа новой, нарождающейся традиции, противостоит традиции былой, что он, как прародитель нового поколения, возвещает кровную вражду поколению отмирающему. Гений и его эпоха — это два мира, посылающие друг другу свет и тень, но вращающиеся в разных сферах; на путях своего движения они встречаются, но не сливаются друг с другом.

Здесь же налицо то редкое в мире положение, когда тень от одного из светил заполняет светящийся диск другого так, что они совпадают: Диккенс единственный в девятнадцатом веке великий писатель, чьи сокровеннейшие замыслы полностью покрываются духовными запросами его времени. Его романы абсолютно тождественны со вкусом тогдашней Англии, его творчество — это воплощение английской традиции: в Диккенсе юмор, опыт, мораль и эстетика шестидесяти миллионов человек по ту сторону пролива, их духовное и художественное содержание, своеобразное жизнеощущение их, часто чуждое нам и нередко остро притягивающее. Не он создал свои произведения, а английская традиция, в среде современных культур самая мощная, самая богатая, самая своеобразная и потому и самая опасная. Не следует недооценивать ее жизненную силу.

Всякий англичанин является англичанином больше, чем немец — немцем. «Английское» — это не лак, не окраска поверх духовной организации человека; оно проникает в кровь, действует регулирующе на ритмику, пронизывает в индивидууме самое глубокое и сокровенное, самое личное — его художественное восприятие. И в качестве художника англичанин более зависит от расы, чем немец или француз. Поэтому каждый художник в Англии, каждый подлинный поэт неизменно боролся с «английским» в своей собственной душе; но даже самая страстная, самая отчаянная ненависть не могла преодолеть традицию. Она тончайшими своими кровеносными сосудами проникает слишком глубоко в подпочву

души, и кто хочет вырвать «английское», разрывает и весь организм, истекает кровью. Два-три аристократа, в страстном стремлении к свободе мирового гражданства, решились на это: Байрон, Шелли, Оскар Уайльд, ненавидя в англичанах «вечно мещанское», пожелали уничтожить в себе англичанина, но разрушили только свою собственную жизнь.

Английская традиция — самая сильная, самая победоносная в мире, но и самая опасная для искусства. Самая опасная потому, что в ней тайное коварство: отнюдь не являя собой холодности и пустынности, чуждая нехозяйственности и нелюдимости, она манит теплом домашнего очага и мирным уютом, но и ставит моральные границы, стесняет, сдерживает и плохо мирится с артистическими порывами к свободе. Английская традиция — это скромное жилище со спертым воздухом, защищенное от грозных жизненных бурь, приятное, приветливое и гостеприимное, подлинный *home*^{*}, со всяческими каминами обывательского довольства, но вместе с тем — тюрьма для тех, чья родина — мир, чья высшая радость — блаженное, вне оседлости, скитание в пределах безграничного.

Диккенс с удобством вместился в английскую традицию, устроился по-домашнему в ее четырех стенах. Он чувствовал себя хорошо в отечественной сфере и в течение всей жизни ни разу не переступил установленной Англией границы в творчестве, морали или эстетике. Он не был революционером: художник легко мирился в нем с англичанином, постепенно растворяясь в последнем. Созданное Диккенсом стоит прочно и крепко на вековом фундаменте английской традиции, не выступая или лишь изредка, на волосок, выступая за ее пределы; сооружение доведено им до неожиданной высоты, при чарующей архитектурной гармонии. Его труд — это неосознанная воля нации, претворившаяся в искусство; и если мы, отмечая напряженность его творчества и его выдающиеся

*Дом (англ.).

качества, говорим об упущенных им возможностях, мы вступаем в спор с самой Англией.

Диккенс является высшим поэтическим выражением английской традиции в промежутке времени между героическим наполеоновским веком — славным для Англии прошлым, и империализмом — грезой будущего. Если в наших глазах он совершил только необычное, но не то огромное, на что способен его гений, то помехой этому была не Англия, ни даже раса, а лишь эпоха — эпоха королевы Виктории. Ведь и Шекспир был высшей возможностью, поэтическим воплощением некой английской эпохи, — правда, другой: эпохи елизаветинской Англии, крепкой, жизнедеятельной, юношески свежей, той, что впервые простирала руки к *imperium mundi*^{*}, пламенея и напрягаясь в избытке бьющей через край силы. Шекспир рожден был веком действия, воли, энергии. Открылись новые горизонты, приобретены были сказочные области в Америке, вековой враг раздавлен; из Италии на север, в туманы, повеяло ветром Возрождения; страна покончила со старым Богом и старой религией, готовая обогатить мир новыми живыми ценностями. Шекспир был воплощением героической Англии, Диккенс — только символом Англии буржуазной. Он был верным подданным другой королевы: благодушной, домовитой, ординарной *old queen*^{**} Виктории, был гражданином чопорной, уютной, благоустроенной страны, чуждой порыва и страсти. Помехой его подъему была тяжеловесность эпохи, не испытывавшей голода, а желавшей только переваривать; слабый ветерок играл парусами ее судов, не отгоняя их от английского берега к сомнительным красотам неизвестности, в непроторенные области безграничного.

Он, соблюдая осторожность, всю жизнь держался вблизи домашнего, привычного, доставшегося от прошлого; подобно тому как Шекспир являл собой мужество Англии алчущей,

* Власть над миром (*лат.*).

** Старой королевы (*англ.*).

Диккенс воплотил в себе осторожность насытившейся Англии. Родился он в 1812 году. Как раз в тот час, когда глаза его получают способность осмотреться, в мире темнеет, гаснет пламень, грозивший уничтожить дряхлое строение европейской государственности. Гвардия разбита при Ватерлоо английской пехотой, Англия спасена, и ее кровный враг, лишившись венца и мощи, в одиночестве гибнет на ее глазах, на дальнем острове. Этого момента Диккенс не созерцал; он не видел, как из одного конца Европы в другой перекидывался отсвет мирового пожара, взор его уперся в английские туманы. Юноша не встречает героев, — время их миновало.

Правда, два-три человека в Англии не хотят поверить этому; силой своего энтузиазма они пытаются повернуть колесо времени и сообщить миру его былую стремительность, но Англия хочет покоя и отталкивает их от себя. Они разыскивают романтику в ее потаенных уголках, пробуют раздуть пламень из жалких искр, но судьбу не пересилишь. Шелли гибнет в волнах Тирренского моря, лорд Байрон сгорает от лихорадки в Месолунги: эпоха не терпит авантюры, краски мира поблекли. Англия неторопливо пережевывает сочащуюся кровью добычу; буржуа, коммерсант, маклер стали королями и потягиваются на троне, как в постели. Англия переваривает пищу. Искусство, чтобы нравиться в ту эпоху, должно было быть легко усвояемым, не беспокоить, не потрясать бурными эмоциями, а гладить по шерсти и почесывать; оно могло быть сентиментальным, но не трагичным. Не нужно было ужасов, раздирающих сердце, захватывающих дыхание, леденящих кровь, — слишком хорошо было все это знакомо из действительности, по сообщениям французских и русских газет; хотелось только легкой жути, мурлычащей игры, катающей и распутывающей пестрый клубок всяческих историй.

Люди того времени хотели каминного искусства, хотели таких книг, которые, под звуки завывающей под окном бури, читаются с приятностью у камелька и сами светятся и потре-

скивают безвредными язычками пламени; требовалось искусство, которое согревает сердце, как стакан чаю, а не пьянит его пламенной усладой. Вчерашние победители желают только удержать и сохранить, не пускаясь на риск и в неизвестность; они стали так боязливы, что боятся сильного чувства. В книгах, как и в жизни, им по нраву не бурные вспышки, а выдержанные в должных пределах страсти — чувства, не выходящие за норму и чинно разгуливающие по страницам. Счастье в ту эпоху отождествляется в Англии с созерцательностью, эстетика — с благочинием, чувственность — с чопорностью, национальное чувство — с лояльностью, любовь — с браком. Все жизненные ценности становятся худосочными. Англия довольна и не хочет перемен. Поэтому и искусство, признаваемое столь сытой нацией, должно тоже в известном смысле быть довольным, одобрять существующий порядок и не рваться за его пределы. И эта воля к приятному, уютному, легко усваемому искусству обретает себе гения, так же как елизаветинская Англия обрела своего Шекспира.

Диккенс — это художественная потребность тогдашней Англии, претворившаяся в творчество. То обстоятельство, что он появился в надлежащий миг, создало его славу; трагедия его в том, что он стал жертвой этой потребности. Искусство его вспоено условной моралью, вскормлено уютом насытившейся Англии; и если бы не стояла за ним его выдающаяся художественная мощь, если бы за внутренней бесцветностью чувств не сверкал и не искрился золотом его юмор, значение его ограничилось бы пределами тогдашней Англии, и он был бы безразличен для нас, как тысячи романов, фабрикуемых по ту сторону пролива проворными дельцами. Только при наличии глубокой ненависти к лицемерной и тупой культуре эпохи Виктории представляется постижимым, во всей изумительной полноте, гений человека, который заставил нас воспринять этот мир отвратительного, сытого довольства как нечто интересное и почти приятное для сердца, человека, который претворил в поэзию банальнейшую прозу жизни.

Сам Диккенс никогда не шел войной на эту Англию. Но в глубине его души — в подсознательном — происходила борьба художника с англичанином. Поначалу он выступил твердо и уверенно, но постепенно утомлялся, ступая по мягкой почве своего времени, наполовину тугой, наполовину податливой, все чаще и чаще стал, в конце концов, сбиваться на старые, протоптанные тропинки традиции. Диккенс побежден своей эпохой, и, думая о его судьбе, я каждый раз вспоминаю о приключении Гулливера у лилипутов. Пока великан спал, карлики привязали его тысячами тонких нитей к земле; проснувшись, он оказался в плену; освободили его не прежде, чем он сдался и клятвенно обещал не нарушать законов страны. Так и английская традиция опутала и пленила Диккенса в период его несмущаемого славой покоя: признанием его успехов придавили его к английской земле, вовлекли в славу, связали по рукам и ногам.

Прожив невесело долгие годы, Диккенс получил место парламентского стенографиста и как-то раз попытался взяться за сочинение небольших очерков, — собственно говоря, не столько из потребности к творчеству, сколько желая увеличить свой заработок. Первый опыт удался, он стал постоянным сотрудником журнала. Потом издатель предложил ему написать сатирические заметки по поводу одного клуба; эти заметки должны были служить как бы текстом к карикатурам из жизни английского *gentry**. Диккенс согласился. И удача превзошла все ожидания. Первые выпуски «Пиквикского клуба» имели беспрецедентный успех; спустя два месяца «Боз» стал национальным писателем. Слава толкнула его дальше, из Пиквика создан был роман. И опять удача. Все теснее и теснее сплетается сеть — тайные пути национального признания, подвигающего его от одного труда к последующему, с усиливающимся уклоном в сторону властных вкусов современности. И эта сеть, тысячами сложных петель, сплетенных из признания, явных удач и горделивого представления о

* Некрупное земельное дворянство (*англ.*).

своей творческой независимости, пригнула его так крепко к английской земле, что он сдался и внутренне дал обет никогда не преступать эстетических и моральных законов своей родины.

Гулливер среди лилипутов, он остался во власти английской традиции и мещанского вкуса. Его чудесная фантазия, которая подобно орлу могла бы парить над этим тесным миром, запуталась в капкане успеха. Глубочайшее довольство гнетом легло на его художественное вдохновение. Диккенс был доволен. Доволен миром, Англией, своими современниками; а они были довольны им. Та и другая сторона ничего другого не желали. В нем не было гневной любви, той, что хочет карать, потрясать, причинять боль и поднимать ввысь; не было присущей великим художникам воли бороться с Богом, отвергая его мир и творя его заново, по своему собственному замыслу. Диккенс был благочестив и робок; все существующее вызывало в нем благосклонное признание, детский, жизнерадостно игривый восторг. Он был доволен. Он не хотел многого. Когда-то он был очень бедным, забытым судьбой, запуганным миром мальчиком; жалкая ремесленная работа омрачила его юность. В те времена были у него пестрые, красочные грезы, но люди оттолкнули его и обрекли на долгую, тайно-ожесточенную робость. Это осталось в нем и жгло его. Его детство, собственно, и было его трагическитворческим переживанием, — семя художественной воли упало здесь в плодородную почву молчаливого страдания; и когда появились у него сила и возможность широкого воздействия, его глубочайшим желанием стала месть за это детство.

Своими романами он хотел помочь всем бедным, брошенным, забытым детям, которые, как некогда он сам, страдали от несправедливости, благодаря плохим учителям, равнодушию родителей, недостатку образования, благодаря обычному для большинства людей небрежному, невнимательному, эгоистическому отношению к другим. Он хотел сохранить для них те несколько красочных лепестков детской радости,

которые завяли в его собственной груди, неокропленные росой человеческой доброты. Все это вернула ему впоследствии жизнь, и он не имел повода жаловаться; но детство взывало в нем к мести. И единственным его моральным замыслом, единственным стремлением его творческой воли было помочь этим слабым; в этой области он хотел улучшить современный жизненный уклад. Он не отвергал его, не шел войной на государственные устои. Он не грозит, не поднимает в гневе руку на все поколение, на законодателей, на сограждан, не восстает против лживых условностей, — он только время от времени осторожно указывает на отверстую рану.

Англия была единственной страной в Европе, не подверженной в то время, около 1848 года, революциям; и он тоже не хотел разрушений и созиданий — он хотел исправлять и улучшать, хотел только сгладить и смягчить проявления социального зла там, где шипы его с чрезмерной болью и остротой вонзаются в живое тело, но не пытался извлечь на свет и уничтожить корни этого зла, его основные причины. В качестве истинного англичанина он не посягает на основания морали; они для него, при его консерватизме, священны, как *gospel*, как Евангелие. И это довольство, настоянное на чахлом темпераменте его эпохи, характерно для Диккенса. Как и его герои, он не хотел от жизни многого. Герой у Бальзака алчен и властолюбив, его сжигает тщеславное стремление к могуществу, он ничем не доволен. Все они ненасытны, каждый из них — завоеватель мира, революционер, анархист и тиран одновременно. Темперамент у них наполеоновский. Также и герои Достоевского пылки и экстатичны, воля их отвергает мир и в великолепном недовольстве существующей жизнью стремится к иной, к истинной; они не хотят быть гражданами и людьми; в каждом из них, при всем смирении, тлеет искра опасного тщеславия — стать Спасителем. Бальзаковский герой хочет поработить мир, герой Достоевского — преодолеть его. И тот и другой напряженно борются с будничным, держа направление в безграничность. Персонажи Диккенса отличаются скромностью. Господи Бо-

же, чего им нужно? Сотню фунтов в год, хорошую жену, дюжину детей, уютно накрытый для добрых друзей стол, коттедж в предместье Лондона с зеленью под окном, с небольшим садиком и горсточкой счастья. Идеал их мелочный, мещанский, — с этим приходится у Диккенса помириться. Все они, в душе, против каких-либо перемен в мироздании, не хотят ни богатства, ни бедности; они хотят только приятной середины, той, что в качестве жизненного девиза так хороша для лавочника и так опасна для художника. Идеалы Диккенса заимствовали тусклость у окружающей среды. За его творчеством — не гневное, смиряющее хаос божество, неземное и исполинское, а мирный и удовлетворенный наблюдатель, лояльный буржуа. Атмосфера всех диккенсовских романов пронизана этой буржуазностью.

Поэтому великой его и незабываемой заслугой остается, собственно говоря, то, что он открыл романтику обывателя, поэзию прозы. Он первый воссоздал будни самой непоэтической из наций, как нечто поэтическое. Он озарил солнечным светом эту серую безразличность; и кто хоть раз видел, в каком золотом сиянии встает из угрюмого английского тумана разгорающееся солнце, тот поймет, что писатель, художественно воссоздавший этот миг освобождения от свинцовых сумерек, облагодетельствовал свою нацию. Диккенс — это светлая радуга над английскими буднями, воссиявшая в них святость простых вещей, незамысловатых героев, Диккенс — английская идиллия. Он искал своих героев, с их судьбами, в тесных улицах предместий, мимо которых равнодушно проходили другие писатели. Они искали героев под люстрами аристократических салонов, на путях в зачарованный лес *fairytale**, уходили в далекое, нездешнее, необычайное.

Обыватель казался им воплощением гнетущей земной тяжести, и им нужны были другие, пламенные, в экстазе возносящиеся души, люди, настроенные лирически, героически.

* Волшебных сказок (англ.).

Диккенс не постеснялся сделать своим героем простого ремесленника. Он был *self-made-man*^{*}, он вышел из низов и сохранил к этим низам трогательное благоговение. Ему свойствен был удивительный восторг перед ординарным, воодушевление по поводу ничего не стоящих, старомодных пустяков, всяческого жизненного хлама. Его книги являют собой подобный *curiosity shop*^{**}, полный вещей, которые всякий счел бы дешевкой, набор курьезов и замысловатых пустяков, десятилетиями тщетно ожидавшихся любителя. Но он подобрал эти ветхие, ничего не стоящие, пыльные вещицы, начистил их до блеска, соединил в одно целое и выставил на солнце своего юмора.

И внезапно они загорелись неслыханным сиянием. Так и ничтожные, мелкие чувства человеческие добыл он из простых сердец, прислушался к ним внимательно, наладил их механизм и заставил их снова тикать. И внезапно, как игрушечные часики, они зажужжали, замурлыкали, затянули старинную тихую мелодию, более приятную сердцу, чем мрачные баллады о рыцарях легендарных времен и песни «женщины с моря». Диккенс высвободил из пыли забвения весь обывательский мир и заново воссоздал его; и лишь в его творениях приобрел он живую жизнь. Он, силой своего снисхождения, сделал понятными и дурачества и предрассудки этого мира, силой любви осмыслил его красоты, претворил его суеверия в новую, чрезвычайно поэтическую мифологию. Трещание сверчка на печи стало музыкой в его рассказе, новогодние колокола заговорили человеческим языком, очарование рождественской ночи роднит поэзию с религиозным чувством. В самых маленьких торжествах разыскал он глубокий смысл; он помог всем этим простым людям открыть поэзию их будничной жизни, сделал для них еще более приятным, что было для них приятнее всего, их *home*, тесную комнату, где поблескивают в камине красные язычки и тре-

^{*}Человек, обязанный самому себе (*англ.*).

^{**}Магазин редкостей, курьезов (*англ.*).

щат сухие поленья, где поет и бормочет на столе чайник, где отрешившиеся от желаний люди запираются от грозных бурь, от неистового натиска мира.

Он хотел научить поэзии будней всех тех, кто обречен был на эти будни. Он указывал тысячам и миллионам, как нисходит в их жалкую жизнь вечное, как под золой будней тлеют искры тихой радости; он учил их раздувать эти искры в бодрящее пламя уюта. Он хотел помочь беднякам и детям. Все, что выходило, в материальном или духовном смысле, за пределы этого жизненного слоя, было ему не по сердцу; он всей душой любил только обыкновенное, будничное. Он был суров к богачам и аристократам, к избранникам жизни. В его книгах они почти всегда выступают как плуты и скряги; редко это портреты, чаще — карикатуры. Он не любил их. Слишком часто носил он, ребенком, письма своему отцу в долговую тюрьму, видел исполнительные листы, слишком близко узнал, что значит не иметь денег; годы просидел он в крохотной, грязной, лишенной солнечного света комнате, наполняя сапожной ваксой коробки и перевязывая бечевкой сотни этих коробок в день, пока не начинали гореть маленькие детские руки и слезы отверженности не брызгали из глаз. Слишком хорошо познакомился он с голодом и нуждой, в холодном утреннем тумане лондонских улиц. Никто в то время не помог ему, кареты проезжали мимо мерзнувшего мальчугана, люди верхом на лошадях не обращали на него внимания, двери домов не растворялись. Только от маленьких людей видел он хорошее и только им хотел вернуть их дар. Его творчество в высшей степени демократично; социализму он чужд, не будучи радикалом, — только любовь и сострадание сообщают ему его творческий пафос. Он охотнее всего держался мира средних обывателей — середины между богадельней и рентой; только с этими простыми людьми чувствовал он себя хорошо. Он расписывает их жилища широкой и сочувственной кистью, словно сам хочет поселиться в них, создает им замысловатые, солнечным светом озаренные судьбы, грезит их скромными грезами; он их правозаступ-

ник, их наставник, их любимец, светлое, вечно греющее солнце их простого, окрашенного в серый цвет мира.

Но как обогатился, благодаря ему, этот скромный мир скромных существ! Вся обывательская жизнь, с ее домашним скарбом, с пестротой ее профессий, с необозримой путаницей чувств еще раз стала в его книгах космосом, вселенной с созвездиями и с богами. Под застойной, чуть колеблемой гладью мелких судеб острый взор различил сокровища и извлек их на свет при помощи тончайшей сети. Из сутолоки выловил он людей, сколько людей! — тысячи образов, население целого небольшого города. Среди них есть незабываемые, есть вечные в литературе образы, вышедшие за свои пределы и включенные в словарь народных понятий, как Пиквик и Сэм Уэллер, Пекснифф и Бетси Тротвуд, все, чьи имена волшебным образом вызывают у нас улыбку и приятное воспоминание.

Как эти романы богаты! Отдельных эпизодов «Давида Копперфильда» было бы достаточно, чтобы обеспечить материалом другого автора на всю жизнь; диккенсовские книги — это действительно романы в смысле полноты и непрерывности движения, не то, что наши немецкие — почти сплошь психологические новеллы, растянутые вширь. В них нет мертвых точек, нет пустынных песчаных отмелей: в них прилив и отлив событий, и в самом деле, они неисчерпаемы и необозримы, как море.

Нет почти возможности охватить взором веселую и неистовую сумятицу этих бурлящих человеческих жизней: они взлетают вверх, на сцену сердца, оттесняют друг друга и исчезают в круговороте. Подобно гребням морских волн, возникают они из прилива гигантских городов, снова срываются в кипящую пену событий; вновь появляются, вздымаясь и опадая, сливаются друг с другом или друг друга оттесняют. И все-таки все эти движения не случайны: за великолепной путаницей — прочный порядок; отдельные нити неукоснительно сплетаются в пеструю ткань. Ни один из образов, каким бы праздно промелькнувшим он ни казался, нельзя

скинуть со счетов; все они дополняют друг друга во взаимной приязни и неприязни, усиливают свет и тени. Пестрое нагромождение веселых и грустных событий кошачьи-игриво гонит клубок действия в разные стороны; все возможные чувства звучат и замирают, быстро сменяя друг друга, все смешано — бурная радость, страх, открытый задор; слеза расстроганного сердца сменяется слезой неподдельной веселости. Собираются тучи, рассеиваются, снова грозятся друг на друга, но в конце концов очищенный грозой воздух сияет под изумительным солнцем.

Некоторые из этих романов воспевают тысячи отдельных схваток, подобно Илиаде — Илиаде другого, земного, забывшего о богах мира; иные являются мирными, непритязательными идиллиями; но на всех романах, как выдающихся, так и мало читаемых, печать этого расточительного многообразия. И в каждом из них, даже в самых веселых и самых меланхолических встречаются нежные мелочи, вкрапленные, как цветы, в трагически каменистый ландшафт. Повсюду цветут эти памятные сердцу, прелестные безделушки; подобно крохотным фиалкам скромно таятся они на широко раскинувшихся лугах его повествования; повсюду звенит светлый родник безмятежного веселья, низвергаясь с угрюмых камней жесткого сюжетного остова. Есть целые главы у Диккенса, которые, по действию их, можно сравнить только с пейзажами, так чисты они, так божественно не запятнаны земной суетой, так солнечно цветущи в своей безмятежной и кроткой человечности.

Ради них одних следовало бы полюбить Диккенса, ибо они разбросаны в его книгах в таком художественном изобилии, что полнота переходит здесь в величие. Кто бы мог перечислить одних только героев его, всех этих чудаковатых, веселых, благодушных, чуть-чуть смешных и всегда таких занимательных людей? Все они застигнуты врасплох со всеми своими чудачествами и личными особенностями, наделены оригинальнейшими профессиями, запутаны в забавнейшие приключения. И при всем их множестве

ни один не похож на другого, каждый тщательно, до мельчайших деталей, разработан как отдельная личность; никто не отлит по шаблону, каждый чувствует и живет; они не выдуманы, а подсмотрены. Подсмотрены, благодаря несравненному зрению автора.

Взор Диккенса, отличаясь чрезвычайной точностью, представляет орудие изумительное и непогрешимое. Диккенс был гением видения. Возьмем любой из портретов Диккенса, юношеский или, еще лучше, в зрелые годы: первенствующее в них — его удивительные глаза. Это не глаза поэта, закатившиеся в высоком безумии или элегически затуманенные, в них нет мягкости, податливости, нет также и пламенной прозорливости. Это английские глаза — холодные, серые, блестящие как сталь. И, действительно, взор его подобен был сокровищнице из стали, в которой несгораемым, незыблемым, в некотором смысле воздухо непроницаемым хранилось все то, что когда-либо, вчера или много лет назад, было ему доверено извне: самое высокое и самое безразличное, какая-нибудь пестрая вывеска над лондонской лавочкой, давным-давно попавшаяся на глаза пятилетнему мальчику, или дерево под окном, с распускающимися цветами. Ничто не уходило от этого взора, он был сильнее, чем время; бережно складывал он впечатление за впечатлением в кладовые памяти, ожидая, пока писатель потребует их назад. Ничто не подвергалось забвению и не блекло, все покоилось в ожидании, хранило сочность и аромат, прозрачность и красочность; ничто не отмирало, не стиралось.

Зрительная память Диккенса несравненна. Стальным своим лезвием разрезает он туман, окутывающий детство; в «Давиде Копперфильде», этой замаскированной автобиографии, воспоминания двухлетнего ребенка о матери и служанке даны как силуэты, точно вырезанные ножницами по транспаранту подсознания. У Диккенса нет расплывчатых контуров; он не дает поводов к многообразному толкованию картины, он принуждает к ясности. Его изобразительная сила не оставляет свободы для фантазии читателя, он наси-

лует эту фантазию (вследствие чего он и стал идеальным писателем среди народа, лишенного фантазии). Призовите два десятка иллюстраторов к произведениям Диккенса и потребуйте от них портреты Пиквика и Копперфильда: рисунки выйдут похожими друг на друга, на них непостижимо схоже изображены будут пухлый джентльмен в белом жилете с приветливым взглядом из-под очков или красивый белокурый, робкий мальчик в почтовой карете, направляющейся в Ярмауз.

Диккенс изображает так отчетливо, так детально, что приходится подчиняться гипнозу его зрения: ему не свойствен был магический взор Бальзака, который высвобождает человеческий образ из огненного облака страстей, формируя его поначалу хаотически; он обладал земным взором моряка или охотника, обладал соколиным зрением в отношении человеческих мелочей. Но мелочи, по его словам, и составляют смысл человеческой жизни. Его взор ловит мелкие приметы, он замечает пятно на платье, слабый и беспомощный жест смущения, схватывает прядь рыжих волос, выглянувшую из-под темного парика, когда его владелец впал в ярость. Он чувствует оттенки, ощущает при рукопожатии каждый отдельный палец, наблюдает переходы в улыбке. Он, прежде чем стать литератором, провел годы в качестве парламентского стенографиста и упражнялся в искусстве давать целое в его частях, одним штрихом изображать слово, одной закрючкой — фразу. И впоследствии он, как писатель, выработал для себя род сжатой записи действительной жизни, описание заменял коротким значком, из многообразных фактов выжимал свою наблюдательскую эссенцию.

Он обладал острым до жути зрением на внешние мелочи, от взора его ничто не ускользало, он, как объектив хорошего фотографического аппарата, улавливал движение, жест в одну сотую секунды. И эта острота усиливалась еще благодаря особой способности преломления, приводившей к тому, что предмет не отражался в его глазах в естественных своих пропорциях, как в обыкновенном зеркале, а принимал особо

характерные очертания, как в зеркале вогнутом. Диккенс постоянно подчеркивает приметы своих героев: не довольствуясь объективным представлением, он переводит их в чрезмерность, в карикатуру. Он сообщает им особое напряжение, возводит их в символы. Основательно упитанный Пиквик и в душевном отношении доводится до округлости, худощавый Джингль — до сухости, злой — до сатанинства, добрый — до воплощенного совершенства. Диккенс, как всякий крупный художник, пользуется приемом усиления, но не в сторону величавости, а в направлении юмористическом. Всей чудесной силой своего изобразительного воздействия он обязан не своему вдохновению, не своему творческому подъему; она заложена в этой замечательной установке глаза, который, при чрезвычайной остроте зрения, отражает все жизненные явления преломленными как-то чудесно и карикатурно.

В самом деле, гений Диккенса — в этой своеобразной оптике, а не в душе, несколько мещанской. Собственно говоря, Диккенс никогда не был психологом из тех, что, волшебным образом постигая человеческую душу, развивают из ее темных или светлых начал таинственные ростки явлений, с их окраской и контурами. Его психология начинается с видимого, он характеризует по внешним признакам — правда, по тем признакам, последним и тончайшим, которые доступны только творчески острому зрению. Подобно философам английской школы, он начинает не с предвзятых утверждений, а с признаков. Он ловит самые незаметные, часто внешние проявления душевной жизни и делает по ним ясным весь характер, благодаря своей замечательной карикатурной оптике. По признакам он предоставляет определить вид. Школьного учителя Крикля он наделяет тихим голосом, так что тот говорит с трудом. И уже чувствуешь трепет детей перед человеком, у которого от голосового напряжения вздуваются на лбу гневные жилы. У его Урии Гипа всегда холодные и влажные руки, — и образ дышит уже чем-то нерасполагающим, противно змеиным. Все это — мелочи, внешние

приметы, но такие, которые действуют на душевную область. Иногда то, что он изображает, всего только воплощенная причуда, причуда, облекшаяся в образ человека и двигающая его механически, как куклу.

Иногда он характеризует человека при помощи его спутника, — кем был бы Пиквик без Сэма Уэллера, Дора без Джипа, Барнеби без ворона, Кит без пони? В таких случаях своеобразие фигуры обрисовывается не ею самой, а ее причудливой тенью. Его характеры являются, собственно говоря, совокупностью признаков, но признаков, данных столь отчетливо, что они вплотную пригоняются друг к другу и дают мозаическую картину. И поэтому они, большей частью, действуют только внешне, вызывают только прочное зрительное воспоминание. Если назвать по имени одного из героев Бальзака или Достоевского, — отца Горио или Раскольников, — тотчас же возникает чувство, память об отречении, об отчаянии, о хаосе страстей. Если произнести слово Пиквик, то является образ: развеселый джентльмен, весьма тучный и с золотыми пуговицами на жилете. Чувствуется: о фигурах Диккенса думаешь как о нарисованных картинах, о героях Достоевского и Бальзака — как о музыке. Ибо последние двое творят интуитивно, а Диккенс только воспроизводит; он видит оком телесным, а они — духовным. Он постигает душу не там, где она выступает из мрака бессознательного, вызванная семикратно ослепительным светом творческого заклęcia, а подстерегает ее бесплотные излучения в те мгновения, когда они облекаются плотью реальности; он ловит тысячи проявлений воздействия души на тело, и в этих случаях не упускает ни одного.

Его фантазия — это, в сущности, только его взор; она ограничена поэтому чувствами и образами срединной, земной сферы; его герои пластичны только в умеренной температуре обычных чувств. При высоком накале от страстей они тают, как восковые фигуры, в сентиментальности или же цепенеют в ненависти и становятся хрупкими. Диккенсу удаются только прямолинейные натуры, а не те, по-разному

более интересные, в которых тысячи трудно уловимых переходов от добра к злу, от Бога к зверю.

Его персонажи всегда выдержаны в одном ключе: либо они безукоризненны, как герои, либо низменны, как негодяи; это натуры с predetermined судьбой, с позорным клеймом или сиянием святости вокруг чела. Его мир колеблется между good и wicked*, между полнотой чувства и бесчувственностью. За пределы этого мира, в область таинственных связей, мистических переплетений, для него, как писателя, нет пути. Грандиозного не схватишь, героического не изучишь. Слава и трагедия Диккенса в том, что он все время держится середины между гением и традицией, между неслыханным и банальным — на благоустроенных путях земного мира, в приятном и волнующем, в уюте и мещанстве.

Но этой славы было для него недостаточно: идиллик страстно хотел быть трагиком. Вновь и вновь брался он за трагедии, и каждый раз приходил к мелодраме. Тут был его предел. Опыты его в данной области безотрадны: пусть «История двух городов» и «Холодный дом» считаются в Англии высокими творениями, — для нашего чувства они потеряны, ибо величавость их деланная. Трагическая напряженность в этих романах поистине изумительна: Диккенс нагромождает один заговор на другой, собирает катастрофы, как грозовые тучи, над головами своих героев, заклятиями вызывает ужасы дождливых ночей, народные восстания, революции, пускает в ход весь аппарат устрашения и запугивания. Но нет, высокого ужаса все-таки не испытываешь, появляется только жуть, чисто физический рефлекс страха, а не душевное содрогание.

В его книгах нет места тем глубоким потрясениям, тому грозovому гнету, от которых сердце трепещет и, стеноя, ждет разряда молнии. Диккенс громоздит одну опасность на другую, но от этого не страшно. У Достоевского порой разверза-

* Хороший и слабый (англ.).

ются бездны; дыхание захватывает, когда чувствуешь, что и в твоей груди встает внезапно тот же мрак, открывается та же пропасть: земля колеблется под ногами, испытываешь резкое головокружение, пламенное, но сладкое, хочется сорваться вниз; и вместе с тем содрогаешься от этого чувства, в котором радость и страдание накалились до такого жара, что их уже не отличить друг от друга.

И у Диккенса встречаются такие бездны. Он раскрывает их перед вами, наполняет их чернотой, указывает на всю их опасность; но нет, ужаса не испытываешь, нет того сладостного головокружения, той духовной тяги в бездну, вниз, в которой, может быть, высшее очарование художественного восприятия. С ним чувствуешь себя как-то уверенно, словно держишься за перила; знаешь, что он не даст сорваться вниз; знаешь, что герой не погибнет; два белокрылых ангела, парящих неизменно при этом английском писателе, — сострадание или справедливость — перенесут его невредимым через все ущелья и пропасти. Для истинной трагичности Диккенсу недостает упорства, мужества. Он не героичен, а сентиментален. Трагичность — это воля к непреклонности, сентиментализм — склонность к слезам. Диккенс никогда не доходил до предельной, чуждой слез и словоизлияния силы отчаявшегося страдания; кроткая растроганность, как в описании смерти Доры в «Копперфильде», — это высшая ступень серьезного чувства, доступная его воспроизведению.

Если он и готов подняться выше, то сострадание каждый раз грузом висит на нем. Всякий раз масло сострадания (часто прогорклое масло) смиряет ураган вызванных им стихий; сентиментальная традиция английского романа берет верх над волей к величавому. Ибо события в каждом английском романе должны, собственно говоря, служить только иллюстрацией к принятым в стране моральным положениям; мелодию судьбы неизменно сопровождает приглушенный мотив: «Храни постоянную верность и честность». Конец должен быть апокалипсисом, страшным судом: добрые возносятся ввысь, злые наказуются. И Диккенс, к сожалел-

нию, перенес эту справедливость в большинство своих романов; его негодяи тонут, убивают друг друга, высокомерные и богатые разоряются, а герои сидят и греются у печки. И поныне англичане не терпят драмы, которая не кончалась бы успокоительным уверением, что все в мире в отличном порядке.

И эта чисто английская гипертрофия морального чувства охлаждала каким-то образом самые возвышенные вдохновения Диккенса, когда дело касалось трагического романа. Ибо мироощущением в этих романах, вложенной в них движущей и поддерживающей силой является не справедливость, творимая свободным художником, а справедливость в понимании английского обывателя. Диккенс подвергает чувства цензуре вместо того, чтобы предоставить им свободу проявления; он не дает им, подобно Бальзаку, пениться и изливаться через край, а направляет их, при помощи плотин и отводящих протоков, в каналы, где они вертят мельницы буржуазной морали. Проповедник, докладчик, школьный наставник, *common sense*-философ* невидимо присутствуют в мастерской художника и вмешиваются в дело; они соблазняют его на то, чтобы сделать из серьезного романа пример и назидание для юношества, вместо скромного воспроизведения необузданной действительности.

Правда, добрые чувства были вознаграждены по заслугам: когда Диккенс умер, епископ Винчестерский мог, в похвалу его произведениям, указать на то, что их можно спокойно дать в руки каждому ребенку; но именно то обстоятельство, что он воспроизводит жизнь не так, как она есть, а как хочется представить ее детям, умаляет его убедительную силу. Для нас, не-англичан, слишком уж выпирает в нем напоказ его мораль. Чтобы стать героем Диккенса, нужно быть образцом добродетели, идеалом в пуританском вкусе. У Филдинга и Смоллета, которые тоже были англичанами, хотя, правда, детьми более жизнерадостного века, герою ни-

* Философ «от здравого смысла» (англ.).

чуть не вредит, если он в схватке разобьет нос своему противнику или, при всей пылкой любви к благородной даме, переспит с ее служанкой. У Диккенса самые отчаянные не позволяют себе подобных безобразий. Наиболее буйные его герои по существу безобидны, их удовольствия всегда таковы, что старая дева, «spinster», может читать о них, не краснея. Вот Дик Свивеллер, распутник. В чем, собственно говоря, его распутство? Господи, да он выпивает четыре стакана эля вместо двух, платит очень неаккуратно по счетам, бездельничает чуть-чуть, — вот и все. И в конце концов, в надлежавший момент, он получает наследство — конечно, скромное — и весьма приличным образом женится на девушке, помогшей ему стать на стезю добродетели. Даже негодяи у Диккенса не безнравственны в настоящем смысле слова: вопреки дурным инстинктам, у них вялая кровь. Эта чисто английская ложь, это замалчивание чувственного пятном ложится на произведения Диккенса; косоглазое лицемерие, не видящее того, чего не желает видеть, отводит испытующий взор Диккенса от действительности. Англия эпохи королевы Виктории помешала Диккенсу исполнить его страстное желание — написать истинно трагический роман. И она до конца втянула бы его в свою сытую посредственность, сделала бы его, при помощи оков популярности, поверенным своей сексуальной лживости, если бы для него, как художника, не оставался другой, свободный мир, как прибежище его творческого вдохновения, если бы он не обладал серебряными крыльями, высоко поднимавшими его над глушью пошлых целесообразностей своим блаженным, почти неземным юмором.

Этот блаженный, алкионически свободный мир, куда не доходят туманы Англии, — это страна детства. Английская ложь подавляет у людей чувственное и подчиняет взрослых своей власти; но дети с райской безмятежностью живут чувствами, они еще не англичане, а яркие завязи цветов человеческих; дымный туман лицемерия не застилает еще их пестрого мира. И здесь, где Диккенс мог распорядиться сво-

бодно, не стесняясь, велениями своей английской буржуазной совести, он свершил бессмертное. Годы детства в его романах единственно-прекрасны; думается, навсегда пребудут в мировой литературе эти образы, эти грустные и веселые эпизоды из детской поры. Кто в состоянии позабыть Одиссею маленькой Нелль, — как из дымного тумана больших городов перебирается она со старым дедушкой на простор зеленеющих полей, кротко и беспечально, храня среди тревог и опасностей свою ангельскую улыбку вплоть до кончины. Это трогательно и, вне всяческой сентиментальности, граничит с самым подлинным, самым живым человеческим чувством. Вот Треддлз, толстый мальчишка в тесных штанах, забывающий за рисованием скелетов о боли полученных им побоев, Кит, вернейший из верных, маленький Никльби и, кроме того, еще один, тот самый, что вновь и вновь появляется, хорошенький, «очень маленький и не испытывавший слишком ласкового обхождения мальчик» — не кто иной, как Чарльз Диккенс, писатель, который, как никто другой, обессмертил свои собственные детские радости и печали. Вновь и вновь повествует он об этом приученном к смирению, заброшенном, запуганном, мечтательно настроенном мальчишке, которого родители обрекли на сиротство; и здесь его пафос действительно граничит со слезами, его звучный голос становится полным и звонким, как благовест.

Незабываемой остается эта вереница детей в романах Диккенса. Смех и слезы, высокое и забавное, чередуясь и взаимно просвечиваясь, сплетаются здесь в единое радужное сияние; сентиментальное и возвышенное, трагическое и комическое, поэзия и правда сливаются в одно целое, новое и незабываемое. Здесь он преодолевает английское, земное, здесь Диккенс велик и несравненен безоговорочно. Если ставить ему памятник, то следовало бы вереницей мраморных детских фигур окружить его бронзовое изваяние, в качестве их защитника, отца и брата. Ибо их он любил поистине, как чистейшее проявление человеческой сущности. Если он хотел

представить людей в привлекательном виде, он наделял их детскими чертами.

Ради детей он любил даже тех, в ком было даже уж не детское, а ребячливое, любил слабоумных и помешанных. Во всех его романах встречаются такие кроткие умалишенные, чьи бедные, растерявшиеся мысли парят, подобно белым птицам, над миром тревог и скорби, для которых жизнь — не загадка, не тяжкий труд и подвиг, а блаженная, вовсе непонятная, но прекрасная игра. Трогательно вспомнить, как изображает он этих людей. Он подходит к ним бережно, как к больным, окружает чело их благостью, как сиянием. Они в его глазах блаженны, потому что навсегда остались в райской обители детства. Ибо детство — это рай в произведениях Диккенса. Читая диккенсовский роман, я всегда испытываю скорбный страх по мере подрастания детей; я знаю, что предстоит утрата самого лучшего, самого невозвратимого, к поэзии примешиваются условности, к чистой истине — английская ложь.

И сам он, по-видимому, разделяет в глубине души это чувство, ибо очень неохотно вводит своих любимых героев в жизнь. Он никогда не сопровождает их до зрелых лет, когда они становятся обыкновенными, становятся торгашами на жизненной арене, он прощается с ними, доведя их сквозь все препятствия до брачного алтаря, до зеркально гладких вод мирного существования. А одного ребенка, того, что был ему милее всех в этой пестрой веренице, маленькую Нелль, в которой он увековечил память о дорогой его сердцу усопшей, он вовсе не пустил в холодный мир разочарований, в обитель лжи. Он навсегда оставил ее в раю ее детства, сомкнул до времени ее кроткие голубые глаза, дал ей незаметно перенестись из сияния жизненной весны в сумрак смерти. Он слишком любил ее, чтобы отдать миру действительности.

Ибо, как я уже говорил, этот мир слишком мешански ограничен у Диккенса, это — усталая и насытившаяся Англия, ничтожная доля огромных жизненных возможностей. Столь жалкий мир можно было обогатить только высоким

чувством. Бальзак возвеличил мещанина своей ненавистью, Достоевский — своей христианской любовью. И Диккенс, как художник, тоже несет этим людям спасение от гнетущей их земной тяжести, — он спасает их своим юмором. Он не относится к своему мелко мещанскому миру с важностью объективного наблюдателя, не подпекает гимну в честь здоровымыслящих, в честь трезвости и деловитости, — гимну, который делает наши современные немецкие доморощенные романы в большинстве столь отвратительными; он добродушно и весело подмигивает своим героям, он, подобно Готфриду Келлеру и Вильгельму Раабе, делает их чуть-чуть смешными, с их карликовыми тревогами. Но смешными в дружеском, благодушном смысле этого слова, так что всяческие их чудачества и всяческое шутовство становятся еще более приятными. Юмор его словно солнцем озаряет его книги, сообщает их скромному ландшафту внезапную живость и очарование, вносит тысячи восхитительных чудес; под этим благостным и согревающим светом все становится более жизненным и правдоподобным: даже притворные слезы сверкают как бриллианты, маленькие страсти разгораются подлинным пожаром.

Диккенсовский юмор делает творения Диккенса, помимо его эпохи, достоянием всех времен, он спасает их от английской скуки. Своей улыбкой Диккенс преодолагает ложь. Подобно Ариэлю, витает этот юмор в сфере его творчества, одухотворяя его, внося в него таинственную музыку, вовлекая его в хоровод, в великую радость жизни. Он вездесущ. Даже из глубин смятенности и мрака светится он, как лампочка рудокопа из шахты; он разряжает напряженнейшие положения, смягчает излишнюю сентиментальность налетом иронии, чрезмерность чувства — оттенком причудливости; юмор — это примиряющее, выравнивающее, непреходящее в его творчестве.

Как и все у Диккенса, его юмор, конечно, английский, чисто английский. Ему тоже недостает чувственности, он не забывается, не опьяняется вдохновением, не хватает через

край. Даже в избытке своем он размерен, чужд гогочущей отрыжки, как у Рабле, кувыркания в порывах дикого восторга, как у Сервантеса, или головоломных трюков, как у американцев. Он остается неизменно ровным и бесстрастным. Диккенс, как все англичане, улыбается только ртом. Его веселость не воспламеняет сама себя, она только искрится и посылает потоки света в человеческие сердца; она вспыхивает тысячами огоньков, призрачно сверкает, манит и дразнит, — чья-то обворожительная, шаловливая игра в самом средоточии земных событий. И юмор его (такова уж судьба Диккенса, — представлять собой середину) является равнодействующей между чувственным опьянением, бурным неистовством и холодной иронией. Его юмор несравним с юмором других великих англичан.

В нем нет ничего общего с разлагающей и едкой иронией Стерна, с залихватской, своенравной, помещицье-дворянской веселостью Филдинга: он не растравляет человеческого сердца, как Теккерей, от него всегда хорошо и не больно; он, как солнечный зайчик, играет и скользит вокруг головы и по рукам. Он не хочет быть ни моралистом, ни сатириком, не желает прикрывать шутовским колпаком что-либо вроде торжественной серьезности. Он вообще ничего не хочет. Он существует. Его существование непреднамеренно и само собой понятно; шутник заключен уже в той самой зрительной установке Диккенса, которая удивительным образом коверкает и усиливает образы, наделяя их забавнейшими соотношениями и комически их вывертывая, так что они становятся предметом восторга миллионов людей. Все попадает в полосу этого света, фигуры светятся как бы изнутри; даже у мошенников и негодяев какое-то исходящее от юмора сияние; кажется, что, когда Диккенс глядит на мир, все как-то поневоле начинает улыбаться. Все блещит и кружится; присущая стране туманов тоска по солнцу как будто навеки устранена. Слова у него кувыркаются и становятся на голову, отдельные фразы с журчанием переливаются друг в друга, отскакивают в сторону, играют в прятки со смыслом, перебрасываются

вопросами, дразнят и потешаются друг над другом; они окрылены для какой-то веселой пляски.

Этот юмор непоколебим. В нем есть вкус и без наличия той сексуальной соли, в которой отказала Диккенсу английская кухня; он не смущается тем, что за спиной писателя стоит и погоняет издатель; ибо даже в лихорадке, испытывая нужду и огорчения, Диккенс мог писать только весело. Нельзя противиться его юмору; он прочно гнезвился в этом изумительном по остроте зоре и погас только вместе с его блеском. Ничто земное не могло умалить его, и едва ли удастся это времени. Ибо я не могу представить себе людей, которые не любили бы такие рассказы, как «Сверчок на печи», которые могли бы подавить в себе чувство веселости при чтении некоторых эпизодов из этих произведений. Потребности человеческого духа, как и литературные вкусы, могут меняться; но до тех пор, пока будет существовать потребность в веселом настроении, в минуты покоя, когда воля к жизни дремлет и только чувство жизни мирно колышет свои волны, когда ни к чему так не стремится сердце, как к безмятежно мелодическому волнению, люди будут тянуться к этим единственным в своем роде книгам, и в Англии и во всем мире.

В этом земном, слишком земном творчестве величаво и непреходяще именно то, что оно пронизано солнцем, что оно светится и согревает. О великих произведениях искусства следует судить не только по их внутренней напряженности, не только по человеку, который стоит за ними, но и по силе их воздействия на массы. А о Диккенсе можно сказать, что он прибавил радости в этом мире больше, чем какой-либо писатель нашего века. Миллионы человеческих глаз заблестали слезой при чтении его книг; тысячам вернул он их смех, заглохший или приглушенный; его воздействие выходит далеко за пределы литературы. Богачи, прочитав о братьях Чирибль, одумывались и основывали благотворительные учреждения; жесткие сердцем поддавались волнению; детям — это достоверно — стали больше подавать

милостыни на улицах, когда появился «Оливер Твист»; правительство улучшило постановку дела в домах для бедных и установило контроль над частными школами.

Благодаря Диккенсу чувство сострадания сделалось живее в Англии и улучшилось отношение людей друг к другу; облегчилась участь многих и многих бедняков и несчастных. Знаю, что подобного рода воздействие не имеет ничего общего с эстетической оценкой художественного произведения. Но оно важно как свидетельство того, что всякое действительно великое творение, помимо мира фантазии, где творческая воля является магически самодовлеющей, способно внести изменения и в мир действительности — изменения в существенном, в видимом, а также и в напряженности чувствово-приятя. Диккенс, в противоположность другим писателям, просившим о сострадании и соучастии к себе, увеличил сумму радостей и утех своей эпохи, усилил ее кровообращение. В мире стало светлее с того дня, как молодой парламентский стенографист взялся за перо, чтобы писать о людях и их судьбах. Он сохранил для своего времени его радости, а для последующих поколений — жизнерадостность «merry old England»*, Англии в промежутке между наполеоновскими войнами и империализмом. По прошествии ряда лет будут еще оглядываться назад, на этот для того времени уже старозаветный мир с его стремлениями и исчезнувшими профессиями, ибо их изотрет в пыль молот индустриализма, и вздохнут, может быть, по жизни, которая была безобидна, исполнена простых и тихих радостей.

Диккенс, как писатель, создал английскую идиллию, — в этом его подвиг. Не следует перед лицом величественного пренебрегать этой тишиной, этой удовлетворенностью, — ведь и идиллия есть нечто вечное, издревле возвращающееся. Здесь заново созданы Георгики или Буколики, спета песнь отступающего, успокоенного после ужасов борьбы человечества, — так же, как вечно она будет воссозда-

* Веселая старая Англия (англ.).

ваться и звучать в смене поколений. Этот миг возвращается, чтобы вновь пройти, — передышка между периодами тревоги, накопление сил после схватки или перед новой схваткой, секунды удовлетворенности вечно мятущихся сердец. Одни творят силу, другие — тишину. Чарльз Диккенс претворил в поэму одно из мгновений мировой тишины.

Ныне жизнь становится опять более шумной, грохочут машины, совершается круговорот времени. Но идиллия бессмертна, ибо в ней радость жизни; она возвращается вновь, как сияние голубого неба после непогоды; вечная жизнерадостность приходит на смену тревогам и потрясениям. Так и Диккенс будет вновь и вновь возникать из забвения в эпохи, когда люди, нуждаясь в просветлении и устав от трагической борьбы страстей, захотят внимать и тихим звукам, вещающим призрачную музыку поэтического.





ДОСТОЕВСКИЙ

В вечной недоверженности —
твое величие.

Гёте. Западно-восточный диван

СОЗВУЧИЕ

Трудное и ответственное дело — достойными словами говорить о Федоре Михайловиче Достоевском и его значении для нашего внутреннего мира, ибо ширь и мощь этого неповторимого человека требуют новых мерок.

Приближаясь к нему впервые, мы рассчитываем найти законченное произведение, поэта, но открываем безграничность, целое мироздание с вращающимися в нем светилами и особой музыкой сфер. Ум теряет надежду когда-либо проникнуть до конца в этот мир: слишком чуждой кажется нам при первом познании его магия, слишком далеко уносит в беспредельность его мысль, неясно его назначение, — и душа не может свободно любоваться этим новым небом, как родным. Достоевский — ничто, пока он не воспринят внутренним миром. В сокровеннейших глубинах мы должны испытать собственную силу сочувствия и сострадания и закалить ее для новой, повышенной восприимчивости: мы должны докопаться до глубочайших корней нашего существа, чтоб обнаружить нити, связующие нас с его как будто фантастической и в то же время такой подлинной человечностью. Только там, в самых тайных, в вечных и неизменных глубинах на-

шего бытия, где сплетаются все корни, можем мы надеяться отыскать связь с Достоевским; ибо чуждым кажется внешнему взору этот русский ландшафт, не искожены здесь пути, подобно степям его родины; и как мало в этом мире от нашего мира!

Ничто не ласкает здесь взор, редко манит к отдыху спокойный час. Прорезаемый молниями мистический сумрак чувства чередуется с холодной ясностью ума; вместо согревающего солнца в небе пылает таинственное, истекающее кровью северное сияние. В первобытный ландшафт, в мистическую область приводит нас древний и девственный мир Достоевского, и вызывает он сладостный страх приближения к вечным стихиям. Но едва успеет остановиться здесь доверчивый восторг, как к потрясенному сердцу подкрадывается предостерегающее предчувствие: здесь нельзя остаться навсегда; надо вернуться в наш более теплый, более уютный, но в то же время более тесный мир. И в смущении сознаешь: слишком величествен для обыденного взора этот бронзовый ландшафт, слишком тяжел для трепещущих легких то ледяной, то пламенный воздух. Душа стремилась бы унести от величия этого ужаса, если бы не простиралось, сияя звездами, над неумолимо трагическим, ужасающе земным ландшафтом безграничное небо благодати, небо, расстилающееся и над нашим миром, но в этой атмосфере жестокой духовной стужи уходящее в беспредельность выше, чем в наших теплых странах. Подымаясь от этого ландшафта к его небу, успокоенный взор находит бесконечное утешение в бесконечной земной печали и предчувствует в страхе — величие, Бога — во тьме.

Только такое прозрение в глубочайший смысл творчества Достоевского может превратить наше благоговение перед ним в пламенную любовь; только проникновенное созерцание его своеобразия может нам раскрыть истинно братское, всечеловеческое начало в этом русском человеке. Но как крут, как труден спуск в лабиринт сердца этого гиганта! Могущественное в своем просторе, пугающее своей ширию, это неповто-

римое создание становится тем таинственнее, чем больше мы стараемся проникнуть из его беспредельной шири в его беспредельную глубину. Ибо везде оно насыщено тайной. От каждого созданного им образа спускается тропа в демонические пропасти земного, каждый полет в область духа касается крылом божьего лика. За каждой стеной его творения, за каждым обликом его героев, за каждой складкой его облаченья расстилается вечная ночь и сияет вечный свет; ибо назначением своей жизни и направлением своей судьбы Достоевский крепко связан со всеми мистериями бытия.

Между смертью и безумием, между мечтой и жгуче отчетливой действительностью стоит его мир. Повсюду его личная проблема граничит с неразрешимой проблемой человечества, каждая освещаемая им поверхность отражает бесконечность. Как человек, как поэт, как русский, как политик, как пророк, — всегда его существо излучает вечную идею. Ни одна дорога не приводит к краю, ни один вопрос — ко дну пропасти его сердца. Лишь преклонение смеет коснуться его, — смиренное преклонение, смешанное со стыдом, — ибо оно меньше того любовного благоговения, которое ощущал он сам перед мистической сущностью человека.

Сам Достоевский не пошевелил пальцем, чтобы приблизить нас к себе. Другие строители великих созданий нашей эпохи не скрывают своей воли. Вагнер снабдил свое творение программными объяснениями, полемическими оправданиями; Толстой раскрыл все двери своей обыденной жизни, удовлетворяя любопытство каждого, давая ответ на любой вопрос. Но он, Достоевский, раскрывал свое намерение лишь в законченном произведении, — свои планы он сжигал в огне творчества. Вся жизнь он был молчалив и робок. И даже его физическое существование представляется как бы не вполне доказанным. Лишь в юности он имел друзей, в зрелом возрасте он был одинок: отдаваться единичной личности казалось ему умалением любви ко всему человечеству. И письма

его говорят лишь о житейских потребностях, о муках страдающего тела; уста их замкнуты, несмотря на то, что все они — одна жалоба и крик нужды. Долгие годы — все его детство — окружены мраком, и уже сейчас тот, чей пламенный взор встречали наши старшие современники, стал как человек бесконечно далеким, почти сверхчувственным, легендой, героем и святым. Этот полумрак действительности и загадочности, окружающий возвышенные облики Гомера, Данте и Шекспира, делает и его образ как бы неземным. Не по документам, а лишь силой проникновенной любви можно воссоздать его судьбу.

Итак, без проводника приходится искать пути в этом лабиринте, сматывая нить Ариадны — души — с клубка собственной жизни и страсти. Ибо, чем глубже мы проникаем в его душу, тем глубже мы погружаемся в самих себя. Только дойдя до нашей общечеловеческой сущности, приблизимся мы к нему. Кто знает многое о себе, многое знает и о том, кто был высшим мерилom всего человеческого. И путь к его творчеству ведет через чистилище страсти, через ад пороков, проходит по всем ступеням земных страданий: страданий человека, страданий человечества, страданий художника и, наконец, самых жестоких страданий — страданий религиозных. Мрачен этот путь, и душа должна пылать страстью и любовью к истине, чтобы не заблудиться на нем: мы должны спуститься в собственные недра прежде, чем осмелиться проникнуть в его глубины. Он не посылает вестников, — только переживание сближает с Достоевским. И нет о нем других свидетельств, кроме мистического триединства в духе и во плоти: его облика, его судьбы и его творений.

ОБЛИК

Его лицо на первый взгляд представляется лицом крестьянина. Морщинятся землистые, впалые, будто грязные щеки, избороденные долголетними страданиями; трещинами ис-

пещрена сухая опаленная кожа, усеянная впадинами, обескровленная и обесцвеченная вампиром двадцатилетнего недуга. Справа и слева, будто каменные глыбы, выдаются славянские скулы; суровый рот и хрупкий подбородок скрыты за диким кустарником бороды. Земля, скалы и лес; трагический стихийный ландшафт — вот глубины его лица. Все мрачно, обыденно и лишено красоты в этом лице крестьянина, чуть ли не нищего; плоское и бесцветное, оно мерцает без блеска, — отрезок русской степи, усеянной валунами. И даже глубоко сидящие глаза не могут из своей бездны осветить эту рыхлую глину: пламя их острого взора не выбивается с яркой и ослепляющей силой наружу, а словно обращено внутрь, чтобы изнурять и разжигать кровь. Когда веки смежаются, смерть покрывает это лицо, и нервный подъем, оживлявший дряблые черты, сменяется бездушной летаргией.

Подобно его творчеству, из хоровода чувств вызывает этот облик ужас; робость сменяет его; но растет очарование, — и страстно нарастает преклонение перед ним. Ибо лишь изменность его лика, земная и плотская, дремлет в этой мрачно-возвышенной стихийной печали: подобно куполу, подымается над узким крестьянским лицом сияющая белизной, выпуклая, взлетающая возвышенность лба; из тени и мрака — стройный и светлый духовный храм; твердый мрамор над мягкой глиной плоти; дикая заросль волос. Вся лучезарность этого лица струится ввысь; вглядываясь в его портрет, видишь лишь широкий, могучий, величественный лоб, и будто все шире становится его простор, все ярче его сияние, по мере того как стареющее лицо меркнет и чахнет от болезни. Непокколебимо, как небесный свод, высится он над тленностью плоти — величие духа над скорбью земли.

И ни на одном портрете не сияет эта святая обитель победоносного духа величественнее, чем на портрете, снятом на смертном одре, когда веки бессильно опустились на помутневшие глаза, и поблекшие, бескровные руки крепко и жадно обхватили крест (то бедное деревянное распятие, которое когда-то подарила крестьянка каторжнику). Он освещает лик

усопшего, как утреннее солнце ночной ландшафт, и своим сиянием подает ту же весть, что и все его творения: дух и вера освободили его от тусклой и низменной плотской жизни. В последней глубине кроется последнее величие Достоевского, — и никогда лик его не был выразительнее, чем в смерти.

ТРАГЕДИЯ ЕГО ЖИЗНИ

Non vi si pensa quanto sangue costa*.

Dante

Первое впечатление от Достоевского — ужас, следующее — величие. И судьба его на первый взгляд так же представляется жестокой и обыденной, как лицо его крестьянским и простым. Сперва вы ощущаете ее как бессмысленное страдание: все орудия пытки терзают шестьдесят лет это хрупкое тело. Рубанок нужды скоблит его молодость и старость, пила физических страданий впивается в его кости, бурав лишений немилосердно сверлит его жизненный нерв, раскаленные проволоки нервов заставляют беспрестанно трепетать все члены, острые шипы сладострастия ненасытно возбуждают его страсть. Ни от одного мучения он не избавлен, ни одно страдание не забыто.

Бессмысленной жестокостью, олицетворением слепой злобы представляется на первый взгляд эта судьба. Лишь оглядываясь назад, постигаешь, что ее выковывал безжалостный молот, чтобы создать бессмертное творение: ей нужна была мощь, чтобы сравняться с могучим. Не общей мерой отмеривает она безмерному свои дары, ни в чем его жизненный путь не похож на гладко вымощенную широкую дорогу других писателей девятнадцатого столетия, постоянно чувствуется стремление сурового божества — подвергнуть сильного силь-

* Нельзя представить себе, сколько это стоит крови (*лат.*).

нейшим испытаньям. Ветхозаветной, героической и вовсе не современной, не буржуазной представляется судьба Достоевского. Вечно он должен бороться с ангелом, как Иаков, восставать против Бога и вечно смиряться, как Иов. Она не разрешает ему жить беспечно, лениво, — вечно он должен ощущать присутствие любящего и потому карающего Бога. Ни минуты он не может отдохнуть, наслаждаясь счастьем: путь его уходит в беспредельность. Иногда словно утихает гнев его судьбы, как будто она дает ему, как и всем другим, идти обычной жизненной дорогой, но каждый раз снова протягивается могучая рука и толкает его обратно в чашу колючих шипов. Если судьба взметает его ввысь, то лишь для того, чтобы ввергнуть в еще более глубокую пропасть, чтобы он познал всю мощь экстаза и отчаяния; она возносит его к высям надежд, где другие бессильно растекаются в сладострастии, и низвергает в бездну страданий, где все другие погибают от боли; и так же, как Иова, она поражает его в минуты самой стойкой уверенности, лишает его жены и ребенка, обрекает болезнью и бичует презрением, чтобы он не прерывал своего состязания с Богом и, в непрестанной борьбе и непрестанной надежде, все более приближался к нему.

Можно подумать, что эта эпоха холодных людей избрала его одного, чтобы показать, какие исполинские возможности наслаждения и страдания еще доступны нашему миру, и он, Достоевский, как будто смутно ощущает витающую над ним могучую волю. Ибо никогда он не сопротивляется своей судьбе, никогда его рука не сжимается в кулак. Большое, хилое тело конвульсивно бьется в судорогах; из его писем иногда, точно кровоизлияние, вырывается горячий вопль, но дух и вера подавляют возмущение. Мистической мудростью Достоевский постигает святость этой воли, трагически плодотворный смысл своей судьбы. Из его страданий произрастает любовь к страданию, и мудрым жаром своих мучений он воспаляет свою эпоху, свой мир.

Трижды возносит его жизнь к небесам, трижды низвергает

его в пропасть. Уже в молодости он вкушает сладкое блюдо славы: первая книга дает ему имя; но быстро схватывают его острые когти судьбы и снова бросают в неизвестность — в тюрьму, на каторгу, в Сибирь. Снова он вынырнул, более сильным, более мужественным: его «Записки из Мертвого дома» приводят Россию в восторг. Сам царь обливает книгу слезами; она воспламеняет русскую молодежь. Он основывает свой журнал, его голос звучит для всего народа, появляются первые романы. Но вот словно буря уносит его материальное благосостояние, плеть долгов и забот гонит его с родины, болезнь поражает его тело; кочуя, бродит он по всей Европе, забытый своим народом. И в третий раз, после долгих лет труда и лишений, он вынырнул из тумана неизвестности: речь на Пушкинских торжествах свидетельствует о нем, как о первом писателе, пророке страны. Отныне слава его неугасима. И в эту минуту железная рука уничтожает его, и восторженное поклонение народа беспомощно бьется у его гроба. Он больше не нужен судьбе, жестокая, мудрая воля добила своего: сорвав с его существования лучшие духовные плоды, она небрежно отбрасывает в сторону пустую оболочку тела.

Благодаря этой мудрой жестокости жизнь Достоевского становится произведением искусства, его биография — трагедией. И в чудесной символике его художественные произведения повторяют характерные черты его собственной судьбы. Тут есть таинственные совпадения, мистические сцепления, удивительные отражения, которые нельзя ни понять, ни объяснить. Уже вступление его в жизнь символично: Федор Михайлович Достоевский родился в больнице для бедных. Первый час существования уже намечает место его в жизни — где-то в стороне, в презрении, близ подонков общества — и все же в гуще человеческих судеб, по соседству с муками, страданиями и смертью.

И до последнего дня (он умер в рабочем квартале, в нищенской квартире на четвертом этаже) он оставался в этом окружении. Все шестьдесят тяжелых лет своей жизни он

проводит на дне жизни, в соседстве с горем, бедностью, болезнью и лишениями. Его отец, как и отец Шиллера, — военный врач, по происхождению дворянин; в жилах его матери течет крестьянская кровь. Оба источника русской народности плодотворно соединяются в нем. Строго религиозное воспитание уже с раннего возраста обращает его чувственность в экзатичность. Там, в московской больнице, в тесном чулане, который он делил с братом, провел он первые годы своей жизни. Первые годы; не осмеливаешься сказать — детство: это понятие как-то затерялось в его жизни. Он никогда не говорил о нем, а молчание Достоевского всегда было плодом сгуда или гордой боязни чужого сострадания. В его биографии серое пустое пятно там, где обычно у поэтов возникают пестрые трогательные картины: нежные воспоминания и сладостное сожаление. И все же, как будто узнаешь о его детстве, заглядывая глубже в горящие глаза созданных им детских образов. Вероятно, подобно Коле, он был рано развившимся ребенком, с живым, доходящим до галлюцинаций воображением; так же был он полон пламенного, трепетного стремления стать великим, так же охвачен необычным, полудетским, фанатическим желанием перерасти себя и «пострадать за всех людей». Как маленькая Нечочка Незванова, был он до краев наполнен любовью и в то же время истерическим страхом перед обнаружением ее. И как Илюша, сын пьяного штабс-капитана, он стыдится домашнего убожества и скорби лишений и, вместе с тем, всегда готов защищать своих близких перед людьми.

И когда юношей он выходит из этого мрачного мира, от детства уже не осталось следа. Он ищет утешения в пристанище всех униженных, в убежище всех обездоленных — в пестром и опасном мире книг. Он бесконечно много читал тогда вместе с братом, день за днем, ночь за ночью, — уже в ту пору он, ненасытный, доводил всякое влечение до порока, — и этот фантастический мир еще больше отдалял его от действительности. Полный пламенной любви к человечеству, он до болезненности нелюдим и замкнут. Лед и пламень в

одно и то же время, он был фанатиком сурового одиночества. Его страсть смутно блуждает в эти годы «в подполье»; он изведal все темные пути и распутья; но всегда он оставался одинок; сжав губы, с отвращением он предавался разврату и наслаждению — с сознанием своей вины. Из-за материальной нужды он вступает в армию: и там он не находит друга.

Проходит несколько тусклых юношеских лет. Как герои всех его произведений, в темном углу он влачит существование троглодита, мечтая, размышляя, отдаваясь всем тайным порокам мысли и чувств. Его честолюбие еще не пробудилось, он прислушивается к себе и накапливает мощь. Со сладострастием и с затаенным страхом он ощущает ее скрытое дрожание в глубине своего существа; он любит ее и боится в то же время; он не смеет шевельнуться, чтобы не помешать ее созреванию. Несколько лет он пребывает, будто в коконе, в этой мрачной, бесформенной стадии развития, в одиночестве и в молчании; он становится ипохондриком, его охватывает мистический страх перед смертью, ужас — иногда перед миром, иногда перед собой — могучий трепет перед хаосом собственной души. По ночам он занимается переводами, чтобы привести в порядок свою тощую кассу (деньги уходили у него — и это очень характерно — на удовлетворение двух противоположных влечений — на милостыню и распутство). Бальзаковская Евгения Гранде и шиллеровский Дон Карлос. Тусклый чад этих дней медленно сгущается в определенные формы, и наконец в этом туманном, полусонном состоянии страха и экстаза созревает его первое художественное произведение — небольшой роман «Бедные люди».

В 1844 году, двадцати четырех лет, он написал этот мастерский этюд о людях, — он, самый одинокий человек, — «со страстью, почти со слезами». Его глубочайшим унижением — бедностью — рождена эта повесть; его величайшей силой она одарена любовью к страданию и безграничной способностью к состраданию. С недоверием он смотрит на исписанные листки. Он предчувствует в них вопрос о своей

судьбе и решение этого вопроса; с трудом он заставляет себя доверить рукопись для просмотра поэту Некрасову. Два дня проходят без ответа. Одинок, погруженный в раздумье, сидит он ночью дома. Вдруг в четыре часа утра раздается резкий звонок, и Некрасов бросается в объятия удивленно открывающему дверь Достоевскому, целует и поздравляет его. Он прочитал рукопись с одним из своих друзей; всю ночь они слушали, радовались и плакали; они не могли удержаться: они должны были его обнять. Этот ночной звонок — первый миг в его жизни, призывающий к славе.

До позднего утра друзья обмениваются горячими словами счастья и восторга. И Некрасов мчится к Белинскому, всемогущему русскому критику. «Новый Гоголь явился», — кричит он еще в дверях и машет рукописью, точно флагом. «У вас Гоголи-то как грибы растут», — недоверчиво ворчит рассерженный таким восторгом Белинский. Но когда Достоевский посетил его на следующий день, он преобразился. «Да вы понимаете ль сами-то, что это вы такое написали?» — взволнованно крикнул он смущенному молодому человеку. Ужас охватывает Достоевского — сладостный трепет перед этой новой внезапной славой. В упоении он спускается с лестницы и, шатаясь, останавливается на углу. В первый раз он ощущает, не смея этому поверить, что все то мрачное и грозное, что волновало его душу, все это — проявление могущественной силы, быть может, того «прекрасного и высокого», что смутно грезилось ему в детстве, — бессмертия, страдания за весь мир. Упоение и сокрушение, гордость и уничтожение смущают его душу; он не знает, какому голосу поверить. Опьяненный, он бродит по улицам и плачет слезами счастья и скорби.

Так мелодраматично совершается обнаружение в Достоевском поэта. И тут форма его жизни таинственно подражает форме его произведений. Тут и там в резких контурах чувствуется примесь банальной романтики романов ужасов, в ударах судьбы — что-то примитивно-детское, и лишь внутренняя мощь и правда поднимают их до величия. В жизни

Достоевского многое начинается мелодрамой, но всегда кончается трагедией. Все зиждется на напряжении: развязки, без перехода, сжимаются в отдельные мгновения, десятью или двадцатью такими мгновениями экстаза или срыва определяются вся его судьба.

Это можно было бы назвать эпилептическими припадками жизни — миг экстаза и беспомощное падение. За каждым экстазом угрожающе стоит серая мгла расслабления чувств, и в нависающих тучах медленно сгущается новый убийственный удар жизненной молнии. Каждый подъем оплачен падением, и каждый благосклонный миг — многими часами безнадёжного рабства и отчаяния. Слава, блестящий венец, в тот час возложенный Белинским на его чело, в то же время был первым звеном громящей цепи, на которой Достоевский всю жизнь влачит тяжелый груз труда. «Белые ночи» — последняя вещь, которую он создал как свободный человек, ради восторга творчества. Творить с этих пор значит для него зарабатывать, возвращать, выплачивать, ибо каждое начатое им произведение уже с первой строки заложено благодаря авансам; еще не рожденное дитя продано в кабалу ремесла. Навсегда он замурован в темнице литературы; целую жизнь раздаются отчаянные мольбы заключенного об освобождении; но лишь смерть расковывает его цепи. Начинающий писатель еще не предчувствует в первой радости грядущих мучений. Быстро заканчивает он несколько рассказов и уже задумывает новый роман.

Но вот судьба грозно подымает перст. Его бдительный демон не хочет, чтобы жизнь стала для него слишком легка. И чтобы он познал ее во всей глубине, любящий его Бог посылает ему испытание.

Так же, как и тогда, раздаётся ночью звонок. Достоевский удивленно открывает дверь, но не голос, не торжествующий друг, не весть о славе встречает его на этот раз, а зов смерти. Офицеры и жандармы врываются в комнату, встревоженного писателя арестовывают, его бумаги опечатывают. Восемь месяцев он томится в каземате Петропавловской крепости, не

зная, какое преступление ему вменяют в вину; горячие споры в обществе нескольких друзей, названные громким именем «заговора Петрашевского», — вот все его преступление; его арест — плод недоразумения. И все же внезапной молнией ударяет приговор — высшая мера — расстрел.

Снова сжимается его судьба в одно мгновение, самое краткое, самое богатое в его жизни, — бесконечное мгновение, когда смерть и жизнь протягивают друг другу губы для жгучего поцелуя. На рассвете вместе с товарищами привозят его из крепости на Семеновский плац, накидывают на него мешок, прикручивают к столбу и завязывают глаза. Он слышит чтение смертного приговора, гремят барабаны; его судьба втиснута в горсть ожидания, бесконечное отчаяние, бесконечная жажда жизни — в одну-единственную молекулу времени. Но вот офицер подымает руку, машет белым платком и оглашает помилование: смертная казнь заменена тюремным заключением в Сибири.

С высоты первой юной славы он низвергается в пропасть безвестности. В течение четырех лет полторы тысячи дубовых столбов ограничивают его горизонт. На них он знаками и слезами, день за днем, отмечает четырежды повторяющиеся триста шестьдесят пять дней. Его товарищи — преступники, воры и убийцы; его работа — шлифовка алебаstra, таскание кирпичей и уборка снега. Евангелие — единственная книга; шелудивая собака и раненый орел — его единственные друзья. Четыре года он проводит в «Мертвом доме», в преисподней, — тень между тенями, безымянный, забытый. Когда, наконец, сняли кандалы с его израненных ног и остались за спиной столбы тюремного забора, — он уже стал иным: его здоровье разрушено, слава распылена, жизнь загублена. Лишь воля к жизни осталась непоколебленной и непоколебимой: ярче прежнего пылает в тающем воске его измученного тела горячее пламя экстаза.

Еще несколько лет он должен оставаться в Сибири, полусвободный, без права напечатать хотя бы строчку. Там, в ссылке, в суровом отчаянии и одиночестве, он вступает в

странный брак с первой женой, больной и своеобразной женщиной, которая нехотя отвечает на его участие и любовь. В этом решении навсегда сокрыта от любопытства и благоговения какая-то трагедия самопожертвования; лишь по некоторым намекам в «Униженных и оскорбленных» можно угадать молчаливый героизм этого фантастического жертвоприношения.

Забывтый, он возвращается в Петербург. Его литературные покровители покинули его, друзья разбрелись. Но из налетевшего на него шторма он выплыл мужественным и сильным. Его «Записки из Мертвого дома», эти неувядаемые очерки тюремного периода его жизни, вырвали Россию из летаргии равнодушного созерцания. С ужасом общество узнает, что в ближайшем соседстве с ним, под тонким пластом его спокойного мира существует другой мир: чистилище, мир мучений. Искра обвинения долетает до Зимнего дворца, царь рыдает над книгой, тысячи уст произносят имя Достоевского. В один год его слава восстановлена; она стала громче и прочнее, чем прежде. Возрожденный, он, вместе с братом, основывает журнал и сам заполняет его почти целиком; поэт становится проповедником, политиком, «*praeseptor Russiae*» — наставником России. Громко откликается эхо, журнал получает огромное распространение, Достоевский заканчивает роман; коварно подмигивая, манит его счастье. Судьба его, казалось, упрочена навсегда.

И еще раз мрачная воля, руководящая его жизнью, подымает свой голос: «Еще рано». Ибо одна земная мука еще не испытана им — мука изгнания и гложущего страха ежедневных, жалких забот о пропитании. Сибирь и каторга, самая ужасная гримаса России, все же была родиной; теперь же, во имя великой любви к своему народу, он должен испытать тоску кочевника по шалашу. Еще раз он должен вернуться в неизвестность, еще глубже окунуться во мглу, прежде чем стать поэтом, глашатаем своего народа. Снова ударила молния, грянул миг разрушения: журнал запрещен. Снова недоумение, еще убийственнее первого. И теперь удар сыплется за ударом: ужас врывается в его жизнь. Умирает его жена,

вслед за ней брат — его лучший друг и помощник. Свинцовой тяжестью ложатся на него долги двух семей, и его спина сгибается под невыносимой ношей. Он еще борется из последних сил, лихорадочно работает день и ночь, пишет, сам издает, чтобы сберечь деньги, спасти честь, возможность существования, — но судьба сильнее его. Как преступник, однажды ночью скрывается он от своих кредиторов и отправляется в мир.

И вот начинается длящееся годами бесцельное блуждание по Европе, ужасная оторванность от России, от источника его жизненных сил, — оторванность, терзающая его душу сильнее, чем столбы каторги. Страшно подумать, как величайший русский писатель, гений своего поколения, вестник беспредельности, — без средств, без родины, без цели бродит из страны в страну. С трудом он находит себе убежище в маленьких низких комнатах, наполненных испарениями нищеты; демон эпилепсии дергает его нервы; долги, векселя, обязательства гонят его от работы к работе, нужда и стыд — из города в город. Едва сверкнет луч счастья в его жизни, как тотчас же судьба нагоняет новые тучи. Молодая девушка, его стенографистка, стала его второй женой, но первый ребенок, которого она ему подарила, угасает на чужбине от изнурения через несколько дней после рождения. Если Сибирь была для него чистилищем, преддверием его страданий, то Франция, Германия, Италия, без сомнения, были его адом. Не хватает мужества представить себе эти страдания. Но когда в Дрездене я прохожу по улице мимо какого-нибудь низкого, грязного дома, меня преследует мысль: не жил ли он где-нибудь здесь, среди мелких саксонских торговцев и подмастерьев, на четвертом этаже, одиноко, бесконечно одиноко в этой чуждой ему сутолоке? Никто не знал его все эти годы. В Наумбурге, на расстоянии часа езды, живет Фридрих Ницше, единственный, кто мог бы его понять; Рихард Вагнер, Геббель, Флобер, Готфрид Келлер — все они, его современники, тут, — но он не знает о них, и они не знают о нем.

Как лесной зверь, растрепанный, в поношенной одежде, осторожно выползает он из своей рабочей норы на улицу и крадется все по той же дороге — в Дрездене, в Женеве, в Париже: в кафе, в какой-нибудь клуб, чтобы прочитать русские газеты. Он жаждет ощутить Россию, родину, бросить взгляд на буквы кириллицы, вдохнуть мимолетный аромат родного слова. Иногда он присаживается в Галерее*, не в силу любви к искусству (он всю жизнь оставался византийским варваром, иконоборцем), а только для того, чтобы обогреться. Он ничего не знает об окружающих его людях, он их ненавидит, потому что они не русские, — ненавидит немцев в Германии, французов во Франции. Его сердце прислушивается к России, и только тело его безучастно прозябает в этом чуждом ему мире. Ни один французский, немецкий, ни один итальянский поэт не мог бы рассказать о разговоре, о встрече с ним.

Его знают только в банке, где он, бледнея, ежедневно подходит к конторке и дрожащим от волнения голосом спрашивает, не прибыл ли, наконец, перевод из России, какие-нибудь сто рублей, из-за которых он тысячу раз унижался перед низкими и чуждыми ему людьми. Служащие уже потешаются над бедным глупцом и его вечным ожиданием. И в ломбарде знают его как постоянного посетителя: он заложил там все — даже последнюю пару брюк, чтобы послать в Петербург телеграмму, — потрясающий вопль, звучащий чуть ли не во всех его письмах. Сердце сжимается, когда читаешь льстивые, по-собачьи покорные письма великого человека, в которых он должен пять раз взывать к спасителю, чтобы выпросить десять рублей, — ужасные письма, задыхающиеся, воплящие, молящие о жалкой горсточке денег. Он работает и пишет ночи напролет: в то время как жена терпит родовые муки, эпилепсия вонзает в него свои когти, хозяйка грозит полицией из-за квартирной платы, и акушерка требует вознаграждения, — он пишет «Преступление и наказа-

* Подразумевается Дрезденская картинная галерея. — *Примеч. пер.*

ние», «Идиота», «Бесов», «Игрока» — эти грандиозные создания девятнадцатого века, всеобъемлющие отражения нашего душевного мира. В работе — его спасение и его мука. В ней он переносится в Россию, на родину. Без работы он томится в Европе, на своей каторге.

Все глубже он зарывается в творчество. Оно служит ему пьянящим эликсиром, игрой, напрягающей его измученные нервы до высшей услады. И в промежутке он жадно считает дни, как некогда столбы тюремного забора: вернуться на родину, хоть нищим, только бы вернуться! Россия, Россия, Россия! — вечный крик его горя. Но он еще не может возвратиться: безымянный, он должен еще пребывать в неизвестности, во имя творчества, — одинокий страдалец, без воплей и жалоб шагающий по чужим улицам. Он должен еще пресмыкаться на дне жизни, прежде чем вознестись к великолепию вечной славы. Его плоть истерзана лишениями, все чаще недуг, словно ударами молота, поражает его мозг, и целыми днями он лежит в оцепенении, с затуманенной головой, чтобы при первом проблеске восстановления сил, шатаясь, брести к письменному столу. Достоевскому пятьдесят лет, но он пережил муки тысячелетий.

И наконец, в последний, самый мучительный миг, его судьба промолвила: «Довольно». Бог снова дарует свою милость Иову: в пятьдесят лет Достоевский может вернуться в Россию. Его книги сделали свое. Он заслонил Тургенева и Толстого. Взоры России обращены на него. «Дневник писателя» делает его глашатаем народа; последние силы и высшее искусство он вкладывает в свое завещание грядущим поколениям — в «Братьев Карамазовых». Теперь, когда он перенес все испытания, его судьба раскрывает ему свое значение; она дарит ему миг величайшего счастья, указывающий, что семя его жизни принесло урожай в беспредельности. Наконец наступило в жизни Достоевского мгновение, насыщенное торжеством и равное некогда пережитому им мгновению нечеловеческой муки; опять его Бог ниспослал ему молнию, — но на этот раз не уничтожающую, а возносящую

его, подобно пророку, на пламенной колеснице в вечность. Великие русские писатели были приглашены произнести речи на открытии памятника Пушкину. Тургеневу, западнику, писателю, который целую жизнь похищал славу Достоевского, принадлежит первенство; он говорит при холодном, почтительном одобрении. На следующий день предоставлено слово Достоевскому, и в неистовом опьянении он ударяет им, как молнией. С пламенным экстазом, прорывающимся, подобно буре, сквозь тихий, хриплый голос, он провозглашает священную миссию России — миссию всечеловечности. Слушатели, точно скошенные, склоняются перед ним. Зал содрогается от ликования, женщины целуют ему руки, студент падает перед ним в обморок, остальные ораторы отказываются от слова. Восторг растет безгранично, и сияние разгорается ярким пламенем над челом в терновом венце.

Такова воля его судьбы: в мгновенной вспышке показать осуществление его миссии, торжество его творчества. И теперь, когда плод спасен от гибели, она уничтожает иссохшую оболочку его тела. 9 февраля 1881 года Достоевский умирает. Трепет охватывает Россию. Миг безмолвной печали. И вслед за ним, одновременно и без предварительного уговора, стекаются депутации, чтобы отдать ему последний долг. Из всех углов тысячаедомного города являются — увы! слишком поздно — восторженные доказательства любви, все хотят видеть мертвого, о котором забывали почти всю его жизнь. Кишит людьми Кузнечный переулок, сумрачные толпы плывут в трепетном молчании по ступеням дома и наполняют тесную квартиру, где стоит гроб. От цветов, под которыми он покоится, через несколько часов не остается и следа: сотни рук уносят, как драгоценную святыню, по цветку. Воздух сгущается настолько, что гаснут свечи. Толпы людей, волна за волной, теснятся все ближе к покойнику. От натиска гроб пошатнулся; испуганная вдова и дети поддерживают его руками. Полицейстер пытается запретить публичные похороны, на которых студенты собираются нести за гробом кандалы каторжника, но не решается бороться с воодушевлени-

ем, которое могло бы разрешиться вооруженным столкновением.

И внезапно на похоронах святая мечта Достоевского о единой России на час стала явью. Как в его произведениях все классы и сословия России, охваченные братским чувством, составляют одну сплоченную массу, так и здесь сотни-тысячная толпа за его гробом объединена общей печалью; князя, священники, рабочие, студенты, офицеры, лакеи и нищие — все в один голос оплакивают дорогого покойника. Церковь, в которой его отпевают, наполнена цветами, гроб утопает в море венков и траурных лент, и перед открытой могилой соединяются все партии в клятве любви и почитания. Своим последним часом он дарит народу миг примирения и еще раз сверхъестественной силой преодолевает неистовые противоречия эпохи. И, как величественный салют покойнику, едва окончен его последний путь, взрывается грозная мина: революция. Через месяц совершается царубийство, раздается гром восстания, молния кары прорезает воздух. Как Бетховен, Достоевский умирает в святом волнении стихии, во время грозы.

ЗНАЧЕНИЕ ЕГО СУДЬБЫ

Науку изучил я
Страданий и услад
И в сладости страданья
Открыл блаженства яд.

*Готфрид Келлер**

Своеобразны отношения между Достоевским и его судьбой: непрерывная борьба, сочетание вражды и любви. Все конфликты заострены до боли, до боли напряжены все контрасты. Жизнь причиняет ему страдания потому, что любит его; и он любит ее за то, что суровы ее объятия: в

* Перевод В.А. Зоргенфрея.

страданиях познает великий мудрец высшую меру чувства. Судьба не дает ему ни мгновения свободы, всегда она бичует его, чтобы сделать этого верующего человека мучеником ее величия и могущества. Как Иаков, она борется с ним всю бесконечную ночь его жизни до восхода смерти и не выпускает его из своих судорожных объятий, пока он не благословит ее. И Достоевский — «раб Божий» — постиг величие этой миссии и нашел высшее блаженство в покорности беспредельным силам. Трепещущими устами он целует свой крест: «Нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть перед ним и поклониться ему». Опустившись на колени под тяжестью своей судьбы, он благоговейно поднимает руки и свидетельствует святое величие жизни.

В этом рабстве у судьбы Достоевский, благодаря смирению и мудрости, стал великим победителем страданий, самым искусным мастером переоценки ценностей с евангельских времен. Только благодаря насилию судьбы стал он сильным, и его внутренняя мощь выковывается ударами молота, падающими на наковальню его жизни. Чем глубже низвергается его тело, тем выше взвигается его вера; чем больше он претерпевает, как человек, тем блаженнее он познает смысл и необходимость мирового страдания. Amor fati — любовная преданность судьбе, которую Ницше воспеваает как самый плодотворный закон жизни, заставляет его в каждом враждебном акте ощущать лишь избыток, в каждом испытании — благо. Как в устах Валаама, превращается для избранника каждое проклятие в благословение, и каждое падение возвеличивает его. В Сибири, в кандалах, он сочиняет дифирамб царю, приговорившему его, невинного, к смертной казни; с непостижимой покорностью он целует карающую его руку; как Лазарь, едва восстав из гроба, он готов свидетельствовать красоту жизни, и после ежедневного умирания, после конвульсий и эпилептических судорог, еще с пеной у рта, он подымается, чтобы восхвалять Бога, пославшего ему испытание. Всякое страдание порождает в его раскрытой душе новую любовь к страданию, ненасытную, томительную, само-

бичующую жажду новых мученических терний. Едва ударит его судьба жестокой рукой, он, обливаясь кровью, уже тоскует по новым ударам. Каждую поражающую его молнию он схватывает и, предназначенную для его уничтожения, превращает в душевный огонь и экстаз.

Перед такой сверхъестественной силой преобразования событий внешняя судьба становится совершенно бессильной. То, что представляется испытанием и карой, для мудрого становится помощью; то, что могло бы ввергнуть человека в бездну, лишь возвышает поэта; то, что погубило бы более слабого, только закаляет силу его экстаза. Минувший век, играя эмблемами, дает образец подобного двойного действия одинаковых событий. Другого поэта нашего мира, Оскара Уайльда коснулась такая же молния. Оба, писатели с именем, в один прекрасный день из буржуазной сферы своего существования попадают в тюрьму. Но поэт Уайльд разрушается при этом испытании, как в ступке, поэт Достоевский формируется, как металл в плавильной печи. Ибо Уайльд, мыслящий сословно, с внешним инстинктом человека общества, ощущает наложенное на него клеймо как позор, и самым ужасным унижением становится для него купанье в Reading Goal'e, где его холеное аристократическое тело должно погружаться в воду, загрязненную десятью другими узниками. Привилегированный класс, культура джентльмена содрогается в его лице перед физическим соприкосновением с чернью.

Достоевский, человек нового мира, стоящий над сословными предрассудками, всей своей опьяненной роком душой пламенно стремится к этому общению; та же грязная баня становится для него чистилищем гордости, и в смиренной помощи грязного каторжника он восторженно ощущает христианский обряд омовения ног. Уайльд, в котором лорд заглушает человека, страдает от боязни, что заключенные могут принять его за равного; Достоевский испытывает мучения лишь до тех пор, пока воры и убийцы отказываются признать в нем брата, ибо всякое неравенство, всякое небратское от-

ношение он ощущает как упрек своей человечности. Как уголь и бриллиант представляют собой одну породу, так и эта двойная судьба одинакова и в то же время различна для двух поэтов. Уайльд — конченный человек, когда он выходит из тюрьмы, Достоевский только возрождается; Уайльд сгорает, превращаясь в негодный шлак в том же огне, в котором Достоевский формируется в сверкающую сталь. Уайльд наказан, как раб, потому что он сопротивляется, Достоевский побеждает судьбу любовью к судьбе.

Так умеет Достоевский преобразовать свои невзгоды, переоценивать все унижения, и подобает ему лишь самая суровая судьба. Ибо из опасностей своей жизни извлекал он самые прочные внутренние устои; страдания становятся для него богатством, пороки — ценностью, препятствия на его пути — подъемом. Сибирь, каторга, эпилепсия, нищета, бешеный азарт, сладострастие — все эти ужасы его существования, благодаря сверхъестественной силе переоценки, становятся плодотворными для его искусства; подобно тому как люди добывают драгоценные металлы из самых мрачных горных глубин, среди бушующих гроз, глубоко под приспособленной для прогулок плоскостью беспечной жизни, так и художник обретает пламенную истину и последнее откровение в самых опасных безднах своего существа. С художественной точки зрения жизнь Достоевского — трагедия, с нравственной — беспримерное достижение, торжество человека над своей судьбой, переоценка внешнего существования силой внутренней магии.

Особенно примечательно торжество духовной жизненной силы над болезненным, хилым телом. Нельзя упускать из виду, что Достоевский был больным, что это бессмертное бронзовое творение было создано из надтреснутых, слабых членов и раскаленных, трепещущих нервов. В его тело внедрил ужасный недуг, бдительный и грозный символ смерти: эпилепсия. Достоевский был эпилептиком все тридцать лет служения искусству. Посреди работы, на улице, во время беседы, даже во сне, рука удушьющего демона внезап-

но впивается в горло и швыряет его, с пеной у рта, на пол так, что застигнутое врасплох тело разбивается до крови.

Уже нервным ребенком, в страшных галлюцинациях, в ужасной душевной напряженности чувствует он зарницу опасности, в молнию эта «священная болезнь» выковывается лишь в тюрьме. Там напряжение нервов мощно выталкивает ее наружу, и, как всякое несчастье, как нищета и лишения, физический недуг Достоевского остается ему верным до последнего часа. Но странно: никогда он не противился этому испытанию, не жаловался на свой недуг, как Бетховен на глухоту, как Байрон на хромую ногу, Руссо на болезнь мочевого пузыря; нигде даже не засвидетельствовано, что он когда-либо серьезно принимался за лечение. С полной уверенностью можно невероятное утверждать как истину: со своим безграничным *amor fati* он любил свою болезнь — как любил судьбу, как любил каждый из своих пороков, каждую грозившую ему опасность. Любознательность художника преодолевает страдания человека: Достоевский становится властелином своих страданий, наблюдая их. Самую страшную угрозу своей жизни, эпилепсию, он превращает в великую тайну своего искусства: неведомую доселе таинственную красоту он извлекает из этих состояний, чудесно собирающих в мгновения головокружительного предчувствия экстатическое упоение своим «я». В невероятном сокращении переживается среди жизни смерть, и в этот миг, перед каждым умиранием, он вкушает самую сильную, самую пьянящую эссенцию бытия — патологически напряженное «самоощущение».

Как мистический символ, внедрена в его кровь память о самом сильном мгновении его жизни: о минуте на Семеновском плацу; всегда он исполнен ощущения грозного контраста, разделяющего Все и Ничто. И тут застилает взор повязка мрака, и тут, как вода из наклоненной, переполненной чаши, выливается душа из тела — вот трепещет она с распростертыми крыльями навстречу Богу, ощущая в бесплотном парении небесный свет, благодатный проблеск иного ми-

ра; вот уносится земля, уже звучит музыка сфер — и вдруг гром пробуждения сбрасывает его, истерзанного, в обыденную жизнь. Всякий раз, как Достоевский описывает это мгновение, это блаженное, словно сон, чувство, оживленное его беспримерной зоркостью, его голос, вспоминая, становится страстным, и мгновение ужаса — гимном: «На несколько мгновений, — вдохновенно проповедует он, описывая состояние эпилептика за секунду перед припадком, — я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища аллаховы. За несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».

В эту пламенную секунду взор Достоевского выходит за пределы единичных явлений мира и пылающим, всеобъемлющим чувством охватывает беспредельность. Но он здесь умалчивает о горьком наказании, которым он оплачивает каждое судорожное приближение к Богу. Страшный упадок сил разбивает вдребезги кристальные секунды, с истерзанными членами и затуманенной мыслью он погружается, новый Икар, в земную ночь. Чувства, еще ослепленные пламенным светом, бродят с трудом по тюрьме разбитого тела: будто слепые черви, осели теперь на дне бытия эти чувства, в блаженном паренье достигшие Божьего лика. После каждого припадка Достоевский погружался в граничащую с идиотизмом дремоту, весь ужас которой он с самобичующей наглядностью раскрывает в образе князя Мышкина. Он лежит в постели с расслабленными, часто разбитыми до крови членами; язык не подчиняется звуку, рука не владеет пером, угрюмо и печально он отказывается от всякого общества. Улетучилась ясность мысли, только что охватывавшей в гармоническом ракурсе тысячи деталей, он не может вспомнить

недавних событий, порваны жизненные нити, связывавшие его с окружающим миром, с его работой. Однажды после припадка, во время работы над «Бесами», он с ужасом замечает, что забыл все придуманные им события. Он не мог даже вспомнить имени героя. С трудом он снова вживается в образы, настойчивой волей возвращает яркость ступевавшимся видениям, пока — пока не скосит его новый припадок. Так, в постоянном страхе перед падучей, с горьким вкусом смерти на устах, затравленный нуждой и лишениями, создает он свои последние, самые мощные произведения. На грани между смертью и безумием приобретает особую, сомнамбулически твердую мощь его творчество; из вечного умирания черпает он, воскресая, сверхъестественную силу, чтобы охватить всю жизнь и вырвать у нее наивысшую страстность и мощь.

Этой болезни, этому демоническому року, гениальность Достоевского обязана (Мережковский блестяще провел эту антитезу) не менее, чем гениальность Толстого его здоровью. Она привела его к такому сгущению душевных состояний, какое недоступно нормальному восприятию, дала ему возможность проникнуть в подземный мир чувства, в неведомые области души. Это изумительное свойство двойного бытия, это бодрствование во время бурного сна, бдительность наблюдающего интеллекта в странствовании по лабиринту чувств — вот что позволило ему создать метафизику патологических явлений, изобразив их с полнотой, которой не достигает аналитический скальпель науки, вскрывающий мертвый клинический материал. Как многоопытный Одиссей приносит весть Гадеса, так и он, возвращаясь живым из страны теней и пламени, дает ее точное описание и свидетельствует своей кровью и холодным трепетом уст существование призрачного состояния между жизнью и смертью. Благодаря болезни он приобретает высший художественный дар, который Стендаль определил как искусство *d'inventer des sensations inedites**, дар изображать в полном тропическом расцвете

* Изобретать неизведанные чувства (*фр.*).

чувства, находящиеся у нас в зародыше, но не созревающие в прохладной температуре нашей крови.

Обостренный слух больного улавливает последние слова души перед тем, как она впадает в бред. Повышенная чуткость с абсолютной точностью измеряет самые нежные вибрации чувств; мистическая пронизательность в минуты предчувствия рождает пророческий дар второго зрения и схватывает магию единства. О чудесное превращение! Как плодотворно оно в роковые мгновения сердца! Как художник, всякую опасность Достоевский обращает в ценность, и вместе с тем, как человек, он приобретает новое величие, благодаря мерилу, которым он обладает. Ибо счастье и страданье, конечные границы чувства, переживаются им с неизмеримо повышенной интенсивностью; он измеряет не обычным мериллом средней жизни, а градусами кипения своей душевной болезни. Высший предел счастья для другого — в наслаждении природой, в обладании женщиной, в ощущении гармонии — все это доступные в земных условиях блага.

У Достоевского точка кипения переживаний — в невыносимом, в смертельном. Его счастье — в спазме, в судороге, с пеной у рта, его мучение — в разгроме, в упадке сил, в изнеможении; всегда это — молниеносно сжатые, безмерно значительные состояния, которые в земных условиях не могут иметь длительности, которые достигают такого накала, что секунда едва может удержать их и от боли должна выпустить из рук. Кто при жизни постоянно переживает смерть, тот испытывает более могучий ужас, чем нормальный человек; кто ощутил бестелесный полет, знает большую уладу, чем тело, никогда не покидавшее земли.

Его представление о счастье — экстаз, его представление о страданье — гибель. Поэтому счастье его героев далеко от повышенного веселья: оно мерцает и горит, как пламя, оно трепещет от сдерживаемых слез и томится предчувствием опасности; это — невыносимое, непрочное состояние, скорей страданье, чем наслаждение. Его мучения — это опять-таки состояния, уже перешагнувшие за обыденные грани тусклой,

давящей боязни, тяжести и ужаса; это ледяная, почти улыбающаяся ясность, демоническая, не знающая слез жажда горя, сухой, раскатистый смех и дьявольская усмешка, соприкасающаяся с наслаждением. Никто до него не вскрыл с такой остротой внутреннего противоречия чувств, никогда не был мир так болезненно напряжен, как здесь, между этими новыми полюсами экстаза и гибели, которые он воздвиг вне обычных измерений — страдания и счастья.

В этой полярности, которой отметила его судьба, и только в связи с ней Достоевский становится понятным. Он — жертва жизненного разлада, и потому — как страстный поклонник своей судьбы — фанатик своих контрастов. Горячность его художественного темперамента обязана всецело постоянному трению этих противоположностей, и, вместо того чтобы их примирять, он неудержимо углубляет врожденный разлад, доводя его до рая и преисподней; никогда не заживает зияющая рана в жгучей духовной лихорадке творчества.

Достоевский, как художник, — совершеннейший продукт противоречий, величайший дуалист искусства и, быть может, человечества. Один из его пороков символически воплощает в наглядную форму эту основную особенность его существа: его болезненная любовь к азартной игре. Уже в детстве он страстно играет в карты; но лишь в Европе он познает дьявольское зеркало своих нервов — rouge et noir, рулетку, игру, столь опасную в своем примитивном дуализме. Зеленый стол в Баден-Бадене, банк в Монте-Карло — вот источники его экстаза в Европе; сильнее, чем Сикстинская мадонна, чем скульптура Микеланджело, чем южные ландшафты, сильнее, чем искусство и культура всего мира, гипнотизируют они его нервы. Ибо здесь напряжение и решение — красная или черная, чет или нечет, счастье или гибель, выигрыш или проигрыш — втиснуты в одну-единственную секунду вращения колеса, напряжение сконцентрировано в форме стремительного контраста, в болезненно-сладостной, молниеносной форме, всецело отвечающей его характеру. Мягкие, сглаженные переходы, медленные подъемы невыносимы для

его лихорадочного нетерпения; он не хочет «накоплять богатства немецким способом» — предусмотрительностью, расчетливостью, бережливостью: его пленяет риск, доверие к случаю. Постоянно искушаемая воля полусознательно подражает за зеленым столом формам его внешней судьбы: сжатие решений в один-единственный миг; до крайности обостренное, вонзающее глубоко в нервы раскаленную иглу ощущение, таинственно напоминающее секунду предчувствия и низвержения эпилептической молнии и незабываемое мгновение на Семеновском плацу.

Так же как судьба играла им, так он теперь играет судьбой; он создает себе из случая искусственное напряжение и в минуты благополучия дрожащей рукой бросает все свое существование на зеленый стол. Не алчность влечет его к игре, а «иступленная и неприличная, карамазовская жажда жизни», требующая крепчайших эссенций, болезненная тоска по головокружению, ощущение, которое он испытывает, «как бы бросаясь вниз с колокольни», заглядывая в пропасть. Ибо он любит пропасти, глубины жизни, демоническую природу случая, с фанатической покорностью любит силы, превосходящие его собственную силу, и вечным вызовом привлекает их смертоносную молнию на свое чело. Азартной игрой Достоевский провоцирует судьбу: его ставка — не деньги, и большей частью его последние деньги, а все его существо; его выигрыш — предельное опьянение нервов, смертельный трепет, страх всех страхов, демоническое ощущение мира. Даже в золотом яде Достоевский черпал лишь новое стремление к божеству.

Разумеется, эту страсть, как и всякую другую, он доводил до безмерности, до порока. Медлительность, осторожность, колебания были чужды этому гигантскому темпераменту: «Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». И этот переход границ, составлявший величие художника, был опасностью для человека: его не останавливают преграды буржуазной морали, и никто не может в точности сказать, в какой мере жизнь его пере-

ступила грани закона, в какой мере преступные инстинкты его героев осуществились в нем самом. Кое-что доказано, — вероятно, самое незначительное. Ребенком он жульничал в картах и, как его трагический шут Мармеладов в «Преступлении и наказании» украл у жены чулки, чтобы пропить их, так Достоевский крадет у жены деньги и платья для игры и рулетку. Биографы не решаются определить, насколько чувственное распутство его «подполья» близко к извращенности, в какой мере гнездились в нем сексуальные извращения «сладолюбивых насекомых» Свидригайлова, Ставрогина и Федора Карамазова. Во всяком случае, даже его извращения гнездятся в таинственной жажде контраста между невинностью и пороком; но не стоит обсуждать (как ни показательны они) эти легенды и догадки. Важно лишь то, что антипод Спасителя, святого, Алеши в Достоевском-Карамазове — сластолюбивый, чувственный, грязный Федор Павлович — связан с ним кровным родством.

Можно решительно утверждать лишь одно: что Достоевский и в чувственности превышал буржуазные мерки, — и, конечно, не в том смягченном смысле, в каком понимал это Гёте, сказавший некогда в своем известном изречении, что он живо ощущает в себе склонность ко всем преступлениям и мерзостям. Ибо все мощное развитие Гёте является сплошным могучим усилием вытравить в себе эти опасные зародыши. Олимпиец стремится к гармонии, его высшее стремление — преодолеть все противоречия, охладить кровь, привести силы в состояние спокойного равновесия. Он убивает в себе чувственность ради нравственности; не останавливаясь перед обескровливанием своего искусства, постепенно он искореняет все опасные зародыши, — правда, лишаясь вместе с низкими помыслами немалой части своих сил. Но Достоевский, столь же страстный в своем дуализме, как и во всем, что уделила ему жизнь, не стремится к гармонии: она обозначает для него застывание; он не соединяет свои противоречия в божественно-гармоничное целое, а растягивает их от Бога до дьявола и между ними располагает мир. Он хочет

бесконечной жизни. И жизнь для него — лишь электрический разряд между полюсами контраста. Все заложенные в нем семена должны взойти; добро и зло, опасность и ее преодоление — все расцветает и созревает под его тропической страстностью. Он позволяет размножаться сорной траве пороков, безудержно гонит в жизнь все свои, даже преступные, инстинкты. Он любит свои пороки, свою болезнь, игру, свою злобу и даже сладострастие, потому что оно является метафизикой плоти, — это желание бесконечного наслаждения. Гёте стремится к антично-аполлинийскому, Достоевский к дионисийскому идеалу. Он желает быть не богоподобным олимпийцем, а всего лишь — сильным человеком. Его мораль направлена не к классицизму, не к норме, а только к интенсивности.

Жить правильно значит для него жить мощно и пережить все — хорошее и дурное, притом — то и другое в самых сильных, в самых пьянящих проявлениях. Поэтому Достоевский всегда искал не нормы, а только полноты. Рядом с ним Толстой встревоженно останавливается среди своей работы, бросает искусство и всю жизнь решает мучительный вопрос: что хорошо, что плохо, правильно ли он живет или неправильно. Потому жизнь Толстого дидактична, она — учебник, памфлет; жизнь Достоевского — художественное произведение, трагедия, судьба. Он не действует целесообразно, сознательно, он не экзаменует, а только укрепляет себя. Толстой громогласно, всенародно кается во всех смертных грехах. Достоевский молчит, но его молчание говорит о Содоме больше, чем все исповеди Толстого. Достоевский не осуждает себя, не хочет измениться, не хочет исправиться, он хочет лишь одного: укрепиться. Он не сопротивляется дурному, опасному началу своей природы; напротив, он любит свои опасности как стимул, он поклоняется своему греху ради раскаяния, своей гордости ради смирения. Наивно было бы умалчивать о демоническом начале его существа (столь подобном божественному началу), «оправдывать» его с точки зрения морали и спасать для мелкой гармонии буржуаз-

ных мерок то, что обладает стихийной красотой неизмеримости.

Кто создал Федора Карамазова, образы студента в «Подростке», Ставрогина в «Бесах», Свидригайлова в «Преступлении и наказании», этих фанатиков плоти, этих одержимых сладострастием, этих мастеров распутства, тот сам должен был пережить самые низкие формы чувственности, ибо необходимо духовно любить разврат, чтобы дать этим образам их жестокую реальность. Его ни с чем не сравнимая возбужденность знала эротику в двояком ее проявлении: знала ее в плотском опьянении, упоенно купающуюся в грязи, знала до тончайших духовных извращений, когда она цепенеет в ярости и преступлении, знала ее под всеми масками, и мудрым взором он улыбается ее безумству; но он знает ее также и в благородных формах, когда любовь становится бесплотной — в сострадании, блаженной жалости, в мировом братстве и в безудержных слезах. В нем были все эти таинственные эссенции и не в мимолетных химических соединениях, которые бывают у каждого истинного поэта, а в самых чистых, в самых сильных экстрактах. Каждое извращение описано у него с сексуальным подъемом и ощутимой вибрацией чувств, и многое, конечно, он сладострастно пережил. Этим я не хочу сказать (глубоко ошибочно было бы такое толкование), что Достоевский был развратником, одним из тех, кого радовала плоть сама по себе, бонвиваном. Он лишь жаждал наслаждений, как жаждал и страданий, раб властного, инстинктивного духовного и плотского любопытства, которое кнутом гнало его к опасностям, в колючую чашу извращенных путей. И самое наслаждение его — не банальная услада, а игра и ставка всей чувственной жизненной силы, вечно повторяющееся стремление к ощущению таинственной грозовой духоты эпилепсии, концентрация чувств в несколько напряженных секунд грозового предчувствия — и потом глухое падение в бездну раскаянья. Он любит в наслаждении лишь мерцанье опасности, игру нервов, проявление стихии в своей плоти; во всяком наслаждении он видит своеобразное сме-

шенье сознательности и глухого стыда и находит в нем его противоположность — осадок раскаяния; в посрамлении он ищет невинность, в преступлении — только опасность. Чувственность Достоевского — лабиринт, в котором спутаны все пути; Бог и зверь уживаются рядом в одном теле, и в символе Карамазовых знаменательно, что Алеша, этот ангел, святой, является сыном Федора, жестокого «сладогострастника». Сладогострастие рождает чистоту, преступление — величие, наслаждение — страдание и страдание — снова наслаждение. Вечно соприкасаются контрасты; между небом и адом, Богом и дьяволом расстилается его мир.

Безграничная, беззаветная, добровольно безоружная покорность своей двойственной судьбе, *amor fati* — последняя и единственная тайна, пламенный творческий источник его экстаза. Именно за то, что так много ему было уделено жизнью, за то, что она раскрыла ему безграничность чувства в страдании, он любил эту жестоко-милостивую, божественно-непонятную, вечно мистическую жизнь. Ибо его мера — полнота, беспредельность. Никогда он не стремился к более спокойному прибою жизненных волн, он хотел лишь еще больше сконцентрировать его в самом себе, сделать более интенсивным, и потому никогда не уклонялся от внутренних и внешних опасностей: они дают неограниченную возможность чувствования, напряжения нервов. Все, что было в нем заложено, — семя добра и зла, каждую страсть, каждый порок, — он взрастил вдохновением и экстазом, ни одной опасности он не вытравил из своей мудрой крови. Безудержный игрок делает себя ставкой в страстной игре судеб, ибо только во вращении красной и черной, жизни и смерти, упоенно переживает он сладогострастие своего бытия. «Ты меня привела, ты меня и выведешь», — вместе с Гёте отвечает он природе. «*Corriger la fortune*», исправлять судьбу, обходить, смягчать ее — ему и в голову не приходит. Он никогда не ищет совершенства, законченности, успокоения в тишине, а только интенсивности жизни в страданье; все больше он взвинчивает свое чувство новым напряжением, ибо не себя

он хочет спасти, а высшую сумму ощущений. Он не хочет, как Гёте, затвердеть подобно кристаллу, холодно отражая в сотне плоскостей смятенный хаос; он хочет остаться пламенем, разрушающим себя, непрерывно самоуничтожающимся, чтобы непрерывно вновь создавать себя, вечно повторяясь, но каждый раз с повышенной силой и в более напряженных контрастах. Он не хочет властвовать над жизнью, он хочет ее ощущать. Быть не господином, а фанатическим рабом своей судьбы. И только став «рабом Божиим», отдаваясь до конца, он смог стать самым мудрым в области всего человеческого.

Достоевский вернул судьбе власть над своей судьбой. Потому его жизнь приобретает могущество над случайной эпохой. Это демонический человек, подчиненный вечным силам, и в его образе еще раз встает в документальном освещении нашей эпохи, казалось, ушедший в прошлое поэт мистических времен, пророк, великий в своем исступлении человек судьбы. Есть в этом гигантском образе первобытность и героизм. Если иные литературные произведения подымаются как усеянные цветами горы из долины времен — бывшие свидетели создающей первобытной силы, но уже умиротворенные временем и доступные до самых высей, где белоснежными венцами они упираются в бесконечность, то вершина его творения кажется фантастической и серой — бесплодная застывшая лава. Но в кратере его истерзанной груди достаточно жара, чтобы расплавить глубочайшее пламенное зерно нашего мира: здесь крепка еще связь с началом всех начал, с истоком первобытной силы, и, содрогаясь, мы ощущаем в его судьбе и в его творчестве всю таинственную глубину человеческой души.

ГЕРОИ ДОСТОЕВСКОГО

Вулканичен он сам, вулканичны и его герои, — ибо только в самые критические минуты свидетельствует человек о Боге, создавшем его. Они не размещаются спокойно в нашем мире, всегда они спускаются в своих ощущениях в глубины извеч-

ных проблем. Современный человек, человек нервов, сочетается в них с первобытным существом, которое знает в жизни только свои страсти, и, делая последние признания, они в то же время косноязычно произносят изначальные вопросы мира. Их формы еще не остыли, их сланцы не окаменели, их лица не сглажены. Вечно несовершенные, они вдвойне жизненны. Ибо совершенный человек в то же время и законченный, у Достоевского же все уходит в бесконечность. Люди лишь до тех пор представляются ему героями, достойными художественного изображения, пока они пребывают в разладе с собой, пока они являются проблемой: совершенных, зрелых он сбрасывает с себя, как дерево плод. Достоевский любит свои образы только до тех пор, пока они страдают, пока они обладают повышенной, двойственной формой его собственной жизни, пока они представляют собой хаос, стремящийся превратиться в рок.

Попробуем поставить его героев в другие рамки, чтобы лучше понять их изумительное своеобразие. Сравним. Если восстановим в памяти любого героя Бальзака, как тип французского романа, невольно создается впечатление прямолинейности, ограниченности и внутренней законченности. Понятие отчетливое и закономерное, как геометрическая фигура. Все бальзаковские образы сделаны из одного вещества, которое может быть в точности установлено психической химией. Они являются элементами и обладают всеми присущими элементам качествами; следовательно, им свойственны и типичные формы моральной и психической реакции. Они уже почти не люди, скорее очеловеченные свойства, — точные приборы какой-нибудь страсти.

Имя у Бальзака можно заменить названием свойства: Растиньяк равен честолюбию, Горио — самопожертвованию, Вотрен — анархии. В каждом из этих людей доминирующий импульс подчинил себе все остальные внутренние силы и направил их в основное русло жизненной воли. Все они, эти герои, поддаются характерологической классификации, ибо их душа вмещает лишь одну пружину, с большей или мень-

шей энергией движущую их в человеческом обществе; словно пушечное ядро, врежется каждый из этих молодых людей в гущу жизни. В известном смысле хочется назвать их автоматами: с такой точностью они реагируют на каждое жизненное раздражение, что сила действия и сопротивления этих механизмов может быть точно рассчитана специалистом-техником. Если хоть сколько-нибудь вчитаться в Бальзака, то реакцию характера на любое событие можно рассчитать так же, как параболу полета камня, зная силу размаха и его тяжесть. Скупость Гранде—Гарпагона будет возрастать в прямом отношении к самоотверженности его дочери. И когда Горио еще имеет приличное состояние, и его парик тщательно напудрен, уже знаешь, что когда-нибудь ради дочерей он пожертвует своим жилетом и продаст на лом свое последнее достоинство — серебряный сервиз. С необходимостью он должен действовать именно так — в силу единства своего характера, в силу импульса, которому его плоть лишь до известной степени сообщает человеческий облик.

Характеры Бальзака (также Виктора Гюго, Скотта, Диккенса) все примитивны, одноцветны, целеустремленны. Они — единства, и потому могут быть взвешены на весах морали. Многоцветен и тысячелик в этом духовном космосе лишь случай, с которым они сталкиваются. У этих эпических писателей события многообразны, а человек является единством, и роман повествует о борьбе за обретение силы против земных сил. Герои Бальзака, как и французского романа вообще, или сильнее, или слабее противостоящего им общества. Они овладевают жизнью или гибнут под ее колесами.

Герой немецкого романа, типом которого можно считать хотя бы Вильгельма Мейстера или Зеленого Генриха, не так уверен в своем доминирующем импульсе. В нем сочетаются разные голоса, он психологически дифференцирован, духовно полифоничен. Добро и зло, сила и слабость беспорядочно мечутся в его душе: его исток — смятение; утренний туман заволакивает его взор. Он ощущает в себе силы, но они еще не сосредоточены, еще борются в нем; он не гармоничен, он

только одушевлен волей к единству. Немецкий гений в конечном счете всегда стремится к порядку. И все «романы развития» развивают в немецких героях не что иное, как личность. Силы концентрируются, человек вознесен к немецкому идеалу сильной личности, «в мировом потоке, — по слову Гёте, — создается характер». Перемешанные жизнью элементы кристаллизуются в обретенном покое, для мастера прошли годы обучения, и с последней страницы всех этих книг — «Зеленого Генриха»*, «Гипериона»** , «Вильгельма Мейстера», «Офтердингена»*** — ясный взор уверенно смотрит в ясный мир. Жизнь примиряется с идеалом; накопленные силы уже не расточаются; упорядоченные, они направлены на достижение высшей цели. Герои Гёте, так же как герои всех немецких писателей, развиваются в высшие формы: они приобретают действенность и в опыте изучают жизнь.

Герои Достоевского не ищут и не находят связи с действительной жизнью; в этом их особенность. Они вовсе не стремятся к реальности, а сразу же выходят за ее границы, в беспредельность. Их судьба сосредоточена для них не вовне, а внутри. Их царство не от мира сего. Все мнимые виды ценностей — положение в обществе, власть и деньги — все материальные блага в их глазах не имеют цены — ни как цель у Бальзака, ни как средство у немцев. Они вовсе не стремятся пробиться в этом мире, так же как не хотят властвовать или подчиняться. Они не сберегают, а расточают себя, не исчисляют и остаются вечно неисчислимыми. Благодаря бездеятельности натуры, на первый взгляд они кажутся праздными мечтателями и фантазерами, но их взор только кажется пустым, ибо он обращен не на внешнее, а жгуче и пламенно устремлен в себя, на собственное существо. Русский человек охватывает все в целом. Он хочет ощущать себя

* «Зеленый Генрих» — роман Готфрида Келлера, появившийся в 1855 г. и переработанный в 1879—1880 гг. — *Примеч. пер.*

** «Гиперион» — роман Гёльдерлина (1797—1799 гг.). — *Примеч. пер.*

*** «Генрих фон Офтердинген» — посмертный роман Новалиса, появившийся в 1802 г. — *Примеч. пер.*

и жизнь, а не ее тень и отражение, не внешнюю реальность, а великие мистические основы, космическую мощь, чувство бытия. Вникая глубже в произведения Достоевского, всюду слышишь, будто журчанье глубинного источника, эту примитивную, почти растительную, фантастическую жажду жизни, чувство бытия, это первобытное стремление, требующее не счастья или страдания, которые уже являются качественно определенными жизненными формами — оценкой, отличительной особенностью, — а равномерного, единообразного наслаждения, подобного тому, которое испытываешь при дыхании. Они хотят пить вечность из первоисточника, а не из городских колодцев, хотят ощущать в себе беспредельность, избыть все временное. Они знают лишь вечный, а не социальный мир. Они не хотят изучать жизнь, не хотят ее побеждать, они хотят ощущать ее как бы обнаженной и ощущать как экстаз бытия.

Чуждые миру в силу любви к миру, нереальные в силу страсти к реальному, герои Достоевского сперва кажутся несколько наивными. У них нет определенного направления, нет видимой цели: точно слепые или пьяные, шатаясь бродят по миру эти все же взрослые люди. Они останавливаются, оглядываются, задают вопросы и бегут, не дождавшись ответа, дальше, в неизвестность. Кажется, что они только сейчас вступили в наш мир и не успели с ним освоиться. И люди Достоевского останутся непонятными, если не вспомнить, что они русские, дети народа, который из вековой, варварской тьмы свалился в гущу нашей европейской культуры. Оторванные от старой, патриархальной культуры, еще не освоившиеся с новой, стоят они на распутье, и неуверенность каждого из них — это неуверенность целого народа. Мы, европейцы, живем в наших старых традициях, как в теплом доме. Русский девятнадцатого столетия, эпохи Достоевского, сжег за собой деревянную избу варварской старины, но еще не построил нового дома.

Все они вырваны с корнем и потеряли направление. Они обладают силой молодости, в их кулаках сила варваров, но

инстинкт теряется в многообразии проблем, они не знают, за что им раньше взяться своими крепкими руками. Они берутся за все и никогда не бывают удовлетворены. Трагизм каждого героя Достоевского, каждый разлад и каждый тупик вытекает из судьбы всего народа. Россия в середине девятнадцатого столетия не знает, куда направить свои стопы: на запад или на восток, в Европу или в Азию, в Петербург, в «самый умышленный город на всем земном шаре», в культуру, или обратно, к крестьянскому хозяйству, в степь. Тургенев толкает ее вперед, Толстой назад. Все в волнении. Царизм накануне анархии, православие, наследие древних времен, готово перескочить в самый неистовый атеизм. Ни в чем нет прочности, ничто не имеет своей цены, своего измерения в эту эпоху: сияние веры не озаряет чело, и закон давно угас в груди. Оторванные от великой традиции, герои Достоевского — настоящие русские, люди переходной эпохи, с хаосом начинаний в душе, отягощенные сомнениями и неуверенностью. Всегда они запуганы и забиты, всегда они чувствуют себя униженными и оскорбленными, — и все это единственно благодаря общему переживанию народа; они не знают, много ли, мало ли они стоят. Вечно они находятся на грани гордости и унижения, самомнения и самопрезрения, вечно оглядываются на других, и всех их гложет безумный страх перед возможностью быть смешными. Они беспрерывно стыдятся — то поношенного мехового воротника, то всего народа, — но вечно стыдятся, стыдятся; вечно они беспокойны, смущены. Их чувство, могучее чувство, не знает удержу, лишено руководства; никто из них не знает меры, закона, поддержки традиций, опоры унаследованного мировоззрения. Все они беспочвенны, беспомощны в незнакомом им мире. Все вопросы остаются без ответа, ни одна дорога не проложена. Все они люди переходной эпохи нового начала мира. Каждый из них Кортес: позади — сожженные мосты, впереди — неизвестность.

Но вот что примечательно: так как они люди нового начала мира, в каждом из них снова рождается мир; все воп-

росы, уже застывшие у нас в холодных понятиях, еще кипят у них в крови; им неведомы наши удобные, протоптанные дороги с их моральными перилами и вехами, — всегда и везде они пробираются через чащу в безграничность, в беспредельность. Нигде нет башен достоверности, мостов доверия; всюду девственно-первобытный мир. Каждый в отдельности чувствует, что он, так же как в России Ленина и Троцкого, должен быть строителем нового мирового порядка, и неопишное значение русского человека для Европы, оцепеневшей в оболочке своей культуры, в том, что тут неистощенная любознательность еще раз ставит вечности все вопросы жизни: там, где мы застыли в нашей цивилизации, другие еще охвачены пламенем. В творчестве Достоевского каждый герой заново решает все проблемы, сам окровавленными руками ставит межевые столбы добра и зла, каждый сам претворяет свой хаос в мир. Каждый герой у него слуга, глашатай нового Христа, мученик и провозвестник третьего царства. В них бродит еще изначальный хаос, но брезжит и заря первого дня, давшего свет земле, и предчувствие шестого дня, в который будет сотворен новый человек. Его герои прокладывают пути нового мира; роман Достоевского — миф о новом человеке и его рождении из лона русской души.

Но миф, и к тому же национальный миф, требует веры. И потому бесцельно пытаться постигнуть этих людей при посредстве кристального разума. Только чувство, братское чувство, может его понять. *Common sense*, здравому смыслу англичанина, американца, практического человека четверо Карамазовых должны казаться четырьмя видами дураков, весь трагический мир Достоевского — сумасшедшим домом. Ибо то, что было и всегда будет альфой и омегой для здоровой, простой, земной натуры — стремление к счастью — представляется им самой безразличной вещью в мире. Раскройте любую из 50 тысяч книг, ежегодно издаваемых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа, или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет милovid-

ный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака — замок с титулом пэра и миллионами. И если мы посмотрим вокруг, на улице, в лавках, в низких комнатах и в светлых залах — чего хотят там люди? Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто. Ни один. Они нигде не хотят остановиться — даже в счастье. Они всегда стремятся дальше, все они обладают «горячим сердцем», которое приносит им мучения. К счастью они равнодушны, равнодушны и к довольству, богатство они скорее презирают, чем желают его. Они ничего не хотят, эти чудачки, из того, к чему стремится все наше человечество. У них *uncommon sense**. Они ничего не требуют от этого мира.

Итак, они довольствуются малым? Стало быть, флегматики, аскеты, индифферентные люди? Напротив! Люди Достоевского, как я уже говорил, люди нового начала мира. При всей их гениальности, при всем кристальном разуме, у них детские сердца, детские желания: они не хотят ни того, ни другого, — они хотят всего. И очень сильно хотят. Добра и зла, горячего и холодного, близкого и далекого. Они преувеличивают, не знают меры. Я сказал: они ничего не требуют от этого мира. Плохо сказано. Они не требуют от него ничего единичного, они требуют всего — всю полноту чувства, всю глубину мира — единую жизнь. Не надо забывать, что они не слабые люди, не Ловеласы, не Гамлеты, не Вертеры, не Рене, — у них крепкие мускулы и жажда жизни, у людей Достоевского; они — Карамазовы, «сладолюбивые», одаренные «исступленной и неприличной» жаждой жизни, присасывающейся к последней капле чаши, прежде чем ее разбить. Во всем они ищут превосходную степень, повсюду — раскаленных докрасна переживаний, в которых испаряется дешевая литература случайного и не остается ничего, кроме расплавленного, жгучего чувства; как одержимые амоком, они бегут в жизнь, от похоти к раскаянию, от раскаяния к

* Отрицание здравого смысла (фр.).

злодеянию, от преступления к признанию, от признания к экстазу — по всем путям своего рока, повсюду до крайних пределов, пока не падают с пеной у рта, или пока их не опрокинут другие. О, эта жажда жизни! Целая юная нация, новое человечество жаждет их устами — жаждет мира, мудрости, истины! Найдите, покажите в произведениях Достоевского хоть одного человека, живущего спокойно, отдыхающего, достигшего своей цели!

Нет ни одного, ни единого! Все они бешено состязаются в беге ввысь и вглубь, — ибо, по слову Алеши, «кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно ступит и на верхнюю»; они мечутся во все стороны, бросаются в стужу и в огонь, жадно хватаясь за все, ненасытные, не знающие меры, ищущие и находящие свою меру лишь в беспредельности. Как стрелы, они устремляются с вечно натянутой тетивы своей силы в небо, всегда к недостигаемому, всегда направляясь к звездам; в каждом из них — пламя, в каждом — искра тревоги. А тревога приносит муку. Поэтому все герои Достоевского — великие страдальцы. У всех искаженные лица, все живут лихорадочно, в судорогах, в спазмах. Больницей для нервных больных в ужасе назвал мир Достоевского один великий француз, — и действительно, для первого, для внешнего взгляда, какая тусклая, какая фантастическая сфера! Трактиры, наполненные испарениями водки, тюремные камеры, углы в квартирах предместий, переулки публичных домов и пивных, — и там, в рембрандтовском мраке, кишит толпа исступленных образов; убийца с кровью своей жертвы на руках, пьяница, вызывающий всеобщий смех, девушка с желтым билетом в сумерках переулка, ребенок-эпилептик, побирающийся на улице, семикратный убийца на Сибирской каторге, честный вор, умирающий в грязной постели, — какая преисподняя чувства, какой ад страстей! О, какое трагическое человечество, какое русское, серое, вечно сумрачное, низкое небо над этими образами, какой мрак души и ландшафта! Страна несчастий, пустыня отчаяния, чистилище без милости и без надежд.

О, каким мрачным, каким смутным, чуждым, враждебным представляется вначале это человечество, этот русский мир! Кажется, что он наводнен страданиями, и эта земля, как злобно замечает Иван Карамазов, «пропитана слезами от коры до центра». Но, так же как лицо Достоевского на первый взгляд кажется крестьянским, землистым, подавленным, удрученным, мрачным, и лишь потом замечаешь белизну его лба, сияющую над впалыми чертами, озаряющую верой его земную глубину, так и в его творчестве духовный свет пронизывает косную материю. Кажется, что мир Достоевского состоит из одних страданий. И все же — только кажется, что сумма страданий его героев больше, чем в произведениях других писателей. Ибо, рожденные Достоевским, все эти люди преображают свои чувства, гонят и перегоняют их от контраста к контрасту. И страдание, их собственное страдание, часто является для них высшим блаженством. Сладострастью, наслаждению счастьем в них мудро противопоставлено наслаждение болью, наслаждение мукой; в страдании — их счастье; они цепляются за него зубами, согревают его у своей груди, ласкают руками, они любят его от всей души. И они были бы самыми несчастными людьми лишь в том случае, если бы они его не любили.

Этот обмен, иступленный, неистовый обмен чувств в душе, эту вечную переоценку героев Достоевского можно вполне уяснить лишь на примере; я выбираю один, повторяющийся в тысяче форм: горе, причиненное человеку унижением, действительным или воображаемым. Какое-нибудь простодушное, чувствительное существо — безразлично кто: мелкий чиновник или генеральская дочка — терпит обиду. Его гордость задета чьим-нибудь замечанием, может быть, пустячным. Это оскорбление служит первоначальным аффектом, приводящим в возбуждение весь организм. Человек страдает. Он оскорблен. Он настораживается, напрягается и ждет — новой обиды. И она является. Значит, казалось бы, обида удваивается. Но странно: она уже не причиняет боли. Правда, оскорбленный жалуется, кричит, но его жалоба уже

не искренна: он любит свою обиду: «в этом непрерывном сознании позора заключается какое-то ужасное, неестественное наслаждение». Для оскорбленной гордости у него есть замена: гордость мученика. И вот, в нем развивается жажда новых обид, все горших и горших. Он провоцирует, преувеличивает, требует: страдание стало его страстью, его отрадой, его мечтой. Его унизили, — и он хочет, человек, не знающий меры, быть униженным до конца. И теперь он уже не уступит своих страданий; стиснув зубы, он цепляется за них; теперь уже тот, кто захочет ему помочь, становится его врагом.

Так маленькая больная Нелли трижды отказывается принять лекарство, так Раскольников отталкивает Соню, Илюша кусает палец кроткому Алеше — из любви, из фанатической любви к своему страданию. И все, все они любят страдание; страдая, они так остро ощущают возлюбленную жизнь; они знают, что «на нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение», — а этого они жаждут, жаждут больше всего! Это для них самое непреложное доказательство бытия; вместо «*cogito, ergo sum*» — «я мыслю, следовательно, существую». И в этом «я есмь» у Достоевского и у всех его героев высшее торжество жизни. Превосходная степень мирового чувства. В тюрьме Дмитрий поет великий гимн этому «я есмь», сладострастью бытия, и именно в силу этой любви к жизни им необходимо страданье. Поэтому я сказал, что сумма страданий лишь кажется у Достоевского большей, чем у других писателей. Ибо, если существует мир, где нет неумолимого, где из каждой пропасти есть выход, где в каждом несчастье кроется экстаз, в отчаянье — надежда, то это именно его мир. Разве не представляют собой его произведения ряд современных «Деяний апостолов», легенд о спасении от страданья силою духа? ряд обращений к вере в жизнь, восхождение на Голгофу познания? сказаний о пути в Дамаск через наш мир?

В произведениях Достоевского человек борется за свою последнюю истину, за свое всечеловеческое «я». Совершается ли убийство, или женщина воспламеняется любовью, — все

это второстепенно, это внешность, кулисы. Его роман разыгрывается в человеческих глубинах, в душевном пространстве, в духовном мире: случайности, события, происшествия внешней жизни — лишь реплики, театральные машины, сценическое обрамление. Трагедия — вся внутри. И всегда она означает — преодоление препятствий, борьбу за истину. Каждый из его героев спрашивает себя, как сама Россия: кто я? чего я стою? Он ищет себя или, скорее, превосходную степень своего существа — вне границ, вне пространства, вне времени. Он хочет познать себя таким, каким он предстанет перед Богом, и хочет себя исповедать. Ибо для каждого из героев Достоевского истина — больше чем потребность: она для него — экстаз, сладострастье, и признание — самое святое наслаждение, судорога.

У героев Достоевского признание — это прорыв внутреннего человека, всечеловека, божьего человека сквозь земное начало, прорыв истины, божества сквозь плотскую оболочку существования. О, с каким сладострастьем играют они признанием, то утаивая его, — как Раскольников перед Порфирем Петровичем — то таинственно показывая, то снова пряча его и вновь иступленно признаваясь в истине большей, чем сама истина, буйно открывая свою наготу, смешивая порок и добродетель. Здесь, именно здесь, в этой борьбе за истинное «я», достигает Достоевский высшего напряжения. Здесь, на бесконечной глубине, разыгрывается великая борьба его героев — могучая эпопея сердца: здесь, где растворяется чуждый нам русский элемент, их трагедия становится всецело нашей, общечеловеческой. Здесь разгадывается и потрясает нас общая судьба его героев, и в мистерии саморождения мы переживаем миф Достоевского о новом человеке, о всечеловеке в каждом смертном.

Мистерия саморождения. Так называю я в космогонии, в мироздании Достоевского сотворение нового человека. И я попытаюсь рассказать историю всех типов Достоевского в едином мифе; ибо все эти различные, на сотню ладов варьированные люди в конце концов имеют одну общую судьбу.

Все они переживают варианты одного события: создания человека. Не нужно забывать, что искусство Достоевского направлено всегда к центру и, следовательно, в психологии — на человека внутри человека, на абсолютного, абстрактного человека, находящегося глубоко под всеми культурными слоями. Для большинства художников эти слои еще существенны, события романов обычно разыгрываются в социальной, общественной, эротической и бытовой сфере и застревают в ней. Достоевский в своем стремлении к центру всегда направляется к всечеловеку в человеке, к всечеловеческому «я». Всегда он изображает этого человека, последнего человека и его миссию, и всегда в более или менее одинаковой форме.

Истоки его героев одинаковы. Как настоящие русские, они тяготеют собственной жизненной силой. В годы возмужалости, чувственного и духовного пробуждения, омрачается их свободный и светлый дух. Они смутно ощущают в себе назревающую силу, таинственный порыв; что-то скрытое, растущее и набухающее рвется из еще не созревшей оболочки. Таинственная беременность (это новый человек, зарождающийся неведомо для них) делает их мечтательными. Они сидят, замкнутые до одичалости, в душных комнатах, в уединенных углах, день и ночь размышляя о себе. Годы они высиживают в этой странной атараксии, пребывая почти в буддийском состоянии душевного оцепенения; они склоняются над собственным телом, чтобы, подобно женщине, услышать в себе биение второго сердца. Они переживают все таинственные состояния, свойственные беременности: истерический страх перед смертью, страх перед жизнью, болезненные, жестокие желания, извращенные чувственные прихоти.

Наконец они познают, что носят в себе плод — какую-то новую идею; и вот они стараются раскрыть ее тайну. Они оттачивают свою мысль, пока она не становится острой, как хирургический инструмент; они вскрывают свое состояние; в исступленных беседах пытаются разговорить свою подавленность, напрягают мозг, чтобы обдумать ее, пока не надвига-

ется угроза потери рассудка; тогда они заковывают все мысли в одну-единственную навязчивую идею, которую додумывают до крайних пределов, и острее этой идеи в их руках грозно обращается против них самих. Кириллов, Шатов, Раскольников, Иван Карамазов — каждый из этих одиноких людей охвачен «своей» идеей — идеей нигилизма, альтруизма, наполеоновской мировой мечты — и все это высижено в болезненном одиночестве. Они подыскивают оружие против нового человека, который вырастает из них; гордость побуждает их к сопротивлению, хочет подавить его.

Иные стремятся, искусственно возбуждая чувственность, пересилить это таинственное созревание, эту бурно бродящую жизненную скорбь. Воспользуемся тем же образом: они пытаются вытравить плод, подобно женщине, стремящейся при помощи прыжков с лестницы, танцев и ядов освободиться от нежеланного бремени. Они буйствуют, чтобы заглушить в себе это тихое журчание, иногда они губят себя, лишь бы погубить и этот зародыш. Они намеренно опускаются в эти годы. Они играют, пьют, развратничают, — и все это (иначе они не были бы героями Достоевского) с фанатическим иступлением. Скорбь гонит их к пороку, а не притупившаяся похоть. Они пьют не ради удовольствия и крепкого сна, как немцы, а ради самого опьянения, ради забвения своего безумия, играют не ради денег, а только чтобы убить время, развратничают не для улады, а для того, чтобы в излишестве потерять свою истинную меру.

Они хотят знать, кто они, и потому ищут границы. Они перегревают и охлаждают себя, чтобы познать крайние пределы своего «я» и прежде всего — измерить собственную глубину. В своих наслаждениях они возносятся к божеству, опускаются до уровня зверя, но всегда с одной целью: определить в себе человека. Или, не зная себя, они пытаются, по крайней мере, проявить себя. Коля ложится под поезд, чтобы проявить свою храбрость, Раскольников убивает старуху, чтобы доказать свою теорию о Наполеоне, — все они совершают больше, чем хотели первоначально, — лишь бы достиг-

нуть крайнего предела чувства. Чтобы познать свою глубину, границу своей человечности, они бросаются в каждую пропасть: от чувственности к распутству, от распутства к жестокости, и все ниже и ниже — до холодной, бездушной, расчетливой злобы, — но все это во имя преображенной любви, жажды познания собственного существа, своего рода преображенного религиозного исступления. От мудрой трезвости они бросаются в водоворот безумия, их духовная любознательность становится извращением чувств, их преступления простираются до изнасилования детей и убийства, но типична для них повышенная неудовлетворенность в повышенном наслаждении: в самых глубоких безднах их неистовства вспыхивает пламя сознательного фанатического раскаяния.

Но, чем больше они неистовствуют в излишествах чувственности и мысли, тем скорее они приближаются к себе, и чем больше стремятся погубить себя, тем вернее находят себя. Их печальные вакханалии — лишь судороги, их преступления — схватки саморождения. Разрушая себя, они разрушают лишь оболочку, скрывающую внутреннего человека, и достигают спасения души в высшем смысле слова. Чем больше их напряжение, чем больше они извиваются и корчатся в муках, тем больше они бессознательно способствуют акту рождения. Ибо только в самой жгучей боли может появиться на свет новое существо. Нечто огромное, необычайное должно прийти освободить их, какая-то могущественная сила должна стать повитухой в самый тяжелый час; на помощь должна явиться милость, всеобъемлющая любовь. Необычайное деяние, преступление, преображающее в отчаяние все их чувства, нужно, чтобы породить чистоту. И тут, так же как и в действительной жизни, всякое рождение окаймлено смертельной опасностью. Самые крайние силы человеческой природы — смерть и жизнь — тесно сплетаются в этот миг.

Человеческий миф Достоевского в том и заключается, что смешанное, тусклое, многоликое «я» каждого отдельного че-

ловека оплодотворено зародышем истинного человека (первобытного человека средневекового мировоззрения, человека, еще не обремененного природным грехом), стихийного, божественного существа. Дать этому предвечному человеку взойти из брэнной плоти культурного человека — высшая задача и самый важный земной долг. Оплодотворен каждый, ибо жизнь никого не отталкивает, каждого земного человека она восприняла с любовью в некий благословенный миг, но не всякий рождает свой плод. У иных он загнивает в духовной вялости, он отмирает и отравляет их самих. Другие умирают в муках, едва дитя, идея, появляется на свет. Кириллов — один из тех, кто должен убить себя, чтобы остаться правдивым, Шатов — из тех, кто должен быть убитым, чтобы была оправдана его истина.

Но остальные героические образы Достоевского — старец Зосима, Раскольников, Рогожин, Дмитрий Карамазов — уничтожают свое социальное «я», жалкую личинку человеческой природы, чтобы, подобно бабочке, сбросив мертвый кокон, стать из пресмыкающегося существа крылатым, летающим из ползающего по земле. Кора душевной косности разбивается, душа, всечеловеческая душа льется, переливается в беспредельность. Все личное, все индивидуальное сброшено с них; этим объясняется и абсолютное сходство всех этих образов в миг свершения. Алешу едва можно отличить от старца, Карамазова от Раскольникова, когда «из мрака мирской злобы», обливаясь слезами, они вступают в сияние новой жизни. В конце всех романов Достоевского является катарсис греческой трагедии, великое очищение: над прошумевшими грозами в прозрачном воздухе торжественно сияет радуга, для русского — высший символ примирения.

Только создав в себе чистого человека, герои Достоевского вступают в круг истинного общения. У Бальзака герой торжествует, когда он побеждает общество; у Диккенса, когда он мирно приспособляется к социальному слою, находит свое место в буржуазном кругу, находит семью, призвание. Об-

щение, к которому стремится герой Достоевского, уже не социальное, а религиозное: он ищет не общества, а мирового братства. И ступени, ведущие к собственным глубинам, а вместе с тем и мистическому общению, — единственная иерархия в его произведениях. Только о последнем человеке говорят все его романы: социальные, переходные стадии общения с их ложной гордостью и мелкой злобностью преодолены; индивидуум, человек своего «я», стал всечеловеком; его одиночество, его обособленность, которая была лишь гордостью, сломлена, и с беспредельным смирением и пламенной любовью его сердце приветствует брата, чистого человека в каждом другом человеке.

Этот очищенный, последний человек уже не знает различий, забывает о социальном положении: голая, как в раю, его душа не знает ни стыда, ни гордости, ни ненависти, ни презрения. Преступник и проститутка, убийца и святой, князь и пьяница ведут беседу, встречаясь в самых глубоких, самых подлинных слоях своего существа; все пласты сливаются — сердце к сердцу, душа к душе. Решающее значение у Достоевского имеет вопрос: насколько человек искренен, и какой степени человечности он достиг. Безразлично, как произошло это очищение, это извлечение своего «я». Никакое распутство не порочит, никакое преступление не губит: нет другого суда перед Богом, кроме совести.

Праведность и неправедность, добро и зло — эти слова расплавляются в огне страданий. Кто искренен в желании, тот чист: ибо кто искренен, тот исполнен смирения. Тот, кто познал все, понимает и знает, что «законы духа человеческого столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть даже лекарей, ни даже судей окончательных»; знает, что никто не виновен, или все виновны, что никто не имеет права быть судьей, каждый должен быть лишь братом. Поэтому в космосе Достоевского нет безвозвратно отвергнутых, нет «злодеев», нет ада и нет того последнего круга Данте, из которого даже Христос не может поднять осужденных. Он знает только чистилище и понимает, что в заблуж-

дающемся человеку больше душевного пламени и близости к истинному человеку, чем в гордых, холодных и корректных людях, в груди которых истинный человек оледенел в буржуазной законности.

Его истинные люди страдают, благоговеют перед страданием и потому владеют последней тайной земли. Кто страдает, того сострадание делает братом, и все герои Достоевского, благодаря тому, что их взор обращен на внутреннего человека, на брата, чужды страха. Они обладают возвышенной способностью, которую он однажды назвал типично русскою: они не умеют долго ненавидеть; поэтому они обладают неограниченным пониманием всего земного. Они еще ссорятся между собой, еще мучаются, они стыдятся собственной любви, считают свое смирение слабостью и не подозревают еще, что это — величайшая сила человечества. Но их внутренний голос уже предчувствует истину. Понося друг друга словами и враждуя, они внутренним оком смотрят друг на друга в блаженном понимании, и в братском сострадании соединяются их уста. Обнаженный, вечный человек в них познал себя и таинство всепрощения в братском узнавании, это орфическое созвучие душ является лирической музыкой в мрачных творениях Достоевского.

РЕАЛИЗМ И ФАНТАСТИКА

Истину, непосредственную реальность своего ограниченного бытия, ищут герои Достоевского; истину, непосредственную сущность вселенной, ищет сам художник — Достоевский. Он реалист и весьма последовательный реалист: ведь он всегда доходит до того крайнего предела, где каждая форма так таинственно уподобляется своей противоположности, что эта действительность всякому обыденному, привыкшему к среднему уровню взору представляется фантастичной. «Что бы вы ни изобразили, все выйдет слабее, чем в действительности», — говорит он сам. Действительность

«превышает все, что могло создать ваше собственное воображение». Истина — ни у одного художника это не выражено так ярко, как у Достоевского, — стоит не позади, а как бы напротив вероятности. Она выходит за кругозор обычного, психологически неискушенного взора: как в капле воды невооруженный глаз видит лишь ясное, зеркальное единство, а микроскоп — кипучее многообразие, хаос мириадом инфузорий, целый мир там, где улавливалась лишь одна-единичная форма, — так и художник высшим реализмом познает истины, которые кажутся нелепыми в сравнении с очевидностью.

Познавать эту высшую или эту более глубокую истину, как бы скрытую глубоко под кожей вещей, у самого сердца бытия, — было страстью Достоевского. Он хочет познать человека одновременно как единство и как многообразие, простым и обостренным, но в том и другом случае одинаково верным зрением; потому его ясновидящий и мудрый реализм, соединяющий силу микроскопа и зоркость пророка, как бы стеной отделен от того, что французы называли искусством действительности и натурализмом. И хотя Достоевский в своих анализах точнее и глубже, чем кто-либо из тех, кто назвал себя «последовательными натуралистами» (этим они хотели сказать, что дошли до предела, в то время как Достоевский всегда его переходит), его психология появляется как из другой сферы творческого духа. Точный натурализм со времени Золя отправляется прямо от науки. Перевернутая экспериментальная психология, он словно спаян с трудом и потом, с изучением и экспериментом. Флобер подвергает перегонке в реторте своего мозга две тысячи книг Парижской Национальной библиотеки, чтобы найти естественный колорит «Искушения» или «Саламбо»; Золя в течение трех месяцев, прежде чем сесть за свой роман, как репортер, ходит с записной книжкой на биржу, в магазины и ателье, чтобы зарисовать модели, собрать факты. Действительность для этих копировщиков мира — холодная, исчислимая, легко доступная субстанция. Они смотрят на вещи на-

стороженным, взвешивающим, высчитывающим взором фотографа. Холодные ученые в искусстве, они собирают, распределяют, перемешивают и перегоняют отдельные элементы жизни и занимаются своего рода химией соединений и растворов.

Процесс художественного наблюдения у Достоевского не отделим от сферы сверхъестественного. Если для иных искусство — наука, то для него оно — черная магия. Он занимается не экспериментальной химией, а алхимией действительности, не астрономией, а астрологией души. Он не холодный исследователь. В страстных галлюцинациях он пристально всматривается в глубины жизни, как в демонический, кошмарный сон. И все же его пестрые видения совершеннее, чем упорядоченные наблюдения других. Он не собирает, но у него есть все. Он не вычисляет, и все же его измерения безошибочны. Его диагнозы, плод ясновидения, без ощупывания пульса в лихорадке явлений схватывают тайну их происхождения. Есть в его знании нечто от ясновидческого толкования снов, и нечто от магии в его искусстве. Как чародей, он проникает сквозь кору жизни и высасывает ее обильные, сладкие соки. Всегда его взгляд исходит из глубины его собственного всеведущего бытия, из мозга и нерва его демонической натуры, и все же в правдивости, в реальности превосходит всех реалистов. Все он мистически познает изнутри. Ему достаточно намек, чтобы крепко зажать в руке весь мир. Достаточно взгляда, чтобы этот мир стал образом. Ему не приходится много рисовать, тянуть обоз подробностей. Он рисует волшебством.

Вспомним великие образы этого реалиста — образы Раскольникова, Алеши и Федора Карамазовых, Мышкина. С какой невероятной конкретностью живут они в нашем восприятии! Где он их описывает? В каких-нибудь трех строках, точно наспех, набрасывает он их облик. Он словно подает реплику, описывает их лицо, в четырех-пяти простых фразах, — и это все. Возраст, профессия, звание, одежда, цвет волос, мимика, — все эти признаки, казалось бы, столь

существенные для описания личности, — переданы со стенографической краткостью. И, вместе с тем, как ярко горит каждый из этих образов в нашей крови!

Сравним теперь с этим магическим реализмом точное описание у последовательного натуралиста. Золя, прежде чем начать работу, составляет подробный каталог своих образов, сочиняет (и теперь еще можно обозревать эти удивительные документы) форменное описание примет, паспорт для каждого, кто переступает порог романа. Он измеряет его рост с точностью до сантиметра, записывает, скольких зубов у него недостает, подсчитывает бородавки на его лице, гладит бороду, чтобы узнать, жестка она или мягка, замечает каждый прыщик на коже, ощупывает ногти, знает голос, дыхание своих персонажей, их наследство и наследственность, раскрывает банковский счет, чтобы узнать их доходы. Он измеряет все, что измеримо снаружи. И все же, как только эти образы начинают двигаться, улетучивается их цельность, искусственная мозаика разбивается на тысячи осколков. Остается душевная расплывчатость, а не живой человек.

В этом ошибка их искусства: французские натуралисты, начиная роман, дают точное описание человека в состоянии полного покоя, словно он находится в духовном сне, и потому эти образы обладают ненужной верностью маски, снятой с покойника. Видишь мертвую фигуру, но не ощущаешь в ней жизни. Но именно там, где кончается этот натурализм, начинается страшный в своем величии натурализм Достоевского. Его люди становятся пластичными только в моменты возбуждения, страсти. В то время как натуралисты пытаются изображать душу через тело, он строит тело с помощью души: когда страсть напрягает черты, глаза увлажняются в ярком переживании, когда спадает маска буржуазного покоя, душевное оцепенение, — только тогда его образ становится действительно образным. Лишь в ту минуту, когда его персонажи воспламеняются, приступает духовидец Достоевский к их созданию.

Итак, преднамеренно, а не случайно всякий образ у До-

стоевского обрисовывается сперва в неясных, как бы призрачных очертаниях. В его романы вступаешь, как в темную комнату. Виднеются лишь контуры, слышатся неясные голоса, и сразу не определишь, кому они принадлежат. Лишь постепенно привыкает, обостряется зрение; и тогда, будто с картины Рембрандта, из глубокого сумрака струятся тонкие духовные флюиды. Лишь охваченные страстью, выступают из мрака люди. У Достоевского человек должен воспламениться, чтобы стать видимым, его нервы должны быть натянуты до предела, чтобы зазвучать. Тело у него создается вокруг души, образ — только вокруг страсти. Только теперь, когда они как бы подождены, когда они приходят в это удивительное лихорадочное состояние (ведь все герои Достоевского — олицетворение лихорадочного состояния), выступает на сцену его демонический реализм, начинается волшебная охота за подробностями; теперь он выслеживает малейшие движения, отмечает каждую улыбку, заползает в лисьи норы смятенных чувств, доходит по следам их мыслей вплоть до призрачного царства подсознательного. Каждое движение пластично выделяется, каждая мысль становится кристально ясной, и чем крепче они освещены внутренним огнем, тем прозрачнее становится их сущность.

Самые неуловимые, потусторонние, болезненные, гипнотические, исступленные, эпилептические переживания обладают у Достоевского точностью клинического диагноза, четкими контурами геометрической фигуры. Ни один нюанс не пропадает, ни малейшее колебание не ускользает от его обостренных чувств: именно там, где другие художники умолкают, где они, точно ослепленные сверхъестественным светом, отводят взор, — там реализм Достоевского обнаруживается с наибольшей яркостью. И эти мгновения, когда человек достигает крайних границ своих возможностей, когда знание становится почти безумием, а страсть — преступлением, — эти минуты воскресают в его романах как незабываемые видения. Попробуем вызвать в своей памяти образ Раскольникова: мы увидим его не двадцатипятилетним студен-

том-медиком, бродящим по улицам или по комнате, носителем тех или иных внешних особенностей, — в нас встает драматическое видение его заблудшей страсти, когда, с дрожащими руками, с выступившим на лбу холодным потом, с невидящими глазами, он пробирается по лестнице дома, в котором он совершил убийство, и в таинственном трансе дергает звонок у дверей убитой, чтобы еще раз чувственно насладиться своими мучениями. Мы видим Дмитрия Карамазова в чистилище допроса, задыхающегося от гнева и от страсти, неистово бьющего по столу кулаком.

У Достоевского человек становится художественным образом лишь в состоянии высшего возбуждения, на кульминационной точке чувств. Как Леонардо в своих грандиозных карикатурах рисует гротески тела, физическое уродство там, где оно выходит за пределы обыденного, так Достоевский схватывает человеческую душу в мгновения избытка, в те мгновения, когда человек словно наклоняется над краем своих возможностей. Среднее состояние ему ненавистно, как всякая гладкость, как всякая гармония: только необычайное, скрытое, демоническое приводит его художественную страсть к крайнему реализму. Он — ни с кем не сравнимый ваятель необычайного, величайший анатом раздраженной и больной души, которого когда-либо знало искусство.

Таинственное орудие, которым Достоевский проникает в глубь людей, это — слово. Гёте все изображает зрительно. Он — удачнее всех определил эту особенность; Вагнер — человек глаза; Достоевский — человек слуха. Он должен прежде всего услышать речь своих героев, заставить их говорить, чтобы мы могли ощутить их зрением, и Мережковский прекрасно выразил это в своем гениальном анализе двух создателей русского эпоса: у Толстого мы слышим, потому что видим, у Достоевского видим, потому что слышим. Его люди — тени и призраки, пока они не заговорили. Слово — влажная роса, оплодотворяющая их душу: только в речи они раскрывают свои тайники, — словно какие-то фантастические цветы показывают свои краски, свою оплодотво-

ряющую пыльцу. В спорах они разгораются, пробуждаются от своей душевной дремоты, а только к бодрствующему и страстному человеку направлена, как я уже говорил, художественная страстность Достоевского. Он выманивает слово у них из души, чтобы схватить саму душу. Сверхъестественная психологическая зоркость Достоевского в конце концов не что иное, как неслыханная острота слуха. Мировая литература не знает более совершенных пластических творений, чем речи героев Достоевского. Символичен порядок слов, характерен строй предложений, ничто не случайно: необходим каждый отдельный слог, каждый вырвавшийся звук, существенна каждая пауза, каждое повторение, каждое дыхание, каждая обмолвка; за высказанным словом всегда слышится подавленный резонанс: это бьют волны скрытого душевного прилива.

Из речей героев Достоевского вы узнаете не только то, что говорит каждый из них, что он хотел бы сказать, но и то, о чем он умалчивает. И этот гениальный реализм духовного слуха сопровождает его на всех таинственных путях слова — на вязкой, болотистой равнине пьяного бреда, в окрыленном, задыхающемся экстазе эпилептического припадка, в непроходимой чаще лжи. В парах кипучей речи возникает душа, из души постепенно кристаллизуется тело. Совершенно незаметно сквозь дым слов, сквозь гашиш речи встает в романах Достоевского видение телесного облика говорящего. Если другие создают образ прилежной мозаикой, красками, рисунком, то у него образ — сгущение слова. О людях Достоевского как бы грезишь в ясновидении, слыша их речь. Достоевскому нет надобности графически зарисовывать их: под гипнозом речи мы сами становимся духовидцами. Приведу пример. В «Идиоте» старый генерал, патологический лжец, идет рядом с князем Мышкиным и делится с ним своими воспоминаниями. Он начинает лгать, скатывается все глубже и глубже и, наконец, совершенно увязает в своем вранье. Он говорит, говорит, говорит. Страницами льется его ложь.

Достоевский приводит только слова генерала, но его манера говорить, его паузы, беспокойство, его нервная торопливость дорисовывают картину: я вижу, как он идет рядом с Мышкиным, как он запутывается во лжи, вижу, как он подымает глаза, осторожно сбоку поглядывает на князя, чтобы убедиться, что он верит ему, как он останавливается в надежде, что князь его оборвет; я вижу, как пот выступает на его лбу, вижу черты его лица, одушевленные восторгом в начале рассказа, а теперь все больше искажающиеся страхом; вижу, как он съеживается, словно собака в ожидании удара, и вижу князя, который в самом себе ощущает это напряжение лжеца и старается подавить его. Где это описано у Достоевского? Нигде, ни в одной строке, и все же со страстной ясностью я вижу каждую морщинку на его лице. Где-то в речи, в модуляциях голоса, в сопоставлении слогов кроются чары духовидения; и так волшебным образом это искусство, что даже при неизбежном огрубении, которое приносит с собой перевод на чужой язык, свободно парит душа его героев.

Весь характер героя у Достоевского — в ритме его речи. И это сгущение характеристики обычно достигается в его гениальной интуиции какой-нибудь мелкой деталью, нередко одним словом. Когда Федор Карамазов на конверте, предназначенном для Грушеньки, приписывает к ее имени: «и цыпленочку», — то видишь перед собой лицо старого развратника, видишь гнилые зубы, сквозь которые льется слюна на ухмыляющиеся губы. И если в «Записках из Мертвого дома» садист-поручик при ударах палками приговаривает «лупи, лупи» — то в этой крохотной черточке проглядывает весь его характер, жгучая картина, прерывистое дыхание вожделения, пылающий взор, побагровевшее лицо, одышка злобного наслаждения. Эти маленькие реалистические подробности у Достоевского, которые, как острые рыболовные крючки, проникают в чувство и непреодолимо втягивают в чужие переживания, — это самый изысканный художественный прием Достоевского и вместе с тем

высшее торжество интуитивного реализма над программным натурализмом.

Однако, Достоевский не расточает эти детали. Он пользуется одной там, где другие применяют сто, но со сладострастной утонченностью он накапливает эти маленькие жестокие детали последней истины и поражает ими в момент высшего экстаза, когда их меньше всего ожидаешь. Неумолимой рукой он вливает каплю земной желчи в кубок экстаза: быть правдивым и искренним значит для него — действовать антимантически и антисентиментально. Ни на одну минуту не надо забывать, что Достоевский не только пленник своего контраста, но и проповедник его. Им и в искусстве владеет страсть сочетать две предельные плоскости жизни — самую жестокую, обнаженную, самую холодную и грязную действительность с самыми благородными возвышенными мечтами. Он хочет, чтобы во всем земном мы ощущали божественное, в реальном — фантастическое, в возвышенном — обыденное, в благородстве духа — горькую соль земли, — и все это одновременно.

Он хочет, чтобы наше наслаждение было так же двойственно, как двойственны его переживания; он и здесь не хочет гармонии, не хочет гладкости. Во всех его произведениях есть эта острая двойственность: сатанинской детальностью анализа он взрывает самые возвышенные мгновения, издеваясь над банальностью самого святого в жизни. Чтобы проиллюстрировать этот момент контраста, я напомним трагические страницы «Идиота». Убив Настасью Филипповну, Рогожин ищет Мышкина, брата. Он встречается его на улице, где трогает его за локоть. Им не приходится говорить друг с другом, все предугадано в жутком чувстве. По разным сторонам улицы они направляются в дом, где лежит убитая. Ширится какое-то необычайное предчувствие величия и торжественности, слышится музыка сфер. Враги в жизни, братья по чувству, они входят в комнату убитой. Настасья Филипповна лежит мертвая. Кажется, что теперь эти люди, здесь, с глазу на глаз, у трупы женщины, разъединившей их, скажут друг

другу все. И вот начинается разговор, — и небо разбивается об эту обнаженную, грубую, жгуче-земную, дьявольскую душевную материю. Они говорят прежде всего и единственно о том, будет ли пахнуть труп. И Рогожин с потрясающей деловитостью сообщает, что он накрыл труп «хорошей американской клеенкой» и поставил «четыре склянки ждановской жидкости».

Вот эти детали я называю у Достоевского садизмом, дьявольщиной, ибо здесь реализм больше, чем простой технический прием: он является метафизической мезью, вспышкой таинственного сладострастия — насильственного иронического разрушения чар. «Четыре склянки!» — эта математичность цифры, «американская клеенка!» — жуткая точность деталей, — это нарочитое разрушение душевной гармонии, жестокий бунт против единства чувств. Здесь истина, превосходя себя, становится эксцессом, пороком и мучением, и эти ужасающие прыжки с небесной высоты чувства в грязные каменоломни действительности сделали бы Достоевского невыносимым, если они не уравнивались бы противоположным контрастом, если б он не создавал столь же необычный экстаз в самых грязных углах действительности.

Нужно лишь вспомнить мир Достоевского. Он, в социальном отношении, — червоточина; он расположен у сточной канавы жизни, в самых тусклых слоях бедности и злосчастия. Сознательно (он не только антисентиментален: он антиромантичен) Достоевский переносит свою инсценировку в гущу банальности. Грязные подвалы, пропахшие пивом и водкой, душные, узкие гробы комнат, разделенные деревянной перегородкой, — никогда не салоны, не отели, не дворцы, не конторы. И его герои внешне нарочито «неинтересны», — чахоточные женщины, оборванные студенты, бездельники, моты, тунеядцы, — никогда не социально значимые личности. И как раз в этой тусклой обыденности разыгрываются у него величайшие трагедии эпохи. Из ничтожного волшебным образом возникает возвышенное. Нет в его произведениях ни-

чего более демонического, чем этот контраст внешнего убожества и душевного опьянения, бедности обстановки и рачительности сердца. Пьяные люди в трактирах возвещают наступление третьего царства, его святой — Алеша — выслушивает глубокомысленную легенду от распутной женщины, сидящей у него на коленях, в игорных и публичных домах совершаются апостольские деяния благовестия и милосердия, и самая возвышенная сцена «Преступления и наказания», когда убийца падает ниц, склоняясь перед страданием всего человечества, разыгрывается в комнате проститутки, в квартире зайки-портного Капернаумова.

Его страсть, словно непрерывный переменный поток, холодный или горячий, — но только не теплый, — совсем в духе Апокалипсиса, — насыщает кровообращение жизни. В столкновении контрастов поэт всегда ставит лицом к лицу возвышенное с банальным, бросает от волнения к волнению возбужденные чувства. Поэтому в романах Достоевского никогда не обретаешь покоя, не находишь нежного музыкального ритма, никогда он не позволяет дышать ровно, — все время беспокойно перебрасываешься из стороны в сторону, как под разрядами электричества, — со все возрастающим жаром, беспокойством, любопытством. Пока мы находимся под влиянием его поэтической мощи, мы сами уподобляемся ему. Как в себе самом, вечном дуалисте, человеке, пригвожденном ко кресту разлада, так и в своих героях, так и в читателе Достоевский разрывает единство чувств.

Это остается вечной особенностью его творчества, и не подобало бы определять ее ремесленным словом «техника», ибо это искусство исходит непосредственно от личности Достоевского, от жгучего исконного разлада его чувств. Его мир — очевидная истина и в то же время тайна, ясновидение действительности, наука и магия в одно и то же время. Самое непостижимое становится понятным, самое понятное — непостижимым; проблемы переливаются через край возможностей, и все же никогда они не становятся бесформенными. С неслышанной силой фантастически реальные детали прико-

ывают его образы к земному, ни один из них не ускользает в призрачный мир.

Достоевский в ясновидении ощущает сущность своего героя до последнего сплетения его нервных волокон; он опускается с ним на морскую глубину его грез, проникает в лихорадочный трепет его страсти, пронизывает его опьянение; ни одна мысль, ни одна вибрация душевной субстанции не ускользает от него. Звено за звеном кует он психологическую цепь вокруг пленников искусства. У него нет психологических заблуждений, нет узлов, которые не становились бы прозрачными для его ясновидящей логики. Ни одной ошибки, ни одного противоречия внутренней правде. Он воздвигает художественные здания разума и ясновидения, необъятные и неколебимые. Диалектический поединок Порфирия Петровича с Раскольниковым, архитектоника преступлений, логический лабиринт Карамазовых — это бесподобная умственная архитектоника, безошибочная, как математика, и пьянящая, как музыка. Высшие силы разума и духовной зоркости рожают здесь новую истину, глубину, какой еще не знал человеческий дух.

Но все же — вопрос требует ответа, — почему, не взирая на сверхъестественную полноту действительности, творчество Достоевского, такое глубоко земное творчество, производит на нас неземное действие, — словно мир, расположенный рядом с нашим миром или над ним, но не наш мир? Почему, переживая в нем самые сокровенные наши чувства, мы все же словно чужие в нем? Почему во всех его романах горит какой-то искусственный свет и пространство его — будто призрачное пространство? Почему этот крайний реалист кажется нам скорее сомнамбулой, чем изобразителем действительности? Почему, несмотря на всю горячность, даже пламенность, в них вместо плодотворного солнечного тепла чувствуется какое-то причиняющее боль северное сияние, кровавое и ослепительное? Почему мы ощущаем это бесконечно правдивое изображение жизни не как саму жизнь? не как нашу собственную жизнь?

Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Высший масштаб измерения подобает Достоевскому, и его можно оценивать сравнительно с самыми возвышенными, самыми неувыдаемыми творениями мировой литературы. Для меня трагедия Карамазовых не менее значительна, чем сплетения «Орестен», чем эпос Гомера, чем возвышенные очертания творчества Гёте. Все они, эти произведения, даже наивнее, проще, не столь чреватые будущностью, как произведения Достоевского. Но они как-то мягче, отраднее для души, они дают освобождение чувству, в то время как Достоевский дает лишь познание. Мне кажется, этому разрешающему действию они обязаны тем, что они не столь человечесны, а просто человечны. Они окружены святой рамкой сияющего неба, мира, дыханием лугов и полей, в которых может укрыться и свободно вздохнуть запуганное чувство. У Гомера среди битв и кровавой борьбы находишь несколько описательных строк — и вдыхаешь соленый ветер с моря, видишь сияние серебряного света Эллады над кровавой обителью, и успокоенным чувством познаешь призрачность человеческой борьбы в сравнении с вечной сущностью вещей. И — свободно вздыхаешь, освобождаясь от человеческой печали. И у Фауста есть Светлое Воскресенье, когда растворяются его муки в раскрытой природе, когда восторг его рвется навстречу мировой весне.

Во всех этих произведениях природа освобождает от человеческого мира. Но у Достоевского нет ландшафта, нет рядки. Его космос — не мир, а только человек. Он глух к музыке, слеп к картинам, равнодушен к ландшафту: ценой невероятного безразличия к природе, к искусству куплено его непостижимое, несравнимое знание человека. А всему только человеческому свойственна ущербность и неполнота. Его бог живет только в душе, а не в вещах; у него нет драгоценного зерна пантеизма, сообщающего немецким и эллинским произведениям способность успокаивать и разрешать. У Достоевского действие разыгрывается в непрветренных комнатах, на грязных улицах, в дымных кабаках, на-

полненных тяжелым человеческим, слишком человеческим духом; нет у него порывистого освежающего ветра и смены времен года.

Попробуйте вспомнить: в его крупных произведениях — в «Преступлении и наказании», в «Идиоте», в «Карамазовых» в «Подростке», — в какое время года, в какой местности происходит действие? Летом, весной или осенью? Может быть, об этом где-нибудь и сказано. Но этого не чувствуешь. Не вдыхаешь, не осязаешь, не ощущаешь, не переживаешь этого. Они разыгрываются где-то во мраке сердца, временами озаряемом молнией познания, в безвоздушной области мозга, лишенной звезд и цветов, тишины и молчания. Дым большого города омрачает небо их души. Им недостает точки опоры для освобождения от человеческого; в них нет блаженных разрядов, самых ценных для человека, когда он отводит взор от себя и от своих страданий и обращает его на бесчувственный, бесстрастный мир. Это — тень в его книгах: его образы как бы сняты с серой стены нищеты и мрака; чуждые свободы и ясности, они вращаются не в реальном мире, а только в беспредельности чувства. Его сфера — душевный мир, а не природа, его мир — только человечество.

Но и человечество его, — как бы изумительно правдив ни был каждый человек в отдельности, как бы безошибочен ни был его логический организм, — в целом, в известном смысле, неестественно: какая-то призрачность присуща его образам, их шаги как бы вне пространства, точно шаги теней. Этим я не хочу сказать, что они не правдоподобны. Психология Достоевского безупречна, но его люди не пластичны, ибо они исследованы и прочувствованы с возвышенной точки зрения: они сотканы только из души и лишены плоти. Героев Достоевского мы знаем исключительно как превращающееся и превращенное чувство; это — существа из нервов и души, — почти забываешь, что у них кровь течет по жилам, что у них есть тело. На двадцати тысячах страниц его сочинений нигде не сказано, как сидит кто-нибудь из его героев, как он ест, пьет: они только чувст-

вуют, говорят и борются. Они не спят (иногда лишь грезят в ясновидении), не отдыхают, они пребывают в постоянной лихорадке, постоянно размышляют. Они никогда не прозябают, как растения, как звери, — всегда они в движении, всегда возбуждены, напряжены, и всегда, всегда бодрствуют. Более чем бодрствуют: всегда они пребывают в превосходной степени своего бытия. Они все обладают душевной дальностью Достоевского, все они ясновидящие, телепаты, духовидцы, все — пифические* люди и все пропитаны до последних глубин существа психологическим знанием.

В обыденной, банальной жизни большинство людей — не нужно об этом забывать — находятся в конфликте друг с другом и с судьбой лишь потому, что они друг друга не понимают, что им свойственен лишь земной рассудок. Шекспир, другой великий психолог человечества, строит половину своих трагедий на этом врожденном непонимании, на этом фундаменте мрака, который лежит роковым камнем преткновения между человеком и человеком. Лир не доверяет своей дочери, ибо не подозревает о ее благородстве, о скрытом за стыдливостью величии ее любви; Отелло избирает себе в наперсники Яго, Цезарь любит Брута, своего убийцу, — все они во власти подлинной природы человеческого мира — заблуждения. У Шекспира, как и в действительной жизни, недоразумение, земное несовершенство становится производительной силой трагизма, источником всех конфликтов.

Но герои Достоевского, сверхзнающие, — они не ведают недоразумений. Каждый пророчески знает другого, они понимают друг друга беспредельно, до самых глубин, они высасывают слово из уст друг друга раньше, чем оно произнесено, и мысль — из материнского лона ощущения. Они чувствуют, они предугадывают друг друга, они никогда не разочаровываются, никогда не удивляются, каждая душа таинственным чутьем схватывает сущность другой. У них чрезмерно разви-

* Обладающие даром прорицания. — *Примеч. ред.*

то неосознанное, подсознательное; все они пророки, все провидцы и духовидцы. Достоевский отяготил их своим собственным мистическим проникновением в бытие и познание. Для пояснения я приведу пример. Рогожин убивает Настасью Филипповну. С первой встречи с ним, в каждый час любви, она знает, что он ее убьет; она убегает от него именно потому, что знает это, и возвращается, потому что стремится к своей судьбе. Она за несколько месяцев уже знает нож, который пронзит ее грудь. И Рогожин знает это, и ему, так же как и Мышкину, знаком этот нож. Его губы задрожали, когда он однажды замечает, что Рогожин играет этим ножом. Также и при убийстве Федора Карамазова всем ведомо то, чего никто не может знать. Старец падает на колени, потому что чувствует преступление; даже насмешник Ракин умеет отгадывать события по этим признакам. Алеша, прощаясь с отцом, целует его в плечо, — чувство подсказывает ему, что он его больше не увидит. Иван едет в Чермашню, чтобы не быть свидетелем преступления. Грязный Смердяков предсказывает ему это с улыбкой. Все, все, обремененные пророческим знанием, неестественным в своем великом многообразии, знают и день, и час, и место убийства. Все они пророки, все знающие наперед, все постигающие.

Здесь, в психологии, вновь познается двойственность формы всякой истины для художника. Хотя Достоевский знает человека глубже, чем кто-либо знал до него, все же Шекспир превосходит его, как знаток человечества. Он познал неоднородность бытия, обыденное и безразличное поставил рядом с грандиозным, тогда как Достоевский каждого единичного человека возносит в беспредельность. Шекспир познал мир во плоти, Достоевский в духе. Его мир, быть может, совершеннейшая галлюцинация мира, глубокий и пророческий сон о душе, сон, превосходящий действительность: это реализм, который, выходя за свои пределы, подымается до фантастического. Достоевский — сверхреалист, переходящий все границы; он не изобразил действительность, он ее возвысил над собой.

Итак, изнутри, только из души исходит его художественное изображение мира; изнутри связанность этого мира, и разрешенность — изнутри. Этот род искусства, самый глубокий, самый человечный, не имеет предшественников в литературе — ни в России, ни где-либо в мире. Это творчество связано братскими узами лишь с далеким прошлым. Его судороги и страдания иногда напоминают греческих трагиков — чрезмерностью мучений людей, извивающихся под ударами сверхчеловеческой судьбы; мистической, каменной, неизбывной душевной печалью иногда напоминает оно Микеланджело. Но как истинный брат протягивает ему руку сквозь века Рембрандт. Оба они приходят из жизни полной труда, лишений и презрения, оторванные от всех земных благ, загнанные ревнивыми стражами богатства в глубочайшие глубины человеческого бытия. Оба они знают творческий смысл контраста, знают о вечном споре мрака и света, знают, что нет красоты более глубокой, чем святая красота души, преодолевшая скудость бытия. Как Достоевский создает святых из русских крестьян, игроков и преступников, так Рембрандт рисует свои библейские фигуры с найденных в портовых переулках моделей; для обоих в самых низменных формах жизни кроется какая-то таинственная, новая красота, оба они находят своего Христа среди подонков народа. Оба знают о постоянной борьбе земных сил, о свете и о тьме, с равной мощью господствующих в физическом и в духовном мире: и тут и там свет возникает из последнего мрака жизни. Если глубже всмотреться в картины Рембрандта и в книги Достоевского, в них откроется последняя тайна мировых и духовных форм: всечеловечность. И где душа сперва замечает лишь призрачную форму, тусклую действительность, там, заглядывая глубже, в радостном познании она созерцает сияющий свет: это — священное сияние, которое мученическим венцом окружает последние явления бытия.

ЗОДЧЕСТВО И СТРАСТЬ

Как мало любит тот, кто любит меру!
Ла Бозси

«У тебя сильные страсти». Эти слова Настасьи Филлиповны поражают прямо в сердце всех героев Достоевского и прежде всего самого Достоевского. Только страстно может этот могучий человек встречать явления жизни и потому особенно страстно — самую страстную свою любовь: искусство. Разумеется, творческий процесс, художественное напряжение для него не спокойная, свободно созидаящая, холодно рассчитывающая работа построения. Достоевский пишет лихорадочно, так же, как лихорадочно думает, лихорадочно живет. В руке, проливающей на бумагу бегущие мелкими жемчужными нитями слова (у него быстрый, неровный почерк, как у всех горячих людей), пульс бьется учащенно, нервы судорожно вибрируют. Творчество для него — экстаз, мука, восторг и падение, сладострастие, ставшее болью, в сладострастие возведенная боль, вечная судорога, постоянно повторяющееся вулканическое извержение его мощной природы.

«Со слезами» пишет двадцатидвухлетний юноша свое первое произведение «Бедные люди», и с тех пор каждая работа для него — кризис, болезнь. «Я человек больной, нервный. Когда пишу что-нибудь, то даже думаю об этом и когда обедаю, и когда сплю, и когда с кем-нибудь разговариваю». И в самом деле, эпилепсия, его мистическая болезнь, со своим лихорадочным, воспаляющимся ритмом, со своим мрачным, тусклым упадком, пронизывает тончайшие вибрации его произведений. Но всегда Достоевский творит всем существом, в истерической ярости. Самые мелкие, казалось бы, безразличные его произведения — например, журнальные статьи — расплавлены и вылиты в раскаленном горниле его страсти. Он никогда не творит какой-либо отдельной, свободно действующей частью своей творческой силы — как

бы сгибом руки, игрушечной легкостью техники: всегда он вкладывает в событие все свое физическое возбуждение, до последнего нерва испытывая страдания своих героев и сострадание к ним. Все его сочинения словно возникли из бешеных грозových ударов, порожденных неимоверным давлением атмосферы. Достоевский не может творить без внутреннего волнения, и о нем можно сказать словами Стендаля: «Lorsqu'il n'avait pas d'émotion, il était sans esprit» — когда Достоевский не был страстен, он не был поэтом.

Но страстность в искусстве может быть стихией не только созидающей, но и разрушающей. Она создает лишь хаос сил, из которого ясный ум высекает вечные формы. Всякое искусство нуждается в волнении, как стимуле творчества, но, чтобы стать совершенным, оно нуждается и в рассудительно-обдуманном спокойствии размышления. Могучий ум Достоевского, врезающийся в действительность, как алмаз, знает мраморный, металлический холод, окружающий большое художественное произведение. Он любит, он обожает великое зодчество, он набрасывает великолепные масштабы, возвышенные пропорции мировой картины. Но страстное чувство всегда заливает фундамент. Вечный разлад между умом и сердцем обнаруживается и в процессе творчества, и здесь он называется противоречием архитектоники и страсти.

Напрасно старается Достоевский, как художник, творить объективно, оставаться вовне, быть только повествователем и изобразителем, эпиком, докладчиком событий, аналитиком чувств. Его страсть — страдания и сострадания — непреодолимо втягивает его в создаваемый им мир. Нечто от изначального хаоса остается и в законченных произведениях Достоевского; никогда он не достигает гармонии («Не хочу гармонии», — кричит Иван Карамазов, постоянно выдающий самые сокровенные его мысли). И тут нет согласия, нет мира между формой и волей, и тут — о, вечная двойственность его существа, пронизывающая все формы от холодной скорлупы до пламенного ядра! — непрерывная борьба между внутрен-

ним и внешним. Вечный дуализм его существа обнаруживается в эпическом произведении борьбой между зодчеством и страстью.

Никогда Достоевский не достигает того, что технически называется «эпическим изложением», великого искусства укрощать движение событий, создавать из них спокойную картину, искусства, которое по наследству передается от мастера к мастеру, через бесконечный ряд предшественников, от Гомера до Готфрида Келлера и Толстого. Страстно он строит свой мир, и только страстно, только в волнении можно им наслаждаться. Никогда не возникает в его произведениях нежное, убаюкивающее ощущение уюта, никогда не чувствуешь себя в безопасности, стоящим вне событий у надежного берега, созерцающим, как спектакль, прибой и смятение взволнованного моря. Всегда чувствуешь себя втянутым в него, вплетенным в трагедию. Как болезнь, переживаешь в крови кризисы его героев; проблемы, как воспаленные раны, жгут взволнованное сердце. Он погружает все наши чувства в раскаленную атмосферу, толкает нас на край душевной пропасти; где мы стоим изнемогая, испытывая головокружение, затаив дыхание. И только тогда наш пульс бьется в унисон с его пульсом, и мы становимся его достоянием. Достоевский хочет, чтобы те, кто воспринимает его эпос, испытывали такое же повышенное напряжение, как те, кого он избрал своими героями. Потребители библиотечных книг, спокойные фланеры чтения, гуляющие по панелям избитых проблем, должны отказаться от него, так же как и он от них. Только горящий, только страстно воспламененный человек, человек с раскаленными чувствами, может найти дорогу в его истинный мир.

Нельзя ни отрицать, ни скрыть, ни смягчить: отношение Достоевского к читателю не отличается дружелюбием, любезностью; в нем есть разлад, чреватый самыми опасными, самыми жестокими, самыми сладострастными инстинктами. Это — словно страстное слияние мужчины с женщиной, а не, как у других поэтов, дружеское и доверчивое отношение.

Диккенс или Готфрид Келлер, его современники, заманивают читателя в свой мир мягким, мелодичным голосом; в дружеской беседе они вводят его в события; они возбуждают лишь любопытство, фантазию, а не будоражат, как Достоевский, всю душу. Он же, страстный, хочет завладеть нами всецело, — не только нашим любопытством, нашим интересом; он требует всю нашу душу и даже наше тело. Сперва он насыщает электричеством внутреннюю атмосферу, различными ухищрениями повышает нашу возбудимость. Возникает род гипноза — растворение воли в его страстной воле: как глухое бормотание заклинателя, бесконечное и бессмысленное, окутывают ум длинные разговоры; намеки и таинственность возбуждают наше участие. Но он не хочет, чтобы мы отдавались слишком быстро; искушенный сладострастник, он растягивает пытку ожидания. В нас медленно закипает беспокойство, а он, выдвигая новые фигуры, разворачивая новые картины, оттягивает развитие действия. С дьявольской силой воли он сдерживает наступление разрядки, и этим безмерно увеличивает внутреннее давление, насыщенность атмосферы. И вот, чреватое роком, сгущается над нами облако трагедии (как много времени проходит в «Преступлении и наказании» прежде, чем мы узнаем, что все эти непонятные переживания Раскольниковы являются подготовкой к убийству, и, в то же время, нервы заранее предугадывают приближение страшных событий), на небе души сверкает зарница жуткого предчувствия. Но чувственное вожделие Достоевского опьяняется утонченной медлительностью: будто уколы иголки, осторожно вонзаются в кожу ощущений маленькие намеки. Создавая дьявольское торможение, Достоевский крупным событиям предпосылает страницы мистической и демонической тоски, пока он не вызовет в способном к возбуждению человеке (только для таких людей и предназначено все это) духовной лихорадки и физической муки. Блаженство напряжения, как и всякое переживание, этот фанатик контрастов доводит до боли, и лишь когда в перегретом котле груди закипает чувство, готовое взорвать стенки, —

лишь тогда он ударяет по сердцу молотом, создавая возвышенное мгновение разряда, и, подобно разрешающей молнии, слетевшей с неба, его творчество поражает самую глубину нашего сердца. Только когда напряжение становится невыносимым, Достоевский раскрывает эпическую тайну и разрешает напряженное до предела чувство в мягко струящийся поток слез.

Так враждебно, так сладострастно окружает, осаждает Достоевский своего читателя утонченной страстностью. Не в открытой борьбе побеждает он, а как убийца, часами и часами подстерегающий свою жертву, вдруг острым мгновением пронзает сердце. Он так страстен в своем мятеже, что сомневаешься, можно ли назвать эпосом его произведения. Его техника — это техника взрыва: он не прокапывает, как чернорабочий, шаг за шагом дорогу к своему произведению, а изнутри, сгущенной до предела силой он взрывает мир — и насыщенную напряжением грудь. Его подготовительная работа проходит в подземелье, точно заговор, и, как молния, внезапно раскрывается она перед пораженным читателем. Никогда не знаешь, хотя и предчувствуешь, что идешь навстречу катастрофе; не знаешь, в котором из его героев кроется мина, с какой стороны, в какой час последует грозовой разряд. От каждого действующего лица проведены шахты к центру событий, каждый заряжен взрывчатым веществом страсти. Но кто подожжет фитиль (например, кто из всех отравленных одной и той же мыслью убивает Федора Карамазова) — это скрыто с необычайным искусством до последнего момента, ибо Достоевский, позволяя все предугадывать, не выдает своей тайны. Все время ощущаешь судьбу, подобно кроту подкапывающуюся под плоскость жизни, ощущаешь, как вплотную к сердцу подводится мина, — и вот, изнываешь в бесконечной напряженности, в ожидании краткого мгновения, словно молнией прорезающего душную атмосферу.

И для создания этих мгновений, для невероятной концентрации напряжения, Достоевский в своем эпосе пользуется

доселе небывалой мощью и ширию изложения. Лишь монументальное искусство может достигнуть такой интенсивности, такой концентрации, — только искусство перевозданного величия и мифической мощи. Здесь ширь — не многословие, а зодчество: как для вершины пирамиды необходим гигантский фундамент, так для вершинных точек в произведениях Достоевского нужны огромные размеры его романов. И действительно, подобно Волге или Днепру, великим рекам его родины, текут его романы. Всем им свойственно мощное течение; медленными волнами прибывают они к берегам несметные количества людей. Тысячи страниц, заливая берега художественного изображения, уносят немало полемических галек и политических камней. Иногда, там, где ослабевает вдохновение, встречаются широкие, песчаные пространства. Вот, кажется, оно уже иссякает. В прерывистом течении извиваются события, теряясь в извилинах и в излучинах, поток застревает часами на мелях разговоров, пока вновь обретет глубину и страстную стремительность.

Но вот, по мере приближения к морю, к беспредельности, все чаще встречаются пороги, и растянутый рассказ сжимается в водоворот; страницы словно летят, темп становится угрожающим; душа увлечена в бездонную пропасть чувств. Вот уже чувствуется близость глубины, вот уже грохочет водопад, вся широкая, тяжелая масса вдруг обращается в пенящуюся быстрину, и, как течение рассказа, словно магнетически привлеченное водопадом, пенясь, устремляется к катарсису, так и мы невольно быстрее несемся по страницам и с разбитыми чувствами внезапно падаем в пропасть события.

И это чувство, когда словно огромный итог жизни заключается в одну цифру, чувство крайней концентрации, мучительное и головокружительное чувство, божественное безумие склонения над собственной пропастью и предвкушения блаженства смертельного прыжка, это исключительное чувство, когда в полноте жизни ощущается смерть, — это и есть

незримая вершина великой эпической пирамиды Достоевского. Все его романы, быть может, только и написаны ради мгновений этого пламенного ощущения. Двадцать или тридцать таких грандиозных картин создал Достоевский, и все они полны такой стремительной силы нагнетания страсти, что не только при первом чтении, когда они поражают как бы безоружного, но и при чтении в четвертый и в пятый раз будто огненная струя пронизывает сердце. Всегда в такое мгновение все герои романа оказываются вдруг собравшимися в одной комнате, и все они в состоянии высшего напряжения. Все пути, все потоки, все силы магически скрещиваются и разряжаются в одном взгляде, в одном жесте, в одном слове. Я напомним сцену в «Бесах», где пощечина Шатова с ее «мокрым ударом» разрывает паутину тайны, сцену в «Идиоте», где Настасья Филипповна бросает в огонь сто тысяч рублей, или сцены признания в «Преступлении и наказании» и в «Карамазовых». В этих высших, уже нематериальных, совершенно стихийных моментах его искусства зодчество и страсть связаны тесными узами. Только в экстазе Достоевский не раздвоен, только в эти краткие мгновения он — совершенный художник. С чисто художественной точки зрения эти сцены являются несравненным торжеством искусства над человеком: только при повторном чтении замечаешь, с каким гениальным расчетом подведены все ступени к этому кульминационному пункту, с какой сознательностью распределены здесь люди и обстоятельства, магически дополняющие друг друга, как огромные многотысячные и сложные уравнения вдруг растворяются без остатка в одной цифре, в последнем абсолютном единстве чувств — в экстазе. В этом самая большая художественная тайна Достоевского: все его романы разрешаются на таких высотах, над которыми сгущается насыщенная электричеством атмосфера чувств и которые своим острием неминуемо притягивают молнию судьбы.

Нужно ли говорить о происхождении этой единственной в своем роде формы искусства, которой не владел никто до

Достоевского и, быть может, ни один художник не будет владеть в такой степени и после него? Нужно ли говорить, что эти судороги всех жизненных сил, втиснутых в отдельные мгновения, — не что иное, как преображенная в искусство форма его собственной жизни, его демонической болезни? Никогда недуг художника не был более плодотворным, чем в этом художественном претворении эпилепсии, ибо никогда до Достоевского такая концентрация жизненной полноты в искусстве не вмещалась в столь тесные рамки пространства и времени. Он, стоявший с завязанными глазами у столба на Семеновском плацу, на протяжении двух минут переживший всю свою прошедшую жизнь, он при каждом эпилептическом припадке в мгновение между захватывающим дух головокружением и жестоким падением с кресла пролетавший в видениях целые миры, — только он мог дойти до такого искусства — в ореховую скорлупу времени вмещать целый космос событий.

Только он мог демонически превращать в действительность эти невероятные мгновения взрыва с такой непреложностью, что мы едва замечаем это преодоление пространства и времени. Его произведения — истинные чудеса концентрации. Приведу только один пример. Мы читаем первую часть «Идиота», содержащую двести страниц. Перед нами пронесся вихрь судеб, предстал хаос душ, возникло множество человеческих образов. Мы прошли в их обществе ряд улиц, мы побывали в их домах, — и вдруг, случайно опомнившись, мы замечаем, что это огромное количество событий совершилось на протяжении двенадцати часов — с утра до полуночи. Точно так же фантастический мир «Карамазовых» втиснут в несколько дней, «Преступление и наказание» — в одну неделю, — мастерские образцы сжатости, каких не встретишь ни в одном эпосе, да и в жизни — лишь в самые редкие мгновения. Только античная трагедия Эдипа, которая в короткий промежуток, от полудня до вечера, вмещает целую жизнь и жизнь всех прежних поколений, знает это бешеное стремление от вершины к бездне, от бездны к вершине, эти

безжалостные молнии судьбы и эту очищающую силу душевных грез. Это искусство нельзя сравнить ни с одним эпическим произведением, и в решительные мгновения Достоевский действует всегда как трагик; его романы — как бы скрытые, преобразованные трагедии: «Карамазовы» — кость от кости греческой трагедии, плоть от плоти шекспировской драмы. Обнаженный стоит в них беззащитный, беспомощный гигант — человек — под трагическим небом судьбы.

И знаменательно: в эти страстные мгновения падений и подъемов роман Достоевского вдруг теряет свой повествовательный характер. Тонкая эпическая оболочка растворяется, расплавившись в огне чувства; остается лишь добела раскаленный диалог. Все главные сцены в романах Достоевского — чистейшие драматические диалоги. Можно, не прибавляя и не убавляя ни слова, перенести их на сцену, — так крепко сколочен каждый отдельный образ, так сгущено в драматические мгновения широко разлившееся содержание романа. Чувство трагического у Достоевского, непрерывно стремясь к окончательному, насильственному напряжению, к молниеносному разряду, в этих кульминационных точках будто без остатка преобразует эпическое произведение в драматическое.

Драматическую, более того — театральную мощь этих сцен прежде других, задолго до филологов, распознали скороспелые ремесленники театра и бульварные драматурги, быстро сколотившие несколько грубых пьес из «Преступления и наказания», «Идиота» и «Карамазовых». Но тут и обнаружилось, как несостоятельны подобные попытки воспринять героев Достоевского с внешней стороны — со стороны их физического существа и их внешней судьбы, оторванными от их мира — от мира душевной жизни — и вне грозовой атмосферы ритмической возбудимости. На сцене эти люди напоминают безлиственные, безжизненные, лишенные коры стволы деревьев — в сравнении с живой, рокочущей и шелестящей листвой романа, вершиной простирающегося к небе-

сам и все же тысячами корней и таинственных нервных нитей прикрепленного к эпической земной почве. Сеть их кровеносных сосудов, широко разветвляясь на сотнях страниц, черпает художественную мощь из сумрака намеков и предчувствий.

Психология Достоевского не для яркого электрического освещения; она издевается над попытками «обработать» и упростить ее. Ибо в этой эпической подпочве есть таинственные психические контакты, подземные течения и нюансы. Не из видимых жестов, а из тысяч и тысяч отдельных намеков создается и созревает у него образ; литература не знает более нежной паутины, чем это кружево души. Если хотите ощутить непрерывность этих как бы подкожных течений повествования, попробуйте прочитать один из романов Достоевского в сокращенном французском издании. Как будто все есть: фильм событий разворачивается быстрее, фигуры кажутся даже более подвижными, законченными, более страстными. Но все-таки они в чем-то обеднены: их душе не хватает особого блеска, отливающего всеми цветами радуги, атмосферы сверкающего электричества, тяжести напряжения, которую только разряд делает такой страшной и такой благотворной. Что-то безвозвратно разрушено, уничтожен магический круг.

И в этих опытах сокращения и постановки на сцене познаешь смысл шири Достоевского, целесообразность его кажущейся растянутости. Маленькие, мимолетные, случайные намеки — казалось бы, совершенно излишние и случайные — получают объяснение через сотни страниц. Под поверхностью рассказа бегут провода скрытых контактов, разносящие вести, обменивающиеся таинственными рефлексамии. Есть у него душевный шифр, незаметные физические и психические знаки, смысл которых уясняется только при втором или третьем чтении. Но ни в одном эпосе нет столь разветвленной нервной системы повествования, такой сумятицы событий, скрытой под костяком фабулы, под кожей диалога.

И все же трудно это назвать системой: этот психологиче-

ский процесс можно сравнить лишь с человеческим организмом: под кажущейся произвольностью здесь и там скрывается таинственная закономерность. В то время как другие мастера эпоса, особенно Гёте, словно подражают скорее природе, чем человеку, и дают наслаждаться повествованием органически, как цветком, и образно, как ландшафтом, роман Достоевского переживаешь как встречу с исключительно глубоким и страстным человеком. Художественное произведение Достоевского остается земным, несмотря на всю свою вечность: двойственное, мудрое, нервное, возбужденно-страстное, оно — вечное брожение плоти и мозга и нисколько не похоже на твердый металл, на выплавленный, чистый элемент. Оно неисчислимо, неизмеримо, как душа в ее телесной оболочке, и не имеет подобных среди форм искусства.

Не имеет подобных: совершенство его искусства, его мастерства превышает все меры, и чем глубже вникаешь в его произведения, — тем необъятнее, тем могущественнее кажется его величие. Но этим я не хочу сказать, что его романы сами по себе — совершенные художественные произведения, они гораздо менее совершенны, чем другие, более бедные произведения, охватывающие более тесный круг явлений и удовлетворяющие более простым заданиям. Не признающий меры может достигнуть вечности, но не может подражать. Многие части гениального архитектурного замысла унесены страстью, иные героические концепции разрушены поспешностью. Но эта поспешность Достоевского ведет от трагедии его искусства обратно — к трагедии его жизни. Ибо это была внешняя судьба, а не внутреннее легкомыслие: так же, как и Бальзака, жизнь вынуждала его торопиться, и он был слишком загнан, чтобы доводить свои произведения до совершенства.

Не надо забывать, как создавались эти произведения. Весь роман всегда был уже продан, когда писалась первая глава, каждая работа была гонкой от аванса к новому авансу. Работая «как почтовая кляча», носясь по миру, он нередко не имеет времени и покоя, чтобы нанести последние штрихи, и

он это знает и ощущает как свою вину. «Пусть посмотрят, в каком положении я работаю! И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии, и указывают на Тургенева и Гончарова! Тургенев умер бы от одной мысли», — раздраженно восклицает он. Он проклинает Толстого и Тургенева, которые, уютно сидя в своих имениях, могут округлять и шлифовать строки и которым он более ни в чем не завидует. Он лично не боится нужды, но художник, низведенный на ступень батрака, возмущается помещицей литературой: в нем говорит неукротимая тоска артиста, мечта творить спокойно, создавать совершенные произведения.

Каждый промах в его произведениях ему известен; он знает, что после эпилептических припадков напряжение ослабевает, плотная оболочка художественного произведения как бы разрезается и позволяет проникнуть безразличным элементам. Часто, когда он читает рукопись, друзья или жена вынуждены обращать его внимание на грубые упущения, проскользнувшие при омрачении памяти во время припадка. Этот чернорабочий, этот поденщик творчества, этот раб авансов, который в условиях самой ужасной нужды пишет подряд три гигантских романа, — в душе сознательнейший художник. Он фанатически любит ювелирную работу, филигранное совершенство. Даже под кнутом нужды часами он шлифует отдельные страницы, дважды уничтожает «Идиота», хотя жена его голодает и еще не уплачено акушерке. Беспредельно его стремление к совершенству, но беспредельна и его нужда. Снова две могучие силы борются за его душу — внешнее и внутреннее принуждение. Даже как художник, он пребывает в великом разладе дуализма. Насколько человек жаждет в нем гармонии и покоя, настолько же художник стремится к совершенству. Здесь и там пронзенными ладонями он пригвожден к кресту своей судьбы.

Итак, даже искусство, самое единое, что есть в мире, не спасает распятого от разлада; и здесь — мучение, беспокой-

ство, бегство и спешка; и оно не хочет быть родиной ему, лишившемуся родины. Страсть, побуждающая его к созиданию, гонит его за межу совершенства — свершения навстречу беспредельности: со своими обломанными башнями, недостроенные (ибо «Карамазовы», так же как и «Преступление и наказание», обещают вторую, никогда не написанную часть) здания его романов подымаются до неба религии, до заоблачной сферы вечных вопросов. Не будем называть их романами, не будем применять к ним эпическую мерку: они давно уже не литература, а какие-то тайные знаки, пророческие звуки, прелюдии и пророчества мифа о новом человеке. Как бы ни любил Достоевский искусство, оно для него не самое главное, и, как все его великие родичи в русской литературе, он видит в искусстве лишь мост для познания человеком Бога. Вспомним: Гоголь после «Мертвых душ» бросает литературу и становится мистиком, таинственным вестником новой России; Толстой в шестьдесят лет проклиная искусство — собственное и чужое — и становится евангелистом добра и справедливости; Горький отказывается от славы и становится глашатаем революции. Достоевский до последней минуты не оставлял пера, но то, что он изображал, — это уже не художественное произведение в узком земном смысле, а евангелие третьего царства, какой-то миф нового русского мира, апокалиптическая проповедь, темная и загадочная. Искусство было для вечно неудовлетворенного художника только началом, а конец его — в бесконечности. Оно было для него лишь преддверием, а не храмом. В его произведениях есть нечто большее, что не укладывается в слова, и благодаря тому, что этот высший, последний смысл в них лишь предугадан и не влит в преходящую форму, они служат путями к совершенству человека и человечества.

ПЕРЕСТУПАЮЩИЙ ГРАНИЦЫ

В вечной недоверженности
твое величие.

Гёте

Традиция — каменная граница, воздвигнутая прошлым вокруг настоящего: кто хочет проникнуть в будущее, должен перешагнуть ее. Ибо природа не терпит задержек в познании. Она требует порядка, но любит только того, кто разрушает ее ради излишек собственных сил, она всегда создает себе конквистадоров, которые от родных берегов души отчаливают в океаны неведомого к новым странам сердца, новым сферам духа. Без этих переступающих границы смельчаков человечество было бы в плену у себя, и его эволюция — вращением вокруг собственной оси. Без этих великих вестников, в лице которых оно словно перегоняет себя самого, поколения не знали бы своего пути. Без этих великих мечтателей человечество не знало бы самого глубокого своего назначения. Не спокойные исследователи, географы родины, расширили наш мир, а *desparados*, через неведомые океаны плывшие к новой Индии; не психологи, не ученые познали глубину души современного человека, а не знающие меры поэты, переступавшие границы.

Из великих писателей, переступавших границы в литературе, Достоевский в нашу эпоху был самым великим, и никто не открыл в душе так много новых стран, как этот буйный, не знающий преград художник, которому, по его собственному выражению, «безмерное и бесконечное необходимо, как и та маленькая планета, на которой он обитает». Ни перед чем он не останавливался: «Везде-то и во всем я за черту переходил, — с гордостью и в то же время обвиняя себя, пишет он в одном письме, — везде». И почти невозможно перечислить все его деяния, — переходы через ледяные хребты мысли, спуск к затаеннейшим источникам подсознательного, его подъемы, почти сомнамбулические подъемы к головокружительным вершинам самопознания. Он побывал там, где не

было протоптанных троп, он пребывал охотнее всего в лабиринтах и путаных переходах. Никогда до него человечество не познавало так глубоко механизма и мистических сил своего душевного существа; в его взоре оно приобрело небывалую бдительность и сознательность и в чувстве — причастность к тайне и божеству. Не будь его, переступившего все рубежи, человечество знало бы меньше о своей извечной тайне. С высоты его произведений мы заглядываем в будущее глубже, чем когда-либо.

Первая граница, которую перешагнул Достоевский, первая даль, им открытая, была Россия. Он открыл миру свой народ, расширил наше европейское сознание, первый дал возможность увидеть русскую душу как фрагмент — и драгоценный фрагмент — мировой души. До него Россия представляла собой предел для Европы: переход к Азии, белое пятно на карте, кусок прошлого, давно пережитого нами варварского детства. Он первый показал нам грядущую силу в этой пустыне, с ним мы ощутили Россию как колыбель новой веры, как дальнейшее слово в великой поэме человечества. Он обогатил сердце мира этим знанием и надеждой. Он воспламенил наш дух предвестием новых возможностей. Он первый зажег светоч нового народа и заставил нас страстно желать, чтобы эта горячая капля мирового детства и душевной свежести влилась в усталый, костенеющий мир старой Европы. И как раз в недавней войне мы почувствовали, что все, что мы знаем о России, мы знаем через него, и он дал нам возможность ощутить в этой враждебной стране братскую душу.

Но еще глубже и значительнее, чем это культурное обогащение мирового знания русской идеей (его мог бы, вероятно, достигнуть и Пушкин, если бы его грудь не пронзила на тридцать восьмом году дуэльная пуля), — еще глубже и значительнее, — огромное расширение нашего душевного самопознания, беспрецедентное в литературе. Достоевский — психолог из психологов. Его магически привлекает глубина человеческого сердца; бессознательное, подсознательное, не-

проницаемое — вот его истинный мир. Со времен Шекспира мы не узнали так много о тайне чувств и о магических законах их сплетений, и, подобно Одиссею, единственному вернувшемуся из подземного мира, — он повествует о подземном мире души. И его, как Одиссея, сопровождал какой-то бог, какой-то демон.

Его болезнь, возносившая его на выси чувства, недоступные для смертного, ввергавшая его в состояние ужаса и трепета, которое находится уже по ту сторону жизни, — его болезнь давала ему возможность дышать то ледяной, то пламенной атмосферой безжизненного и сверхжизненного. Как ночные звери в темноте, так и он видит яснее в сумерках, чем другие при дневном свете. В огненной стихии, в которой другие сгорают, он испытывает истинную температуру чувства; он перерос здоровую душу и жил в больной — и в ней познал самую глубокую тайну жизни. Он заглянул в лицо безумию; как лунатик, он шагал по таким вершинам чувства, с которых бодрствующие свалились бы без сознания. Достоевский глубже проник в преисподнюю подсознательного, чем врачи, юристы, криминалисты и психопатологи. Все, что наука открыла и определила лишь позднее, все, что она, экспериментируя, словно скальпелем отделяла от мертвого опыта, — явления телепатии, истерии, галлюцинирования, извращения — он изобразил благодаря мистической способности ясновидящего переживания и сострадания.

Выслеживая душевные явления, он достигал грани безумия (эксцесс духа), грани преступления (эксцесс чувства), исходив огромные, доселе не изведенные пространства души. Старая наука закрывает с ним последнюю страницу своей книги: Достоевский кладет начало новой психологии в искусстве.

Новой психологии: ибо наука души также имеет свои методы — искусство, которое на первый взгляд на протяжении веков представляет собой неизменное единство, — и оно подчиняется все новым и новым законам. И в этой науке бывают перевороты, успехи познания, достигаемые благодаря новым разложениям и определениям; и как химия путем опытов

постепенно уменьшала количество основных, казалось бы неделимых элементов и до сих пор продолжает находить соединения в телах, которые считаются простыми, — так и психология, путем возрастающей дифференциации, растворяет единство чувства в бесконечное действие и противодействие различных побуждений. Не взирая на гениальные прозрения единичных лиц, пограничная черта между старой психологией и новой несомненна. От Гомера вплоть до Шекспира существует, собственно говоря, только психология однолинейности. Человек — пока еще формула — качество во плоти: Одиссей хитер, Ахилл храбр, Аякс вспыльчив, Нестор мудр... каждое решение, каждое деяние этих людей лежит ясное и открытое на плоскости их воли. И Шекспир, поэт, стоящий на грани старого и нового искусства, изображает своих героев так, что доминанта всегда подавляет противоборствующую мелодию их существа. Но вместе с тем он первый посылает из душевного средневековья нового человека в наш современный мир.

В своем Гамлете он впервые создает сомневающегося человека, родоначальника новой, дифференцированной души. Здесь впервые — в духе новой психологии — воля сломлена препятствиями, зеркало самонаблюдения помещено в самую душу, изображен познающий себя человек, который живет двойственно — одновременно вовне и внутри, человек, размышляющий в действии и проявляющий себя в мышлении. Здесь человек впервые живет так, как мы ощущаем жизнь, чувствует так, как мы чувствуем теперь, — правда, еще в сумерках сознания: датский принц еще окутан реквизитом суеверного мира, вместо мечты и предчувствия на его встревоженный ум еще действуют волшебные напитки и духи. Но все же здесь совершилось огромное психологическое событие: раздвоение чувства. Открыт новый континент души, проложен путь для будущих исследователей. Романтические герои Байрона, Гёте, Шелли, Чайльд-Гарольд и Вертер, ощущая вечное противоречие между страстностью своей природы и трезвым миром, своей тревогой содействуют химическому

разложению чувств. Точная наука тем временем дает еще некоторые ценные единичные знания. Затем приходит Стендаль. Он знает больше, чем все его предшественники, о кристаллизации чувств, о многозначности ощущений и их способности к преобразованиям. Он предчувствует таинственный спор сердца с каждым его решением. Но душевная лень его гения, фланирующая вялость его характера не позволяют ему осветить всю динамику бессознательного.

Только Достоевский, великий разрушитель единства, вечный дуалист, проникает в эту тайну. Если не он создал совершенный анализ чувства, то его не создал никто. У Достоевского единство чувства растерзано в клочья, точно у его героев душа построена не так, как у других, у прежних людей. Самый смелый анализ души, который производили писатели до него, кажется поверхностным рядом с его дифференциацией; его можно сравнить с курсом электротехники, изданным тридцать лет тому назад: в нем только намечены первоначальные принципы, а об основном содержании науки еще и речи нет. В его душевной сфере нет простого чувства, неделимого элемента: всякое чувство — только конгломерат, промежуточная, переходная, преходящая форма. В бесконечных превращениях, перемещениях, дрожа и шатаясь, движется чувство во внешний мир, но бешеный спор между волей и правдой колеблет душу. Едва достигнешь последних оснований решения или желания, как тотчас же откроются новые, более глубокие основания. Ненависть, любовь, сладострастие, слабость, тщеславие, гордость, властолюбие, смирение, благоговение — все побуждения переплетены в вечном превращении.

В произведениях Достоевского душа — это смятение, священный хаос. У него есть люди, спившиеся от тоски по чистоте, преступники из-за жажды раскаяния, насильники из уважения к невинности, хулители Бога из религиозной потребности. Если его герои испытывают желание, то надежда на его исполнение борется в них с надеждой на его неисполнимость. Их упрямство, если развернуть его до конца, ока-

жется не чем иным, как скрытой стыдливостью, их любовь — преобразованной ненавистью, их ненависть — затаенной любовью. Одна противоположность оплодотворяет другую. У него есть сластолюбцы из жажды страдания и люди, терзающие себя из жажды наслаждения; в бешеном круговороте вращается вихрь их воли. В вожделении они уже ощущают достижение, в достижении — отвращение, в преступлении они наслаждаются раскаянием и в раскаянии — преступлением. Существует, словно верх и низ, многоликость ощущений. Деяние их рук — это не деяние их сердца, язык их сердца — не язык их уст, и в каждом отдельном чувстве — раздвоенность, многообразие и многозначность.

Никогда не удастся у Достоевского найти единство чувства, поймать человека в сети понятия. Назовем Федора Карамазова сладострастником: понятие как будто исчерпывает его сущность; однако Свидригайлов или безымянный студент в «Подростке» — тоже сладострастники; и все же: какая бездна между ними, между их чувствами! У Свидригайлова сладострастие — холодное, бездушное распутство, он расчетливый тактик своего разврата. Сладострастие Карамазова — это жажда жизни, распутство, доведенное до купания в грязи, глубокое стремление до самого дна погрузиться в низины жизни лишь потому, что и это жизнь, насладиться самым низменным потому, что и это — экстаз жизненной силы. Один — сладострастник от скудости, другой — от избытка чувства; что у одного — болезненное возбуждение ума, то у другого — хроническое воспламенение. С другой стороны, Свидригайлов — человек среднего сладострастия, пробавляющийся «развратиком» вместо разврата, — маленькое грязное животное, чувственное насекомое, а безымянный студент — это сексуальное извращение духовной злобы.

Мы видим: целые миры чувства стоят между людьми, которых обычно определяют одним понятием и, как сладострастие дифференцируется и разлагается здесь на свои таинственные составные части и разветвления, так каждое чувство, каждое побуждение всегда доведено у Достоевского до

последней глубины, до истоков всякой силы, до последнего противоречия между «я» и миром, между утверждением своего «я» и самопожертвованием, между гордостью и смирением, расточительностью, центробежной и центростремительной силой, самовозвышением и самоуничижением, между личностью и Богом. Можно называть эти пары противоречий так, как требует каждый данный случай, но это всегда последнее, изначальное чувство противоречия между плотью и духом. Никогда до него мы не знали так много об этом многообразии чувств, о сложности их сплетений в нашей душе.

Но изумительнее всего то, что разложению Достоевский подвергает даже любовь. Это величайшее его деяние. Сотни лет с древних времен роман, нет, вся литература вливалась в это центральное чувство между мужчиной и женщиной, как первоисточник всякого бытия; но и это чувство он проследил до конца, подымаясь с ним еще выше, опускаясь еще глубже, достигая последнего, окончательного познания. Для других поэтов любовь — конечная цель жизни, цель повествования в художественном произведении; для него же она — не первоначальный элемент, а только жизненная ступень. Для других гремит голос примирения, разрешения всех противоречий в великую минуту, когда чувственное и сверхчувственное, пол и пол, всецело растворяются в неземном чувстве. В конце концов у них, у других поэтов, жизненный конфликт до смешного примитивен в сравнении с Достоевским. Коснется человека любовь, волшебная палочка из божественного облака, тайна, величайшая магия, последняя, необъяснимая, неопределимая мистерия жизни, — и любящий любит: он счастлив, если возлюбленная принадлежит ему; он несчастен, если она ему не принадлежит. Во взаимной любви — небо всех поэтов человечества. Но небеса Достоевского выше. Обьятие для него — еще не соединение, гармония — еще не единство. Для него любовь — не достигнутое счастье, не примирение, а начавшийся разлад, с новой силой возобновившаяся боль вечной раны и потому — стра-

дание, более сильное страдание от жизни, чем в обычные минуты.

Когда герои Достоевского любят друг друга, они не спокойны. Напротив, никогда они не бывают так потрясены всем противоречием своего существа, как в моменты, когда любовь встречает любовь; они не разрешают себе утопать в достигнутой полноте: они пытаются повысить ее. Истинные дети его разлада, они не останавливаются на этом мгновении. Они презирают нежное равновесие минуты (которая для других — предел счастья), когда возлюбленный и возлюбленная одинаково сильно любят друг друга, ибо это была бы гармония, предел, граница, а они живут для беспредельного. Герои Достоевского не хотят любить так, как их любят: они хотят любить и всегда быть жертвой, больше давать, чем получать; они пребывают в безумном состязании чувств, пока то, что началось как нежная игра, не станет воплем, мукой, борьбой.

В исступленном преобразовании чувства они счастливы, когда их отталкивают, презирают, когда издеваются над ними, потому что тогда они дают, бесконечно дают и ничего не требуют, и потому у него, мастера контрастов, ненависть так похожа на любовь, а любовь так похожа на ненависть. Но и в короткие промежутки, когда они как будто с равной силой любят друг друга, еще раз взрывается единство чувства, — ибо герои Достоевского никогда не могут одновременно любить друг друга чувством и душой. Они любят тем или другим, — никогда нет гармонии между плотью и духом.

Взгляните на его женщин: все они — Кундри, живущие одновременно в двух мирах чувства: душой они служат святому Граалю и в то же время сладострастно сжигают свое тело на цветочных лугах Титуреля. Феномен двойственной любви, один из самых сложных у других поэтов, обычен, совершенно естествен для Достоевского. Настасья Филипповна любит своим духовным существом Мышкина, кроткого ангела, и любит чувственной страстью Рогожина, его врага. На пороге церкви она покидает князя и бросается в постель

к другому, от пирушки пьяницы возвращается к своему спасителю. Ее дух как бы сверху испуганно смотрит на то, что творит ее тело; ее тело будто дремлет в гипнозе в то время, как ее душа в экстазе обращена к другому. Точно так же Грушенька одновременно любит и ненавидит своего первого соблазнителя, страстно любит своего Дмитрия и обожает — уже вполне духовно — Алешу. Мать «Подростка» любит из благодарности своего первого мужа и одновременно из рабского чувства, из преувеличенного смирения — Версилова.

Безграничны, неизмеримы превращения понятия, другими психологами легкомысленно объединяемого в слове «любовь»; так в былые времена врачи объединяли одним названием целые группы болезней, для которых у нас теперь имеются сотни имен и сотня методов лечения. Любовь у Достоевского может быть преобразованной ненавистью (Александра), состраданием (Дуня), упрямством (Рогожин), чувственностью (Федор Карамазов), насилием над собой, но всегда за любовью стоит еще другое, изначальное чувство. Никогда любовь не бывает у него элементарна, необъяснима, нерасчленима, первобытным феноменом, чудом; всегда он объясняет, разделяет это самое страстное чувство. О, безграничны, безграничны эти превращения, и каждое, отливая всеми цветами радуги, леденя от холода и вновь воспламеняясь, бесконечно и непроницаемо, как многообразие жизни.

Напомню только Катерину Ивановну. Она встречает Дмитрия на балу, он не сразу идет навстречу ее желанию познакомиться с ним и этим оскорбляет ее, — она его возненавидела. Он мстит, он унижает ее, — и она полюбила его или, вернее, полюбила не его, а причиненное им унижение. Она приносит себя ему в жертву и думает, что любит его, но она любит только свое самопожертвование, любит собственную позу любви, и чем больше ей кажется, что она его любит, тем больше она его ненавидит. И эта ненависть обрушивается на его жизнь и губит его; и в тот миг, когда она его погубила, когда как бы ложью оказывается ее самопожертвование, когда ее унижение отомщено, — она снова любит его.

Так сложна у Достоевского любовная связь. Как сравнить ее с книгами, которые кончаются, когда оба любят друг друга и нашли друг друга среди всех опасностей жизни? Где обычно кончают, там только начинается трагедия Достоевского, ибо не в любви, не в тепленьком примирении полов для него смысл и торжество мира. Тут он вновь сближается с великими традициями древности, где не победа над женщиной, а преодоление мира и воли богов было смыслом и величием судьбы. У него вновь появляется человек не со взором, обращенным к женщине, а с лицом, открытым навстречу Богу. Его трагедия больше, чем трагедия пола, трагедия мужчины и женщины.

Если познать Достоевского в этой глубине познания, в этом полном разложении чувств, тогда станет ясно: от него нет пути обратно, в прошлое. Если искусство хочет быть правдивым, оно не должно восстанавливать дешевые иконы чувства, разбитые им, не должно заключать роман в узкий круг общества и чувства, не должно стараться затемнить таинственные промежуточные области души, которые он осветил. Он первый подал нам ту весть о человеке, которую мы сами воплощаем в себе, и эта весть, дифференцируя чувства, обогащает наши знания более, чем все прежние открытия. Никто не может измерить, насколько за эти пятьдесят лет, со времени появления его книг, мы стали походить на героев Достоевского, сколько его пророчеств исполнилось в нашей крови, сколько его прозрений оправдалось в нашем духовном мире! Новые страны, в которые он первый вступил, — может быть, уже наша земля; границы, которые он перешел, — наша настоящая родина.

Неизмеримую долю нашей последней истины — истины, которую мы теперь переживаем, — пророчески открыл нам Достоевский. Он нашел новые меры глубины человека: ни один смертный до него не знал так много о бессмертной тайне души. Но странно: безгранично расширил он наше знание о нас самих, безгранично многому научил нас, — но у него же научились мы и высокому чувству смирения, научились ощу-

щать демоничность жизни. Благодаря ему мы стали сознательнее, но эта сознательность не раскрепостила, а еще больше связала нас. Ибо так же, как современные люди не меньше, чем прежние поколения, ощущают величие молнии, несмотря на то, что познали ее природу и назвали ее атмосферным напряжением и разрядом, — так и знание душевного механизма человека не может умалить благоговения перед человечеством. Именно Достоевский, показавший нам все составные элементы души, этот великий аналитик, этот анатом чувства, дает вместе с тем более глубокое, более универсальное мировое чувство, чем все поэты нашего времени. И он, познавший человека глубже, чем кто-либо до него, более, чем кто-либо, преисполнен благоговения перед непостижимым, сотворившим его, — перед божеством, перед Богом.

«ИСКАНИЕ БОГА»

Меня Бог мучит.
Достоевский

«Есть Бог или нет?» — грозно спрашивает Иван Карамазов в ужасном диалоге своего двойника, черта. Искуситель улыбается. Он не торопится ответить, снять с измученного человека самый трудный вопрос. «Со свирепой настойчивостью» приступает к Сатане Иван в своем исступленном богоискательстве: он должен, он обязан дать ему ответ на этот важнейший вопрос его существования. Но дьявол только подливает масло в огонь нетерпения. «Ей-Богу, не знаю», — отвечает он пришедшему в отчаяние человеку. Чтобы помучить, он оставляет вопрос о Боге без ответа, оставляет ему страдания богоискательства.

Все герои Достоевского — и не последний из них он сам — носят в себе Сатану, который задает вопрос о Боге и не отвечает на него. У всех у них «горячее сердце», способное мучиться этими мучительными вопросами. «Веруете вы сами

в Бога или нет?» — обрушивается вдруг Ставрогин, другой дьявол в человеческом образе, на кроткого Шатова. Как раскаленное железо, разбойнически вонзает он этот вопрос в его сердце. Шатов отступает. Он дрожит, бледнеет: все искренние люди у Достоевского трепещут перед этим последним признанием (а он — как сам он содрогался в священном страхе!). И только когда Ставрогин настаивает, он лепечет бледными устами отговорку: «Я верую в Россию». И только ради России он признает себя верующим в Бога.

Этот скрытый Бог — проблема всех произведений Достоевского: Бог в нас, Бог вне нас и его воскрешение. Как для «настоящего русского», самого настоящего и самого великого из созданных этим многомиллионным народом, вопрос о Боге и о бессмертии является для него, по его собственному признанию, «первым вопросом и прежде всего». Никто из его героев не может миновать этого вопроса, он прирос к ним, как тень их деяний, — то забегая вперед, то, как раскаяние, прячась за спиной. Они не могут спастись от него, и единственный, кто пытается его отрицать, великий мученик мысли Кириллов в «Бесах», должен убить себя, чтобы убить Бога, — и этим он доказывает с большей страстностью, чем другие, его существование и его неизбежность. Обратите внимание на диалоги Достоевского, — как его люди избегают говорить о нем, как они обходят его и увиливают: они хотели бы оставаться на низинах, в легких беседах, в *small talk* английского романа; они говорят о крепостном праве, о женщинах, о Сикстинской мадонне, о Европе, но какая-то бесконечная сила тяготения давит каждую тему и в конце концов магически вовлекает ее в неизмеримую глубину основного вопроса — вопроса о Боге. Всякий спор у Достоевского кончается русской идеей или идеей Бога, и мы видим, что обе идеи для него тождественны. Русские люди, его люди, не умеют останавливаться ни в своих чувствах, ни в своих мыслях: от практического и реального они неизбежно возносятся к абстрактному, от конечного к бесконечному, — всегда они стремятся к концу. И всегда в конце всех вопросов — вопрос

о Боге. Это внутренний вихрь, беспощадно вовлекающий в себя их идеи, это гнойная заноза в их теле, вызывающая в душах лихорадку.

Лихорадку! Потому что Бог — Бог Достоевского — первоисточник всякого волнения, ибо он, праотец контраста, есть одновременно и утверждение и отрицание. Он не похож на картины старых мастеров и писания мистиков, изображавших его кротко парящим над облаками, блаженно созерцающим существом: Бог Достоевского — это искра, сверкающая между электрическими полюсами извечных архиконтрастов; он не существо, а состояние — состояние напряжения, процесс сгорания чувств, он — огонь, он — пламя, поджигающее всех людей и заставляющее их кипеть в экстазе. Он — бич, изгоняющий их из самих себя, из теплого тела — в беспредельность, вызывающий все эксцессы, слова и действия, бросающий их в горящий терновник пороков. Это — как и его люди, как и человек, создавший его, — Бог, не знающий удовлетворения, выдерживающий любое напряжение, не утомляющийся никакой мыслью, не удовлетворяющийся никакой преданностью. Он вечно недосыгаем, мука всех мук, — и поэтому из груди Достоевского вырывается крик, вложенный в уста Дмитрия Карамазова: «Меня Бог мучит».

В этом — тайна Достоевского: ему нужен Бог, но он его не находит. Иногда ему кажется, что он уже достигает его в своем экстазе, и снова потребность отрицания швыряет его на землю. Никто не познал сильнее него необходимость Бога. «Бог уже потому мне необходим, — говорит он однажды, — что это единственное существо, которое можно вечно любить»; и в другой раз: «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться перед безмерно великим». Шестьдесят лет томится он «исканием Бога» и любит Бога, как каждое свое страдание, любит его даже больше всех других мук: ибо это самая упорная мука, а любовь к страданью — самая глубокая идея его бытия. Шестьдесят лет он стремится к Богу, и, «как трава иссохшая», жаждет веры. Вечно раздвоенный, он просит единства, вечно

затравленный — отдыха, вечно гонимый по всем потокам страсти, вечно выходящий из берегов — выхода, покоя, моря. Так он грезит о нем, как об успокоении, а находит его только в пламени. Он хотел бы стать ничтожным, уподобиться косным духом, чтобы войти в него, хотел бы верить слепо — «как семипудовая купчиха», хотел бы отказаться от своего великого познания, от своей мудрости, чтобы стать верующим; вместе с Верленом он молит: «*Donnez-moi de la simplicité!*»*.

Сжечь мозг в чувстве, по-животному тупо успокоиться в Боге — вот его мечта. О, как стремится он ему навстречу! Он буйствует, кричит, выбрасывает гарпуны логики, чтобы поймать его, ставит ему самые смелые капканы доказательств; стрелой взлетает его страсть, чтобы настигнуть его; жажда Бога, «иступленная, почти неприличная жажда» — его любовь, страсть, пароксизм, избыток.

Но стал ли он верующим, благодаря своей фантастической жажде веры? Был ли Достоевский, самый красноречивый проповедник правоверия, православия, — был ли он его исповедником, *poeta christianissimus*?** Бесспорно, — мгновениями: тогда он судорожно тянется в беспредельность, тогда он в спазмах хватается за Бога, тогда он держит в руках гармонию, недоступную ему в области земного, тогда, распятый на кресте разлада, он воскресает в едином небе. Но все же: что-то продолжает в нем бодрствовать и не расплавляется в огне души. В то время как он как будто совершенно растворился в неземном опьянении, жестокий дух анализа недоверчиво стоит настороже, измеряя море, в которое он хочет погрузиться. Неумолимый двойник восстает против стремлений индивида, «неделимого». И в проблеме Бога зияет неизлечимый разлад, заложенный в каждом из нас; но ни один смертный до Достоевского не увидел в нем такую неизмеримую пропасть.

В его душе совмещается великая вера и крайний атеизм.

* «Дай мне простоты!» (фр.).

** Христианнейшим поэтом (лат.).

В своих героях он с равной убедительностью показал самые полярные возможности обеих форм (не убедив себя, не придя к какому-нибудь решению) — смирения, преклонения, растворения в Боге, и, с другой стороны — самой грандиозной противоположности этих чувств — стремления самому стать Богом: «Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам стал Богом, — есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам». И душа его с обоими — с «человеком Божиим» и с отрицателем Бога, с Алешей и с Иваном Карамазовым. Он не выносит решения в церковном соборе своих произведений, он остается и с праведно верующими и с еретиками. Его вера — жгучий переменный ток между утверждением и отрицанием, между двумя полюсами мира. И перед Богом Достоевский остается великим отверженцем единства.

Так остается он Сизифом, вечно катящим камень к вершине познания, с которой он снова скатывается; вечно стремящимся к Богу, которого он никогда не достигает. Но не ошибаюсь ли я? Не является ли Достоевский перед людьми великим проповедником веры? Разве через его сочинения не проходит великий органнй гимн Богу? Не свидетельствуют ли единодушно, повелительно его политические, его литературные произведения с несомненной необходимостью о его существовании? Разве не утверждают они православие? Разве не порицают атеизм, как самое ужасное преступление? Но не следует смешивать волю с действительностью, веру и постулатом веры. Достоевский, поэт вечных противоречий, олицетворенный контраст, проповедует веру как необходимость и тем пламеннее проповедует ее другим, чем менее верит сам (в смысле постоянной, несомненной, спокойной, положительной веры, которая считает «тихое умиление» высшим долгом).

Из Сибири он пишет одной женщине: «Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». Никогда он не выразил этого яснее: он тоскует

по вере из-за неверия. И тут кроется одна из возвышенных переоценок Достоевского: именно потому, что он не верит и знает муки неверия, потому что, по его собственным словам, он «всегда любил горе и скорбь лишь для себя» и «жалел» других, — потому он проповедует веру в Бога, в которого не верит сам. Измученный «исканием Бога», он хочет видеть нашедшее Бога человечество; мучительно неверующий, он хочет видеть блаженно верующих. Пригвожденный к кресту своего неверия, он проповедует народу православие; он усиливает свое сознание, потому что знает, что оно разъединяет и сжигает; он проповедует ложь, дающую счастье, — строгую, текстуальную крестьянскую веру.

«Не имея веры на горчичное зерно», восставая против Бога, заявляя с гордостью, что в Европе нет и не было такой силы атеистических выражений, как в его Инквизиторе, он требует подчинения духовенству. Чтобы уберечь людей от муки неверия, которую он переживает в собственной крови, он проповедует любовь к Богу. Ибо он знает, что религиозные колебания для добросовестного человека невыносимы. Сам он не избежал этих мук; как мученик, он взвалил на себя сомнения. Но человечество, которое он так любил, он хочет избавить от них; как его Великий инквизитор, хочет он уберечь человечество от мук свободы совести и убаюкать его в мертвом ритме авторитета. Так, вместо того, чтобы надменно проповедовать истину своего знания, он создает смиренную ложь веры. Он передвигает религиозную проблему в плоскость национальной, к которой он относится с фанатизмом обожествления. И, как самый верный ее раб, на вопрос: «Веруете вы сами в Бога или нет?» — он отвечает искренней исповедью своей жизни: «Я верую в Россию».

В этой отговорке его бегство, его убежище: Россия. Здесь его слово уже не разлад, здесь оно — догма. Бог молчал, и он создает посредника между собой и совестью — Христа, нового глашатая нового человечества, русского Христа. Из действительности, из эпохи, бросает он свою огромную потребность в вере навстречу неизвестности, ибо только неве-

домому, безмерному может всецело отдаваться этот не знающий меры человек — огромной идее России, этому слову, которое он наполняет безмерностью своей веры. Второй Иоанн, он проповедует нового Христа, не узрев его. И он вещает миру во имя него, во имя России.

Эти его мессианские писания — политические статьи и некоторые выпады Карамазова — не ясны. Смутно вырисовывается из них новый лик Христа, новая идея искупления и всепримирения: византийский лик с жесткими чертами, с суровыми морщинами. Как со старинных потемневших икон, смотрит на нас чуждый пронзительный взор с кротостью, с бесконечной кротостью, но и с ненавистью, с жестокостью. И страшен сам Достоевский, когда нам, европейцам, как заблудшим язычникам, возглашает он эту русскую весть спасения. Злым, фанатичным, средневековым монахом с византийским крестом — словно бичом — в руке стоит перед нами этот политик, этот религиозный фанатик. Не мягкой проповедью, а словно в бреду, одержимый, в мистических судорогах, возвещает он свое учение; в демонических гневных выпадах разряжается его непомерная страсть. Дубиной опровергает он всякое возражение; охваченный лихорадкой, опоясанный надменностью, сверкая ненавистью, бурно вступает он на трибуну эпохи. С пеной у рта, дрожащими руками бросает он анафему нашему миру.

Исступленный иконоборец, буйно набрасывается он на святыни европейской культуры. Все наши идеалы неистово топчет он ногами, чтобы приготовить путь своему новому, русскому Христу. До безумия вздымается его московитская нетерпимость. Европа, что она такое? Кладбище, — быть может, «самое, самое дорогое кладбище», но все же «кладбище и никак не более», — смердящее гнилью, негодное даже служить удобрением для нового посева. Вскосы же его могут появиться только на русской земле. Французы — чванные фаты, немцы — жалкие колбасники, англичане — продавцы грошовой мудрости, евреи — смердящее высокомерие. Католицизм — учение дьявола, поругание Христа, протестант-

ство — мудрствующая религия государства, то и другое — издевательство над единственной истинной верой в Бога: русской церковью. Папа — сатана в тиаре, наши города — Вавилон, великая блудница Апокалипсиса, наша наука — тщетный призрак, демократия — жидкая похлебка размягченного мозга, революция — проказы дураков и одураченных, пацифизм — бабья болтовня. Все идеи Европы — отцветший, завядший букет, годный лишь на то, чтобы бросить его в навозную кучу. Только русская идея — единственно великая, единственно истинная, единственно непогрешимая.

Одержимый амоком, несется он дальше, в исступленном преувеличении прокалывая кинжалом каждое возражение: «Мы вас понимаем, а вы нас не понимаете», — и всякий спор падает, обливаясь кровью. «Мы, русские, все понимаем, а вы ограниченные люди», — объявляет он. Только в России — истина, и все в России справедливо: царь и нагайка, поп и мужик, иконы и тройка — и тем справедливее, чем меньше похоже на Европу, чем больше здесь азиатского, монгольского, татарского, тем правильнее, чем более консервативно, отстало, реакционно, необразованно, византийно.

О, как он неистовствует, этот великий преувеличитель! «Будем азиатами! Будем сарматами!» — восклицает он. «Вон из европейского Петербурга, назад в Москву, в Сибирь, в новую Россию, в третье царство!» Спора этот опьяненный своей верой средневековый монах не терпит. Долой рассудок! Россия — догма, которая должна быть признана бесспорно. «Умом Россию не понять... В Россию можно только верить». Кто не падает перед ней ниц, тот враг, антихрист: в крестовый поход против него! Громко трубит он в фанфары войны. Австрию надо растоптать, полумесяц должен быть сорван с Царьградской Софии, Германию — укротить, Англию — завоевать; безумный империализм закутывает его надменность в монашескую рясу и восклицает: *Dieu le veut!** Во имя царства Божия — весь мир за Россию!

* Так хочет Бог! (фр.)

Итак, Россия — Христос, новый спаситель, а мы — язычники. Ничто не спасет нас, порочных, от чистилища нашей вины: мы совершили смертный грех, не родившись русскими. Для нашего мира нет места в третьем царстве; наш европейский мир должен раствориться в русской мировой империи, в новом царстве Божьем, — тогда только он может быть спасен. Все люди должны «стать русскими, во-первых и прежде всего». Тогда только начнется новый мир. Россия — это народ-богоносец, он должен сперва мечом завоевать землю, и тогда он скажет свое «последнее слово» человечеству. И это «последнее слово» значит для Достоевского: примирение. Для него русский гений заключается в способности все понять, разрешить все противоречия! Русский — это все разумеющий человек и потому гибкий в высшем смысле этого слова. И его государство, государство будущего, будет церковью, формой братского общения, взаимного понимания вместо подчинения. И прологом к событиям недавней войны (которая в начале была пропитана его идеями, как в конце идеями Толстого) звучит его речь, когда он говорит: «Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личности иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельном развитии всех других наций и в братском единении с ними». Здесь кроется предвестие Ленина и Троцкого, но вместе с тем и войны, которую он, заступник всех противоречий, так страстно прославлял. Всепримирение — это цель, но Россия — единственный путь: «от Востока звезда сия воссияет». Над Уралом воссияет вечный свет, и вера смиренного народа, а не суемудрый дух европейской культуры со своими мрачными, от тайн земли идущими силами спасет мир. Вместо могущества будет действенная любовь, вместо столкновений между личностями — всечеловеческое чувство; новый, русский Христос принесет всепримирение, разрешение контрастов. И тигр будет пасть рядом с ягненком, и «лань ляжет подле льва», — как дрожит голос Достоевского, когда он говорит о третьем царстве, о великой,

всемирной России, как он трепещет в экстазе веры, как прекрасен он, познавший всю глубину действительности, в своей мессианской мечте!

Ибо в слове «Россия», в русской идее Достоевский грезит об этой христианской мечте, об идее примирения противоречий, которую он тщетно искал шестьдесят лет в своей жизни, в искусстве и даже в Боге. Но эта Россия — какая же она, реальная или мистическая, политическая или пророческая? Как всегда у Достоевского: и то и другое вместе. Тщетно требовать логики от объятых страстью и от догмы — обоснования. В мессианских писаниях Достоевского, в политических, в литературных произведениях, понятия кружатся в бешеной скачке. Россия — то Христос, то Бог, то царство Петра Великого, то новый Рим, то сочетание духа и могущества, папской тиары и царской короны, его столица — то Москва, то Царьград, то новый Иерусалим.

Самые смиренные идеалы всечеловечества резко сменяются властолюбивыми славянофильскими завоевательными стремлениями, поразительно меткие политические гороскопы — фантастическими, апокалиптическими обетованиями. То загоняет он понятие России в тиски политического момента, то бросает его в беспредельность, создавая здесь ту же шипящую смесь воды и огня, реализма и фантастики, что и в художественных произведениях. Демоническое начало его природы, исступленность преувеличения, втиснутая в романах в известные рамки, проявляется здесь в пифических судорогах. Со всей силой пламенной страсти проповедует он Россию, как спасение мира, как единственный путь к блаженству. Никогда национальная идея как идея мировая не была возведена Европе высокомернее, гениальнее, завлекательнее, соблазнительнее, пьянительнее, восторженнее, чем русская идея в книгах Достоевского.

Неорганическим наростом на великом образе кажется сперва этот фанатик своей расы, этот беспощадный исступленный русский монах, этот высокомерный памфлетист, этот недостоверный пророк. Но он-то именно и нужен для цель-

ности личности Достоевского. Всякий раз, как мы встречаем какую-нибудь непонятную черту в образе Достоевского, мы должны искать ее необходимость в контрасте. Не надо забывать: Достоевский всегда — утверждение и отрицание, самоуничужение и самомнение, доведенный до предела контраст. И это преувеличенное высокомерие — только обратная сторона преувеличенного смирения, его повышенное сознание народности — только другой полюс ощущения личного ничтожества. Он точно делит себя на две половины: на гордость и на смирение. Свою личность он унижает; если порыться в двадцати томах его произведений, то не найдешь ни одного чванного, гордого, надменного слова! Встретишь только умаление, обвинение, унижение своей личности. И весь запас своей гордости он вливает в свою расу, в идею своего народа. Все, что относится к его единичной личности, он уничтожает; все, что относится к безличному, русскому, всечеловеческому, он возносит до обожествления. От религиозного неверия он становится проповедником Бога, от неуверенности в себе — провозвестником своего народа и человечества. И в области идей он — мученик, распявший себя на кресте, чтобы спасти идею.

В этом его великая тайна: оплодотворять себя противоречиями. Растянуть их до бесконечности, охватить весь мир и порожденную ими силу направить на будущее. Другие писатели обычно создают свой идеал, исходя из своей личности, изображая себя очищенными, возвышенными, созерцая будущего человека как облагороженный образ самих себя. Достоевский, человек противоречий, созидающий дуалист, творит свой идеал, своего Бога, посредством антитезы себе самому: он снижает себя, живого, до роли негатива. Он хочет быть лишь материалом, глиной, из которой лепят форму: левому в будущем изображении соответствует правое, его углублениям — высь, его сомнениям — вера, его разладу — единство. Он уничтожает себя, чтобы воскреснуть в будущем человеке.

Потому идеал Достоевского — быть не таким, каков он

сам; чувствовать не так, как он чувствует; мыслить не так, как он мыслит; жить не так, как он живет. До мельчайших подробностей, черта за чертой, новый человек является прямой противоположностью его личности, из каждой тени его существа возникает свет, из мрака — сияние. Из отрицания себя он создает страстное утверждение нового человечества. Вплоть до физического облика продолжает он это беспримерное моральное осуждение себя самого во имя будущего человека, уничтожение индивидуального человека ради всечеловека. Возьмите его портрет, фотографию, посмертный снимок и положите его рядом с изображениями тех людей, из которых он формирует свой идеал: рядом с Алешей Карамазовым, со старцем Зосимой, князем Мышкиным, с этими тремя набросанными им эскизами русского Христа, спасителя. Вплоть до мельчайших подробностей каждая линия будет противоположностью и контрастом его облика. Лицо Достоевского угрюмо, исполнено таинственности и мрака, у них — ясный, умиротворенный, открытый лик; у него голос хриплый и отрывистый, у них — нежный и тихий. У него волосы спутанные и темные, глаза — глубокие и беспокойные, у них — лик светлый, обрамленный мягкими прядями волос, их глаза блестят без тревоги и страха. Он определенно указывает, что они смотрят прямо, и взор их выражает ласковую улыбку, как у детей. Его тонкие губы окружены складками насмешки и страсти, они не умеют улыбаться, у Алеши и Зосимы сияет на устах обнажающая белые зубы свободная улыбка уверенных в себе людей. Так противопоставляет он черта за чертой свой облик, как негатив, новому образу. Его лицо говорит о связанном человеке, рабе всех страстей, отягощенном мыслями, их лица выражают внутреннюю свободу и равновесие. Он — разлад, дуализм; они — гармония, цельность. Он — индивидуалист, замкнутый в себе; они — «всечеловеки», их существо до краев наполнено Богом.

Созидание нравственного идеала из самоуничтожения — никогда, ни в одной области духовного и морального, не было оно осуществлено с большей полнотой. В самоосуждении,

словно вскрывая вены своего существа, собственной кровью рисует он образ будущего человека. Он был страстным, судорожным человеком, человеком внезапных звериных порывов, его восхищение — вспыхивающее от взрыва чувств или нервов пламя; в них — нежное, но вечно деятельное, целомудренное тепло. Они обладают спокойным постоянством, более плодотворным, чем буйные прыжки экстаза, истинным смирением, не боящимся насмешки; они — не униженные и оскорбленные, как он, они не скованы и не согнуты. С каждым они могут говорить, и каждый найдет утешение в их обществе — они не страдают вечной истерической боязнью обидеть или быть обиженными, они не оглядываются вопрошающе кругом при каждом шаге. Бог не мучит их, он дарит их благодатью. Они все знают, и именно потому, что они все знают, они все понимают; они не судят и не осуждают; они не исследуют деяния, а благодарно верят. Странно: он, вечно встревоженный, видит в спокойном, просветленном человеке высшую форму жизни; пребывая в вечном разладе, он постулирует как высший идеал — единство; мятежник — он боготворит покорность. Его мучительное стремление к Богу стало их радостью в Боге, его сомнения — уверенностью, его истерия — здоровьем, его страданье — всеобъемлющим счастьем. Последнее и высшее благо для него — то, чего он сам, познававший и так много познавший, никогда не испытал и чего он поэтому жаждет для человечества: наивности, сердечного простодушия, нежной, естественной радости.

Взгляните на любимых героев: они выступают с нежной улыбкой на устах; они все познали и не возгордились; они пребывают в тайне жизни не как в огненной долине, а обволакивая себя ею, как голубым небом. Они победили страдания и страх, изначальных врагов человеческого существования, поэтому они стали блаженными в бесконечном братстве творения. Они освободились от своего «я». Высшее счастье детей земли в безличности — так величайший индивидуалист претворяет мудрость Гёте в новую веру.

История духа не знает ни одного примера подобного мо-

рального самоуничтожения души человека, столь плодотворного создания идеала из контраста. Мученик, сам создававший себе мучения, Достоевский распял себя на кресте: он принес в жертву свое познание, чтобы свидетельствовать веру, свое тело, чтобы средствами искусства создать нового человека, свою личность во имя всеобщности. Он хочет гибели своего «я», как типа, во имя более счастливого, лучшего человечества; все страдания он берет на себя ради счастья других. И тот, кто шестьдесят лет тянулся к бесконечно болезненной шире своих контрастов, кто разрывал себя до последних глубин, чтобы найти Бога и смысл жизни, — отбрасывает приобретенную мудрость ради нового человечества, которому он выдает свою сокровеннейшую тайну, последний незабываемый завет: «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее».

VITA TRIUMPHATRIX*

Что б ни было, жизнь все же хороша.

Гёте

Как мрачен путь к глубинам Достоевского, как сумрачен его ландшафт, как подавляет его беспредельность, таинственно сходная с его трагическим лицом, на котором изваяны все горести жизни! Гибельные адские круги сердца, багровые огни чистилища души, глубочайшая шахта, вырытая когда-либо смертной рукой в преисподнюю чувства! Сколько тьмы в этом человеческом мире, сколько страданий в этой тьме! О, сколько печали на его земле, «пропитанной слезами от коры до центра», какие адские круги в ее глубине — мрачнее тех, что провидец Данте узрел столетия назад! Тщетно ожидающие искупленья жертвы земного, мученики чувства, обвитые змеями страсти, терзаемые бичами духа, изнывающие в буй-

* Жизнь — победительница (лат.).

стве напрасного бунта, — о, что это за мир, мир Достоевского! Замурована всякая радость, изгнана всякая надежда, нет спасенья от страданий, бесконечно высокой стеной окружающих свои жертвы. Неужели никакое состраданье не может извлечь их из этих глубин? Не взорвет ли апокалиптический час этот ад, который сотворил человек из своих мучений?

Из этой бездны несутся стоны, каких не слышал доселе человек. Никогда не было сосредоточено больше мрака в одном произведении. Даже образы Микеланджело мягче в своей печали, и над пропастью Данте сияет луч благодатного рая. Неужели в произведениях Достоевского жизнь — вечная ночь, и страдания — смысл жизни? Трепетно страдает над пропастью дух, слыша только о муках и горестях братьев.

Но вот раздается тихое слово из глубины и возносится ввысь, как голубь, взмахнувший крылами над бурным морем. Тихо оно прозвучало, но велик его смысл, — блаженное слово: «Милые друзья, не бойтесь жизни». И есть в этом слове безмолвие, и трепетно слушают глубины и высь; все выше над бездной мученья возносится голос, гласящий: «На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением».

Кто произнес это светлое слово страданья? Тот, кто страдал больше всех — Достоевский. Еще пригвождены к кресту разлада его ладони, зияют раны на хрупком теле, но покорно целует он крест своей жизни, и нежны уста, выдающие братьям великую тайну: «Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить».

И вот брезжит день из слова — апокалиптический час. Открылись гробы и тюрьмы: они встают из глубин, мертвые и заключенные, все, все они приближаются, все восстают из своей печали, чтобы стать апостолами его слова. Они спешат из темниц, с сибирской каторги, звеня цепями, из тесных углов, из публичных домов, из монастырских келий, — все они, страстотерпцы страсти; еще не отмыта кровь с их рук, еще горит клеймо на щеках, еще томит их гнев и недуг, но жалобы нет уже на устах, и их слезы сверкают надеждой. О

вечное чудо Валаама, проклятье становится благословением в их горячих устах, когда они слышат «Осанна!» учителя, «Осанна!» — «сквозь все чистилища сомнений». Самые скорбные будут первыми, самые печальные — самыми верующими, все они теснятся, чтобы свидетельствовать его слова. И на пересохших, шершавых губах, как великий хорал, с первобытной мощью экстаза пенится гимн страданию, гимн жизни.

Все они, все явились, мученики, чтобы воспевать жизнь. Дмитрий Карамазов, невинно осужденный, с цепями на руках, радостно восклицает от полноты своей силы: «Я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: «В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть». И брат Иван рядом с ним провозглашает: «Нет в мире такого отчаяния, чтобы победило во мне жажду жизни». И, как луч, проникает в его грудь экстаз бытия, и атеист, ликуя, восклицает: «Принимаю Бога, принимаю и премудрость его, верую в смысл жизни». Со смертного одра подымается, сложив руки, будто для молитвы, вечно сомневающийся Степан Трофимович и бормочет: «О, я бы очень желал опять жить! Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человеку». Все громче, все чаще, все возвышеннее звучат голоса. Князь Мышкин, смущенный, несомый колеблющимися крыльями блуждающих чувств, простирает руки и мечтает: «Я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его... Сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными?» Старец Зосима проповедует: «Сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь... Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью». И даже «Человек из подполья», маленький, запуганный, безымянный, в своем потертом пальтишке подходит и простирает руки: «Жизнь — красота, смысл ее — в страда-

ниях, о, как прекрасна жизнь!» — слышится затаенный возглас. «Смешной человек» пробуждается от своего сна, чтобы «проповедовать жизнь».

Все они, все подползают, как черви, из углов своего существования, чтобы и их голос звучал в великом хорале. Никто не хочет умереть, никто не хочет покинуть жизнь, так свято любимую, нет страданья достаточно глубокого, чтобы променять его на смерть, на вечного врага. И этот ад, мрак отчаяния, как эхо, подхватывает гимн судьбе; в чистилище возгорается фанатическое пламя благодарности. Струится свет, бесконечный свет, небо Достоевского разверзается над землей, и гремит последнее слово Достоевского, слово Алеши к детям в речи у большого камня, святой варварский клич: «Как хороша жизнь!»

О жизнь, чудесная, сознательной волей создающая себе мучеников, чтобы они тебя воспевали! О жизнь, мудржесточкая, страданиями побеждающая самых сильных, чтобы они возвещали твое торжество! Ты вечно хочешь слышать вопль Иова, звучащий сквозь тысячелетья, когда в испытаниях он познает Бога, и радостное пение отроков Даниила, когда их тело горит в огненной печи. Вечно разжигаешь ты звенящий уголь на языке поэтов и обращаешь их в страдальцев, чтобы они повиновались тебе и с любовью произносили имя твое. Бетховена ты поразила, чтобы глухой услышал грохотание Бога и, смерти коснувшись, создал гимн радости; Рембрандта гонишь во тьму нищеты, чтобы в красках искал он твой свет, твой изначальный свет; Данте лишаешь ты родины, чтобы узрел он в видениях небо и ад, — всех ты загнала бичом в беспредельность. И тот, кого ты бичевала всех больше, — и он стал твоим рабом. С пеной на устах, корчась в болезни, он возглашает «Осанна!» тебе, «Осанна!» — «сквозь горнило сомнений». О, ты побеждаешь людей, осужденных тобой на страданье, ночь обращаешь ты в день, страданье — в любовь, из ада ты слышишь святую хвалу! Ибо много страдавший — высший мудрец, и благословит тебя тот, кто познал. И лишь тот, кто познал всю твою глубину, сумел тебя так возлюбить, сумел тебя так воссоздать.



БАЛЬЗАК



Книга первая

ЮНОСТЬ. ПЕРВЫЕ ШАГИ

I. ТРАГЕДИЯ ОДНОГО ДЕТСТВА

Человек, обладающий гением Бальзака, способный могуществом безудержной фантазии создать новую вселенную, не всегда в силах, изображая незначительные эпизоды собственной жизни, придерживаться одной только строгой истины. Все подчиняется у него власти самодержавного произвола. Он самовластно распоряжается событиями из своей биографии, и это сказалось весьма характерным образом даже в том, что обычно остается неизменным, — в начертании фамилии. В один прекрасный день — ему пошел уже тридцатый год — Бальзак поведал свету, что его зовут вовсе не Оноре Бальзак, а Оноре де Бальзак и, более того, что, по твердому его убеждению, он имеет полное и к тому же очень древнее право на эту дворянскую приставку.

Отец его просто в шутку, да и то в самом тесном домашнем кругу, похвалялся весьма сомнительным и весьма отдаленным родством с древнегалльской рыцарской фамилией Бальзак д'Антрэг. Однако неудержимая фантазия сына превращает это случайное предположение в неоспоримый факт. «Де Бальзак». Так он подписывает письма и книги, а гербом д'Антрэгов он украшает свой экипаж, собираясь отправиться в Вену. Завистливые собратья по перу высмеивают тщеславие самозванного дворянина, но Бальзак, ничтоже сумняшеся, объявляет журналистам, что еще задолго до его появления на свет факт дворянского происхождения был засвидетельство-

ван в официальных документах, а посему дворянская приставка в бумагах о его рождении ничуть не менее законна, чем, скажем, в метриках Монтеня или Монтескье.

Однако, к великому сожалению, сухие документы придиристо и злобно разрушают в нашем неприютном мире самые роскошные легенды, созданные поэтами. Как ни грустно, но столь торжественно процитированное Бальзаком свидетельство о рождении действительно сохранилось в архивах города Тура; однако перед фамилией будущего писателя не обнаруживается ни одной буковки из этого пресловутого аристократического «де».

Писец местного нотариуса 21 мая 1799 года коротко и ясно записал:

«Сегодня, второго прериала седьмого года Французской Республики, ко мне, регистратору Пьеру Жаку Дювивье, явился гражданин Бернар Франсуа Бальзак, проживающий в здешнем городе, по улице Арме д'Итали, в квартале Шардонне, в доме № 25, дабы заявить о рождении у него сына. Упомянутый Бальзак пояснил, что ребенок по имени Оноре Бальзак рожден вчера, в одиннадцать часов утра, в доме заявителя».

Да и все другие дошедшие до нас документы — свидетельство о смерти отца, объявление о бракосочетании старшей сестры — не содержат дворянской приставки.

Следовательно, вопреки всем генеалогическим изысканиям Бальзака, она является плодом чистейшей фантазии великого романиста.

Но если буквальный смысл документов и опровергает Бальзака, то воля его, исполненная творческого вдохновения, одерживает верх над бездушными бумагами. Ибо поэзия, назло всем последующим уточнениям, всегда торжествует над исторической достоверностью. И хотя ни один французский монарх не подписывал дворянских грамот ни Бальзаку, ни кому-либо из его предков, потомство на вопрос, как звали величайшего эпика Франции, отвечает, повинувшись его воле: «Оноре де Бальзак», а не Оноре Бальзак и, конечно, не

Бальса. Ибо «Бальса», а не «Бальзак» и уж, разумеется, не «де Бальзак» звали его предков крестьян.

Они не обладали замками и не имели герба, который их поэтический потомок изображает на дверце своего экипажа, они не гарцевали в сверкающих доспехах и не бились на романтических турнирах, нет — они ежедневно гнали коров на водопой и ковыряли в поте лица скудную лангедокскую землю.

В жалкой лачуге в деревушке Ла Нугериз, близ Каньзака, 22 июня 1746 года родился Бернар Франсуа, один из многих обитавших там Бальса, будущий отец писателя.

Из этих Бальса только один приобрел известность, да и то весьма предосудительного свойства. В том самом 1819 году, когда Оноре окончил Школу права, пятидесятичетырехлетний брат его отца был арестован по подозрению в убийстве молодой беременной крестьянки и после сенсационного процесса гильотинирован.

Должно быть, именно стремление возможно больше увеличить дистанцию между собой и этим непристойным дядюшкой побудило Бальзака возвести себя в дворянство и присвоить себе благородное происхождение.

Бернар Франсуа, старший из одиннадцати детей, был предназначен отцом своим, простым крестьянином, к духовному званию. Сельский священник обучил его грамоте и даже немного латыни. Но крепкий, жизнерадостный и честолюбивый юнец вовсе не собирается выбрить себе тонзуру и дать обет безбрачия. Некоторое время он еще остаётся в родной деревушке, то помогая нотариусу переписывать бумаги, то трудясь на родительском винограднике и на пашне; но вот, достигнув двадцати лет, он уезжает из родных краев, чтобы не возвратиться более. С упрямой напористостью провинциала, великолепнейшие образцы которой опишет в своих романах его сын, он обосновывается в Париже, поначалу действуя неприметно и втихомолку, — один из бесчисленных молодых людей, которые жаждут сделать карьеру в столице, но не знают еще, каким образом и на каком поприще.

Позднее Бальзак-отец, покинув Париж, уверял провинциалов, что при Людовике XVI он был секретарем канцелярии королевского совета и даже товарищем королевского прокурора. Впрочем, эта хвастливая старческая болтовня давно уже опровергнута, ибо ни в одном из королевских альманахов не упоминается Бальзак или Бальса, занимающий подобную должность. Только революция подняла из неизвестности этого крестьянского сына, как и многих ему подобных, и он занимает теперь должность в городском самоуправлении революционного Парижа (должность, о которой он впоследствии, став армейским комиссаром, не любил распространяться).

В этой должности он заводит, видимо, обширные связи и со страстной алчностью, которую он передаст в наследство сыну, выискивает такие посты в действующей армии, где можно вернее всего нажиться, то есть в продовольственной части и в интендантстве. От интендантства ведут, разумеется, золотые нити к ростовщикам и банкирам.

Прошло тридцать лет, и после всяких темных дел и делишек Бернар Франсуа снова вынырнул в Париже в качестве первого секретаря банкирского дома Даниэля Думерга. К пятидесяти годам отцу Бальзака удалась наконец великая метаморфоза — как часто сын будет повествовать о ней! — беспокойный и честолюбивый голодранец превратился в благопристойного буржуа, степенного, или, вернее, остепенившегося, члена «хорошего общества». Только теперь, приобретя капитал и упрочив свое положение, может он совершить следующий неизбежный шаг, дабы из мелкого буржуа стать крупным, а затем — о последняя и возделеннейшая ступень! — превратиться в рантье: он вступает в брак с девушкой из весьма состоятельной буржуазной семьи.

Пятидесятилетний мужчина, представительный, пышущий здоровьем, к тому же красноречивый собеседник и опытный сердцеед, он обращает взоры на дочь одного из своих начальников. Правда, Анна Шарлотта Саламбье моложе его на тридцать два года, и у нее несколько романтические

склонности. Однако, будучи благовоспитанной и благочестивой девицей из буржуазного семейства, она повинуется совету родителей, которые считают Бернара Франсуа весьма солидной партией. Он, конечно, много старше их дочери, но зато на редкость удачливый и оборотистый делец.

Едва связав себя брачными узами, Бальзак-отец счел ниже своего достоинства и к тому же весьма неприбыльным оставаться простым клерком. Война под водительством Наполеона представляется ему куда более быстрым и богатым источником дохода.

Итак, обеспечив себя приданым жены, он пускает в ход прежние связи и переселяется в город Тур, где занимает должность провиантмейстера двадцать второй дивизии.

К моменту рождения их первенца Оноре (20 мая 1799 года) Бальзаки уже считаются людьми состоятельными и приняты как почтенные сограждане в самых богатых домах города Тура. Поставки Бернара Франсуа, по-видимому, принесли ему немалые доходы, ибо семейство, которое непрестанно копило и спекулировало, начинает приобретать теперь определенное общественное положение.

Сразу после рождения Оноре родители его переселяются из квартиры на узкой улице Арме д'Итали в собственный дом и обитают здесь до 1814 года, пока длятся золотые времена наполеоновских походов. Они пользуются наиболее доступной в провинции роскошью — каретой и обилием слуг. Самые почтенные лица, даже аристократы, постоянно бывают в доме Бернара Франсуа, сына безземельного крестьянина и в не столь далеком прошлом члена секции революционного Парижа. Среди них сенатор Клеман де Ри, чье загадочное похищение Бальзак опишет позже в своем «Темном деле», барон Поммерейль и господин де Маргони, которые окажут писателю поддержку и помощь в самые черные его дни. Отца Бальзака привлекают и к муниципальной деятельности: он заведует госпиталем, и с его мнением принято считаться. Несмотря на низкое происхождение и туманное прошлое, Бернар

Франсуа в эпоху молниеносных карьер и смешения всех слов общества становится вполне респектабельной личностью.

Популярность папаши Бальзака совершенно понятна. Это веселый, грузный, жизнерадостный человек, довольный собой, своими успехами и целым светом. Речи его чужда аристократическая утонченность. Он, словно канонир, сыплет забористыми проклятиями и не скупится на соленые анекдоты (многие из «Озорных рассказов» Бальзак-сын, по всей вероятности, слышал из уст отца), но это никого не смущает, — рассказчик он первоклассный, хотя охотно смешивает чистейшую правду с невероятным хвастовством. Бальзак-отец добродушен, жизнелюбив и слишком опытен, чтобы в столь изменчивые времена твердо стать на сторону императора, короля или республики. Лишенный основательного образования, он интересуется всем на свете, перелистывает и запоминает все, что попадает ему под руку, и приобретает таким путем разносторонние сведения. Он пишет даже несколько брошюр, как, например, «Мемуар о средствах предупреждения краж и убийств» и «Мемуар о позорном беспорядке, вызванном совращенными и покинутыми молодыми девицами».

Опусы эти, естественно, так же невыгодно сравнивать с творениями его великого сына, как итальянский дневник отца Гете с «Итальянским путешествием» самого Иоганна Вольфганга. Обладая железным здоровьем и неистощимой жизнерадостностью, Бернар Франсуа твердо решил дожить до ста лет. На седьмом десятке он прибавляет к своим четырем законным детям еще несколько внебрачных, а в восемьдесят возбуждает самые злые толки, и провинциальные сплетни утверждают, что он обрюхатил молоденькую девушку.

Врач никогда не переступал порога дома Бальзаков, и намерение отца пережить всех подкрепляется еще и тем обстоятельством, что он обладает пожизненной рентой в так называемой «Тонтине Лафарга». Это своеобразное страховое общество после смерти одного из своих членов увеличивает долю всех остальных. Та же демоническая сила, которая

заставит сына запечатлеть все многообразие жизни, направлена у отца лишь на поддержание собственного существования. Вот он уже обскакал своих партнеров, вот уже его рента увеличилась на восемь тысяч франков, но тут восьмидесятирехлетний старец становится жертвой глупейшей случайности. А не будь ее, Бернар Франсуа, подобно сыну своему Оноре, усилием чудовищной воли сделал бы невозможное возможным.

Оноре де Бальзак унаследовал от отца жизнерадостность и любовь к сочинительству, а от матери — чувствительность. Анна Шарлотта на тридцать два года моложе своего супруга и вовсе не столь несчастна в замужестве. Однако она отличается пренеприятной способностью постоянно чувствовать себя ущемленной и уязвленной. В то время как муженек весело и беззаботно наслаждается жизнью, несколько не сокрушаясь и не унывая по поводу мнимых недомоганий и капризов своей благоверной, Анну Шарлотту всегда терзают воображаемые хвори, и все ее ощущения неизбежно приобретают истерический характер. Вечно ей кажется, что близкие недостаточно ее любят, недостаточно ценят, недостаточно почитают. Она вечно жалуется, что дети слишком мало признательны ей за великое ее самопожертвование. До конца дней Бальзака она не перестает докучать своему всемирно прославленному сыну доброжелательными советами и плаксивыми укорами.

При всем том она вовсе не глупа и даже образованна. В юности она состояла компаньонкой при дочери уже упомянутого нами банкира Думерга и переняла у нее романтические склонности. В те годы она обожала изящную словесность и навсегда сохранила пристрастие к Сведенборгу и другим мистическим сочинителям. Но эти робкие идеальные порывы вскоре заглохли, задавленные скопидомством, вошедшим у нее в плоть и кровь. Дочь типичного парижского семейства галантерейщиков, которые, подобно скупцу Гарпагону, медленно, копейка за копейкой, набивали кошелек, она вносит в свой новый дом черствость и бездушные мечтанья. Мелочное

скупердяйство престранным образом сочетается у нее с непреодолимым стремлением к доходным спекуляциям и наиболее выгоднейшему помещению капитала.

Заботиться о детях означает для Анны Шарлотты внушать им, что тратить деньги — преступление, а копить — первейшая из добродетелей. Прежде всего сыновья должны постараться приобрести солидное положение (а дочери — сделать хорошую партию). Главное — не давать детям ни малейшей свободы, не спускать с них глаз, всегда следовать за ними по пятам. Но именно эта назойливая и неусыпная заботливость, эти унылые попечения о так называемом благе семьи вопреки самым добрым ее намерениям парализуют весь дом.

Много лет спустя, давно уже став взрослым, Бальзак будет вспоминать, как в детстве он вздрагивал всякий раз, услышав ее голос. Сколько натерпелся он от этой вечно чем-то разгневанной и вечно надутой матери, холодно отстраняющей нежность своих добрых, порывистых и страстных детей, можно понять из слов, вырвавшихся у него в одном письме: «Я никогда не имел матери».

В чем же была тайная причина, заставившая Анну Шарлотту Бальзак холодно относиться к старшим детям — к Оноре и Лауре и избаловать младших — Лоранс и Анри? Да, в чем была тайная причина такого поведения? Уж не в бессознательном ли отвращении к супругу? Ныне это уже вряд ли можно выяснить. Но бесспорно, что большее равнодушие, большую черствость матери к своему ребенку трудно себе и представить.

Не успел Оноре появиться на свет, как она выдворяет его, точно прокаженного, из дому. Грудного младенца поручают заботам кормилицы, супруги жандарма. У нее он остается до трех лет. Но и тогда ему еще нельзя вернуться к отцу, к матери, к младшим детям, живущим в просторном и уютном доме. Ребенка отдают на пансион в чужую семью. Только раз в неделю, по воскресеньям, ему позволяют посетить родителей, которые относятся к нему, словно дальние

родственники. Ему не позволяют играть с братом и сестрами, ему не дарят игрушек. Мать не склоняется над его постелью, когда он болен. Ни разу не слышал он от нее доброго слова, и, когда он нежно льнет к ее коленям, пытаясь обнять их, она сурово, как нечто непристойное, отвергает ребяческую ласку. Едва лишь окрепли его маленькие ноги, семилетнего малыша спешат отправить в Вандомский коллеж — только бы с глаз долой, только бы он жил в другом месте, в чужом городе. Когда после семи лет невыносимой муштры Бальзак возвращается под родительский кров, мать делает (по его же словам) жизнь его «столь нестерпимой», что восемнадцатилетний юноша бежит от этого невыносимого существования.

Никогда, несмотря на все свое природное добродушие, Бальзак не мог позабыть обид, которые нанесла ему эта странная мать. Многие годы спустя, когда он сам ввел к себе в дом мучительницу своих детских лет, когда ему пошел уже сорок четвертый год и седые нити протянулись у него в волосах, он все еще не в силах забыть обиды, которую испытал шестилетним, нежным и жаждущим любви ребенком. Бальзак не может забыть, что претерпел он от нее в детстве, и, бессильно бунтуя, делает госпоже Ганской душераздирающее признание:

«Если бы вы только знали, что за женщина моя мать. Чудовище и чудовищность в одном и том же лице. Моя бедная Лоранс и бабушка погибли из-за нее, а теперь она решила загнать в могилу и другую мою сестру. Она ненавидит меня по многим причинам. Она ненавидела меня еще до моего рождения. Я хотел было совсем порвать с ней. Это было просто необходимо. Но уж лучше я буду страдать. Это неисцелимая рана. Мы думали, что она сошла с ума, и посоветовались с врачом, который знает ее в течение тридцати трех лет. Он сказал: «О нет, она не сумасшедшая. Она только злюка»... Моя мать — причина всех моих несчастий».

В этих словах, в этом вопле, вырвавшемся через столько лет, слышится отзвук бесчисленных тайных мук, которые испытал Бальзак в самом нежном, самом раннем возрасте

именно из-за того существа, которое по законам природы должно было быть ему дороже всех. Только мать повинна в том, что, по его же собственным словам, он «выстрадал ужаснейшее детство, которое вряд ли выпадало на долю другого смертного».

О шести годах, проведенных Бальзаком в духовной тюрьме, в Вандомском коллеже отцов-ораторианцев, мы располагаем двумя свидетельствами: официально-сухое взято из школьной характеристики, поэтически-облагороженное — из «Луи Ламбера». Отцы-ораторианцы холодно отмечают: «Оноре Бальзак, 8 лет и 5 месяцев, перенес оспу без осложнений, характер сангвинистический, вспыльчив, подвержен нервной раздражительности, поступил в пансион 22 июня 1807 года, вышел 22 апреля 1813 года. Обращаться к господину Бальзаку, отцу, в Туре».

В памяти соучеников он остался «толстым мальчуганом, румяным и круглолицым». Но все, что они могут сообщить, относится только к внешним проявлениям его характера. Одним словом, показания сверстников ограничиваются лишь несколькими сомнительными анекдотами. Тем более потрясают нас автобиографические страницы из «Луи Ламбера», раскрывающие трагизм внутренней жизни гениального и вследствие этой гениальности вдвойне ранимого мальчика.

Описывая свои юные годы, Бальзак изображает себя не в одном, а в двух образах, в поэте Луи Ламбере и в философе Пифагоре, связанных школьной дружбой. Подобно молодому Гёте, который раздвоился в образах Фауста и Мефистофеля, Бальзак тоже явно расщепил свою личность. Он различает два типа своего гения: творческий — создающий живые образы, и другой — организующий, постигающий таинственные законы великих взаимосвязей бытия. Эти два типа он и воплотил в двух различных существах. В действительности он был именно Луи Ламбером. По крайней мере все поступки этой якобы вымышленной фигуры были его собственными. Из множества его зеркальных отражений — Рафаэль в «Шагреновой коже», д'Артез в «Утраченных иллюзиях», генерал

Монриво в «Истории тринадцати» — ни одно не является столь совершенным, ни одно не носит столь явственного отпечатка пережитого, как беззащитный ребенок, подвергаемый спартанской муштре в клерикальной школе.

Школа эта расположена в городке Вандоме, лежащем на ручейке Луар, и уже один вид ее — мрачные башни и мощные стены — напоминает скорее тюрьму, чем учебное заведение. Триста воспитанников с первого же дня живут по монастырски-строгому режиму. Каникулы здесь отменены, и родители могут лишь в исключительных случаях посещать своих детей.

В течение всех этих лет Бальзак почти не бывает дома, и, чтобы еще сильнее подчеркнуть сходство с собственным прошлым, он делает Луи Ламбера ребенком, не имеющим ни отца, ни матери, обрекает его на сиротство. Плата за пансион, в которую входит не только плата за обучение, но и за питание и одежду, относительно невысока. Однако на детях экономят немилосердно. Те, кому родители не присылают перчаток и теплого белья (а из-за равнодушия матери Бальзак принадлежит к этим обделенным), ходят зимой с обмороженными руками и ногами. Чрезвычайно восприимчивый телесно и душевно, Бальзак—Ламбер с первого же мгновения страдает больше, чем его юные мужиковатые одноклассники.

«Он привык к деревенскому воздуху, к существованию, не стесненному никаким воспитанием, к попечениям нежно любящего старика, к мечтаниям, когда он грезил, лежа на солнце. Ему было невероятно трудно подчиниться школьному распорядку, чинно ходить в паре, находиться в четырех стенах, в помещении, где восемьдесят подростков молча восседали на деревянных скамьях, каждый уткнувшись в свою тетрадь. Он обладал удивительной восприимчивостью, и чувства его страдали от порядков, царивших в коллеже. Запах сырости, смешанной с вонью, стоявший в грязной классной комнате, где догнивали остатки наших завтраков, оскорблял его обоняние, чувство, больше всех других связанное с це-

ребральной системой и раздражение которого неприметно влияет на мыслительные органы. Но, помимо этих источников вони, здесь было еще множество тайников, в которых каждый хранил свои маленькие сокровища: голубей, зарезанных к празднику, или еду, которую удалось похитить из столовой. Кроме того, в нашем классе лежал громадный камень, на котором всегда стояло два ведра с водой, — сюда мы являлись каждое утро, словно лошади на водопой, и по очереди, в присутствии надзирателя, ополаскивали лицо и руки. Затем мы переходили к столу, где служанки причесывали нас. В дортуаре, который убирали лишь раз в сутки, перед нашим вставанием, вечно царил беспорядок, и, несмотря на множество высоких окон и высокую дверь, воздух в нем был очень тяжелым от подымавшихся сюда испарений из прачечной, вони отхожего места, пыли, летевшей, когда чесали наши парики, не говоря уже о запахах, которые издавали наши восемьдесят тел в этом битком набитом помещении... Отсутствие ароматного деревенского воздуха, окружавшего его до сих пор, нарушение привычного образа жизни наводило на Ламбера печаль. Он сидел, подперев голову левой рукой и поставив локоть на парту, и вместо того чтобы готовить уроки, разглядывал зеленые деревья во дворе и облака на небе. Казалось, что он занимается; но педагог, который видел, что перо его лежит на месте, а страница остается чистой, кричал ему: «Ламбер, ты ничего не делаешь!»

Учителя ощущают в этом мальчике тайное противодействие. Они не понимают, что с ним происходит нечто совсем особенное, они видят только, что он читает и учится не так, как все, не так, как принято. Учителя считают его тупым или вялым, строптивым или апатичным, ведь он не может тащиться в одной упряжке с другими — то отстает, то одним скачком всех обгоняет. Как бы там ни было, ни на кого не сыплется столько палок, как на него. Его беспрерывно наказывают, он не знает часов отдыха, ему задают бесконечные

дополнительные уроки в наказание, его так часто сажают в карцер, что на протяжении двух лет у него нет и шести свободных дней. Чаше и ужаснее, чем другие, величайший гений своей эпохи вынужден испытывать на собственной шкуре «ультима рацию» — последний довод суровых отцов-ораторианцев — наказание розгой.

«Этот слабый и в то же время такой сильный мальчик претерпевал всевозможные телесные и душевные страдания. Как невольник, прикованный к своей парте, истязаемый палкой, терзаемый недугом, оскорбляемый во всех своих чувствах, задыхаясь в мучительных тисках, принужден он был предоставить свою телесную оболочку несправедливости бесконечной тирании, процветавшей в этой школе...

Из всех физических страданий жесточайшее причинял, конечно, кожаный ремень примерно в два пальца шириной, которым разгневанный наставник изо всех сил хлестал нас по пальцам.

Чтобы подвергнуться этой классической мере воздействия, провинившийся опускался посреди зала на колени. Нужно было встать со скамьи, подойти к кафедре, преклонить колени и вынести любопытные, а зачастую и издевательские взоры товарищей. Для нежных душ эти приготовления к пытке были вдвойне тяжелы: они напоминали путь от здания суда к эшафоту, который некогда вынужден был совершать приговоренный к смертной казни. В зависимости от характера одни вопили и проливали жгучие слезы и до наказания и после. Другие переносили боль со стоическим выражением лица. Но даже и самые сильные с трудом подавляли болезненную гримасу в ожидании мучений.

Луи Ламбера пороли особенно часто, и этим он был обязан свойству своей натуры, о существовании которого долгое время даже не подозревал. Когда оклик наставника «Да ты ведь ничего не делаешь!» вырывал Луи Ламбера из его грез, он нередко, поначалу сам того не замечая, бросал на учителя взгляд, исполненный дикого презрения, взгляд, заряженный

мыслями, как лейденская банка — электричеством. Этот обмен взглядами, несомненно, оказывал самое неприятное действие на педагога, и, уязвленный молчаливой издевкой, наставник пытался заставить школьника опустить глаза. Впервые пронзенный этим лучом презрения, словно молнией поразившим его, наш патер произнес следующее запомнившееся мне изречение: «Если ты будешь так смотреть на меня, Ламбер, ты изведаеть розгу».

Никто из суровых патеров так и не проник за все эти годы в тайну Бальзака. Для них он просто ученик, отстающий в латыни и в заучивании вокабул. Они и не догадываются о необыкновенной его прозорливости, считают его невнимательным, равнодушным и не замечают, что ему скучно и утомительно в школе, ибо требования, которые она предъявляет, для него давно уже слишком легки. Они не подозревают, что эта кажущаяся вялость вызвана только «лавинной идеей». Никому и в голову не приходит, что толстошекий малыш парит на крыльях своей души, что он давно уже живет в иных мирах, а вовсе не в душном классе, что он один среди всех сидящих на этих скамьях и спящих на своих койках ведет незримое двойное существование.

Этот иной мир, в котором живет двенадцатилетний подросток, — мир книг. Библиотекарь Высшей политехнической школы, который дает ему частные уроки математики (не потому ли Бальзак в течение всей своей жизни оставался наихудшим счетоводом из всех литераторов), позволяет мальчику брать сколько угодно книг в интернат. Он и представления не имеет о том, как страстно злоупотребляет Бальзак его легкомысленным разрешением. Книги — якорь спасения для Бальзака, они стирают все муки и унижения школьных лет. «Без книг из библиотеки, которые мы читали и которые не давали уснуть нашему мозгу, эта система существования привела бы нас к полному отупению».

Реальная жизнь — школа — воспринимается как призрач-

ное сумеречное состояние, подлинной жизнью становятся книги.

«С этого мгновения, — повествует Бальзак о своем двойнике, о Луи Ламбере, — у него появился прямо-таки волчий аппетит, который он был не в состоянии утолить. Он глотал самые разные книги, он поглощал без разбора религиозные, исторические, философские трактаты, а также труды по естественной истории».

Грандиозный фундамент всесторонних познаний Бальзака был заложен в эти часы чтения украдкой. Школьник узнает тысячи отдельных фактов, которые он навечно цементирует своей демонически ясной и быстрой памятью. Пожалуй, ничто не может объяснить неповторимого чуда бальзаковской апперцепции так хорошо, как описание тайных читательских оргий Луи Ламбера:

«Впитывание мысли в процессе чтения достигало у него способности феноменальной. Взгляд его охватывал семь-восемь строчек сразу, и разум постигал смысл со скоростью, соответствующей скорости глаза. Часто одно-единственное слово позволяло ему усвоить смысл целой фразы. Его память была чудом. Он столь же отчетливо помнил мысли, усвоенные им из чтения, как и возникающие во время размышления или беседы. Короче говоря, он обладал всеми видами памяти — на места, на имена, на слова, на вещи и на лица. Он не только мог когда угодно вспомнить о любых вещах, он видел их внутренним оком — в той же ситуации, при том же освещении, столь же многоцветными, как в миг, когда он впервые их заметил. Совершенно тем же даром обладал он, когда дело шло о самых неуловимых явлениях из области способности суждения. Он помнил, по его словам, не только как чередуются мысли в книге. Он помнил, в каком душевном состоянии был он в различные моменты своей жизни, как бы много времени ни прошло с тех пор. Его память обладала поразительной способностью воскрешать перед его взором всю его духовную жизнь — от самых ранних размышлений вплоть до тех, которые возникли только что; от самых смут-

ных до самых ясных. Его разум, смолоду привыкший концентрировать силы, таящиеся в человеке, выпитал из этого богатейшего источника множество образов удивительно четких и свежих, — и все это было его духовной пищей. Когда ему минуло двенадцать лет, фантазия его благодаря беспрестанным упражнениям всех способностей достигла высокой степени развития. Она позволяла ему составить столь ясное представление о вещах, о которых он знал только из книг, что картина, возникавшая в его душе, не могла быть живее и отчетливее, даже если бы он видел их на самом деле.

«Когда я прочел описание битвы под Аустерлицем, — сказал он мне однажды, — я сам увидел ее. Грохот пушек, крики сражающихся звучали у меня в ушах, волнуя до глубины души. Я ощущал запах пороха, я слышал топот лошадей и звук человеческих голосов, я любовался равниной, на которой сражались враждующие нации, словно я сам стоял на Сантонских высотах. Зрелище это казалось мне столь же чудовищным, как видения Апокалипсиса».

Всей душой предаваясь чтению, он как бы утрачивал ощущение физического бытия. Он существовал только благодаря всевластной игре своих органов чувств, работоспособность которых не ведала предела. Он оставлял, по его выражению, «пространство далеко позади себя»!

И вот после таких приводящих в восторг и истощающих душу полетов в беспредельность невыспавшийся мальчик в монастырском платье сидит рядом с деревенскими подростками, неповоротливый ум которых, словно влачась за плугом, насилиу следует за объяснениями учителя. Еще взбудораженный сложнейшими проблемами, он должен приковать свое внимание к родительному падежу от слова «Tensa»* и к правилам грамматики. Полагаясь на превосходство своего разума, зная, что ему довольно скользнуть глазами по странице, чтобы запомнить ее наизусть, он не прислушивается к уроку и витает в воспоминаниях, размышляя об идеях, за-

* стол (лат.).

ключенных в тех, в настоящих книгах. И обычно его пренебрежение реальностью принимает весьма дурной оборот.

«Наша память была так хороша, что мы никогда не учили уроков наизусть. Нам было достаточно прослушать из уст наших товарищей французские или латинские отрывки или грамматические предложения, чтобы тут же затвердить их. Но когда наставнику взбрела в голову злосчастная мысль нарушить порядок вызываемых и спросить нас первыми, тогда мы не ведали даже, в чем, собственно, состоит урок. Штрафные упражнения настигали нас, невзирая на то, что мы самым изощренным образом просили извинения. Мы тянули с приготовлением уроков всегда до последнего момента. Если нам попадалась книга, которую хотелось дочитать, мы погружались в грезы, забывали о занятиях, и тогда нас нередко карали новой порцией уроков!»

Гениального мальчика муштруют все строже, и в конце концов он знакомится с «деревянными штанами» — средневековыми колодками вроде тех, в которые шекспировский Лир заковывает честного Кента. Только когда его нервы не выдерживают более, недуг, названия которого мы так и не знаем, освобождает его из монастырской школы. Рано созревшему гению дозволяется покинуть тюрьму своего детства, в которой он страдал душой и телом, страдал от всех ударов, которые сыпались на него.

Этому окончательному освобождению от духовного рабства предшествует в «истории духовного развития» Луи Ламбера эпизод, который, по-видимому, не выдуман. Бальзак заставляет свое второе «я», своего вымышленного Луи Ламбера, изобрести на двенадцатом году жизни глубокомысленную философскую систему о психофизических взаимосвязях — некий «Трактат о воле», который другие мальчики, завидующие его «сдержанным аристократическим манерам», коварно похитили у него. Строжайший из педагогов, бич его юности, «грозный отец Огу», слышит шум, отбирает рукопись и отдает «Трактат о воле» лавочникам как ничего не стоящую макулатуру, не зная, сколь значительные сокровища попали

к нему. И слишком рано созревшие духовные плоды погибают в руках невежд.

Эта сцена, в которой показана бессильная ярость оскорбленного подростка, написана со столь потрясающим правдоподобием, что вряд ли она просто выдумана. Уж не испытал ли Бальзак и впрямь нечто подобное с каким-нибудь своим литературным детищем? Не пытался ли он в коллеже отцов-ораторианцев сочинить «Трактат о воле», идеи и основные мысли которого он столь подробно изложил впоследствии? Но неужели его преждевременная зрелость носила столь творческий характер, что он уже в те годы мог взяться за подобный труд? И действительно ли Бальзак реальный — Бальзак-подросток — сочинил этот трактат, или это сделал его придуманный, его воображаемый собрат по духу — Луи Ламбер?

Вопрос этот никогда не будет решен окончательно. Известно, что Бальзак в юности (ведь основные идеи мыслителя всегда рождаются в годы его становления) размышлял над аналогичным «Трактатом». И это было задолго до того, как он воплотил в образах «Человеческой комедии» многогранность человеческих влечений и закономерности человеческой воли. Слишком уж бросается в глаза, что не только Луи Ламбера, но и героя своего первого романа, «Шагреновая кожа», он заставляет работать над «Трактатом о воле». Стремление «открыть основные законы, изложение которых, быть может, некогда прославит меня», бесспорно, было основной мыслью, «праидеей» его юности. И мы не только догадываемся, нет, у нас есть основания заключить, что уже в школьные годы Бальзак впервые усвоил мысль о взаимосвязях духовного и телесного начала при помощи таинственного «эликсира».

Один из его учителей, Дессень, находившийся, как и многие другие его современники, в полном идейном плену у Месмера и Галля (впрочем, их понимали тогда еще ложно), был автором «Рассуждений о нравственном человеке и о взаимоотношениях характера с организмом». Несомненно, что

Дессень в часы занятий делился этими идеями со своими подопечными и пробудил в единственном гении среди них честолюбивое стремление сделаться тоже «химиком воли». Модная в ту эпоху идея «универсальной двигательной субстанции» вполне соответствовала еще не осознанному стремлению Бальзака создать некий универсальный метод. Всю жизнь терзаясь неисчерпаемостью духовных явлений, он задолго до создания «Человеческой комедии» попытался внести некий порядок в этот грандиозный хаос, обнаружить в нем общее содержание, закономерность и доказать, что законы, действующие в мире существ одухотворенных, так же обусловлены, как и те, что действуют в мире неодушевленной природы.

Правда ли, что Бальзак еще на заре своей жизни решил изложить свои воззрения, или он придумал это, когда стал уже зрелым писателем? Вряд ли мы когда-либо это выясним. Но, разумеется, несколько сбивчивые аксиомы из «Трактата о воле» Луи Ламбера, лежащие перед нами, не могли принадлежать двенадцатилетнему мальчугану, и это доказывает уже то обстоятельство, что в первой редакции «Луи Ламбера» (1832 г.) их вообще не было. Они были внесены наспех лишь в более поздние издания и отличаются несколько импровизационным характером.

Итак, покинув столь внезапно ораторианскую семинарию, четырнадцатилетний подросток, собственно говоря, впервые в жизни вступает под отчий кров. Родители, которые в прошедшие годы видели его только во время мимолетных посещений и которым он казался чем-то вроде дальнего родственника, поняли вдруг, что он совершенно преобразился — и внешне и внутренне. Вместо толстощекого, добродушного крепыша в отчий дом вернулся измученный монастырской муштрой, щуплый, нервный отрок с широко раскрытыми, испуганными глазами, как у человека, испытавшего нечто чудовищное и непередаваемое. Впоследствии сестра сравнила его поведение с поведением сомнамбулы, который с отсутствующим взором бредет среди бела дня. Он едва слышит, когда

его о чем-нибудь спрашивают, он весь погружен в мечты. Мать раздражает его замкнутость, за которой кроется тайное превосходство. Но проходит некоторое время, и, как при всех его кризисах, унаследованная жизненная сила торжествует победу. К мальчику возвращаются веселость и разговорчивость, которая кажется матери даже чрезмерной.

Для завершения образования его отдают в гимназию в городе Туре, а в конце 1814 года, когда семья переселяется в Париж, определяют пансион Лепитра. Этот мсье Лепитр — в эпоху революции гражданин Лепитр — был некогда дружен с отцом Бальзака, тогдашним членом одной из секций, и даже сыграл определенную роль в истории, поскольку он участвовал в попытке освобождения Марии-Антуанетты из Консьержери. Теперь же мсье Лепитр только почтенный директор учебного заведения, готовящий подростков к предстоящим экзаменам. Однако и в этом интернате мальчика, жаждущего любви, преследует ощущение одиночества и заброшенности. И устами Рафаэля, второго своего юного двойника, он рассказывает в «Шагреновой коже»:

«Страдания, которые я познал в лоне семьи, в школе, в интернате, возобновились во время моего пребывания в пансионе Лепитра, но в измененной форме. Отец совсем не давал мне денег. Моих родителей вполне устраивало сознание, что я одет и напичкан латынью и греческим. За время своего пребывания в интернате я познакомился примерно с тысячью соучеников, но не могу вспомнить ни одного случая подобного равнодушия родителей».

Бальзак и в этом пансионе — очевидно, вследствие внутреннего противодействия — не зарекомендовал себя «хорошим учеником». Разгневанные родители переводят его в другое учебное заведение. Но и тут дела идут не лучше. В латыни он на тридцать втором месте из имеющихся тридцати пяти. Результат этот все более укрепляет мать в мнении, что Оноре — «неудачный ребенок».

И вот она посылает уже семнадцатилетнему юноше блистательную эпистолу, выдержанную в том слезливо-жалост-

ливом тоне, который будет и пятидесятилетнего Бальзака повергать в отчаяние:

«Мой милый Оноре, я не могу найти слов, чтобы описать боль, которую ты мне причинил. Ты поистине делаешь меня несчастной, меня, которая ничего не жалеет для своих детей и, право, могла надеяться, что они доставят мне много радости. Прекрасный, достойный всяческого уважения мсье Гансе сообщил мне, что после проверочной работы по переводу ты опять съехал на тридцать второе место!!! Он сказал мне также, что несколько дней назад ты снова отчаянно набедокурил. Удовольствие, которое я ждала от завтрашнего дня, ты отнял у меня безвозвратно... Мы должны были встретиться с тобой в восемь утра, вместе пообедать, поужинать, вдоволь наговориться, пересказать друг другу все! Твоя лень, твоё легкомыслие, твоя невнимательность вынуждают меня подвергнуть тебя справедливому наказанию. Как пусто сейчас у меня на сердце! Какой долгой покажется мне моя поездка! Я утаила от отца, что ты очутился на таком плохом месте, но, разумеется, ты не сможешь в понедельник отправиться на прогулку, хотя прогулка эта задумана была только для твоей пользы, а вовсе не для твоего удовольствия. Учитель танцев придет к нам завтра, в половине пятого. Я прикажу привести тебя на урок, но после урока отправлю тотчас же обратно. Я нарушила бы долг, который налагает на меня моя любовь к детям, если бы поступила иначе».

Однако вопреки всем этим мрачным предсказаниям опальный Оноре, худо ли, хорошо ли, заканчивает курс обучения и 4 ноября 1816 года поступает в Школу права. Это 4 ноября 1816 года, по справедливости, следует назвать концом рабства и зарей свободы юного Бальзака. Он может теперь, как и все другие, заниматься без всякого принуждения, а в свободное время предаваться праздности — во всяком случае, использовать это время по собственному усмотрению. Но родители Бальзака думают иначе. Юноша не должен иметь свободы. У него не должно быть и часа досуга. Он обязан зарабатывать себе на жизнь. Довольно и того, что время от

времени он слушает курс в университете, а по ночам зубрит римское право. Днем он должен служить! Не теряя времени, делать карьеру! И, самое главное, не тратить ни единого лишнего су!

И вот студент Бальзак вынужден гнуть спину над конторкой у адвоката Гильоне де Мервиля — первого своего начальника, которого он ценит и уважает и которого с благодарностью увековечит под именем Дервиля, ибо адвокат Мервиль сумел распознать духовные качества своего писца и великодушно одарил дружбой этого столь юного подчиненного. Два года спустя Бальзака передают под эгиду нотариуса Пассе, с которым его семейство находится в дружеских отношениях. Таким образом, буржуазное будущее Бальзака представляется вполне обеспеченным. 4 января 1819 года молодой человек, ставший, наконец, «таким, как все», получает степень бакалавра. Вскоре он делается компаньоном славного нотариуса, а когда мэтр Пассе состарится и умрет, Оноре унаследует его контору, потом женится — разумеется, не на бесприданнице, войдет в богатую семью и сделает, наконец, честь своей недоверчивой матери, Бальзакам и Саламбье, а также прочим родственникам и свойственникам. И тогда биографию его, подобную биографии мсье Бувара или Пекюше, мог бы написать разве что Флобер, ибо жизнь его явилась бы образцом обычной благопристойно-буржуазной карьеры.

Но тут в груди Бальзака вдруг вздымается годами подавляемое и затапываемое пламя мятежа. В один прекрасный день весной 1819 года он оставляет конторку нотариуса и валяющиеся на ней пыльные акты. Он сыт по горло этим существованием, которое не подарило ему ни одного беззаботного и счастливого дня. Впервые он решительно действует наперекор воле родителей и объявляет напрямик, что не хочет быть ни адвокатом, ни нотариусом, ни судьей. Он вообще не намерен быть чиновником. Он решил сделаться писателем, и грядущие его шедевры принесут ему независимость, богатство и славу.

II. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ К СУДЬБЕ

Мои страдания состарили меня... Вы едва ли можете себе представить, какую жизнь я вел до двадцатидвухлетнего возраста.

Письмо к герцогине ДАбрантес, 1828

Неожиданное заявление двадцатилетнего юноши, что он хочет стать писателем, поэтом — человеком творческого труда, а отнюдь не нотариусом или адвокатом, как гром среди ясного неба поразило ничего не подозревавшую семью. Отказаться от обеспеченной карьеры? Бальзак, потомок distinguished Саламбье, займется столь сомнительным ремеслом, как сочинительство? Где гарантии, где уверенность в постоянном и надежном доходе? Литература, поэзия — такую роскошь может позволить себе, скажем, виконт Шатобриан, у которого где-то в Бретани имеется прелестный замок, или господин де Ламартин, или сын генерала Гюго, но ни в коем случае не скромный отпрыск буржуазного семейства. И потом — разве этот никчемный юнец проявил хотя бы малейший проблеск литературного дарования? Никогда! Во всех школах он восседал на черной скамье, по-латыни шел тридцать вторым, не говоря уже о математике, этой науке наук для всякого солидного коммерсанта! Помимо всего прочего, заявление сделано в самый неподходящий момент, ибо Бальзак-отец находится именно сейчас в чрезвычайно запутанных финансовых обстоятельствах. Вместе с кровавым виноградником войны реставрация выкорчевала и этих мелких кровососов, которым так чудно жилось в благословенную наполеоновскую пору. Для армейских поставщиков и интендантов наступили скверные времена. И для Бальзака-отца жирный оклад в восемь тысяч франков превратился в тощую пенсию. Кроме того, при ликвидации банкирского дома Думерга и на всяких прочих спекуляциях он понес немалые убытки.

Семью их еще смело можно назвать зажиточной, и, как

окажется впоследствии, у них, конечно, еще имеется несколько десятков тысяч в кубышке. Но высший закон для мелкой буржуазии, имеющий большую силу, чем все государственные законы, вместе взятые, гласит, что любое уменьшение дохода должно быть немедленно восполнено удвоенной бережливостью.

Семейство Бальзаков решило отказаться от парижской квартиры и переселиться в предместье, где жизнь дешевле, в Вильпаризи — местечко, расположенное примерно в двадцати километрах от столицы. Там легче сократить расходы.

И в это самое мгновение является молодой болван, от которого уже, казалось, навсегда избавились, и хочет не только стать писателем, но требует сверх того, чтобы семья финансировала его бездельничанье. «Ни за что!» — объявляет семейство и созывает на помощь родных и знакомых, которые, само собой понятно, высказываются против самонадеянного бреда юного бездельника.

Наиболее покладистым оказывается Бальзак-отец. Он не выносит семейных сцен и заканчивает спор благодушным «почему бы и нет?» Старый искатель приключений и делец, многократно менявший род занятий, он лишь на склоне лет оказался у тихой пристани уютно-буржуазного существования. У него не хватает пыла, чтобы горячиться по поводу экстравагантностей своего странного отпрыска. На стороне Бальзака-сына — разумеется, тайно — еще Лаура, его любимая сестра. Она питает романтическую склонность к поэзии, и мысль иметь прославленного брата льстит ее самолюбию. Однако то, о чем романтически настроенная дочь мечтает как о чести, мать, получившая мещанское воспитание, воспринимает как неслыханный позор. Что подумает родня, когда услышит чудовищную весть: сын мадам Бальзак, урожденной Саламбье, стал сочинителем книжек и газетным писакой?! Со всем отвращением буржуа к столь «несолидному» существованию бросается мать в борьбу. Ни за что и никогда! Мы не станем потакать глупостям, обрекающим на нищету этого юного лентяя, который уже в коллеже ни на что не

годился, тем более что мы чистоганом заплатили за его занятия в Школе права. Покончить раз и навсегда с этим дурацким проектом!

Но впервые наталкивается мать на противодействие, которого она никак не ожидала от добродушно-ленивого юноши, наталкивается на нестигаемую, на абсолютно несокрушимую волю Оноре де Бальзака; на силу, которая теперь, когда воля Наполеона сломлена, не знает себе равной в Европе. Все, чего хочет Бальзак, становится действительностью, и если он принял решение, значит, и невозможное станет возможным. Ни слезы, ни посулы, ни заклинания, ни истерики не в силах переубедить его: он решил стать не нотариусом, а великим писателем. Мир — свидетель, что он им стал!

После жестоких и затяжных сражений, сражений, продолжающихся с утра до ночи, стороны приходят к весьма деловому компромиссу. Под грандиозный эксперимент подводится солидная база. Пусть Оноре поступает как хочет — ему будет дана возможность стать великим, прославленным писателем. Как он этого добьется — это уж его дело. Семейство, со своей стороны, принимает участие в этом ненадежном деле, вкладывая в него определенный капитал. Во всяком случае, в течение двух лет оно готово субсидировать в высшей степени сомнительный талант Оноре, за который, к сожалению, никто не может поручиться. Если в течение этих двух лет Оноре не станет великим и знаменитым писателем, то он должен будет вернуться в нотариальную контору, иначе семейство снимает с себя всякую ответственность за его будущность. На листе бумаги между отцом и сыном заключается странный контракт, по которому, тщательно подсчитав размеры необходимого прожиточного минимума, родители обязуются вплоть до осени 1821 года выдавать своему сыну сто двадцать франков в месяц (четыре франка в день) — субсидию на конквистадорский поход в бессмертие. Как бы там ни было, это лучшая сделка из всех, которые, если даже учесть все его доходные поставки в армию и финансовые сделки, когда-либо заключал папаша Бальзак.

Своеравная мать впервые вынуждена покориться более могущественной воле. Можно себе представить, с каким отчаянием она это сделала, ибо по всему складу своей жизни она искренне убеждена, что сын ее своим упрямым сумасбродством портит себе жизнь. Самое главное — это скрыть ее позор от достопочтенных Саламбье. И разве же не позор, что Оноре бросил солидное занятие и пытается приобрести самостоятельность столь нелепым образом? Чтобы скрыть его отъезд в Париж, она сообщает родным, что Оноре по причине слабого здоровья уехал на юг к двоюродному брату. Может быть, этот дурацкий выбор профессии пройдет как мимолетный каприз, может быть, неудачный сын еще раскается в своей глупости, и тогда никто не узнает о злосчастной эскападе, которая повредит его доброму имени, помешает женьитьбе и окончательно распугает клиентуру.

На всякий случай она исподволь составляет свой собственный план. Раз уж нельзя ни лаской, ни мольбами отвлечь упрямого мальчишку от его скандального замысла, значит, она должна добиться этого хитростью и упорством. Нужно заморить его голодом. Пускай почувствует, как удобно ему жилось под отчим кровом и как тепло ему было в уютной нотариальной конторе. Когда у него подведет живот, он откажется от своего хвастовства и прожектерства. Пусть только отморозит пальцы в своей мансарде — живехонько бросит тогда свою дурацкую писанину. И мать заявляет, что должна позаботиться о его удобствах; она сопровождает его в столицу, чтобы снять для него комнату. В действительности же, чтобы сломить сопротивление сына, она совершенно умышленно выбирает для будущего писателя самую скверную, самую жалкую и неуютную каморку, какую только можно сыскать в пролетарских кварталах Парижа.

Этот дом под номером 9 на улице Ледигьер давно снесен, и это крайне огорчительно. Ибо в Париже, хотя в нем и находится гробница Наполеона, нет более великолепного па-

мятника, чем убогая каморка на чердаке, описание которой мы находим в «Шагреновой коже». Зловонная черная лестница ведет на пятый этаж к развалившейся входной двери, сколоченной из нетесаных досок. Распахнув ее, посетители входят в низкую и темную берлогу, ледяную — зимой, раскаленную, как солнце, — летом. Даже за ничтожную плату, за пять франков в месяц (три су в день), хозяйка не нашла никого, кто пожелал бы поселиться в этой норе. И как раз «дыру, достойную венецианских свинцовых камер» выбирает мать, чтобы вызвать у будущего писателя отвращение к его ремеслу.

«Не могло быть ничего более омерзительного, — пишет Бальзак много лет спустя, — чем эта мансарда, с желтыми грязными стенами, пропахшими нищетой... Крутой скат ко-кого потолка... сквозь расшатанную черепицу просвечивало небо... Комната стояла мне три су в день, за ночь я сжигал на три су масла, уборку делал сам, рубашки носил фланелевые, потому что не мог платить прачке два су в день. Комнату отапливал я каменным углем, стоимость которого, если разделить ее на число дней в году, никогда не превышала двух су... Все это в общей сложности составляло восемнадцать су, два су мне оставалось на непредвиденные расходы. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть раз прошелся по мосту Искусств или же купил у водовоза воды: я ходил за ней по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель. В течение первых десяти месяцев моего монашеского одиночества я пребывал так — в бедности и уединении; я был одновременно своим господином и слугой, я жил с неопи-сываемой страстью жизнью Диогена».

С расчетливой предусмотрительностью отказывается мать Бальзака от малейших попыток сделать эту тюремную камеру уютной, придать ей более жилой вид — чем скорее уютность заставит ее сына вернуться к добропорядочной профессии, тем лучше. Чтобы обставить мансарду, Бальзаку дают только самое необходимое. Это печальные отбросы семейной мебели — узкая жесткая кровать, «похожая на жалкие

козлы», скрипучий дубовый стол, обтянутый потрескавшейся кожей, и два колченогих стула. Вот и все — кровать для спанья, стол для работы и стулья, чтобы сидеть. Скромное желание Оноре взять напрокат маленькое фортепьяно семейство отвергает. И спустя несколько дней ему уже приходится кланчить у матери «белые бумажные чулки, серые вязаные чулки и полотенце».

Как только он, желая немного оживить унылые стены, раздобыл себе «гравюру» и квадратное зеркало в золоченой оправе, неумолимая мамаша Бальзак сурово замечает дочери Лауре, что-де она, Лаура, должна сделать братцу выговор за подобное «мотовство».

Но фантазия Бальзака в тысячу раз могущественней реальности. Взор его способен украсить самое неприглядное, возвысить самое уродливое. Он сумел найти утешение даже в своей унылой тюремной камере над морем серых парижских кровель.

«Помню, как весело, бывало, завтракал я хлебом с молоком, вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые и красные, шиферные и черепичные, поросшие желтым и зеленым мохом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося сквозь неплотно прикрытые ставни, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей, светившие вдоль улиц, бросали снизу свой желтоватый свет и слабо обозначали извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн. Иногда в этой мрачной пустыне появлялись и редкие фигуры: среди цветов какого-нибудь воздушного садика я различал угловатый, загнутый крючком профиль старухи, поливавшей настурции; иногда, стоя у чердачного окна, молодая девушка, не подозревая, что на нее смотрят, занималась своим туалетом, и я видел только прекрасный лоб и длинные волосы, приподнятые красивой белой рукой. Я любовался хилой растительностью в водосточных желобах, бледными травинка-

ми, которые скоро уносил ливень. Я изучал, как мох становился ярким после дождя или, высыхая на солнце, превращался в сухой бурый бархат с причудливыми отливами. Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами — все явления этой необычайной природы стали для меня привычны, они развлекали меня. Я любил свою тюрьму — ведь я находился в ней по доброй воле. Эта парижская пустынная степь, образуемая крышами, похожая на голую равнину, но таящая под собою населенные бездны, подходила к моей душе и гармонировала с моими мыслями» («Шагреновая кожа»).

И когда в хорошую погоду он покидает свою комнату, чтобы побродить по бульвару Бурдон в предместье Сент-Антуан и вобрать в легкие немножко свежего воздуха, то эта коротенькая прогулка (единственное удовольствие, которое может себе позволить Бальзак, потому что оно ничего не стоит!) становится для него событием, побуждающим его к новому труду.

«Одна-единственная страсть порою отвлекала меня от усидчивых занятий, но, впрочем, и она была вызвана жаждой познания. Я любил наблюдать жителей предместья, их нравы, характеры. Одетый так же плохо, как и рабочие, равнодушный к внешнему лоску, я не вызывал в них неприязни; я мог, затесавшись в какую-нибудь толпу людей, следить за тем, как они нанимаются на работу, как они спорят между собой, когда трудовой день окончен. Моя наблюдательность приобрела остроту инстинкта: не пренебрегая телесным обликом, она разгадывала душу — вернее сказать, она так схватывала внешность человека, что тотчас проникала и в его внутренний мир; она позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью отождествлять с ним себя самого, и, так же как дервиш из «Тысячи и одной ночи», я принимал образ и подобие тех, над кем произносил заклинание... Слушая этих людей, я приоб-

щался к их жизни; я ощущал их лохмотья на своей спине, я сам шагал в их рваных башмаках, их желания, их потребности — все передавалось моей душе, или, вернее, я проникал душою в их душу. То был сон наяву. Вместе с ними я негодовал на хозяев, которые их угнетали, на бессовестных заказчиков, которые не платили за работу и заставляли понапрасну обивать пороги. Отрешаться от своих привычек, в каком-то душевном опьянении преображаться в других людей, играть в эту игру по своей прихоти было моим единственным развлечением. Откуда у меня такой дар? Что это — ясновидение? Одно из тех свойств, злоупотребление которыми может привести к безумию? Я никогда не пытался определить источник этой способности; я обладаю ею и применяю ее — вот и все. Вам достаточно знать, что уже в эту пору я расчленил многоликую массу, именуемую народом, на составные части и проанализировал ее так тщательно, что мог оценить все ее хорошие и дурные свойства. Я уже знал, какие богатые возможности таит в себе это предместье, этот рассадник революций, выращивающий героев, изобретателей-самоучек, мошенников, злодеев, людей добродетельных и людей порочных — и все они принижены бедностью, подавлены нуждой, одурманены пьянством, отравлены крепкими напитками. Вы не можете представить себе, сколько неведомых приключений, сколько забытых драм в этом городе скорби! Сколько страшных и прекрасных событий! Воображение не способно угнаться за той жизненной правдой, которая здесь скрыта, доискаться ее никому не под силу; ведь нужно спуститься слишком низко, чтобы напасть на эти изумительные сцены, трагические или комические, на эти чудеснейшие творения случая» («Фачино Кане»).

Книги в комнате, люди на улице и всевидящее око Бальзака — этого довольно, чтобы воссоздать вселенную! С того мгновения, когда Бальзак начинает творить, для него и вокруг него нет ничего более реального, чем его творчество.

Первые дни столь дорого купленной свободы Бальзак тратит на то, чтобы сделать более удобным для работы унылое пристанище, в котором зреет его грядущее бессмертие. Не брезгая никакой работой, он собственноручно белит, оклеивает обоями обшарпанные стены. Он ставит на видном месте несколько томиков, которые прихватил из дому, приносит книги из библиотеки, раскладывает стопками писчую бумагу, на которой возникнет его будущий шедевр. Потом он очиняет самым педантичным образом перья, покупает свечу, подсвечником для которой служит пустая бутылка, запасается маслом для лампы — она должна стать ночным солнцем в беспредельной пустыне его трудов. Теперь все готово. Недостает только одной, правда довольно важной, мелочи, а именно: будущий писатель еще не имеет ни малейшего представления о том, что, собственно, станет он сочинять. Поразительное решение — забраться в берлогу и не покидать ее, прежде чем шедевр не будет завершен, Бальзак принял совершенно инстинктивно. Теперь, когда он должен приступить к делу, у него нет никакого определенного плана, или, вернее, он хватается за сотни неясных и расплывчатых прожектов. Ему двадцать один год, и у него нет ни малейшего представления о том, кем, собственно, он является и кем хочет стать — философом, поэтом, сочинителем романов, драматургом или ученым мужем. Он только ощущает в себе силу, не ведая, на что ее направить.

«Я убежден, что мне предстоит выразить некую идею, создать систему, заложить основы науки». Однако какой идее, какой системе, какому виду творчества намерен он предаться?

Его духовный полюс еще не открыт, магнитная стрелка воли тревожно подрагивает. Он лихорадочно перелистывает захваченные им рукописи. Это все фрагменты, ни одна не закончена, и ни одна не кажется ему достойным трамплином для прыжка в бессмертие. Вот несколько тетрадок: «Заметки о бессмертии души», «Заметки о философии и религии». Вот конспекты времен коллежа. Вот черновики собственных со-

чинений, в которых поражает лишь одна заметка: «После моей трагедии я возьмусь за это снова». То тут, то там рассеяны стихи, запев эпической поэмы «Людовик Святой», наброски трагедии «Сулла» и комедии «Два философа». Некоторое время Бальзак носился с планом романа «Коксигрю», замышлял роман в письмах «Стенио, или Философические заблуждения» и другой, в «античном роде», озаглавленный «Стелла». Мимоходом он набросал еще и либретто комической оперы «Корсар».

Все менее уверенным становится Бальзак. Разочарованно просматривает он свои наброски. Ему неясно, с чего же начать. С философской системы, с либретто оперы из жизни предместья, с романтического эпоса или попросту романа, который обессмертит имя Бальзака? Но, как бы там ни было, только писать, только довести до конца нечто, что прославит его и сделает независимым от семьи! Охваченный столь свойственным ему неистовством, он перерывает и перечитывает кучи книг, отчасти чтобы отыскать подходящий сюжет, отчасти чтобы перенять у других писателей технику ремесла.

«Я только и делал, что изучал чужие творения и шлифовал свой слог, пока мне не показалось, что я теряю рассудок», — пишет он сестре Лауре. Постепенно, однако, его начинает тревожить недостаток отпущенного ему времени. Два месяца он растратил на поиски и опыты, а предоставленная родителями субсидия немилосердно скудна. Итак, проект философского трактата отвергается — вероятнее всего потому, что он должен быть слишком обстоятелен и принесет слишком мало дохода. Сочинить роман? Но юный Бальзак чувствует, что для этого он еще недостаточно опытен. Остается драма — само собой разумеется, это должна быть историческая неоклассическая драма, которую ввели в моду Шиллер, Альфьери, Мари Жозеф Шенье, — пьеса для «Комеди Франсез», и юный Оноре то и дело достает и лихорадочно просматривает десятки книжек из «кабинета для чтения». Полцарства за сюжет!

Наконец выбор сделан. 6 сентября 1819 года он сообщает сестре:

«Я остановил свой выбор на «Кромвеле», он мне представляется самым прекрасным лицом новой истории. С тех пор как я облюбовал и обдумал этот сюжет, я отдался ему до потери рассудка. Тьма идей осаждает меня, но меня постоянно задерживает моя неспособность к стихосложению...

Трепещи, милая сестрица: мне нужно по крайней мере еще от семи до восьми месяцев, чтобы переложить пьесу в стихи, чтобы воплотить мои замыслы и затем чтобы отшлифовать их...

Если бы ты знала, как трудно создавать подобные произведения! Великий Расин два года шлифовал оФедруп, повергающую в отчаяние поэтов. Два года! Подумай только — два года!»

Но теперь мосты сожжены.

«Если у меня нет гениальности, я погиб».

Следовательно, он должен быть гениален. Впервые Бальзак поставил перед собой цель и швырнул в игру свою непреодолимую волю. А там, где действует эта воля, сопротивление бесполезно. Бальзак знает — он завершит «Кромвеля», потому что он хочет его завершить и потому что он должен его завершить.

«Я решил довести «Кромвеля» до конца во что бы то ни стало! Я должен что-то завершить, прежде чем явится мама и потребует у меня отчета в моем времяпрепровождении».

Бальзак бросается в работу с яростью одержимого, о которой он сказал однажды, что даже злейшие враги не могут ему в ней отказать. Впервые он дает тот обет монашеской и даже затворнической жизни, который в периоды самого напряженного труда станет для него незыблемым законом. Денно и ночью сидит он за письменным столом, часто по три-четыре дня не покидает мансарду и спускается на грешную землю только затем, чтобы купить себе хлеба, немного фруктов и неизбежного свежего кофе, так чудесно подстегиваю-

щего его утомленные нервы. Постепенно наступает зима, и пальцы его, с детских лет чувствительные к холоду, коченеют на продуваемом всеми ветрами нетопленном чердаке. Но фанатическая воля Бальзака не сдается. Он не отрывается от письменного стола, ноги его укутаны старым отцовским шерстяным пледом, грудь защищена фланелевой курткой. У сестры он клянчит «какую-нибудь ветхую шаль», чтобы укрыть плечи во время работы, у матери — шерстяной колпак, который она ему так и не связала; и, желая сберечь драгоценные дрова, он целый день остается в постели, продолжая сочинять свою божественную трагедию.

Все эти неудобства не в силах сломить его волю. Только страх перед расходом на дорогое светильное масло приводит его в трепет, когда он вынужден при раннем наступлении сумерек уже в три часа пополудни зажигать лампу. Иначе для него было бы безразлично — день сейчас или ночь. Круглые сутки он посвящает работе, и только работе.

В течение всего этого времени ни приятелей, ни ресторанов, ни кофеен, ни малейшей разрядки чудовищного напряжения. Двадцатилетний юноша, терзаемый ребяческой застенчивостью, не решается подойти к женщине. Во всех интернатах он жил только среди своих сверстников и чувствует себя поэтому неуклюжим и неловким. Он не умеет танцевать, не обучен хорошим манерам; из-за царящей дома бережливости он отвратительно одет. Вот почему Бальзак — некрасивый, неряшливый — именно в эти переломные годы производил невыгодное впечатление. Один из его тогдашних знакомых называет его удивительно уродливым.

«Бальзак отличался особенной и бросающейся в глаза уродливостью, хотя взгляд его и сверкал умом. Низкорослый, приземистый, черные волосы растрепаны, широконосый, рот до ушей, зубы гнилые».

И так как Бальзак вынужден трижды проверить и повернуть каждое су, прежде чем выпустить его из рук, у него нет ни малейшей возможности заводить знакомства.

Кафе, а тем паче рестораны, где проводят время юные

журналисты и писатели, ему недоступны. В лучшем случае он может остановиться перед их зеркальными витринами, чтобы посмотреть на свою голодную физиономию. Все эти месяцы из всех удовольствий, развлечений, роскошеств огромного города ни одно, даже самое мимолетное, недоступно добровольному отшельнику с улицы Ледигьер.

Лишь один человек время от времени навещает затворника — некий дядюшка Даблен. На правах старого друга семьи этот честный буржуа, оптовый торговец скобяным товаром, считает своим долгом проявлять заботу о бедном послушнике поэтического искусства. Так постепенно возникает трогательно-заботливая дружба пожилого дельца с покинутым юношей — дружба, которая продлится до конца дней Бальзака. Этот добрый человек, скромный торговец из предместья, трепетно благоговееет перед поэзией. «Комеди Франсез» — его храм, куда после прозаических занятий скобяной торговлей он берет иногда с собой юного сочинителя. И эти вечера, украшенные сперва обильной трапезой, а затем смакованием расиновских стихов, — единственная телесная и духовная пища, укрепляющая силы его благодарного юного друга.

Каждую неделю дядюшка Даблен мужественно одолевает пять крутых этажей, карабкаясь в мансарду, чтобы взглянуть на своего подопечного. Он берет у ленивого питомца Вандомского коллежа уроки латыни, дабы освежить свою память и пополнить пробелы собственного образования. Бальзак, который в своей семье видел одну лишь бешеную страсть к накоплению и грошовую мещанскую спесь (раскаленным пером увековечит он ее впоследствии в своих романах!), сумел распознать в душе дядюшки Даблена кроющееся в ней нравственное начало. Оно более сильно у незаметных представителей среднего сословия, чем у присяжных горлопанов и писак. И когда позже, в своем «Цезаре Бирото», Бальзак слагает Песнь песней в честь правдивых и скромных буржуа, он прибавляет одну строчку к вящей славе этого человека — первого, кто пришел ему на помощь. Ибо Даблен обладал

«глубоко затаенной способностью чувствовать, способностью, которая была чужда фраз и не ведала преувеличений»; ибо Даблен постиг все муки его юношеской неуверенности, уразумел их и смягчил. Бальзак придал черты своего покровителя образу добродушного, скромного и неприметного нотариуса Пильеро. В нем он увековечил достойного любви и уважения дядюшку Даблена, простого смертного, который вопреки узкому горизонту своей мещанской профессии чутким сердцем ощутил и распознал гений писателя. И это случилось за добрый десяток лет до того, как Париж, литераторы и весь мир соблаговостили открыть Бальзака.

Единственный человек, который заботится о Бальзаке, порой облегчает бремя его чудовищного одиночества. Но снять с души неопытного сочинителя роковую тяжесть внутренней неуверенности он не в силах. Бальзак пишет и пишет — горячечно, в порыве обуявшего его нетерпения, нетерпения, от которого дрожат руки и кровь стучит в висках. «Кромвель» должен быть во что бы то ни стало завершен в ближайшие недели. И вдруг приходят минуты жуткого отрезвления, знакомые каждому новичку, творящему без друзей и советчиков, — минуты, когда он начинает сомневаться в себе, в своем таланте, в своем только еще рождающемся творении.

«А хватит ли у меня таланта?» — неотступно вопрошает Бальзак. И заклинает в письме сестру не вводить его в заблуждение, не расточать из сострадания похвал.

«Заклинаю тебя твоей сестринской любовью, никогда не убеждай меня, что мое произведение хорошо! Указывай мне только на недостатки. Похвалы оставь при себе».

Этот пылкий молодой человек не желает создавать ничего посредственного, ничего заурядного. «К дьяволу посредственность! — восклицает он. — Стать Гретри, стать Расином!»

Конечно, в иные мгновения, когда взор его еще затуманен

огненным заревом творчества, его «Кромвель» кажется ему великолепным, и он горделиво возвещает:

«Моя трагедия станет молитвенником королей и народов. Я хочу выступить с шедевром или сломать себе шею».

Затем снова наступают минуты уныния:

«Все мои горести проистекают оттого, что я вижу, сколь ничтожен мой талант!»

Не напрасно ли все его прилежание? Ведь в искусстве одно прилежание немногого стоит...

«Все труды в мире не заменят и крупички таланта».

Чем ближе к завершению «Кромвель», тем мучительнее становится для одинокого поэта вопрос, чем окажется его трагедия — шедевром или пустышкой?

Но, увы, у Бальзаковского «Кромвеля» нет особых надежд оказаться шедевром. Не знающий своего истинного пути, не ведомый опытной рукой, неопытный избрал ложный путь. Не могло быть ничего, столь не соответствующего строптивому таланту двадцатилетнего юнца, еще не знающего света и условностей сцены, чем сочинение трагедии, а тем более трагедии в стихах.

Он был «не способен к стихосложению» — Бальзак это и сам сознавал. И не случайно стихи его — в нескольких дошедших до нас образцах — бесконечно ниже обычного уровня его творчества. Стих, в особенности александрийский, с его размеренным, скандированным тактом, требует от художника спокойствия, обдумывания, терпения — следовательно, именно тех качеств, которые совершенно чужды бурной натуре Бальзака. Он мыслит только молниеносно, пишет только в порыве, когда перо едва поспевает за словами, а слова за мыслями. Его фантазия, мчащаяся от ассоциации к ассоциации, не в силах задержаться, чтобы сосчитать слоги, придумать искусные рифмы, — окостеневшая форма неизбежно леденит его пылкие порывы, и произведение, которое страстный юноша создает с беспримерными усилиями, оказывается холодной, пустой, подражательной трагедией.

Но у Бальзака нет времени для самоанализа. Он хочет

скорее завершить свой труд, освободиться, прославиться, и он гонит вперед хромые, еле ковыляющие александрины. Только закончить, только получить ответ на вопрос, обращенный к судьбе: «Обладает ли он гениальностью?» Иначе он снова должен стать писцом в нотариальной конторе и рабом семьи.

В январе 1820 года, после четырех месяцев лихорадочной работы, «Кромвель» в общих чертах готов. Гостя весной у друзей в Лиль-Адане, Бальзак наводит на трагедию последний лоск. И в мае появляется под отчим кровом — с рукописью в саквояже и с намерением огласить ее. Теперь должен решиться великий вопрос: обрела ли Франция, обрел ли мир нового гения по имени Оноре Бальзак?

Семейство ожидает своего удивительного отпрыска и его труд с любопытством и нетерпением. Совершенно неприметно мнение несколько изменилось в его пользу. Финансовое положение семьи улучшилось, в доме воцарилось более благодушное настроение, прежде всего потому, что Лаура, любимая сестра Оноре, вышла замуж за инженера де Скурвилля, человека состоятельного да к тому же благородного происхождения, и, стало быть, сделала великолепную партию. Несомненно, на всех произвело впечатление и то неожиданное обстоятельство, что Оноре с такой решимостью вынес лечение голодом. Ведь он не задолжал ни единого су. Как бы там ни было, но это — доказательство характера и незаурядной силы воли.

Готовая рукопись в две тысячи стихов! Уже одно количество исписанной бумаги свидетельствует о том, что он несколько не лентяйничал, что не пустая блажь заставила кандидата в нотариусы пренебречь солидной карьерой. Возможно, что и дружественные отчеты дядюшки Даблена о монашески-бережливом образе жизни юного поэта заставили родителей усомниться в своей правоте. Уж не слишком ли круто обошлись они со своим первенцем, уж не отнесли ли они к

нему слишком недоверчиво? Может быть, в этом своеобразном и своенравном парне действительно есть что-то необыкновенное? Ведь если у него прорежется талант, то премьера в «Комеди Франсез» в конце концов вовсе не такое уж бесчестье для Саламбье и Бальзаков! Даже госпожа Бальзак начинает проявлять несколько запоздалый интерес к творению сына. Она предлагает свои услуги и желает собственноручно переписать испещренную помарками рукопись, дабы неразборчивый почерк не помешал юному автору во время публичной декламации.

Впервые — правда, это продлится недолго — к Оноре в родительском доме относятся с некоторым уважением.

Чтение, которое должно доказать, обладает ли Оноре де Бальзак «гением», происходит в мае месяце в Вильпаризи, и родные придают ему характер семейного торжества. А для того, чтобы сделать семейный ареопаг еще более значительным, они приглашают, кроме новоиспеченного зятя де Сюрвилля, и кое-кого из почтенных друзей дома — среди них доктора Наккара, который до конца жизни Бальзака останется его врачом, другом и поклонником.

Добрый дядюшка Даблен, естественно, не может не почтить своим присутствием эту необыкновенную премьеру. Битых два часа трясется он в «кукушке», старомодном дилижансе, чтобы успеть в Вильпаризи к началу спектакля.

И удивительная премьера начинается. Семейство Бальзак торжественно убрало гостиную к предстоящему чтению. В креслах восседают исполненные ожидания Бальзак-отец, многоопытный потомок крестьян, суровая мать, ипохондрическая бабушка Саламбье, сестра Лаура со своим молодым супругом, который, будучи инженером, больше знает толк в строительстве дорог и мостов, чем в крепко сколоченных или расхлябанных александрийских стихах.

Почетные места для гостей отводятся доктору Наккару — секретарю Королевского медицинского общества — и дядюшке Даблену. На заднем плане слушают, по-видимому не очень внимательно, младшие дети — Лоранс и Анри. А перед

этой не слишком компетентной аудиторией восседает за маленьким столиком, нервно листая рукопись своими белыми руками, на сей раз, в виде исключения, вымытый и принаряженный, вновь испеченный автор — тощий юнец двадцати одного года, с могучей, «гениально» отброшенной назад гривой и маленькими черными глазами, которые в этот миг погасили все свои огоньки и с некоторым беспокойством вопросительно поглядывают то на одного, то на другого. Заметно робея, Оноре начинает чтение: акт первый, сцена первая.

Но скоро его охватывает вдохновение. И уже гремит, и гудит, и свистит, и рокошет в гостиной водопад александрийских стихов — целых три часа подряд.

О том, как протекало и имело ли успех это замечательное и достопамятное чтение, мы не имеем сведений. Мы не знаем, не задремала ли престарелая бабушка Саламбье, не отравили ли младших сестрицу и брата баиньки еще до казни Карла Первого, — мы знаем только, что чтение повергло слушателей в некоторое смущение. Они не решались после этого несколько утомительного дебюта вынести свое авторитетное суждение и сказать, обладает или не обладает талантом Оноре.

Почтенный интендант в отставке, оптовый торговец скобяным товаром, инженер путей сообщения и врач-хирург не являются, конечно, идеальными критиками стихотворной драмы, и, разумеется, им было трудно решить, только ли их заставило скучать это театральное чудовище, или же оно скучно само по себе?

Ввиду этой всеобщей неуверенности инженер Сюрвилль предлагает передать творение «нового Софокла» — ибо таким несколько преждевременно видел себя в своих мечтаниях Оноре — на рассмотрение подлинно компетентной инстанции. Аристократический зять вспоминает, что преподаватель изящной словесности в политехническом институте, где он проходил курс наук, является автором нескольких стихотворных комедий, и иные из них даже ставились на сцене. Де Сюрвилль охотно предлагает свое посредничество для того,

чтобы этот мсье Андрие высказал свое суждение. Кто же может лучше решить, обладает ли юный сочинитель «гением» или нет, чем ординарный профессор истории литературы, который, кстати сказать, переведен теперь в Коллеж де Франс? Ничто так не импонирует добрым буржуа, как благозвучный официальный титул: человек, которому государство присвоило звание профессора, человек, который читает лекции в Коллеж де Франс, разумеется, непогрешим.

И вот, чтобы услышать авторитетное суждение, госпожа Бальзак с дочерью совершают паломничество в Париж и вручают трагедию юного Оноре польщенному профессору, который охотно дает себе напомнить, что он, собственно, является прославленным сочинителем (свет давно уже об этом позабыл!). После первого же чтения профессор объявляет произведение Бальзака совершенно безнадежным — приговор, который впоследствии подтвердило потомство. И нужно считать заслугой этого порядочного человека, что свой неумолимый приговор он не пожелал превратить в окончательное и бесповоротное отрицание поэтической одаренности Оноре де Бальзака.

Весьма учтиво пишет он его матери:

«Я никак не хочу отбить у вашего сына охоту писать, но полагаю, что он с большей пользой мог бы употребить свое время, нежели на писание трагедий и комедий. Если он делает мне честь и посетит меня, я сообщу ему, как, по моему мнению, следует изучать изящную литературу и какие преимущества можно извлечь из нее, не делаясь профессиональным поэтом». Именно такое «разумное» компромиссное предложение больше всего и хотелось услышать семейству Бальзак. Если Оноре и дальше собирается заниматься сочинительством, почему бы и нет? Сидеть за письменным столом, во всяком случае, лучше (и менее разорительно) для молодого человека, чем околачиваться в кофейнях или растрачивать время, здоровье и деньги в компании гулящих девиц. Но, само собой разумеется, он должен заниматься литературой, как посоветовал профессор Андрие, который, конечно же,

понимает толк в этом деле, не как «профессиональный поэт», а как любитель, для которого литература — приятное развлечение, заниматься ею наряду с буржуазной, солидной, доходной профессией. Однако Бальзак, который все еще, несмотря на провал своего «Кромвеля», чувствует себя «поэтом по призванию», сразу распознает опасность. Некий таинственный инстинкт говорит ему, что труд, к которому он призван, слишком безмерен, чтобы заниматься им между делом.

«Если я поступлю на должность, я пропал. Я стану приказчиком, машиной, цирковой лошадкой, которая делает свои тридцать-сорок кругов по манежу, пьет, жрет и спит в установленные часы; я стану самым заурядным человеком. И это называют жизнью — это вращение, подобное вращению жернова, это вечное возвращение вечно одинаковых предметов».

Еще не ведая, в чем она состоит, он чувствует, что рожден для особой миссии, которая потребует от него всех его сил и даже более того. И он отклоняет компромисс и настаивает на своей прихоти. Согласно контракту с отцом его двухлетний испытательный срок еще не миновал. У него еще больше года в запасе, и он хочет использовать оставшееся время. Непреклонный и неумолимый, как после каждого из бесчисленных разочарований, постигающих его в жизни, полный еще большей решимости, чем прежде, освободиться от подневольного труда и семейного гнета, возвращается он в свое добровольное заключение, в одиночку на улице Ледигьер.

III. ФАБРИКА РОМАНОВ «ОРАС ДЕ СЕНТ-ОБЕН И К°»

Несколько дней, а быть может, и недель, Бальзак не в силах примириться с провалом «Кромвеля». Он просит совета у бескорыстного друга Даблена — не стоит ли все-таки предложить свое детище «Комеди Франсез». И Даблен,

добряк Даблен, торговец скобяным товаром, не имеющий никаких связей в театральном мире, пристаёт к некоему закадычному приятелю актеру Лафона. Не пожелает ли Лафон ознакомиться с творением Бальзака? Молодому драматургу придется только встретиться с Лафоном и подольститься к нему. Что, если Лафон предложит «Кромвеляду» другим актерам-пайщикам? Но гордость Бальзака неожиданно взвивается на дыбы. Стоит ли снова идти с этой битой карты? Человек, полный сил, способен перенести и не такой удар! С «Кромвелем» все кончено. Лучше он, Бальзак, напишет что-нибудь похлестче. И, попросив Даблена не предпринимать никаких дальнейших шагов, Бальзак засовывает рукопись в дальний ящик. До самой смерти он не взглянет более на плод своих юношеских заблуждений.

Теперь скорее за работу! Впрочем, сокрушительный удар все же несколько охладил его тщеславие. Год назад, в порыве вдохновения сочиняя «Кромвеля», он еще предавался ребяческим мечтаниям. Двадцатилетний юноша хотел одним махом завоевать славу, честь и свободу. Теперь для поверженного драматурга творчество имеет прежде всего практический смысл. Только бы не оказаться в зависимости от родителей. Шедевры и бессмертие временно сняты с повестки дня. Прежде всего литературным трудом заработать деньги, деньги во что бы то ни стало. Только бы не кланяться отцу, матери и бабке за каждое су, словно за неслыханное благодеяние.

Впервые неисправимый мечтатель вынужден мыслить как суровый реалист. Бальзак решает написать нечто, способное принести быстрый успех. Но чем же все-таки можно добиться успеха в наши дни? Осмотревшись, неопытный автор решает: романом. Из Англии как раз нахлынула новая романтическая волна. Мода на прежний, сентиментальный роман — «Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо, «Вертер» Гёте — давно прошла. Наполеоновская эпоха, впрочем, как и любая военная эпоха, внесла достаточно и даже предостаточно тре-

волнений в повседневную жизнь. Обыватель не испытывал никакой потребности трепетать еще и в часы отдыха, следя за судьбами вымышленных персонажей. Наполеоновский «Монитор» вдохновлял поэтов. Но явились Бурбоны, наступил мир, а вместе с ним и спрос на приключения — потрясающие, возбуждающие, погружающие читателя то в бездны ужасов, то в море чувствительности. Публика жаждет романов, щекочущих нервы, ярких, авантюрных, экзотических. Недавно основанные библиотеки и «кабинеты для чтения» едва способны утолить этот массовый спрос.

Для сочинителей, которые без зазрения совести швыряют в свой дьявольский котел яд и слезы, непорочных дев и корсаров, кровь и ладан, подлюю низость и благородное мужество, ведьм и трубадуров, а затем вымешивают из всего этого крутое романтически-историческое тесто и выпекают пирог, который поливают еще леденящим душу соусом из призраков и кошмаров, — для таких сочинителей наступили блаженные времена. Взять хотя бы мисс Анну Радклифф, англичанку. Ее фабрика ужасов и привидений грохочет, как водяная мельница. Несколько ловких французов проникли в тайны производства этой предприимчивой дамы и, сбывая собственные «черные романы», тоже сумели сколотить приличный капитал. Но и на более высокой ступени искусства исторический, в особенности средневековый, костюм ныне в чрезвычайной моде: рыцари Вальтера Скотта с их старомодными кинжалами и сверкающими латами завоевали куда больше стран, куда больше людей, чем Бонапарт со всеми своими пушками. Меланхолические паши и корсары Байрона заставляют теперь людские сердца биться с такой же силой, как некогда воззвания под Риволи и Аустерлицем.

Бальзак решает подставить свой парус этому романтическому ветру эпохи и создать исторический роман. Впрочем, он отнюдь не единственный французский автор, которого манят триумфы Байрона и Вальтера Скотта. Вскоре Виктор Гюго, автор «Бюг-Жаргала», «Гана-Исландца», «Собора Па-

рижской богоматери», и Виньи, создатель «Сен-Мара», испытывают свое мастерство в той же сфере. Однако Гюго и Виньи приступят к сочинению прозы, уже изошрив свой слух и слог в искусстве версификации, уже научившись шлифовать слова и компоновать события. Бальзак, напротив, приступает к делу, как неуклюжий подражатель. Первый роман, вышедший из-под его пера, — «Фальтурно». Исторический фон заимствован из убогих повествований Анны Радклифф; действие происходит в Неаполе; кулисы и задник расписаны аляповато и размашисто.

Бальзак извлекает на свет божий все дежурные персонажи бульварного романа, в первую очередь неизбежную ведьму («ведьму из Соммари, колдунью-магнетизершу»), норманнов и кондотьеров, высокородных узников в цепях и чувствительных пажей. Он описывает битвы, осады, подземные темницы и неправдоподобные подвиги героической любви — юному автору трудно совладать с великим множеством фигур и событий. И еще один роман пишет Бальзак: «Стенио, или Философические заблуждения», роман в стиле Руссо, роман в письмах. Но в нем, между прочим, уже намечается заветная тема «Луи Ламбера», «теория воли», правда, еще в неясных и робких очертаниях. «Стенио» остался только фрагментом. Частью этой рукописи Бальзак воспользовался позднее, залатав ею прореху в сюжете другого романа. И снова он терпит поражение. Он уже научен горьким опытом. Трагедию поставить не удалось, а теперь еще и провал с романом! Год, даже полтора, потеряны зря, а дома бодрствует неумолимая парка, собираясь безжалостно перерезать тоненькую ниточку его свободы. 15 ноября 1820 года родители Бальзака объявляют, что с 1 января 1821 года они отказываются от квартиры на улице Ледигьер. Конец сочинительству! Вернуться к обывательскому прозябанию! К прилично-буржуазной жизни! Избрать солидное и благопристойное занятие! Перестать наконец транжирить родительские денежки! Самому зарабатывать на жизнь!

Самому зарабатывать, обрести свободу, независимость — именно за это и сражался Бальзак с яростью отчаяния, сражался не на жизнь, а на смерть. Именно ради этого он и гнул спину в годы своего добровольного отшельничества на улице Ледигьер. Он сэкономил на всем, на чем только мог, он голодал, не щадил себя, писал до полного изнеможения, влачил поистине жалкое существование. И все напрасно! Если никакое чудо не спасет его в последнюю минуту, он вынужден будет снова поступить на опостылевшую службу.

Именно в подобные мгновения трагической безысходности и отчаяния искуситель, как повелось в легендах, предстает перед отчаявшимся, дабы купить у него душу. Искуситель в данном конкретном случае совсем не похож на дьявола — он воплотился в образе обаятельного и вежливого молодого человека, на нем отлично скроенные панталоны и ослепительное белье, и, конечно, он пришел вовсе не по Бальзакову душу, он хочет купить только его сочинительскую сноровку. Где-то и когда-то — то ли у издателя, которому он предлагал свои романы, то ли в библиотеке, то ли в кухмистерской — Бальзак познакомился с ним, почти своим сверстником. Помимо приятной внешности, искуситель обладает еще и весьма благозвучной фамилией — его зовут Огюст ле Пуатвен де л'Эгревиль. Сын актера, он унаследовал от отца потрясающую расторопность. Нехватку литературного таланта Пуатвен возмещает тончайшим знанием капризов света. И ему, начисто лишенному дарования, удалось найти издателя для романа «Два Гектора, или Две бретонские семьи». Роман он уже почти накропал, а издатель заплатит за работу восемьсот франков чистоганом! В феврале его творение выйдет в двух томах под псевдонимом Ог. де Вьелергле у книгопродавца Юбера в Пале-Рояле.

Должно быть, Бальзак пожаловался новообретенному другу на невезение с собственными книгами, и Пуатвен растолковал ему, что истинная причина этого невезения в избытке писательской гордости. Стоит ли терзаться муками совести ради одного-единственного романа? — нашептывает

искуситель. Стоит ли всерьез относиться к своим трудам? Роман можно набросать и без особенных усилий. Нужно только выбрать или, на худой конец, похитить сюжет — скажем, какую-нибудь историческую штуковину, на которую издатели теперь особенно падки, — и быстрехонько насочинять несколько сот страниц! Кстати, лучше всего это делать вдвоем! У него, Пуатвена, как раз есть издатель. Ежели Бальзаку охота, они могли бы сочинить следующий роман вместе. А еще лучше: давай сработаем на пару дурацкую фабулу, а уж напишешь всю штуку ты сам. Ты способнее и проворней. Я же возьму на себя посредничество. Итак, замечано: будем работать компаньонами на равных началах!

Какое унижительное предложение! Стряпать бульварные романы точно установленного объема и к точно указанному сроку, да притом еще с абсолютно лишенным щепетильности, явно беззастенчивым партнером — это ли грезилось только вчера «новому Софоклу»?

Пренебречь собственным талантом, prostituировать его, и все это ради нескольких сотен франков! Разве не мечтал он лишь год назад обессмертить имя Бальзака, превзойти самого Расина, разве не собирался он поведать изумленному человечеству новейшую теорию всемогущества воли? Глубочайшие тайны души, совесть художника — вот что пытается выманить у него искуситель за свои проклятые деньги. Но у Бальзака нет выбора. Квартира его будет сдана. Если он вернется в отчий дом, ничего не заработав или не проявив хотя бы способности заработать, родители не предоставят ему свободу вторично. Лучше уж вертеть собственный жернов, чем надрываться на чужой мельнице. Итак, он решается.

В следующем романе «Шарль Пуантель, или Незаконно-рожденный кузен», в романе, который только что начал или, быть может, лишь задумал Пуатвен, Бальзак должен принять участие в качестве негласного соавтора (или, вернее, автора), в качестве таинственного анонима. А над дальнейшей продукцией только что созданной ими фабрики романов компаньоны поставят два псевдонима — некое подобие фаб-

ричной марки: «А. де Вьелергле» (анаграмма л'Эгревиль) и «Лорд Р'Оон» (анаграмма Оноре). Так завершается дьявольская сделка.

В знаменитой новелле Шамиссо предметом купли-продажи служит тень — тень бедняги Петера Шлемиля, тень, которую он ухитрился продать Князю Тьмы. Бальзак продает свое искусство, свое литературное честолюбие, свое имя. Чтобы стать свободным, он становится онегромп, невольником, тайно пишущим за других, он становится рабом, скрывающимся во мгле галеры. Годами его гений и самое имя его обречены оставаться незримыми.

Только ради кратковременного отдыха, только чтобы получить недолгую передышку, Бальзак, продавши душу дьяволу, отправляется к своим близким, в Вильпаризи. Квартиру на улице Ледигьер ему пришлось отдать. Теперь он переселяется в прежнюю комнату своей сестры Лауры, комнату, пустующую после ее замужества. Он твердо решил во что бы то ни стало и как можно скорее добиться возможности снять на собственные деньги другую квартиру. В душевной комнатухе, где сестра его еще недавно предавалась романтическим мечтаниям о грядущей славе и величии брата, он размещает свою необыкновенную фабрику романов, нагромождает листы исписанной бумаги и трудится дни и ночи напролет, поскольку недостатка в заказах не ощущается благодаря неутомимому посредничеству Огюста ле Пуатвена л'Эгревиля. Гири в этом часовом механизме превосходно отрегулированы, роли распределены: Бальзак пишет, а проныра Пуатвен сбывает с рук его романы.

Родители-буржуа с удовлетворением наблюдают за этим неожиданным превращением. С тех пор как они увидели первые контракты — восемьсот франков за труды дебютанта, а затем быстрый взлет до двух тысяч франков на компанию, — они находят занятие Оноре уж не столь абсурдным. Быть может, этот шалопай станет наконец на ноги и не будет

вечно сидеть у них на шее? Отца радует прежде всего то обстоятельство, что его первенец, по-видимому, отказался от мысли стать великим писателем и, комбинируя всяческие псевдонимы, не опозорит теперь доброго буржуазного имени Бальзаков. «Он перебесился, — констатирует благодушный старец, — есть еще время, и я надеюсь, что из него выйдет толк». Напротив, мамаша Бальзак, обладающая печальным даром омрачать чрезмерно навязчивой заботливостью жизнь своего первенца, считает разместившуюся в ее доме фабрику романов чисто семейным делом. Мать и сестра играют роли критикесс и помощниц. Госпожа Бальзак жалуется (и голос ее будет не единственным в жизни Бальзака!) на «стилистические погрешности», в первую очередь на то, что «Рабле его совсем совратил». Она докучает сочинителю требованиями «тщательно просмотреть свою рукопись», но чувствует, что Оноре, ставший уже взрослым, устал от вечной семейной опеки. Вскоре заботливая мать, которая никак не может отвыкнуть от непрошенных слезливых попечений о блудном сыне, замечает в письме: «Оноре настолько высокого мнения о себе и своих познаниях, что это может оскорбить кого угодно».

Но Оноре, этому стихийному человеку, уже слишком тесно, ему уже нечем дышать под отчим кровом. Его единственное желание — как можно скорей отвоевать себе комнату в Париже и обрести наконец независимость, которой он жаждет столько лет.

Вот для того, чтобы удовлетворить порыв к свободе, Бальзак и работает, как каторжник. Двадцать, тридцать, сорок страниц, целая глава в день — средняя его норма. Но чем больше он зарабатывает, тем больше хочется ему заработать. Он пишет так, словно бежит из острога, — задыхаясь, с раздувающимися легкими, только бы не возвращаться в постылую семейную неволю. Он трудится с таким дьявольским неистовством, что приводит в испуг даже строгую мать. «Оноре работает словно бешеный. Если он еще три месяца будет вести подобный образ жизни, он захворает». Но Бальзак уже не знает удержу, все свои силы он бросает в эту фабрику

романов. Каждый третий день — чернильница пуста, десяток перьев изломан. В процессе творчества работоспособность его переходит в ту не ведающую передышек ярость и одержимость, которые позднее повергнут в изумление всех его сотоварищей по ремеслу.

Уже в 1821 году (после того, как он, по-видимому, помогал Пуатвену в сочинении романа «Два Гектора») он пишет (тоже с Пуатвеном или, вернее, за него) роман «Шарль Пуантель», который выходит в свет под псевдонимом «Вьелергле», хотя и содержит большие фрагменты из бальзаковского «Стенио». Еще до нового года написан второй, а если прибавить сюда «Двух Гекторов», то уже и третий роман: «Бирагская наследница, история, извлеченная из рукописи дона Раго, бывшего настоятеля Бенедиктинского монастыря, обнаруженная его племянниками А. де Вьелергле и лордом Р'Ооном». Еще эта четырехтомная халтура не напечатана полностью, как в феврале 1822 года за ней по пятам следует новый, опять-таки четырехтомный роман «Жан Луи, или Найденная дочь», тоже вылившийся из-под пера достопочтенных племянников мифического настоятеля. Но лорду Р'Оону уже надоела компания, где головой и руками, мозгом и сердцем является только Бальзак. Он поспешно накропал еще один роман — «Татарин, или Возвращение из ссылки», который вышел под именем А. де Вьелергле (также в 1822 году) без указания на лорда Р'Оона. И контракт был, очевидно, расторгнут.

Отныне Бальзак, выступающий в качестве единоличного владельца фабрики романов лорда Р'Оона, твердо решил сделать ее первой фирмой Франции. Охваченный ликованием после полученных гонораров, он хвастает перед сестрой:

«Милая сестра, я тружусь, словно лошадь Генриха IV, когда она не была еще отлита из бронзы, и в этом году я надеюсь заработать двадцать тысяч франков, которые послужат основой моего состояния. Мне нужно написать «Арденнского vicария», «Ученого», «Одетту де Шандивер», «Семейство Р'Оон» и еще кучу пьес для театра. Скоро лорд Р'Оон

станет самым модным мужчиной, самым плодовитым, самым любезным писателем, и дамы будут лелеять его. Тогда плутишка Оноре начнет ездить в коляске, задирает голову, глядеть гордо и набивать себе карманы золотом, и при его появлении будет раздаваться льстивый шепот, с которым публика встречает своего кумира. «Это брат госпожи де Сюрвилль!»

Распознать в этом фабриканте макулатуры грядущего Бальзака можно только по одному признаку: по умопомрачительной скорости, с которой он пишет свои романы. Только в 1822 году, после шестнадцати или двадцати томов, которые он выпустил совместно с ле Пуатвеном или под его именем, следуют еще три четырехтомных романа, то есть еще двенадцать томов: «Клотильда Люзиньянская, или Красавец еврей», «Столетний старец, или Два Берингельда» и «Арденнский викарий». По-видимому, самому Бальзаку становится боязно за свою публику — как-то она выдержит такой ураганный огонь? — ибо в двух последних романах он меняет личину и подписывается не лорд Р'Оон, а Орас де Сент-Обен. Эта новая вывеска котируется уже значительно выше, чем марка прежней компании. С восьмисот франков гонорара, которыми должен был делиться со своим компаньоном лорд Р'Оон, Сент-Обен взвинтил цену до двух тысяч франков за каждый роман при тираже в полторы тысячи экземпляров. Пять романов, десять романов в год — детская игра для столь проворного и беззастенчивого фабриканта. Итак, первая мечта его юности почти исполнилась: еще несколько лет — и он разбогатеет и навсегда обретет независимость.

Даже гильдия записных бальзакоманов не в состоянии дать полный отчет обо всем, что сочинил и напечатал Бальзак в разных позабытых книжках и под всяческими псевдонимами в эти годы литературной поденщины. Романы, которые он опубликовал под именем лорда Р'Оона и Ораса де Сент-Обена, являются лишь незначительной частью его ма-

лозаметной и отнюдь не блестящей деятельности. Он, несомненно, приложил руку к неприглядному сочинению «Мишель и Кристина» своего прежнего компаньона Пуатвена и полностью или частично написал «Мулата», роман, выпущенный в свет под именем Авроры Клото. Ни один вид литературы, ни один заказ, ничье соседство не отталкивали его в период между двадцатью и тридцатью годами. Его безымянное перо можно было дешево купить для любых литературных поделок. Подобно «общественным писцам», которые во времена всеобщей неграмотности восседали на улицах парижских предместий и за несколько су изготовляли все, чего только хотелось прохожим — любовные послания служанок, жалобы, прошения, доносы, — величайший писатель века с циничной беззаботностью кропает книги, брошюры, памфлеты для сомнительных политиканов, темных издателей и проворных агентов.

Бальзак поставляет в любом количестве этот фабричный товар, на всякий вкус и по любой цене. Он кропает роялистский памфлет «О праве первородства», крадет и перерабатывает «Беспристрастную историю иезуитов». Он так же просто изготавливает мелодраму «Негр», как и «Малый словарь парижских вывесок». В 1824 году, учитывая конъюнктуру, «Анонимное общество» подогревает спрос не на романы, а на так называемые «Кодексы» и «Физиологии», введенные в моду сомнительным окололитературным маклером по имени Орас Рессон. Каждый месяц фабрика выбрасывает теперь разные «Кодексы» — смешное до колик, развлекательное мещанское чтиво: «Кодекс честных людей, или Искусство не оставаться в дураках», «Супружеский кодекс» (который впоследствии будет переработан в «Физиологию брака»), «Кодекс коммивояжера», который позднее пригодится его бессмертному Годиссару.

Как ныне доказано, все эти кодексы, среди них «Полный словарь учтивости», которые с большим барышом распространяет Орас Рессон (свыше двенадцати тысяч экземпляров многих из этих сочиненьиц было распродано молниеносно),

полностью или в большей своей части принадлежат перу Бальзака. А сколько он мимоходом настряпал еще брошюр, газетных статей, быть может, даже рекламных проспектов, это уже выяснить не удастся, поскольку ни он сам, ни его малопочтенные заказчики не проявили готовности усыновить ублюдков, зачатых в лоне бульварной литературы.

Неоспоримым остается только одно: ни единая строчка из десятков тысяч, которые нагромоздил Бальзак в годы своего позора, не имеет ни малейшего отношения к литературе или к искусству, и становится даже неловко, когда приходишь к выводу, что они должны быть приписаны ему.

Проституция — нельзя иначе назвать эту писанину, — и жалкая проституция к тому же, ибо в ней нет ни капли любви, разве только страсть к быстрому обогащению. Вначале это был, видимо, лишь порыв к свободе, но, угодив однажды в трясины и привыкнув к легким заработкам, Бальзак погружался в нее все глубже и все больше утрачивал достоинство. После крупной монеты — романов — он уже за меньшую мзду и во всех притонах лубочной литературы охотно шел навстречу желаниям своих потребителей. Даже когда благодаря «Шуанам» и «Шагреновой коже» Бальзак стал светилом французской литературы, он все еще, подобно замужней женщине, которая тайком крадется в дом свиданий, чтобы заработать «на булавки», он, уже знаменитый Оноре де Бальзак, порою отыскивает темные закоулки, чтобы за несколько сот франков снова сделаться литературным соночлежником какого-нибудь неблагоприятного писаки.

Ныне, когда покров анонимности, под которым он обтупывал эти сомнительные делишки, уже несколько прохудился, мы знаем: в те позорные годы Бальзак был повинен во всех литературных прегрешениях — он латал чужие романы лоскутьями собственного и, наоборот, беззастенчиво похищал для собственной стряпни чужую фабулу и ситуации. Он охотно брался за любую мелкую портняжную работу: утюжил чужие труды, перекраивал их, перелицовывал, красил, подновлял. Он хватался за все: философию, политику, не-

принужденную болтовню. Всегда к услугам любого заказчика, быстрый, ловкий, беззастенчивый мастеровой, готовый прибежать по первому свистку и с рабской покорностью перекантоваться на любой манер, какой нынче в ходу.

Страшно подумать, с какими подмастерьями, с какими компаньонами, с какой шелудивой породой бульварных издателей и оптовых торговцев лубочным товаром якшался он в те темные годы, он, величайший повествователь своего столетия. И все это он делал только оттого, что не умел постичь себя, что поразительно не понимал свое предназначение.

Как мог даже такой гений выкарабкаться целым и невредимым из литературного болота? Это остается одним из неповторимых чудес литературы, почти сказкой, вроде побасенки барона Мюнхаузена, который-де за собственную косу вытащил самого себя из трясины. Немножко грязи, конечно, пристало во время этого печального приключения к платью Бальзака, и долго еще его преследовал специфический, приторно-сладкий запахок литературных притонов, в которых он был завсегдатаем. *Semper aliquid haeret**. И не может остаться невинным художник, который столь глубоко погружается в литературные клоаки.

Не без вреда для себя годами впрягался его талант в недостойную упряжку. Беззастенчивость бульварного сочинительства, неправдоподобие и махровую сентиментальность Бальзаку так и не удалось окончательно изгнать из своих романов. Рыхлость, беглость, поспешность, к которым его рука привыкла за годы существования пресловутой фабрики, оказались роковыми для его стиля. Ибо литературная речь с неумолимой ревностью мстит любому художнику, даже исполину, который, пусть в силу обстоятельств, был равнодушен к ней и использовал ее только как потаскуху, вместо того чтобы страстно и терпеливо за нею ухаживать.

С отчаянием будет Бальзак, зрелый Бальзак, в котором

* Всегда что-нибудь да остается (*лат.*).

слишком поздно пробудилось чувство ответственности, по десять, по двадцать раз править свои рукописи, свои корректуры. Сорную траву уже не удастся выполоть, он дал ей слишком пышно, слишком буйно разрастись в те беспечные годы! И если стиль, если язык Бальзака до конца его жизни был безнадежно засорен, то только потому, что в решающую минуту своего становления писатель был слишком небрежен к собственному дару.

Вопреки всей своей буйной невменяемости юный Бальзак чувствовал, что такого рода распутством он наносит непоправимый ущерб своему истинному «я». Ни одну из этих ранних поделок он не подписал своим подлинным именем; и позже с пеной у рта, отважно, хотя и безуспешно, отрицал свое авторство. Единственной наперснице своей юности, сестре Лауре, чья вера подкрепляла его первые честолюбивые замыслы, не решается он показать одно из первых произведений компании — «Бирагскую наследницу», «ибо это истинное литературное безобразие».

Экземпляр «Жана Луи» он вручает ей лишь при условии «не одалживать его ни одной живой душе и, более того, не показывать никому, иначе экземпляр пойдет в Байе по рукам и повредит моей коммерции». Одно это словцо «коммерция» ясно показывает, с каким отсутствием иллюзий рассматривал в ту пору Бальзак свое сочинительство. Поставщик, связанный контрактом, он так или иначе должен был изготавливать великое множество печатных листов — чем скорей, тем лучше. Ему платили сдельно, и только гонорар имел для него значение. Бальзаку всегда не терпелось поскорее начать новую чепуху, и он был столь мало озабочен чисто творческими проблемами — проблемами композиции, стиля, единства, оригинальности своих романов, — что без зазрения совести предлагал сестре, поскольку она не обременена делами, ознакомиться с беглым наброском содержания «Арденнского викария» и написать второй том, а он пока кропает первый! Едва сделавшись фабрикантом, он ищет, нет ли поблизости дешевых рабочих рук, и, сам еще работая негром на других,

он уже старается присмотреть для себя такого же «черного», то есть незримого, сотрудника. Но в редкие минуты отрезвления, в краткие мгновения отдыха в нем все же пробуждается совесть — она еще не совсем погибла в его душе.

«Ах, моя милая Лаура, — стонет он, — я ежедневно благословляю счастливую судьбу, позволившую мне избрать независимую профессию, и уверен, что она еще даст мне возможность разбогатеть. Но теперь, мне кажется, я осознал свои силы, и мне страшно жаль пожертвовать лучшими моими замыслами ради подобной чепухи. Чувствую, что у меня есть мысли в голове, и если бы мне не надо было беспокоиться о материальном положении, я стал бы работать над серьезными вещами».

Подобно злосчастному Люсьену де Рюбампре, в судьбе которого он описал впоследствии свою собственную судьбу (хотя падение его и не завершилось столь трагическим финалом), Бальзак терзается жгучим стыдом и, словно леди Макбет, с ужасом взирает на свои запятнанные руки:

«Я предпринял попытку освободиться одним могучим рывком и стал писать романы, и что за романы! О Лаура, сколь жалким было крушение моих честолюбивых планов!»

Сочиняя, он презирает и то, что он творит, и маклеров, на потребу которым он трудится, и только бессознательное предчувствие, что нечеловеческим напряжением сил он в конце концов все же достигнет некоей великой цели — собственного своего величия, придает ему силы вытерпеть эту жалкую поденщину, это добровольное рабство. Иллюзия, как всегда, спасает реальнейшего из всех фантастов.

Время идет, и Оноре де Бальзаку исполнилось двадцать три года. Он только работал, он еще не жил, он еще не любил. Он не встретил еще никого, кто бы его уважал, кто бы ему помог, кто бы в него поверил. В детстве он был невольником школы, рабом семьи, свою юность он продал

с позором, только чтобы наскрести денег на выкуп из рабства. Да, он трудится, чтобы выкупить себя из принудительного труда, он становится поденщиком, чтобы освободиться от поденщины. И этот трагический парадокс превращается в постоянную форму и формулу его существования.

Вечно один и тот же мучительный круговорот. Писать, чтобы не нужно было писать. Загрывать деньги, больше денег, бесконечно много денег, чтобы не было необходимости думать о деньгах. Уйти от мира, чтобы с тем большей уверенностью завоевать его — весь целиком, со всеми его странами, его женщинами, его роскошью и с его венцом — бессмертной славой! Копить, чтобы в конце концов получить возможность расточать. Работать, работать, работать, денно и нощно, не зная отдыха, не ведая радости, чтобы наконец зажить настоящей жизнью, — вот что отныне становится неистовой, возбуждающей, напрягающей мышцы, дающей силы для сверхчеловеческого труда мечтой Бальзака. В этих писаниях еще нельзя угадать великого художника, но уже поражает чудовищная, вулканическая мощь его творчества, постоянно и непрерывно выбрасывающая огненную лаву — людей, образы, судьбы, пейзажи, мечтания и помыслы, и чувствуется, что пламя это, как у вулкана, вздымается не с поверхности, напротив, этот поток — разрядка, разгрузка таинственных недр.

Стихийная сила, стиснутая, скованная, задыхающаяся от переизбытка, жаждет освободиться. Мы ощущаем, как этот юный еще человек отважно единоборствует в сумрачных штольнях своего труда, стремится вырваться к свету, набрать в легкие воздух, головокружительно чистый, пьянящий воздух свободы. Мы чувствуем, как он стремится не только выдумывать жизнь, он хочет, чтобы живая жизнь сама пробила к нему. Он обрел силы для своего труда. Теперь он ждет еще только милости судьбы. Луч света — и все расцветет, все, что может сгнить и засохнуть в этой унылой темнице.

«Если бы кто-нибудь бросил волшебный луч света в мое

унылое существование. Ведь я еще не срывал цветов жизни... Я алчу, но никто не приходит утолить мои страстные желания. Как быть? У меня только две страсти: любовь и слава. И ни одна еще не удовлетворена!»

IV. ГОСПОЖА ДЕ БЕРНИ

Из этих двух страстей — к любви и к славе — Бальзак на двадцать третьем году жизни не удовлетворил еще ни одну. Напрасными оказались все его отважные мечты, тщетными — страстные попытки.

«Кромвель», которого он мысленно посвятил «владыкам мира сего», желтеет в ящике стола, забытый и погребенный среди ненужных бумаг. Никчемные романы, которые он наспех сочиняет, появляются и исчезают под чужим именем. Ни одна живая душа во Франции не знает Оноре Бальзака. Никто не выделяет этого имени среди имен пяти тысяч французских сочинителей. Никто не обращает внимания на его талант и менее всего — он сам. Не помогло и то, что он постарался скрыть свой истинный рост, согнулся в три погибели, чтобы черным ходом прошмыгнуть хоть в самые распоследние притоны бульварной словесности. Напрасно он пишет дни и ночи напролет, строчит и строчит с неутомимой злобой голодной крысы, которая, разъяренная соблазнительным запахом съестного, во что бы то ни стало жаждет проникнуть в кладовку. Чудовищные усилия не подвинули его ни на шаг.

Роковым для Бальзака в те годы был не недостаток силы (сила теснится в нем, уже накопленная и выношенная), а недостаток решимости. Бальзак обладает темпераментом завоевателя и волей пробиться во что бы то ни стало. Даже в редкие часы уныния он сознает свое безмерное превосходство над своими собратьями. Он бесконечно превосходит их умом, трудолюбием, познаниями, работоспособностью, но, быть может, вследствие долголетних родительских стараний вселить

в него робость и неуверенность, он не умеет расчистить путь для внутренней своей отваги:

«Я был, конечно, храбр, но только в душе, а не в поступках».

До тридцати лет он, как художник, не решался поставить перед собой задачу, достойную его таланта, и, взрослый мужчина, он сторонится женщин. Сколь ни странным это кажется, но Бальзак, бурный и несдержанный в зрелые годы, в юности был робок до болезненности.

Впрочем, робость вовсе не всегда является следствием слабости. Только человек, уже обретший равновесие, действительно уверен в себе. Но переизбыток нерастраченных сил, когда человек не знает, куда их девать, и устремляется то в одну сторону, то в другую, терзает его душу. Он колеблется, то переоценивая себя, то, напротив, боясь обнаружить перед другими эту свою еще не получившую признания силу.

Юный Бальзак долго колебался между переоценкой собственной личности и боязнью признаться себе в том, что он безмерно силен. Бальзак избегает женщин не из боязни влюбиться. Напротив, он страшится буйства своих страстей. Впрочем, сексуальность поздно проснулась в нем. Он сам рассказывает, что, погруженный в труды, долго не замечал наступившей мужской зрелости, что его ощущения были подобны молодым и робким побегам.

Но страстность вошла наконец в плоть и кровь этого приземистого, широкоплечего парня со вздутыми, как у негра, губами. Вошла с такой яростью, что наделила его могущественнейшей из всех чувственных способностей — неразборчивостью в любви. Бальзак — пламенный фантазер. Он не требует от женщины ни юности, ни прелести. Это маг воли, которому в те времена, когда он, голодая, с трудом переживал черствую корку, стоило только написать на столе меню, чтобы тотчас же ощутить вкус икры и паштетов. Он способен, если только ему захочется, увидеть Елену Прекрасную в любой женщине, даже в самой Гекубе. Ни возраст, уже

канонический, ни расплывшиеся, утратившие былую прелесть черты, ни тучность и некрасивость, которые могут вызвать даже у непривередливого волокиты жест Иосифа Прекрасного, — ничто не отвратит Бальзака. Он будет любить, если захочет любить. Он будет брать женщину, если только его к ней влечет. И точно так же, как он, не чинясь, ссужает свое перо любому, самому сомнительному сочинителю, точно так же готов он соединить свою судьбу с любой женщиной, которая вызовет его из семейного рабства: безразлично с какой — красивой, уродливой, глупой, сварливой.

Первые попытки найти подругу, точно так же как первые его книги, не имеют никакого успеха. «Присмотри для меня, — пишет сестре этот своеобразный двадцатидвухлетний идеалист, — какую-нибудь богатую вдовушку... и набей мне цену. Милейший молодой человек двадцати двух лет от роду, приятной наружности, с живыми глазами, полными огня! Воистину не супруг, а сплошное очарование, ниспосланное небесами!»

В те дни Оноре Бальзака можно задешево купить на брачной ярмарке, точно так же как и в книжных лавках Пале-Рояля, ибо он полагает свою цену равной нулю. Бальзак не может поверить в себя прежде, чем хотя бы один-единственный человек ободрит его. Пусть только издатель или критик предскажет ему успех, пусть женщина подарит ему улыбку, и всю его застенчивость как рукой снимет. Но поскольку слава не сделала его своим избранником, поскольку женщины не обращают на него внимания, он хочет получить по крайней мере третье земное благо — деньги, а с их помощью и свободу.

Само собой разумеется, что женщины не слишком благосклонны к безвестному юному студенту. «Очень уродливый молодой человек» — так начинается описание Бальзака его современник Виньи. Действительно, Бальзак не обращает в те годы ни малейшего внимания ни на свой талант, ни на свою наружность, и даже коллеги писатели с неприязнью

смотрят на его сальную гриву, гнилые зубы, на то, как он брызжет во время разговора слюной, на его лицо, поросшее щетиной, на башмаки с развязанными шнурками. Престарелый провинциальный портной из Тура, которому выпала задача перелицевать для Бальзака поношенное платье его отца, не в силах сузить сюртук до размеров, предписанных модой. Слишком уж широк бычий затылок молодого Оноре, слишком тяжелы его плечи.

Бальзак знает, что он коротконог и неуклюж от природы, что он будет смешон, если станет, подобно щеголям его времени, кокетливо расшаркиваться и танцевать. И это ощущение своей ущербности заставляет его вновь и вновь бежать от женщин в уединение к своему письменному столу. Зачем Оноре его «пламенные глаза», если они мгновенно прячутся под веками, едва только к оробевшему приближается хорошенькая женщина? Чего стоят ум, познания, безмерное внутреннее богатство, если он не решается заговорить, если, заикаясь, он выдавливает из себя лишь несколько неразборчивых междометий, тогда как другие, в тысячу раз более глупые, умеют лестью и любезностями снискать расположение? Молодой человек знает, что он может быть куда красноречивей, что в нем таятся неизмеримо более сильные способности очарования, что он обладает возможностью дарить гораздо больше любовного счастья, чем все эти красавчики с их модными лорнетками, щеголяющие в отлично скроенных и безупречно сшитых фраках, украшенных пышными галстуками.

Его терзает голод неутоленной любви, и он, кажется, готов променять все свои грядущие творения, разум и искусство, свою душу и свою волю на искусство совсем иного рода — на умение мягко и учтиво склониться к женщине и, глядя на нее пылающими глазами, ощутить содрогание ее плеч. Ему не было дано и проблеска таких успехов, а ведь случись этот успех, и могучая его фантазия вспыхнула бы ярким пламенем, озаряющим вселенную. Но взгляд его говорит женщинам столь же мало, как его имя издателям, и

Бальзак в «Шагренево́й коже» устами своего героя Рафаэля описал поражения, испытанные им в юности:

«Беспреданно наталкиваясь на преграды в своем стремлении излиться, душа моя наконец замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холоден и скрытен... Я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Вопреки внутреннему голосу, который, вероятно, поддерживает даровитых людей в их бореньях и который кричал мне: «Смелей! Вперед!», вопреки внезапному ощущению силы, которую я иногда испытывал в одиночестве, вопреки надежде, окрылявшей меня, когда я сравнивал сочинения новых писателей, восторженно встреченных публикой, с теми, что рисовались в моем воображении, — я, как ребенок, был не уверен в себе. Я был жертвою чрезмерного честолюбия, я полагал, что рожден для великих дел, — и прозябал в ничтожестве... Вращаясь среди сверстников, я натолкнулся на кружок фанфаронов, которые ходили, задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживаясь к тем дамам, что казались мне особенно недоступными, всем говорили дерзости, покусывая набалдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они пресыщены наслаждениями и уже отказываются от них, смотрели на женщин, самых добродетельных и стыдливых, как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, при мало-мальски смелом натиске, в ответ на первый бесстыдный взгляд! Говорю тебе по чистой совести и положа руку на сердце, что завоевать власть или крупное литературное имя представлялось мне победой менее трудной, чем иметь успех у женщины из высшего света, молодой, умной и изящной... Многих я обожал издали, ради них я пошел бы на любое испытание, отдал бы свою душу на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий, а они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары... Разуме-

ется, я был слишком наивен для того искусственного общества, где люди живут напоказ, выражают свои мысли условными фразами или же словами, продиктованными модой. К тому же я совсем не способен был к ничего не говорящему красноречию и красноречивому молчанию. Словом, хотя во мне кипели страсти, хотя я и обладал именно такой душой, встретить которую обычно мечтают женщины, хотя и находился в экзальтации, которой они так жаждут, и полон той энергии, которой хвалятся глупцы, — все женщины были со мной предательски жестоки... О, чувствовать, что ты рожден для любви, что можешь составить счастье женщины, и никого не найти, даже смелой и благородной Марселины, даже какой-нибудь старой маркизы! Нести в котомке сокровища и не встретить ребенка, любопытной девушки, которая полюбовалась бы ими! В отчаянии я не раз хотел покончить с собой».

Но Бальзаку отказано и в более легких приключениях, в которых молодые люди обычно находят замену любви, о какой они грезят. В маленьком Вильпаризи за ним следят родные, в Париже чахлый ежемесячный доход не позволяет ему пригласить поужинать даже нищую гризетку. Однако чем выше запруда, тем сильнее обрушивается волна, жаждущая смести ее. Некоторое время Бальзак пытается, по-монашески постясь и предаваясь неистовому труду, подавить в себе потребность в женщинах и ласках. В своих романах он упивается суррогатом действительности, наслаждаясь своими, по правде сказать, весьма безвкусными героинями. Но эта фантазия — порочный круг — только питает в нем воспламеняющуюся стихию. На двадцать втором году жизни Бальзака терзает возрастающее вожделение. Безмерная сила любви жаждет воплотиться в чувство. Времена смутных, чадных и мучительных мечтаний уже миновали. Он уже не в силах больше выносить одиночество. Он хочет наконец жить, любить и быть любимым. А там, где Бальзак ставит на карту свою волю, там он из пылинки творит бесконечность.

Подавляемые страсти, как и все стихии, как воздух, вода, огонь, под воздействием внешнего натиска прорываются в самом неожиданном месте. Встреча, имеющая решающее значение в жизни Бальзака, происходит в маленьком городке, чуть ли не под сенью отчего дома, на глазах у обычно столь бдительных родных. Случай пожелал, чтобы квартира некоего семейства Берни была расположена совсем рядом с квартирой семейства Бальзаков в Париже, и так же, как у Бальзаков, у них есть загородный дом в Вильпаризи. Это обстоятельство вскоре приводит к более близкому знакомству, которое весьма льстит мешчанке Бальзак. Мсье Габриэль де Берни — сын губернатора и сам советник имперского суда, отпрыск древнего дворянского рода. Происхождение его супруги, значительно более молодой, чем он, не столь аристократично, зато куда более примечательно. Ее отец, Филипп Иозеф Гиннер, потомок старинного семейства немецких музыкантов из Вецлара, имел счастье снискать особое покровительство Марии-Антуанетты, которая выдала за него свою преданную камеристку Маргариту де Лаборд. После безвременной смерти Гиннера — он умер на тридцатом году жизни — связь его семьи с королевским домом становится еще теснее, ибо вдова выходит замуж вторично, за шевалье де Жарже, отважнейшего роялиста, который в наступившие грозные времена проявил себя вернейшим из верных и, с опасностью для жизни возвратившись из Кобленца, предпринял невозможное — попытался освободить королеву-узницу из Консьержери*.

Семеро ребятишек — прехорошенькие девочки и премильные мальчуганы — резвятся в просторном сельском доме господина де Берни. Там смеются, шутят, играют и ведут умные разговоры. Господин Бальзак пытается развлечь несколько ворчливого и саркастического господина, который с каждым днем видит все хуже и хуже. Мадам Бальзак завязывает дружбу с его супругой — почти своей сверстницей и

* Консьержери — тюрьма в Париже. — *Примеч. ред.*

настроенной тоже несколько романтически. Лаура Бальзак становится подругой игр юных девиц. И все так великолепно складывается, что и для Оноре находят здесь отличное применение. Родители не слишком серьезно относятся к его литературным занятиям. Юному бездельнику надо хоть чем-нибудь отплатить за стол и кров, и его заставляют в часы, когда он не трудится над своим романом, заниматься с младшим братом Анри. Александр де Берни почти одноклассник Анри Бальзака, и нет ничего естественней, чем репетировать их обоим. И вот двадцатидвухлетний Оноре, который рад любому предлогу, только бы ускользнуть из-под родительского крова, спешит в уютный веселый дом семейства Берни.

Вскоре Бальзаки начинают кое-что подмечать. Во-первых, Оноре, даже когда он не дает уроков, отправляется к Берни и проводит там дни и вечера. Во-вторых, он начал тщательнее одеваться, стал дружелюбней, доступней и гораздо приветливей. Мать без труда разрешает нехитрую загадку. Ее Оноре влюблен, и совершенно ясно, в кого. У мадам де Берни, кроме замужней дочери, есть прелестная дочурка Эммануэль, лишь на несколько лет моложе Оноре. «Она была изумительной красоты, настоящий индийский цветок!» — пишет Бальзак двадцать лет спустя. Семейство, довольное, ухмыляется. Это, право, не так уж скверно и, во всяком случае, самое разумное из всего, что до сих пор предпринимал этот удивительный парень, ибо семейство де Берни занимает гораздо более высокое положение в свете и к тому ж весьма состоятельно (обстоятельство, которое матушка Бальзак никоим образом не упускает из виду). Женившись на девушке из столь влиятельной семьи, Оноре немедленно займет видное положение в свете, и, стало быть, ему откроется куда более почтенное занятие, чем оптовое производство романов для мелких издателей.

Перемигиваясь украдкой, родные покровительствуют этой радующей их близости, и, вероятно, мамаша Бальзак втихо-

молку мечтает о кругленькой сумме приданого, вписанного в брачный контракт. Да, она уже видит брачный контракт Оноре Бальзака и Эммануэль де Берни, скрепленный подписями всех родственников с обеих сторон. Но несчастье матери Бальзака в том и заключалось, что, хотя она на свой ограниченно-мещанский лад всегда честно заботилась о процветании сына, она и понятия не имела о том, что творится у него в душе. И на этот раз она попала пальцем в небо. Дело вовсе не в прелестной юной девушке, а в матери, вернее говоря, — ведь старшая дочь уже замужем — в бабушке, в Лауре де Берни. Она-то и очаровала Бальзака. Об этой невозможнейшей из всех возможностей, о том, что женщина сорока пяти лет, родившая девять человек детей, способна возбудить любовь и страсть, об этом нормальный человек вряд ли мог подумать.

У нас нет достоверных портретов мадам де Берни, и мы не знаем, была ли она хороша собой в юности, но несомненно, что в сорок пять лет для нормального мужчины она находилась уже за гранью эротических воцелений. Правда, меланхолическая нежность ее лица, может быть, и не утратила своей притягательности, но тело ее давно уже расползлось и женственность растворилась в материнстве. Но именно материнское начало, которое Бальзак все свое детство так тщетно искал в матери, и было тем, чего он жаждал и что обрел в Лауре де Берни.

Таинственный инстинкт, подобно ангелу-хранителю всегда сопровождающий гения на жизненном пути, подсказал Бальзаку, что сила, живущая в нем, нуждается в руководстве, в управлении, в разумной и любящей душе, которая сумеет успокоить его воцеление, смягчить и сгладить все грубое, не оскорбляя его чувств. Он нуждается в женщине, которая вселит в него мужество и укажет ему на его ошибки, но она не станет злорадно критиковать, а участливо проникнет в душу. Он нуждается в женщине, которая будет думать его мыслями и не станет высмеивать его безудержные фантазии, не сочтет их чепухой.

Бурная потребность в откровенности, непреодолимая жажда высказаться, казавшаяся чудовищным самомнением родной его матери, находят наконец выход. Бальзак может доверчиво раскрыть перед чужой женщиной свою душу. И эта женщина, почти сверстница его матери, внимательно слушает его, глядит на него светлым, умным и участливым взором, когда он излагает ей свои пламенные проекты, когда он грезит перед ней наяву. Она нежно исправляет его промахи, его неуклюжесть и бестактность, но не в строго-повелительной манере его матери, а тихо и заботливо, наставляя и воспитывая его. Она готова всегда прийти ему на помощь, и этого достаточно, чтобы поднять в нем уже поникшую веру в себя и в свои силы. В «Мадам Фирмиани» Бальзак поведал нам, каким счастьем была для него эта встреча родственных душ:

«Имели ли вы счастье встретить женщину, чей гармонический голос придает словам удивительное очарование, распространяющееся и на все ее поведение? Женщину, которая умеет и говорить и молчать, которая с нежностью обращается к вам, которая всегда удачно выбирает слова и изъясняется возвышенным языком? Ее поддразнивания кажутся любовными ласками, ее критика не ранит. Она не спорит по пустякам, напротив, она удовлетворяется тем, чтобы руководить разговором, в должный миг прерывать его. Она обходится с вами любезно и улыбается вам, но в ее вежливости нет ничего принужденного. Она трудится, хлопочет, но не становится навязчивой, уважение, которым вы ей обязаны, кажется легкой тенью; она не наскучит вам, она оставит вас довольным и ею и вами самими. И эту благосклонную прелесть мы находим воплощенной во всех предметах, которыми она себя окружает. В ее доме все улыбается нам; воздух, которым мы дышим, кажется воздухом отчизны. Эта женщина естественна. Она ничего не делает через силу, она не выставляет себя напоказ, она просто выражает свои чувства, потому что она искренне чувствует... Она нежна и весела одновременно, она утешает особенно мило. Мы будем любить ее столь задушевно, что даже если этот ангел когда-нибудь и

совершит ошибку, то и тогда мы будем готовы признать его правоту».

И потом — в какую новую, совершенно новую атмосферу вступает он в этом кругу! Общество госпожи де Берни чрезвычайно полезно для молодого человека, который, как никто другой, понимает связь людей с их эпохой, который умеет ощущать и переживать историю, словно живую современность! У купели этой женщины стояли герцог де Фронсак и принцесса де Шимэ, представляя столь высокопоставленных крестных, как король и королева Франции. В честь Людовика XVI ее называли Луизой, в честь Марии-Антуанетты — Антуанеттой. В доме ее отчима, шевалье де Жарже, она слушала рассказы этого вернейшего из верных о том, как с опасностью для жизни он пробрался к Консьержери и из рук королевы получил письмо к ее фавориту Ферзену. Быть может, она показывала Бальзаку и благодарственное письмо королевы — это последнее потрясающее письмо, которое семья Берни вместе с омоченным в крови платком, поднятым с эшафота, хранила как величайшую реликвию: «Мы питали прекрасную мечту, и только. Но для нас было великой радостью в этих обстоятельствах получить новое доказательство вашего самопожертвования».

Что за воспоминания! Они тысячами деталей оживляют фантазию, возбуждают мысль, пробуждают волю к творчеству, к созданию образов! Можно вообразить себе Бальзака, этого заброшенного подростка, чья трудная и горестная юность прошла в монастырских карцерах и в жалкой мансарде на улице Ледигьер. Можно представить себе юношу, который дома слышит только бесконечные причитания по поводу квартирной платы, пошлые разговоры о выгодном помещении капитала, о процентах и пожизненной ренте и о том, что он должен наконец зарабатывать себе на жизнь, сделаться добрым буржуа, скромным мелким чиновником. Юный Бальзак весь обращается в слух, когда кроткий женский голос пересказывает эти славные легенды, эти повествования о гибели монархии и о суровости революции, и если он, как

всегда нетерпеливо любопытствуя, забегает вперед, он не каталкивается на резкие, пренебрежительные слова, нет, его встречает матерински-теплое участие. Во время таких бесед Бальзак чувствует, как окрыляется его фантазия, как ширится его сердце. Благодаря этой кротчайшей наставнице жизнь впервые открылась перед нетерпеливым поэтом.

Так случилось и с госпожой де Варенс, когда она взяла к себе в дом юного Жан-Жака Руссо. Она тоже хотела только немного отесать его, неуклюжего, неперебесившегося, порывистого молодого человека, только немного направить и воспитать. Она намеревалась лишь поделиться своим опытом с неопытным. Однако между наставницей и учеником легко возникает чувство, неприметно переходящее в другое. Нежное руководство незаметно превращается в нежность, почтительность — в любовь, а стремление к дружеским встречам — в потребность к встречам интимным. Как ту, другую женщину, госпожу де Берни тоже вводит в заблуждение боязливость пылкого юноши. Она видит в ней уважение к своему возрасту, к своему более высокому общественному положению. Но ее ласковые уговоры заставляют его наконец поверить в себя, а она все еще не догадывается, какую дьявольскую силу высвобождает, какую вспышку годами подавляемого пламени может вызвать теперь ее мимолетный взгляд. Ей невдомек, что для такого фантазера, как Бальзак, лета ее — матери, бабки — не имеют никакого значения, что его безмерный восторг может зажечь новое очарование и в ней.

Воля Бальзака, воля любить — эта единственная в своем роде воля — способна творить чудеса.

«Когда я увидел вас впервые, все мои чувства пробудились и фантазия моя запылала. Я мечтал увидеть в вас существо совершенное... Я не могу сказать, какое именно существо. И, наконец, охваченный одним-единственным представлением, я отвлекся от всего на свете, в вас одних я увидел это полное совершенство».

Поклонение переходит в желание, и теперь, когда Бальзак отважился желать, он не потерпит сопротивления. Страх охватывает мадам де Берни. Столь кроткая, столь матерински мягкая женщина в юности отнюдь не была святой. Едва выйдя замуж — более двадцати двух лет назад, — она пережила свой первый пылкий роман с черноволосым юным корсиканцем, и роман этот вряд ли был последним. Злые языки в Вильпаризи болтают даже, что двое младших детей только значатся отпрысками ее дряхлого, полуслепého супруга.

Итак, сама по себе страсть молодого человека не натолкнулась бы на чрезмерную пуританскую строгость. Но госпожа де Берни сознает, сколь нелепо в сорок пять лет, на глазах взрослых детей вступить в связь с молодым человеком, моложе ее собственной дочери. К чему снова погружаться в сладостный омут? Ведь такая любовь не может длиться вечно. И вот в не дошедшем до нас письме она пытается ввести необузданное чувство Бальзака в рамки возвышенной дружбы. Вместо того чтобы скрывать свой возраст, она нарочно говорит о нем. Но Бальзак возражает, и в выражениях самых бурных. Нет, он не столь малодушен, как его будущий трагический герой Атанас Грансон в «Старой деве», убоявшийся проклятия смешного, которым мир заклеивает любовь двадцатитрехлетнего юноши к сорокалетней женщине. Бальзак решил преодолеть сопротивление своей подруги, и почти гневно он укоряет ее:

«Великий боже, если бы я был женщиной, если бы мне было сорок пять лет и я все еще возбуждал бы любовь — ах, я вел бы себя иначе, чем вы! Что за проблема: быть женщиной в преддверии осени и колебаться, сорвать ли яблоко, которое ввело в грех Адама и Еву».

Именно потому, что она любит пылкого юношу, госпожа де Берни нелегко уступает неистовому своему любовнику. Она упорно обороняется много недель и месяцев. Но Бальзак в этой первой любви поставил на карту все свое честолюбие и волю. Он должен уверовать в себя, а для этого он должен добиться первой и решающей победы. Да разве сумеет сла-

бая, разочарованная, несчастная в замужестве и уже пылающая ответной страстью женщина противостоять воле, достаточно могущественной, чтобы поработить мир? В душную августовскую ночь свершается неизбежное. Во мгле тихо поднимается щеколда на калитке загородного дома. Нежная рука женщины, которая и боится и ждет, вводит его в сад, и начинается та «ночь неожиданностей и ласк, которой счастливый ребенок-мужчина может насладиться лишь однажды в жизни, ночь, которая никогда уже не повторится».

В маленьком городе все тайное быстро делается явным, и вскоре частые визиты юного Оноре к госпоже де Берни становятся предметом оживленных толков и злорадных сплетен. Дело доходит до ссор и сцен в семействе Берни, ибо трем юным дочерям (старшая из них уже замужем) мучительно видеть, как мать обманывает почти слепого отца, и они делают все, чтобы незваному любовнику пребывание в их доме стало невыносимым. Но еще больней уязвлена мадам Бальзак, которая наконец начинает догадываться об истинном положении вещей. В годы формирования характера своего сына она почти не заботилась о нем. Она подавляла в нем малейшее проявление непосредственности, нежности, доверчивости, старалась любой ценой удержать его на почтительном расстоянии, требуя от него только подчинения. Теперь, когда она узнает, что он обрел в мадам де Берни помощницу, друга, советчицу — все, чем должна быть она, мать, — да к тому же еще и возлюбленную, в этой привыкшей повелевать женщине пробуждается дикая ревность. Чтобы отвратить его от особы, которая нежностью и мягкостью приобрела большее влияние на ее сына, чем она при всей своей повелительности и твердости, мать принуждает его весной 1822 года покинуть Вильпаризи и отправиться в Байе, к сестре, госпоже Сюрвилль. Собственной персоной она провожает его до почтовой кареты, боясь, как бы он не сбежал в последнюю минуту.

Еще недавно она считала его фабрику романов только средством добывать деньги. Теперь мать пытается взять на

себя роль литературного наставника. Она требует, чтобы Оноре показывал ей первой все рукописи своих творений и внимательно прислушивался к ее критическим замечаниям. Слишком поздно! Бальзак уже научился видеть различие между нежной благосклонностью госпожи де Берни и повелительной резкостью матери. Он относится столь же холодно к запоздалым домогательствам госпожи Бальзак и показному ее интересу к его литературным делам, как и к ее нервозности. Страх исчез, а вместе с ним исчезло и уважение. В первый раз он, доселе такой покладистый, дает решительный отпор.

«Я обязала Оноре, — пишет мать в сердцах своей дочери, — тщательно просмотреть рукопись. Я внушила ему, что он должен показать ее лицу, более его искушенному в сочинительстве... Но Оноре дал понять, что слова мои для него ничего не значат. Он даже не выслушал меня. Он столь самоуверен, что не желает показать свою рукопись кому бы то ни было».

Почувствовав, что он ускользает из ее рук, она пытается удержать его силой. Но могущество ее сломлено. Первый успех у женщины сделал Бальзака мужчиной. Его чувство собственного достоинства подавлялось годами, но теперь наконец оно, непокорное, распрямляется, и мучительница его детства в отчаянии узнает, что власть террора, которым она на протяжении двух десятилетий подчиняла его себе, сломлена навсегда. Жалуясь дочери на Оноре, она, сама того не сознавая, раскрывает собственное бессилие. Но все ее укоры оказываются запоздалыми. Бальзак освободился от семейного ига, он перенес свое отрочество как недуг, и отныне чувствует, что он, исцеленный, наслаждается ощущением собственной силы. Уже не родительский дом, а дом мадам де Берни становится для него родным. Никакие заклинания, никакие упреки, никакие истерики под отчим кровом, никакие досужие сплетни и рассказы жителей городка не могут сломить его волю свободно и страстно принадлежать женщине, любящей его.

«Оноре, — вынуждена разъяренная госпожа Бальзак при-

зняться дочери, — не желает понять, как нескромно вот так, дважды в день, ходить к ней в дом. Он не видит того, что происходит у него на глазах. Я хотела бы быть на расстоянии ста миль от Вильпаризи! У него в голове только эта история, и он не понимает, что в один прекрасный день ему наскучит все это неистовство, и он ощутит одну только скуку и разочарование».

Последняя надежда матушки Бальзак, что сыну скоро надоеет эта «пагубная страсть», что он быстро откажется от этой нелепой любви к сорокапятилетней, нет, даже уже к сорокашестилетней женщине. Но вновь и вновь приходится ей убеждаться, как мало она знала своего первенца, как недооценила несгибаемую и несокрушимую силу воли в этом внешне благодушном и легкомысленном молодом человеке. Страсть нисколько не развращает его. Она лишь помогает неуверенному в себе юноше обрести себя. И подобно тому как страсть пробуждает в тоскующем мужчине-ребенке взрослого мужчину, так же медленно и осторожно пробуждает она в неизвестном и всегда готовом к услугам писака поэта, писателя, творца. Благодаря «советам опытности» Бальзак становится истинным Бальзаком.

«Она была мне матерью, подругой, семьей, спутницей и советчицей, — признается он впоследствии. — Она сделала меня писателем, она утешила меня в юности, она пробудила во мне вкус, она плакала и смеялась со мной, как сестра, она всегда приходила ко мне благодетельной дремой, которая утишает боль... Без нее я бы попросту умер».

Она сделала для него все, что в силах сделать женщина для мужчины.

«Своими внушениями и поступками, исполненными самопожертвования, она помогла мне устоять в годину великих бурь. Она пробудила во мне гордыню, которая защищает мужчину от всех подлостей... Если я остался жив, то этим я обязан ей. Она была для меня всем».

И когда потом, десять лет спустя, эта дружба, эта любовь к «нежной», к «единственной избраннице», эти отношения,

которые целое десятилетие, с 1822 по 1833 год, то есть до тех пор, пока ей минуло пятьдесят пять лет, оставались чувственно-интимными, тихо разрешатся в одной только дружбе, привязанность и верность Бальзака станут, пожалуй, еще глубже и прекраснее. Все, что написано Бальзаком о госпоже де Берни — и при жизни ее и после ее смерти — сливается в единую, всепоглощающую благодарственную песнь во славу этой «великой и возвышенной женщины, этого ангела дружбы», которая пробудила в нем мужчину, художника, творца, которая вселила в него мужество, свободу, внешнюю и внутреннюю уверенность. И даже идеальный образ мадам де Морсоф, нарисованный им в «Лилии в долине», он считает лишь «дальним отсветом... тусклым выражением наименее значительных качеств этой женщины». Он стыдливо признается, что никогда не посмеет выразить все, чем она была для него, ибо «страшится публично проституировать свои чувства».

Каким единственным и неповторимым счастьем была для него эта встреча, он высказал в бессмертных словах:

«Ничто не может сравниться с последней любовью женщины, которая дарит мужчине счастье первой любви».

Встреча с мадам де Берни явилась решающим моментом в жизни Бальзака. Она не только пробудила мужчину в забитом и униженном юноше, художника в уже впадшем в уныние литературном негре, она определила для него тип любви на всю его грядущую жизнь.

Отныне во всех женщинах Бальзак вновь и вновь будет искать это матерински-оберегающее, нежно-направляющее, жертвенное начало, эту готовность прийти на помощь, которая осчастливила его у первой женщины, не требовавшей от него бесценного времени и, напротив, всегда обладавшей временем и силой, чтобы облегчить бремя его труда. Благородство социальное и духовное становится для него предварительным условием любви; участие и понимание кажутся ему важнее, чем страсть. Его всегда будут удовлетворять только

те женщины, которые превосходят его опытностью и, как это ни странно, возрастом и позволяют ему смотреть на них снизу вверх.

«Покинутая женщина», «Тридцатилетняя женщина» — это не только заглавия его романов. Они становятся героинями его жизни. Уже по-осеннему зрелые, разочарованные в любви и в жизни женщины, которые ничего не ждут для себя и принимают как милость судьбы дар будить страсть и служить художнику помощницей, спутницей.

Никогда так называемая демоническая женщина или посетительница литературно-снобистских салонов не привлечет Бальзака. Показная красота не соблазнит его, юность не приманит. Он со всей энергией выскажет свое «глубокое не-расположение к юным девушкам», ибо они слишком много требуют и слишком малым жертвуют.

«Сорокалетняя женщина сделает для тебя все, двадцатилетняя — ничего!»

В любых жизненных обстоятельствах он будет бессознательно стремиться к многообразной, сочетающей в себе все оттенки любви, любви, которую обрел в этой женщине, бывшей для него всем: и матерью, и сестрой, и подругой, и наставницей, и возлюбленной, и спутницей.

V. КОММЕРЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Судьба исполнила первое желание Бальзака. Помощь любимой, желанная помощь, ему дарована, и благодаря обретенной уверенности в своих силах он обрел и духовную независимость. Теперь нужно завоевать еще только независимое положение, и тогда он будет иметь возможность отдаться истинному своему призванию — творчеству.

До двадцати четырех лет Бальзак медленно и упорно пытался достичь независимости, фабрикуя расхожий лубочный товар, но в конце зимы 1824 года он внезапно принимает другое решение. Этот день будет отмечен черным в календаре

его жизни — день, когда он переступил порог лавки книгопродавца и издателя Урбена Канеля, на площади Сент-Андре дез Ар, 30, чтобы предложить ему новейший товар со своего склада — роман «Ванн-Клор».

Не то чтобы его там плохо встретили — напротив, фирма «Канель, книгопродавец и издатель» знает фирму «Орас де Сент-Обен, романы оптом и в розницу», знает, что по мере надобности она точно в срок поставляет смертоубийства, экзотику и сантименты. Мсье Канель без колебаний принимает свежесочиненный труд. К несчастью, однако, книгопродавец посвящает при этом Бальзака и в другие свои деловые проекты. У него имеется, доверительно сообщает господин Канель молодому Бальзаку, великолепная идея: подарочные издания для разбогатевших мещан к рождеству, конфирмации и прочим торжественным дням. Отличный спрос на французских классиков все еще продолжается, и торговый оборот тормозит лишь то обстоятельство, что эти достойные всяческого уважения господа слишком много понаписали. Полные собрания сочинений, скажем, Мольера или там Лафонтена до сих пор выходили во множестве томов и занимали слишком много места в квартире буржуа. И вот у него возникла грандиозная идея: издать полное собрание сочинений каждого из этих классиков в одном-единственном томе. Ежели набрать комедии или драмы убористым шрифтом, да еще в два столбца, можно без труда вогнать всего Лафонтена или всего Мольера со всеми потрохами под один корешок. А если к тому же украсить подобный фолиант хорошенькими виньеточками, так ведь классиков этих будут расхватывать, как горячие каштаны! План продуман до мельчайших деталей, и он, Канель, уже взялся за Лафонтена. Не хватает лишь малости, чтобы должным образом развернуть столь великолепное предприятие, а именно — не хватает необходимого капитала.

Бальзак, вечный энтузиаст и фантазер, немедленно приходит в восторг от этого плана и сообщает Канелю, что он жаждет принять участие в его грандиозном издательском

начинании. Вообще говоря, у него не было повода пускаться в столь сомнительное предприятие. Фабрика романов «Орас де Сент-Обен» благодаря его неутомимости и литературной беззастенчивости процветает. Двадцатипятилетний Бальзак ежемесячно изводит пять дюжин вороньих перьев и несколько пачек писчей бумаги и зарабатывает довольно регулярно несколько тысяч франков в год. Но вместе с чувством уверенности в себе выросли и его потребности. Возлюбленный светской женщины не желает больше ютиться на чердаке, словно двадцатилетний студент. Каморка на пятом этаже на улице Турнон становится недостойной его, да она и вправду слишком тесна.

Каким унижительным, каким утомительным, каким бесславным и никчемным кажется ему это бессмысленное верчение жернова на мельнице безымянного сочинительства, как жалки эти заработки — строчка за строчкой, страница за страницей, том за томом, роман за романом! Почему бы не решиться на отважный прыжок — туда, в свободу, в независимость? Не лучше ли, собравшись с духом, ассигновать несколько тысяч франков на столь верное дело? Идиотские романы, статьи для газет и всю эту анонимную писанину он сможет преспокойно фабриковать походя, они ведь текут у него из-под пера без малейшей заминки! В конце концов гению Бомарше не повредило, что он между делом издавал сочинения господина Вольтера. И разве великие гуманисты средневековья не были советчиками и даже простыми правщиками, работавшими на книгоиздателей? Разбогатеть, безразлично каким способом, никогда не казалось Бальзаку зазорным, он считал это лишь доказательством быстрого ума. Глупо только зарабатывать мало и с великим трудом, куда разумней заработать кучу денег одним махом. Необходимо, наконец, сколотить капитал, чтобы затем, вооружившись решимостью, волей и силой, обратить их на достижение единственно важной цели — создать произведения, художественные произведения, которые он сможет подписать своим именем и за которые будет нести ответственность перед современниками и потомками.

Бальзак не долго колеблется. Всегда, когда он слышит о коммерческом предприятии, он внемлет только доводам своей неукротимой фантазии, а не голосу расчетливого рас-судка, и спекулировать было для него всю жизнь таким же наслаждением, как писать и творить. Никогда высокомерие литератора не мешало Бальзаку делать дела. Он был готов торговать чем угодно: книгами, картинами, железнодорожными акциями, земельными участками, бревнами, железом. Он честолюбиво жаждал только одного — найти выход для своей энергии и пробиться, безразлично, как и на каком поприще.

Юный Бальзак стремится лишь к одной-единственной цели — к могуществу. Еще на тридцатом году жизни он колеблется, кем стать — депутатом или журналистом, и при соответствующем стечении обстоятельств он с таким же удовольствием стал бы неgociантом, маклером и работорговцем, спекулянтom недвижимоcтью или банкиром. Это лишь случай, что гений его устремился в литературу. И, быть может, если бы в 1830, в 1840 и даже в 1850 году он был поставлен перед выбором сделаться Ротшильдом или создателем «Человеческой комедии», он предпочел бы занять командное положение в мире финансов, а не в литературе.

Любой проект, безразлично, литературный или коммерческий (ибо каждый из них таит в себе неисчислимые возможности), накаляет его постоянно возбужденное воображение. Он не может глядеть, не галлюцинируя. Он не может рассказывать, не преувеличивая. Он не может подсчитывать, хотя он прекрасный счетчик, не опьяняясь числами. Он не может, едва только у него мелькнет идея произведения, не видеть все перипетии и развязку. И точно так же в гипертрофированной алчности он при каждой сделке неизбежно видит миллионные прибыли.

Стоит только Урбену Канелю рассказать ему об издании классиков, и Бальзаку уже представляется, хотя в действительности набрано только два листа, что он держит в руках роскошные книги. Одну, другую, всю серию: Лафонтена,

Мольера — на белоснежной бумаге, в роскошных переплетах, разукрашенных виньетками.

Он видит и людей, теснящихся перед книжными прилавками: десятки тысяч, сотни тысяч людей — в Париже, в провинции, во дворцах и в хижинах, людей, которые читают эти книги, наслаждаются ими. Он видит конторку господина Канеля, усеянную заказами, видит грузчиков, изнемогающих под бременем тюков, которые они должны отправить во все части света. Бальзак видит кассу, битком набитую хрустящими тысячефранковыми банкнотами, и себя самого в великолепном доме, с тильбюри* у подъезда. Он видит обстановку этого дома — софу, обитую алым штофом, которую он вчера лишь обнаружил у одного антиквара на Рив Гош, и штофные портьеры, и статуэтки на камине, и картины на стенах. Само собой разумеется, Бальзак объявляет господину Канелю, явно удивленному его пылом, что он внесет жалкие несколько тысяч франков, которые необходимы для столь грандиозного предприятия. Кроме того, он напишет предисловие к Лафонтену и Мольеру, впервые растолкует французам, кто были эти люди! И однотомники их будут красивейшим изданием, когда-либо вышедшим в свет, величайшим достижением всех времен!

Когда Бальзак покидает лавку, он чувствует себя почти миллионером. Делец Урбен Канель заполучил для своей мелкой спекуляции компаньона, а неисправимый фантазер в мечтах своих уже приобрел состояние.

Необыкновенная история этого предприятия достойна пера Бальзака. По-видимому, молодой сочинитель поначалу вовсе и не думал серьезно ввязаться в дело. Его вклад на первых порах не превышает полутора-двух тысяч франков, то есть суммы, которую приносит один из состряпанных им на скорую руку романов Ораса де Сент-Обена. Но у Бальзака

* Тильбюри — легкий двухколесный экипаж.

все непременно принимает гигантские размеры. Так же как его романы, влекомые мощью его все обнимающей и все возрастающей фантазии, ведут от малого к общечеловеческому, точно так же и каждая из его коммерческих сделок принимает угрожающие масштабы. И точно так же, как, создавая первые «Сцены частной жизни», он не знает, что открывает ими «Человеческую комедию», эпос своей эпохи, — точно так же он не предчувствует, на какой риск идет, приняв скромное участие в новом деле.

Первый контракт, заключенный в середине апреля 1825 года, еще вполне невинен. В нем Бальзак — только один из компаньонов мизерного синдиката, участники которого должны внести в общей сумме от семи до восьми тысяч франков, дабы оплатить расходы по изданию однотомника Лафонтена. Никто не знает, что объединило этих четырех человек. Кроме Бальзака, в дело вошли врач, отставной офицер и книгопродавец, который, по-видимому, в качестве капитала вносит свои уже готовые издания, — все четверо малоприметные люди, готовые вложить по полторы тысячи франков в прибыльное дельце.

К сожалению, эта четырехглавая компания по эксплуатации басен Лафонтена вскоре приказала долго жить. До нас дошло письмо одного из компаньонов — врача. Из этого чрезвычайно раздраженного письма можно сделать вывод, что уже первые дискуссии четырех партнеров велись в отчаянно резких тонах и едва не перешли в рукопашную. 1 мая и три остальных участника, три мелочно-расчетливых буржуа, выходят из дела, оставляя предприятие на шее единственного в их компании идеалиста и утописта. Таким образом, Бальзак шагнул значительно дальше, чем сам того желал. В качестве единоличного обладателя еще не напечатанного Лафонтена он вынужден принять на себя все производственные расходы и выложить чудовищную для его тогдашних возможностей сумму — почти девять тысяч франков наличными. Откуда взялись эти деньги? Быть может, юный издатель в свободные часы снова состряпал два или три

романа или его зажиточные родители решили наконец выделить двадцатилетнему Оноре небольшой капитал? Записи в бухгалтерских книгах разрешают эту загадку. Все три долговые расписки Бальзака выданы на имя де Берни, которая, как впоследствии Франция и все человечество, явно поддалась магии его красноречия. И опять подруга, возлюбленная пытается проложить ему дорогу в жизнь.

Но тут Бальзак падает жертвой своего темперамента. Разумно было бы дождаться успеха однотомника Лафонтена, а потом предпринимать издание очередного классика — Мольера. Но в игру вступает природный оптимизм Бальзака, всегда одерживающий победу над его расчетливым рассудком. Бальзак уже не способен оперировать малыми числами, существовать и трудиться в стесненных обстоятельствах. Из бережливого студента, который трясется над каждым су, он превратился в нетерпеливого игрока, в человека, не знающего удержу и не ведающего предела, — таким он и останется до своего смертного часа. Итак, поскорей прибавим к Лафонтену Мольера! Два тома сбыть с рук куда легче, чем один. У нас здесь не мелочная торговля!

Снова появляется на сцене пылкое бальзаковское красноречие, и на этот раз некий господин д'Ассонвилль, друг семьи, проявляет готовность внести пять тысяч франков под Мольера. Таким образом, хотя еще не продан ни один экземпляр, Бальзак на свой страх и риск уже вложил в свое предприятие четырнадцать тысяч франков чужих денег. Лихорадочно подгоняет он выпуск обоих томов, даже слишком лихорадочно, ибо оптовики, коварно используя неопытность и пыл энтузиаста, поставляют новоиспеченному издателю жалую и грязную бумагу.

Виньетки Девериа, которые Бальзаку, опьяненному безудержно мчащейся фантазией, казались шедевром, в тираже получились прескверно. Чтобы втиснуть всего Лафонтена в один том, пришлось дать чрезвычайно убористый шрифт, утомляющий самое острое зрение. Даже предисловие, на ско-

рую руку написанное Бальзаком, не сообщило ни малейшей привлекательности этим типографским ублюдкам.

Коммерческий результат оказывается несколько не лучше. Стремясь нахватать как можно больше денег, Бальзак назначил цену в двадцать франков за том. Несуразная цена отпугивает книгопродавцев, и тысячи экземпляров, которые Бальзак мечтал увидеть в руках бесчисленных читателей, лежат на складах типографа и издателя. Спустя год продано в общей сложности лишь двадцать экземпляров одного из этих изданий, рассчитанных на массовый спрос. А наборщики, и печатники, и поставщики бумаги — все требуют наличных. Чтобы как-то облегчить свое положение, Бальзак предлагает том уже всего за тринадцать франков. Тщетно. Он снижает цену до двенадцати франков. И не получает ни одного заказа. Наконец он сбгривает весь тираж за смехотворно низкую цену, но и при этой сделке его надувают. После года отчаянной борьбы наступает окончательная катастрофа. Вместо состояния, о котором мечтал Бальзак, у него пятнадцать тысяч франков долгу.

Любой другой на его месте капитулировал бы после столь страшного крушения. Но у Бальзака еще достаточно сил, чтобы не признать себя окончательно побежденным. Когда впоследствии проваливаются его пьесы, он восполняет этот урон мировым успехом своих романов. Когда его травят кредиторы, когда судебные исполнители подстерегают его у дверей, он забавляется тем, что водит их за нос. Он будет хвастать своими долгами, как своими триумфами. Но у двадцатилетнего Бальзака еще нет успеха, на который можно опереться, нет капитала, под который можно получить кредит. Он еще не Наполеон в царстве литературы и не может позволить себе потерпеть случайное поражение. Быть может, стыдясь своих близких, всегда сомневавшихся в его способностях, быть может, не желая признаться возлюбленной, что потерял все в первой же игре, он удваивает ставку.

Он видит лишь один способ спасти потерянные деньги: швырнуть вслед им новые. Какая-то ошибка вкралась, должно быть, в его начальные расчеты, и Бальзаку кажется, что он обнаружил ее. Быть только издателем — это скверная коммерция. Тебя норовят обжулить алчные типографы. Они снимают сливки, а тебе, в лучшем случае, остается снятое молоко. Не писание книг, не издание их является, собственно говоря, выгодным делом, нет, нужно самому печатать книги. Только при этой отважной комбинации, когда он сам будет писать, издавать и продавать, — только тогда способности его найдут настоящее применение.

И Бальзак решает как можно скорей ликвидировать последствия провала с Лафонтеном и Мольером и приняться за универсальное изготовление книг.

По старинному рецепту банкротов он пытается оздоровить обанкротившееся предприятие, непрерывно расширяя его. Начинается второй период великой коммерческой деятельности Бальзака. Он решает основать типографию.

Для этого предприятия у молодого человека, конечно, отсутствуют кое-какие весьма важные предварительные условия. Во-первых, сам он не специалист и ровно ничего не смыслит в типографском деле. Во-вторых, у него нет «королевского патента», необходимого в ту пору каждому французскому типографу. В-третьих, у него нет помещения и печатных станков. И, в-четвертых, начисто отсутствует оборотный капитал, без коего нельзя получить разрешение, закупить материалы, приобрести мало-мальски подходящее помещение, а кроме того, нанять метранпажа, наборщиков и печатников. Но уж если человек непременно хочет взяться за безнадежное дело, то коварный случай с готовностью идет ему навстречу. Бальзаку удастся отыскать специалиста, наборщика Андре Барбье, которого он заприметил еще в ту пору, когда издавался Лафонтен. Он убеждает Барбье принять на себя техническое руководство «Типографией Оноре Бальзака». Рекомендательное письмо господина де Берни обеспечивает ему патент типографа. Престарелый дворянин

пишет министру и префекту полиции, и можно предположить, чьи нежные пальцы водили рукой податливого супруга:

«Я знаю этого молодого человека в течение продолжительного времени. Искренность его взглядов и его познания в изящной словесности убеждают меня в том, что он в высшей степени сознает обязательства, налагаемые на него этим родом деятельности».

Рекомендация оказывается достаточной, и власти выдают господину Оноре Бальзаку (Оноре де Бальзак еще не изобретен) разрешение по всей форме на право занятия типографским промыслом.

С подобным патентом в руках нетрудно приобрести любую типографию. В узеньком темном переулке Марэ близ улицы Рив Гош (позже переименованной в улицу Висконти), рядом с домом, где в 1699 году умер Жан Расин, а в 1730 — Андриенна Лекуврер, на первом этаже размещается тесная, грязная, захудалая типография, настоящая «давилка», как ее называют на ремесленном жаргоне. Владелец ее, некий господин Лоранс Эне, давно уже мечтает избавиться от убыточного предприятия. Он спит и видит, как бы ему отыскать платежеспособного покупателя, или, на худой конец, такого, который пообещает хорошо заплатить и представит солидных поручителей.

Все препятствия таким образом устранены. Остается лишь одно: купить нетрудно, трудно заплатить. Бальзаку для его нового предприятия требуется примерно от пятидесяти до шестидесяти тысяч франков — тридцать тысяч, чтобы купить патент и типографию, и двенадцать тысяч в качестве гарантии метранпажу Барбье, который, по-видимому, не вполне убежден в коммерческих талантах Бальзака. Кроме того, оказывается абсолютно необходимым произвести усовершенствования в устаревшем деле, которое прежний владелец вел спустя рукава. Из этих пятидесяти-шестидесяти тысяч франков человек, у которого за душой нет ничего, кроме пятнадцати тысяч долгу, не может, само собой разумеется, внести ни единого су. К своему счастью или, скорее, несчастью,

Бальзак находит солидных поручителей, причем там, где всего менее можно было их ожидать.

Родители Бальзака, никогда не чуравшиеся спекуляций, зажиточные буржуа, состояние которых к этому времени достигло двухсот тысяч франков наличными, располагают свободными деньгами. Как ни странно, они не оказывают никакого сопротивления проекту своего сына. Типография — это, во всяком случае, солидное дело, достойное буржуа, это вовсе не такое пустое занятие, как сочинительство. И, по-видимому, Оноре, напористому фантазеру и вечному оптимисту, удалось нарисовать свое будущее занятие в таких радужных красках, что семейный совет решает превратить в капитал обещанную ему полуторатысячную ренту. Под поручительство родителей Бальзака друг дома мадам Деланнуа присоединяет тридцать тысяч франков к оборотному капиталу. Остальные деньги, по-видимому, и на этот раз вносит всегда готовая на жертвы мадам де Берни. 4 июня 1826 года Оноре Бальзак официально ставит в известность министерство:

«Я, нижеподписавшийся, владелец типографии в Париже, извещаю настоящим, что переносу свое местожительство и свое предприятие на улицу Марэ, №17, в Сен-Жерменское предместье».

Начинается третий акт деловой трагикомедии. Эту удивительную типографию Бальзак позднее описывал неоднократно, и многие примечательные страницы «Утраченных иллюзий» и «Дома кошки, играющей в мяч» бросают яркий свет сквозь затемненные стекла этой причудливой мастерской.

Тесная и кривая улочка Марэ расположена между Сен-Жермен де Пре и набережной Малакэ. Ни один солнечный луч не озаряет булыжную мостовую узенького переулка. Высокие въездные ворота перед дворами, оставшиеся еще с феодалных времен, служат доказательством того, что в семнадцатом веке знать езжала сюда в каретах. Но за два прошедших столетия произошла переоценка ценностей, и вкусы изменились. Родовая и финансовая аристократия давно уже

перебралась в более светлые и веселые кварталы, и мелкие ремесленники ютятся теперь в лачугах на этой замызганной и закопченной улочке, еще более унылой, чем в прежние времена.

Самый дом, в котором помещается типография юной компании «Бальзак и Барбье», не обладает даже преимуществами обветшалого феодализма. Он возведен на месте некогда великолепного дворянского особняка и глубоко вдается в улицу. Фасад его почти вплотную подступает к мостовой. Это наспех построенный доходный дом. Первый этаж состоит из единственного просторного помещения, типографии, откуда железная винтовая лестница ведет на второй этаж, где новый патрон оборудовал себе квартиру — передняя, темная кухня, крохотная столовая, украшенная ампириным камином, и, наконец, собственно жилая и рабочая комната с маленьким альковом. Это его первый настоящий очаг, и Оноре прилагает много любви и стараний, обставляя свою квартирку. Он обтягивает стены голубым перкалем, выстраивает в шеренгу изящно переплетенные книги и расставляет недорогие безделушки. Словом, делает все, что только может, чтобы порадовать взор своей преданной и верной помощницы, которая каждый день посещает Бальзака в эти самые трудные его годы.

«Она приходила каждый день, как благодатная дрема, усыпляющая все горести».

Маленькое убежище, которое Бальзак, словно каюту, построил в неустойчивый с самого начала корабль своего предприятия, никоим образом не может быть занесено в его конторских книгах в графу роскоши или легкомыслия, ибо Бальзак относится к своему новому занятию вполне серьезно. С раннего утра до поздней ночи стоит он, засучив рукава, с распахнутым воротом, потев от усердия в душном помещении, насыщенном испарениями машинного масла и сырой бумаги, среди двадцати четырех рабочих, и сражается, как гладиатор, чтобы не оставить без корма семь печатных станков. Он не страдает литературным высокомерием, и любой труд кажется ему приемлемым. Бальзак держит корректуру,

помогает набирать, вычисляет издержки на отправку и пересылку, собственноручно выписывает счета (некоторые из них дошли до нас). Молодой, но уже несколько располневший типограф непрерывно снует в тесном помещении, лавируя среди станин и туго набитых тюков. Ему надо то приободрить рабочего, то зайти за низенькую стеклянную перегородку, и здесь, среди шума стонущих, грохочущих и визжащих станков, не успев отмыть руки от типографской краски и машинного масла, он препирается с книгопродавцами и поставщиками бумаги, торгуясь из-за каждого су.

И никто из тех, кто в эти годы приставал к говорливому приземистому типографу со своими заказами или претензиями, никогда, даже отдаленнейшим образом, не предполагал, что этот отчаянно-красноречивый ремесленник станет величайшим писателем эпохи. Бальзак в те годы и впрямь распрощался со своими пышными притязаниями. Он типограф, и только типограф — всем своим несколько тучным телом и всей своей необузданной душой. И единственное его честолюбивое желание — поддерживать станки в движении, не дать предприятию работать вхолостую. Прощайте безумные мечты о том, чтобы сделать достоянием французского народа его великих классиков!

Типография Бальзака и Барбье печатает без всякого разбора все, что придется, любой заказ. Первые произведения типографа Бальзака никоим образом не принадлежат к изящной словесности. Это проспект «Противослизистые Пилюли Долголетия, или Зерна Жизни». Второе произведение — речь в защиту женщины-убийцы, — которое честолюбивый адвокат решил издать на свой счет. Третье произведение — шарлатанское объявление о чудодейственном средстве — «Бразильская Микстура Фармацевта Лепера». И пестрой чередой следует все, что валит в руки, все, что только несут ему, — брошюры, проспекты, творения классиков, стихи, рекламы, каталоги, забавные пустячки, «Спутник лесоторговца» и «Искусство завязывать галстук». Из собственных произведений Бальзак печатает только одно-единственное: «Словарик

парижских вывесок для праздношатающегося, скромный труд, который он, по-видимому, наспех настрочил для издателя, чтобы хоть как-нибудь вырваться из отчаянного безденежья. Ибо дела с самого начала идут неважно, и, вероятно, со странным чувством держал Бальзак корректуру одного из произведений, отданных ему в печать: «Искусство платить долги и удовлетворять кредиторов... или настольная книга по коммерческому праву для тех, чьи дела пришли в упадок». В этом «искусстве удовлетворять кредиторов» он так никогда и не достиг совершенства.

Первая же коммерческая операция наглядно демонстрирует, что одинаковые силы вызывают различное действие в различных областях. Тот же оптимизм, то же могущество фантазии, которые в сфере искусства воздвигают миры, в коммерческой сфере неизбежно приводят все в упадок. Бальзак спотыкается на первой же ступеньке. Чтобы обеспечить себе немножко оборотного капитала, он сбывает книгопродавцу Бодуэну залежи своих Лафонтенов и Мольеров за смехотворную сумму — все две с половиной тысячи экземпляров за двадцать две тысячи франков. Следовательно, восемь франков за экземпляр вместо двадцати франков, назначенных в свое время. Но Бальзаку до смерти нужны средства, и он ставит свою подпись. Желая как можно скорее получить деньги, он не обращает никакого внимания на то обстоятельство, что Бодуэн вместо этих двадцати двух тысяч франков наличными с неожиданной щедростью отвалил ему целых двадцать семь тысяч, но в долговых обязательствах, выданных двумя книгопродавцами, из которых один проживает в провинции. Бальзак видит только эти пять лишних тысяч и вместе с наживкой проглатывает и крючок.

Вскоре, однако, обнаруживается коварный крючок. В тот момент, когда писатель собирается получить свои деньги от обоих книгопродавцев, они объявляют себя банкротами. Бальзак-типограф, погрязший в долгах, не может ждать, пока пройдет распродажа с торгов. Чтобы получить хоть малость, он соглашается оприходовать наследство обанкротивше-

гося провинциала и обретает вместо наличных денег кипы бесполезной макулатуры — ветхие издания Гесснера, Флориана, Фенелона, Жильбера, пожелтевшие фолианты, годами пылившиеся на полках провинциальных книжных лавок. Так разыгрывается восхитительная комедия: Бальзак на наличные деньги, которые ссудила ему госпожа де Берни, напечатал однотомники Лафонтена и Мольера и сбыл их, когда оказалось, что они туго расходятся, за треть исходной цены, чтобы снова раздобыть наличные. Но вместо звонкой монеты он получил только другие, ветхие и также совершенно не имеющие сбыта книги, то есть вместо одной макулатуры — другую, за которую, вероятно, ему дали бы еще в десять раз меньше, чем за прежнюю. Бальзак словно шел по стопам счастливчика Ганса из старинной немецкой сказки, который променял свое золото на корову, корову на козу, козу на гусыню, гусыню на камень и, наконец, обронил этот камень в реку.

В громоздких тюках, перевязанные и запыленные, лежали теперь в типографии «Бальзак и Барбье» произведения усопших титанов. Но, увы, наборщики и печатники, которые за еду и питье, жилье и платье вынуждены расплачиваться наличными франками, вовсе не желают получить свой заработок в виде заплесневелых сочинений Фенелона, Флориана и т.д. Вскоре и поставщики бумаги почували неладное. Они не склонны принимать долговые обязательства и векселя Бальзака — автографы, которые тогда еще не считались драгоценными. Они безжалостно возвращают их и свирепо настаивают на немедленной оплате по счетам. Низенькая стеклянная перегородка больше не служит надежным укрытием. Все реже показывается Бальзак в типографии, в особенности когда приближается конец недели, все чаще и чаще его нет в мастерской. Он обходит конторы дельцов, умоляя об отсрочке своих векселей, обивает пороги банкиров, друзей и родни, чтобы раздобыть хоть немного наличных. Все сцены унижения, незабываемо описанные им впоследствии в «Цезаре Бирото», пережил он в те месяцы, когда отчаянно боролся за сохранение своего предприятия.

Но даже при его самсоновых силах Бальзак не может больше удерживать крышу над головой. Летом 1827 года все утрачено, нельзя наскрести ни одного су, чтобы уплатить рабочим. Типограф Бальзак так же не состоялся, как перед тем Бальзак-издатель, а еще раньше — автор «Кромвеля». И теперь для типографии остаются лишь две естественные и логичные возможности: либо публичная продажа за долги, либо тихая ликвидация. Но, пренебрегая этими двумя возможностями, Бальзак избирает третью. Подобно своему бессмертному сопернику, он не возвращается побежденным на остров Эльба, а предпринимает попытку выиграть свое Ватерлоо. Нисколько не наученный горьким опытом, он снова повторяет прежнюю попытку спасти давно уже обанкротившееся предприятие и снова расширяет его. Когда издательство больше не смогло держаться на поверхности, он привесил к нему вместо спасательного пояса типографию. Когда типография начала пускать пузыри, он попытался вытащить ее, прибавив к обанкротившемуся предприятию еще и словолитню. В этом, как и во всех прочих предприятиях Бальзака, трагично именно то, что в основе своей они неплохо задуманы. В этом писателе бок о бок с фантастом обитает прожженный реалист с ясным взором адвоката, дельца. Сам по себе проект однотомного издания классиков вовсе не был бессмыслен. Позднее издания подобного типа действительно завоевали популярность. Да и основание типографии само по себе не было абсурдным — спрос на печатную продукцию в те годы быстро возрастал. А третий проект, словолитня, был даже особенно многообещающим.

Бальзак кое-что слышал о новом методе печати, о так называемой «фонтерреотипии», изобретенной неким Пьером Дерешалем. С помощью ее можно достичь лучших результатов, чем при обычной стереотипии, «без использования правильного тигля для отливки матриц и без необходимости переворачивать и править отлитые страницы». Бальзак мгновенно загорается.

Взором, опережающим десятилетия, он раньше других

увидел, что на заре промышленного века любой метод удешевления и упрощения производства окажется победителем, что наибольшие выгоды даст всякое изобретение, которое уменьшит производственные расходы или ускорит темп производства товара. Проблема подобного изобретения — его романы служат тому доказательством — непрестанно занимала Бальзака. Не случайно Давид Сешар в «Утраченных иллюзиях» — в этом зеркальном отображении типографской деятельности самого писателя — пытается усовершенствовать процесс производства бумаги, который сулит миллионную прибыль. Его Валтасар Клаас в «Поисках абсолюта», его Цезарь Бирото, изобретатель «Крема султанш», его живописец Френхофер, его музыкант Гамбара — все они стремятся открыть такой новый коэффициент полезного действия, который должен привести к еще небывалым результатам.

Из всех поэтов эпохи после Гете никто не следил за всеми достижениями науки с такой любознательностью и таким живым участием, как Бальзак. Он предвидел, например, что ручной набор и отливка вручную, при фантастически возрастающем спросе на печатное слово, по необходимости вскоре будут механизированы. «Фонтерреотипия» кажется весьма многообещающим начинанием, и с нетерпением оптимиста и с отчаянием банкрота Бальзак хватается за эту новую возможность.

18 сентября 1827 года, когда типография уже агонизирует, он основывает новое общество. В него входят Барбье, компаньон Бальзака, и некий Лоран, только что ликвидировавший с торгов обанкротившуюся типографию «Жилле и сыновья, рю Гарансьер, 4». В декабре рассылаются первые проспекты. По-видимому, Лоран поставляет материал, Барбье берет на себя техническое руководство, Бальзак — пропаганду нового метода. Теперь конец трудоемкому и кропотливому акцидентному набору! Новое дело будет поставлено на широкую ногу! Бальзак изготавливает великолепный альбом, в котором наглядно представлены образцы, все новые способы, применяющиеся в словолитне, а также виньетки и заставки,

которые благодаря новому методу могут быть предложены типографиям или издателям. Новый каталог уже тщательно оформлен, когда Барбье, третий пайщик, внезапно объявляет, что больше не желает принимать участия в деле. Как бы корабль не затонул еще в гавани!

Желая преодолеть этот опасный кризис, снова приходит на помощь вернейшая из верных, мадам де Берни. Заручившись полномочиями от своего супруга, она принимает на себя обязательства отступника Барбье. Девять тысяч франков наличными, брошенные ею вслед за всеми уже потерянными деньгами, помогают на мгновение — и вот баркас опять сошел с мели. Но уже слишком поздно. Великолепный альбом с образцами, рассчитанными на привлечение покупателей и заказчиков, не готов к сроку, и, обеспокоенные уходом Барбье, который кажется им единственным заслуживающим доверия, кредиторы осаждают типографию. Поставщики бумаги и книготорговцы предъявляют к оплате свои счета, ростовщики — свои векселя, наборщики и печатники требуют, чтобы их труд был вознагражден, никто не обращает больше внимания на уверения Бальзака, что отныне благодаря новому методу его дело даст тысячи и десятки тысяч прибыли. Никто не принимает больше долговых обязательств ни от фирмы «Бальзак и Барбье», ни от самого Оноре Бальзака. 16 апреля 1828 года третье по счету товарищество, которое должно было действовать в течение двенадцати лет, вынуждено объявить себя несостоятельным. Бальзак обанкротился, и обанкротился трижды — как издатель, как типограф и как владелец словолитни.

Ужасную весть не удастся больше замалчивать. Необходимо оповестить семью, дабы она не узнала о несчастьях своего отпрыска, о клейме банкротства на имени Бальзак непосредственно из газет. Сообщение о банкротстве типографии и словолитни словно удар молнии поражает родительский дом.

Мать пытается утаить от своего восьмидесятидвухлетнего супруга потерю капитала, вложенного в дело, и сперва это удастся. Но тут возникает неумолимый вопрос: должна ли семья дать своему невезучему первенцу катиться по наклонной плоскости или следует принести новую жертву и спасти его коммерческую честь?

Мать Бальзака — ограниченная обывательница, бережливая, упрямая, корыстолюбивая, ожесточенно отстаивающая каждое сбереженное су. Сына, который повесил у себя в комнате крохотную гравюру, она считает мотом. Даже когда он был ребенком и жил в интернате, она ни разу не послала ему хоть самую малость на карманные расходы. И поэтому следовало ожидать, что она, конечно, не вскрыет свою все еще увесистую кубышку. Но мать Бальзака — обывательница и в ином смысле этого слова, ибо она опасается за свое доброе имя и паче всего боится людских пересудов. Мысль о том, что имя Бальзак появится во всех газетах под рубрикой «продажа с торгов», невыносимым бременем ложится на ее мещанскую гордыню, на все ее добродетели, которыми она кичится перед соседями и перед родней. Итак, она решает — можно себе представить, в каком отчаянии, — вновь принести жертву, чтобы предотвратить открытую, бесчестную, постыдную продажу с торгов.

Двоюродный брат, господин Седилло, берет на себя, по ее просьбе, тяжкий труд — ликвидировать дело. Это будет нелегко, ибо Бальзак так переплел, так перепутал обязательства различных своих предприятий, что господину Седилло потребуется не меньше года, чтобы точно установить состояние активов и пассивов и по крайней мере частично удовлетворить кредиторов. Его первый разумный шаг — полностью устранить Бальзака. Фантасты и прожектеры не нужны в таком точном и кропотливом деле. Только через двенадцать месяцев унылая работа доведена до конца. Типографию, обремененную долгами на сумму свыше сотни тысяч франков, вместе с патентом на шестьдесят семь тысяч франков наследует Барбье, так что семейство Бальзак несет здесь потерю

от сорока до пятидесяти тысяч франков. Госпожа де Берни, которая также вложила пятьдесят четыре тысячи франков ради своего возлюбленного, получает в качестве весьма недостаточной компенсации наборный цех, который она передает своему сыну Александру де Берни для дальнейшего ведения дела. Словом, все доверившиеся финансовому гению Бальзака теряют немалые деньги. Но благодаря удивительной иронии судьбы типография и словолитня начинают немедленно окупаться, едва поэт оставляет дела и предприятиями начинают управлять, как следует в реальных буднях, с упорством и терпением, которых требует коммерция.

Бальзак снова возвращается в тот единственный мир, где его фантазия способна плодотворно развернуться, — в сферу искусства.

Теперь, когда кузен Седилло, наконец, завершил ликвидацию фирм «Бальзак и Барбье» и «Бальзак и Лоран», Бальзаку тоже приходится подвести итоги. В материальном смысле это уничтожающий баланс. Писателю двадцать девять лет, но он менее свободен, чем когда-либо прежде. Достояние девятнадцатилетнего Оноре было равно нулю, и он никому не был должен ни гроша. У двадцатидевятилетнего Оноре по-прежнему ни гроша, но должен он около ста тысяч франков своим родным и своей подруге. Десять лет он работал без передышки, без разрядки, без наслаждения, и все напрасно. Он шел на любое унижение, он исписал тысячи страниц под чужими именами, он, как делец, с утра до вечера торчал за своей конторкой, если только не бегал в поисках клиентов или не боролся с назойливыми кредиторами. Он ютился в жалчайших каморках и вынужден был принимать от семьи горький хлеб зависимости — и все для того, чтобы после титанических усилий стать во сто крат бедней и в тысячу раз несвободней, чем был прежде. Сто тысяч франков долгу за три года коммерческой деятельности станут тем сизифовым камнем, который Бальзак всю жизнь с нечеловеческим на-

пряжением вновь и вновь будет толкать в гору и который, вновь и вновь срываясь, будет тащить его за собой в пропасть. Эта первая в жизни ошибка обречет его навечно остаться должником. Никогда не исполнится его юношеская мечта обрести творческую свободу и независимость.

Но этому сухому пассиву, как бы выписанному из конторских книг, противостоит ни с чем не сравнимый актив. Все, что потерял Бальзак-делец, он выиграл как писатель, как художник, — выиграл в другой, более ценной монете, имеющей всемирное хождение. Ибо три года усилий, непрестанной борьбы с сопротивляющейся действительностью научили романтика, который доселе лишь в подражательной манере набрасывал эскизы чрезвычайно ненатуральных фигур, видеть реальный мир со всеми его повседневными драмами. И каждая из них, по позднему выражению Бальзака, столь же потрясающая, как трагедия Шекспира, и столь же беспощадна, как сражение Наполеона.

Он постиг чудовищную, демоническую власть денег в наш меркантильный век. Он постиг, что битвы за вексель и за долговое обязательство, уловки и проделки, ежечасно разыгрывающиеся в душных лавчонках и солидных конторах Парижа, требуют не меньших усилий, чем подвиги байроновских корсаров и благородных рыцарей Вальтера Скотта. Именно потому, что он трудился вместе с рабочими, боролся с лихоимцами, с настойчивостью отчаяния торговался с поставщиками, он приобрел неизмеримо больше познаний во всем, что касается общественных взаимоотношений и противоречий, чем все его великие коллеги — Виктор Гюго, Ламартин или Альфред де Мюссе. И куда бы они заняты только поисками романтики возвышенного и благородного, он научился видеть и изображать бесконечно малое, неизменно уродливое, сокровенно жестокое в человеке. К пылкому воображению юного идеалиста прибавилась ясность реалиста, скепсис одураченного. Уже ничье величие не будет ему импонировать. Никакие романтические покровы не введут его в заблуждение, ибо он заглянул в самое нутро социальной

машины и разглядел там цепи, которыми приковывают должников, и люки, через которые ускользают от кредиторов. Он знает, как наживают деньги и как их утрачивают, как ведут процессы и как делают карьеры, как проматывают состояния и как копят, как обманывают и других и самих себя.

Впоследствии Бальзак с полным правом скажет: лишь оттого, что в молодости он переменял столько профессий и получил столь ясное представление о взаимосвязях между ними, он сумел дать верное описание своей эпохи. И именно поэтому его величайшие шедевры: «Утраченные иллюзии», «Шагреновая кожа», «Луи Ламбер», «Цезарь Бирото» — эти великие эпосы буржуазии, биржи и коммерции, были бы невысказаны без глубоко пережитых им разочарований его коммерческих времен. Лишь когда воображение писателя переплелось с действительностью, лишь когда действительность густо пронизала всю ткань вымысла, лишь тогда возникла волшебная субстанция бальзаковских романов, великолепная и потрясающая смесь реализма и фантазии. Только теперь, когда Бальзак потерпел крушение в реальном мире, в нем созрел художник, чтобы рядом с этим миром создать свою собственную и властвующую над реальностью вселенную.

VI. БАЛЬЗАК И НАПОЛЕОН

Что он начал мечом, я довершу пером

После такой полнейшей катастрофы следовало бы ожидать, что под обломками всех несбывшихся надежд окажется погребенной и самоуверенность чрезмерно торопливого дельца. Но Бальзак, когда над ним рушится кровля, ощущает только одно — он снова свободен и может начать все сначала. Его жизнестойкость, унаследованная от отца и, вероятно, от многих железных крестьянских поколений, вовсе не задета этим крушением, и он отнюдь не намеревается посыпать главу пеплом и оплакивать потерянные деньги. В конце кон-

цов, деньги, которые он потерял, принадлежали не ему, и долги до самой его смерти именно потому, что они так неизмеримы, останутся для него столь же нереальными, как и сколоченное им состояние. Никогда ни одно поражение не поколеблет его стихийного оптимизма. Катастрофу, которая другим, более слабым, сломала бы хребет, он, этот гигант воли, почти не ощутил.

«Во все периоды моей жизни воля моя преодолевала все несчастья».

Тем не менее первое время оказывается необходимо, хотя бы из соображений приличия, стать по возможности невидимым, не говоря уже о том, что у Бальзака есть веские основания не указывать кредиторам своего адреса во избежание нежелательных визитов. Подобно краснокожему из обожаемых им романов Фенимора Купера, он некоторое время практикуется в искусстве замечать следы. И так как, желая возможно больше заработать и повинаясь воле мадам де Берни, он хочет остаться в Париже, ему необходимо сменить квартиру, не уведомляя о том полицию. Свое первое убежище он обретает у Анри Латуша, с которым подружился в последние месяцы.

В парижском журнальном мире Латуш чувствует себя как рыба в воде. Он в известной мере покровительствует юному и решительно никому еще не ведомому Бальзаку. Обладая дарованием женственным, не столько оригинальный, сколь переимчивый, Латуш был, как все полуталанты, любезен и услужлив в годы своего успеха. Зато, вкусив горечь провалов, он стал решительным мизантропом. Именно особое чутье к чужой одаренности позволило ему, заурядному сочинителю, приобщиться и к чужому бессмертию. Он спас для потомства стихи Андре Шенье, которые ревнивый братец казненного поэта четверть века держал под замком в ящике своего письменного стола. Это бесспорная заслуга Латуша. И если он сам не создал ни одного стихотворения, хоть сколько-нибудь заслуживающего упоминания, зато ему обязаны известностью истинные шедевры французской лирики — удивительные

строфы Марселины Деборд-Вальмор, его любовницы, которой он был столь неверен. Об этом же чутье свидетельствует и его товарищеское участие в судьбе обанкротившегося типографа, в судьбе человека, который, стоя на пороге своего тридцатилетия, не написал еще ни одной достойной строчки. Латуш, как никто другой, вселяет в Бальзака отвагу и призывает его вернуться к литературным занятиям. Однако Бальзак недолго выдерживает в убежище у благодушного, но утомительно словоохотливого приятеля.

Чтобы работать так, как работает Бальзак, то есть дни и ночи напролет, без перерывов и остановок, требуется полное уединение, пусть крохотная, но непременно своя келья. И, желая дать преследуемому Оноре хоть немного покоя, необходимого для его новых начинаний, сестра и зять Сюрвилль разрешают ему воспользоваться их именем, ибо если Бальзак снимет комнату на собственное имя, то кредиторы, рассыльные и судебные исполнители оборвут звонок у его дверей.

Итак, в марте 1828 года никому не известный господин Сюрвилль снимает маленький особняк на улице Кассини, тот самый особнячок, который отныне в течение девяти лет будет главной квартирой Бальзака, домишко в четыре-пять комнат, которые он населит сотнями и тысячами своих воображаемых персонажей.

Улица Кассини по местоположению своему обладает неисчислимыми преимуществами. Это улица на окраине, где обитает мелкий люд и где едва ли станут искать сочинителя. Улица неподалеку от обсерватории, уже возле городской черты.

«Эта улица, собственно, уже не Париж, но все же она принадлежит городу. В местности, где она расположена, есть и площади, и переулки, и бульвары, и фортификации, и сады, и проспекты, и проселочные дороги. Это уже почти провинция и все-таки еще столица. Это и город и сельская местность. Собственно говоря, это настоящая глушь».

Подобно рыцарю-разбойнику из уединенного замка, Бальзак может отсюда по ночам врывать в «Париж у моих ног»,

в «Париж, который я хочу завоевать», перебираясь на другую сторону по разводному мосту, так что никакой навязчивый визитер не в состоянии застать его врасплох. Тайну этого местожительства знают только его верный друг, живописец Огюст Борже, обитающий в этом же доме этажом ниже, да нежнейшая мадам де Берни, которая, очевидно, помогала ему выбрать жилье. Ибо дом этот расположен не только за углом ее собственного, но обладает еще и особой приятностью: узкая черная лестница ведет со двора через потайную дверь прямехонько в спальню Бальзака, так что даже чрезвычайно частые посещения не смогут повредить репутации госпожи де Берни.

Сама по себе квартира весьма дорогая, если сравнить ее с квартирой на улице Ледигьер. Вместо шестидесяти франков, которые он платил за свою мансарду, эти комнатухи — салон, гостиная, кабинет и спальня с маленькой кокетливой ванной комнатой — обходятся в четыреста франков в год. Но Бальзак знает толк в опасном искусстве превращать дешевое в дорогостоящее. И не успел он снять, да еще под чужим именем, квартиру, как им овладевает желание роскошно обставить ее.

Подобно Рихарду Вагнеру, тоже вечно опутанному долгами, Бальзак, который надрывается, чтобы создать себе состояние, непременно хочет, чтобы окружающая его обстановка предвещала роскошь, ожидающую его в будущем. Так же как Вагнер, который, переехав в новую квартиру, сразу зовет обойщика, ибо ему необходимы бархатные портьеры, штофная обивка, тяжелые и толстые ковры, без которых он не может прийти в творческое состояние, так же и Бальзаку, несмотря на монастырский режим его работы, необходима пышная, чрезмерно пышная, громоздкая и, по правде говоря, довольно безвкусная обстановка.

Всю жизнь он будет испытывать наслаждение, обставляя квартиру; и так же как в своих романах, он, сочетая познания обойщика, портного, коллекционера, создает вокруг каждого из своих персонажей комнаты, дома, дворцы со все-

ми мельчайшими аксессуарами, чтобы на этом фоне как можно пластичнее выделить главные фигуры, точно так же и сам он нуждается в особо вычурном обрамлении. Это покамест еще не те драгоценные предметы, которые он начнет коллекционировать позже. Не итальянская бронза, не золотые табакерки, не кареты, украшенные гербами, и не кокетливые и роскошные пустяки, в погоне за которыми он в течение двух десятилетий растрачивал часы ночного сна, да и здоровье в придачу. На улице Кассини его окружают лишь мелкие роскошества. Покамест Бальзак шныряет по всем старьевщикам и антикварам лишь затем, чтобы приобрести абсолютно бесполезные украшения — кабинетные часы, канделябры, статуэтки и всякие дамские побрякушки — в дополнение к тем немногим предметам, которые он тайком от кредиторов вывез из квартиры на улице Марэ.

Не только семейство, но и приятель его Латуш считает эту бабью любовь к бараклу при полнейшем отсутствии денег совершенно абсурдной.

«Вы все такой же. Вы избрали местопребыванием Рю Кассини, но вовсе на ней не живете. Вы околачиваетесь где угодно, но только не там, где вас ожидает полезная деятельность, которая дает средства к существованию. Вы всей душой привязаны к коврам, к шкафам из красного дерева, к бессмысленно-вычурным книгам, к никому не нужным кабинетным часам и эстампам. Вы заставляете меня обрыскать весь Париж в погоне за канделябрами, которые никогда не будут светить вам, и при этом у вас нет двух медяков в кармане, чтобы иметь возможность навестить больного друга».

Но эта внешняя роскошь, вероятно, необходима Бальзаку именно потому, что она гармонирует с его внутренним богатством. Рабочая его комната напоминает монашескую келью и навсегда останется такой: столик, который он с суеверной привязанностью перевозит с квартиры на квартиру, канделябр (Бальзак работает преимущественно по ночам), стенной шкаф для бумаг и рукописей. Но гостиная должна выглядеть кокетливо, спальня и особенно ванная — располагать к неге.

В то самое мгновение, когда этот аскет выходит из темной кельи, когда он пробуждается от творческого сна, он хочет видеть теплые, чувственные краски, прикоснуться к нежным тканям, к золотистому облаку с небес богатства. Он хочет, чтобы его окружало нечто превосходящее привычные обывательские мерки, чтобы не слишком резко пробуждаться в этой другой действительности.

Но откуда берет Бальзак средства для своих приобретений? У него нет никаких доходов, у него только шестьдесят тысяч франков долга, на которые нарастают проценты — шесть тысяч франков в год. Как может он, который едва сводил концы с концами на улице Ледигьер, когда сам скреб и мыл свою каморку и сам ходил по воду за шесть улиц, только бы сэкономить су, причитающееся водоносу, — как может он теперь, при таких безмерных долгах, покупать не только самое необходимое, но приобретать столько предметов роскоши?

Герои его романов — его де Марсе, Растиньяки, Меркаде — разъяснят этот парадокс. Десятки раз будут они отстаивать тезис, согласно которому отсутствие долгов или незначительные долги делают людей бережливыми, а исполинские — расточительными.

Обладая сотней франков в месяц на улице Ледигьер, Бальзак долго мусолил каждый франк, прежде чем расстаться с ним. При шестидесяти тысячах франков долгу, этой астрономической для него сумме, Бальзаку безразлично — переплести ли свои любимые книги в неприглядный коленкор или алый марокен, сберечь ли несколько сотен или лучше сделать долгов еще на много тысяч. Он должен пробиться — так аргументируют его герои, так живет и аргументирует Бальзак. Он должен стать знаменитым, или жениться на богачке, или сорвать куш на бирже — и тогда все затраты окупятся. А если это ему не удастся — что ж, тогда пусть отдуваются кредиторы.

Оноре Бальзак решил не отступать. Лишь теперь, он знает это, начинается настоящая борьба, и отныне уже не ради

скудных гонораров, не ради мимолетных побед в никому не ведомых стычках, а ради великой и решающей цели. В его нищенском кабинете стоит на камине единственное украшение — гипсовая статуэтка Наполеона, быть может, чей-то подарок, быть может, он сам ее где-то подобрал. И Бальзаку кажется, что взор завоевателя вселенной направлен на него. Он принимает этот вызов, берет клочок бумаги и пишет:

«Что он начал мечом, я довершу пером».

И приклеивает свой девиз к камину. Пусть призыв — осмелиться на грандиозное деяние, сравниться с величайшим человеком всех времен, с человеком, который в такой же тесной парижской мансарде долгие годы ждал своего часа, прежде чем, обнажив меч, стал повелителем эпохи, — всегда будет перед его глазами.

И полный такой же решимости, как он, усаживается Оноре Бальзак за письменный стол, чтобы с пером — своим оружием — и несколькими стопками писчей бумаги — своими боеприпасами — завоевать вселенную.

Необычайное превосходство двадцатидевятилетнего Бальзака над девятнадцатилетним заключается в том, что он знает теперь, что он хочет создать. Только в ожесточенной борьбе ощутил он свою силу и постиг, что для удачи в любом деле необходимо направить всю свою волю к одной цели, сосредоточить ее на одном-единственном направлении.

Только когда человек не знает колебаний и не разбрасывается, только тогда воля его способна творить чудеса. Свойственная ему мономания — умение жертвовать всем ради одной-единственной всепоглощающей страсти (в бесчисленных вариациях воплотил Бальзак эту «коренную идею» своей психологии) — придает ему силу и неудержимо двигает его вперед, не наталкиваясь на сопротивление. Теперь для него становятся ясны его ошибки и причины его коммерческих поражений: он не был предан своим делам всей душой, он не сосредоточился на них целиком, он не гнался за каждым су

и каждым заказом с пылкой алчностью истинного коммерсанта. Он между делом еще писал и читал книги. Он не каждым нервом своего тела, не каждым помыслом своего разума служил исключительно своему предприятию, своей типографии. Если теперь он снова попытается заняться литературой, то ему придется вложить в это дело несравненно больше страсти и действовать гораздо более энергично, чем до сих пор. Все предварительные условия для этого уже существуют. Он набил себе руку на бесчисленных анонимных набросках. Он вступил в бесчисленные контакты с действительностью. Он познал людей, наблюдая их. Он познал на собственной шкуре все тяготы жизни, и теперь у него хватает материала, чтобы писать и повествовать в течение всей своей жизни. Как мальчик, отданный в ученье, он прислуживал многим господам, он служил и потребностям времени и злобе дня. Теперь он приближается к тридцати годам. Пора ученичества миновала. Он должен направить всю свою волю на творчество. И он станет мастером.

Да, он готов нести ответственность за себя и за свое творчество. И это явствует из его решимости опубликовать, наконец, книгу под собственным именем. Покамест он укрывался под псевдонимами и желал только сбыть с рук бесчисленные листы расхожего печатного товара, чтобы возможно быстрее заприходовать гонорар, он мог позволить себе роскошь быть легкомысленным.

Все упреки и все похвалы, которые вызывали эти второпях написанные сочинения, относились только к воображаемым господам де Сент-Обену или Вьелергле. Но на этот раз, когда он решил высоко поднять марку Оноре Бальзака, когда дело идет о том, чтобы пробиться сквозь густую толпу сочинителей и сквозь плотную массу книг и книжонок, он не желает больше, чтобы его смешивали с дрянными авторами бульварных романов и исторической писанины в духе мисс Анны Радклифф. В 1828 году Бальзак решает выступить с поднятым забралом и помериться силами с самым везучим, с самым прославленным автором исторических романов, с самим

Вальтером Скоттом. Он собирается оспорить пальму первенства у шотландца и не только завоевать ее, но и превзойти великого романиста. Под звуки фанфар в предисловии к новой книге Бальзак открывает турнир:

«Автор отнюдь не намерен придерживаться такого способа изложения событий, при котором сухие факты следуют один за другим, а действие развивается постепенно, шаг за шагом. Он не хочет быть анатомом, демонстрирующим скелет, кости которого заботливо перенумерованы. В наши дни следует ясно и понятно изложить великие уроки, которые встают перед нами в раскрытой книге Истории. Многие талантливые писатели постоянно следовали этому методу, и автор причисляет себя к ним. Он предпочитает вместо сухого протокола дать живую речь, вместо отчета о битве — описание самой битвы. Эпическому повествованию он предпочитает драматическое действие».

Впервые после «Кромвеля», этой незрелой юношеской попытки, Бальзак ставит перед собой задачу, которая требует всех его сил. Изумленный мир скоро поймет, какую неимоверную энергию он при этом высвобождает.

Сюжет своего первого настоящего произведения Бальзак подготавливал исподволь. Среди его бесчисленных бумаг обнаружены наброски к роману, в котором должен был изображаться эпизод из времен вандейского восстания против Французской республики. Кроме того, Бальзак заготовил отдельные эпизоды еще для одного анонимного сочинения, действие которого должно было происходить в Испании. Но теперь благодаря возросшему чувству ответственности Бальзак уже понял, как малодостоверны, как скудно документированы старые исторические романы. Писатель, который хочет приблизиться к действительности, не должен заставлять своих героев играть на фоне пестро размалеванных кулис, — нет, он должен правдиво и живо изобразить среду, их окружающую.

Прежде, когда он кропал романы из средневековой жизни, то, в худшем случае, разве несколько профессоров-специалистов могли бы обнаружить в них расхождения с действитель-

ностью. Но борьба Вандей происходила не в столь отдаленные времена. Еще живы сотни людей, сражавшихся в батальонах «Синих» или в крестьянских отрядах Кадудалья.

Итак, Бальзак теперь основательно берется за работу. Он извлекает из библиотек мемуары современников, он изучает отчеты о военных действиях и делает подробные выписки. Впервые обнаруживает он, что именно мелкие, неприметные, но достоверные детали, а вовсе не размашистые мазки, которыми пользуются другие авторы, придают роману жизненное правдоподобие. Но без правды и правдоподобия не может быть искусства, и никогда образы не оживут, если они не показаны в связи с непосредственным своим окружением, с почвой, пейзажем, средой, если они не овеяны специфическим воздухом эпохи. В первом же правдивом и самостоятельном своем произведении Бальзак становится реалистом.

Два-три месяца кряду Бальзак читает и изучает материалы. Он просматривает все доступные ему мемуары, он достает карты, стараясь возможно более точно установить передвижения войск, разобраться в каждом отдельном военном эпизоде. Однако книги никогда не в состоянии заменить непосредственное зрительное восприятие, даже если читатель обладает величайшим воображением. Скоро Бальзак убеждается, что для того, чтобы точно описать путешествие м-ль де Верней, он должен проделать в почтовой карете тот же путь, что и его героиня; что для того, чтобы передать воздух, атмосферу и подлинный колорит местности, он должен сравнить картины, которые создает его, быть может, слишком пылкое воображение, с действительностью.

Случай приходит ему на помощь. Один из старых республиканцев, участник кампании против шуанов, генерал на пенсии, живет как раз в Фужере, где некогда происходили военные действия, и к тому же этот барон де Поммерейль оказывается старинным другом семейства Бальзак. Оноре должен использовать такое необычайное стечение обстоятельств, даже если ему придется занять денег на дорогу или раздобыть их всяческой работенкой. Самые дотошнейшие бальзаковеды не

знают, сколько безымянной негритянской работы выполнял Бальзак в ту пору, когда он писал уже свои настоящие книги.

С обезоруживающей откровенностью Бальзак просит барона де Поммерейль извинить его за то, что расстроенные финансы вынуждают его прибегнуть к гостеприимству барона. Барон де Поммерейль, старый рубака, который в своем уединенном гнезде томится, вероятно, отчаянной скукой, рад-радешенек найти кого-нибудь, кто, развесив уши, со страстным участием внимал бы его рассказам о давно забытых подвигах. И поэтому он немедленно отвечает, что гость может приехать.

Двадцатидевятилетний Бальзак еще не обременен багажом. Его еще не сдает тщеславный снобизм, как в более поздние времена, когда он старается выбрать самый роскошный и дорогой из всех ста тридцати своих жилетов. Он еще не путешествует в собственном экипаже, сопровождаемый ливрейным лакеем. Очень скромно, даже бедно одетый и нисколько не привлекательный молодой человек забирается на самое дешевое место в дилижансе. Но даже это для него слишком большая роскошь. У него нет денег, чтобы доехать до конечного пункта. Последний отрезок пути он, бережливости ради, вынужден проделать пешком, семена своими короткими ножками. В результате этого пробега по большой дороге и без того небезупречный туалет молодого сочинителя приходит в окончательное расстройство. Когда он в поту и пыли стучится у дверей генерала де Поммерейля, его сперва принимают за бродягу. Но, едва переступив порог, он со всей непосредственностью молодости отдается счастливому чувству: наконец-то у него есть кров, стол и постель на много дней, а быть может, и месяцев, и первое жалкое впечатление, которое он производит, тотчас же исчезает. Мадам де Поммерейль описала впоследствии эту первую встречу, оставив нам выразительное изображение молодого Бальзака, той жизнерадостности, которая струилась тогда из его глаз, слов, из каждого его движения:

«Это был низенький молодой человек, коренастый: плохо сшитое платье делало его еще более нескладным. На нем

была отвратительная шляпа, но как только он ее снял, все остальное ступшевало перед выражением его лица. Я смотрела только на его голову. Вы не можете себе представить этот лоб, эти глаза — вы, которые их не видели, — огромный лоб, как будто облитый сиянием, и карие глаза, полные золота, выражавшие все так же ясно, как слова. У него был толстый квадратный нос, громадный рот, который все время смеялся, несмотря на скверные зубы. Он носил густые усы, и его длинные волосы были откинuty назад. В то время, особенно по приезде к нам, он был скорее худ и показался нам изголодавшимся.

Во всем его облике, в жестах, в манере говорить, держаться было столько доброты, столько чистосердечия, столько наивности, что невозможно было знать его и не любить. И потом, что в нем было замечательнее всего, так это его постоянная жизнерадостность, которая прямо была из него ключом и заражала всех».

Его так хорошо кормят, что «свою новообретенную дородность и свежий цвет лица» он теряет лишь в Париже некоторое время спустя. Вместо предполагавшихся двух недель он проводит у Поммерейлей два месяца. Он слушает рассказы очевидцев, ездит по округе и делает заметки. Он забывает Париж, своих друзей, забывает даже мадам де Берни, которой свято обещал посылать дневники со своими ежедневными впечатлениями. Он живет сейчас с той напряженностью, которая является у него предпосылкой творческой удачи. Слово мономан, одержим он только работой и уже через несколько недель может вручить Латушу большую часть своего романа.

Нюх на чужой талант — единственный дар Латуша. Он сразу чувствует, что Бальзак станет великим писателем. Однако уверенность Латуша при всей его искренности и убежденности выражается, к сожалению, в материальной форме. Он решает «поставить» на Бальзака, на эту «лошадку», и предлагает ему, зная его бедственное положение, тысячу франков за право издания еще не завершенного романа.

У Бальзака нет выбора. Хотя он получал уже полторы и даже две тысячи франков на свои прежние, без особого труда состряпанные книжонки, он не в силах устоять перед соблазном получить тысячу франков наличными. Сделка совершилась, и, как обычно бывает на этом свете, дружба пошла прахом. Латуша ожидает неприятный сюрприз. Привыкнув смотреть на Бальзака, как на расторопного и толкового батрака, который без промедления, точно в срок поставляет нужное количество убийств, отравлений и чувствительных диалогов, он весьма досадует, увидев, что на этот раз Бальзака приходится подстегивать. Бальзак не сдаст свою рукопись, пока сам в глубине души не будет доволен ею. И новая проволочка: едва удалось вырвать рукопись у Бальзака и отправить ее в типографию, как напечатанные листы возвращаются с такими исправлениями и изменениями, что их приходится перебирать. Латуш вне себя — время и деньги растрачиваются на эту непрерывную правку. И не он один будет горько сетовать по этому поводу. Но Бальзак уже не позволяет помыкать собою.

Чувство ответственности превратило бывшего торговца вразнос в истинного художника. Впервые он чувствует, что он обязан сделать ради имени Оноре Бальзак, имени, которое он решил обессмертить.

Денежные долги морально очень мало тревожили Бальзака до конца его дней. Но тем более тревожил его нравственный долг, его обязанность перед самим собою.

В середине марта 1829 года появляется наконец «Последний шуан, или Бретань в 1800 году» Оноре Бальзака — следовательно, еще не де Бальзака — в четырех томах у книгоиздателя Канеля. Роман не имеет особого успеха. И это в известной мере справедливо. В общем замысле и композиции впервые чувствуется рука великого эпического писателя. Замечательно описание местности. Все военные сцены воссозданы с великолепной пластичностью. Фигуры генерала Юло, шпиона Корантена кажутся вылепленными прямо с натуры, и свойственное Бальзаку понимание политической

подоплеку, которое впоследствии наложит такую изумительную печать времени на его романы, заставило писателя извлечь фигуру Фуше из тени, в которой всю свою жизнь прятался этот могущественный антипод Наполеона, — фигуру, которая всегда притягивала к себе Бальзака. И только интрига предательски выдает свое происхождение от бульварного романа. М-ль де Верней, контрабандой переправленная сюда из анонимного «Гитариста», сфабрикованного Бальзаком несколько лет тому назад для своих сомнительных заказчиков, — эта м-ль де Верней неправдоподобна в каждой сцене.

Парижская критика, которая, несмотря на все старания Латуша и Бальзака, проявляет известное равнодушие, справедливо указывает еще и на «распутство слога». И Бальзак, увы, не в силах скрыть от себя, что в результате беспечной, годами длившейся продажи за бесценок он пишет слишком развязно. Еще пять лет спустя, когда он со всей тщательностью, на которую только был способен, выправил стиль своих прежних вещей для нового издания, он пишет барону Жерару, которому посылает «старую книженцию в исправленном виде»:

«Какие бы усилия я ни прилагал, боюсь, что почерк начинающего можно будет различить всегда».

Да и публика не слишком восхищена новоявленным французским Вальтером Скоттом или Фенимором Купером. Несмотря на все старания, за целый год продано только четыреста сорок пять экземпляров «Шуанов»; и человек, который преждевременно доверился Бальзаку, расплачивается за свое доверие, как и все другие, значительными материальными потерями. Но случай возместил эту неудачу.

Когда Бальзак еще трудился над «Шуанами», к нему внезапно врывается издатель Левассер, которому посчастливилось узнать адрес неуловимого должника, и напоминает ему в довольно настоятельной форме о том, что он, Левассер, уже год назад выплатил ему, Бальзаку, двести франков под «Руководство для делового человека», один из тех кодексов, за

сочинение которых брался вечно нуждающийся Бальзак. Писатель давным-давно позабыл об этой сделке, но Левассер настаивает на своем праве.

Не желая прерывать работу над первым серьезным романом ради сочинения такой пустяковины, такой случайной поделки, Бальзак предлагает своему кредитору следующее: у него среди старых рукописей завалился еще другой кодекс, «супружеский», который он в свое время даже начал печатать под названием «Физиология брака». Если Левассер согласен, он переработает этот кодекс для него и тем самым покроет долг по «Руководству для делового человека». Левассер, который, видимо, хорошо представляет себе, сколь безнадежно выцарапать наличные у этого голодранца, объявляет, что согласен.

Бальзак принимается за дело. От прежнего опуса остаются лишь рожки да ножки. В свое время Бальзак упоенно читал Рабле, и вместо холодного остроумия его прежнего кумира — Стерна — вносит теперь пыл и блеск в свою манеру изложения. Его приятельница мадам де Берни и новая знакомая герцогиня д'Абрантес снабжают его забавными анекдотами, и таким образом, по необходимости и ради необходимости, возникает блестящая, остроумная, ловкая книга, которая своими дерзкими парадоксами, своей учливой циничностью и своим скептическим юмором явно вызывает на дискуссию.

Эта не замедлившая возникнуть благосклонная и неблагосклонная дискуссия приносит книге мгновенный успех. В особенности неистовствуют женщины, которых автор «Физиологии брака» и раздражил и позабавил. Они шлют Бальзаку слащавые и кислые послания, они восхищаются и жалуются, но, во всяком случае, во всех салонах в ближайшие недели только и разговору, что об этой книге. Бальзак еще не пробился, он еще не знаменит, но одного он уже достиг: Париж заинтригован новоявленным юным писателем, этим господином Бальзаком. Его приглашают в свет, он вынужден заказывать своему портному роскошные фраки и замысловатые

жилеты, герцогиня д'Абрантес представляет его мадам Рекамье, чей салон в те времена был подлинной литературной биржей. У конкурирующей фирмы — мадам Софи и Дельфины Ге — он знакомится со своими уже прославленными братьями Виктором Гюго, Ламартином, Жюлем Жаненом, и теперь необходимо только последнее усилие, чтобы и второе его желание, которое он загадал, исполнилось — он хочет быть не только любим, но и знаменит.

Путь еще не свободен, но дамба уже прорвана, и со всей мощью запруженного потока низвергается подобно каскаду безмерная творческая сила Бальзака. С тех пор как Париж заметил разностороннее дарование этого молодого писателя, который в одно и то же время может испечь в одной духовке столь солидный пирог, как исторический роман, и столь пикантный пирожок, как «Физиология брака», Бальзак «почти обезумел от успеха и от избытка заказов». Но и сами заказчики Бальзака не представляют себе, сколь многогранен новый мастер на все руки, как много он в состоянии дать, какой могучий гром грянет в ответ на их первый, еще вовсе не настоятельный призыв.

Едва только имя его приобрело некоторую известность, как Бальзак за два года — 1830 и 1831 — опубликовал такое множество новелл, небольших романов, газетных статей, легкой журнальной болтовни, коротких рассказов, фельетонов, политических заметок, что в анналах литературы почти что нет подобных примеров. Если подсчитать одно только количество страниц в семидесяти бесспорно принадлежащих ему публикациях за 1830 год (возможно, что наряду с этими он писал еще и другие, под чужим именем) и в семидесяти пяти за 1831 год, то окажется, что он каждый день писал почти шестьдесят страниц, не считая работы над корректурой. Нет ни одного обозрения, ни одной газеты, ни одного журнала, в которых внезапно не обнаруживалось бы его имя. Он пописывает в «Силуэте», «Воре», «Карикатуре», «Моде», «Ревю де

Пари» и в десятках других разношерстных газет и журналов. Он еще болтает порой в фельетонном стиле своих прежних «кодексов» о «философии туалета» и «гастрономической физиологии». Нынче пишет он о Наполеоне, а завтра о перчатках, прикидывается философом в рассуждениях «о Сен-Симоне и сен-симонистах» и оглашает «Мнения моего бакалейщика», изучает особенности «Клакера» или «Банкира», разбирает по косточкам «манеру вызывать мятеж», а потом набрасывает «моралите* бутылки шампанского» или «физиологию сигары».

Такое непостоянство и остроумие сами по себе не являются чем-то необычным в парижской журналистике. Но поразительно, что наряду с этим сверкающим фейерверком возникают и законченные шедевры, сперва, правда, малых размеров, но такого качества, что, хотя написаны они в однуединственную ночь и в том же темпе, как все эти пустяковые публикации, они уже пережили свое первое столетие и не забыты и в наши дни. «Страсть в пустыне», «Эпизод времен террора», «Палач», «Саразен» доказывают, что этот недавно еще никому не ведомый сочинитель оказался непревзойденным мастером новеллы.

Чем больше Бальзак стремится выдвинуться на передний план, тем больше возможностей открывает он в себе, тем окрыленнее творит. «Vires acquirit eundo» — «идуший вперед становится сильнее». В жанровых картинках из жизни парижского общества — «Этюд о женщинах», «Тридцатилетняя женщина», «Супружеское согласие» — он создает совершенно новый тип непонятой женщины, которую супружество разочаровывает во всех ее ожиданиях и мечтах, которая, как от тайного недуга, тает от безразличия и холодности мужа. Именно эти повести, еще перегруженные сентиментальностью, повести, которые вследствие недостатка в них реализма и правдивости деталей представляются нам надуманными, именно эти повествования завоевывают восхищенную публи-

* Моралите — мораль, нравственные принципы. — *Примеч. ред.*

ку. И так как во Франции, да и на всем белом свете, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч женщин чувствуют себя непонятыми и разочарованными, они обретают в Бальзаке врача, который первый дал имя их недугу. Он извиняет любой их неверный шаг, если только шаг этот совершен из любви, он решается сказать, что не только «тридцатилетняя женщина», но и «сорокалетняя женщина», и даже именно она, все познавшая и все постигшая, имеет высшее право на любовь.

И они чувствуют, что он понял их, как никто другой. Да, он станет их адвокатом, защищающим их перед законами и моралью буржуазного государства, и бесчисленным господам д'Эглемон будет казаться, что они узнают себя в его идеализированных портретах. В «Сценах частной жизни», которые появились в апреле 1830 года и которыми с одинаковым восторгом зачитываются не только во Франции, но и в Италии, в Польше, в России, он ввел понятие — «тридцатилетняя женщина» и установил, таким образом, новый возраст любви для женщин всего мира.

Впрочем, и более высокое судилище, чем самовлюбленную дамскую публику, — соболезнуя своим любимцам, она соболезнует всегда только себе, — поражает разносторонность этого писателя, который из темной клетки бульварной литературы одним львиным прыжком вырвался на середину литературной арены. Такому рассказу, как «Красная гостиница», целое поколение уже прославленных французских писателей едва ли может противопоставить что-либо равное по сжатости, сдержанности и точности изобразительной силы. В «Неведомом шедевре» Бальзак, дотоле возбуждавший удивление только размахом таланта, показал всю глубину своего гения. Именно художники чувствуют, что никогда еще интимнейшая тайна искусства, стремление к совершенству не были с таким неистовством доведены до масштабов трагического. Десять, пятнадцать «глазков» бальзаковского гения уже начали светиться его внутренним светом. Но мерой Бальзака всегда будет только его широта, его полнота, его

многообразии в целом. Только сумма его сил сможет выразить всю сущность, всю безмерность Бальзака.

Впервые он дает представление об истинном размахе бальзаковского таланта в первом своем настоящем романе, в «Шагреновой коже», ибо здесь раскрывает он стоящую перед ним цель — создать роман, в котором, как в разрезе, будет показано все общество, верхние слои и нижние, нищета и богатство, лишения и мотовство, гений и буржуазия, Париж одиночества и Париж салонов, сила денег и их бессилие. Великий наблюдатель и проницательный критик вынуждает сентиментального романтика высказать правду наперекор его воле. В «Шагреновой коже» романтичен уже только ее замысел, попытка воплотить восточную сказку из «Тысячи и одной ночи» в Париже 1830 года. Романтичны, пожалуй, еще образы ледяной графини Феодоры, которая любит роскошь, а не любовь, и ее антипода — Полины, девушки, наделенной даром безграничной жертвенной любви. Но правдивость, с которой изображена вакханалия (правдивость, испугавшая его современников), или описание студенческих лет — все это Бальзак почерпнул из своего житейского опыта. Споры врачей, изложенная ростовщиком философия — это уже не салонные разговоры, это характеры, воплощенные и раскрывающиеся в словах.

После десяти лет поисков вслепую Бальзак открыл свое истинное призвание. Он будет историком своей эпохи, психологом и физиологом, живописцем и врачом, судьей и поэтом того чудовищного организма, который называется Париж, Франция, вселенная. Если первым его открытием было открытие своей гигантской работоспособности, то вторым, и не менее важным, оказалось открытие цели, на которую следует обратить свою исполинскую мощь. Обретя эту цель, Бальзак обрел самого себя. До сих пор он только ощущал, словно пружину, свернувшуюся в его груди, грандиозную силу, которая должна наконец вывести его на космическую орбиту, вознести над унылыми копошащимися современниками.

«Существуют призвания, которым нужно следовать, и некая непреодолимая сила гонит меня вперед, навстречу славе и могуществу».

Но точно так же, как Гёте, который даже после успеха «Вертера» и «Геца фон Берлихингена» не решался признать, что его своеобразный и единственный талант заключен в литературном творчестве, точно так же Бальзак в период до «Шагреновой кожи» и даже после выхода этой повести не убежден в том, что литература — его истинное призвание. И в самом деле, Бальзак принадлежит к тем великим гениям, чья гениальность проявилась бы в любой избранной ими сфере. Он мог бы стать вторым Мирабо, Талейраном, Наполеоном, великим закройщиком, князем всех антикваров, маэстро всех дельцов. Поэтому он вовсе не чувствует, даже в юности, что литература является специфическим его даром, и Готье, который отлично его знал, был, вероятно, не совсем не прав, уверяя:

«Он не обладал, собственно, литературным дарованием. Зияющая бездна разверзлась у него между замыслом и воплощением. Он сам отчаивался, особенно в своих ранних творениях, преодолеть эту пропасть».

Литературное творчество не было для Бальзака необходимостью, и он никогда не воспринимал его как некую миссию. Он рассматривал писательство только как одну из многих возможностей выбиться, чтобы посредством денег и славы завоевать мир.

«Он хотел стать великим человеком, и он достиг своей цели благодаря непрестанному проявлению силы, более могущественной, чем флюиды электричества».

Истинным его гением была воля, и можно назвать случайностью или, если угодно, миссией то, что эта воля разрядилась именно в области литературы. В то время как первые его книги уже читаются во всех уголках земного шара и сам восьмидесятилетний Гете высказывает Эккерману свое благосклонное изумление по поводу этого из ряда вон выходящего дарования; в то время как журналы и газеты наперебой

стараятся привлечь грандиозными гонорами того самого человека, который всего год назад сказал, трудясь, как жалкий кули: «Плата за письмо, билет и омнибус означают для меня ужасный расход, и я не выхожу из дому, чтобы сберечь свое платье», — в это самое время Бальзак еще не убежден, что у него хватит таланта, чтобы стать писателем. Он все еще считает литературу не единственной необходимой для него жизненной деятельностью, а только одной из многих возможностей пробиться.

«Раньше или позже я сколочу себе состояние — как писатель, в политике или журналистике, при помощи женитьбы или какой-нибудь крупной сделки», — пишет он матери еще в 1832 году.

На некоторое время политика приобретает для него неотразимую притягательную силу. Разве не проще и быстрее добиться над людьми власти, которую он в себе ощущает, если использовать сейчас благоприятное стечение обстоятельств? Июльская революция 1830 года вернула господство буржуазии. Для энергичных молодых людей открылось новое поле деятельности. Депутат может выдвинуться так же быстро, как во времена Наполеона полковник — в двадцать пять, тридцать лет.

Некоторое время Бальзак почти готов пожертвовать литературой ради политики. Он с головой уходит в «бурную сферу политических страстей» и пытается выставить свою кандидатуру в качестве депутата от Камбрэ и Фужера, только бы чувствовать в руке кормило власти, «жить жизнью этого века», быть на ответственном, на руководящем посту.

К счастью, в обоих городах избиратели утвердили других кандидатов, и теперь остается лишь вторая опасность — опасность, что отыщется «женщина и состояние», та «несметно богатая вдовушка», которую он ищет всю жизнь. Случись это, и в Бальзаке проявился бы потребитель, человек, наслаждающийся жизнью, а не грандиозный труженик, ибо — он сам еще этого не знает — потребует исполненное принуждение, чтобы вызвать у него исполненное деяние. Ради

тридцати, нет, даже пятнадцати тысяч франков ренты Бальзак в любой период жизни, даже в период величайшей своей славы, немедленно бежал бы с каторги труда и ушел бы в мещанское счастье.

«Я ограничился бы счастьем в домашнем кругу», — признается он своей приятельнице Зюльме Карро и, вечно затравленный, вечно в бегах, делится с ней своей мечтой жить на лоне природы и только по собственному желанию, не спеша, от случая к случаю писать книги.

Но судьба, которая куда мудрее Бальзака в его самых сокровенных желаниях, не позволяет ему преждевременно довольствоваться малым, ибо жаждет от него большего. Она лишает государственного мыслителя, таящегося в нем, возможности опозлить свой талант в министерском кресле. Она отказывает Бальзаку-дельцу в шансе путем спекуляций хватать вожаемое состояние. Она убирает с его дороги всех столь милых его сердцу богатых вдовушек. Она превращает его страсть к журналистике в отчаянное отвращение. Она разжигает в нем ненависть ко всяческой газетной суе — и все лишь затем, чтобы толкнуть и приковать его к письменному столу. И здесь гений его сможет завоевать не только ограниченные сферы палаты депутатов или биржи, не только тесный мирок элегантных расточителей, — он завоюет и весь мир.

Безжалостно, как тюремщик, она вновь и вновь загоняет его назад, на каторгу труда, и когда он, стремящийся наслаждаться жизнью, безмерно жаждущий любви, могущества и свободы, пытается выломать решетку и бежать, она каждый раз расстраивает все его замыслы и заковывает во все более тяжелые кандалы. Вероятно, темное предчувствие охватило Бальзака еще в чаду его юной славы, темное предчувствие того, какое бремя, какое тягостное служение берет он на свои плечи вместе с этой своей жизненной задачей. Он защищается изо всех сил, он пытается ускользнуть от нее. Он всегда будет уповать только на чудо, мечтая одним ударом вырваться из своей тюрьмы. Он всегда будет мечтать о великой

махинации, о богатой невесте, о каком-то магическом повороте судьбы.

Но так как бегство не удастся, так как ему предназначено творить, то чудовищная затаенная мощь вынуждена найти для себя такие масштабы воздействия, какие доселе не были известны в литературе. Безмерное станет его мерой, беспредельное — его пределом. Едва начав, он видит уже, что силы, которые в избытке и переизбытке хлещут из его души, должны быть как-то укрощены, чтобы стать обозримыми для него самого и для других. Если полем его деятельности должна стать литература, то пусть она будет не хаосом, но последовательным восхождением, иерархией всех земных страстей и явлений жизни. Посылая одному из друзей свой первый роман, Бальзак уже пишет: «Общий план моего творения начинает постепенно вырисовываться».

Плодотворная мысль осенила его — он заставит созданные им образы переходить из книги в книгу, и, используя эту вседушность своих персонажей, он напишет поэтическую историю эпохи, которая охватит все сословия, все профессии, все помыслы, все чувства, все взаимосвязи. И в предисловии к изданию своих «Романов и философских сказок» он устами Филарета Шаля подготавливает публику, говоря, что задумана широкая картина века, и в этом томе лишь «первое произведение из большой серии фресок. Автор поставил перед собой задачу набросать картину общества и цивилизации нашей эпохи, которая кажется ему упадочной, с ее горячечной фантазией и преобладанием индивидуального эгоизма. Вы увидите, как автор умеет смешивать все новые и новые краски на своей палитре... как он показывает по порядку все ступени социальной лестницы. Одну фигуру за другой проводит он перед нами: крестьянина, нищего, пастуха, буржуа, министра, и он не побоится даже изобразить самого монарха или священнослужителя».

В тот самый миг, когда в Бальзаке пробуждается художник, пред ним предстает великое видение — «Человеческая комедия». И двадцати лет безмерного и беспримерного труда едва хватит на то, чтобы его воплотить.



Книга вторая
БАЛЬЗАК ЗА РАБОТОЙ

VII. ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ МУЖЧИНА

В 1829 году, на тридцатом году жизни, выпустив в свет первую настоящую свою книгу, Бальзак наконец становится Оноре де Бальзаком. Его длительное и сложное развитие достигло своего завершения. Как человек, как художник, как характер — творчески, морально и внешне, — он полностью сформировался. Ни одна решающая черта в его образе не изменится больше. Его беспримерная, бережно накопленная сила нашла наконец выход. Созидатель поставил перед собой задачу, могучий зодчий набросал, пусть только еще в приблизительных контурах, план своего будущего творения, и с мужеством льва набрасывается Бальзак на работу. Пока бьется сердце писателя, безостановочный ритм его повседневной работы уже не будет знать ни перебоя, ни остановки. Этот человек, безмерный во всем, поставил перед собой недостижимую, в сущности, цель. Но только смерть положит конец его прометеевской воле. Бальзак за работой! В литературе нового времени это, пожалуй, самый грандиозный пример непрерывного и неукротимого творчества. Пока не подкосит его топор, он, как мощное дерево, напоенное вечными соками земли, будет выситься, подпирая небосвод пышной кроной своего творчества, уходя корнями в родную почву, и со стихийным упорством выполнять предначертанное ему судьбой — цвести, расти и приносить непрестанно все более и более зрелые плоды.

После творческого своего обновления Бальзак уже не изменится никогда и ни в чем. Внешность его меняется столь же мало, как и его характер. Сравним портрет пятидесятилетнего писателя с портретом тридцатилетнего, — мы обнаружим в нем лишь самые незначительные перемены. Появилось несколько седых прядей, под глазами легли тени, румяное лицо подернула легкая желтизна, но весь облик остался прежним. К тридцати годам все индивидуальное и неповторимое, свойственное внешности Бальзака, приняло окончательное свое выражение. Удивительный круговорот завершился, и из щуплого, бледного и еще не оформившегося юноши, некрасивую внешность которого смягчало лишь «отдаленное сходство» с молодым и еще «не прославленным» Бонапартом, он опять стал «толстым щекастым мальчишкой», каким был в раннем детстве. Все нервное, неуверенное, нетерпеливое, беспокойное отступает в тот миг, когда Бальзак усаживается за письменный стол, — мощный, энергичный, широкоплечий, излучая довольство. Создавая образ д'Артеза, Бальзак создал образ своего двойника. Он рисует свое зеркальное отражение, когда говорит:

«Выражение глаз д'Артеза, некогда пылавших огнем благородного честолюбия, с тех пор, как к нему пришел успех, приобрело оттенок усталости. Помыслы, придававшие величие его челу, уже отцвели. Золотистые тени довольства легли на его лице, которое в юности темнело бурными тонами нужды, — краски темперамента, напрягающего все свои силы, чтобы неотступно бороться и победить».

Лицо Бальзака обманчиво, как у большинства художников. Мы видим перед собой человека, любящего удовольствия и наслаждающегося жизнью, игриво-добродушного здоровяка.

Лицо это, увенчанное могучей и почти всегда грязной гривой, вздымающейся над твердым и ясным лбом, изваяно из податливого материала. Мягкая и жирная кожа, нежная и редкая растительность, широкие, расплывшиеся черты кажутся свойственными человеку, неравнодушному к житей-

ским радостям, лежебоке, обжоре, лентяю. И, только взглянув на плечи Бальзака, подобные плечам его Вотрена, широкие, как у грузчика, на эту упрямую, мускулистую, бычью шею, которая по двенадцати—четырнадцать часов кряду неустанно гнется над работой, на эту атлетическую грудь, можно составить некоторое представление о массивности, о мощи его организма. Под этим мягким, расплывчатым подбородком начинается могучее тело, крепкое, как железо. Гениальность тела Бальзака, как и его труда, заключается в объеме, в широте, в неопишуемой жизнеспособности. И поэтому напрасна и заранее обречена на неудачу всякая попытка показать гениальность Бальзака, изображая только его лицо.

Скульптор Давид Анжерский попытался преувеличить высоту лба, выделить, подчеркнуть шишки на нем, чтобы зритель, глядя на самую форму черепа, мог постичь могущество этого мозга.

Живописец Буланже постарался замаскировать белоснежной рясой назойливую, бросающуюся в глаза тучность и придать величавую осанку мешковатому толстяку.

Роден вложил во взор Бальзака экстатически-испуганное выражение, как у человека, пробуждающегося от трагических галлюцинаций.

Попытки всех трех художников вызваны одним и тем же смутным ощущением. Им кажется, что этот сам по себе простоватый облик необходимо гиперболизировать, контрабандой внести в него демонические и героические элементы, дабы выявить заключенный в нем гений. Да и сам Бальзак точно так же пытается выявить свою сущность, рисуя себя в образе З. Маркаса:

«Его волосы напоминали гриву; нос был короткий и приплюснутый, с бороздкой на конце и с широкими крыльями, как у льва. И лоб был львиный, разделенный могучей бороздой на два мощных бугра». Но, справедливости ради, следует безжалостно заявить, что подобно всем истинно народным гениям — подобно Толстому, подобно Лютеру — Бальзак

выглядит, как его народ. Облик Бальзака — это сумма бесчисленных обличей его безвестных сородичей. И в данном частном случае — опять-таки как у Лютера, как у Толстого — это подлинно народный, благородно-обыденный, свойственный всем и каждому, даже просто плебейский облик. Во Франции духовная мощь нации с особенной четкостью выражается в двух типах: в аристократически-утонченном, рафинированном, подобно Ришелье, Вольтеру, Валери, и в другом, где обретает свое выражение сила и здоровье народа, в типе Мирабо и Дантона.

Бальзак всецело принадлежит к обыденному, самому распространенному классу, а отнюдь не к аристократам, не к упадочным натурам. Подвяжите ему фартук и поставьте его за стойку в кабачке на юге Франции, и Бальзака — добродушного и лукавого — нельзя будет отличить от любого неграмотного трактирщика, который потчует своих клиентов вином и точит с ними ляды.

Как пахарь за плугом, как водонос на мостовой, как сборщик налогов, как матрос в марсельском притоне, Бальзак всюду производил бы естественное впечатление. Естествен и натурален Бальзак с засученными рукавами, небрежно одетый, как крестьянин или пролетарий, как народ, частица которого он есть.

Но он кажется ряженым, когда тщится быть элегантным, и ломается на аристократический манер, когда он помадит свои волосы, когда к чертовски пронизательным и всевидящим своим глазам подносит обезьяний лорнет, дабы уподобиться щеголям из Сен-Жерменского предместья.

Как и в своем искусстве, Бальзак силен не там, где он искусствен, где, умствуя и сентиментальничая, вторгается в чуждую ему сферу — в сферу, заставляющую его фальшивить. Сила Бальзака там, где он — народ. Да и телесная гениальность Бальзака заключалась именно в его жизненности, в его стремительности, в его энергии. Впрочем, портрет не в состоянии передать как раз эти свойства. Портрет можно сравнить с кадром из фильма, запечатлевшего жизнь, — это

секунда окоченения, сдерживания, прерванное движение. Точно так же как по одной странице Бальзака трудно постичь многогранность и беспримерную продуктивность его гения, так же нелегко по нескольким сохранившимся изображениям Бальзака представить себе щедрость этого духа, его пылкость, веселость и бьющий через край избыток энергии, представить себе, каким он был в жизни. Мимолетный, поверхностный взгляд ничего не увидит в Бальзаке.

Мы знаем из всех показаний его современников — и в этом они совпадают, — что когда приземистый толстый человек, еще отдуваясь после подъема по крутой лестнице, в полурасстегнутом коричневом сюртуке, в башмаках с развязанными шнурками, неопрятный и лохматый, вваливался в комнату и плюхался в кресло, угрожающе стонущее под бременем его восьмидесяти пяти, а может, и всех девяносто килограммов, то первое впечатление было просто ошеломляющим.

«Как, этот неотесанный, тучный, нестерпимо надушенный простолюдин — это и есть наш Бальзак, трубадур, воспевший интимнейшие наши переживания, неизменный защитник наших прав?» — изумляются дамы. И присутствующие литераторы чувствуют себя удовлетворенными и, украдкой посматривая в зеркало, констатируют, насколько лучшее впечатление производят они, насколько одухотворенней они выглядят.

Усмешки прячутся за веерами, мужчины иронически поглядывают на этого мещанина с головы до пят, на этого грузного плебея, который неожиданно оказался столь опасным для них литературным конкурентом. Но стоит Бальзаку раскрыть рот, и первое неприятное впечатление сразу же рассеивается, ибо низвергающийся водопад его красноречия сверкает мыслью и остроумием. Атмосфера в комнате тотчас наэлектризовывается, оратор магнетически привлекает к себе всеобщее внимание. Бальзак толкует о множестве предметов — иногда и о философии, — набрасывает политические проекты, сыплет тысячами анекдотов. Он рассказывает исто-

рии, истинные и вымышленные, которые в его устах становятся еще фантастичнее и невероятнее. Бальзак хвастает, издевается, смеется, из темно-карих глаз его так и брызжут острые золотистые искорки, он опьяняется своей силой и опьяняет других.

В минуты душевной щедрости Бальзак не знает себе равных. Эта чудодейственная сила, обитающая в его творениях и в нем самом, — она и есть таинственные чары, исходящие от него. Все, что он делает, проявляется у него по сравнению с прочими смертными с десятикратной силой.

Он смеется — и дрожат на стенах картины, он говорит — и слова его кипят, и слушатели забывают о его гнилых зубах. Бальзак путешествует — и швыряет кучеру каждые полчаса на водку, чтобы тот побыстрее гнал лошадей. Он производит расчеты, и тогда беснуются и громятся тысячи и миллионы. Он работает — и нет для него ни дня, ни ночи: по десять, по четырнадцать часов кряду не отрывается он от стола, ломает дюжину вороньих перьев. Он ест... Впрочем, Гозлан превосходно описал это:

«Губы его тряслись, глаза сияли от счастья, руки трепетали от наслаждения, ибо перед ним высилась пирамида роскошных груш и персиков...

Он был неподражаем в своем роскошном пантагрюэлевском стиле. Галстук снял, рубашку распахнул. В руке он держал фруктовый нож и, смеясь, вгонял лезвие, словно саблю, в сочную мякоть груши».

Все, что он делает, он делает с наслаждением, как одержимый, всегда перехватывая через край. Характеру его абсолютно чужда мелочность. Бальзак отличается добродушием и ребячливостью исполина. Он не ведает страха и расточительно распоряжается своей жизнью. Его благодушие непоколебимо. Он знает, что его коллеги чувствуют себя неловко в его чрезмерно громоздком присутствии, знает, что они шушукаются за его спиной о том, что, дескать, у него нет стиля. Знает, что они без конца упражняются в злорадстве на его счет. Но со свойственным ему энтузиазмом он находит

для каждого из них дружеское слово, посвящает им свои книги, упоминает каждого в «Человеческой комедии». И каждого пристраивает в ней на подходящее местечко.

Бальзак слишком велик для вражды. В его произведениях никогда нельзя обнаружить личных выпадов.

Когда он считает, он непременно просчитывается, ибо возводит числа в самую высокую степень. Он терзает и изматывает своих издателей, но вовсе не ради нескольких лишних франков, а ради наслаждения, ради потехи, ради желания показать, что здесь он господин. Бальзак лжет вовсе не для того, чтобы обманывать, а просто наслаждаясь собственной фантазией, из любви к шутке. Он знает, что у него за спиной потешаются над его ребячествами, но, вместо того чтобы перестать дурачиться, он кривляется еще больше. Он плетет всякий вздор, и, хотя ясно подмечает своим острым и быстрым взглядом, что друзья не верят ни единому его слову, и знает, что на следующее утро они разнесут его слова по всему Парижу, он потчует их еще более поразительными рассказами. Его забавляет, что окружающие воспринимают его как нечто нелепое, не вмещающееся в их схемы, и, предвосхищая карикатуры, он в поистине раблезианском духе создает шарж на самого себя. Да разве могут они что-нибудь сделать ему? Нет такой секунды, когда бы Бальзак не чувствовал, что телесно и духовно он сильнее их всех, вместе взятых, и он смотрит сквозь пальцы на их выходки.

Сознание своего могущества зиждется у Бальзака на телесном и умственном превосходстве, на грандиозности его энергии. Это словно самосознание мускулов, крови, соков и силы, самосознание, вызванное полнотой жизни. Оно покоится вовсе не на одной только славе или успехе.

Нет, как писатель Бальзак даже и в тридцать шесть лет, даже создав уже «Отца Горио», «Шагреновую кожу» и множество других неувядаемых шедевров, все еще не вполне уверен в себе. Его ощущение жизни основано не на анализе. Оно возникло не из самонаблюдений или из сторонних суждений. Ощущение это стихийно. Бальзак ощущает в себе

полноту сил и наслаждается этим ощущением, не видя необходимости в придирчивом и критическом анализе:

«В моих пяти футах и двух дюймах содержатся все мыслимые контрасты и противоречия. Всякий, кто назвал бы меня тщеславным, расточительным, наивным, ветреным, непоследовательным, вздорным, ленивым, поверхностным и ограниченным, непостоянным, болтливym, бестактным, невоспитанным, невежливым, чудаковатым и переменчивым, будет столь же прав, как и тот, кто станет утверждать, что я домовит, скромн, отважен, упорен, энергичен, весел, трудолюбив, постоянен, вежлив, точен, неизменно приветлив. С тем же правом можно заметить, что я трус или истинный герой, умница или болван, даровит или тупоумен, — я ничему не удивлюсь. Сам же я пришел, наконец, к выводу, что я только инструмент, на котором играют обстоятельства».

Пусть другие раздумывают над его свойствами, восхваляют его или издеваются над ним, он идет вперед — прямой, храбрый, веселый, беззаботный, минуя все препятствия и горести, с беспечностью стихии. Ощущающий в себе такую мощь вправе быть небрежным. Чванство его ребячливо, но не мелочно. Он обладает уверенностью и беззаботностью человека опьяненного. Столь могучая и широкая натура непременно должна быть расточительна, и Бальзак расточителен — во всех смыслах. Лишь в одном отношении он по необходимости заставил себя быть скупым — в общении с людьми. Человек, который только час, один час в день может отдать «свету», не имеет времени, как он заметил однажды, для общения с друзьями.

Действительно, тех, с кем он по-настоящему близок, можно перечесть по пальцам. Не больше десяти людей составляют, в сущности, его круг. Все эти друзья — среди них и самый дорогой — собрались около Бальзака, когда ему минуло всего тридцать лет. И ни новой дружбы, ни опыта, ни художественной виртуозности последующие годы уже не принесли. Все, что он должен был воспринять, он полностью воспринял и усвоил к тридцати годам. Начиная с этого возраста Бальзак

ничему не отдается с такой страстью, как своему творчеству. Только люди, созданные им самим, для него важны и реальны. В узком, но постоянном кругу друзей Бальзак отдает предпочтение женщинам. Девять десятых его писем, если не больше, адресованы им. Только в переписке с ними может он удовлетворить непреодолимую потребность излить свою вечно переполненную душу. Только перед женщинами может он обнажить свое сердце. И время от времени, после молчания, длящегося месяцами, он вдруг обращается к ним с бурной жаждой участия. Нередко он изливает свою душу перед женщиной, которую никогда не видел или с которой едва знаком. Никогда не писал он интимных писем мужчинам, даже самым великим и прославленным своим современникам, даже Виктору Гюго, даже Стендалю, и никогда не говорил он им о своих душевных конфликтах или о проблемах художественного творчества.

Этому краснобаю-мономану, который едва слушает слова собеседника, зато позволяет неудержимо течь своей фантазии и похвальбе, вовсе не столь уж необходимо общение, письменное или устное. Переполненный идеалами, он не нуждается в дружеских поощрениях. Напротив, он ищет как раз обратного — он ищет разрядки. И если он отвечает на письма женщин, то не потому только, что, как он иронически заметил в разговоре с Теофилом Готье, «это шлифует слог», но и из более глубокой и не вполне ему ясной потребности найти женщину, которая поняла бы его. Утомленный работой, терзаемый обязательствами, сгибаясь под бременем долгов и снова бросаясь в «поток жизни», он вечно стремится найти женщину, которая будет ему матерью и сестрой, возлюбленной и помощницей, какой была для него в юности госпожа де Берни. И не жажда приключений, не чувственность, не эротика влекут его снова и снова на поиски, а, напротив, страстная жажда покоя. Не стоит обманываться «Озорными рассказами», их откровенной, хвастливой, примитивной чувственностью. Бальзак никогда не был Дон Жуаном, Казановой, пошлым волокитой. Он жаждет женщины

в буржуазном, обывательском, да, да, в самом что ни на есть обывательском смысле — «жену и состояние», как откровенно признается он сам.

Человеку с его фантазией, с его умственной возбудимостью не нужны дешевые похождения. Бальзак таит в себе достаточно страстности, чтобы не искать новых страстей. Он ищет, по большей части не вполне сознательно, женщину, которая удовлетворит оба полюса его существа, которая не нанесет ущерба его работе своими притязаниями и освободит его творчество от проклятия творить ради денег. Он ищет женщину, которая удовлетворит его чувственность и в то же время снимет с него бремя материальных забот. А кроме того, она должна быть еще аристократкой по происхождению, чтобы тешить его ребяческий снобизм.

Отыскать такую женщину — вот несбывшаяся мечта его жизни. Он ищет ее вечно, но находит в ней всегда то одну сторону, то другую, отвечающую его мечтаниям, и никогда — или слишком поздно — все. Уже первая связь с мадам де Берни несла в себе это проклятие половинчатости, ибо, как он скажет впоследствии, дьявол безжалостно переставил стрелки на часах времени.

В этой женщине, которая была наставницей его юности, утешительницей его скорбей, спасительницей в опасности и страстной возлюбленной, в ней юноша нашел все. Но то, что сперва еще было возможным — связь двадцатитрехлетнего мужчины с сорокашестилетней женщиной, — с течением времени стало уродливым и противоестественным. Даже мечтателю, которому в каждой женщине чудится Елена Прекрасная, даже столь влюбчивому мужчине, как Бальзак, мучительно трудно в тридцать лет быть возлюбленным пятидесятичетырехлетней женщины. И как ни тяжело это мадам де Берни — ведь даже умнейшая женщина не способна рассуждать, когда она любит, — неизбежное свершается, и связь эта постепенно утрачивает свои чувственные черты, переходит в чисто дружеские и платонические отношения. Но еще до того, как совершился этот переход, чувственность Бальзака

уже искала выхода, возбуждая ревность стареющей подруги, тем более что и новая подруга уже достигла осени и физическая ее привлекательность уже увяла.

Герцогиня д'Абрантес, вдова генерала Жюно, когда Бальзак познакомился с ней примерно в 1829 году в Версале, казалась уже несколько обветшалым монументом. Не принятая при бурбонском дворе, не пользующаяся уважением в обществе, герцогиня безнадежно погрязла в долгах. Она торгует вразнос своими мемуарами и что ни год вынуждена вытаскивать на свет божий уже забытые скандалы, действительные или вымышленные, чтобы сбыть еще одному издателю очередной томик. Но, несмотря на это, она без особого труда уводит молодого писателя из несколько материнских объятий госпожи де Берни, ибо умеет воздействовать на две сильнейшие стороны в существе Бальзака: дразня его ненасытное любопытство художника, воспринимающего историю как живую современность, и задевая самую его большую слабость — ненасытный и неутолимый снобизм. На сына маленькой буржуазки мадам Бальзак титулы и аристократические фамилии оказывают до последнего дня его жизни комически неотразимое впечатление. Пороку они просто околдовывают его.

Бальзак торжествует, став другом и даже возлюбленным герцогини, преемником на ее ложе пусть не самого императора, но одного из его генералов, преемником Мюрата — короля Неаполитанского и князя Меттерниха. И это заставило его, правда, ненадолго, отвернуться от мадам де Берни, мать которой была в конце концов только камеристкой Марии-Антуанетты.

Со всей пылкостью и тщеславием бросается Бальзак — врожденный плебей — в это, вероятно, не требующее особых усилий приключение. Как выгодно, как увлекательно для будущего «историка своего времени», для Бальзака-фантазера, которому требуется только искра, чтобы озарить горизонт, возлечь «под одним покрывалом» с такой женщиной, с особой, которой ведомы все закулисные тайны истории!

Герцогиня д'Абрантес знавала Наполеона. Она видела его в гостиной своей матери, мадам Пермон, когда он был еще стройным капитаном Буонапарте. Она занимала одно из первых мест в Тюильри среди новоиспеченных князей и княгинь. И она наблюдала мировую историю и с черной лестницы и из алькова. Если все романы Бальзака из наполеоновской эпохи — «Темное дело», «Полковник Шабер» — столь солидно документированы, то лишь благодаря этой связи, в которой было не столько истинной любви, сколько взаимного чувственного влечения и любопытства ума. Впрочем, связь эта длится недолго, и впредь Бальзака и герцогиню объединяет только своеобразное товарищество. Оба они в долгах, оба жадны до жизни, оба, обратившись вскоре к иным увлечениям, продолжают еще длительное время по-товарищески помогать друг другу, хотя кратковременная страсть их уже давно отпылала. Герцогиня вводит Бальзака в салон мадам де Рекамье и в дома некоторых других великосветских знакомых. Он, со своей стороны, помогает ей как можно проворней сбывать издателям ее мемуары и, быть может, втайне сотрудничает с ней в их написании. Постепенно герцогиня д'Абрантес исчезает из жизни Бальзака, и, когда долгие годы спустя он повествует о кончине своей подруги — эта безнадежная расточительница была найдена мертвой в убогой каморке на парижском чердаке, — мы чувствуем по его испуганному тону, что он давным-давно забыл ее, что эта встреча была только пламенным и мимолетным эпизодом его юности.

Примерно в то же время, когда завязываются эти недолгие отношения с герцогиней д'Абрантес, в жизнь Бальзака входит другая женщина, Зюльма Карро, — лучшая, достойнейшая, благороднейшая, чистейшая и, вопреки всем разделяющим их верстам и годам, продолжительнейшая из его привязанностей.

Сверстница его любимой сестры Лауры, Зюльма Туран-

жен в 1816 году вышла замуж за артиллерийского капитана Карро, человека «строжайшей честности», нравственные достоинства которого по причине совершенно исключительного невезения не были должным образом вознаграждены. Во времена Наполеона, в годы, когда его коллеги на полях сражений и в министерских кабинетах, используя военную конъюнктуру, сделали головокружительную карьеру, этот честный и отважный офицер имел несчастье попасть в плен и много лет провести «на понтонах» — то есть в английской плавучей тюрьме. Когда наконец его обменяли, было уже слишком поздно. Офицеру в небольших чинах, который, пребывая в плену, не имел случая завязать важные связи, офицеру, у которого не было боевых наград, так и не смогли найти достойное применение. Сперва его ткнули в маленький провинциальный гарнизон, потом назначили управляющим государственным пороховым заводом. Супружеская чета Карро ведет скромное и неприметное существование.

Зюльма Карро, некрасивая хромяя женщина, не любит своего супруга, но питает величайшее уважение к его благородному характеру и глубоко соболезнует человеку, преждевременно сломленному неудачами и утратившему вкус к жизни. Верная ему, она делит свои заботы между мужем и сыном, и, так как это женщина, наделенная недюжинным умом и воистину гениальным сердечным тактом, она умеет даже в провинциальной глуши собрать вокруг себя тесный кружок порядочных, почтенных, хотя ничем особенным и не выдающихся людей. Среди них был тот капитан Периола, которого впоследствии особенно полюбил Бальзак и которому он будет обязан важными сведениями для своих «Сцен военной жизни».

Встреча Зюльмы Карро с Бальзаком в доме его сестры была счастьем для обоих — для нее и для Бальзака.

Для умной и гуманной женщины, чей духовный уровень значительно превышал уровень людей ее круга и даже уровень прославленных литературных коллег и критиков Бальзака, было настоящим событием встретить в своем маленьком

мирке человека, в котором она столь же быстро распознала гениального писателя, как и ослепительно сияющее человеческое сердце. А для Бальзака, в свою очередь, это был счастливый случай приобрести знакомый дом, куда, изнемогая от работы, затравленный кредиторами, исполненный отвращения к финансовым делам, он может убежать, и где его не станут ни осыпать снобистскими восторгами, ни выставлять тщеславно напоказ. Там всегда к его услугам комната, где он трудится без помех, а вечером его ожидают сердечные, дружески расположенные к нему люди, и он может запросто поболтать с ними и вкусить счастье полного доверия. Здесь он чувствует себя дома и не опасается быть в тягость. Сознание, что у него всегда есть убежище, где он может вкусить столь необходимый отдых после безмерно напряженной работы, заставляет его уже за много месяцев до своих поездок в гарнизон, где служит Карро — в Сен-Сир, в Ангулем или Фрапель, — мечтать о них. Проходит немного времени, и Бальзак начинает постигать душевное величие совершенно никому не ведомой и безвестной женщины, истинная гениальность которой заключается в удивительной способности к самопожертвованию и в душевной прямоте.

Так начинаются отношения, прекраснее и чище которых вообразить невозможно. Сомнения нет, что Зюльма Карро как женщина ощущает неповторимое обаяние этой личности, но она держит свое сердце в узде. Она знает, что могла бы стать настоящей подругой для этого не ведающего покоя человека, женщиной, способной полностью ступешаться перед этой выдающейся личностью, неприметно снять с его плеч все тяготы жизни, облегчить ему существование.

«Я была женщиной, предназначенной тебе судьбой», — пишет она ему однажды.

А он признается ей в свой черед:

«Мне нужна была такая женщина, как ты, женщина бескорыстная».

И еще:

«Четверть часа, которые я вечером могу провести у тебя,

означают для меня больше, чем все блаженство ночи, проведенной в объятиях юной красавицы...»

Но Зюльма Карро слишком проницательна, она знает, что лишена женской привлекательности, способной навсегда привязать человека, которого она ставит превыше всех. А кроме того, для такой женщины, как она, невозможно обманывать мужа или покинуть его: ведь она для него все в жизни. И поэтому безмерное свое честолюбие Зюльма направляет на то, чтобы подарить Бальзаку дружбу, «святую и добрую дружбу», как говорит писатель, дружбу, свободную от всякого тщеславия и корысти. Дружбу, которую никогда не нарушит и не омрачит эротическое влечение.

«Я не хочу, чтобы хоть крупица эгоизма вкралась в наши отношения».

Зюльма не может быть для него и наставницей и возлюбленной, как мадам де Берни. И она хочет быть уверенной, что сферы эти навсегда четко разграничены. Только тогда сможет она стать настоящей помощницей во всех его делах.

«Господи! — восклицает Зюльма. — Почему судьба не перенесла меня в тот город, в котором вынужден жить ты! Я подарила бы тебе всю дружбу, которую ты ищешь. Я сняла бы квартиру в том доме, где ты живешь... Это было бы счастье в двух томах».

Но поскольку никому не дана возможность разделить свою жизнь на чувственное и духовное начало, Зюльма внутренне ищет для себя выход:

«Я усыновлю тебя».

Думать о нем, заботиться о нем, быть его советчиком — вот что хочет она сделать своей задачей. Как все женщины в жизни Бальзака, она тоже чувствует потребность отдать свою материнскую любовь этому ребенку-гению, не умеющему управлять своей судьбой. И действительно, у Бальзака (даже если вспомнить о всех современных ему прославленных критиках и художниках) никогда не было лучшего и более честного советчика во всех вопросах искусства и жизни, чем эта маленькая безвестная женщина,

застрявшая в провинции, ведущая банальное супружеское существование.

Когда произведения Бальзака уже вошли в моду, но несколько еще не были поняты (1833 г.), Зюльма пишет ему письмо, проникнутое той непоколебимой честностью, которая отличает каждое ее слово:

«Ты лучший писатель нашего времени и, как я считаю, значительнейший писатель всех времен вообще. Тебя можно сравнить только с одним тобою, все другие рядом с тобой кажутся второстепенными».

И тут же добавляет:

«И, несмотря на это, дорогой мой, я боюсь присоединить свой голос к тысячеголосому хору, который поет тебе хвалу».

Ибо она обладает удивительно верным чутьем, и ее страшит сенсационный успех, мода на Бальзака. Она знает величие его сердца, она любит, «в сущности, хорошего и доброго Бальзака», который «прячется за всеми его муслиновыми занавесками, кашемировыми шальями и бронзовыми бюстами», и поэтому она (не без основания) страшится, что снобистский успех в салонах и материальный — у издателей — может стать роковым для таланта и характера Бальзака. Честолюбие Зюльмы заключается в том, чтобы этот гений, чью неповторимость она распознала раньше всех, сумел выявить свои лучшие, свои богатейшие возможности.

«Я одержима желанием видеть тебя совершенным, — признается Зюльма, — и совершенство это нечто абсолютно иное, чем модные и салонные успехи (о которых я сожалею, ибо они испортят тебя для будущего), совершенство, в котором должна состоять твоя истинная сила, твоя грядущая слава, а о ней я и думаю. И она для меня столь важна, как если бы я носила твое имя или стояла так близко к тебе, что меня озаряли бы ее лучи».

Она возлагает на себя обязанность стать творческой совестью человека, величие и благородство которого знает, как знает и его опасную склонность растрчивать себя на

пустяки и откликаться с ребяческим тщеславием на светскую лесть.

Рискуя утратить эту дружбу, величайшее достояние ее жизни, она с удивительной прямоотой высказывает ему и свое несогласие и свое одобрение — в отличие от всех этих княгинь и великосветских красавиц, которые без разбора хвалят модного писателя за все подряд.

Много воды утекло с тех пор, но все разумные суждения и критические высказывания Зюльмы сохранили свое значение. Еще сегодня, столетие спустя, каждая похвала и каждое порицание, вынесенное этой безвестной ангулемской капитаншей, гораздо значительнее всех безапелляционных приговоров Сент-Бева и всех вердиктов присяжной критики.

Зюльма восхищается «Луи Ламбером», «Полковником Шабером», «Цезарем Бирото» и «Евгенией Гранде», и в то же время ей чрезвычайно не нравятся раздушенные салонные истории вроде «Тридцатилетней женщины», «Сельского врача» она чрезвычайно справедливо считает тягучим и перегруженным напыщенными рассуждениями, а выпренная мистика «Серафиты» кажется ей отталкивающей. С удивительной проницательностью чувствует она малейшую опасность, угрожающую восхождению Бальзака. Когда он собирается заняться политикой, она в отчаянии предостерегает его:

«Озорные рассказы» важнее министерского портфеля».

Когда он сближается с роялистской партией, она заклинает его:

«Предоставь это придворным и не водись с ними. Ты только замараешь свою честно завоеванную репутацию».

Она упрямо твердит, что навсегда останется верна своей любви к «классу бедняков, которых так постыдно оклеветали и так эксплуатируют алчные богачи», «ибо я сама принадлежу к народу. И хотя по своему общественному положению мы теперь тоже принадлежим к привилегированным, мы все-таки навсегда сохранили симпатии к народу, изнывающему под ярмом».

Зюльма предостерегает его, когда видит, какой ущерб наносит его книгам спешка, в которой он их стряпает.

«Неужели ты называешь это торжеством, — восклицает Зюльма, — когда ты пишешь так, словно тебе нож приставили к горлу? Как можешь ты создать совершенное произведение, если у тебя едва хватает времени изложить его на бумаге! К чему эта спешка ради того, чтобы позволить себе роскошь, которая пристала разбогатевшему булочнику, но никак не гению? Человеку, который смог изобразить Луи Ламбера, вовсе не так уже необходимо держать пару английских лошадей. Мне больно, Оноре, когда я не вижу в тебе величия. Ах, я купила бы лошадей, карету и персидские ковры, но я никогда не дала бы возможности прожженному субъекту сказать о себе: «За деньги он на все готов».

Зюльма любит гений Бальзака, но страшится его слабостей. Она с ужасом видит, что он пишет, как затравленный, что он сделался пленником великосветских салонов, что он, опять-таки из желания импонировать столь презираемому ею высшему обществу, окружает себя ненужной роскошью, вгоняющей его в долги.

«Не исчерпай себя раньше времени!» — говорит она ему, обнаруживая поразительное предвидение. Ей свойственно могучее, истинно французское сознание свободы. Она хотела бы видеть величайшего художника современности независимым в полном смысле этого слова, независимым ни от хвалы, ни от хулы, ни от общества, ни от денег. Но она в отчаянии убеждается, что он вновь и вновь попадает в рабство и зависимость.

«Галерный раб! И ты останешься им навсегда. Ты живешь за десятерых, ты в жадности пожираешь сам себя. Твоя судьба на веки вечные останется судьбой Тантала».

Пророческие слова!

Они обращены к душевной честности Бальзака, который был в тысячу раз умней, чем все его мелкое тщеславие, ибо в то самое время, когда герцогини и княгини расточают ему ласки и курят фимиам, он не только принимает жестокие и

часто гневные упреки Зюльмы, но всегда благодарит ее, истинного своего друга, за прямоту.

«Ты — моя публика, — отвечает он ей, — я горжусь знакомством с тобой, с тобой, которая вселяет в меня мужество стремиться к совершенствованию».

Он благодарит ее за то, что она помогает ему «выполоть сорную траву на моих полях. Каждый раз, когда я виделся с тобой, это приносило мне самую существенную пользу».

Он знает, что ее поучениям чужды неблагородные мотивы. В них нет ни ревности, ни духовного высокомерия, она искреннейшим образом заботится о бессмертной душе его искусства, и поэтому он отводит ей особое место в своей жизни:

«Я питаю к тебе чувство, которое не знает себе равного и не похоже ни на какое другое».

Даже позднее, когда он станет изливаться в исповедях перед другой женщиной — госпожой Ганской, это «привилегированное положение в моих чувствах» останется неизменным. Он только делается более замкнутым с единственной своей подругой, — может быть, из смущения, может быть, из тайного стыда.

Исповедуясь госпоже Ганской и другим женщинам, Бальзак старается выставить себя в романтическом и драматическом свете. Он постоянно жонглирует столбцами цифр своих долгов и бесконечными колонками своих в лихорадочной спешке написанных страниц. Но он твердо знает, что этой женщине он не может сказать ни слова неправды, чтобы она сразу же не почувствовала ее. И подсознательно ему становится все труднее и труднее исповедоваться именно ей. Проходят годы, и он, вероятно, во вред себе, не заглядывает в свою тихую рабочую комнату в ее доме. И в тот единственный раз, когда она — одному Богу известно, каких жертв это ей стоило, — приезжает в Париж, Бальзак так зарылся в работу, что не вскрывает письма Зюльмы и заставляет ее две недели прождать — ее, которая находится в каком-нибудь часе ходьбы от его дома, — прождать ответа, приглашения,

которое так никогда и не пришло. Но перед смертью, в тот самый год, когда он, уже обреченный, вводит в свой дом госпожу Ганскую, жену, за которую боролся шестнадцать лет, он вдруг останавливается на секунду, чтобы окинуть взором всю прошедшую жизнь, и видит, что Зюльма была самой значительной, самой лучшей из всех его подруг.

И он берется за перо и пишет ей — пусть она не думает что он забывает истинных друзей. Никогда не переставал о думать о ней, любить ее и беседовать с нею.

Бальзак, вечно переклестывавший в изъявлении чувств несколько не преувеличил, поставив особняком и превыше всех других взаимоотношения с Зюльмой Карро; эту чистейшую из своих дружб. И действительно, все другие отношения — за исключением значительно менее искреннего чувства к госпоже Ганской, которое впоследствии будет господствующим в его жизни, — останутся более или менее эпизодическими.

Бальзак проявляет верное психологическое чутье, когда из всех знаменитых женщин, окружающих его, он особенно близко сходится с благородной Марселиной Деборд-Вальмор, которой он посвятил одно из прекрасных своих творений и к которой (немалый труд при его тучности), задыхаясь, карабкается, одолевая лестницу в сто ступенек, на мансарду в Пале-Рояле. С Жорж Санд, которую он называет «братец Жорж», его связывает только сердечное товарищество без малейшего оттенка интимности. Гордость Бальзака спасает его от того, чтобы значиться под номером четырнадцатым или пятнадцатым в каталоге ее возлюбленных.

Лишь как робкие тени мелькают перед нами на заднем плане несколько случайных фигур: никому не ведомая Мари, от которой у него, по-видимому, был ребенок, какая-то еще неизвестная Луиза. Во всех важных жизненных обстоятельствах Бальзак, несмотря на кажущуюся болтливость и беззаботность, умел сохранять удивительную сдержанность,

особенно когда дело касалось интимных отношений с женщиной.

Еще реже дружил он с мужчинами. Почти все, кого он щедро дарил дружеской привязанностью, были совершенно неприметные, отнюдь не именитые личности. Если у женщины Бальзак ищет отдохновения после своей исполинской работы, то в мужчинах он ищет надежной опоры. Как большинство творческих натур, которые обрекли себя на безмерный труд, как Гете и Бетховен, Бальзак не ищет умов выдающихся, которые бы вдохновляли его на творческое единоборство. Его вполне устраивают люди, к которым он может, не колеблясь, обратиться в трудную минуту жизни, которые всегда готовы ему помочь или развлечь его в часы короткого отдыха. Он стремится к одним только, если можно так сказать, семейным отношениям.

Мы очень немного знаем о господине де Маргонне из Саше, в замке которого беглец из Парижа неизменно находил предоставленный к его услугам уютный кабинет. И среди его современников ближайшими его друзьями были вовсе не личности такого масштаба, как Виктор Гюго или Ламартин, Гейне или Шопен, хотя он и был знаком с ними со всеми, — нет, как ни странно, его интимными друзьями были торговец скобяным товаром, лекарь, безвестный живописец и портной. На Рю Кассини долгое время его соседом был Огюст Борже, совершенно незначительный художник. Доктор Наккар всю жизнь пользуется Бальзака и не только консультирует его как знаток, когда это нужно для творческой работы, нет, он помогает ему в случае нужды несколькими сотнями франков, когда Бальзаку приходится штопать вновь и вновь возникающую прореху в мешке долгов, который он обречен тащить на себе всю жизнь.

Последним в этом ряду фигурирует тот самый портной Бюиссон с улицы Ришелье, который отдал Бальзаку должное, раньше всех парижских критиков. Бюиссон не только открывает ему долгосрочный кредит, но ссужает его при случае деньгами и предоставляет ему убежище в своем доме, когда

писатель не знает, где спастись от других, значительно менее покладистых кредиторов. Но ссужать деньгами столь благодарного человека, как Бальзак, всегда было выгодной сделкой. Все мелкие и крупные долги добряку-закройщику Бальзак, бесспорно, заплатил одной-единственной строкой в «Человеческой комедии»:

«Костюм, сшитый Бюиссоном, дает вам возможность в любом салоне играть королевскую роль».

И этой немногословной рекламой он мгновенно сделал Бюиссона поставщиком великосветского общества. Кроме обычной расхожей монеты, великие люди могут заплатить еще и иной, особой монетой: они могут заплатить бессмертием.

Когда писатель приступает к созданию своего главного творения, тесный круг друзей в основном сложился. На тридцатом году жизни период накопления завершен. Бальзаку уже не нужны ни внешние впечатления, ни чтение, ни новые познания, ни новые люди. Он созрел окончательно, и все, что может дать его дух и гений, всю свою страстность и всю свою энергию он отдаст только творчеству. «Большое дерево, — скажет он однажды, — иссушает почву вокруг себя. Оно высасывает все соки, чтобы цвести и плодоносить».

У Бальзака много случайных знакомых, но, достигнув тридцати лет, он уже не хочет расширять интимный круг своих друзей. Только одна женщина, госпожа Ганская, войдет позднее в этот круг, чтобы стать центром, душой всей его жизни.

VIII. БАЛЬЗАК. ЕГО ОБЛИК И ДУХОВНЫЙ МИР

Внезапная слава — ему теперь уже тридцатый год — всегда опасна для художника. В 1828 году Бальзак — все еще жалкий литературный кули, анонимно работающий на других. Он все еще обанкротившийся коммерсант, по уши в

долгах. Но проходит год-два, и тот же Бальзак — уже один из знаменитейших писателей Европы, которого читают в России и в Германии, в Скандинавии и в Англии, которого осаждают газеты и журналы, добиваются все без исключения издатели и которого засыпают бесчисленными восторженными письмами. В одну ночь исполнилось заветное желание его юности. Пришла Слава, ослепительная, озаряющая весь мир Слава! Человека, даже более хладнокровного, чем Бальзак, должен был опьянить подобный успех. А тем более такую, не знающую удержу, упивающуюся иллюзиями оптимистическую натуру! Слишком много лет он, никому не ведомый, нищий, голодающий, снедаемый отчаянным нетерпением, сидел в своей келье, в мимолетные мгновения с завистью взирая на других, обладающих богатством, женщинами, успехом, роскошью и щедрыми дарами жизни. Вполне понятно, что он, чувственный человек, — уж таков он есть — хочет упиться гулом и рокотом похвал вокруг своего имени, вдохнуть и вкусить Славу, глазами и кожей познать тепло человеческой благосклонности, насладиться ею.

И так как его везде с нетерпением ожидают, он хочет покрасоваться перед светским обществом. Устав от унижений и отказов, от многолетнего рабства, от расчетов и бережливости и от вечного существования в долг, он жаждет теперь предаться искушениям собственной славы — роскоши, богатству, мотовству. Он знает, что великая мировая сцена уже открыта для него. И писатель решает показаться перед своей публикой в роли светского человека.

Насколько гениален Бальзак-творец, настолько бездарен он в роли светского льва. Человеческий мозг устроен так странно, что даже грандиозный душевный опыт и богатейшие познания не способны преодолеть врожденные слабости. Психология может помочь, даже когда человек анализирует сам себя, распознать ущербные стороны личности, но она не в силах (и это одна из слабостей психоанализа) их устранить. Распознать — еще не значит преодолеть, и мы то и дело видим, как проницательнейшие люди изнемогают в борьбе с

собственными маленькими причудами, которые служат предметом насмешек для всех окружающих. Бальзаку так и не удалось преодолеть свой величайший порок: снобизм, хотя он, вероятно, полностью сознавал всю его ребячливость и смехотворность. Человек, который создал величайшее творение своей эпохи и мог бы с бетховенской независимостью пройти мимо всех князей и королей, страдает трагикомической аристократоманией. Письмо герцогини, обитающей в Сен-Жерменском предместье, для него важнее, чем похвала Гете. Сделаться Ротшильдом, жить во дворцах, держать лакеев, владеть каретой и галереей шедевров казалось ему, пожалуй, желанней бессмертной славы, а за дворянскую грамоту, подписанную дураком Луи-Филиппом, он продал бы даже свою душу.

Если отец его сделал столь большой шаг с крестьянской фермы в мир зажиточной буржуазии, почему же он, Бальзак-сын, не может сделать следующий шаг — перейти в сферу аристократии?

Век неудержимого восхождения только что миновал. Да, но вправду ли он миновал? Мюрат, Жюно, Ней — сыновья ремесленников и кучеров, внуки трактирщиков — сумели при помощи кавалерийских налетов и штыковых атак сделаться герцогами. Если финансисты, биржевики и промышленники становятся сейчас дворянами, почему же он, Бальзак, не может подняться в высший свет? Быть может, та же бессознательная сила, которая шестьдесят лет назад погнала Бальзака-отца из крытой соломой деревенской хижины в Париж, гонит теперь и сына достигнуть «верха», ибо, как это ни смешно, для Бальзака-сына «верх» — это не его творчество, а светский, прежде закрытый для него круг. Разум тут ни при чем. Непостижимый парадокс: чтобы «подняться» в эту сферу, он будет унижаться всю жизнь; чтобы жить в роскоши, он прикует себя к галере вечного труда; чтобы казаться элегантным, он сделает себя посмешищем. Он бессознательно подтверждает стократно изложенный им самим закон, согласно которому человек — мастер в своей сфере —

становится тупицей, когда пытается проникнуть в сферу, ему чуждую.

Для своего дебюта на светских подмостках Бальзак считает нужным вырядиться как можно пышнее. И прежде всего: нельзя выступить просто как господин Бальзак. В Сен-Жерменском предместье это звучит слишком вульгарно, слишком по-мещански. И Бальзак самовластно присваивает себе дворянскую приставку. Начиная с «Шагреновой кожи», все его книги появляются под именем Оноре де Бальзак, и горе тому, кто решится оспорить его притязания на благородное происхождение. Он распускает слух, что только из скромности он, потомок маркизов д'Антрэг, именуется просто «де Бальзак». И чтобы подчеркнуть правдивость своих слов, он приказывает выгравировать чужой герб на своем столовом серебре и намалевать его на кузове экипажа. А затем он совершенно меняет весь стиль своей жизни. Оноре де Бальзаку поверят, что он великий писатель, только если он будет вести образ жизни, соответственный его положению. Имущему — дастся. Следовательно, в мире, где считаются только с видимостью, нужно создать видимость того, что много имеешь, для того, чтобы много получать. Если господин Шатобриан обладает замком, если Жирарден держит пару верховых лошадей, если даже у какого-то Жюля Жанена или Эжена Сю есть карета, то Оноре де Бальзак, дабы никто не счел его писателем второго ранга, должен, конечно, иметь тильбюри с ливрейным лакеем на запятках. На улице Кассини снимается третий этаж. Приобретается роскошная обстановка, а кроме того, — и главное — нужно, чтобы ни один щеголь не мог сказать, что он одет богаче и дороже, чем Оноре де Бальзак. Поэтому к голубому фраку он покупает вычеканенные по особому его заказу золотые пуговицы. Умопомрачительные шелковые и парчовые жилеты ему поставит в кредит добрый Бюиссон. И в таком виде, с густо напوماженной львиной гривой, с кокетливым маленьким лорнетом в руке, вступает новый автор в парижские салоны, «чтобы создать себе репутацию», как если бы он не

завоевал сердца современников и потомства своими творениями.

Но какое разочарование! Репутация, которую завоевывает Бальзак, появляясь в парижском свете, становится роковой для его писательской репутации. Попытка выступить в роли щеголя остается его единственной пожизненной неудачей. Правда, на первых порах он получает доступ не в салоны Сен-Жерменского предместья и не в посольства великих держав, а лишь в литературные салоны Софи Ге и ее дочери, Дельфины Жирарден, да еще в говорильню мадам Рекамье. Эти дамы, которых сановная аристократия держит на известном расстоянии, пытаются конкурировать с ней, выступая представителями аристократии литературной. Но даже и в этом менее притязательном кругу помпезность, спесивость и утрированная элегантность Бальзака производят чудовищное впечатление.

Бальзак, внук крестьянина, сын буржуа, неисправимый простолоудин, неуклюжий и неловкий, — у него нет никаких надежд приобрести благородную осанку. Ни его придворный портной Бюиссон, ни золотые пуговицы и кружевное жабо не в силах придать аристократический вид этому коренастому, тучному, краснощекому плебею, который без умолку говорит оглушительным голосом и как пушечное ядро врывается в любое общество. Он обладает слишком могучим темпераментом, чтобы хоть когда-нибудь усвоить сдержанные и пристойные манеры. Еще и двадцать лет спустя госпожа Ганская будет пенять на то, что Бальзак ест с ножа и что его шумное бахвальство действует на нервы именно тем людям, которые готовы самым искренним образом им восхищаться. Она жалуется на его громоподобный хохот и на безудержную, подобную потопу, разговорчивость, «в которой тонут слова всех окружающих».

Только бездельник, только человек, исключительно занятый своей внешностью, может найти достаточно времени, проявить достаточно упорства, чтобы быть неизменно элеган-

тным (это тоже является своего рода искусством!), а туалет Бальзака, который лишь с трудом оторвался на час от работы, явно носит следы спешки.

Сочетание цветов его фрака и панталон привело в ужас Делакруа. Что толку в золотом лорнете, если его держат пальцы с грязными ногтями, если шелковые чулки виднеются из башмаков с развязанными шнурками? К чему кружевное жабо, если, как только в гостиной становится душно, на него капает жир с напомаженной гривы? Бальзак носит изящный костюм, который при его вульгарном вкусе всегда кажется экстравагантным и пышным, как на слуге ливрея. Дорогие вещи становятся на нем дешевыми, роскошные — вызывающими, и вся эта безвкусица, запечатленная в бесчисленных дошедших до нас карикатурах, вынуждает даже самых ярых его поклонниц втихомолку хихикать, прикрываясь веерами.

Но чем больше чувствует Бальзак, что истинная элегантность ему не дана, тем больше пытается он заменить ее чем-нибудь другим. Если уж он не может производить импонирующего впечатления, что ж, он может по крайней мере вызвать сенсацию. Если уж он не может привлечь симпатии благородной скромностью, тогда пусть его экстравагантность стяжает такую же славу, как и он сам. Если уж они хотят смеяться над ним, значит, надо швырнуть им по крайней мере нечто достойное осмеяния. И после первого своего провала в свете Бальзак приобретает несколько нелепейших предметов, которые, говорит он, посмеиваясь, доставят ему большую известность, чем все его романы. Он заказывает трость, толстую, как дубина, усеивает ее бирюзой и распространяет о ней самые поразительные слухи: например, что в набалдашник ее вделан портрет таинственной великосветской дамы, его возлюбленной, изображенной в костюме Евы. Когда он с этой палицей Геркулеса, которая влетела ему в семьсот франков, — впрочем, он их так и не уплатил, — входит в ложу «Тигр» в Итальянской опере, вся публика смотрит на него как зачарованная, а мадам де Жирарден

вдохновляется идеей создать роман под названием «Трость господина Бальзака». Но дамы остаются разочарованными, ни одна не избирает этого певца, воспевшего женщин, своим рыцарем, и львы парижских салонов, любимые герои Бальзака, — его Растиньяки, его де Марсе — чувствуют, что им не придется вступать в состязание со слоновьей и даже гиппопотамьей грацией нового конкурента.

Столь же мало успеха имеет Бальзак у коллег-писателей, которые не очень-то обрадовались, неожиданно-негаданно узрев в своем карасевом садке эту жирную шуку. Очень многие из них ясно помнят, что столь внезапно прославившийся писатель еще вчера в качестве негра поставлял ничтожнейшие бульварные романы за любую цену и на любой вкус. Впрочем, пораженные его талантом, встревоженные его фантастической продуктивностью, они даже готовы принять его в свой круг. Но Бальзак вовсе не идет навстречу этой готовности. Хотя он с чрезвычайным благожелательством и даже восторгом относится ко всякому чужому творчеству (вряд ли найдется хоть один современный ему писатель, которого он по-товарищески не упомянул в своей «Человеческой комедии» или которому не посвятил какой-нибудь книги), но в отношениях с коллегами-литераторами он всегда умышленно демонстрирует надменность. Вместо того чтобы заключить с ними союз, он третирует их. Входя в комнату, он не снимает шляпы, он отклоняет всякое «мы», когда речь идет о творчестве, и, вместо того чтобы быть дипломатом и щадить чужое тщеславие, Бальзак во всеуслышание заявляет, что ни за что не позволит поставить себя на одну доску с Александром Дюма, Поль де Коком, Эженом Сю, Жаненом, Сандо.

Он раздражает сочинителей, похваляясь своими гонорарами, он злит журналистов — «Ни один автор не был столь равнодушен к хвалебным статьям и рекламе». Он дает им понять, что не нуждается в их услугах. И так же, как, появляясь в свете и выставляя свою балаганно-крикливую элегантность, он безвкусно старается прослыть «особым явлением»,

так же со свойственной ему наивной и неосмотрительной откровенностью он подчеркивает, что его нельзя мерить общей меркой. Пусть он говорит об этом самым беспечным тоном, с улыбкой, задорно, ребячливо и наивно, и все-таки писатели-парижане воспринимают его поведение как вызов.

Нет, слабости Бальзака слишком у всех на виду. Они не могут не дать сотни поводов для остроумных и злобных нападок, для язвительных насмешек в его адрес. Бальзак, величайший писатель своего времени, становится излюбленной мишенью для ядовитых замечаний и дерзких карикатур. Так называемое «общество» не мстит никому столь ожесточенно, как человеку, который презирает его и в то же время не может без него обойтись. Сам Бальзак не ощущает эту немилость. Он слишком жизнерадостен, слишком темпераментен, слишком независим, чтобы замечать булавоочные уколы. И на улыбочки, хихиканье и издевки унылых болванов, снобов и синих чулков он отвечает только громким и веселым раблезианским хохотом.

Не мелочной полемикой (ведь даже гнев принимает у него благородную творческую форму) отвечает он на злобные выходы уязвленных журналистов и околотитературных импотентов. Нет, он отвечает им грандиозной фреской в «Утраченных иллюзиях», на которой изображена литературная коррупция. Но истинные его друзья страдают оттого, что человек, чьим гением они так восторгаются, попадает из-за мелкого своего снобизма в унижительное положение, которое, пусть хоть на четверть часа, заставляет признать правоту тех, кто высмеивает его. Маленькая провинциалка Зюльма Карро, живя в своей глуши, понимает, прежде чем он сам, что райские плоды из светского сада, о которых он так мечтал, вскоре покажутся ему обыденными и терпкими. И она заклинает его не становиться «комедиантом» света, «который потребует от тебя во сто крат больше, чем сможет дать тебе сам».

И дружески восклицает, обращаясь к нему:

«Оноре, ты теперь известный писатель, но ты ведь призван к большему. Для такого человека, как ты, пустая слава ничто. Ты должен поставить перед собой цель более высокую. Если бы я набралась мужества, я бы сказала тебе: зачем ты, в тщеславии своем, столь бессмысленно растрачиваешь свой необыкновенный разум? Брось ты эту светскую жизнь...»

Но потребуется еще немало горьких испытаний, прежде чем за первым опьянением недавней славой последует отрезвление и Бальзак познает справедливость открытого им закона: нельзя быть мастером в двух различных областях. Мастером можно быть только в одной-единственной сфере, и его предназначение не в том, чтобы блистать в изменчивом и забывчивом светском обществе, а в том, чтобы, изображая и запечатлевая это общество, увековечить его таким, каково оно есть, со всеми его высями и безднами.

До нас дошло грандиозное количество писаний о Бальзаке того времени — забавных, злобных, уничижительных, шуточных и ядовитых, и все они даны с ограниченной и неверной точки зрения парижского света и журналистских кругов. Бальзак в голубом фраке с чеканными золотыми пуговицами и с драгоценной тростью, Бальзак в шлепанцах, Бальзак в тильбюри с грумом и лакеем, Бальзак-фланер, который читает все вывески подряд в поисках подходящего имени для своего героя, Бальзак-коллекционер, перерывающий лавки старьевщиков в надежде отыскать Рембрандта за семь франков и чашу работы Бенвенуто Челлини за двенадцать су, Бальзак — кошмар издателей, демон наборщиков, которые часами, как каторжники, трудятся над каждой страницей его рукописи, Бальзак — лжец, хвостун, мистификатор, проповедующий целомудрие как единственное предварительное условие творчества и меняющий женщин куда чаще, чем сорочки, Бальзак-обжора, который в один присест проглатывает сотню устриц и вдобавок еще бифштекс и жареного гуся,

Бальзак, рассказывающий о миллионах, которые принесут ему его рудники, его сады, его сделки, и вынужденный неделями скрываться под чужим именем, ибо он не в состоянии оплатить счет в тысячу франков.

Не случайно три четверти дошедших до нас изображений Бальзака — это шаржи, а не портреты. Не случайно современники сочинили о нем две тысячи анекдотов, но не оставили ни одного добросовестного и документального описания его жизни.

Все эти факты ясно показывают, что Бальзак производил на парижан впечатление не гения, а эксцентричного чудака, и возможно, что в известном смысле современники были правы. Бальзак должен был казаться обществу эксцентричным, потому что он в буквальном смысле слова терял центр равновесия, как только он покидал свою комнату, свой письменный стол, свою работу. Подлинный Бальзак, самый неутомимый труженик, какого только знает мировая литература, остался книгой за семью печатями для этих Гозланов, Верде и Жаненов, для этих бездельников и фланеров, ибо они знали его только «один-единственный час в день», который он мог отдавать свету, а не двадцать три сокровенных часа его творческого одиночества.

Он появляется среди людей на полчаса — час, когда узнику дозволяется подышать на тюремном дворе. И как прирзак, который с последним ударом часов, бьющих полночь, должен возвратиться в свою могилу, так же и Бальзак должен после кратких мгновений, в которые он появлялся, надменный и пышный, вернуться снова в свою темницу, к своей работе, о величии и жестокости которой все эти бездельники и иронизирующие писаки не имеют вообще никакого представления. Подлинный Бальзак — это тот Бальзак, который в течение двадцати лет, кроме бесчисленных драм, новелл, очерков, написал семьдесят четыре полноценных романа, и в этих семидесяти четырех романах он создал собственный мир, где существуют сотни местностей, домов и улиц, где обитают две тысячи людей.

Только этой мерой и можно мерить Бальзака, только это творение вводит нас в подлинную его жизнь. Человек, казавшийся своим современникам безумцем, был в действительности самым дисциплинированным творческим умом эпохи. Человек, которого они высмеивали как безмерного расточителя, был аскетом с несгибаемым упорством анахорета, величайшим тружеником всей современной литературы.

Гиперболизатор, которого они, нормальные и умеренные, высмеивают как бахвала и хвастуна, извлек из своего мозга больше, чем все его парижские коллеги, вместе взятые. Он был, конечно, единственным, о ком можно без преувеличения сказать, что он доработался до смерти. Календарь Бальзака никогда не совпадал с календарем его эпохи. Когда для других день — для него ночь, когда для других ночь — для него день. Не в обычном, будничном протекает настоящая жизнь Бальзака. Она идет в его собственном, им самим сотворенном мире. И никто не знал, не наблюдал, не слышал истинного Бальзака, кроме четырех стен, в которых протекало его добровольное заточение. Никакой современник не мог написать его подлинную биографию. Это сделали его книги.

Покажем же поэтому один день из этой настоящей жизни Бальзака. И тысяча, десять тысяч дней были как две капли воды похожи на этот день.

Восемь часов вечера. Все давно уже закончили свою работу. Они оставили свои конторы, свои дела, свои фабрики, они пообедали в кругу друзей, или в кругу семьи, или в одиночестве. Вот высыпают они из домов в поисках развлечений. Они фланируют по бульварам, сидят в кафе, стоят перед зеркалами, прихорашиваясь, перед тем как отправиться в театр или в гости. И только он, Бальзак, спит в комнате с опущенными шторами, сраженный, словно ударом дубины, шестнадцати-семнадцатичасовой работой.

Девять вечера. Распахнулись двери театров, в больших

залах кружатся пары, в игорных домах звенит золото, влюбленные скрываются в тени аллей — Бальзак все еще спит.

Десять часов вечера. В иных домах уже погашены огни, пожилые люди ложатся спать, реже катятся экипажи по мостовой, смолкают голоса города — Бальзак все еще спит.

Одиннадцать часов. Спектакли идут к концу, в клубах и в гостиных лакеи провожают к выходу последних засидевшихся гостей, в ресторанах тушат свет, нет больше гуляющих; только последняя волна возвращающихся домой с шумом проносится по бульварам и, разбиваясь на ручейки, исчезает в протоках маленьких переулков — Бальзак все еще спит.

Полночь. Париж онемел. Закрылись миллионы глаз. Погасли бесчисленные огни. Люди спят — а Бальзак приступает к работе. Людям снятся сны — значит, Бальзаку пора бодрствовать. Теперь, когда для всех закончен день, его день начинается. Ничто уже не может помешать ему: ни посетители, которые ему в тягость, ни письма, которые лишают его покоя. Кредиторы, которые его преследуют, не постучатся у дверей, посыльные из типографии не станут требовать у него рукописи.

Грандиозный отрезок времени простирается перед ним: восемь, десять часов полнейшего одиночества — Бальзаку для исполинской его работы нужно такое грандиозное временное пространство. Он знает, как нельзя дать остыть печам, в которых холодная хрупкая руда переплавляется в несокрушимую сталь, так нельзя дать замереть работе его фантазии. Нельзя останавливать на лету его пламенные и гармоничные галлюцинации:

«Мысли сами брызжут у меня из черепа, как струи фонтана. Это абсолютно бессознательный процесс».

Как всякий великий художник, Бальзак повинуеться только законам своей работы:

«Я не могу работать, если мне придется прервать занятия и выйти на прогулку. Я никогда не работаю лишь час или два».

Только ночь, неограниченная, беспредельная, он это знает, позволяет ему работать непрерывно, и ради этой работы он передвигает стрелки времени и превращает ночь в день и день в ночь.

Его разбудил тихий стук слуги у дверей. Бальзак поднимается и накидывает на себя свою рясу. Многолетний опыт заставил его выбрать это одеяние как самое подходящее для работы. Он выбрал его, как воин свое оружие, как рудокоп свою кожаную одежду — согласно требованиям своей профессии. Писатель избрал это белое длинное платье из теплого кашемира — зимой, из тонкого полотна — летом, ибо оно послушно подчиняется каждому его движению, оставляет шею свободной для дыхания; оно согревает и в то же время не давит и, быть может, подобно монашеской рясе, напоминает ему, что он отправляет свое служение во исполнение высшего обета и отрекшись, пока носит это платье, от реального мира и его соблазнов. Плетеный шнур (позднее — золотая цепь) опоясывает белую доминиканскую рясу, ниспадающую свободными складками. И подобно тому как монах носит крест и нарамник — орудия молитвы, так писатель носит ножницы и нож для разрезания бумаги — свои рабочие принадлежности.

Еще несколько шагов по комнате в этом мягком податливом одеянии, чтобы исчезли последние тени сна и кровь резвей заструилась в жилах. И вот Бальзак готов к работе.

Слуга зажег у него на столе шесть свечей в серебряных канделябрах и наглухо закрыл окна шторами, словно отделяя его от внешнего мира. Ибо Бальзак уже не желает измерять время его подлинной мерой, а только мерой своего труда. Он не хочет знать, когда светает, когда наступает день, когда пробуждается Париж, когда пробуждается весь мир. Ничто из действительности не должно проникать к нему. Книги на полках, стены, двери и окна, все, что лежит за ними, — все утопает в темноте. Только люди, рожденные им, будут теперь говорить, действовать, смотреть, дышать. Так

возникает, чтобы жить и существовать, его мир, его собственный.

Бальзак усаживается за стол, за тот самый стол, «где я бросаю свою жизнь в плавильный тигель, как алхимик свое золото».

Это маленький, неприглядный, прямоугольный стол, и все-таки Бальзак любит его больше, чем самое драгоценное свое достояние. Золотую трость с бирюзой, столовое серебро, купленное с таким трудом, книги в роскошных переплетах и самую славу свою он любит меньше, чем маленькое, безгласное, четвероногое существо, которое он таскал за собой из одной квартиры в другую, спасал от аукционов и катастроф, вынося на себе, как солдат своего побратима из пламени битвы. Ибо этот стол — единственный наперсник его глубочайшего счастья, его горчайшей муки, единственный и немой свидетель подлинной его жизни:

«Он видел мою нищету, он знает обо всех моих планах, он прислушивался к моим помыслам, моя рука почти насиловала его, когда я писал на нем».

Никто из друзей, ни одна живая душа не знает так много о Бальзаке, ни одной женщине не подарил он столько ночей, полных пламенной близости. За этим столом Бальзак жил, за ним он доработался до смерти.

Еще последний взгляд. Все ли готово? Как каждый воистину фанатичный труженик, Бальзак педантичен в своей работе. Он любит свой верстак, как солдат свое оружие, и прежде чем броситься в битву, он должен знать, что оно наточено. По левую руку стопами лежат листы писчей бумаги, совершенно определенной, заботливо выбранной бумаги одинакового формата. Бумага должны быть чуть синеватой, чтобы не слепить глаза и не утомлять их при многочасовой работе. Бумага должна быть особенно гладкой, чтобы не оказывать никакого сопротивления стремительному перу. Она должна быть тонкой, ибо сколько листов он должен исписать в эту ночь — десять, двадцать, тридцать, сорок?

Столь же тщательно заготовлены перья, вороньи перья (он

не признает никаких других). Рядом с чернильницей — не дорогой, малахитовой, которую ему подарили поклонники, нет, рядом с простой чернильницей его студенческих лет стоят еще про запас две-три бутылки чернил. Все должно быть предусмотрено, чтобы не прерывать правильного течения работы. Справа еще — маленькая записная книжка, в которую он иногда вносит внезапные свои фантазии и идеи, намереваясь воспользоваться ими в последующих главах. Больше ничего: ни книг, ни записей, ни груд материала. Прежде чем он приступает к работе, у него все уже мысленно завершено.

Бальзак распрямляет спину и отбрасывает широкий рукав ряссы, чтобы освободить правую руку, руку, которой он пишет. Потом он обращается к себе с шутливыми восклицаниями, точно кучер, когда он принимается погонять застоявшуюся лошадь. Он похож на пловца, который поднимает руки и разминает суставы, прежде чем броситься вниз головой в реку.

Бальзак пишет и пишет, без пауз, без остановок, фантазия его, однажды запыхав, горит не угасая. Она, как лесной пожар, перебегает от ствола к стволу, все жарче и все неистовей, все быстрее, все яростней — и наконец огонь охватывает все вокруг. Перо в его нежной, женственной руке так быстро мчится по бумаге, словно буквы едва успевают за мыслью.

Чем больше пишет Бальзак, тем больше он не дописывает слова — только дальше, только не мешкать. Он не может задержаться, не может прервать внутреннее видение, и он не остановится, пока руку его не сведет судорога или пока перед его померкшим от усталости взором не потускнеет написанное.

Час, два, три, четыре, пять часов, шесть, иногда семь и даже восемь. Ни один экипаж больше не катится по переулку, ни шороха в доме и в комнате; разве только тихо поскрипывает перо да изредка шелестит отложенный лист. Снаружи уже светает, но Бальзак не знает этого. Его день — только

этот маленький кружок от свечи, и нет никаких людей, кроме тех, которых он только что создал, — никаких судеб, кроме тех, которые он придумывает в процессе творчества; нет пространства, нет времени, нет вселенной, кроме той, что покоится в его собственном космосе.

Иногда машина грозит застопорить.

Даже безграничная воля ничего не может поделывать, когда исчерпан естественный запас сил. После четырех, пяти, шести часов непрерывного писания и творчества Бальзак чувствует, что он уже больше не может. Рука повисает как плеть, глаза слезятся, кровь оглушительно стучит в его пылающих висках, перенапряженные нервы сдают окончательно. Всякий другой теперь прекратил бы работу и с благодарностью ограничился бы столь полноценным результатом. Но Бальзак, этот демон воли, не сдается. Он должен прийти к финишу, даже если загонит рысака! Подать сюда хлыст, раз эта ленивая кляча не хочет двинуться с места! Бальзак встает — это его единственные короткие передышки, — подходит к столу и зажигает спиртовку.

Кофе — вот черная нефть, вновь и вновь приводящая в движение этот фантастический робот, и поэтому для Бальзака, который дорожит только своим творчеством, кофе важнее, чем еда, сон, чем любое другое наслаждение. Он терпеть не может табака, ведь табак не стимулирует энергию, не помогает ей достичь того безмерного напряжения, которое служит для него единственной мерой вещей:

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации».

Зато он посвятил кофе свои прелестнейшие поэтические гимны:

«Кофе проникает в ваш желудок, и организм ваш тотчас же оживает, мысли приходят в движение, словно батальоны Великой Армии на поле битвы. Сражение начинается. Тяжелой поступью шагают воспоминания с развернутыми знаме-

нами. Легкая кавалерия сравнений скачет великолепным галопом. Артиллерия логики подъезжает со своими орудиями и снарядами. Остроумные слова мечутся, как стрелки. Встают образы, бумага покрывается чернилами. Битва начинается и кончается потоками чернил, как настоящее сражение — черным порохом...»

Без кофе нет работы, во всяком случае, той непрерывной работы, на верность которой присягнул Бальзак. Куда бы он ни поехал, он вместе с пером и бумагой берет с собой в качестве третьей необходимой принадлежности кофейник, к которому он привык, как к своему столу, к своей рясе. Никому не доверяет он приготовления кофе, ибо никто другой не сможет приготовить это возбуждающее зелье, придав ему такую аппетитную крепость и черноту. Подобно тому как Бальзак с суеверным фетишизмом выбирает только один определенный сорт бумаги, только определенную форму перьев, точно так же он дозирует, определяет и смешивает сорта кофе согласно особому ритуалу:

«Этот кофе составлялся из зерен трех сортов — «Бурбон», «Мартиника», «Мокко». «Бурбон» он покупал на Рю де Монблан, «Мартинику» — на Рю де Вьей Одриетт у одного бакалейщика, который, вероятно, и сейчас еще помнит этот знаменитый рецепт, а «Мокко» в Сен-Жерменском предместье у одного торговца на Рю де Л'Юниверсите, но я уже не могу сказать, у кого именно, хотя я и не раз сопровождал Бальзака во время его закупочных экспедиций. Это было каждый раз путешествие на полдня через весь Париж. Но ради хорошего кофе он не жалел никаких усилий».

Как всякое возбуждающее средство, кофе постепенно перестает оказывать свое действие, и поэтому его приходится употреблять во все большем количестве. Чем больше перенапрягал свои нервы Бальзак, тем в большем количестве поглощал он этот смертоносный эликсир. Он пишет об одной из своих книг, что довел ее до конца лишь при помощи «потоков кофе». В 1845 году после почти двадцатилетнего злоупотребления этим напитком он устанавливает, что весь

его организм отравлен, и жалуется, что действие яда становится все слабее:

«Промежуток времени, в течение которого действует кофе, становится все короче. Он возбуждает мой мозг теперь только часов на пятнадцать — опасное возбуждение. Он вызывает чудовищные боли в желудке».

И если пятнадцать тысяч чашек крепчайшего кофе (так высчитал один статистик) помогли созданию гигантской «Человеческой комедии», то они же преждевременно погубили здоровое от природы сердце Бальзака. Доктор Наккар, который в качестве друга и врача наблюдал писателя всю его жизнь, считал, что кофе был единственной причиной его смерти:

«Застарелый сердечный недуг был усугублен ночным трудом и употреблением, или, правильнее сказать, злоупотреблением кофе, к которому Бальзак вынужден был прибегать, чтобы преодолеть естественную для человека потребность — потребность сна».

Наконец в восемь часов тихий стук в дверь. Входит слуга Огюст и вносит скромный завтрак. Бальзак поднимается из-за стола. С двенадцати часов ночи он не выпускал из рук пера. Теперь наступает мгновение отдыха. Слуга раздвигает шторы. Бальзак подходит к окну и бросает взгляд на Париж, который он хочет завоевать. В эти минуты он впервые после долгих часов труда замечает, что рядом с его миром существует другой мир, рядом с Парижем его фантазии есть еще реальный Париж, который берется за труд — теперь, когда труд Бальзака на время закончен. Уже открываются магазины и конторы, дети спешат в школу. Катят экипажи, в тысячах кабинетов и канцелярий чиновники и дельцы усаживаются за столы. Только он один среди сотен тысяч других уже кончил работать.

Нужно дать отдых усталому телу, нужно взбодрить его для новой работы, и Бальзак принимает горячую ванну.

Обычно он сидит в ванне — и в этом он тоже похож на своего великого партнера Наполеона — целый час. Это единственное место, где он может размышлять, никем не потревоженный, — размышлять, ничего не записывая. Он сидит обнаженный, наслаждаясь грезами, отдыхая от физической работы. Но едва он успел накинуть рясу, как за дверью уже слышатся шаги.

Пришли рассыльные из разных типографий, которые он загружает все разом; пришли за распоряжениями, как ординарцы Наполеона, поддерживающие во время битвы связь между командным пунктом и батальонами. Один требует новую рукопись, свежую и еще не совсем просохшую рукопись, созданную этой ночью. Ибо все, что Бальзак пишет, должно немедленно идти в печать, и не только потому, что газета или издатель ждут каждую строчку, созданную Бальзаком, как уплату по векселю, срок которого наступил (всякий еще не написанный роман уже продан и заложен на корню), но еще и потому, что Бальзак в том состоянии творческого транса, когда он пишет, словно в бреду, сам не знает, что он пишет и что он написал. Даже его собственный придирчивый взор не в силах проникнуть в дебри рукописного текста. Только когда рукопись, построенная в печатные столбцы, продефилирует мимо него, абзац за абзацем, батальон за батальоном, только тогда полководец Бальзак поймет, выиграл ли он эту битву или должен снова идти в атаку.

Другие рассыльные из типографий, газет и издательств приносят свежие гранки рукописей (Бальзак закончил их третьего дня и сдал в набор вчера), а вместе с ними и новые оттиски старых корректур. Целые груды бумаги, прямо с печатного станка, бумаги, еще сырой от типографской краски, — две дюжины, три дюжины, а нередко пять или шесть дюжин корректурных оттисков загромождают и заваливают шаткий столик, и все это надо опять и опять просмотреть.

Девять часов. Передышка кончилась.

«Во время одной работы я отдыхаю от другой». В чудовищной спешке и непрерывном труде Бальзак поддерживает свои

силы только тем, что, не прекращая работы, переходит от одного вида работы к другому.

Но в противоположность большинству писателей чтение корректур для Бальзака не легкое дело. Он не только исправляет и шлифует, нет, он полностью перерабатывает и заново пишет свою книгу. Чтение, или, вернее, переписывание корректур для него такой же непосредственный творческий акт, как и создание первого варианта. Ибо Бальзак, собственно говоря, вовсе не исправляет гранки, он использует их только как первый оттиск, как отпечатанный черновик. И то, что духовидец писал в бреду и горячечной спешке, то теперь читает, оценивает и изменяет исполненный ответственности художник.

Ни на что не тратил Бальзак столько стараний, страсти и усилий, как на пластичность своей прозы, которой он добивался медленно, постепенно, как бы обрабатывая слой за слоем. И так как во всем, что касается его заветной задачи, его работы, эта столь расточительная и широкая натура оказывается тиранически-педантичной, то и корректуры эти набираются типографиями согласно особым его предписаниям. Прежде всего гранки должны быть напечатаны на больших и удлинённых листах двойного формата — так, чтобы каждый столбец сидел в них, словно козырной туз посреди белой карты, а справа и слева, снизу и сверху простиралось бы огромное пространство полей для исправлений и улучшений. Кроме того, гранки должны быть набраны не на обычной, дешевой желтоватой бумаге, а на белой, так чтобы каждая литера четко выделялась на светлом фоне и не утомляла глаз.

— А теперь — за дело!

Быстрый взгляд — Бальзак обладает даром своего Луи Ламбера читать по шесть-семь строк сразу, — и вот рука его уже гневно тянется к перу. Бальзак недоволен. Все плохо, все, что он написал вчера, все, что он написал позавчера, — смысл неясен, фразы сбивчивы, слог неправилен, композиция неуклюжа! Все нужно сделать иначе, лучше, четче, яс-

нее. Он приходит в бешенство. Это чувствуется по брызгам чернил из-под пера, по тому, как он в ярости перечеркивает всю страницу. словно шквал кавалерийской атаки врзается он в печатное каре. Вот сабельный удар пером, вот он безжалостно хватает фразу и перетаскивает ее направо, вот поднимает слово на пику; целые абзацы вырывает он своими львиными когтями, зато другие всаживает на их место.

Скоро ему уже не хватает (так много исправлений делает он) обычных корректурных знаков. Ему приходится изобретать новые. Поля гранок становятся для него слишком узкими; ведь он давно уже исписал их так густо, что на них теперь больше текста, чем в самих гранках. Вверх, вниз, направо, налево устремляются строки, снабженные магическими знаками. Но что он написал вместо вымаранных мест! Поначалу чистая и разборчивая страница покрыта словно паутиной пересекающихся, скрещивающихся, восстанавливающих и исправляющих линий и черточек. И Бальзак, стараясь найти чистое местечко, переворачивает лист и на обороте вписывает свои добавления. Но и этого ему мало! Перу больше негде писать; Бальзаку не хватает загогулин и цифр, которые служат указанием для несчастного наборщика. Значит, надо извлечь ножницы и вырезать кое-какие лишние фразы. Подать сюда чистую бумагу, только меньшего формата, чтобы она резко отличалась от первой рукописи, и подклеить ее к гранкам. Начало пишется заново, а старое всунуто теперь в середину. словно киркой и мотыгой перекапывается вся почва. Слой за слоем идут рукописные строчки вперемежку с печатными, покрытые цифрами и перемаранные. И, наконец, в состоянии полнейшей неразберихи, став во сто крат неразборчивее, невразумительнее и неудобочитаемое, гранки возвращаются в типографию.

В редакциях, в типографиях все собираются толпой и хихикают, любуясь на эту кляксопись. «Невозможно», — объявляют опытные наборщики; и хотя им предлагают двойную оплату, они отказываются набирать Бальзака боль-

ше одного часа в день. Проходят месяцы, прежде чем какой-нибудь наборщик одолеет науку расшифровки бальзаковских иероглифов, и специальный корректор должен тщательно проверять его зачастую весьма гипотетические догадки.

Но как же они глубоко ошибаются, если полагают, что на этом их труд закончен! Потому что, когда назавтра или послезавтра гранки, набранные целиком заново, возвращаются к Бальзаку, он набрасывается на этот новый набор с такой же яростью, как и на первый оттиск. Он снова разрушает до основания с таким трудом возведенное здание, он снова усеивает и испещряет кляксами весь лист сверху донизу и отправляет обратно текст, такой же хаотический и неудобочитаемый, как и первый оттиск. И так повторяется и в третий, и в четвертый, и в пятый, и в шестой, и в седьмой раз. С той только разницей, что теперь Бальзак ломает, разрушает и изменяет не целые абзацы, а отдельные строчки и под конец уже только отдельные слова.

Работая над своими книгами, Бальзак нередко держал по пятнадцать-шестнадцать корректур. И мы можем составить себе представление о его ни с чем не сравнимой продуктивности, если подсчитаем, что за двадцать лет Бальзак написал семьдесят четыре романа и великое множество рассказов и очерков. А ведь для того, чтобы окончательно завершить их, ему потребовалось работать в семь, нет, в десять раз больше, чем для того, чтобы создать свое исполинское произведение вчерне.

Ни финансовые затруднения, ни заклинания издателей, докучающих ему то дружескими упреками, то судебными исками, не могут отвадить Бальзака от его дорогостоящего метода. Десятки раз он отдавал половину и даже весь гонорар, полученный им за свои сочинения, чтобы оплатить громадные расходы по переверстке и подверстке рукописей. Но в этом пункте интимнейшей творческой этики Бальзак неумолим. Когда некий редактор журнала осмеливается опубли-

ковать продолжение его романа, не дождавшись получения бесчисленных корректур и окончательной авторской визы, Бальзак навсегда порывает с ним отношения.

Человек, который кажется всем легкомысленным, слишком склонным к чрезмерной поспешности, жадным до денег, здесь, когда речь идет о завершенности произведения и о творческой чести, оказывается самым совестливым, самым упорным, самым неподатливым и энергичным борцом из всех современных ему писателей. Потому что лишь он один знает фантастическую сумму этой энергии, жертвенности, одержимости совершенством, потому что пятикратный, десятикратный процесс преобразования происходит в темноте лаборатории и неведом никому из тех, кто видит только готовые произведения, поэтому он и любит свои гранки как единственных верных и надежных свидетелей. Он гордится ими не столько как художник, сколько как рабочий человек, неутомимый мастеровой.

Он берет эти исправленные, истерзанные полосы и составляет из них отдельные экземпляры: первичное состояние вещи, вторичное и так вплоть до окончательного. И он переплетает их вместе со своей рукописью в единый фолиант, объем которого нередко превышает две тысячи страниц (тогда как вся книга в напечатанном виде содержит всего только двести). Подобно Наполеону, своему вечному образцу, который раздавал княжеские титулы и герцогские гербы своим маршалам и вернейшим слугам, Бальзак дарит рукописи, принадлежащие его гигантской империи, его «Человеческой комедии», как самый бесценный свой дар:

«Я дарю эти тома только тем, кто меня любит; они свидетели моей долгой работы и терпения, о котором я вам говорил. Над этими чудовищными страницами проводил я свои ночи».

Львиная доля достается г-же Ганской. Этой же награды он удостоивает мадам де Кастри, и графиню Висконти, и сестру Лауру. Впрочем, он удостоивает ее лишь немногих, тех, кто сможет по заслугам оценить его дар. Об этом свидетельствует

письмо доктора Наккара, когда за свою долголетнюю врачебную и дружескую службу он получил от Бальзака том корректур «Лилии в долине». Доктор Наккар пишет:

«Это действительно примечательные монументы, и тем, кто еще верит в дальнейшее усовершенствование прекрасного в искусстве, следовало бы сделать их доступными для обозрения.

Как поучительно это было бы и для публики, которая полагает, что творения ума задуманы и созданы с такой же легкостью, с какой их затем читают! Я хотел бы, чтобы мою библиотеку поместили посреди Вандомской площади, дабы друзья вашего гения действительно смогли оценить то чувство ответственности и упорство, с которым вы работаете».

Действительно, едва ли существуют документы, кроме разговорных тетрадей Бетховена, в которых так наглядно запечатлена титаническая борьба художника и которую можно уподобить борьбе Иакова с ангелом. Сильнее, чем на любом портрете, выразительнее, чем во всех анекдотах современников, встает здесь первозданная мощь Бальзака, его титаническая энергия. Только тот, кто знает эти фолианты, знает истинного Бальзака.

Три часа, четыре часа подряд работает Бальзак над своими гранками, изменяет текст, улучшает, «занимается литературной кухней», как он в шутку называет эти занятия, длящиеся каждый раз до полудня и отличающиеся такой же непрерывностью, ожесточенностью и страстностью, как и ночная его работа. Только в полдень Бальзак отодвигает гору бумаги в сторону, чтобы перекусить. Он съедает яйцо, бутерброд или легкий паштет. По природе своей эпикуреец, уроженец Турени, который с детства любит жирные и тяжелые блюда, вкусные рудэты, поджаристых каплунов, кровавое, сочное мясо; который знает красные и белые вина своей родины, как виртуоз клавиатуру своего рояля, он отказывает себе во время работы в каком бы то ни было удовольствии.

Он знает, что после еды приходит усталость, а у него нет времени для усталости. Он не смеет, он не хочет позволить себе отдохнуть.

Бальзак опять придвигает кресло к маленькому столу, и дальше: дальше, дальше, корректуры, наброски, заметки, письма; работа, работа, работа, без перерыва и без отдыха.

Наконец около пяти часов Бальзак отбрасывает перо, а значит, и хлыст, который гонит его вечно вперед. Баста! Бальзак целый день (впрочем, это продолжается часто по целым неделям) не видел человеческого лица, не глянул в окно, не читал газет. Надо наконец дать отдых переутомленному телу и пылающей голове. Слуга сервирует ужин. Иногда на полчаса-час заходит издатель, которого он пригласил к себе, или кто-нибудь из друзей. Но обычно он остается один — он уже обдумывает и видит в мечтах своих то, что будет им создано завтра. Никогда или почти никогда он не выходит на улицу. После столь грандиозных трудов усталость его слишком велика. В восемь часов, когда все отправляются на прогулку, он ложится в постель и засыпает тотчас же, крепко, глубоко, без сновидений. Он спит, так же как делает все: глубже и интенсивнее, чем всякий другой. Он спит, дабы забыть, что вся уже проделанная работа не избавит его от той, которая должна быть выполнена завтра, послезавтра, и так без конца, до последнего часа его жизни. Он спит до полуночи, пока слуга не зажигает свечи, и Бальзак принимается опять за работу.

Так работает Бальзак неделями и месяцами, не зная перерыва, не позволяя себе остановки, пока труд его не завершен. Но даже и после этого он разрешает себе только самый короткий отдых. «Битва следует за битвой», произведение за произведением, словно стежок за стежком, в той необъятной ткани, которая является результатом труда всей его жизни.

«Всегда одно и то же: ночь за ночью, и все новые тома! А то, что я хочу воздвигнуть, столь возвышенно и необъятно!..» — стонет в отчаянии Бальзак.

Порой он боится, что за этой работой он упустит действительную жизнь. И он потрясает цепями, в которые сам себя заковал.

«Я должен создать за месяц то, что другие не могут завершить за год и даже за более длительный срок».

Но работа для него стала необходимостью. Он уже не может от нее освободиться:

«В трудах я забываю свои горести, труд — мое спасение».

Разнообразие работы не нарушает ее непрерывности.

«Когда я не работаю над рукописями, я размышляю о моих планах, а когда не размышляю и не пишу, тогда я держу корректуру. В этом и есть моя жизнь».

Так он и проживет всю свою жизнь с этими кандалами на ногах, и, когда он решается наконец на побег, они бренчат, волочась за ним следом. Он никуда не ездит без рукописи. Даже когда он влюблен и следует за женщиной, его любовная страсть неизбежно подчиняется некоему высшему долгу. Вот он появляется у герцогини де Кастри, у г-жи Ганской в Женеве, пылая от нетерпения, опьяненный страстью, и тут же извещает возлюбленную, что после пяти часов вечера она никогда не будет его видеть. Только после нерушимых двенадцати или пятнадцати часов, отданных письменному столу, может он отдать себя женщине. Сначала творчество, потом любовь. Сперва «Человеческая комедия», потом свет. Сперва работа, потом, вернее сказать, никогда, наслаждение.

Только этим иступлением, только этим самоиспепеляющим творческим экстазом можно объяснить чудо создания за неполных двадцать лет «Человеческой комедии». Но эта почти непостижимая бальзаковская продуктивность становится еще непостижимей, если к его художественным произведениям прибавить еще его личную и деловую корреспонденцию. В то время как у Гете и Вольтера всегда были под рукой два-три секретаря и даже какой-нибудь Сент-Бев возлагал подготовительные работы на специального сотрудника, Бальзак всю свою корреспонденцию и все свои дела вел всегда

самолично. Кроме последнего потрясающего документа со смертного одра, когда рука его уже была не в силах держать перо и он к письму, написанному его женой, прибавляет только постскриптум: «Я не могу уже ни читать, ни писать».

Кроме этого письма, каждая страница его произведений, каждая строчка его писем написана его собственной рукой. Все договоры, все акты купли-продажи, все дела и поручения, долговые обязательства и векселя и все иски и контриски он разбирает без писцов, без секретарей и без советчиков. Он все закупает для дома, лично делает заказы обойщикам и поставщикам, а в более поздние годы заботится еще о финансах г-жи Ганской и консультирует своих родных. Он так растрчивает свои силы, он так загружает себя работой, что это граничит с патологией. Бывают мгновения, когда он сам сознает, что такое противоестественное самоистребление неизбежно приведет его к гибели:

«Иногда мне кажется, будто мозг мой воспламенился и мне суждено умереть на обломках своего разума».

И поэтому отдых после таких припадков двухнедельного, трехнедельного непрерывного труда, когда он не выходит на улицу, всегда похож на катастрофу. Он падает наземь, как раненый герой после победы:

«Я сплю восемнадцать часов в сутки. А остальные шесть ровно ничего не делаю».

Бальзак отдыхает от припадков труда, но этот отдых тоже припадок, и в таком же припадке, если только у него есть еще силы после завершеного произведения, он бросается в удовольствия. Когда он приходит в себя после опьянения работой, покидает свою келью и появляется среди людей, он все еще не протрезвел окончательно. Оказавшись в обществе, в салонах — а уже несколько недель он не слышал человеческого голоса, — он начинает болтать и бахвалиться, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. Будто вырвавшись из-под высокого давления, струятся, смеются, шипят и пенятся его слова. Когда он входит в магазин, он,

фантаст, одаривший в своих романах миллионами одних и похитивший их у других, он, как бы все еще находясь в мире иных чисел, бессмысленно швыряет деньги, ничуть не задумываясь над ними и не зная им счета.

В любом из его поступков всегда есть нечто от фантастики и гиперболичности его романов — он все делает с наслаждением. Как суровый, могучий, веселый мореход былых времен, целый год не выдавший земли, не спавший в постели и не обнимавший женщину, который, когда корабль после тысячи злоключений возвращается наконец домой, высыпает на стол полную мошну, напивается допьяна, дебоширит и просто, чтобы дать выход радости жизни, выбивает оконные стекла; или как чистокровный рысак, который, застоявшись в стойле, не сразу разминается и набирает скорость, но проходит мгновение — и вот он летит вперед, подобно ракете, чтобы освободить напряженные мускулы и ощутить опьянение свободой, — так и Бальзак нарушает свое отшельничество, разряжает свое утомление и замкнутость в краткие перерывы, которые он позволяет себе между двумя книгами.

И тогда являются дуралеи, все эти Гозланы, Верде, все эти ничемные журналисты, продающие каждодневно свои скудные острофы за несколько су и, словно лилипуты, издеваются над освободившимся от своих пут Гулливером. Они пишут о нем анекдоты и неукоснительно помещают их в печати: вот, мол, какой смешной, тщеславный, ребячливый дурень этот ваш великий Бальзак! И каждый болван чувствует себя умнее, чем он. И никто из них не понимает, что после такого чудовищного перенапряжения было бы неестественным, если бы этот духовидец вел себя как обычный человек, если бы он, например, аккуратненько вел конторскую книгу, записывал в нее каждый франк и, как лавочник, помещал свои сбережения в четырехпроцентную ренту! Если бы он, который только что был властелином, магом и обитателем царства снов, стал вести себя в реальном мире согласно правилам светских салонов. Если бы он, чей гений так скло-

нен к творческим преувеличениям, был столь же проницателен, столь же дипломатичен и столь же холодно-расчетлив, как они сами. Им под силу создать только карикатурные изображения той гротескной тени, которую отбрасывает его гигантская фигура на стены эпохи, когда он проходит мимо. Ни один современник не знал о его подлинной сущности, ибо подобно тому как призракам из сказки позволено лишь краткий час скользнуть легкой тенью по земле, которая им не принадлежит, так и Бальзаку даны лишь краткие мгновения свободы, и все вновь и вновь должен он возвращаться в темницу своего труда.

IX. ГЕРЦОГИНЯ ДЕ КАСТРИ

Труд, безмерный труд, до конца дней его будет истинной формой существования Бальзака, и он любит этот труд, или, вернее, он любит себя в этом труде. Терзаемый муками творчества, он в то же время втайне наслаждается своей демонической энергией, своей созидательной мощью, силой своей воли, которая извлекает все, что возможно, и даже больше, чем возможно, из геркулесовского его тела и необъятной души. Дни и ночи проводит он за рабочим столом, и он гордо может сказать о себе: «Мои излишества в моем труде».

Но поработанная даже столь тиранической волей природа не дает себя окончательно задавить. Она обороняется против аномальности существования, находящего удовлетворение только в фантазии и жаждущего убить себя работой. Порой, и все чаще с годами, Бальзак, самоотверженно предаваясь труду, с ужасом вдруг ощущает, что в этом труде он растрчивает лучшие свои годы, что писание и творчество даже в самой возвышенной своей форме — это лишь суррогат действительности. «Я пытаюсь жить только жизнью воображения», — признается он Зюльме Карро, но это никогда ему не удается вполне. Художник, который все-таки всегда остается человеком, вкушающим радости жизни, стонет под бременем

аскетического однообразия своего каждодневного труда. Мужское начало в нем требует более бурной реализации, чем слова, изливающиеся на холодную бумагу. Мечтателю, который создал в своих творениях сотни любящих женщин, нужна только одна, та, которую он может любить.

Но как найти ее, эту женщину?

И здесь ревнивая работа преграждает ему путь в жизнь. У Бальзака нет времени искать женщину, искать возлюбленную. По четырнадцать, по пятнадцать часов кряду прикован он к письменному столу. Остальные он жертвует сну и неотложным делам. У него нет возможности самому отправиться на поиски. И нам кажется трогательным, что он непрестанно поручает двум-трем людям, к которым питает доверие, например, сестре и Зюльме Карро, отыскать ему подходящую жену, которая избавила бы его от этих адских мучений и чудовищной тоски. Но внезапная слава меняет все. И в то самое мгновение, когда Бальзак уже отчаивается найти женщину, женщины сами начинают искать знакомства с ним.

Женщины всегда особенно любят тех писателей, которые интересуются ими, и приверженность Бальзака к женщине, как к несчастной и непонятой жертве мужчины, его снисходительность ко всем ее грехам, ко всем ее ошибкам и заблуждениям, его сочувствие покинутым, отвергнутым и состарившимся возбудили к нему интерес не только у парижанок и у француженок. Из самых забытых богом углов, из самых немислимых провинций, из Германии, из России, из Польши приходят письма, адресованные «ведателю глубей и высей»*. Бальзак — небрежный корреспондент, он слишком захвачен работой и редко отвечает на чьи-либо послания, и в его переписке мы напрасно стали бы искать дискуссий на отвлеченные темы с лучшими умами столетия. Но эти женские письма занимают его, восхищают и волнуют. Фантазеру, живущему в постоянном творческом трансе, каждое такое

* Из стихотворения Гёте «Бог и баядера».

письмо представляется залогом некоего пылкого романа, и в жажде жертвенных излияний он, восторженно предвидя духовную близость, посылает совершенно незнакомым дамам признания и исповеди, в которых отказывает лучшим своим друзьям.

В один прекрасный день, 5 октября 1831 года, в Саше, куда он бежал к своему другу Маргонну, собираясь здесь работать, ему переслали письмо женщины, которое особенно поразило его.

Фантазия Бальзака обладает способностью — это видно по его романам — творчески загораться, отталкиваясь от самых мелких деталей. И сейчас эти незначительные детали — сорт бумаги, почерк, особенности слога — заставляют его предположить, что женщина, которая подписалась не своим подлинным именем, а английским псевдонимом, должна быть особой высокого и даже очень высокого происхождения. Его фантазия разыгрывается самым бурным образом. Должно быть, это прекрасная, юная несчастная женщина, немало претерпевшая и изведавшая много трагического, к тому же она принадлежит к самой высшей аристократии — она, бесспорно, графиня, маркиза, герцогиня.

Любопытство и, вероятно, снобизм решительно не дают ему покоя. Он немедленно посылает незнакомке, «возраст и положение которой мне неизвестны», письмо на шести страницах. Собственно говоря, он хочет в своем ответе только защитить себя от упрека в фривольности, который эта корреспондентка бросила ему, прочитав «Физиологию брака». Но Бальзак, ни в чем не знающий меры, не в силах держаться золотой середины. Если он восхищается, значит, он непременно приходит в экстаз. Если он трудится, значит, он работает как каторжный. Если он пишет кому-нибудь, значит, это будет оргия, изобилие признаний. И, не зная никаких преград, открывает он совершенно ему неведомой анонимной корреспондентке свое сердце. Доверительно сообщает, что намерен жениться только на вдове. Описывает неизвестной себя самого то в сентиментальных, то в пламенных красках

и делает ее, далекую незнакомку, наперсницей всех своих сокровеннейших мыслей, о которых не знает еще никто из его лучших друзей. Он рассказывает ей, что «Шагреновая кожа» только краеугольный камень некоего монументального здания, которое он намеревается возвести, — здания «Человеческой комедии».

«Я горжусь тем, что предпринял такую попытку, хотя бы мне и суждено было погибнуть при этом».

Неизвестная корреспондентка, по-видимому, весьма изумилась, получив вместо вежливого или литературно-витиеватого ответа столь интимное саморазоблачение знаменитого писателя. Несомненно, она тотчас же ему ответила; между Бальзаком и предполагаемой герцогиней завязалась переписка (к сожалению, дошедшая до нас лишь в незначительной своей части), которая наконец привела к тому, что оба они, по-человечески заинтересовавшись друг другом, пожелали свести личное знакомство. Незнакомке все же известно кое-что о Бальзаке. Кое-что ей донесла молва, его портреты напечатаны во многих повременных изданиях. Зато Бальзак ничего не знает о ней, и как же должно было разыграть его любопытство! Молода ли эта незнакомка? Хороша ли она? Не принадлежит ли к тем трагическим душам, которым нужен утешитель? Быть может, она лишь сентиментальный синий чулок, заучившаяся купеческая дочка? Или же и в самом деле она (о безумно-смелый мечтатель!) графиня, маркиза, герцогиня?

И каков же триумф психолога! Неизвестная корреспондентка действительно маркиза, обладающая преемственным правом на титул герцогини. В противоположность его прежней метрессе, герцогине д'Абрантес, она отнюдь не герцогиня, только что испеченная корсиканским узурпатором. Нет, она самой что ни на есть голубой крови, она происходит из аристократичнейшего Сен-Жерменского предместья! Отец маркизы, впоследствии герцогини Анриетты Мари де Кастри, — герцог де Мэйе, бывший маршал Франции, чья родо-

словная восходит к одиннадцатому столетию. Ее мать — герцогиня Фиц-Джемс, иначе говоря, из Стюартов и, следовательно, королевской крови. Ее муж, маркиз де Кастри, внук прославленного маршала де Кастри и сын герцогини де Гиз. Душа Бальзака — этого аристокромана — должна была прийти в священный трепет при виде столь роскошного разветвленного генеалогического древа. Да и возраст маркизы вполне соответствует бальзаковскому идеалу. Ей тридцать пять, и, следовательно, она может считаться «тридцатилетней женщиной», и даже сугубо бальзаковского типа. Ибо это чувствительная, несчастная, разочарованная женщина, которая только что пережила роман, нашумевший в парижском обществе не менее, чем «Шагреновая кожа». Стендаль, величайший собрат Бальзака, предвосхитив его, описал судьбу маркизы де Кастри в своем первом романе, «Арманс».

Бальзаку не стоит большого труда узнать все подробности романтической истории.

В возрасте двадцати двух лет юная маркиза, в то время одна из прелестнейших аристократок Франции, рыжеволосая, как женщины Тициана, стройная, нежная, познакомилась с сыном всемогущего канцлера Меттерниха. Маркиза страстно влюбляется в молодого человека, который унаследовал от отца мужественную красоту и светское обаяние, но, к несчастью, не унаследовал его несокрушимого здоровья. Так как французская знать еще верна традициям просвещенного восемнадцатого столетия, супруг ее готов сделать вид, что не замечает пламенных чувств юной пары. Однако с откровенной решимостью, поразившей не только Стендаля, но и все парижское общество, влюбленные отвергают всякий компромисс. Госпожа де Кастри бросает дворец своего супруга, молодой Меттерних — блестящую карьеру. Что им до света, что им до общества — они хотят жить лишь друг для друга и для любви. И вот романтическая пара странствует по прелестнейшим уголкам Европы. Словно вольные номады*,

* Номады — кочующие народы, племена; кочевники. — *Примеч. ред.*

кочуют они по Швейцарии, по Италии, и вскоре сын (который впоследствии будет обязан австрийскому императору титулом барона фон Альденбурга) становится боготворимым свидетелем их счастья. Но это счастье слишком полное, чтобы быть длительным. Катастрофа разражается неожиданно, как гром среди ясного неба. Маркиза на охоте упала с лошади и сломала позвоночник. С тех пор она вынуждена большую часть дня проводить лежа пластом в шезлонге или в постели, а Виктор фон Меттерних недолго облегчает ее жребий своими нежными заботами, ибо вскоре после несчастья с ней он в ноябре 1829 года погибает от чахотки. Эта утрата поражает маркизу де Кастри еще тяжелее, чем недуг. Не в силах оставаться одинокой в тех краях, которые казались ей раем, лишь озаренные светом счастливой любви, она возвращается в Париж, но уже не в дом своего супруга и не в общество, суждения которого она столь вызывающе оскорбила. Маркиза проводит теперь дни свои в родовом дворце де Кастеллан в полном уединении, расставшись с прежними друзьями, и только книги — ее единственное утешение.

Получив письмо, а вслед за тем и дружеские приглашения от женщины, чье положение, возраст и судьба соответствуют самым смелым его мечтаниям, Бальзак немедленно приводит в действие как поэтическую, так и снобистскую сторону своей натуры. Маркиза, будущая герцогиня, «тридцатилетняя женщина», «покинутая женщина» так отличает его — внука крестьянина, сына мелкого буржуа! Что за победу он одержал над всеми прочими собратьями — над этими Гюго, Дюма, Мюссе, чьи жены — представительницы класса буржуазии, чьи подруги — актрисы, литераторши или кокетки! И какое торжество, если дело не ограничится просто дружбой, если он, так страстно вспыхивающий, едва слышав титул знатной дамы, если он после связи с неродовитой мадам де Берни и аристократкой-выскочкой герцогиней д'Абрантес станет теперь любовником, а может быть, и супругом доподлиннейшей герцогини из древнего галльского рода, приемником принца Меттерниха, он, который в объятиях герцо-

гини д'Абрантес уже был преемником его отца, князя Меттерниха!

Нетерпеливо ожидает Бальзак приглашения навестить свою сиятельную корреспондентку. Наконец 28 февраля письмо приносит ему сей «знак доверия», и он тотчас же отвечает, что спешит принять «великодушное предложение, рискуя благодаря личному знакомству так много проиграть в ваших глазах».

И так быстро, так поспешно, так восхищенно отвечает Оноре де Бальзак на это послание обитательницы Сен-Жерменского предместья, что не обращает внимания на другое письмо, которое в тот же день легло на его стол, письмо из России, написанное другой женщиной и подписанное «Чужестранка».

Такому фантазеру, как Бальзак, кажется само собой разумеющимся, что он влюбится в герцогиню де Кастри. Ему вовсе не нужно видеть ее для этого, и будь она уродлива, сварлива, глупа, ничто не сможет охладить этого чувства, ибо все чувства, даже чувство любви, подчиняются самовластию его воли. Еще прежде чем Бальзак тщательно заканчивает свой туалет, надевает новый фрак и садится в карету, чтобы ехать во дворец де Каstellан, он уже решил полюбить эту женщину и стать ее возлюбленным.

Как впоследствии из героини того второго, еще не вскрытого письма, так теперь из герцогини де Кастри он создал, не зная ее, идеальный образ, образ женщины, которой он в романе своей жизни намерен поручить главную роль.

И действительно, первые главы протекают именно так, как рисовало его живое воображение. В салоне, убранном в самом великолепном и благородном вкусе, его ожидает, полулежа на кушетке в стиле Рекамье, молодая, но уже не юная женщина, немного бледная, немного усталая, — женщина, которая любила и познала любовь, женщина покинутая, нуждающаяся в утешении. И удивительное дело, эту аристократку, окруженную доселе одними только князьями и герцогами, эту пылкую особу, чьим возлюбленным был

стройный элегантный княжеский отпрыск, не разочаровывает широкоплечий толстобрюхий плебей, которому никакое портновское искусство не в силах придать элегантности. Живыми и умными глазами она смотрит на своего гостя и с благодарностью внимает его бурному красноречию. Это первый писатель, с которым она познакомилась, человек из другого мира, и, несмотря на всю свою сдержанность, она не может не почувствовать, с каким пониманием, с какой захватывающей и возбуждающей пронизательностью подходит он к ней. Один, два, три волшебных часа проходят незаметно в беседе, и она не в силах, несмотря на всю верность памяти любимого, не восхищаться необычайным человеком, ниспосланным ей судьбой. Для нее, чувства которой, казалось, умерли, началась дружба; для Бальзака, во всем не знающего меры, — упоение.

«Вы приняли меня столь любезно, — пишет он ей, — вы подарили мне столь сладостные часы, и я твердо убежден: вы одни мое счастье!»

Отношения становятся все сердечней. В ближайшие недели и месяцы экипаж Бальзака каждый вечер останавливается у дворца де Каstellан, и беседы затягиваются далеко за полночь. Он сопровождает ее в театр, он пишет ей письма, он читает ей свои новые произведения, он просит у нее совета, он дарит ей самое драгоценное из всего, что может подарить: рукописи «Тридцатилетней женщины», «Полковника Шабера» и «Поручения». Для одинокой женщины, которая уже много недель и месяцев предается скорби по умершему, эта духовная дружба означает своего рода счастье, для Бальзака она означает страсть.

К несчастью, Бальзаку мало одной только дружбы. Его мужское и, вероятно, снобистское тщеславие жаждет большего. Все настойчивей, все несдержанней, все чаще говорит он ей, что жаждет ее. Все настойчивей требует, чтобы она подала ему надежду. И герцогиня де Кастри слишком женщина, чтобы даже в своем несчастье не почувствовать себя, пусть еще не сознательно, польщенной любовью человека, чей дар она

чит и чьим гением восхищена. Она прислушивается к его словам. Она не пресекает холодно и свысока бурные проявления чувств пламенного поэта. Быть может (хотя, конечно, нельзя доверять всему, что говорит Бальзак в своем позднейшем, вызванном чувством мести романе «Герцогиня де Ланже»), она их даже вызывает:

«Эта женщина не только любезно приняла меня. Она употребила против меня все ухищрения своего весьма обдуманного кокетства. Она хотела мне понравиться и приложила неопишуемые усилия, чтобы держать меня в состоянии опьянения и опьянять все больше. Она не пожалела усилий, чтобы вынудить тихо и преданно любящего объясниться».

Однако как только его ухаживания приближаются к опасной черте, герцогиня начинает обороняться решительно и непреклонно. Быть может, она желает оставаться верной только что умершему возлюбленному, отцу своего ребенка, ради которого пожертвовала общественным положением и самой честью, а быть может, ее сковывает увечье, которого она стыдится. Быть может, наконец, действительно плебейские и вульгарные черты в облике Бальзака вызывают у нее отвращение. А может быть, она опасается (и не без основания), что Бальзак в своем тщеславии тотчас же разгласит повсюду об этой аристократической связи. Но, как уверяет Бальзак в «Герцогине де Ланже», она позволяет ему «только медленно продвигаться вперед, делать маленькие завоевания, которыми должен удовлетвориться застенчивый влюбленный», и упорно не желает «подтвердить преданность своего сердца, присоединив к нему и собственную свою особу». Впервые вынужден Бальзак почувствовать, что его воля, даже когда он напрягает ее до предела, не всемогуща. После трех, нет, четырех месяцев самых настойчивых домогательств, невзирая на свои ежедневные посещения, невзирая на всю свою писательскую деятельность в пользу роялистской партии, невзирая на все унижения своей гордыни, он по-прежнему остается только другом-литератором, но отнюдь не возлюбленным маркизы де Кастри.

Даже самый умный человек замечает всегда последним, что он ведет себя недостойным образом. Немногие истинные друзья Бальзака, хотя они и не знают ничего определенно-го, начинают замечать перемену в его общественной позиции. С неудовольствием видят они, как он, вырядившись, словно денди, сидит в Итальянской опере и, вооружившись лорнетом, поглядывает в сторону одной ложи; как пылко разглагольствует он в роялистских салонах герцога Фиц-Джемса и герцога де Рогана, в салонах, где, как правило, на буржуа, даже если они великие писатели, живописцы, музыканты и государственные деятели, смотрят только как на лакеев, одетых в штатское платье. Но подобные снобистские дурачества и экстравагантности уже слишком привычны для друзей. И они не видят в них угрозы его славе и его престижу.

Однако когда их Оноре де Бальзак начинает выступать как публицист в ультрареакционном листке, в «Реноватере», и, превратившись в пламенного прислужника феодализма, демонстративно преклоняет колена перед герцогиней Беррийской, тут уж друзья теряют покой. Они слишком изучили характер Бальзака и знают, что он не принадлежит к тому подлому отродью, которое продает себя за деньги. Инстинкт подсказывает им, что в эти темные политические закоулки его вовлекли чьи-то нежные руки.

Старейшая из его подруг, госпожа де Берни, от которой он старательно утаил свою переписку и визиты к герцогине де Кастри, предостерегает его первая. Хотя, следуя семейным традициям и будучи крестницей Людовика XVI и Марии-Антуанетты, госпожа де Берни сама настроена почти роялистски, она все же неприятно поражена тем, что Бальзак неожиданно начал публично подвизаться в роли барабанщика ультрароялистов, и настоятельно советует ему «не становиться рабом этих господ». Старая искушенная женщина видит из своего далека, что эти господа, нисколько не ценя Бальзака-писателя, стараются использовать его снобизм.

«Они всегда по сути своей были неблагодарны, и они не станут меняться именно ради тебя, друг мой».

Еще жестче, еще решительнее пишет ему Зюльма Карро, с глубоким разочарованием и стыдом прочтя гимн Бальзака в честь герцогини Беррийской, которая как раз в это время пыталась закрепить престол за своим сыном, за внуком Карла X: «Предоставь защиту подобных особ придворному обществу и не пятнай свое честно завоеванное доброе имя сообщничеством с этой чернью».

Навлекая на себя опасность утратить его дружбу, величайшее достояние в ее маленьком, неприметном существовании, Зюльма беспощадно высказывает своему великому другу все отвращение, которое она питает к внезапному низкоклонству человека, чей гений она так любит, но для которого пышные дворянские титулы значат больше, чем внутреннее благородство, отличающее прямое и стойкое поведение:

«Ты держишь сторону окостенелой привилегированной аристократии! Неужели же ты никогда не освободишься от этих иллюзий?»

Но ни та, ни другая истинная его приятельница не знают еще, из чего сделаны — из золота или из роз — цепи, которыми чья-то ловкая рука приковала Бальзака к уже разваливающейся колымаге роялизма. Они чувствуют только, что он не свободен, что кто-то его принуждает, что он изменяет самому себе.

Пять месяцев, с февраля по июнь, почти полгода, растрчивает Бальзак на роль чичисбея*, на роль снисходительно терпимого, но так и не добившегося ответа обожателя герцогини де Кастри. В начале июня он внезапно покидает Париж и отправляется в Саше к своему другу Маргонну. Что случилось? Уж не угасла ли неожиданно страсть? Или, может быть,

* Чичисбей — постоянный спутник женщин, кавалер (от старого итальянского обычая, по которому замужняя женщина должна была показываться на людях в сопровождении постоянного спутника). — *Примеч. ред.*

самоуверенность Бальзака настолько ослабела, что платонический воздыхатель поневоле снимает осаду с несдающей крепости? Ничуть не бывало. Бальзак все еще находится в чаду своей им же из амбиции и воли сконструированной страсти, хотя двойным зрением, которое столь характерно для художника, он уже провидит тщету своих усилий. И с откровенностью отчаяния он описывает наконец свое положение Зюльме Карро:

«Теперь я должен отправиться в Экс, в Савойю. Я гонюсь за особой, которая, наверно, потешается надо мной. За одной из тех аристократических дам, которые тебе, несомненно, кажутся отвратительными, за одним из тех ангельски прекрасных лиц, которое якобы свидетельствует о прекрасной душе. Она наследная герцогиня, чрезвычайно снисходительна, чрезвычайно приветлива, изнеженна, остроумна, кокетлива. Она совершенно иная, чем все, кого я видел до сих пор! Она одно из тех созданий, которые избегают малейшего прикосновения. Она уверяет, что любит меня, но ей хотелось бы содержать меня под стражей, в подвалах своего венецианского палаццо... Женщина (видишь, я рассказываю тебе все, как есть!), которая хочет, чтобы я писал исключительно для нее. Она из тех, которые требуют безусловного поклонения, которые хотят, чтобы перед ними стояли на коленях, и завоевать которую такое наслаждение... Не женщина, а мечта... Она ревнует меня ко всему! Ах! Уж лучше бы я оставался у вас в Ангулеме, неподалеку от порохового завода, разумный, умиротворенный! Я слушал бы скрип ветряных мельниц, объедался бы трюфелями да смеялся бы и болтал с вами, вместо того чтобы растрчивать здесь время и жизнь».

Но если Бальзак расстается сейчас на некоторое время со своими обязанностями трубадура и покидает Париж и герцогиню де Кастри, то на это есть причины, гораздо более земные и банальные, нежели его внутреннее ясновидение. Одна из финансовых катастроф, которые с неотвратимостью летней грозы собираются и внезапно разряжаются над его голо-

вой, вновь ворвалась в его жизнь. Для Бальзака — Мидаса навыворот, — у которого все, к чему он прикасается, превращается не в золото, а в долги, все и всегда завершается финансовой катастрофой: и когда он влюбляется, и когда позволяет себе отправиться в путешествие, и когда пускается в спекуляции. Любой перерыв в работе, поскольку бюджет Бальзака вечно балансирует на острие ножа, означает новую катастрофу для его и без того уже расстроенных финансов. Много вечеров, которые он, вместо того чтобы сидеть за письменным столом, растрчивает в салоне герцогини де Кастри, спектакли, ложа у «итальянцев» — все это само по себе означает два ненаписанных романа, а тут еще, кроме отсутствия доходов, и отчаянно возросшие расходы. Злосчастная идея выступить в качестве великосветского жениха с аристократическими замашками довела долги Бальзака до безумных размеров.

Пара лошадей, запряженных в тильбюри, на котором он подкатывает к дворцу де Каstellан, сожрали овса на девятьсот франков с лишним. Трое слуг, новые платья — одним словом, весь этот пышный стиль жизни — невероятно растрчивают его средства. Неоплаченные счета, просроченные векселя прибывают с той же регулярностью, с какой прежде приходили корректуры. Давно уже не кредиторы, а судебные исполнители осаждают квартиру на улице Кассини. И так как только одно может спасти Бальзака — работа, а для работы ему непременно нужен покой, то существует только одна возможность: бегство из Парижа, бегство от любви, бегство от кредиторов, бегство в неуловимость и недостижимость.

Само собой разумеется, творение, которое рождается под пером Бальзака, продано уже на корню. В последний день перед отъездом он подмахнул два договора и взял полторы тысячи франков аванса, чтобы иметь на карманные расходы в ближайший месяц. Но перед отъездом тысячу четыреста у него еще тепленькими выхватили прямо из рук. С жалкими ста двадцатью франками ему удается наконец плюхнуться в

почтовую карету, которая и доставляет его в Саше. Там уже все приготовлено к его приезду. В замке верного друга Маргонна он не знает никаких расходов. Весь день и половину ночи пишет он в своей комнате и появляется на люди только на час или на два, к обеду. Но хотя он здесь тише воды, ниже травы, расходы на роскошную парижскую квартиру продолжают расти. Нужен кто-нибудь, кто бы навел там порядок, экономию, отстоял его интересы в единоборстве с кредиторами, ублажил поставщиков, и для этой суровой и обременительной работы Бальзак знает только одного человека — женщину с крутым и тяжелым характером: свою мать. Годами пытался он ускользнуть из-под ее опеки. Теперь великий и прославленный писатель вынужден покорно склониться перед ее бережливостью и деловитостью, которые некогда так отравили его юность.

Капитуляция надменного и своевольного сына становится торжеством старой дамы. Мужественно и энергично защищает она безнадежное дело: сокращает домашние расходы, увольняет лишних слуг, сражается с поставщиками и судебными исполнителями, продает тильбюри и прожорливых лошадок. Су за су, франк за франком пытается она восстановить финансы своего первенца, расстроенные его дурацкой влюбленностью и аристократоманией. Но даже и она вскоре оказывается безоружной перед все крепчающим натиском кредиторов. Квартирная плата еще не внесена, и домохозяин грозит описать мебель. Один только булочник предъявляет (просто представить себе невозможно, как это холостяк слопал столько хлеба!) неоплаченный счет на семьсот франков с лишним.

Каждый день требуют погашения новые векселя и долговые расписки, которые на парижской бирже переходят из рук в руки, и в отчаянии осыпает она письмами своего сына. Но ему еще только предстоит произвести на свет Божий давно уже проданные на корню рукописи, и он не в силах вырвать больше ни одного франка у издателей. Даже если бы он трудился двадцать четыре часа в сутки, он не мог бы навер-

стать того, во что обошлись ему полгода снобизма и влюбленности.

И Бальзак снова вспоминает — весьма странная мысль для человека, якобы столь страстно влюбленного, — он вспоминает о старом средстве: женитьбе на богатой.

Сердце Бальзака странным образом не в ладу с рассудком, и еще весной, пылая романтической страстью к герцогине де Кастри, он с чрезвычайным благоразумием и с самыми серьезными намерениями сватался к юной девушке, мадемуазель де Трумильи, которая, только что схоронив отца, вступила во владские весьма большим состоянием. По причинам нам неизвестным это сватовство было отклонено. И так как богатая сирота пренебрегла Бальзаком, он снова возвращается к своей давнишней идее — «жениться на богатой вдове» и, таким образом, раз навсегда добиться покоя и для своего сердца, и для своей работы. В отчаянии Бальзак просит не только свою мать, но даже и старую свою подругу мадам де Берни приискать ему как можно скорей овдовевшую богатую женщину, чтобы спасти его от позора вторичного банкротства.

И ему действительно подыскивают такую богатую вдову, баронессу Дербрук, которая, помимо всего прочего, чрезвычайно восхищается творениями беллетриста Оноре де Бальзака. Плетутся нити небольшого заговора. Летом золотой фрегат вдовицы причалит в непосредственной близости от Саше, в поместье Дербруков — Мере, и Бальзак мобилизует все свое красноречие, чтобы взять на абордаж эту драгоценную добычу.

Он посылает свои книги с назойливыми посвящениями в другой ее роскошный замок — Жарзе, дабы подготовить одинокое сердце к решительному штурму. Быть может, эти посвящения разожгут в ней пылкое желание поскорее свести знакомство с интересным молодым человеком. Трижды в неделю прерывает он свои занятия и марширует из Саше в соседнее поместье, чтобы осведомиться, не прибыла ли она уже.

Однако богатая баронесса, к несчастью, не проявляет ни малейшего желания покинуть свой роскошный замок в Жарзе, и она бы, по-видимому, торопилась еще меньше, если бы могла себе представить, до чего не терпится Бальзаку влюбиться в ее ренту. Ежедневно из Парижа приходят письменные требования уплаты по долгам, и с каждым днем все больше тают его скудные карманные деньги. От ста двадцати франков у пылкого грядущего жениха осталась лишь горсть мелочи. Неделю, в лучшем случае — две, еще сможет он, не опасаясь оказаться в тягость, претендовать на гостеприимство в Саше. Как только он уедет оттуда, исчезнет, конечно, и последняя надежда на случайную встречу со спасительницей. Бальзак не знает, как ему быть дальше, и в своем отчаянии он близок к самоубийству: «Когда у тебя столько литературных забот да вдобавок еще все эти деловые затруднения, не лучше ли, право, наложить на себя руки».

Читая письма Бальзака, написанные в те катастрофические дни, следовало бы предположить, что художник, находящийся в столь убийственном состоянии растерянности и отчаяния, должен быть совершенно неспособен к работе и уж, во всяком случае, не может создать хоть более или менее сносную вещь. Но когда мы сталкиваемся с таким феноменом, как Бальзак, все логические умозаключения оказываются несостоятельными и вероятное всегда уступает место самому невероятному.

Бальзак-творец способен так замуроваться в своей сосредоточенности, что он не видит и не слышит бурь, вздымающих вокруг него ревущие волны жизни. Бальзак-духовидец, который, летая рукой по бумаге в колеблющемся пламени свечи, создает бесконечные судьбы и образы, нисколько не тождествен другому Оноре Бальзаку, чьи векселя опротестованы, а мебель описана за долги. Настроение отчаяния, которое владеет Бальзаком в его общественной и личной жизни, нисколько не влияет на Бальзака-художника, и даже

напротив: именно тогда, когда житейские его обстоятельства становятся скверными до крайности, именно тогда художник проявляет себя с полной силой. Внешние неприятности каким-то таинственным путем приводят его в состояние особой сосредоточенности. И его признание: «Самые счастливые вдохновения озаряют меня всегда в часы глубочайшего страха и нужды» — абсолютно правдиво.

Только когда он замучен, затравлен, окружен охотниками со всех сторон, только тогда бросается Бальзак в работу, словно загнанный олень в реку. Только тогда, когда он уже решительно не знает, как ему быть, только тогда он обретает себя.

Глубочайшая тайна его существа никогда не проявилась яснее, чем в это лето, полное гроз и ненастий. Ибо в то самое время, когда он все еще шлет влюбленные письма своей неприступной герцогине и трижды в неделю совершает паломничество в соседнее имение в ожидании богатой вдовы; в то самое время, когда он ежедневно со страхом подсчитывает монеты, убывающие в его кошельке, а материнские послания с требованием денег, денег и еще раз денег так и сыплются на него; в то самое время, когда он, жонглируя просроченными векселями, хлопочет об их отсрочке и уболажает издателей, которым задолжал; в то самое время, когда он, прибегая к невероятнейшим фокусам, пытаюсь отодвинуть на неделю свое неминуемое банкротство, гибель своего очага, утрату своей гражданской чести, — в это же самое время, то есть в том же самом месяце, другой Бальзак пишет свое самое глубокое, самое богатое мыслями и самое честолюбивое творение, благодаря которому он сразу превзойдет все уже созданное им и всех коллег, творящих рядом с ним, — он пишет «Луи Ламбера».

В этой книге Бальзак отрекается от всего своего прошлого, от фешенебельного Бальзака, модника и любимца великосветских дам. И о его высокой честности свидетельствует именно то, что как раз теперь, когда конъюнктура ему благоприятствует и, сочинив какой-нибудь занимательный лю-

бовный или социальный роман, он легко мог бы достичь столь жгуче ему необходимого материального успеха, — что именно теперь он принимается за труд, у которого нет ни малейшей надежды быть оцененным или хотя бы понятым широкой публикой. Ведь в то время как книгопродавцы и издатели жадно ждут от него очередного произведения в духе Вальтера Скотта или Фенимора Купера, Бальзак обращается к чисто философской трагедии и пытается противопоставить байроновскому «Манфреду» и гётевскому «Фаусту» собственный образ мыслящего героя.

Эта наиболее сложная, малопонятная и очень немногими оцененная вещь Бальзака осталась, в сущности говоря, величественным фрагментом. Рисуя образ Луи Ламбера, Бальзак рисует собственную юность, свои тайные честолюбивые мечты и стремления. Он ставит здесь глубочайшую проблему. Бальзак хочет показать, что истинный гений, погрузившись в полную аскезу*, раскрывает все свои творческие возможности, но окончательно утрачивает жизнеспособность в обычном смысле этого слова. Костяной сосуд, в котором содержится мозг, неизбежно должен взорваться под давлением и жаром переполняющих его идей. Трагедия мономании, которую он сотни раз изображал в своем творчестве, проблема, которая граничит непосредственно с патологией, перенесена здесь в сферу интеллектуальной страсти. Осветив эту таинственную связь гения и безумия, Бальзак далеко опередил свое поколение.

Действительно, в начальных главах своего романа, описывая развитие Луи Ламбера, ему удалось показать бурное проявление собственной гениальности. Он с замечательным правдоподобием вылепил этот вымышленный образ, которому он отдал свою центральную идею: теорию воли, тот самый свой трактат, который должен был окончательно прояснить наиболее таинственные связи между психологическим и фи-

* Аскеза — здесь: крайняя степень воздержания, отказ от жизненных благ. — *Примеч. ред.*

зиологическим началом и, следовательно, сорвать покров с интимнейших загадок человеческой природы. Мы не преувеличим, если сравним «Луи Ламбера», вернее, его концепцию (ибо Луи Ламбер тоже «жаждет невозможного» и гибнет из-за чрезмерного стремления к познанию), если мы сравним его с «Фаустом», с которым Бальзак, сознательно или бессознательно, желал вступить в состязание. Но, к сожалению, между этими творениями имеется и существенное различие, поскольку Гете посвятил «Фаусту» шестьдесят лет жизни, а Бальзак уже через шесть недель вынужден был отправить готовую рукопись книгоиздателю Госслену. Итак, чтобы как-нибудь закончить, он делает глиняную нашлепку в виде скучной любовной истории на мраморном торсе образа и наспех импровизирует завершение философских теорий своего героя; и нам остается только со смешанным чувством восхищения и сожаления взирать на эту вещь, в которой, больше чем в какой-либо другой, виден истинный масштаб его возможностей.

Художественное произведение, которое, несмотря на внешнюю законченность, осталось, по существу, незавершенным, «Луи Ламбер» — это гениальнейший бальзаковский эскиз. Он остался высшей точкой его творчества, которой удалось достичь его духу.

В конце июля переутомленный, измученный Бальзак отправляет готовую (а в действительности, несмотря на все последующие исправления, оставшуюся навсегда незавершенной и испорченной) рукопись «Луи Ламбера» своему издателю в Париж. Шесть недель в Саше Бальзак полностью использовал для творчества, но они нисколько не улучшили его критическое положение. Богатая вдова так и не появилась, а оставаться у своих друзей дольше он не может. Бальзак явно стыдится этих пожилых и родовитых людей, которые великодушно предложили ему гостеприимство. Он не в силах кланяться у них деньги на мелкие расходы и таким образом выдать свое бедственное положение.

К счастью для него, Бальзака всегда ждет другое убежи-

ще. Он знает, что славные друзья Карро будут счастливы принять его. А от них, ведь они сами бедняки, ему не нужно ничего скрывать, и он сможет признаться им, что у знаменитого Оноре Бальзака нет денег на новые подметки. Сто двадцать франков, с которыми он выехал из Парижа, растаяли так, что он не может позволить себе роскошь отправить письмо из замка Саше. Чтобы сэкономить последние серебряные монеты, бывший обладатель тильбюри и великолепных английских лошадей в страшный зной плетется пешком от замка Саше до Тура. Только там он садится в ангулемский дилижанс и прибывает на место уже без гроша, так что первым делом он занимает тридцать франков у майора Карро. Добрые друзья, сами претерпевшие немало бедствий, от души смеются, сочувствуя Бальзаку в его нелепом положении, и предоставляют ему все, что только может дать их дружба: тихую комнату для работы, веселье и сердечность вечерних бесед.

И опять, как всегда, проведя несколько часов у этих добрых и непритязательных друзей, Бальзак ощущает себя счастливей, чем у всех своих графов и графинь. Работа течет легко, и в самый кратчайший срок он пишет «Покинутую женщину», несколько «Озорных рассказов» и заканчивает правку корректуры «Луи Ламбера». Словом, все было бы превосходно, если бы чуть ли не каждое утро письма от матери из Парижа, требующей денег, денег и денег. Кредиторы больше не дают морочить себя. Но откуда же добыть тысячи и десятки тысяч, которые насущно необходимы, теперь, когда ему и так пришлось совершить над собой насилие, чтобы занять тридцать франков у своих нищих друзей?

Для Бальзака пробил роковой час. Целых два, даже целых три года удавалось ему избегать опеки семейства. В эти годы, последовавшие за первым триумфом, он хвалился, что вернет матери все, что занял у нее. Упоенный успехом, преисполненный пробудившимся наконец чувством уверенности в своем таланте, Бальзак жил, словно миллионер. Полагаясь на свои аристократические связи, он рассчитывал, что в край-

нем случае всегда сможет найти себе богатую вдовушку или сироту. И вот теперь, подобно блудному сыну, который ночью тайком крадется в хлев отца своего, Бальзак бежит под кров отчего дома, чтобы смиренно умолять родных о помощи. Он, баловень Сен-Жерменского предместья, он, знаменитый писатель, «кавалере сервенте»* герцогини, должен, как бедный ребенок, как беспомощное, несчастное дитя, умолять свою «возлюбленную мать», чтобы она любой ценой, под личную ее гарантию раздобыла десять тысяч франков и спасла его от позорного банкротства. Дело идет о его работе. Дело идет о его чести.

И чудо действительно совершается. Госпоже Бальзак удалось добиться займа у одной своей старой приятельницы, мадам Деланнуа, и та вручает кающемуся расточителю десять тысяч франков. Конечно, этот кусок хлеба достается куда как горько. Бальзак вынужден обещать, что он немедленно изменит свой роскошный образ жизни. Прощенный грешник торжественно клянется отныне и навсегда позабыть обо всех разорительных причудах и вести жизнь мещанскую, бережливо-размеренно-скромную, какую ведут в родительском доме, и точно, с процентами и процентами на проценты, уплатить все долги.

Бальзака спасло чудо. Но всегда, когда в жизни его должен воцариться порядок, некий глубокий инстинкт в нем, требующий хаоса и катастроф, просыпается и вызывает новые беспорядки. Только в раскаленном воздухе может дышать Бальзак, и безмерность — вот единственная применимая к нему мера. Сангвинический темперамент Бальзака заставляет его удивительным образом забывать неприятности. Обязательства, если только их можно хоть сколько-нибудь отодвинуть, сразу перестают быть для него реальными. Поразмыслив спокойно, Бальзак вынужден был бы сказать

* Услужливый кавалер (*исп.*).

себе, что его денежный дефицит ничуть не уменьшился благодаря займу. Ведь, собственно говоря, ничего решительно не изменилось. Просто два-три десятка гнетущих мелких долгов поставщикам, ростовщикам, лакеям и портным превратились в один-единственный долг в десять тысяч франков мадам Деланнуа. Но Бальзак ощущает лишь, что петля на его шее ослабла, и едва только он может перевести дух, как он тут же приободряется.

Покуда его занимал «Луи Ламбер», покуда его душил финансовый кризис, он и думать забыл о герцогине де Кастри. В глубине души он считал эту свою игру проигранной. Теперь, когда ему удалось несколько отсрочить уплату долгов, им овладевает желание еще раз попытаться счастья. Летом герцогиня писала ему множество раз. Она предлагала встретиться с ней в Эксе — в Савоие и сопровождать ее и ее дядю, герцога Фиц-Джемса, в осеннем путешествии по Италии. Отчаянное безденежье мешало Бальзаку даже и подумать об этой соблазнительной возможности. Теперь, когда несколько луидоров снова позвякивают у него в кошельке, он не в силах противиться искушению. Не означает ли это приглашение на берег озера Аннеси, в края Жан-Жака Руссо, в конце концов нечто большее, чем простую вежливость, и можно ли пренебречь столь деликатным призывом? Быть может, недотрога-герцогиня, которая, как ему доподлинно известно, «блудлива, как десять тысяч кошек», отказала ему в Париже только из страха перед молвой, только из боязни пересудов? Быть может, на божественном лоне природы аристократка из Сен-Жерменского предместья будет более склонна подчиниться зову природы? Разве не на швейцарских озерах поэт «Манфреда» лорд Байрон наслаждался своим счастьем? Почему же именно творцу «Луи Ламбера» должен быть там дан отпор?

Фантазеры легко принимают желаемое за действительное. Но даже когда художник предается безудержным грезам, в нем бодрствует трезвый наблюдатель. Три вида тщеславия борются в Бальзаке: тщеславие сноба, честолюбие мужчины,

стремящегося завоевать эту упрямую женщину, которая все время приманивает его, чтобы затем не позволить притронуться к себе, и гордость человека, который, сознавая свое значение, не хочет, чтобы его одурачила светская кокетка, и готов скорее сам отступить от нее. Целыми днями обсуждает он с Зюльмой Карро, единственной, с кем он может говорить откровенно, следует ли ему отправиться в Экс или не следует. Внутреннее сопротивление этой честной подруги, которая инстинктивно, или, вероятней, потому, что она подавляет свою любовь к Бальзаку, ненавидит соперницу-аристократку, должно бы предостеречь колеблющегося, заставить его отказаться от безнадежного путешествия. Зюльма ни мгновения не сомневается в том, что эта герцогиня из Сен-Жерменского предместья, несмотря на все свое восхищение писателем, не захочет скомпрометировать себя «любовью к плебею». Но когда она видит, с каким пламенным нетерпением Бальзак жаждет лишь одного — чтобы она укрепила его в его намерении, она как-то ожесточается. Зюльма не желает, чтобы Бальзак думал, будто из мелкой ревности она не дает ему воспользоваться столь ослепительной возможностью. Что ж, пусть попробует, если хочет, пусть снобизм его получит, наконец, необходимый урок! И поэтому она произносит те слова, которых только и ждет от нее Бальзак: «Поезжайте в Экс!»

Жребий брошен. 22 августа он садится в дилижанс.

Бальзак на протяжении всей своей жизни был слишком народ, слишком крестьянский внук, чтобы не быть суеверным самым примитивным образом. Он верит в амулеты, носит, не снимая, счастливый перстень с таинственными восточными письменами, и чуть ли не перед каждым важным своим решением великий и прославленный писатель, словно парижская швейка, взбирается по винтовой лестнице на пятый этаж к гадалке или ясновидящей. Он верит в телепатию, в таинственные вести и в предостерегающую силу инстинкта.

И обрати он в этот раз внимание на подобного рода знамения, он должен был бы в самом начале прервать свою поездку в Экс. Ибо она начинается с несчастного случая. Когда на почтовой станции Бальзак, уже весьма тучный, слезал с козел дилижанса, лошади вдруг понесли. Бальзак грохнулся всей тяжестью и поранил ногу до кости о железную ступеньку кареты. Любой другой на его месте прервал бы путешествие, чтобы залечить такую серьезную рану. Но ведь препятствия всегда только усиливают волю Бальзака. Кое-как перевязанный, он вытягивается в карете и едет дальше — в Лион, а оттуда в Экс, куда он прибывает, уже едва волоча ногу и опираясь на палку. Этот бурный любовник производит сейчас самое жалкое впечатление.

С трогательной предусмотрительностью герцогиня пригостила ему там «премиленькую комнатку». Из окна ее открывается прелестный вид на озеро и горы, а кроме того, в соответствии с желанием Бальзака, комната необыкновенно дешева: она стоит всего два франка в день. Еще никогда в жизни Бальзак не имел возможности работать в такой спокойной и уютной обстановке. Но эта предусмотрительность трогательно заботливой герцогини оказывается одновременно и осмотрительностью. Комната Бальзака не только не находится в гостинице, где обитает она сама, но расположена на расстоянии нескольких улиц от нее, и, таким образом, оказываются возможными одни лишь светские, но отнюдь не интимные вечерние визиты. Ибо только вечером — это право выговорил себе Бальзак — он хочет и может видеть герцогиню.

Согласно строгому закону Бальзака, его день должен принадлежать исключительно труду. Единственная уступка, которую он делает в угоду герцогине, это то, что он приступает к своей двенадцатичасовой работе не в полночь, как он привык, а только в шесть часов утра. С восходом солнца усаживается Бальзак за свой рабочий стол и не встает из-за него до шести часов вечера. Яйца и молоко, которые стоят пятнадцать су и составляют единственное его питание, ему приносят в комнату.

Только после этих двенадцати часов, неизменно посвященных работе, Бальзак принадлежит герцогине, которая, увы, все еще не хочет ему принадлежать. Правда, она выказывает романисту все, какие только мыслимы, знаки дружеского внимания. Она возит его, пока не зажила его больная нога, в экипаже к озеру Бурже и в Шартрез. Снисходительно улыбаясь, она терпеливо слушает его восторженные излияния. В часы долгих вечерних разговоров она варит ему кофе по его рецепту. Она представляет его в казино своим элегантным великосветским друзьям. Она позволяет ему даже называть себя не официальным ее именем Анриетта, а более интимным — Мари, — так она разрешает себя называть лишь ближайшим друзьям. Но больше — ни-ни! Нисколько не помогло, что он уже в Эксе послал ей пылкое любовное письмо своего героя — Луи Ламбера — и сделал это в такой форме, что она непременно должна была почувствовать: каждое слово обращено здесь к ней. Не помогает и то, что он спешно выписывает из Парижа шесть пар палевых перчаток, банку помады и флакон туалетной воды. Но иногда ему кажется, что в том, как терпеливо она принимает некоторую интимность с его стороны и даже провоцирует ее, заключено уже и некоторое обещание:

«Обещание любовных утех сквозило в ее смелых и выразительных взорах, в ласковом тоне ее голоса, в прелести ее слов. Казалось, в ней таится изысканная куртизанка...»

Во время романтической прогулки по берегу озера дело доходит даже до сорванного украдкой, а может быть, и дозволенного, поцелуя. Но всегда, как только Бальзак требует последнего доказательства любви, как только певец «покинутых» и «тридцатилетних женщин» хочет получить вознаграждение в монете «Озорных рассказов», так в последнее мгновение женщина, которую он жаждет, снова превращается в герцогиню. Дни становятся пасмурней, уже багровеют ветви над романтическим озером Аннеси, а новый Сен-Пре

добился от своей Элоизы ничуть не больше, чем полгода назад в холодном и гулком салоне дворца де Каstellан.

Лето уже на исходе, все меньше гуляющих на бульваре, светская публика собирается покинуть курорт. Готовится к отъезду и герцогиня де Кастри. Однако она не намерена возвратиться в Париж, она собирается провести еще несколько месяцев в Италии — в Генуе, Риме, Неаполе — со своим дядей, герцогом Фиц-Джемсом, и Бальзака снова приглашают сопутствовать им. Бальзак в нерешительности. Он прекрасно видит, в какое недостойное положение он попал благодаря своим вечным и напрасным домогательствам и ухаживаниям. И отзвуки отчаяния слышатся в письме к его приятельнице Зюльме Карро:

«Почему ты пустила меня в Экс?» И потом: «Поездка в Италию обойдется дорого. Она разорительна вдвойне: она означает и потерю денег и потерю рабочих часов, проведенных в почтовой карете, — потерю рабочих дней».

Но с другой стороны: какое искушение для художника, «кругозор которого расширяют путешествия», увидеть Рим и Неаполь, увидеть их, будучи вдвоем с умной и элегантною женщиной, в которую он влюблен, — и к тому же увидеть из окна герцогской кареты!

Бальзак еще раз пытается воспротивиться тайному предчувствию. Потом уступает. В начале октября начинается путешествие по Италии, Женева — первая станция по пути на юг и последняя — для Бальзака. Здесь происходит его объяснение с герцогиней, подробности которого нам неизвестны. По-видимому, он предъявил ей некий ультиматум и получил отказ, к тому же на этот раз, как видно, в обидной форме. Несомненно, герцогиня задела его самое больное место, несомненно, она жесточайшим образом оскорбила его тщеславие и его мужскую или человеческую честь, ибо он немедленно возвращается обратно во Францию, исполненный мрачного бешенства и жгучего стыда, полный решимости

отомстить этой женщине, которая столько месяцев дурачила его самым бессовестным образом. Вероятно, он уже тогда ухватился за мысль ответить на это унижение, откровенно и без утайки описав их отношения.

В романе — весьма неудачном — «Герцогиня де Ланже», который Бальзак сперва окрестил «Не прикасайтесь к секире!», автор самым беззастенчивым образом сделал весь Париж поверенным в этом пикантном деле. Из политических соображений обе стороны поддерживают еще известные светские отношения. Бальзак делает рыцарский жест: он читает свой роман первой именно герцогине, чей портрет он запечатлел в этом произведении, а она с еще более благородным жестом отвечает, что не возражает против не слишком лестного изображения своей особы.

Герцогиня де Кастри избирает себе другого писателя в исповедники и собеседники — Сент-Бева, а Бальзак объявляет со всей решительностью:

«Я сказал себе: не могу такую жизнь, как моя, прицепить к бабьей юбке. Я должен отважно следовать моему призванию и поднимать свой взор несколько выше, чем до выреза корсажа».

Как распалившийся ребенок, который, несмотря на все увещания, расшибся о камень в кровь и, пристыженный, бежит назад к матери, так и Бальзак едет из Женевы, не заглядывая в Париж, прямехонько в Немур, к госпоже де Берни. Это возвращение — чистосердечное признание и одновременно итог. От женщины, которую он желает только из тщеславия и которая по расчету или из равнодушия отказала ему, он бежит назад к женщине, которая всем пожертвовала и все ему подарила: любовь, совет, деньги; которая поставила его превыше всего на свете — превыше супруга, детей, превыше своей чести в обществе. И ясней, чем когда бы то ни было, он понимает сейчас, чем была для него она, его первая возлюбленная, и что она для него теперь, когда она уже

только его друг, его мать. Никогда еще не ощущал он с такой силой, сколь многим он ей обязан, и, желая достойно отблагодарить ее, он дарит ей книгу, которая навсегда останется для него любимейшим его творением, — он дарит ей «Луи Ламбера» с посвящением на первой странице: «Et nunc et semper dilecta» — «Ныне и присно избранной».

Х. БАЛЬЗАК ОТКРЫВАЕТ СВОЮ ТАЙНУ

Если принять на веру свидетельство самого Бальзака, его история с госпожой де Кастри была трагедией, нанесшей ему неисцелимые раны.

«Я ненавижу госпожу де Кастри, — пишет он патетически, — она разбила мою жизнь, не дав мне новой взамен».

А другой, неизвестной корреспондентке он даже сообщает:

«Эти отношения, которые по воле госпожи де Кастри оставались в границах полнейшей безупречности, были одним из самых тяжелых ударов, которые я перенес».

Подобная сверхдраматизация в эпистолярной форме обычна для человека, который вечно пытается пересочинить свою жизнь на романтический лад. Несомненно, отказ госпожи де Кастри чувствительно уязвил мужскую гордость и снобизм Бальзака. Но это слишком самоуглубленный, слишком сосредоточенный человек, чтобы «да» или «нет» какой бы то ни было женщины могли изменить течение его жизни.

История с госпожой де Кастри была для него не катастрофой, а лишь незначительным эпизодом. Подлинный Бальзак вовсе не так огорчен и разочарован, как он пытается это представить в романтических исповедях неизвестным приятельницам. Он вовсе не размышляет, подобно генералу Монриво, которого он в «Герцогине де Ланже» сделал своим двойником, как бы каленым железом заклеить высокородную кокетку. Он не кипит гневом, не жаждет мщения, он преспокойно остается с ней в переписке и, видимо, навещает

ее. Чувства, которым в романе «Герцогиня де Ланже» приданы размеры бури и урагана, грозы и трагедии, в реальной жизни медленно и неприметно переходят в учтиво вялые отношения. Бальзак — мы вынуждены это сказать при всем нашем к нему уважении, — Бальзак всегда неправдив, когда изображает себя. Романист — то есть преувеличитель, гиперболизатор по профессии, — он старается из каждого события извлечь максимум возможностей; и было бы попросту нелепо, если бы его не знающая усталости фантазия внезапно оказалась равнодушной, бессильной и бесплодной, как только дело дошло до изображения собственной его жизни.

Всякий, кто рисует портрет Бальзака, должен нарисовать его, не считаясь со свидетельствами Бальзака. Он не должен принимать на веру патетические заверения поэта, согласно которым ничтожнейшее обстоятельство, отказ некой графини, происшествие, которое во Франции именуют «пустячком», послужило причиной его смертельных сердечных мук — так он уверял свою сестру. В действительности Бальзак вряд ли был когда-нибудь более здоров, прилежен, вряд ли находился когда-нибудь в более творческом и более жизнерадостном настроении, чем именно в эти годы. И книги его свидетельствуют об этом лучше, чем все его слова и письма. Одного того, что он создал в ближайшие три года, достаточно, чтобы явиться творческим итогом целой жизни, чтобы стяжать ему славу первого писателя эпохи. Но мощь его столь грандиозна и безмерна, а мужество его столь дерзновенно, что эти свои труды он считает лишь началом и подступом к основной своей задаче, к тому, чтобы стать «историографом нравов XIX столетия».

Со времени первых успехов — «Шуанов», «Физиологии брака», «Шагреновой кожи» и густо сентиментальных романов о Сен-Жерменском предместье — Бальзак знает, что он сила и, даже более того, великая сила. Он постиг свою мощь, он уразумел, к собственному своему изумлению, что литера-

тура является единственным его даром и что он способен завоевать мир пером — точь-в-точь как Наполеон мечом. И если бы он трудился только ради успеха, как это может иногда показаться при чтении его писем, только для того, чтобы делать деньги — сотни, тысячи и миллионы, то он мог бы и дальше потчевать читающую публику этой приятной пищей.

Женщины всего мира остаются верны ему. Он мог бы стать героем салонов, идолом разочарованных, кумиром покинутых, преуспевающим конкурентом своих менее притязательных коллег — Александра Дюма и Эжена Сю. Но как только он осознал свою силу, в нем пробудилось честолюбие более высокое. Рискуя потерять читателей, жаждущих лишь сильных ощущений да сентиментальных излиятий, он отваживается именно в эти годы отдалиться от читающей публики. Пораженный энергией собственного таланта, он силится определить границы его возможностей. Он хочет узнать, что же он может, что же он в силах сделать. И в процессе творчества Бальзак с изумлением чувствует, сколь широки эти границы, вмещающие в себя целый мир.

Произведения этого периода, с 1832 по 1836 год, поражают нас прежде всего своим разнообразием. Никто не мог бы раньше предположить, что автор «Луи Ламбера» и «Серафиты» может быть и автором разгульных, почти скабресных «Озорных рассказов». И совершенно неожиданным было, что все эти вещи действительно написаны одновременно, что Бальзак и впрямь трудился над корректурой «Луи Ламбера» и над некой забавной историйкой в один и тот же день. Это объяснимо только как попытка испытать самого себя, расчистить плацдарм для дальнейшего творчества, желание увидеть, сколь высок его предел и сколь широк его охват. Как зодчий, прежде чем завершить проект будущего здания, проверяет соотношение его пропорций и вычисляет, какую нагрузку оно способно выдержать, так и Бальзак составляет расчет своих сил и закладывает фундамент, на котором будет возведена божественная «Человеческая комедия».

Сперва Бальзак пробует перо в «Озорных рассказах». Эти написанные в духе Рабле, на старофранцузском языке собственного изобретения фарсы и побасенки представляют собой сочинительство чистой воды, рассказ и даже просто пересказ. В них он дал волю своему нраву, своему озорству, в них нет и тени усилия, раздумий и наблюдений. Одна только затейливая игра фантазии царит здесь. Они написаны абсолютно непринужденно, и мы чувствуем, как наслаждается Бальзак этой удивительной легкостью. Все, что в нем от француза, от народа, от мужчины, проявляется здесь в веселой и свободной чувственности. Бальзака забавляет возможность запустить руку под рясу цензуры. В этих «рассказах» он решается дать, наконец, волю своему темпераменту. Из всех его творений именно «Озорные рассказы» больше всех гармонируют с этим полным, румяным, толстогубым человеком. Здесь его хохот, который кажется грубым в великосветских гостиных, этот оглушительный, раскатистый хохот пенится, как шампанское. И если бы жизнь обошлась с ним не так жестоко, если бы она дала ему роздых, мы получили бы не три десятка, а все сто таких рассказов, как он и обещал читателям в своем проспекте.

Это нижний, предельный край легкомыслия, вольности и разгула, дань, уплаченная им своему темпераменту. Но в то же время Бальзак ищет высшей точки применения сил в тех своих вещах, которые он именуется «философскими». Честолюбие заставляет его доказать, что его не удовлетворяет «плаксивый успех», которого он добился, живописуя своих сентиментальных героинь. С тех пор как он постиг самого себя, он не желает, чтобы окружающие понимали его ложно. Ощущая полноту и зрелость своих сил, Бальзак стремится убедить, что романисту его ранга выпала на долю задача возвести роман в степень высокого искусства, перенеся в него споры о коренных проблемах человечества, социальных, философских, религиозных. Людям, которые продолжают оставаться в рамках общества, подчиняются его законам, приноравливаются к его масштабам, он хочет противопоставить лично-

сти, которые возвышаются над заурядными умами. Он хочет показать в конкретных образах величие и трагедию всех, кто решается выйти из обычного круга, чтобы обречь себя на одиночество или замуроваться в темницу безумия.

Период, когда Бальзак терпит поражение в личной жизни, — это в то же время и период его самых отважных и дерзновенных взлетов. В вещах, написанных им в это время, он задается целью показать людей, ставящих перед собой величайшие, по сути, неразрешимые задачи. Его напряженное внимание приковано к тем, кто гибнет от перенапряжения, к гениям, к феноменам, утрачивающим контакт с действительностью. «Луи Ламбер» был первой попыткой в этой области: философ, который в своем стремлении к завершенности и в жажде усовершенствовать и превзойти уже созданное им, не знает отдыха, пока безмерное усилие не уничтожает полностью материальное его начало. Музыкант Гамбара переступает границы своего искусства, только он один слышит гармонию своей музыки, так же как только Луи Ламбер способен постичь собственные мысли, а Френхофер — свои картины. Химик Клаас в «Поисках абсолюта» уничтожает себя, пытаясь отыскать прaeлемент. Все они стремятся в беспредельное. Все они подобны Икару.

Но наряду с гениями искусства и науки Бальзак изображает гениев в области морали и религии, как он это делает в «Сельском враче» и в «Серафите». Появлением «Сельского врача» Бальзак косвенно обязан своему визиту к герцогине де Кастри. Во время совместной их поездки к графине д'Агу он услышал об одном враче, некоем докторе Роммеле, который прославился своим гуманным образом жизни и поступками и который сумел возродить целый гибнущий край и поднять почти уже деградировавшее крестьянство, вернуть его к полезному труду.

Этот рассказ, как и великолепие окружающей местности, произвел на Бальзака сильное впечатление, и вместе с декорациями в духе Жан-Жака Руссо в его новом романе появи-

лось и характерное для руссоизма стремление к реформам. В то время как Бальзак в прочих своих вещах только критик общества, здесь он хочет принять плодотворное участие в самой жизни, составить проект разрешения социального вопроса. Он стремится показать, что существует созидание и в реальной жизни, что истинно гениальный человек не только из звуков, красок и мыслей, но и из хрупкого человеческого материала способен создать вечное и образцовое творение.

Еще более дерзок, пожалуй, другой его опыт — «Серафита». В то время как доктор Бенасси уходит от мира, от общества, чтобы создать лучшее общество, Бальзак хочет в образе Серафиты дать образ существа, полностью отрывающегося от всего земного и сублимирующего "Amor intellectualis", «умственную любовь», в такой степени, что в ней растворяются даже признаки пола. Реальный мыслитель, который заставил доктора Бенасси разрешать практическую проблему с поразительным пониманием реальности, обращается здесь к свденборгианскому мистическому кругу идей.

Если говорить по большому счету, обе эти вещи, «Сельский врач» и «Серафита», не удались, и неуспех их, который так уязвил Бальзака, имел свои причины. Они недостаточно продуманы; Бальзак, человек действительности, притворяется, когда он хочет быть религиозным. Но прежде всего книги, которые претендуют на окончательное разрешение проклятых и вечных вопросов, не должны быть состряпаны наспех, в счет полученных авансов, и публиковаться в периодических изданиях в виде романов с продолжением.

«Луи Ламбер» и «Серафита» не величайшие творения Бальзака, они только его величайшие усилия. В них он постиг и описал гения, как только гений способен постичь и описать гения. Но удались ему лишь те вещи, где он, как художник, изображает художника. «Неведомый шедевр» остается одним из бесспорнейших его шедевров. Однако философию нельзя сочетать со спешкой, религиозность — с нетерпением. «Луи Ламбер» и «Серафита» демонстрируют лишь

поразительное развитие, неслыханные знания, многогранность и могучий взлет его духа, которому доступно все, вплоть до самой сложной проблемы — проблемы религии. Бальзак достиг здесь высшей своей ступени.

Но между повествователем и мыслителем стоит наблюдатель, и его настоящая почва — действительность. Подлинное равновесие Бальзак обретает в тех романах, где он становится «историографом своего времени». И если первым большим успехом был «Полковник Шабер», то вторым успехом его в эти годы становится «Евгения Гранде». Бальзак открыл закон, который отныне будет властвовать в его творчестве: он станет рисовать жизнь, изображая лишь небольшое количество персонажей, но тем концентрированной, тем динамичней будет казаться действительность. Прежде Бальзак искал материал для романа, с одной стороны, в романтике, когда фантастика и мистика были у него на побегушках, как в «Шагреновой коже», «Серафите», «Луи Ламбере», а с другой стороны — в исторической костюмировке. Теперь он открывает, что и современность, если рассматривать ее в определенном аспекте, дает столь же богатый материал, что дело не в тематике, не в декорациях, не в драпировке, а только во внутренней динамичности. Если удастся показать людей, заряженных беспредельной энергией, то роман, нисколько не утратив своей занимательности, станет лишь более естественным, более правдоподобным. Выразительны не колорит и не фабула — выразительны всегда только люди.

Не существует никаких особых сюжетов: все сюжет! Под низким кровом винограда в «Евгении Гранде» можно отыскать не меньше поводов для создания драматической ситуации, чем в каюте корсара в «Тридцатилетней женщине». Когда незначительная, заурядная, даже несколько простоватая Евгения Гранде под угрожающим взглядом своего скупого отца кладет любимому кузену Шарлю лишний кусок сахара в кофе, она проявляет столько же мужества, как Наполеон, когда со знаменем в руках он несется по Аркольскому мосту. В стремлении обмануть кредиторов своего брата старый скря-

га проявляет ровно столько же хитрости, гибкости, цепкости и даже гениальности, как Талейран на Венском конгрессе. Решает не среда — решает динамичность; пансион Воке в «Отце Горио», где собираются двенадцать юных студентов, может стать таким же средоточием энергии, как лаборатория Лавуазье или рабочий кабинет Кювье.

Творить — это значит правильно увидеть воссоздаваемый образ, сконцентрировать, усилить присущие ему качества, объяснить, какая именно страсть владеет каждым из персонажей, распознать слабость в могуществе, привести в движение все дремлющие в человеке силы. «Евгения Гранде» — первый шаг на этом пути. Жертвенность в обыкновенной кроткой девушке достигла такой высоты, что сделалась почти религией. Скупость старого Гранде, как и преданность уродливой старой служанки, приобретает черты демонические. В «Отце Горио» отцовская любовь становится творческим началом и в то же время — мономанией.

Бальзак видит всякого человека насквозь. Он разгадал его тайны. Нужно только столкнуть все эти персонажи, показать все сферы общества, назвать злое злым, а доброе добрым, раскрыть трусость, хитрость и подлость, не занимаясь при этом морализированием. Действенность — вот начало всех начал. Только человек, обладающий ею и умеющий распознать ее в других, может называться писателем.

В эти годы Бальзак открыл великую тайну. Все — сюжет. Все — материал. Действительность — неисчерпаемые копи, если умеешь вести разведку недр. Следует только понаблюдать хорошенько, и любой смертный станет актером «Человеческой комедии».

Нет низов и верхов, можно выбрать все, что угодно, и — вот решение Бальзака — нужно выбирать все. Кто хочет изобразить весь мир, не может оставить в стороне ни один из его аспектов, каждый раздел общественного табеля о рангах должен быть представлен: живописец и адвокат, врач, винодел и консьержка, генерал и рядовой, графиня, маленькая уличная проститутка, водонос, нотариус и банкир. Ибо все

общественные сферы вступают во взаимодействие, все соприкасаются. И точно так же должны быть представлены и характеры: честолюбивый и скупой, интриган и благородный, расточитель и корыстолюбец — все сверкающие грани рода человеческого, все их оттенки и переливы.

И вовсе не обязательно всякий раз придумывать новые персонажи, — можно, разумно группируя, повторять одни и те же фигуры, дать одного-двух врачей вместо всех врачей, одного банкира — вместо целой толпы банкиров. Иначе не вместить всю эту невообразимую ширь и даль в рамки одного произведения. Все определенной становится уверенность Бальзака, что для того, чтобы подчинить себе полноту жизни, он должен создавать разрозненные произведения; одно произведение уже заключено в другом, и все они переплетены друг с другом. Он должен стать, следовательно, «Вальтером Скоттом и в придачу архитектором». Недостаточно создавать «Сцены частной жизни» — всего важнее именно их взаимосвязь.

Бальзаку еще и самому не вполне ясна концепция «Человеческой комедии» во всем ее грандиозном масштабе. Пройдет десять лет, прежде чем он увидит ее четкие контуры. Но одно ему уже ясно — произведения, которые войдут в его «Комедию», должны не только схематически следовать одно за другим. Они должны явиться как бы ступенями гигантской лестницы.

26 октября 1834 года, еще не представляя себе масштабов, которые примет его грандиозный труд, он пишет:

«Я полагаю, что в 1838 году три части этого гигантского творения будут если не завершены, то по крайней мере возведены в виде ярусов, возвышающихся один над другим, и уже можно будет судить о нем в целом.

В «Этюдах о нравах» будут изображены все социальные явления, так что ни одна жизненная ситуация, ни одна физиономия, ни один характер, мужской или женский, ни один жизненный уклад, ни одна профессия, ни один слой общества, ни одна французская провинция — ничто из того, что

относится к детству, старости, зрелости, к политике, правосудию и войне, не будет позабыто.

Когда все это будет осуществлено — история человеческого сердца прослежена шаг за шагом, история общества всесторонне описана, — тогда фундамент произведения будет готов. Здесь не найдут себе места вымышленные факты. Я стану описывать лишь то, что происходит всюду.

Тогда последует второй ярус — «Философские этюды», ибо после следствий надо показать их причины. В «Этюдах о нравах» я опишу игру чувств и течение жизни. В «Философских этюдах» объясню, откуда возникают чувства, что такое жизнь, каковы обстоятельства, условия, вне которых не могут существовать ни общество, ни человек. И после того, как я обозрю общество, чтобы его описать, я займусь его обозрением, чтобы вынести ему приговор. Таким образом, в «Этюдах о нравах» заключены типизированные индивидуальности, в «Философских этюдах» — индивидуализированные типы. Позднее, после следствий и причин, должно быть определено начало вещей. Нравы — это спектакль, причины — это кулисы и механизм сцены. Начало — это автор. Но по мере того как произведение достигает высот мысли, оно, словно спираль, сжимается и уплотняется. Если для «Этюдов о нравах» потребуется двадцать четыре тома, то для «Аналитических этюдов» — лишь девять. Таким образом, человек, общество, человечество будут описаны без повторений, рассмотрены и подвергнуты суждению в произведении, которое явится чем-то вроде «Тысячи и одной ночи» Запада.

Когда все будет окончено... последние удары кисти сделаны, тогда выяснится, был ли я прав или ошибался. После того как я покончу с поэтическим воссозданием целой системы жизни, я займусь ее научным описанием в «Опыте о силах человеческих». Этот дворец я, веселое и простодушное дитя, украшу огромной арабеской из «Ста озорных рассказов»!»

И, воодушевленный и испуганный необъятностью предстоящего труда, он восклицает:

«Вот произведение, вот бездна, вот кратер, вот предмет, который я хочу воплотить!»

Сознание того, что перед ним труд его жизни, определяет отныне жизнь Бальзака. Из ощущения собственной силы, величия задачи обретает он, он, который год-два назад еще казался себе начинающим, упорную, ничем больше не поколебимую уверенность в себе.

В сентябре 1833 года Бальзак пишет:

«Я стану повелителем духовной жизни Европы! Еще два года терпения и труда — и я перешагну через головы всех, кто хотел связать мне руки и помешать моему восхождению.

Я изведал преследования и несправедливость, и воля моя стала тверже меди».

Он знает, что перед ним высится его творение, что за ним стоит в ожидании его читатель, и он решает ни с кем больше не договариваться, не приспособливаться к желаниям издателей и газет. Неприятности и досадные мелочи больше не влияют на него. Он диктует издателям условия, и если издатели не вполне повинуются его желаниям и претензиям, он изменяет им. Он позволяет себе роскошь расстаться с наиболее могущественными парижскими журналами даже во времена тяжчайших финансовых своих затруднений и презрительно поворачивается спиной к журналистам, которые считают себя законодателями общественного мнения. Пусть они ругают отдельную вещь, — как бессильны будут они помешать возведению величественного здания, которое представляется его взору во все более могучих и дерзновенных очертаниях! Пусть они нападают на него, смеются над ним, пусть издеваются в задиристых, якобы остроумных замечках, пусть пытаются выставить его на посмеяние в злорадных анекдотах! Пусть печатают карикатуры на него во всех газетах, его месть будет творческой мстью. Он изобразит всю эту клику, могущественную и в то же время немощную. Он заклеит в «Утраченных иллюзиях» систематическую коррупцию об-

щественного мнения, биржу репутаций и духовных ценностей. Он запечатлеет свой приговор огненными письменами на стенах века.

Пусть кредиторы донимают его исками и векселями, пусть описывают его мебель — они не могут унести ни одного кирпича и ни одной пяди земли из мира, который он собирается возвести.

Ничто больше не может его сокрушить, с тех пор как созрел его план и окрепли силы для труда, о котором он знает, что только единственный из смертных мог решиться набросать его очертания и только один-единственный способен его осилить: он сам, Оноре де Бальзак.





Книга третья
РОМАН ЖИЗНИ

XI. НЕЗНАКОМКА

Задача, которую отныне ясно видит Бальзак, — задача исполинская; и писатель не обманывается относительно объема, или, вернее, необъятности работы, необходимой, чтобы «встать во главе европейской литературы, заняв место, которое до сих пор занимали Байрон, Вальтер Скотт, Гёте и Гофман». По его расчетам, он должен дожить по крайней мере до шестидесяти лет. В течение почти трех десятилетий, которые еще остались ему, он не позволит себе ни одного года, ни одного месяца и, в сущности, ни одного дня праздности. Ночи напролет должен он проводить за столом, исписывать страницу за страницей, создавать том за томом. Не останется времени для удовольствий, развлечений; и даже когда долги будут, наконец, уплачены и вожделенные сотни тысяч потекут к нему, у него не останется времени, чтобы насладиться ими. Бальзак знает цену отречению, которого требует такая задача. Он знает, что должен будет отдать ей свой мозг и свой сон, все свои силы, всю свою жизнь. Он не испытывает страха, ибо работа для него одновременно и наслаждение, и в этом непрестанном напряжении энергии он впервые радостно осознает свою силу. Но чтобы одержать победу в борьбе, ему нужно немного — уверенность. Именно теперь, когда Бальзак берется за дело, которое потребует от него всех жизненных сил, все пламенней, все нетерпеливей ощущает он по-

требность в простейших началах существования. Он хочет иметь жену, иметь дом, не страдать от зова плоти, избавиться от вечных долгов, не бороться больше с издателями, не выклянчивать авансы, не быть вынужденным разбазаривать еще не написанные вещи. Он хочет позабыть о вечной спешке и вечном опаздывании, не растрачивать треть душевных сил на трюки и уловки, чтобы увильнуть от судебных исполнителей, а напротив — обратить все свои силы на этот «монумент, которому суждено существовать не столько благодаря массивности и нагромождению материала, сколько благодаря красоте своих архитектурных форм». Быть свободным от всякой траты энергии в быту, чтобы сконцентрировать ее только на работе. Он хочет вести простую жизнь в реальном мире, чтобы без помех жить в мире своего творчества. Для того чтобы он мог осуществить свою задачу, должно, наконец, исполниться его давнишнее желание: «Женщина и богатство».

Но как найти эту женщину, которая должна принести в его жизнь все — успокоение страсти, освобождение от долгов, возможность работать; женщину, чье аристократическое происхождение и безупречные манеры будут еще, кроме того, льстить его неизлечимому снобизму? Как найти ее, когда ему, работающему по шестнадцать часов в сутки, просто некогда ее искать? И потом: Бальзак слишком проницателен, чтобы не знать, как не везет ему в салонах, где он пытается тягаться с записными щеголями, как мешают его плебейская внешность и дурные манеры. Мадемуазель де Трумильи ему отказала. История с герцогиней де Кастри научила его, что даже страстная настойчивость не может сделать его оболстителем. Во-первых, он слишком горд, во-вторых, он слишком робок, чтобы расточать на длительные домогательства свое время, свое бесценное время. Но кто же может подыскать ему жену? Его добрая приятельница мадам де Берни вряд ли, несмотря на свои пятьдесят четыре года, возымеет желание вербовать себе преемницу. Другая — изумительная Зюльма Карро; разве сможет она в своем скромном провинциальном

мелкобуржуазном мире высмотреть ему миллионершу, аристократку? Должно произойти чудо. Женщина, о которой он мечтает, должна сама найти его, его, у которого нет ни времени, ни решимости, ни случая осмотреться.

Согласно законам логики, ожидать этого нельзя. Но в жизни Бальзака как раз нереальное становится всегда реальным. Женщины, которые не знают его, вернее, потому именно, что они не знают его, а только создают в мечтах своих портрет своего кумира, — женщины пишут Бальзаку. Вновь и вновь приходят письма от женщин, иногда по два, по три в день. Некоторые из этих писем дошли до нас. Читательницы, которые пишут Бальзаку, всегда любопытствующие, подчас даже искательницы приключений. Герцогиня де Кастри не единственное знакомство, которым Бальзак обязан почтальону. Существует вереница нежных подруг, в большинстве случаев нам известны только их имена — Луиза, или Клер, или Мари, — женщины эти обычно вслед за своими анонимными письмами являлись к Бальзаку домой, и одна из них унесла оттуда даже внебрачного ребенка. Но разве не может когда-нибудь вместо всех этих адюльтеров вспыхнуть подлинная любовь?

И Бальзак с особым вниманием читает женские письма. Они усиливают в нем уверенность, что он может стать всем для женщины, и если хоть один тон, хоть одна строчка будит в нем любопытство психолога, он, который даже самым значительным своим современникам пишет лишь мимоходом, подробно отвечает женщинам. Человеку, который прикован к своему письменному столу, человеку, который на долгие недели и месяцы отгорожен от Парижа и мира глухими шторами в своем кабинете, когда приходит женское письмо, кажется, будто в комнате повеяло мягким и манящим благоуханием. Читая эти письма, он ощущает явственней, чем из оценок критики и общества, что от него исходят флюиды, к которым особенно восприимчивы женщины — эта нежнейшая стихия в мире.

Порой, когда Бальзак завален работой, он откладывает их письма в сторону. Так, остается сперва невскрытым и письмо

из России, запечатанное гербом «*Diis ignotis*» * и подписанное таинственным словом «Чужестранка». Письмо прибыло в роковой день 28 февраля 1832 года, в тот самый день, когда Бальзак впервые получил приглашение от герцогини де Кастри посетить ее в предместье Сен-Жермен. Но письмо это определит всю жизнь Бальзака.

Бальзак и сам не мог бы придумать для романтического романа более комедийной и экзотической завязки, чем предыстория этого письма. Вот его предыстория: замок на Волыни, одна из тех широко раскинувшихся дворянских усадеб, которые производят особенно величественное впечатление, ибо одиноко стоят среди полей. Ни одного города поблизости, ни одного большого села, только приземистые мазанки, крытые соломой; и поля кругом, обширные тучные поля плодородной Украины; и бесконечные леса насколько хватает глаз. Все это принадлежит богатому российско-польскому барону Венцеславу Ганскому.

Господский замок, воздвигнутый среди рабской нищеты, обставлен со всей европейской роскошью. В нем собраны драгоценные полотна, богатая библиотека, восточные ковры, английские серебряные сервизы, французская мебель и китайский фарфор, кареты, и сани, и лошади в стойлах, хоть сейчас в упряжку или под седло! Но даже армия крепостных лакеев, слуг, конюхов, поваров и нянек не в силах защитить господина Ганского и его супругу Эвелину от ужасного врага — от скуки, донимающей их в этой глуши.

Господин Ганский, которому под пятьдесят и который не может похвалиться крепким здоровьем, в отличие от своих соседей не страстный охотник, не безумный картежник, не запойный пьяница, и управление имениями не слишком занимает его, ибо он и так не знает, что ему делать с унаследованными миллионами. И даже тысячи «душ», которыми он владеет, не веселят его разочарованную душу. Еще больше томится его жена, некогда славившаяся своей красотой гра-

* Неизвестная богам (*лат.*).

финя Ржевусская, в глуши, вдали от развлечений и от образованного общества. Отпрыск одной из знатнейших польских дворянских фамилий, она из родительского дома вынесла потребность в культурной беседе. Она изъясняется по-французски, по-английски и по-немецки, у нее склонность к изящной словесности, и она живет интересами западного, увы, столь далекого мира.

В Верховне днем с огнем не сыщешь человека, способного к духовному общению и дружбе. Соседи по имению — дурно воспитанные, некультурные субъекты, а обе бедные родственницы, Северина и Дениза Вылечинские, которых госпожа Ганская взяла к себе в качестве компаньенок, не очень-то занимательные собеседницы. Замок, чрезмерно просторный и чрезмерно уединенный, целых полгода утопает в сугробах; никто не навещает Ганских. Весной они выезжают в Киев, на бал, и примерно раз в три-четыре года — в Москву или Петербург. В остальное время день течет вяло и уныло, как две капли воды похожий на все прочие дни, — приходит и уходит. И все бессмысленней, все невозвратимей проходит время. Эва Ганская за одиннадцать-двенадцать лет родила своему мужу, который почти на четверть века старше ее, семерых, а по другим сведениям — пятерых детей. Все они поумирали, и у нее остался один-единственный ребенок — дочь. И едва ли сможет она снова подарить ребенка своему преждевременно одряхлевшему супругу, да и ей самой уже тридцать. Правда, она еще статная, аппетитная, хотя несколько раздобревшая женщина. Но ведь она скоро увянет, и жизнь ее пройдет, а она так и не узнает жизни.

Бесконечные снега зимой и нивы летом почивют кругом. Такая же бесконечная скука витает в помещицкой усадьбе. Единственное событие недели — почта. Железных дорог еще и в помине нет. На санях или на телеге прибывает раз в семь дней драгоценная кладь из Бердичева — весть с легендарного «запада». Но зато что за дни наступают потом!

Богачи Ганские подписываются на иностранные газеты, естественно, только на дозволенные российской цензурой,

прежде всего на парижский консервативный «Котидьен» и чуть ли не на все выходящие во Франции литературные журналы. Кроме того, книгопродавец регулярно присылает им все хоть чем-нибудь примечательные новинки. Отдаленность всегда удешевляет важность событий. Газеты, которые Париж лишь бегло проглядывает, здесь, на краю культурного мира, внимательно читаются от первой до последней строчки, и точно так же и любая книга. Ни одно парижское ревью не критикует новые издания с такой обстоятельностью, как это принято здесь, в самом тесном семейном кругу.

Госпожа Ганская, обе племянницы и воспитательница дочери швейцарка Анриетта Борель — все вместе собираются они по вечерам и обмениваются мнениями о только что прочитанной книге. Иногда, но не слишком часто, в разговоре участвуют господин Ганский или брат госпожи Ганской, Адам Ржевусский, если он в это время гостит в усадьбе.

Разгорается спор — «за» и «против». Каждое самое маленькое происшествие в сказочном Париже разрастается, превращаясь в страстно будоражащее душу событие. Об актерах, о поэтах, о политиках мечтают и беседуют здесь, как о недостижимых созданиях, божествах. Здесь, в этих уединенных усадьбах, слава отнюдь не звук пустой, она отсвет божества. Здесь имя поэта произносится еще с благоговейным трепетом.

В один из таких зимних вечеров 1831 года разразилась особенно ожесточенная дискуссия. Спор идет о новом парижском писателе, о некоем Оноре де Бальзаке, который вот уже год безмерно увлекает всех читателей. Особенно восторгаются им читательницы, хотя и чувствуют себя несколько уязвленными. Что за великолепная книга эти «Сцены частной жизни»! Никогда еще ни один сочинитель не постигал так глубоко женскую душу. Какое понимание покинутых, оскорбленных, отвергнутых женщин! Какая трогательная снисходительность к их ошибкам и слабостям! И можно ли себе

представить, что такой утонченный, такой сострадающий человек мог одновременно с этой вещью написать «Физиологию брака», эту холодно-ироническую, циничную, мерзкую книжонку? Как способен гений так пасть, как может человек, который умеет понимать и защищать женщин, так высмеивать их и унижать? А теперь еще этот новый роман — «Шагреневая кожа»! Он, бесспорно, великолепен. Но как может герой этой книги, этот очаровательный юный поэт, который любит такую благородную девушку, как Полина, бросить ее ради бессердечной светской кокетки, как может он стать рабом столь порочной особы, как графиня Феодора? Нет, такому поэту, такому гению, как этот господин де Бальзак, следовало бы быть лучшего мнения о женщинах. Он должен был бы изображать лишь возвышенные души, не растрчивать свой талант на описание подобных графинь, а уж тем более всей этой фривольной вакханалии. Как жаль, что он изменил своему лучшему Я! Ах, кто-нибудь должен был бы как следует отчитать его!

«Ну а почему — предлагает кто-то из кружка, — а почему не мы сами? Напишем-ка господину де Бальзаку!» Дамы пугаются и смеются. Нет, это невозможно! Что сказал бы господин Ганский, если бы его жена, если бы Эвелина Ганская, урожденная Ржевуская, вздумала писать первому встречному? Ведь нельзя же компрометировать свое имя — этот господин де Бальзак, говорят, еще очень молод, и разве можно доверять человеку, который имел наглость написать «Физиологию брака»! И кто знает, как этакий парижанин поступит с подобного рода письмом! Все эти догадки и опасения только прибавляют пикантности их затее, и, наконец, они принимают решение всем вместе написать и отправить письмо господину Оноре де Бальзаку, в Париж. Да и почему бы не помистифицировать этого таинственного незнакомца, который то обожествляет женщин, то высмеивает их? Давайте состряпем письмо, чрезвычайно романтическое, чрезвычайно чувствительное, чрезвычайно питательное и густо подслащенное восторгами — настоящую шараду, над которой

господину де Бальзаку придется как следует поломать голову. Само собой разумеется, госпожа Ганская не подпишет письма, она не станет писать его собственноручно. Пусть ее брат или мадемуазель Борель, воспитательница, перепишут весь текст, чтобы тайна показалась господину де Бальзаку еще более таинственной и манящей. Они запечатают письмо печаткой «Diis ignotis». Пусть знает, что его чтят и призывают обратиться к его собственному Я «неведомые боги», а отнюдь не земная и весьма по-земному замужня госпожа Ганская.

Письмо это, к сожалению, до нас не дошло. Мы можем только примерно представить себе его содержание, по аналогии с позднейшим, избежавшим великого аутодафе и относящимся к той же эпохе, когда мадам Ганская фабриковала письма «Незнакомки» еще в шутовском содружестве со своими домашними и давала их переписывать мадемуазель Борель. Когда переписка приняла серьезный оборот, госпожа Ганская уже не писала фраз вроде следующей:

«В те мгновения, когда я читала ваши сочинения, я отождествляла себя с вами, с вашим гением. Ясная и сияющая, стояла ваша душа передо мной. Я следовала за вами шаг за шагом».

Или:

«Вот в немногих словах все, что таится в моем сердце. Я восхищаюсь вашим талантом, я чту вашу душу. Я хотела бы быть вашей сестрой».

В этой же тональности, где в каждом слове чувствуешь, что усадебное общество восторженно рукоплещет любой удавшейся ей пышной фразе, по-видимому, выдержано было и первое, не дошедшее до нас письмо; и наверное, далекой и пылкой поклоннице удалось придать ему еще более таинственную привлекательность. Ибо когда 28 февраля 1832 года эта сложная смесь искреннего восхищения, мистификации и каприза, окольными путями посланная на адрес издателя Госслена, доходит до Бальзака, она полностью выполняет свое предназначение. Письмо раздражило писателя, овладе-

до его вниманием и очаровало его. Восторженные послания, начертанные женской рукой, отнюдь не являются для него событием. Но до сих пор они прибывали из Франции, из Парижа, в крайнем случае — из провинции. Письмо с Украины для парижского писателя того времени уже само по себе факт гораздо более примечательный, чем в наши дни письмо из Полинезии, и, осознав эту неизмеримую тогда даль, Бальзак с гордостью ощущает размах своей молодой славы. Замурованный в тесной келье, он до сих пор лишь смутно представлял себе, что и за пределами Франции уже начинают интересоваться им. Он и понятия не имел, что сам Гете, легендарный веймарский старец, беседовал с Эккерманом о «Шагреновой коже». Экзальтированное письмо Незнакомки внезапно открыло ему, что его творчество ведет победоносное наступление даже в том царстве, в котором потерпел поражение его соперник Наполеон, что он, Бальзак, уже превзошел его, чтобы основать мировую державу, более долговечную, чем держава его кумира. И опять, точно так же как в письме герцогини де Кастри, ощущает он пьянящие его флюиды аристократизма. Это не может быть ни наемная гувернантка, ни доморощенная мешаночка. Только самые высокопоставленные аристократы в России пишут столь безукоризненно по-французски, только очень богатые семьи могут позволить себе роскошь в эпоху высоких почтовых пошлин регулярно выписывать из Парижа все новые издания. И роскошная фантазия Бальзака немедленно пускается вскачь. Вероятно, она молодая женщина и, конечно, красавица, аристократка! Часом позже он уже непоколебимо убежден в том, что Незнакомка не только графиня, нет, она непременно княгиня, и, опьяненный восторгом, он немедленно сообщает друзьям о «божественном письме русской или польской княгини» и показывает его Зюльме Карро, а может быть, и другим.

Перед принцессами или княгинями Бальзак никогда не оставался в долгу и, несомненно, ответил бы и на это письмо в первом порыве. Но Незнакомка, которая и впредь будет

твердить ему: «Для вас я Незнакомка и останусь ею на всю жизнь, никогда Вы не узнаете, кто я», — не сообщила ему своего адреса. Так как же отблагодарить ее? Как связаться с далекой поклонницей? С изобретательностью, которая является неотъемлемым качеством романиста, Бальзак тотчас придумывает выход. Дополненное и исправленное издание «Сцен частной жизни» как раз находится в печати, и одна из новых новелл — «Искупление» — еще никому не посвящена. Итак, он посылает в типографию приказ воспроизвести на первой странице факсимиле печатки «Diis ignotis» и проставить под ней дату 28 февраля 1832 года — день, когда он получил послание Незнакомки. Теперь, как только его поклонница раскроет новый том, который она, несомненно, получит от своего книгопродавца, она увидит, сколь чувствительно и тактично писатель сумел отблагодарить свою знатную Незнакомку, увидит, что на княжеские почести он и отвечает по-княжески.

К несчастью, старая верная подруга дней его безвестности, мадам де Берни, все еще читает вместе с ним все его корректуры, и, по-видимому, пятидесятилетнюю женщину мало радуют новые «неведомые боги», или, вернее богини, ее протеже. Согласно ее желанию «этот молчаливый символ моих потаенных чувств» исчезает из набора, и Незнакомка и ее домашние не знают, как сильно вопреки их ожиданиям они раздражили своими загадочно-пылким письмом необузданную фантазию Бальзака.

Но отважные сочинители в Верховне вовсе и не ожидали ответа. Они отправили свое письмо подобно ракете: просто в небо. А разве небо отвечает на ракеты? Неделью, две, а может быть, и три, томясь, скучают они, все вновь и вновь представляя себе, какое впечатление на Бальзака могло произвести написанное изящным почерком мадемуазель Борель и украшенное латинской печатью восторженное письмо Незнакомки. Они все еще раздумывают и прикидывают: что бы такое присочинить и добавить и тем вернее распалить его любопытство, подстегнуть его поэтическое тщеславие? Нако-

нец сообщники фабрикуют второе письмо Незнакомки, а вслед за ним, вероятно, и третье. И этой забавой заполняют еще несколько вечеров. Вместо виста, ломбера и пасьянса под кровом усадьбы Ганских теперь в фаворе новая пикантная игра. Там пишут нежные, романтические, патетические и экзальтированно-мистические послания господину де Бальзаку.

Это занято. Но ведь любая игра в конце концов либо приедается, либо распалает страсти игроков, которые начинают делать все более высокие ставки. Постепенно участников игры начинает интриговать, получил ли вообще господин де Бальзак эти письма, составленные с таким причудливым и хитроумным искусством. Нельзя ли с помощью какого-нибудь трюка выведать, не рассержен ли он или, быть может, польщен? А может быть, им все-таки удалось настолько его одурачить, что он принял за чистую монету излияния Незнакомки?

Кроме того, мадам Ганская с супругом собирается весной отправиться на Запад. Быть может, из Швейцарии легче будет отправлять письма в Париж, и в конце концов она получит ответ, ну, хоть несколько слов, начертанных рукой знаменитого романиста.

Любопытство всегда способствует изобретательности. И вот госпожа Ганская со своими наперсницами решает 7 ноября составить еще одно послание Незнакомки — первое, дошедшее до нас. После пламенных сердечных излияний в нем без обиняков ставится вопрос: желает ли Бальзак получать письма от Незнакомки? Ощущает ли он соприкосновение с «божественной искрой вечной истины»? И после всего этого удручающего пафоса госпожа Ганская предлагает Бальзаку подтвердить черным по белому получение ее письма. Но, не решаясь доверить ему ни своего имени, ни адреса, она предлагает воспользоваться тогда еще не совсем обычным путем — поместить объявление в газете.

«Одно слово от вас в «Котидьен» даст мне уверенность, что

вы получили мое письмо и что я могу писать вам без опасений. Подпишите свое объявление: «Ч.....е* О.Б.».

Госпожа Ганская была, вероятно, весьма испугана, когда 8 января 1833 года она получила номер парижского «Котидьен» от 9 декабря и под рубрикой «Объявления» обнаружила строчки:

«Господин де Б. получил обращенное к нему письмо. Только сейчас он может подтвердить это при посредстве газеты и сожалеет, что не знает, куда направить ответ Ч.....е О. де Б.».

Кровь, наверно, ударила ей в голову, и все-таки она должна была почувствовать себя счастливой. Бальзак, великий, прославленный Бальзак, хочет написать, хочет отвечать ей! Но затем она, вероятно, устыдилась того, что писатель принял всерьез сочиненные ею и ее кружком, грубо наигранные чувства. Должна ли она ему писать, смеет ли она еще писать ему? История, казавшаяся такой забавной, сразу же приобрела несколько опасный характер. Прозаический супруг Эвелины Ганской, этот сельский дворянин, весьма строго относящийся к вопросам своей чести и положения в обществе, не имеет ни малейшего представления о шутке, которую позволили себе его жена, племянницы и гувернантка, о забаве, которая оставалась невинной шуткой, лишь покуда пресловутая Незнакомка была продуктом совместного анонимного творчества. Но если Эвелина попробует теперь завести серьезную переписку с Бальзаком, то она сможет делать это только за спиной своего супруга и без ведома своих компаньонов. Ей придется разыгрывать комедию перед мужем, и, как в каждой заправской комедии, ей потребуется для этого тайная соучастница, наперсница.

Несомненно, госпожу Ганскую терзают серьезные опасения. Она чувствует, что ввязывается в историю, в авантюру, которая явно несовместима с требованиями ее сословия и с собственной ее честностью. Но, с другой стороны, что за

* Ч.....е означает здесь — Чужеземке.

шекочущее наслаждение в запретном, какое искушение ожидать собственноручного письма от прославленного писателя! Как манит возможность стилизовать самое себя в духе романтических персонажей!

В первое мгновение госпожа Ганская не может окончательно решиться и, как это свойственно женщинам, откладывает окончательное решение. Она, правда, отвечает Бальзаку тотчас же, но в совсем другом тоне, чем в прежних письмах. Здесь нет уже ни экзальтации, ни чрезмерного восторга, ни двусмысленных фраз — есть только сообщение, что она намеревается вскоре отправиться в путешествие и остановиться неподалеку от французской границы. Что она, безусловно, желает поддерживать переписку, но лишь постольку, поскольку будет застрахована от малейшей нескромности и компрометации:

«Мне хочется получить от вас ответ, но я должна соблюдать такие предосторожности, пользоваться столь сложными окольными путями, что я не решаюсь взять на себя хоть малейшее обязательство. Однако я не хотела бы оставаться в неизвестности касательно судьбы моих писем и прошу вас известить меня при первой же возможности, как вы предполагаете наладить в дальнейшем нашу бесперебойную переписку. Я полагаюсь всецело на ваше честное слово, вы не сделаете ни малейшей попытки узнать имя получательницы ваших писем. Я погибну, если станет известно, что я пишу вам и что вы получаете от меня письма».

Тон изменился совершенно. Это пишет сама госпожа Ганская. И впервые мы получаем представление о ее настоящем характере. Это женщина, которая, даже решаясь на авантюру, рассуждает холодно и ясно. И если она сделает ложный шаг, то сделает его с гордо поднятой головой, в здравом уме и твердой памяти.

Но тут-то ее гордость и вступает в новый конфликт. Любопытство, тщеславие, азарт не дают ей покоя. Бальзак ответил ей через «Котидьен», и она хочет начать с ним личную переписку. Но письмо из Парижа — слишком большое собы-

тие в Верховне, и конверт не сможет незаметно попасть в ее руки. Стоит явиться почтальону, как весь дом приходит в волнение — все завидуют тому, кто получил письмо. Следовательно, исключена всякая возможность получить письмо незаметно для мужа и домочадцев. Если она решится на тайную переписку, ей придется втянуть в свою тайну третье лицо. Такое третье лицо, беспредельно преданное, безвольно-покорное и абсолютно безответственное, госпожа Ганская находит в воспитательнице своей дочери.

Анриетта Борель, уменьшительно Лиретта, происходит из благочестивого буржуазного семейства, обитающего в Невшателе. Уже несколько лет служит она в этом украинском замке. И естественно, что стареющая девушка, на пути которой никогда не встретился ни один мужчина, скромная гувернантка, которая живет на чужбине, вдали от своей семьи и друзей, отдает всю свою привязанность семейству Ганских.

Когда началась комедия в письмах, Лиретта тоже вошла в круг доверенных, и несомненно, что первые письма, которые сочинялись еще развлечения ради, написаны ее рукой. Теперь, когда госпожа Ганская намеревается писать свои письма собственноручно и за спиной других участников игры, когда она хочет получить от Бальзака ответ, никто не кажется ей более подходящим для роли фиктивного адресата, чем скромная Лиретта. Кто подумает, что письмо из Парижа к мадемуазель Анриетте Борель послано Оноре де Бальзаком? Ничего не подозревая, набожная, простоватая мещанка, несомненно, дает свое согласие. Разумеется, ей и не снится, что тем самым она берет на себя роль сводни. Как бы там ни было, но, служа втайне и с молчаливой преданностью госпоже Ганской, она тем самым предает господина Ганского, и этот вначале не осознанный ею конфликт позднее, когда отношения между госпожой Ганской и Бальзаком станут греховными, ляжет тяжким бременем на совесть этой простой и скромной девушки.

Несчастливая Анриетта Борель будет считать, что она стала

соучастницей обмана, сводней, что она способствовала нарушению супружеской верности, что она предала господина Ганского, который всегда относился к ней с дружелюбной доверчивостью, и будет считать это своим смертным грехом.

Очевидно, этот внутренний конфликт начался рано. Лиретта и тогда уже испытывала иногда неприязнь к госпоже Ганской, а к Бальзаку — чувство определенной антипатии, и он, со своей стороны, увековечил ее в «Кузине Бетте». Но сознание вины приняло особенно бурную форму, когда умер господин Ганский. Сразу же после его похорон Лиретта заявляет, что не хочет больше оставаться в этом доме, и уходит в монастырь, чтобы искупить свое преступление, свое соучастие в смертном грехе.

Но, однако, лишь благодаря ее согласию стала возможной регулярная переписка. Незнакомка сообщает Бальзаку некий фиктивный адрес; захваченная прелестью этой азартной игры, госпожа Ганская с нетерпением ожидает, ответит ли ей великий писатель.

Можно представить себе ее изумление, когда не одно, а целых два письма прославленного писателя приходят к ней одно за другим. Первое (которое мы знаем и которым открывается дошедшая до нас переписка с Незнакомкой) словно предназначено для того, чтобы одновременно и очаровать и устыдить владелицу Верховненского замка. Бальзак с полной серьезностью отнесся к ее фальшиво-восторженным письмам:

«Вопреки непрестанно подогреваемому моими друзьями недоверию к письмам, подобным тем, которые я имел честь получить от Вас...»

Бальзак «во власти доверия». С обычными для него преувеличениями он рисует ей восторг, в который привело его ее письмо:

«Вы были предметом моих сладчайших грез!» (А ее, по всей вероятности, терзает неприятное чувство: ведь она водит его за нос!)

И в другом месте, перенимая возвышенный тон Незнакомки и даже перещеголяв ее, Бальзак пишет:

«Если бы вы могли видеть, как подействовало на меня ваше письмо, вы бы тотчас заметили благодарность любящего, сердечную веру, нежную чистоту, которые связывают сына с матерью... все уважение молодого человека к женщине и прекраснейшие надежды на долгую и пылкую дружбу».

Такие фразы, напоминающие нам самые скверные и пошлые страницы юного Бальзака, автора бульварных романов, должны были, конечно, привести в упоение неискушенную женщину в украинской глуши. Какая доброта! Какая сердечность! Какие поэтические мысли! Какое благородство! Он намерен посвятить новеллу ей, Незнакомке, чтобы отблагодарить ее! Первым побуждением Ганской было ответить пылкому мужчине и прославленному писателю, который столь безоглядно дарит ей свое доверие, ответить ему с такой же безоглядной откровенностью. Но, к сожалению, есть некое неприятное обстоятельство, охлаждающее ее восторги. Почти одновременно — быть может, несколько раньше, быть может, несколько позже (мы этого не знаем, так как письмо не сохранилось) — к ней приходит второе послание Оноре Бальзака, тоже в ответ на ее письма, и письмо А написано совершенно иным почерком, чем письмо Б. Какое же письмо написано рукой Бальзака и кем написано второе письмо? А вдруг оба послания не от Бальзака? Уж не хотел ли он просто посмеяться над ней? Уж не поручает ли он теперь разным лицам писать ей вместо себя? Уж не морочит ли он ее точно так же, как она морочила его? Да, может быть, в конце концов не она его, а он ее одурачил? Так как же: играет он с ней или относится к ней серьезно? То и дело сличает она оба письма. Наконец она решается ответить Бальзаку и просит объяснить ей, чем вызвано несоответствие почерков и стиля писем, которые оба подписаны его именем.

Теперь очередь Бальзака испытать смущение. Вечно куда-то спешащий, вечно заваленный работой, он, отправляя

письмо госпоже Ганской, совершенно забыл о письме, которое незадолго до того было написано по его поручению. Письма, преисполненные дамских восторгов, приходили к нему уже в великом множестве, и он изобрел средство, во-первых, не терять времени, а во-вторых, не разочаровывать своих поклонниц. Эти письма от его имени пишет его верная приятельница — Зюльма Карро, которой чужда ревность. Зюльма, которая живет в захолустье и у которой много свободного времени. Ей нравится сортировать излияния незнакомых дам и отвечать им в стиле своего друга Бальзака. По-видимому, «божественное письмо от русской или польской княгини» попало в ее агентство, и Зюльма, верная своему долгу, как обычно, ответила на него.

Бальзак тотчас же распознает ловушку, в которую он угодил. Другой на его месте отнесся бы к этому безразлично или, собравшись с духом, сказал правду. Но Бальзак никогда не отчаивается и никогда или очень редко решается высказывать незнакомкам правду о себе. И вся их переписка до конца останется столь же неискренней, как вначале. Для Бальзака-романиста неправдоподобие никогда не служило серьезным препятствием, и вот с великолепной дерзостью он вздымает логику на дыбы, желая укротить подозрения своей обеспокоенной корреспондентки:

«Вы с некоторым недоверием попросили у меня объяснений по поводу моих двух почерков. Но у меня столько же почерков, сколько дней в году... Эта подвижность, это непостоянство есть лишь следствие фантазии, которая может представить себе все и тем не менее остается девственно чистой, подобно зеркалу — никакое отражение не в силах запятнать его».

Нет, она непременно должна доверять ему и не опасаться, что «он шутит с ней». И тот же человек, который пишет непристойные «Озорные рассказы», отважно заявляет, что он-де «бедное дитя», которое было и будет жертвой своих нежных чувств к женщинам, своей робости, своей доверчивости. Это дитя, охваченное робостью — свойство, которого

доселе никто не подозревал в Бальзаке, — начинает теперь пренаивно делать признания Незнакомке.

Он описывает ей «сердце, которое до сих пор знало одну-единственную в мире женщину».

Он стремительно пишет десять, двенадцать, шестнадцать страниц, наполненных этими довольно неубедительными признаниями. Он говорит о своем стиле, о своем творчестве, вынуждающем его «отказываться от женщин, которые, собственно, являются моей единственной религией». Он пишет о своем одиночестве, и можно только дивиться утонченной деликатности, которая звучит в его уже несколько влюбленном тоне.

«Вы, которую я ласкаю, как сладостную иллюзию, — пишет он Незнакомке. — Вы, которая, как упование, проходит сквозь все мои мечты... Вы не знаете, что означает для поэта, когда в его одиночестве появляется столь сладостный образ, чьи контуры, именно потому, что они столь неясны и неуловимы, наполняют его таким восторгом».

Он не получил от нее и четырех писем, не знает ее имени, не видел ее портрета, но в своем третьем письме уже признается ей:

«Я люблю вас, Незнакомка! И это удивительное чувство — только естественное следствие моей всегда унылой и несчастной жизни... Если с кем и могло приключиться что-либо подобное, то именно со мной».

Когда мы читаем эти поспешные излияния Бальзака, нас прежде всего охватывает чувство неловкости. Все эти якобы овладевшие им чувства звучат надуманно и неискренне. Они оставляют скверный привкус сентиментальной романтики. Невозможно избавиться от подозрения, что Бальзак изо всех сил придумывает чувства, которых он, по совести говоря, еще вовсе не испытывает. По единственному дошедшему до нас письму госпожи Ганской — после смерти Бальзака она предсудотрительно сожгла все свои письма — нам ясно, что они были полны сетований и сентиментальной меланхолии. Да и в других ее письмах, например, к брату, невозможно найти

ни строчки, в которой бы проявилась личность необычная. Но Бальзак, может быть, сам того не сознавая, объясняет в нескольких словах своего письма то, что кажется необъяснимым:

«Я должен сочинить себе страсть!»

Он хочет сочинить для себя любовный роман. После того как герцогиня де Кастри испортила первый его набросок, он пытается теперь рискнуть и завести новый с этой Незнакомкой. Бальзак инстинктивно действует в духе времени. В эпоху романтизма парижская и европейская публика ждет от своих писателей захватывающих романов не только на бумаге. Она хочет, чтобы они сами выступали героями великосветских любовных походов. Чтобы убедить сердца, писатель должен как можно больше афишировать свои роскошные и шумные любовные истории. Байрон благодаря своим приключениям и связям с графиней Гвиччиоли, Лист, соблаздивший мадам д'Агу, Мюссе и Шопен, возлюбленные Жорж Санд, Альфьери, открыто живший с графиней Альбани, — все они интересовали публику своими похождениями ничуть не меньше, чем своими произведениями. И Бальзак, гораздо более чувствительный к успехам в обществе, чем к литературным успехам, Бальзак-честолюбец, не хочет плестись в хвосте. Напротив. Он жаждет превзойти своих коллег.

Идея вступить в связь с дамой высшего света воодушевляет писателя на протяжении всей его жизни. И когда вместо того, чтобы вежливо поблагодарить корреспондентку, он с места в карьер начинает осыпать эту невидимую «русскую или польскую княгиню» пламенными признаниями и едва завуалированными нежностями, то причиной этому отнюдь не «наивность», как он сам пытается это изобразить. Нет, он полон твердого намерения сконструировать «роман жизни», придумать для себя страсть. И, как всегда, чувство Бальзака покорно подчиняется его воле. Воля у него всегда первична. Это исходная сила, подчиняющая себе все другие и управляющая ими.

Только так становятся нам понятны первые письма к Незнакомке. Перед нами вступительная глава романа, и роман этот, как надеется Бальзак, будет на сей раз детищем не фантазии, а реальных событий. Главная фигура романа — Незнакомка. И лишь в последующих главах она приобретет форму и очертания. Поначалу же она захватывает его воображение лишь таинственной далью, в которой она возникла, и своим высоким общественным положением. Подобно его Беатрисе, героине одноименного романа, она обитает в уединенном замке, вдали от столицы, — непостижимая Ариадна, ожидающая освободителя Тезея. Этой женщине, которой он намерен поручить ведущую любовную партию будущего романа, он, обожающий всякую маскировку, противопоставляет вовсе не того Бальзака, каким является в действительности, а некоего романтического юношу, тщетно жаждущего «чистой» любви, юношу, чью скорбную стезю жизнь доселе устилала лишь одними терниями.

Итак, перед нами автопортрет Бальзака, написанный специально для таинственной незнакомки.

В большом городе он одинок. На белом свете нету никого, кому бы он мог доверить свои интимные помыслы. Страсти терзали его, а в итоге — одни разочарования. Ни одна мечта его не исполнилась. Никто не способен оценить его сердце:

«Я предмет самой дурной молвы. Вы не можете себе вообразить, какой злобой, клеветой и какими дикими обвинениями меня осыпают!»

Никто, ни в Париже, ни в целом мире, никто не понимает его:

«Только одно надежно: моя одинокая жизнь, моя постоянно возрастающая работа да мои горести».

И в отчаянии он бросается в работу, «как Эмпедокл в кратер, в котором жаждет обрести славу». Этот «бедный художник» презирает деньги, презирает славу, и только об одном мечтает он, тридцатипятилетний Парсифаль, — о любви!

«Моя единственная страсть, которая всегда приносила мне

разочарования, — женщина... Я наблюдал женщин, я научился их понимать и нежно любить. Но единственная награда, которая мне выпала на долю, было понимание, которым великие и благородные сердца дарили меня из своего далека. Только в сочинениях мог я делиться своими желаниями и мечтами».

Никто не хочет «любви, которая вечно в моем сердце, любви, о которой я мечтаю и которую никто не понимает». Почему же его не понимают? «Несомненно, потому, что я слишком сильно люблю».

«Я был готов на величайшие жертвы. Я мечтал лишь об одном-единственном дне счастья за целый год, о счастье с юной женщиной, которая, подобно фее, должна возникнуть предо мной. И я был бы доволен этим и верен ей. Но я и сейчас лишь мечтаю об этом счастье. Я не молод, мне уже тридцать пять, я изнуряю себя все более тяжелой работой, которой отдал свои лучшие годы. Но мечта так и не стала явью».

Чтобы ускорить развитие романа, Бальзак с поразительной интуицией применяется к кругозору мечтательной и, пожалуй, богобоязненной княгини, которая вряд ли поняла бы человека легкомысленного или авантюриста типа Казановы. Нет, она, несомненно, будет требовать от художника «чистоты» и «веры». Следовательно, любовные порывы нужно слегка окрасить меланхолией, положить на них чуточку лордбайроновского грима — разочарования — и придать восторженности романтические тона. Но, сыграв всю эту тщательно продуманную прелюдию, в которой он с захватывающей силой изобразил верность своего сердца, свою чистоту, порядочность и свое одиночество, Бальзак в быстром крещендо устремляется на приступ. Ему, знатоку литературной техники, ясно, что захватывающий роман должен завладеть читателем уже в первой главе.

Итак, в первом письме Незнакомка была лишь «предметом сладостных грез», спустя две недели, во втором, он уже «ласкает ее, как сновидение», в третьем, три недели спустя, —

«я люблю тебя, Незнакомка», в четвертом послании он любит ее «еще сильнее, хотя я и не видел вас». И Бальзак нисколько не сомневается, что она, только она, и есть воплощенная мечта его жизни.

«Если бы вы только знали, с какой страстью я обращаюсь к вам, столь долго вожделенной. На какую жертву я чувствую себя способным!» Еще два письма, и вот уже Незнакомка (какое бесстыдное предательство по отношению к мадам де Берни и Зюльме Карро!) стала сердцем, «у которого я впервые обрел утешение». Он уже обращается к ней, как к своей «дорогой и чистой любви», как к «сокровищу» и «возлюбленному ангелу». Она теперь одна-единственная, хотя он и не видел даже ее портрета, хотя он не знает, сколько ей лет, не знает даже ее имени. Она уже госпожа и повелительница его судьбы:

«Если вы этого хотите, я сломаю свое перо, и ни одна женщина больше не услышит моего голоса. Я буду только просить у вас уважения к «Избраннице» — она для меня мать. Ей уже пятьдесят восемь лет, и вы, которая так молоды, не станете ревновать к ней! О, возьмите и примите все мои чувства и берегите мои переживания, как сокровище! Распоряжайтесь моими мечтами — осуществите мои мечты!»

Она, она одна дала ему ощутить чудо любви, она «первая, которой удалось заполнить пустоту сердца, уже готового разочароваться в любви».

Едва узнав ее имя — единственное, что он вообще о ней знает, — он клянется принадлежать ей, в буквальном смысле этого слова, навеки:

«Вы одна можете осчастливить меня, Эва. Я стою перед вами на коленях, мое сердце принадлежит вам. Убейте меня одним ударом, но не заставляйте страдать! Я люблю вас всеми силами моей души — не заставляйте меня расстаться с прекрасными надеждами!»

К чему, спрашиваем мы себя, этот чрезмерный экстаз? Ведь он кажется нам неправдоподобным, а разумной, урав-

новешенной женщине может показаться просто отталкивающим. Попытаемся же дать ответ.

Бальзак сочиняет роман романтический, а всегда, когда он не является реалистом — в «Лилии в долине», в «Беатрисе», в «Серафите» — он сползает в ложную экзальтацию.

Творческая воля его, способная беспредельно использовать все возможности, обращается теперь к сфере реального. Он хочет слить в гармонию два голоса, объединить две фигуры, совершенно полярные. И точно так же, как в Незнакомке он увидел княгиню и возвышенную страдальицу, точно так же пытается он изобразить самого себя в идеальном образе чистого, одинокого и отвергнутого мечтателя.

Давайте всмотримся повнимательней, и мы увидим, что приглушенные, нежные любовные стремления становятся тем ярче и пламенней, чем больше приближается возможность увидеть загадочную княгиню наяву.

И в самом деле, Бальзак, опытный психолог, профессиональный и прославленный знаток женской души, рассчитал правильно. С помощью щедрых исповедей и пылких излияний ему и впрямь удалось пробудить у Незнакомки любопытство к личности человека, который шлет ей столь страстные письма. В своих первых посланиях она еще торжественно заверяла, то на веки вечные останется для него Незнакомкой — далекой, недосыгаемой, безмянной звездой. Но вскоре любопытный ветерок приподнимает покрывало тайны. Внезапно госпожа Ганская заставила своего супруга покинуть замок на Украине и отправиться на несколько месяцев, а может быть, и лет, в странствие. И Бальзак со столь необычной для него нескромностью посмеивается — в письме к сестре Лауре: «Ну разве же не прелестно сыграть такую штуку с благоверным и заставить его, покинув родную Украину, проскакать шестьсот миль, только чтобы увидиться с воздыхателем, которому — чудовищу этакому! — придется проехать всего-навсего полтора часа?»

В начале 1833 года российский помещичий обоз из Вер-

ховни приходит в движение. Ганские путешествуют в собственном экипаже, со слугами и невообразимым количеством багажа. Неизменную Лиретту берут с собой, якобы затем, чтобы она сопровождала и оберегала дочь Ганских — Анну, а в действительности, чтобы она и дальше была посредницей в тайной переписке.

Первая остановка — Вена, очевидно, по настоянию господина Ганского, который провел там свои юные годы и у которого немало друзей среди венской аристократии. Но, разумеется, именно госпожа Ганская выбрала для летнего пребывания Невшатель. Отсюда рукой подать до французской границы, и если Бальзаку действительно захочется познакомиться с Незнакомкой, ему не придется ехать слишком далеко *.

Ничего не подозревающему господину Ганскому Невшатель, несомненно, преподносят под тем соусом, что у бедняжки Лиретты там живут родители, которых она, преданная дочь, так хотела бы повидать после долгих лет разлуки. Великодушный и ко всему безразличный супруг дает свое согласие. В июле обоз прибывает в Невшатель, и Ганские снимают здесь «виллу Андрэ». В посланиях из Невшателя (они не дошли до нас) давались, видимо, инструкции Бальзаку, как без ведома супруга, не вызывая никаких подозрений, должна состояться их тайная встреча. Ему приказывают остановиться в «Отель дю Фобур», рядом с «виллой Андрэ». Там он и получит дальнейшие указания. Бальзак в восторге. Он с нетерпением ждет, что после романтического вступления жизнь сама напишет решающую главу в придуманном им романе: первую плотскую встречу душ, созданных друг для друга. И поспешно закликает он еще далекую корреспондентку:

«О, моя неведомая возлюбленная, не оскорбляйте меня недоверием, не думайте обо мне плохо! Я куда более легко-

*В царствование Николая I русским подданным запрещалось пребывание во Франции. — *Примеч. пер.*

мысленное дитя, чем вы, может быть, представляете! Но я чист, как ребенок, и, как ребенок, вас люблю!»

Он готов, дабы исключить любое подозрение, путешествовать инкогнито, скажем, как господин или маркиз д'Антрэг. Они договариваются, что он теперь прибудет в Невшатель лишь на несколько дней, зато потом, в октябре, проведет целый месяц с «любимым ангелом» (которого он даже не знает).

Но ему нужно проделать сперва один фокус: ввести в заблуждение своих друзей и скрыть от них истинную цель своего путешествия.

Ни Зюльма Карро, ни все еще ревнующая мадам де Берни не должны знать, какова таинственная причина, заставившая его внезапно поехать в Швейцарию. Прирожденный, многоискусшенный, опытный сочинитель романов, Бальзак не лезет в карман за мотивировкой. Ему нужно съездить в Безансон, уверяет он своих друзей, чтобы заказать там особый сорт бумаги для печатания своего следующего произведения. Потом садится в почтовую карету и летит с бешеной, чудовищной быстротой, с которой делает все; летит, непрестанно меняя лошадей, в Невшатель и, проведя в пути четверо суток, прибывает туда 25 сентября. Он так утомлен, что по рассеянности снимает номер не в той гостинице. Наконец, попав, как условлено, в «Отель дю Фобур», он находит вожделенное письмо, в котором ему предлагают на другой день, 26 сентября, между часом и четырьмя пополудни, явиться на бульвар и встретиться там со своим «любимым ангелом». У него едва хватает сил нацарапать записку, чтобы известить о своем приезде, и он закликает ее: «Бога ради, сообщите мне ваше настоящее имя!»

Ибо до этого мгновения Бальзак не знает ни лица, ни имени женщины, которой он поклялся в вечной любви.

Здесь у читателей любовного романа Бальзака, романа, порожденного его необузданной фантазией, сердце должно бы забиться от нетерпения: предстоит волнующая сцена — встреча чистых душ. Теперь, наконец, великая Незнакомка,

царица его сновидений, явится в земном своем обличье. Взоры их будут искать друг друга. Они встретятся, наконец, на этих красивейших в мире аллеях. Что же там произойдет? Не будет ли поэт разочарован, увидя вместо пригрезившейся ему красавицы аристократки ничем не примечательную дурнушку? Не разочаруется ли она, когда внезапно вместо неземного поэта, стройного, бледного, чей взор то пылает, то меркнет, к ней вдруг подойдет краснощекий тучный господин, напоминающий, скорее, виноторговца из Турени или разжиревшего мелкого рантье, чем певца непонятых женщин, господина де Бальзака? Как они встретятся? Как заговорят? Не отпрянут ли они друг от друга?

К сожалению, эта важная сцена в романе жизни Бальзака не дошла до нас. Существуют разные легенды. По одной — он якобы увидел госпожу Ганскую, когда стоял у окна «виллы Андрэ», и был потрясен, настолько облик ее совпал с обликом, который он видел в своих пророческих снах. По другой — она тотчас же его узнала по портретам и подошла к нему. По третьей — не смогла скрыть, как ее разочаровала вульгарная внешность ее трубадура.

Но все это позднейшие и произвольные домыслы. Несомненно одно: при первой тайной встрече они, очевидно, придумали, каким именно способом госпожа Ганская представит Бальзака под видом светского знакомого своему ничего не подозревающему супругу. Как бы там ни было, но в этот же вечер Бальзака ввели в семью Ганских. И вместо того чтобы перенести на практическую почву теоретические объяснения с «любимым ангелом», ему приходится беседовать с господином Ганским и одной из племянниц-приживалок.

Ганский — немногословный, чудаковатый, но благовоспитанный господин, питающий большое уважение к литературной славе и к положению в обществе. Он приятно поражен тем, что познакомился с таким прославленным писателем. Он очарован его блистательным, искрящимся, неисчерпаемым красноречием. Г-н Ганский приглашает господина Баль-

зака провести в своем обществе и следующий день. Он, разумеется, и не думает ревновать. Да и как бы мог он предположить, что его супруга, урожденная графиня Ржевусская, разрешает этому толстому, неуклюжему буржуа, которого она и в глаза не видала, писать ей тайные и пылкие любовные послания? Напротив, господин Ганский самым сердечным образом принимает Бальзака, приглашает его к себе на виллу. Они совершают совместные прогулки. Эта предупредительность и сердечность явно тяготят Бальзака. Ведь он провел четыре дня и четыре ночи в почтовой карете не затем, чтобы рассказывать семейству Ганских литературные анекдоты, а затем, чтобы совлечь с небес и заключить в объятия свою незнакомку, свою Полярную звезду. Но госпоже Ганской удастся только два или три раза ускользнуть на часок из-под семейного надзора.

«Увы, все пять дней проклятый муж не отставал от нас ни на секунду. Он переходил от юбки жены к моему жилету», — в сердцах пишет Бальзак своей сестре. И несомненно, что именно богобоязненная девица Анриетта Борель нарочно разъединяла влюбленных. Состоялись только самые короткие встречи в тени аллей или на уединенном берегу озера. Но, к его собственному изумлению, — «Я боялся, что не понравлюсь тебе!» — Бальзак при помощи бурного красноречия уже одерживает скромную победу в авангардных боях. Г-жа Ганская в сельском уединении никогда не видела человека столь пламенного. И теперь она обманывает себя романтической отговоркой. Разве можно разбить чувствительное сердце поэта ненужной жестокостью? Итак, она принимает любовные излияния Бальзака и даже позволяет ему под сенью развесистого дуба похитить у нее поцелуй, мимолетный дар, который, если вспомнить, сколь кратковременно это знакомство, способен вселить и в человека менее оптимистичного, чем Бальзак, надежду, что при других обстоятельствах женщина, которую он так легко завоевал, разрешит ему все.

Бальзак в упоении возвращается в Париж. И восторг все

еще клокочет в его мозгу и в его крови, хотя он был вынужден, не смыкая глаз, провести четверо суток на империале дилижанса среди столь же тучных швейцарцев. Но что значат эти мелкие неудобства по сравнению с триумфом, который одержали его провидение, его творческое чутье и неукротимая энергия! Действительность превзошла все его ожидания!

Незнакомка совершенна. Она словно самим небом предназначена на роль героини в задуманном им романе жизни. Лучшей кандидатки он и придумать бы не мог. Во-первых, она не достигла, как женщины, с которыми он был близок, пожилого возраста. И если ей и не двадцать семь, как она уверяет, состязаясь с ним в преувеличениях собственной прелести, то, во всяком случае, ей не больше тридцати двух. Она статная, элегантная, чувственная, привлекательная. «Un bel pezzo di carne» — «лакомый кусочек», как сказали бы итальянцы.

Бальзак считает ее «шедевром красоты». И это несколько не удивительно для такого прирожденного гиперболизатора. Но портрет работы великолепного венского миниатюриста Даффингера подтверждает достоинства, превозносимые Бальзаком:

«Прекраснейшие черные волосы, великолепная нежно-смугловатая кожа. Маленькая прелестная ручка, томные глаза. Когда они широко раскрываются, в них пылает сладострастие».

Однако несколько льстивый портрет Даффингера позволяет распознать и коварную склонность к полноте. Живописец не сумел скрыть двойной подбородок, чрезмерно пышные плечи, несколько приземистую фигуру. Глаза, маленькие и темные, глядят чуть рассеянно и кажутся близорукими. Лицо на портрете лишено ясности и, как характер Эвелины Ганской, кажется обманчивым и скрытным. Но не только внешность Ганской опьяняет Бальзака. Он, всегда мечтавший о любовном приключении с аристократкой, действительно нашел в ней женщину высшего света, культурную, воспитан-

ную, начитанную, владеющую языками, весьма образованную, как доказывают ее письма к брату, и с великолепными манерами, которые чрезвычайно импонируют Бальзаку-плебею. И потом — снова восторг: она отпрыск одного из знатнейших дворянских родов Польши, и Мария Лещинская, королева Франции, приходится ей чем-то вроде двоюродной бабки. Следовательно, те самые уста, к которым прильнул он, внук крестьянина, чтобы сорвать с них поцелуй, имеют благодаря этому родству право — так по крайней мере мечтает Бальзак — и ныне, обращаясь к королю Франции, называть его «кузен». Какой взлет! Сперва мадам де Берни из служилого дворянства, потом герцогиня д'Абрантес, представительница скороспелой армейской знати, потом почти настоящая герцогиня из предместья Сен-Жермен, а теперь живая внучатая племянница королевы! Но и это еще не все!

Господин Ганский, правда, не граф и не князь, как мечталось писателю. Зато у него есть другое преимущество, куда более ценное в глазах Бальзака: он несметно богат. Он обладает теми самыми бесчисленными миллионами, о которых страстный фантазер Оноре может лишь грезить, миллионами в надежных российских государственных бумагах, в нивах и лесах, в поместьях и крепостных душах; и наступит день, когда его жена — нет, его вдова — унаследует все эти богатства. И подобно тому, как Бальзак открывает в госпоже Ганской одно достоинство за другим, он и в ее супруге находит теперь множество важных и симпатичных черт. Во-первых, он на двадцать или двадцать пять лет старше своей жены; во-вторых, не слишком ею любим; в-третьих, его здоровье оставляет желать лучшего и, наконец, его жена, желанная и уже почти завоеванная, со всеми миллионами и влиятельными знакомыми, очень скоро может стать собственной женой его, Бальзака. Человек, который, подобно Бальзаку со времен своей нищей юности на улице Ледигьер, только о том и мечтает, чтобы «одним махом» упорядочить свою жизнь, выбиться из нужды и избавиться от унижения, человек, кото-

рый мечтает о богатстве, роскоши, расточительности, который жаждет наслаждаться жизнью и свободно творить, должен опьяниться возможностью благодаря одному-единственному фантастическому приключению, благодаря одной-единственной женщине увидеть все свои желания близкими к исполнению, и к тому же благодаря женщине, которая для него физически привлекательна и которую он не разочаровал.

С этого мгновения он приложит всю свою энергию, свою единственную и беспримерную бальзаковскую волю, свое ни с чем не сравнимое бальзаковское упорство и терпение, чтобы завоевать эту женщину. Теперь госпожа де Берни, *Dilecta*, «отныне и навсегда избранная», может уйти в тень. Только Полярная звезда будет сиять над его жизнью.

«Любимая и единственная женщина, которая для меня существует!»

ХII. ЖЕНЕВА

В стратегическом смысле поездка в Невшатель была рекогносцировкой. Бальзак прощупал местность и убедился, что она чрезвычайно благоприятствует решающей атаке. Чтобы подготовиться к штурму и принудить крепость к капитуляции, прозорливый стратег вынужден возвратиться в Париж, за боеприпасами. Ибо когда через месяц или два ему — как возлюбленному, как поклоннику этой избалованной женщины, как гостю и человеку, стоящему на равной ноге с хозяевами, придется явиться в семью миллионера, он должен будет предстать здесь во всем великолепии, проживать в хорошем отеле, импонировать окружающим. Бальзак знает теперь, что поставлено на карту, сколь выигрышным в материальном и в социальном смысле может оказаться «роман жизни» и «роман любви» с госпожой Ганской, который начался столь многообещающе. И вот он удваивает свою ни с чем не сравнимую энергию и не преувеличивает, когда гово-

рит: «Некоторые мои друзья совершенно смущены яростной силой воли, которую я обнаружил в это мгновение».

Наконец ему, который, как всегда, не знает, куда бежать от долгов и обязательств, удастся снова вздохнуть свободнее. Он находит издателя, или, вернее, издательницу, некую вдову Беше. Она выплачивает ему двадцать семь тысяч франков за двенадцать томов «Этюдов нравов XIX века», в которые должны войти теперь «Сцены провинциальной жизни» и «Сцены парижской жизни». Итак, это опять продажа на корню еще не сделанной работы, но, во всяком случае, учитывая его тогдашние обстоятельства, это превосходная сделка:

«Она вызовет отклик в нашем мире, полном недоброжелательства, ревности и глупости, и вызовет разлитие желчи у всех завистников, которые так надменно полагали, что смогут шествовать вперед, укрываясь в моей тени».

Таким образом, Бальзак оказался в состоянии удовлетворить по крайней мере самых неотвязных кредиторов — само собой разумеется, не мать и не мадам де Берни. И когда он уже через две недели после своего преждевременного ликования сообщает: «В четверг я должен заплатить пять тысяч франков, а у меня за душой ни одного су...» — то все эти «мелкие стычки, к которым я привык», уже не волнуют его. Он знает, сколько он может заработать своим трудом за два или три месяца. Он знает, что дни, проведенные в Женеве, могут оказаться решающими для его ближайшего будущего, а быть может, и для всей его жизни.

«Теперь нужно только: работать, работать денно и нощно! Я должен завоевать в Женеве четырнадцать дней счастья — вот слова, которые, как мне кажется, выгравированы у меня в мозгу. Они вселяют в меня еще небывалое мужество».

На этот раз Бальзак не преувеличивает. Вряд ли когда-нибудь он работал интенсивнее и плодотворнее, чем сейчас, опьяненный предчувствием, что трудится не только ради гонорара и ради того, чтобы вырваться на свободу, но для того,

чтобы удовлетворить самое сердечное свое желание — навсегда обрести уверенность и покой. И он говорит:

«При одной этой мысли кровь приливает к моему сердцу, идеи толпятся в моем мозгу. Я весь охвачен небывалым подъемом. Воодушевленный этим желанием, я, несомненно, создам прекраснейшие мои книги».

И книги подтвердили его слова.

В эти месяцы Бальзак стремится не только к непревзойденным количественным результатам. Он хочет превзойти себя и как художник, как моралист. В словах и письмах госпожи Ганской он уловил, что она испытывает некое неприятное чувство, читая его «фривольные сочинения», как, например, «Физиологию брака», и у него возникает мучительная мысль: он боится, что она будет судить о нем, о нем, который старается предстать перед ней в образе чистого и романтического возлюбленного, по только что появившимся «Озорным рассказам». Он хочет доказать, что он способен и на высокие, благородные чувства, что он преисполнен гуманных и даже религиозных идей. Его «Сельский врач», эта серьезная, для прежних его читателей слишком сложная вещь должна доказать, что он лишь случайно, под влиянием легкомысленного, но мимолетного настроения, сочиняет те, другие вещицы, но что подлинная его мощь устремлена к истинно высоким идеалам. В это же время он завершает «Евгению Гранде», этот свой неувядаемый шедевр. Итак, он предъявляет два новых бесспорных доказательства, свидетельствующих о его характере, творческой силе и человеческой ценности.

Но Бальзак, столь отважно и энергично готовясь к великой и решающей сцене в основном романе своей жизни, не забывает, даже пребывая вдали, ковать железо, чтобы оно, упаси Господи, не остыло. Каждую неделю пишет он своей «дорогой супруге-возлюбленной» пылкие письма, в которых учтливое «вы» давно уже заменено интимным «ты». Он уверяет ее, что только теперь для него началась новая, «гораздо более драгоценная жизнь», что она и есть «любимая и

единственная женщина», которая существует для него в жизни.

Все любит он в ней: ее резкий иностранный акцент, рот, свидетельствующий о доброте и сладострастии. Он приходит в трепет, сам пугается, увидев, что вся его жизнь принадлежит ей:

«Во всем мире нет другой женщины, лишь ты одна!»

Он с самого начала ставит себя в положение подчиненного, «бедного раба», «мужика», который не решается даже поднять взора на сиятельную свою госпожу. Он, безоружный, отдает себя в ее распоряжение навеки. Если верить ему, то с сотворения мира ни один мужчина не испытывал столь безграничной любви к женщине. Каждую неделю, собственно говоря, каждый день, швыряет он зажигательные бомбы в отдаленную крепость:

«Ты с каждым днем все больше нравишься мне. С каждым днем ты занимаешь все больше места в моем сердце. Не предавай великого чувства моей любви никогда!»

И чтобы отвести от себя подозрение в безнравственности — к его ужасу госпожа Ганская выписала экземпляр «Озорных рассказов» — он уверяет ее: «Ты не знаешь, как девственно-непорочна моя любовь!»

И признается ей: «Уже три года я живу целомудренно, как юная девушка». Это кажется нам весьма неожиданным, ибо накануне он гордо сообщил своей сестре о том, что стал отцом внебрачного ребенка.

С такой решимостью, выдвинув тяжелую артиллерию, стремясь окончательно сломить сопротивление своей избранницы, Бальзак втайне закладывает мины, чтобы завоевать благосклонность докучного супруга. Одновременно с интимными письмами к «ангелу сердца» и «любви моей» он пишет и другие письма, которые выдержаны в учтиво-холодном тоне и в которых он обращается к ней на «вы». Письма эти явно предназначены для очей господина Ганского. Они должны создать впечатление, что господин Бальзак питает особую склонность ко всему семейству, включая дочь, племянницу,

компаньонку и самого благоверного, и прибудет в Женеву, дабы провести несколько недель в этом столь милом ему обществе.

В знак особого внимания он посылает господину Ганскому, коллекционирующему автографы, рукопись Россини и просит с трогательной скромностью о дозволении преподнести его супруге манускрипт «Евгении Гранде». В этом манускрипте на оборотной стороне титульного листа карандашом тайно помечен день, в который Бальзак хочет прибыть в Женеву. Но это останется, конечно, неизвестным снисходительному супругу, который не подозревает еще, что обе женщины, живущие в его доме, верная жена и набожная гувернантка, тайком помогают господину де Бальзаку сочинять «роман жизни».

В декабре все приготовления закончены. Бальзак хочет только дождаться появления «Евгении Гранде». Книга эта становится его триумфом, который повергает в смущение даже самых заклятых врагов, и неожиданно, но весьма кстати пополняет дорожную кассу писателя.

Никогда еще Бальзак не был в таком лучезарном настроении, никогда еще воля его не была тверже, чем 25 декабря 1833 года, когда он приезжает в «Отель Дель Арк» в Женеве и находит там первый привет — драгоценный перстень, в который запаяна прядь изумительных черных волос. Перстень, который так много обещает, талисман, который Бальзак будет носить, не снимая, до конца своих дней.

Сорок четыре дня проводит Бальзак в Женеве. Двенадцать часов в день он, конечно, работает. В том самом гимне, в котором он возвестил о том, какое блаженство его ждет в Женеве, вблизи своего ангела, он сообщил этому ангелу немолчимый распорядок дня, согласно которому он и в Женеве будет работать с двенадцати ночи до двенадцати утра. Для труженика Бальзака нет отдыха даже в раю.

Только вечерние часы будет он отдавать своей любви к семье Ганских или к госпоже Ганской. Другие часы посвящаются диаметрально противоположному чувству — мести.

Бальзак захватил для доработки рукопись «Герцогини де Ланже», в которой повествует о своем неудачном романе с герцогиней де Кастри. Он привез эту рукопись в Женеву, в тот город, где получил окончательный и оскорбительный отказ герцогини. И он сделал это не без умысла. Он, несомненно, намеревался оказать таким образом психологическое давление на госпожу Ганскую. Вечер за вечером он читает ей о том, как может отомстить писатель кокетке, которая играла с его любовью и не решилась на последний шаг. И тогда женщина, которой он добивается сейчас и от которой нетерпеливо требует этого решительного шага, поневоле пугается: а вдруг он столь же безжалостной рукой ввергнет и ее в чистилище общественного презрения. Читая письма Бальзака, мы видим, как ловко он смешивает карты в своей игре. С одной стороны, он, преувеличивая ненависть к герцогине де Кастри, показывает предмету своих домогательств, сколь неумолим он к неумолимой, с другой — сколь он младенчески верен, — он подчеркивает для этого свою преданность госпоже де Берни. Да, он показывает, сколь благодарен писатель женщине, которая вся, душой и телом, не размышляя, предалась ему. Мы мало знаем о тайных свиданиях и встречах Бальзака и госпожи Ганской за спиной ее супруга. Но нет никакого сомнения в том, что Бальзак добивается одного: он хочет «вынудить ангела сойти с неба на землю» и получить от этого ангела то, чего он не добился в этом же городе от герцогини де Кастри.

Сперва госпожа Ганская — это видно из писем и заклинаний Бальзака — решительно противится его последнему требованию. Она, очевидно, не вполне ему доверяет. Биографы и психологи вели дурацкий спор о том, любила ли госпожа Ганская Бальзака или вообще не любила, как будто это понятие, любовь, однозначно, резко определено, неизменно и не подвержено ни колебаниям, ни торможениям, ни противоречиям. Может быть, как показывает вся ее позднейшая жизнь, она и была чрезвычайно чувственной женщиной, но страсть никогда не туманила ее разум настолько, чтобы она

забыла о своем происхождении, о своем добром имени и о своем положении в свете. Ее маленькие, близорукие темные глаза видели все очень ясно, за ее мраморным челом, которым так страстно восхищался Бальзак, скрывались холодные и ясные мысли. Сначала госпожа Ганская в полную противоположность Бальзаку, нетерпеливо стремящемуся связать ее с собой всеми узами, вовсе не хочет, чтобы эти отношения, в которых она невольно зашла слишком далеко, налагали на нее какие бы то ни было обязательства. Всю жизнь ее чувства к Бальзаку остаются зыбкими, ибо она по-разному воспринимает его и в зависимости от обстоятельств судит о нем по-разному. Ганская восхищается Бальзаком-писателем, но она видит и его человеческие слабости. Еще в те годы, когда злобная и мелкая парижская критика ставит Бальзака на одну доску с Александром Дюма и прочими сочинителями романов, Ганская видит его величие, которое одиноко возвышается над своим веком. Но с той же неумолимой ясностью она видит комическую сторону его преувеличенных любовных экстазов, видит его мелкую ложь — «ложь во спасение»; даже когда она, как женщина, поддается его страсти, аристократка в ней страдает от плохих манер, от дурного вкуса, от мании величия этого закоренелого плебея. Весь гашиш, которым Бальзак пропитал свои письма, не может заставить ее закрыть свои бдительные глаза. Этот сильный и странный аромат обожания тешит ее тщеславие и любопытство, и все же она не покоряется ему. С самого начала она совершенно ясно оценивает их взаимоотношения, об этом свидетельствует ее письмо к брату, отправленное из Невшателя:

«Я, наконец, познакомилась с Бальзаком, и ты спросишь, испытываю ли я по-прежнему слепое восхищение или уже исцелилась от него. Вспомни, ты всегда пророчествовал, что он будет есть с ножа и сморкаться в салфетку. Правда, второго из этих преступлений он не совершал, зато в первом действительно повинен. Конечно, это очень неприятно, и, когда он делал промахи, которые мы объясняем «дурным

воспитанием», я испытывала искушение сделать ему замечание, как я сделала бы его, например, Анне. Но все это только внешняя сторона. В нем есть нечто бесконечно более важное, чем хорошие или дурные манеры. Гениальность этого человека электризует и поднимает тебя в высочайшую область духа. Его гений заставляет тебя вознестись над собой. И благодаря ему ты начинаешь понимать и постигать, чего не хватало в твоей жизни. Ты снова скажешь, что я экзальтирована, но уверяю тебя, что это не так. Нет, мое восхищение никак не делает меня слепой к его недостаткам, а их немало. Но он любит меня, и я чувствую, что эта любовь — самое драгоценное из всего, чем я когда-либо обладала. И если сейчас мы должны будем расстаться навеки, она будет гореть вечным факелом перед моими ослепленными глазами, перед бедными моими глазами, которые так устают, когда я думаю обо всем убожестве и мелочности людей и мира, которые меня окружают».

Эти строки, написанные Незнакомкой, вероятно, искреннее всех писем Бальзака. Она была женщиной, и она должна была гордиться тем, что ее любит человек столь гениальный. Она была очень честолюбива и понимала, что в качестве адресата, которому направлены его письма, она стала хранительницей документов, которые переживут свое время. И поэтому сама она, незначительная, безвестная украинская помещица, она, такая заурядная и нетворческая, тоже войдет в историю. В сущности, позиция, которую она заняла, удивительно сходна с позицией герцогини де Кастри, для которой было тоже счастьем и гордостью знать, что знаменитый писатель домогается ее благосклонности, что он прославляет, обожествляет и даже осаждаст ее. Герцогиня не испытывала к нему любви и страсти в такой мере, чтобы компрометировать себя. Ганская тоже отвергает домогательства Бальзака, когда он настойчиво твердит: «Подари мне твою любовь! Не отказывай мне в самом главном, в любви!»

Она понимает, как дурно и бесчестно за спиной мужа и

дочери, пользуясь соучастием подкупленной гувернантки, скрывая лицо под густой вуалью, красться в номер гостиницы к Бальзаку. И вероятно, бахвальство и чрезмерная развязность Бальзака тоже поколебали ее доверие к нему. Она боится, что он разболтает о ее жертве и даже опишет ее в своих произведениях. Но он клянется ей, что ее жертва лишь усилила его чувство, его благодарность:

«Ты увидишь: близость сделает нашу любовь только нежней и сильнее... Как мне выразить тебе: меня пьянит твой нежный аромат, и сколько бы я ни обладал тобою, я буду только все более пьянеть».

Так проходят недели. От полуночи до полудня Бальзак пишет роман, предназначенный для печати, и злорадно описывает герцогиню де Ланже, которая отказала возлюбленному в последнем даре любви, а по вечерам старается сломить сопротивление женщины, которая не хочет ему отдаться. Но на этот раз воля Бальзака превратилась в ярость. И счастье наконец улыбнулось ему. После четырех недель упорного сопротивления ангел, нарушая супружеский долг, спускается с небес в «Отель Дель Арк»:

«Вчера я твердил себе весь вечер: она моя! Ах, блаженные в раю не так счастливы, как я был вчера!»

Задуманный в романтическом духе и мастерски построенный любовный роман, роман, который решил пережить Бальзак, достиг наконец кульминационной точки. Бальзак сделал явью мечту — он вообразил, что женщина, о которой он не имел ни малейшего представления, молода, богата, красива, знатна, и все это оказалось правдой. Еще вовсе не зная ее, он решил, что она станет его возлюбленной, — и она стала его возлюбленной.

Демонически-великолепная воля Бальзака одержала грандиозную победу. Любовь-иллюзию он превратил в любовь-действительность. Роман его жизни богат неожиданными перипетиями, необычными персонажами и ситуациями не менее, чем его «Человеческая комедия».

Но роман этот еще не окончен. Он достиг только первой

своей кульминации. Любящие — Эва и Оноре — нашли друг друга: они заключили друг друга в объятия, они поклялись в вечной любви и верности. Но что же дальше, как поступят оба фантазера, захваченные этой встречей, опьяненные страстью? Как поступят они? Куда укроются со своей любовью? Последует ли госпожа Ганская за Бальзаком в Париж? Оставит ли постылого старого мужа? Или, практичная и трезвая, потребует развода, чтобы на законных основаниях стать законной женой Оноре де Бальзака и променять усадьбу на Украине и свои миллионы на честь носить это имя? Что станут делать они, они, которые, как кажется, уже не в силах прожить друг без друга ни дня, ни часа? Какой фантастический выход придумает Бальзак, Бальзак, столь щедрый на выдумки?

Но в романе своей жизни, как и во всех других вещах, Бальзак не только великий фантазер, но и хладнокровный реалист. В плане его жизни было начертано прежде всего: «Женщина и состояние». И ничто так не разжигает его страсть к госпоже Ганской, как то, что она, госпожа Ганская, — аристократка и миллионерша. А Полярная звезда и не помышляет поселиться в парижской мещанской квартирке Бальзака, чтобы с утра до вечера отворять двери назойливым кредиторам. Грехопадение совершается. Но вместо похищения, развода, дуэли или подобной романтической развязки все завершается ясным и почти коммерческим соглашением между возлюбленными. Они обещают ежедневно сообщать друг другу о своих чувствах и о событиях в своей жизни и предусмотрительно обмениваются шкатулками для хранения этих писем, писем, которые они будут посылать друг другу до... до тех пор, пока господин Ганский не будет столь любезен уйти с их дороги. Они же тем временем постараются видаться временами, само собой разумеется, так, чтобы положение госпожи Ганской в свете не подвергалось ни малейшей опасности и чтобы не возникло сплетен, не произошло скандала.

Новая Элоиза и новый Абеляр соединятся навек, только

когда госпожа Ганская благодаря смерти своего супруга станет владелицей Верховни и наследницей миллионов.

Сентиментальным натурам эта помолвка после чувств, столь необузданных, может показаться несколько холодной и расчетливой. Но Бальзак, охваченный восторженным угаром, нисколько не ощущает всей унизости этой развязки. Год или два? Ведь больше, так думает он, брюзгливый и хворый супруг не протянет. Оптимизм, непоколебимый оптимизм Бальзака подсказывает ему, что раз произошло чудо, значит, произойдет и другое. И он самым сердечным образом пожимает руку доверчивого супруга, которого мысленно они уже похоронили, и благодарит его за гостеприимство и за всяческие ценные подарки. А потом госпожа Ганская с чадами и домочадцами отправляется в увеселительную поездку по Италии, а Бальзак возвращается в Париж к своему письменному столу.

ХIII. ПРОЩАНИЕ В ВЕНЕ

Отдохнувший, окрыленный и энергичный, как никогда, Бальзак возвратился в Париж. Он взял реванш за понесенное поражение. Впервые одержал он победу над упорно сопротивлявшейся женщиной. Никогда еще он не был так отважен, так силен. Впервые видит он возможность укрепить свое все еще шаткое, сотрясаемое бурями и катастрофами существование. Он действен от природы, и жизнь его до последнего вздоха будет «бурной жизнью». Но этот пенящийся, рокошущий, низвергающийся поток получил по крайней мере определенное направление — он несется к определенной цели. С этой минуты Бальзак составляет твердый план жизни, которому он будет следовать с одному ему свойственной жертвенной, неумолимой энергией. Невзирая ни на что, пренебрегая здоровьем и комфортом, он намеревается, работая за десяти-рых, за десять лет завершить «Человеческую комедию», самое дерзновенное творение века. И он хочет завоевать и

взять себе в жены эту женщину, которая утолит его страсть, женщину, чье знатное происхождение удовлетворит его тщеславию, чьи миллионы дадут ему независимость от издателей, от газет и от самого невыносимого гнета — гнета непосильного труда.

Бальзак — гениальный тактик. За кажущейся беспечной болтливостью и безудержным бахвальством он умеет надежнейшим образом скрывать истинные свои тайны. Правда, он похвально своими гигантскими гонорарами, но делает это чаще всего лишь затем, чтобы никто не мог заподозрить, что он задолжал всем кругом. Он носит сюртук с золотыми пуговицами и держит собственный экипаж, — и все это лишь затем, чтобы его долги (а он задолжал булочнику за целый месяц) менее бросались в глаза.

Он прибегает к убедительнейшей и увлекательнейшей аргументации, доказывая Готье и Жорж Санд, что только благодаря абсолютному целомудрию писатель способен вдохнуть в свои творения пламенную силу, но делает это лишь затем, чтобы не пало подозрение на женщин, которые тайком его посещают. В эпоху, когда другие романисты афишируют свои связи и чрезвычайно озабочены тем, чтобы информировать почтеннейших читателей обо всех своих, по возможности, театрализованных любовных драмах на всех их стадиях, Бальзака отличает абсолютная скрытность. С той минуты, когда он наконец увидел Незнакомку, он не проронил ни слова о ней даже в разговоре с ближайшими друзьями. Кроме известного своего письма, в первом упоении написанного сестре, он никогда и ни при ком не упоминает больше имени Ганской. Зюльма Карро, та самая, которая в свое время написала ответ на «божественное письмо русской или польской княгини», больше не услышала от Бальзака и намека на это происшествие. И уж разумеется, он никогда не говорил об этой встрече ни мадам де Берни, ни герцогине де Кастри.

Все ее письма он хранит в шкатулке, ключ от которой всегда носит при себе. Посвящение к «Серафите» настолько

лирически расплывчато, что на фоне бесчисленных его посвящений герцогам, графам и чужеземным аристократам и аристократкам оно никому не могло броситься в глаза. Целых десять лет даже ближайшие его друзья ведать не ведают о том, что есть на свете некая госпожа Ганская. И в то время как он гордо и торжественно возвещает о своем намерении завоевать мир при помощи «Человеческой комедии», он упорно, ловко и успешно утаивает существование этой женщины, которая отныне будет выслушивать все его исповеди, хранить все его рукописи, которая избрана им, чтобы спасти его от «каторги» и принести ему независимость. Нет, ни слова о ней мадам де Берни, к которой он едет вскоре после возвращения из Женевы!

Дилекта не должна знать, что он (пользуясь его собственным обозначением) избрал себе некую Предилекту. Он понимает, что должен щадить мадам де Берни и поддерживать в ней до последнего ее мгновения иллюзию, будто она единственная наперсница его тайн, ибо здоровье старой подруги катастрофически ухудшается, и Бальзак не питает никакого сомнения в том, что дни ее сочтены. Почти непостижимым кажется ему, что эта седая дряхлая женщина еще недавно была его возлюбленной:

«Даже если бы она выздоровела — а я надеюсь на это, — мне было бы больно смотреть на печальную перемену, наступившую в ней с возрастом. Будто жизнь сразу, одним ударом, отомстила за длительное неповиновение, которое эта женщина оказывала законам природы и времени».

Это кажется символом: в час восхода солнца меркнет луна. В минуту, когда Бальзак решил сделать другую женщину владычицей своей жизни, умирает та, первая, которая отдала ему все.

Может быть, отправиться к мадам де Берни сразу же после женевских дней Бальзака заставило тайное чувство вины. Он решил покинуть ее, но пусть она не знает и не догадывается о его решении. Для него же после страшного напряжения наступили минуты покоя. Снова он может побыть в ее при-

сутствии, вспомнить о прошлом, о сумрачных, кривых, каменных, тернистых путях, которыми он шел, ведомый ею. Но теперь нужно ступить на новый путь, и этот новый путь должен наконец привести его к свободе, к славе, к богатству, к бессмертию.

Возродив свои силы, облегчив свою душу, обретя новую уверенность, Бальзак бросается в работу. Быть может, никогда за все свое горячее существование — всегда под повышенным давлением, всегда на краю катастрофы — Бальзак не трудился так хорошо и так плодотворно, так счастливо и успешно, как после возвращения из Женевы, оттого ли, что он одержал первый любовный триумф, оттого ли, что ему хотелось убедить эту женщину, что она отдалась и дала обет достойному, оттого ли, что им руководило реалистическое стремление заработать за год столько денег, чтобы он мог, ни в чем себе не отказывая, сопровождать свою «супругу по любви» в ее путешествии, прежде чем она снова исчезнет в просторах загадочной Украины.

Во всяком случае, Бальзак даже в дни самой титанической работы никогда еще не сделал столько, сколько за один этот год. Обеспокоенные врачи предостерегают его, приказывают щадить себя, и порой он сам боится катастрофы:

«Я трепещу при мысли, что утомление, усталость, бессилие победят меня, прежде чем я завершу здание моего труда».

Но он пишет одну вещь за другой и даже сразу несколько. И какие вещи!

«Никогда моя фантазия не вращалась в столь различных сферах».

За один год он завершает «Герцогиню де Ланже», в «сто ночей» — от июня до сентября — пишет «Поиски абсолюта». В октябре набрасывает начало «Серафиты», в ноябре начинает свой бессмертный шедевр «Отец Горио» и заканчивает его за сорок дней. В декабре и ближайшие месяцы он завершает «Драму на берегу моря», «Златоокою девушку», «Прощенного Мельмота», новые главы из «Тридцатилетней жен-

щины» и составляет план «Цезаря Бирото» и «Лилии в долине».

«Невозможно!» — могут сказать. Но для Бальзака невозможное возможно и даже более того! Ибо в это же время он перерабатывает старые романы, еще раз переделывает «Шуанов», «Шагреновую кожу», «Полковника Шабера». Начинает совместно с Жюлем Сандо пьесу для театра, набрасывает «Письмо французским писателям XIX века», сражается с издателями и — сама пунктуальность и аккуратность — строчит, кроме того, свои неизбежные пятьсот страниц писем и дневник для «супруги по любви».

В то время как Бальзак таким манером, подобно Сизифу от литературы, изо дня в день катит в гору камень своего труда, госпожа Ганская в Италии переживает дни идеальной праздности. Помещичий караван движется от одной роскошной гостиницы к другой, мадам Ганская совершает променады, фланирует, позирует портретисту и проводит дни в приятном ничегонеделании. И можно себе представить, сколь потрясающим должно было быть для этой образованной дамы, которая до сих пор никогда не пересекала границ запретной области, никогда не покидала России, увидеть наяву Венецию, Флоренцию, Неаполь.

Всем, в чем отказано Бальзаку, она владеет в изобилии. У нее есть время, у нее есть радости, у нее есть деньги, и в ее письмах невозможно усмотреть даже малейшего намека на то, что ради своего великого возлюбленного она хотела бы прервать это путешествие и поспешить в его объятия. Напротив, часто нельзя отделаться от впечатления, что во взаимоотношениях госпожи Ганской с Бальзаком для нее на первом плане стоит не личность великого романиста, а его письма. Постоянно и деспотично вымогала она у него эту дань. Ничем не занятая, праздная (как часто жалуется на это Бальзак!), она очень нерегулярно и очень скудно вознаграждала его безмерную душевную щедрость. В течение всего года, отданного путешествию, помещица на каждой станции желает получать письма от своего оброчного мужика. Но, естествен-

но, форма и тон этих писем, по необходимости, должны были измениться. По-видимому, тайная корреспонденция, которая велась с Верховней, Невшателем или Женовой, более невозможна, — то ли из-за чрезмерно бдительного отношения итальянской цензуры к письмам до востребования, то ли потому, что такой ворох посланий из Парижа к скромной швейцарской гувернантке непременно должен был привлечь внимание даже столь безразличного и нетребовательного супруга, как господин Ганский. Бальзак вынужден поэтому официально адресовать свои письма госпоже Ганской, но писать их в таком стиле, чтобы они могли быть прочитаны и господином Ганским. Следовательно, никакого интимного «ты», а, напротив, уважительное «вы». Никакого «небесного ангела», никакой «супруги по любви», а, напротив, «мадам», которую всякий раз вежливо умоляют передать привет «великому маршалу Украины», и Анне, и мадемуазель Борель, одним словом, всему каравану. Никаких уверений в вечной любви. Наконец-то можно перевести дух, отдохнуть от фразеологии «раба». Бальзак пишет госпоже Ганской так, будто за недели, проведенные им в Женеве, он обрел в ней лишь доброго друга, интересующегося изящной словесностью, критика, суждения которого безупречны, и поэтому он бесконечно уважает ее и чувствует себя обязанным сообщить ей все мельчайшие подробности своей жизни. Необходимо создать впечатление, будто за эти недели в Женеве он так искренне привязался, так привык ко всему семейству, что у него возникла потребность, хотя бы письменно, все еще беседовать с ними со всеми.

Бальзак не был бы великим и изощренным писателем, если бы строчки, кажущиеся легкой болтовней, он не использовал как шифр, понятный только одной госпоже Ганской. Он исповедуется ей в своем пристрастии к швейцарским пейзажам, а она превосходно знает, что кроется под этими восторгами. И вторично ей удастся увлекательная, дразняще-таинственная и опасная игра.

Однако эти письма в Италию, а затем в Вену написаны

не только для того, чтобы держать господина Ганского в заблуждении, убедить его в чисто духовном и литературном характере их дружбы, но и затем, чтобы успокоить госпожу Ганскую, уверить, что она все еще является его единственной любовью и что даже в разлуке он неизменно хранит ей верность. По-видимому, госпожа Ганская в момент их престранного сговора за спиной еще живого мужа выдвинула такого рода требование к Бальзаку, а может быть, он с обычной своей отвагой дал ей обет немедленно же вернуться к состоянию целомудрия. Письма Бальзака переполнены пламеннейшими уверениями в том, что он одинок, замкнут, что он отшельнически проводит не только дни свои, но и ночи. Вновь и вновь рассказывает он о своей «монашеской жизни» и уверяет:

«Нигде ничье одиночество не было полнее, чем мое».

Или:

«Я одинок, как утес посреди моря. Мой вечный труд не по вкусу ни одной живой душе».

Или, например:

«И вот, сижу я здесь, столь одинокий, что женщина, даже самая любящая, не может и желать большего».

Но, увы, госпожа Ганская, видимо, не склонна особенно ему верить. Умная и наблюдательная женщина распознала в Женеве, сколь мало похож Бальзак на тот романтический и патетический автопортрет, который он рисует в своих письмах к ней. Она знает, что в любое время к его услугам фантазия. Она десятки раз ловила этого фантазера на вымыслах. И, быть может, как раз в мгновения интимных встреч в номере женевской гостиницы этот робкий и неискушенный аскет предстал перед ней совсем в неожиданном свете. Кроме того, за ним следит, очевидно, первоклассная служба наблюдения и осведомления. И, быть может, не без умысла госпожа Ганская вручила Бальзаку рекомендательные письма к русским и польским аристократам в Париже. Из этих кругов — от Потоцких, от Киселевых — безусловно, поступали сведения, которые могли заставить ее усомниться в том, что он

проводит свое время, лишь горюя о больной мадам де Берни, и в неусыпных отшельнических трудах. Бальзак слишком известен столице, чтобы остаться незамеченным, — особенно когда дважды в неделю он появляется в «Ложе Тигра» с некоей известной всему Парижу великосветской красавицей. Не может остаться тайной и то, что «бедный каторжник», кроме квартиры на Рю Кассини, снял себе еще одну на Рю де Батай; что у лучшего парижского ювелира он приобрел знаменитую трость за семьсот франков, — ведь о трости этой, как он сам уверяет, говорят куда больше, чем о всех его сочинениях. Должно быть, госпожа Ганская дала понять ему, что она не так простодушна, чтобы позволить себя обманывать.

Бальзак явно попал в затруднительное положение. Вновь и вновь уверяет он ее — в официальном письме это кажется излишними дружбы, но адресат умеет читать между строк, — что: «Непостоянство и неверность чужды моей натуре».

Ловко пытается он совершить (боясь, как бы ему не вменили в вину еще какой-нибудь отягчающий факт!) ослепительный пируэт: «Существуют женщины, полагающие, что они могут увлечь меня, ежели придут ко мне». Все это ложь, клевета, преувеличение. Только низвергнутый в бездну глубочайшего одиночества, «вздыхая о поэзии, которой мне так недостает и которую вы так хорошо знаете», он всей душой ушел в музыку. Нет, это не имеет никакого отношения к парижскому свету!

«Слушать музыку — это значит еще нежней любить предмет своей любви. Это значит — сладострастно думать о своих тайных печалях, это значит — смотреть в глаза, чье пламя так любишь, и внимать звукам любимого голоса».

Однако «барыня» не доверяет больше своему «мужику», хотя или, быть может, именно потому, что он ухитряется так восхитительно выворачивать наизнанку все что угодно.

Ее отношения с Бальзаком строятся на доверии, и все-таки госпожа Ганская — великосветская дама — ничего так не страшится, как нескромности с его стороны. Летом итальянское путешествие завершено, караван возвращается в Вену,

чтобы там провести зиму. Весной господин Ганский увезет свою супругу обратно в заколдованный замок, на край цивилизованного мира, и тогда навеки померкнет Полярная звезда, этот светоч надежды в небе Бальзака. Поэтому непременно нужна новая встреча, чтобы оживить, воспламенить и освежить отношения, если Бальзак не хочет снова утратить ту, которую он однажды завоевал. В столь большой игре он не может выпускать из рук свой лучший козырь. Итак, скорее в Вену!

Предлог нетрудно отыскать. Писатель объявляет всем друзьям, а заодно и господину Ганскому, что давно уже набрасывает план романа «Битва» и в процессе работы над этой книгой ему непременно нужно увидеть поля сражений при Асперне и Ваграме. Однако проходит осень и зима, а Бальзак все еще не может отправиться в путь. Всегда одни и те же препятствия: роман, который не готов, гонорар, который непременно следует получить, долг, который непременно нужно заплатить, чтобы сделать новый, еще больший, заем. Но дабы не дать уже приутихшему пламени потухнуть прежде, чем своим бурным присутствием он снова раздует его, Бальзак строчит письмо за письмом, все вновь и вновь обнадеживая возлюбленную и уверяя, что встреча близка. Несчастный случай чуть было навеки не предотвратил эту встречу. В конце июля караван Ганских возвращается в Вену, и, поскольку тайные послания в прошлом году безотказно доходили до адресата, Бальзак полагает, что после стольких месяцев сдержанности он может отправить до востребования пылкое письмо госпоже Ганской, отнюдь не предназначенное для глаз супруга. Никакой «мадам», никакого учтивого «вы», никакого дружеского приветствия «великому маршалу» — господину Ганскому, никаких поклонов мадемуазель Северине и Анриетте Борель. Одни только каскады плающей нежности:

«О мой ангел, моя любовь, мое счастье, мое сокровище, моя драгоценнейшая, как ужасна была эта вынужденная сдержанность! Какое счастье писать тебе теперь от сердца к

сердцу!» Так начинается бешеное любовное послание Бальзака, в котором он, сотрясаемый радостью и желанием, извещает, что 10 августа выедет в Баден под Веной к Ганским:

«Как ветер, поспешу я к тебе. Когда, не могу сказать заранее, ибо я должен сделать титанические усилия, чтобы приехать, чтобы поцеловать, наконец, божественный лоб, погладить любимые волосы». Три дня пребывания вместе прибавят ему «жизни и сил на тысячу лет».

К сожалению, однако, это письмо к «дорогой беленькой кошечке», а может быть, и еще одно, столь же интимное, попадает в руки ничего не подозревавшего господина Ганского и оказывается, по-видимому, причиной бурной сцены, подробности коей нам неизвестны. Ибо Бальзак, отложивший свой отъезд из-за финансовых затруднений, вынужден внезапно взяться за перо и объяснить господину Ганскому, что побудило его послать это пламенное объяснение в любви. Впрочем, романисту с изобретательной мощью Бальзака, который не страшится неправдоподобия, нетрудно сочинить подходящую к случаю басню. С той же отвагой, с которой в начале переписки он, не смущаясь, состряпал историю о различных почерках, свойственных ему в различных душевных состояниях, он преподносит теперь разгневанному рогоносцу новую прелестную сказочку. Госпожа Ганская — это «чистейшее существо, совершенное дитя, серьезнейший и остроумнейший, мудрейший, святейший и философичнейший человек, какого я только знаю» — однажды вечером сказала ему в шутку, что очень хотела бы узнать, как выглядит заправское любовное послание. Он же ответил с улыбкой: «Вот, скажем, как письмо де Монтерана к Мари де Верней», — имея при этом в виду письмо героя к героине «Шуанов». И оба они невинно пошутили на эту тему. Вот, вспоминая об этих шутках, госпожа Ганская и написала ему из Триеста: «Разве вы забыли о Мари де Верней?» Тут он и вспомнил, что хотел показать ей образчик заправского любовного послания, и отправил в Вену два письма, выдержанные именно в этом стиле, — те самые, которые оказались

такой неожиданностью для господина Ганского и вызвали его негодование. Но предложить подобное объяснение человеку неглупому и думать, что оно покажется ему правдоподобным, значило бы считать его дураком. Поэтому Бальзак делает следующий, уже гораздо более изящный пируэт. Он уверяет, что госпожа Ганская тотчас же после первого письма — следовательно, еще до того, как оба компрометирующих документа попали к господину Ганскому — прислала ему гневную отповедь.

«Вы не можете себе даже представить, сколь обескуражен я был эффектом моей глупой шутки. Она ответила мне с чрезвычайной холодностью на первое из моих дурацких писем, а я написал ей еще одно!» И вместо того, чтобы откровенно признаться обманутому супругу в обмане или же просить у него извинения за возникшее недоразумение, Бальзак просит только (и это действительно гениальный ход!), чтобы господин Ганский, как джентльмен, встал на его сторону и помог ему успокоить ничего не подозревающую целомудренную и недоступную госпожу Ганскую, гневающуюся на Бальзака.

Как раз то обстоятельство, утверждает он, что госпожа Ганская позабыла о шутке с письмом Мари де Верней, доказывает — удивительная логика! — что она воспринимает всякое любовное письмо как грубую непристойность, даже если оно послано просто ради забавы. «Негодование госпожи Ганской является весьма благородным доказательством того, как глупо я вел себя и какая она святая. Это утешает меня».

Господин Ганский, «если для него еще что-то значит дружба, над которой я пошутил, должен как благородный посредник вручить мадам Ганской третий том его, Бальзака, «Этюдов нравов» и его рукописи. Но если бы госпожа и господин Ганские не сочли более приличным принимать знаки дружбы от него, недостойного балагура, «тогда сожгите, пожалуйста, эти книги и рукописи».

Даже если бы госпожа Ганская пожелала дать ему полное прощение, он все же никогда не сможет простить себе, что вызвал гнев — хотя бы только мимолетный — этой благородной души или оскорбил ее чем-либо:

«Несомненно, это моя судьба — я никогда больше не смогу увидеть ее, но я хотел бы заверить вас, как живо меня это сокрушает. У меня не так много знакомств, отмеченных душевной близостью, чтобы я мог без слез расстаться с одним из них».

Нисколько не собираясь приносить извинения супругу, Бальзак с присущей ему поразительной ловкостью заставляет обманутого супруга просить его, Бальзака, не прерывать переписку со своей женой и настаивает на продолжении неомраченной дружбы.

Действительно ли у господина Ганского была столь младенческая душа, что он был готов поверить нелепой версии Бальзака? Или, понимая, что через несколько месяцев тысячи миль все равно лягут между его женой и ее возлюбленным, он философски утешился? Или же — и это всего вероятнее — госпожа Ганская, которая ни за что не хочет отказаться от драгоценной переписки и от роли «бессмертной возлюбленной», склонила его к уступчивости? Мы знаем только, что оба супруга постарались проявить легкоеверие и принять всерьез сочиненную Бальзаком комедию. Господин Ганский шлет Бальзаку (к сожалению, не дошедшее до нас) письмо, а госпожа Ганская великодушно дарует грешнику свое прощение, ибо месяц спустя он уже пишет ей:

«Возобновляю переписку, следуя повелению вашей Красоты. К — прописное, как в словах: Светлость, Высочество, Преосвященство, Святейшество, Превосходительство, Величество, ибо Красота — это все они, вместе взятые».

Бедного «мужика» после того, как его по заслугам заставили, сколько полагается, повалиться в ногах, снова принимают у себя барин и барыня из Верховни. Ему позволено и дальше развлекать ясновельможных господ своими посланиями и излагать августейшей покровительнице события своей ничтожной жизни. И позволено даже, прежде чем караван Ганских возвратится на Украину, еще раз смиренно засвидетельствовать им свое почтение.

Недоразумение, которое, как мы знаем, вовсе не такое уж

недоразумение, формально улажено, и Бальзак может и должен поехать в Вену. Но проходит ноябрь, декабрь, потом январь, февраль, март, апрель, и все еще возникают новые препятствия, или, вернее, остается одно-единственное огромное препятствие: у Бальзака нет денег на дорогу. Он работал с интенсивностью, терпением и вдохновением, непостижимыми даже у такого титана труда. Он завершил «Отца Горио», этот неувыдаемый шедевр, три новых романа, множество новелл и добился еще небывалого успеха и огромнейших гонораров. Но то, что насобираала упрямая, быстрая, опьяненная работой пишущая, правая рука, то без разбора расшвыряла левая — рука расточителя. За новую квартиру и обстановку, которые согласно его письмам к Ганской предназначены вовсе не для него, а для Жюля Сандо, еще почти не заплачено. Ювелиры, портные, обойщики уже заранее распределили между собой доходы от серафической «Серафиты» и «Отца Горио». И снова расчеты Бальзака пятью месяцами невероятной работы купить единственный месяц свободы оказываются построенными на песке. Он вынужден признаться:

«Я чувствую себя глубоко униженным тем, что столь ужасно прикован к глыбе моих долгов, как крепостной к клочку земли, — и не могу тронуться с места, ибо не принадлежу себе».

Но теперь, по-видимому, начинает настаивать госпожа Ганская. Только с величайшим трудом, под всякого рода предложениями она заставила господина Ганского, который рвался в свои поместья, задержаться в Вене до весны. Апрель — последний срок. Сейчас, доверяя обещанию Бальзака, что немедленно после завершения «Серафиты» он с предназначенной для нее, Ганской, рукописью сядет в дилижанс, она добивается от мужа еще одной отсрочки. Отъезд из Вены назначен на май. Дальнейшее ожидание ненадежного, который изобретает все новые предлоги и проволочки, исключено. Если Бальзак не приедет теперь, роман их, очевидно, окончится навсегда.

Бальзак понимает, что промедление смерти подобно. Так как бракосочетание после смерти господина Ганского представляется ему решающим шансом, он не пожалеет никаких затрат. «Серафита», хотя и продана и заложена, еще не завершена. Но не беда, он закончит ее в Вене. У него нет денег, но и это не удручает его. Все столовое серебро с Рю Кассини отправляется в ломбард, у издателей он выцарапывает ссуды и подмахивает несколько новых векселей. 9 мая Бальзак покидает Париж и 16-го прибывает в Вену.

Поездка Бальзака в Вену состоялась будто нарочно для того, чтобы по возможности углубить общепринятую характеристику гения: и едва ли можно найти более законченный пример того, на какие безумства способен даже наилучшим образом организованный, наиболее независимый ум. Чем ярче свет, тем гуще тени. Слабости, которые у заурядного человека остались бы незамеченными или к которым мы отнеслись бы с благодушной улыбкой, неизбежно представляются гротескными в Бальзаке, постигающем мир с шекспировской глубиной. В «Отце Горио» Бальзак-художник превзошел самого себя. Даже его ожесточеннейшие противники, которых до сих пор тревожила и бесила лишь количественная безмерность его труда, вынуждены теперь против собственной воли воздать должное его гениальности. Публика превозносит его, и издатели поняли притягательную силу имени Бальзака. Одно только извещение о предстоящей публикации его романа поднимает тираж любой газеты или журнала. Из всех городов, из всех стран приходят письма читателей.

Бальзак не может более сомневаться в том, что он сделался силой, равной любому венценосцу Европы. Но (и здесь наступает помрачение в сияющем разуме Бальзака!) при всей своей славе, при всем сознании всемирно-исторического значения своего творчества Бальзак одержим ребяческим тщеславием — он хочет импонировать именно тем, чего у него нет и не может быть. Потомок крестьян, он хочет, чтобы его считали аристократом. Человек, который в долгах как в

шелках, хочет, чтобы его считали богачом. Он знает из писем госпожи Ганской, что венская знать ждет его, и его охватывает дурацкое и злосчастное тщеславие. Он желает предстать перед аристократами и миллионерами, которым, как свидетельствует их отношение к Бетховену, больше всего импонирует непокорный гений, — он желает предстать перед ними как равный им.

Эстергази, Шварценберги, Любомирские и Лихтенштейны не должны, чего доброго, смотреть на него, как на нищего, изголодавшегося, обшарпанного литератора. И Бальзак наряжается — как он полагает — самым элегантным образом, а в действительности как последний выскочка!

Автор «Луи Ламбера» и «Отца Горио» дополняет свой наряд пышнейшими и роскошнейшими аксессуарами. Он покупает «трость, о которой толкует весь Париж; божественный лорнет, который мои алхимики заказали оптику Обсерватории исключительно для меня; золотые пуговицы к синему сюртуку — пуговицы, сделанные рукой феи».

Само собой разумеется, будущий супруг урожденной Ржевусской (Бальзак всегда предвосхищает свои желания и делает их действительностью!) не поедет в Вену в обычной почтовой карете, как прочие смертные. Благородный господин де Бальзак походя называет себя маркизом, заказывает собственный экипаж, который украшает не принадлежащим ему гербом д'Антрэгов, и берет с собой ливрейного лакея — причуда, которая сама по себе поглощает пять тысяч франков и к тому же остается никем не замеченной. В общем, злосчастные три недели этого путешествия, из которых половину времени он проводит за письменным столом в гостинице, а треть — в дорогостоящем экипаже, обошлись в пятнадцать тысяч франков, и ему придется их отрабатывать в течение сотен и сотен ночей на его парижской каторге.

Ганские проживают в третьем округе, в квартале дипломатической знати, и они приготовили для Бальзака номер в отеле «Под золотой грушей» рядом с их домом.

Престранный выбор комнаты, так как вскоре оказывается,

что в той самой постели, где будет спать Бальзак, незадолго до его приезда застрелился Шарль Тирион, секретарь графа Разумовского и морганатический супруг его свояченицы, графини Лулу Тюргейм. Тириона нашли мертвым с пистолетом в правой руке, с романом Бальзака в левой.

Едва переступив черту города, Бальзак узнает, как он знаменит и боготворим в Вене, — ему вовсе не понадобился ни ливрейный лакей, ни фальшивый дворянский герб. За все несправедливости, которые он испытал в Сен-Жерменском предместье Парижа и в кругу ненавистников-коллег, его теперь вознаграждают здесь. Аристократия оспаривает право принять его в своих дворцах. Князь Меттерних, победитель Наполеона и повелитель европейской дипломатии (а кроме того, предшественник Бальзака в объятиях герцогини д'Абрантес), приглашает знаменитого писателя, хотя почти не читал его, в свой дом и во время долгой беседы рассказывает ему прелестный анекдот, который Бальзак потом положил в основу своей пьесы «Памела Жиро».

Хотя для бальзаковской аристократомании эти аристократические, великосветские имена подобны манне небесной, он не может воспользоваться всеми приглашениями, ибо госпожа Ганская конфискует его для личного своего общества. Лишь ближайшим своим друзьям из польской аристократии — Любомирским, Ланкоронским — ссужает она иногда своего «кавалере сервенте».

Из писателей и ученых он знакомится только с востоковедом бароном Гаммер-Пургшталлем, который дарит ему талисман «бедук» — суеверно и благоговейно Бальзак будет хранить его до конца дней своих, — и с третьестепенным поэтом, бароном фон Цедлицем, который страшно разочаровался, услышав, что великий, почитаемый, прославленный парижский писатель говорит исключительно о гонорарах и о деньгах.

Бальзак проводит эти дни, как в чадy. Здесь, за границей, он впервые переживает наполеоновский триумф своего творчества — и как раз в том кругу, который для него важнее всего, в кругу знати. Все эти люди, имена которых он произ-

носит так благоговейно, склоняются перед его именем. Среди стольких искушений даже самому Бальзаку трудно остаться верным своей работе и, трудясь до полудня, завершать в номере гостиницы такую умозрительную, религиозно-мистическую, отрешенную от мира вещь, как «Серафита», чтобы потом пополудни фигурировать в высшем свете в качестве аттракциона для избранной публики. Бальзак правит множество корректур, он посещает поле битвы при Асперне и Эсслингене, где торопливо делает заметки для своего предполагаемого романа «Битва». Он теряет много времени в роли гайдука при госпоже Ганской, однако Вена, по-видимому, менее благоприятствует их интимным свиданиям, чем Невшатель или Женева. После инцидента с тем, всплывшим, письмом госпожа Ганская вынуждена быть чрезвычайно осторожной, и именно слава Бальзака является прекрасным стражем ее добродетели. А Бальзак перед отъездом вынужден меланхолически признаться своей возлюбленной: «Ни один час, ни одна минута не принадлежали действительно нам. Эти препятствия приводят меня в такую ярость, что я, поверь мне, поступлю разумнее, ускорив свой отъезд».

Правда, есть еще значительно более материальная причина для «ярости», которая ускоряет отъезд Бальзака из Вены, а именно — неоплаченные счета. Хотя он в обход закона выдал в Вене вексель на своего издателя Верде, дорожная касса его в результате этого псевдокняжеского дебюта с каждым днем становится скуднее. 4 июня, в момент отъезда, он даже не может дать на чай прислуге и вынужден самым жалким образом занять дукат у госпожи Ганской. Неудержимо, в том же бешеном темпе, в котором он делает все, мчится Бальзак в Париж, куда и прибывает неделю спустя. Первый, подлинно захватывающий и страстный том любовной интриги, запланированной как «роман жизни», завершается, и, как очень часто в своих литературных занятиях, Бальзак прерывает этот труд на годы, чтобы тем временем обратиться к иным, более неотложным и более соблазнительным планам.



Книга четвертая

БЛЕСК И НИЩЕТА БЕЛЛЕТРИСТА БАЛЬЗАКА

XIV. КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ВОСЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ

В природе порой случается, что грозовые тучи, которые мчатся с разных сторон, столкнувшись, разряжаются с удесятеренной силой. Так и несчастья со всех сторон набрасываются на Бальзака, когда он в своем весьма дорогом экипаже, с ливрейным лакеем на запятках возвращается из Вены в Париж. Теперь ему приходится заботами расплачиваться за свою беззаботность. Для Бальзака всегда кончается катастрофой, когда он прерывает работу. Как на каторжника, распилившего свои оковы и пытавшегося бежать, на него в наказание за каждый месяц свободы налагается год неволи. Именно теперь открывается старая и уже было зарубцевавшаяся рана его жизни — его вновь терзает семья. Сестра, мадам Сюрвилль, больна. У ее мужа финансовые затруднения. А у матери разыгрались нервы, ибо любимый сын Анри, шалопай, которого с таким трудом отправили за океан, возвратился домой из Индии без гроша за душой да еще привез с собой жену, старше его на пятнадцать лет. Оноре, великий, всемогущий Оноре, должен непременно раздобыть брату должность и наконец вернуть матери деньги. Тот самый Оноре, у которого нет ни су в кармане и о котором газеты злорадно сообщают, что он исчез из Парижа, потому что никак не может уплатить свои долги.

Всегда, когда семейство осаждало его требованиями и

упреками, когда мать отравляла ему жизнь, Бальзак обращался к матери своего сердца, к мадам де Берни, чтобы обрести у нее утешение. Но на этот раз ему самому придется утешать. «Избранница» тяжело больна, сердечный ее недуг обострился из-за вечных тревожений. Один из ее сыновей скончался, одна из дочерей душевно больна. Беспомощная и обессилевшая, она ничем больше не может помочь любимому другу. Прежде, читая с Бальзаком корректуры его книг, она чувствовала себя на седьмом небе от счастья; теперь она вынуждена отказаться от этого занятия, ибо чтение слишком раздражает ее и без того расстроенные нервы, и ему, который не знает, как и чем себе помочь, следовало бы самому прийти на помощь отчаявшейся и погибающей. Но на этот раз положение Бальзака очень уж скверное. На этот раз над ним висят не только долги, неотработанные авансы, непоплаченные векселя — в этом для него нет ничего особенного, — но впервые после многих лет он не может выполнить в срок литературные обязательства.

Со времени первых успехов Бальзак, сознавая полноту своих творческих сил, приобрел опасную привычку получать деньги вперед от газет и издателей, обещая им закончить роман к определенному сроку. То, что он пишет, продано на корню еще прежде, чем написана первая строка. И в отчаянной погоне перо его должно поспевать за этими авансами. Тщетно друзья призывали его к осторожности, и преданнейшая из всех Зюльма Карро непрерывно заклинала его лучше отказаться от нескольких перочинных ножичков с золотой насечкой и от тростей, украшенных драгоценными камнями, чем губить себя такой спешкой. Однако Бальзак остается непоколебимо верен своей практике. Литературный кредит — единственный вид кредита, которым он пользуется, и ему доставляет особое наслаждение вынудить издателей покупать kota в мешке, расплачиваться чистоганом за роман, в котором еще ничего не готово, кроме заглавия. И, быть может, требуется именно насилие, хлыст, занесенный над головой, чтобы заставить его работать без отказа. Но теперь, погряз-

нув в долгах, Бальзак впервые оказывается в долгу перед самим собой. Чтобы обеспечить себе княжеский въезд в Вену, он перед отъездом нахватал авансов везде, где только можно. Он продал для нового издания не только свои старые бульварные романы, опубликованные под псевдонимом Сент-Обен, он продал в «Ревю де Дё монд» и вовсе не написанный роман «Воспоминания новобрачных». Кроме того, он должен сдать Бюлозу окончание «Серафиты», повести, которая не только давно оплачена, но которую должны были начать печатать уже три месяца назад. Но Бальзак и бровью не ведет! Окончание «Серафиты» потребует, по его расчетам, восьми дней (или скорее — восьми ночей), и он быстрехонько кропает его в Вене, в своем отеле «Под золотой грушей». «Воспоминания новобрачных» он рассчитывает написать за две недели. Когда он возвратится, он сможет, следовательно, тотчас же взять новый аванс под новый, еще не написанный роман.

Но впервые Бальзак подводит себя. В его календаре не предусмотрены праздники, а в Вене, к сожалению, их слишком много. Бальзак поддается искушению быть представленным австрийской и польской знати, он выезжает с Ганской на прогулки и болтает с ней по вечерам, вместо того чтобы проводить их за письменным столом. Окончание «Серафиты» не отослано, Бюлоз вынужден прервать публикацию, что, впрочем, не слишком огорчает подписчиков, ибо они не знают, как им быть с этим мистическим, неприятно-патетическим сочинением во вкусе Сведенборга. Куда хуже то, что Бальзак не написал ни строчки из другого романа — «Воспоминания новобрачных». Он утратил вкус к этой вещи, потому что во время поездки в Вену — путешествия всегда действуют на Бальзака вдохновляюще — соблазнился начать другой роман, «Лилия в долине». Он просит Бюлоза в погашение долга принять этот новый роман вместо обещанного и посылает ему еще из Вены начальные главы. Бюлоз соглашается на замену. Он печатает первый отрывок из «Лилии в долине». Но поскольку Бальзак не сдержал своего обещания и не сдал

завершающие главы «Серафиты» в срок, он, Бюлоз, считает себя вправе перестраховаться на иной лад. В Санкт-Петербурге выходит с недавнего времени «Ревю этранжер», журнал, который гордится тем, что преподносит русским читателям произведения новейшей французской литературы одновременно с Парижем или, если представляется возможность, еще раньше Парижа. Этот журнал заключил договор, согласно которому за известную мзду он публикует приложения Бюлоза к «Ревю де Дё монд» и «Ревю де Пари», причем Бюлоз перепродает Санкт-Петербургу свои корректурные листы.

Бальзак в эту пору — самый популярный французский писатель, единственный, кто пользуется таким спросом и так читается в России. Бюлоз ничтоже сумняшеся — Бальзак ведь задолжал ему и не решится с ним конфликтовать — продает в Россию корректурные листы «Лилии в долине». Но едва Бальзак, возвратившись в Париж, узнает об этом, как кидается на Бюлоза, словно раненый лев. Не столько материальная сторона дела удручает его. Нет, уязвлена совесть художника.

Бальзак послал Бюлозу рукопись романа. Бюлоз обязан был сдать ее в этом виде в набор, а не отправлять корректурные листы в Санкт-Петербург, где «Ревю этранжер» принял их без всякой дальнейшей авторской правки. Ведь, как мы уже отмечали, первая корректура для Бальзака — это лишь эскиз, подмалевка на загрунтованном холсте, с которого он, собственно, только и начинает работу. И, как всегда, он требует, чтобы «Ревю де Дё монд» держало четыре, пять, а возможно, и больше корректур, прежде чем он даст разрешение печатать. Можно себе представить гнев Бальзака, если неожиданно ему попадет на глаза номер петербургского «Ревю этранжер», где глава эта появится не в отшлифованном и окончательном виде, а в виде эскиза, в виде наброска, который автор вовсе и не собирался публиковать.

Бальзак никогда не показывал, даже ближайшим друзьям, первый набросок, со всеми свойственными ему слабостями и

техническими погрешностями. Теперь наглый вор похитил этот набросок и продал публике как художественное произведение. Бальзак совершенно справедливо считает, что Бюлоз воспользовался его отсутствием и обманул его. Он решает тотчас же прервать всякие отношения с издателем и возбудить дело против «Ревю де Дё монд».

Друзья и доброжелатели Бальзака встревожены. Бюлоз — великая сила в парижской журналистике, он объединяет под своей эгидой два крупнейших «Ревю». Бюлоз может понизить или повысить на литературной бирже курс любого автора. Четыре пятых писателей и журналистов Парижа находятся в прямой или косвенной зависимости от него, и он пользуется чрезвычайно большим влиянием в редакциях крупных ежедневных газет. Бюлозом запуганы все, и в случае открытого конфликта Бальзак, и без того не слишком обожаемый своими коллегами, не найдет друга, который решится свидетельствовать в его пользу или оказать ему помощь.

Бюлоз — так предостерегают друзья Бальзака — в состоянии сотнями способов повредить его престижу. Он может сделать его смешным, напустить на него газетных зубоскалов, он может застрашать его издателей и оказать давление на книгопродавцев. Итак, Бога ради, никакого процесса! — умоляют доброжелатели.

Если Бальзак формально даже выиграет дело, фактически он заранее обречен на гибель. Одиночка не может выступать против безымянной силы, против Бюлоза, связи которого чрезвычайно широки.

Но там, где дело касается творческой чести, Бальзак не знает сомнений.

На чужбине, в Вене, он особенно ясно ощутил свое значение. Он понял, что только ненависть и зависть его парижских коллег мешают тому, чтобы его считали тем, кто он есть. Бальзак сознает свою силу; он знает, что она непоколебима, что от поражений и оскорблений она только крепнет и становится неодолимей. Он никогда не отвечал на наскоки отдельных лиц, они оставляли его равнодушным, они слыш-

ком ничтожны. Но бросить вызов всей этой своре, всей парижской прессе, продажной, злобной и подлой, и в гордом своем одиночестве устоять перед ней, — о, какое это будет своеобразное наслаждение! Он отклоняет всякие попытки посредничества, он подает иск Бюлозу, и тот отвечает встречным иском за невыполнение обязательств.

Эта борьба, понятно, перебрасывается из зала суда в газеты и в литературу. Бюлоз пускает в ход все средства. В «Ревю де Пари» появляются статьи, в которых самым невероятным образом посрамляют Бальзака. Не пощадят и его частную жизнь. Писателя открыто обвиняют в том, что он незаконно присвоил себе дворянство. Раскрывается авторство и соавторство его невольничьих лет. Долги его разглашают публично. Его характер высмеивают.

А тем временем Бюлоз созывает литературное ополчение: одного писателя за другим вынуждает он выступить и разъяснить, что пересылка статей иностранным газетам является общепринятой практикой, что это делается без всякого особого вознаграждения. И так как «Ревю де Пари» и «Ревю де Дё монд» — кормушки литераторов, то отважное Бюлозово стадо, повинувшись хозяйскому бичу, покорно кивает головами в знак согласия.

Вместо того чтобы братски стать на сторону своего коллеги, вместо того чтобы как люди искусства защитить честь своего сословия, Александр Дюма, Эжен Сю, Леон Гозлан, Жюль Жанен и десяток других писателей, которые без всякого на то основания возомнили себя законодателями общественного мнения Парижа, решают выступить с декларацией против Бальзака.

Один только Виктор Гюго, благородный, как всегда, да еще Жорж Санд отказываются от позорной роли статистов.

На суде Бальзак одерживает, по сути дела, победу. Суд принимает решение, важное для всего литературного сословия. Оно гласит, что писатель не обязан возмещать убытки, если у него не было возможности завершить обещанную вещь и сдать ее в срок, и Бальзака принуждают лишь вернуть

Бюлозу полученные авансы. Это победа, но это пиррова победа.

В этой войне Бальзак потерял много недель на адвокатов, суды и полемику и, кроме того, натравил на себя всю свору парижских журналистов.

Даже могущественнейший борец лишь понапрасну растрачивает свои силы, если всегда и упорно сражается один против всех.

И все же: процесс, выигранный с точки зрения юридической, оказался и в моральном смысле поддержкой для Бальзака, ибо он обогатил его опыт. Бальзак понял, как правы были его герои, его Вотрены, его де Марсе, его Растиньяки, его Рюампре, когда неустанно утверждали: «Обрети силу, и люди будут уважать тебя». Обрести мощь, безразлично какую, благодаря деньгам, политическому влиянию, военному триумфу, благодаря террору, связям, женщинам, как бы то ни было, но обрести мощь. Не живи безоружным, не то ты погибнешь. Мало быть независимым — надо научиться делать других зависимыми от тебя. Только когда люди чувствуют, что вы знаете их уязвимые места, только когда они боятся вас, — только тогда вы становитесь их властелином и повелителем.

До сих пор Бальзак надеялся приобрести власть благодаря своей свите, своей читательской пастве. Но она рассеяна по всем странам света. Она не собрана, не организована в регулярную армию. Она не вселяет страха, а лишь вызывает зависть. Десятки и сотни тысяч преданных читателей ни о чем не подозревают. Они не могут стать рядом с ним, плечом к плечу, чтобы выступить против клики из сорока или пятидесяти писак и болтунов, которые фабрикуют общественное мнение Парижа и властвуют над Парижем. Поэтому самое время добиться независимости наиболее читаемому и, как он сам сознает, величайшему писателю Франции. И Бальзак решает укрепить свою позицию изданием газеты и отомстить таким образом этим обозревателям, этим оплотам общественного мнения, которые преградили ему путь, окопавшись за

своими денежными мешками, и высмеивают его. Бальзак решил наконец проучить их!

Кстати, в Париже с 1834 года прозябает жалкая газетенка «Кроник де Пари»; она выходит лишь дважды в неделю, и, собственно говоря, публика и не подозревает о ее существовании. Газетенка чернейшего легитимистского направления, но это — не смущает Бальзака. Лишенная финансовой базы, она, кряхтя и задыхаясь, едва влачится от номера к номеру, не возбуждает интереса и не привлекает к себе внимания, но все это нисколько не препятствие для Бальзака. Он убежден: газета, в которой сотрудничает Оноре де Бальзак, которой он доверяет свои творения, — такая газета оздоровилась заранее. И потом, какое удобное стремя, чтобы наконец выехать на политическую арену! Ибо вопреки всем провалам на политическом поприще Бальзак все еще мечтает стать депутатом, пэром Франции и министром, его все еще влечет зримая, чувственно осязаемая политическая власть со всеми ее бурями и бедами.

Пай «Кроник де Пари» почти ничего не стоит. Бальзаку удастся сколотить нечто вроде компании и обеспечить себе в ней большинство. Во всяком случае, он со свойственным ему оптимизмом берет на себя в этом весьма обременительном предприятии весьма тяжелое обязательство: нести все расходы по дальнейшему изданию газеты. Едва соглашение заключено, как Бальзак со всей энергией берется за дело. Вокруг него быстро возникает редакционный штаб из молодых талантов, но только один-единственный из них, Теофиль Готье, останется ему другом и окажется для него подлинным приобретением. В качестве секретарей Бальзак приглашает, как всегда больше доверяясь своему снобизму, чем своему критическому чутью, двух юных аристократов — маркиза де Беллуа и графа де Граммона.

Но сотрудники, редакторы и секретари имеют, собственно говоря, лишь второстепенное значение, раз делом руководит Бальзак, который благодаря невероятной своей работоспособности один стоит дюжины. Еще не успев охладеть, ибо новая

деятельность покамест его вдохновляет, Бальзак самолично делает всю газету: смесь, политические, литературные и полемические статьи и еще сверх того в качестве гарнира печатает здесь лучшие свои новеллы. Для первого номера, вышедшего в январе 1836 года, он за одну ночь пишет «Обедню безбожника» — этот шедевр новеллистического искусства. Далее следуют: «Дело об опеке», «Музей древностей», «Фачино Кане», «Ессе homo!», «Неведомые мученики». В любое время дня и ночи врывается он в редакцию, чтобы испытать, подстегнуть, поднять, наэлектризовать своих сотрудников. Подгоняемый жаждой могущества и, вероятно, мести, он пытается с помощью грандиозной рекламы одним прыжком обогнать все другие «ревью».

10, 14, 17, 22, 24, 27 января устраивает он у себя на Рю Кассини роскошные обеды, где вина льются рекой. На эти обеды он созывает ближайших сотрудников. И все это делается, несмотря на то, что он уже дважды пропустил срок взноса арендной платы и домовладелец вынужден через суд взыскать с него 473 франка 70 сантимов.

Но при бальзаковской способности обольщаться иллюзиями для него эти траты — только капиталовложения, которые должны дать сто и даже тысячу процентов. Любопытство, с которым Париж отнесся к его газете, совершенно опьяняет его, и спустя месяц после появления первого номера он несколько преждевременно трубит в фанфары победы.

«Кроник де Пари», — пишет он госпоже Ганской, — завладела всем моим временем. Я сплю только пять часов. Но если ваши дела и дела господина Ганского идут хорошо, то я могу сказать, что и мое предприятие развивается великолепно. Число наших подписчиков увеличивается совершенно фантастически, и принадлежащие мне паи в газете достигли за один месяц 19 тысяч франков».

Эти паи в «Кроник де Пари» — 19 тысяч франков, — бесспорно, существовали лишь на частной бирже его надежд и упований, в этом ненадежнейшем из всех учреждений.

В мечтах Бальзак уже видит себя властелином Парижа.

Скоро Бюлоз приползет к нему на коленях и выложит на стол 100 тысяч франков отступного за обещание покинуть «Кроник де Пари» и возвратиться к нему. Скоро все собратья по перу, которые пока еще высмеивают его и враждебно к нему относятся, будут униженно добиваться благосклонности влиятельной газеты. Министры и депутаты вынуждены будут сделать политику господина де Бальзака своей политикой. Но, к величайшему сожалению, все эти спешно прибывающие подписчики — лишь создания поэтического воображения Бальзака, и кассовые отчеты сообщают куда более скромные цифры. Другие пайщики — менее гениальные, но куда более пронизательные, чем Бальзак, — потихоньку сбывают свои пай, и Бальзак вынужден в конце концов продать свой пай лишь за часть исходной цены. Едва только он почуял, что дело не идет, бывшее воодушевление тотчас же оставляет его. Редакция нагоняет на него скуку, все реже показывается он сотрудникам и коллегам, все скуднее становится его участие в деле; и в том же самом году предприятие Бальзака, как и все его предприятия в реальной сфере, оканчивается полнейшим провалом и увеличением долгового бремени. Как ни парадоксально, или, вернее, как само собой разумеется, шесть или восемь месяцев сумасшедших усилий принесли Бальзаку не увеличение состояния, не погашение старых долгов, а 40 тысяч франков новых.

Кругосветное путешествие, месяцы, отданные безделью и наслаждениям, были бы лучшим использованием денег, чем эта новая, но отнюдь не последняя из его сделок. Всегда, когда Бальзак выходит за пределы собственной сферы, ему отказывает гений и ясный рассудок. Антей на собственной земле, он превращается в посмешище пигмеев, лишь только вторгается в чужие пределы. Уже через несколько месяцев он, только что утверждавший: «В 1836 году я разбогатею», — вынужден признаться: «В 1836 я ушел не дальше, чем в 1829».

Процесс против Бюлоза, провал «Кроник де Пари» — все это еще только цветочки коллекции этого злосчастного года,

когда почти каждый день приносит с собой новую неприятность. Схватка следует за схваткой, и в конце концов Бальзак вступает в борьбу со всеми своими издателями. «Превосходная мадам Беше» внезапно превращается в «пресловутую мадам Беше», которая неумолимо требует недоданные тома, как только бывший ее служащий, господин Верде, открывает собственное дело и уводит от нее Бальзака. У Верде, в свою очередь, не хватает денег, чтобы финансировать Бальзака, который в Вене легкомысленно выдал на него вексель.

Чтобы хоть немного передохнуть, Бальзак пробует за свой счет напечатать новое издание «Озорных рассказов». Ему следовало бы, как обжегшемуся ребенку, бояться огня и, как обанкротившемуся издателю, держаться на почтительном расстоянии от подобных предприятий. Но он приобретает бумагу в кредит и в кредит же печатает новое издание «Озорных рассказов». Уже готовы, но еще не сброшюрованы листы, как вдруг на типографском складе вспыхивает пожар, и три с половиной тысячи франков, которые ему именно теперь нужнее, чем когда-либо прежде, превращаются в дым в буквальном смысле этого слова.

Бальзак не знает, куда укрыться от кредиторов. Он забаррикадировал двери своей квартиры на Рю Кассини и перевез ночью самое ценное из мебели и книг в новую квартиру на Рю де Батай, которую он снял на имя некой вдовы Дюран. Так же, как и на Рю Кассини, там имеется потайная лестница, по которой он может скрыться, если судебному исполнителю или какому-либо докучливому посетителю удастся прорваться к нему. Но пробиться к дверям «вдовы Дюран» — тоже своего рода фокус. Охваченный ребячливо-актерской страстью придавать романтически-легендарный характер всему окружающему, Бальзак изобретает собственную систему постоянно меняющихся паролей. Только произнеся некое «Сезам, отворись!», можно надеяться преодолеть тройное ограждение. Если хочешь в соответствующий день проникнуть к таинственной вдове Дюран, так рассказывает позже его друг Готье, нужно сказать привратнику: «На-

чали созревать сливы». Лишь после этого цербер пускает посетителя на порог. Но это только первый шаг. В конце лестницы ожидает надежнейший слуга Бальзака, и ему нужно шепнуть петушиное слово номер два: «Я принес бельгийские кружева». И только для того, кто сможет у самых дверей произнести третий пароль: «Госпожа Бертран в добром здравье», — вдова Дюран окажется улыбающимся Оноре де Бальзаком.

Все удивительные трюки, о которых Бальзак повествует в своих романах: векселя, переписанные на второе и третье лица, уловки, чтобы добиться отсрочки по суду и, сделавшись недостижимым для почты, избежать вызова в суд, сотни хитростей, с помощью которых удастся не допустить к себе кредиторов, хитростей, которые его Лапальферен возвел в степень подлинного искусства, — все эти способы проверены самим Бальзаком, и его дотошное знание законов, его изобретательная ловкость и отчаянная смелость с каждым днем одерживают новые победы. У издателей, у ростовщиков, у банкиров — всюду обращаются его векселя. Нет ни одного судебного исполнителя в Париже, которому не было бы поручено описать имущество господина Оноре де Бальзака. Но ни одному не удастся встретиться с ним лицом к лицу, а тем паче добиться от него денег.

Однако из гордости и, вероятно, из озорства Бальзак раздражил всех своих преследователей и, открыто фрондируя против закона, натравил на себя еще новые власти. Согласно только что опубликованному указу, каждый гражданин обязан определенное время прослужить в национальной гвардии. Бальзак не признает этой повинности. Для него, непоколебимого легитимиста, король-буржуа Луи-Филипп — узурпатор, который не вправе отдавать ему приказы. Кроме того, Бальзаку жаль своего хорошо оплачиваемого времени, и он справедливо считает, что не пристало ему торчать под ружьем в военном мундире на каком-нибудь углу, в то время как типографии, газеты, издатели всего мира ждут его книг. Вероятно, можно мирно договориться и изыскать путь, чтобы

освободить столь почтенного и прославленного литератора, как Бальзак, от этой обязанности, но Бальзак не желает никаких компромиссов. Он вообще не отвечает на повестку. Трижды приглашают его к исполнению его гражданских обязанностей, и, поскольку он не дает себе труда обратить внимание на эти приглашения, дисциплинарная комиссия национальной гвардии приговаривает его к восьми дням тюремного заключения. Бальзак раздражается своим добрым раблезианским смехом — да так, что колышется его брюхо! Этакая наглость! Муштровать его, Бальзака! Посадить в кутузку маршала европейской литературы за то, что он не хочет дефилировать с их самопалом! Что же, хорошо, пускай попробуют! Его забавляет мысль поиграть в кошки-мышки с полицией, которая получила предписание арестовать упорно уклоняющегося от службы гражданина. Пусть только попробуют его арестовать! Сперва надо еще его найти! Болваны в галунах увидят, что у них мозгов не хватит, чтобы его сцапать.

На много недель Бальзак становится незримым для своих преследователей. Напрасно врываются в любой час дня посланцы власть предержащих в квартиру на Рю Кассини. Всегда оказывается, что господин Бальзак отправился путешествовать, причем неизвестно, где он остановится, — тот самый господин де Бальзак, который с утра собирает авансы у своих издателей, а вечером неизменно появляется в Итальянской опере. Какое удовольствие услышать от верного слуги, как часто в его отсутствие являлись усатые стражи закона, а еще приятнее, укрывшись за потайной дверью, слушать, как эти остолопы со зверской серьезностью наводят справки о неуловимом! Эти подробности придадут блеск и огонь его очередному роману. И поистине они вдохновляют его, когда он описывает борьбу Вотрена и Паккара с Корантенем, Пейрадом и прочими полицейскими ищейками.

Но в одно прекрасное утро, 27 апреля, король Луи-Филипп одержал победу: комиссар полиции с двумя филерами, которые часами, переминаясь с ноги на ногу, топтались под

окнами Бальзака, врываются вслед за писателем в квартиру на Рю Кассини, и спустя полчаса знаменитая зеленая карета увозит его в полицейскую тюрьму «Отель де Базенкур», которую народная молва окрестила «Отелем на бобах». Бальзак вынужден полностью отсидеть свой срок, и это одно свидетельствует, сколь мал был его общественный вес в любезном отечестве. Тот самый человек, знакомства с которым добивается вся иностранная знать, человек, который принят во всех посольствах, тот самый Бальзак, которого Меттерних, владика европейской дипломатии, приглашает к себе в дом, должен с 27 апреля по 4 мая отсидеть в полицейской тюрьме — без малейших поблажек.

Он и сидит в громадном зале среди орды кричащих и режущихся в карты, среди гогочущих грешников из простонародья. В большинстве это рабочие, которые не желают пожертвовать двумя рабочими днями ради гражданской гвардии: ведь это сократит их заработок и обречет на голод жен и детей. Единственное, чего удастся добиться Бальзаку, — это стола и стула; и ему делается безразлично окружающее. С той же энергией, что и в уединении своей монашеской кельи, погружается он в ад своих корректур. Настроение его несколько не омрачено, об этом свидетельствует веселое описание событий в письме к госпоже Ганской. Да, его посадили под замок, но это ничуть не уязвляет его чувство чести, наоборот, оживляет его галльский юмор. Ему даже приятно сознавать, что на восемь дней он надежно защищен самим государством от кредиторов и судебных исполнителей. Всю жизнь галерный каторжник работы, вечный должник и преследуемый, он привык к тюрьме худшей, чем «Отель на бобах». Выйти на свободу означает для него необходимость снова бороться, бороться ежедневно и еженощно.

Полгода выдерживает Бальзак эти сокрушительные удары. Лишь иногда у него вырывается стон: «Я буквально околеваю. Я повесил голову, как понурая кляча».

Впервые его железный организм получает предостерегающий сигнал. У Бальзака приступ головокружения. Предан-

ный врач настоятельно советует писателю щадить себя. Ему следует на два-три месяца отправиться в деревню и отдохнуть. Бальзак повинуется доброму совету, но лишь отчасти. Он отправляется в родную Турень к своему другу Маргонну, в старое убежище; но не для того, чтобы, как приказал ему доктор Наккар, отдохнуть, а, напротив, чтобы работать так ожесточенно, так сосредоточенно, так фанатично, как даже ему редко еще приходилось работать.

Вновь и вновь убеждается Бальзак, что не спекуляции, не финансовые сделки и не женитьба на богатой могут спасти его из отчаянного положения, а лишь единственное и истинное его призвание — искусство, для которого он рожден и которому обречен на верность. Для художника есть целебное средство, которого врач не в силах прописать другим своим пациентам. Он может, только он один, преодолеть заботы и тяготы, описывая их. Он может претворить свой горький опыт в потрясающие образы и все, что было жестокой жизненной необходимостью, преобразовать в творческую свободу. Бальзак прибывает к Маргонну, гонимый именно такой жестокой необходимостью. Вдова Беше, выйдя вторично замуж, повинуется немилосердно деловитому супругу: она добилась судебного решения, согласно которому Бальзак в течение двадцати четырех часов должен сдать ей два еще недостающих тома «Этюдов нравов» ин-октаво и уплатить по пятьдесят франков пени за каждый просроченный день. Он собирается «за двадцать дней накропать для этой бабы ее тома», чтобы они не висели у него на шее. И если в дело вступает воля Бальзака, чудо всегда совершается. Он полагает, что должен сделать две вещи:

«Я обязан выполнить мой последний договор и притом написать хорошую книгу».

Ему удается и то и другое. Никогда Бальзак не творит лучше, чем под влиянием необходимости. В течение недели он придумывает сюжет «Утраченных иллюзий» и пишет всю первую часть.

«Все мои силы были напряжены, я писал по пятнадцать

часов в сутки. Я вставал вместе с солнцем и работал до обеда, не беря в рот ничего, кроме черного кофе».

Именно эта книга, написанная в страшной спешке, становится его центральным произведением. Кажется, будто Бальзак неумолимым бичом выгнал наружу все, что пряталось в его сердце, выстроил перед собой свои самые сокровенные желания, самые потаенные опасения и подверг их исследованию.

«Утраченные иллюзии» — картина эпохи, исполненная такого реализма и такой жизненной широты, каких французская литература доселе еще не знала. И наряду с этим — это самый глубокий и беспощадный анализ собственной личности. Ведь создав два образа в этой книге, Бальзак показал, чем становится и чем может стать писатель, если он строг к себе и верен себе и своему творчеству, и, наоборот, что станет с ним, если он поддастся соблазну мгновенной и незаслуженной славы. Люсьен де Рюампре — воплощение всего опасного для Бальзака, Даниэль д'Артез — сокровенный его идеал. Бальзак понимает двойственность своей натуры. Он знает, что в нем скрыт поэт, исполненный творческой совести, дух, который стремится к высокому, не идет ни на какие соглашения, отвергает любой компромисс и остается совершенно одинок среди окружающего общества. И в то же время Бальзак распознает в себе и вторую свою натуру: человека, любящего наслаждения, расточителя, раба денег, который вновь и вновь поддается мелкому тщеславию и безоружен против всех соблазнов роскоши.

И вот, чтобы закалить себя, чтобы собственными глазами увидеть опасность, грозящую писателю, предающему свое искусство ради мимолетного успеха, Бальзак в назидание себе рисует такого литератора, который не сумел проявить стойкость и, раз поддавшись искушению, уже не знает удержу. Его Люсьен де Рюампре — фамилия его, собственно, Шардон, и, так же как Бальзак, он сам произвел себя в дворяне — юный идеалист с тетрадью стихотворений (бальзаковский «Кромвель») — приезжает в Париж в надежде

добиться успеха благодаря своему таланту. Счастливый случай приводит его в кружок юношей. Это бедные студенты, начинающие свой путь в мансардах Латинского квартала, готовые идти на жертвы ради своей миссии. Они и есть будущая элита Франции. Это друзья Луи Ламбера: д'Артез — их поэт, Бьяншон — врач, Мишель Кретъен — философ. Все они пренебрегают мимолетным успехом во имя грядущих деяний, которые поклялись совершить. Благодаря Даниэлю д'Артезу — в его сильном характере и гордом терпении Бальзак представил свое лучшее «я» — Люсьена де Рюампре принимают в круг честных и чистых молодых людей. Но, вместо того чтобы остаться верным духовному аристократизму своих новых друзей, Люсьен клюет на дешевую приманку. Он соблазняется возможностью блистать среди родовитой знати Сен-Жерменского предместья. Люсьен жаждет быстрого успеха, он алчет денег, восторгов, любви женщин, политического могущества, и, так как за стихи такой монетой не платят, он продается журналистике.

Люсьен, как некогда Бальзак, продает свой талант ради легких, эфемерных, второпях написанных однодневок. Он становится своим среди фабрикантов изящной словесности, он оказывается на побегушках у общественного мнения, он превращается в сутенера и газетную содержанку. Он один из бесчисленных пузырей на литературном болоте, и хотя благодаря своим мимолетным успехам вырастает в глазах общественного мнения, в действительности все глубже и глубже погружается в трясину. Вобрав весь опыт, который ему дали годы рабского труда в газете, впитав всю горечь, которую он познал, преследуемый ненавистью журналистской клики, Бальзак вскрывает механизм общественного мнения, парижского театра, парижской литературы — весь тот внутренне шаткий мир, в котором люди взаимно поддерживают друг друга и в то же время тайно и вероломно враждуют один с другим.

«Утраченные иллюзии», задуманные лишь как фрагмент, в котором показан Париж и узкий круг людей того времени,

становятся всеобъемлющей картиной, годной для всех времен. Это книга, полная гордости и возмущения, книга-предостережение. Она зовет не оплошиться из нетерпения и алчности, но оставаться сильным и становиться все сильнее вопреки любому сопротивлению. Всегда, когда тучи собираются над головой Бальзака, он в самом себе обретает подлинное мужество и в момент величайших жизненных катастроф создает свои наиболее искренние и грандиозные творения.

XV. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ

Этот катастрофический год описан Бальзаком в посланиях к госпоже Ганской, описан с почти патетическим увлечением, с восторгом самобичевания. Процессы, иски, опись имущества, банкротства, нескончаемые тяготы, часы, проведенные в тюрьме, и неисчислимы часы, проведенные в темнице творчества!

И все же невозможно отделаться от подозрения, что именно обилие подробностей, с которыми он составляет для далекой приятельницы еженедельный бюллетень своих огорчений и неудач, рассчитано на то, чтобы скрыть от глаз ее нечто другое, и при этом весьма существенное. Ведь удивительно характерно для чудовищной, единственной в своем роде жизнестойкости Бальзака, что именно в этом году, когда он и впрямь прошел огонь и воду и медные трубы и, вертясь в каждодневной суতোлке, умудрился создать пять подлинных шедевров, он находит еще время, чтобы жить частной, интимной жизнью, и притом жизнью, исполненной самых неожиданных приключений.

Нет ничего обманчивей, чем автобиографические описания Бальзака. Если брать их на веру, то Бальзак предстанет перед нами как вечный поденщик, который в редкие часы свободы, обессиленный, уходит в себя. А в действительности в недолгие промежутки, которые оставляют ему труды и заботы, он наслаждается жизнью, наслаждается беспечно и

безудержно, как и полагается такому расточителю и фантазеру. Нельзя постичь Бальзака-человека, не зная его глубочайшей тайны: он поразительно уверен в себе, несмотря на все житейские передрыги, и поразительно равнодушен ко всему, что принято называть судьбой или ударами судьбы. Нечто в нем — быть может, именно интимнейшая, сокровенная суть его души — с полным безучастием относится к бесконечным повседневному катастрофам и взирает на все эти бури с таким же напряженным и вместе с тем безучастным любопытством, с каким, стоя на незыблемом берегу, мы взираем на разгневанно бушующее море. Твердая уверенность в том, что не позже чем завтра судебные исполнители будут ломиться в его квартиру, чтобы взыскать несколько сот франков долга, не мешает Бальзаку на те же самые несколько сот франков, которые с него так настоятельно требуют и которых, кстати, у него в наличности вовсе нет, приобрести у ювелира совершенно ненужную безделушку.

В том самом 1836 году, когда сумма его долгов доходит до ста сорока тысяч франков и ему буквально приходится занимать на обед у своего лейб-портного или лейб-медика, неотомимый расточитель заказывает вдобавок к знаменитой «трости господина Бальзака», к этой увесистой палице, из которой мадам де Жирарден смастерила целый роман, еще одну трость с набалдашником из носорожьей кости за шестьсот франков. А заодно уж он покупает золотой перочинный ножик за сто девяносто франков, кошелечек за сто десять франков, цепочку за четыреста двадцать франков — словом, приобретает целый набор таких предметов, которые скорее приличествуют кокошке, только что выпотрошившей заезжего набоба, чем «бедному мужику», «подневольному труженику» и «завзятому аскету».

Таинственная сила сопротивления, живущая в Бальзаке, требует постоянной компенсации. Чем больше он задолжал, тем необходимее ему иллюзия роскоши, и он создает ее, окружая себя дорогими безделушками. Чем тяжелее давят на него обстоятельства, тем выше поднимается в нем (совсем

как ртуть в барометре!) радость жизни. Чем туже привязан он к бремени долгов, как лошадь к мельничному жернову, тем сильнее хочется ему вкушать радость существования. Без этой антитезы жизнь его лишилась бы смысла.

Благодаря этой антитезе она становится грандиозной. Вечное проявление вулканически обремененной стихии, лишь во взрывах и извержениях дающей волю своим страстям!

1836 год, пора его тягчайших кризисов, пора жарчайшего солнца и необузданнейших гроз, особо урожайный год роскоши и чувственности в жизненном вертограде Бальзака.

Мы более всего дивимся его безумно смелой, попирающей всякое правдоподобие страсти мистифицировать и увертываться от фактов, когда сравниваем его собственноручное жизнеописание, как оно представлено в письмах к Ганской, с его подлинной биографией. Так, например, он сообщает своей «супруге по любви» в (благодарение Господу!) чрезвычайно отдаленную Верховню, что он, дескать, собираясь вновь уйти в глубочайшее одиночество, кроме квартиры на улице Кассини, снял еще некую «мансарду», где он, недостижимый даже для ближайших друзей, проводит дни и ночи в полном уединении, дряхлый, усталый, седовласый анахорет! «Эта келья не доступна никому, даже моим родным», — пишет он недостижимой возлюбленной.

В действительности же эта мансарда, эта келья, которую Бальзак якобы из сострадания снял у своего друга Жюля Сандо, оказывается роскошной квартирой, ради украшения которой отшельник не жалеет затрат. Хотя на улице Кассини имелось вполне достаточно мебели для четырех комнат, все заново заказывается теперь на бульваре Капуцинов у дорогого обойщика Моро. Даже Огюст, преданный слуга, получает новую ливрею, лазоревую, с алым жилетом, за которую Бальзак уплачивает или, вернее, остается должен триста шестьдесят восемь франков. Венцом этой удивительной монастырской кельи является будуар, достойный скорее «Дамы с камелиями», чем прославленного писателя. Но

именно нагромождение драгоценных вещей, изысканная чувственность красок особенно вдохновляют Бальзака, и, кстати, в «Златоокой девушке» он дает очень точное описание этого пристанища сибаритов: «Будуар состоял как бы из двух половин: одна имела форму мягкого овала, другая — правильного квадрата. Посредине одной из стен сверкал беломраморный золоченый камин. Вход в эту комнату вел через боковую дверь, скрытую дорогой ковровой портьерой, находившейся прямо против окна. В подковообразной нише стоял настоящий турецкий диван, проще говоря, матрац, положенный прямо на пол, матрац широкий, как кровать. Этот диван — пятьдесят футов в квадрате — был обтянут белым кашемиром и украшен черными и пунцовыми шелковыми кистями, расположенными ромбами. Спинка этого гигантского ложа несколько возвышалась над грудой подушек, расшитых богатым узором, которые придавали ему еще более роскошный вид.

Стены будуара были обиты красной тканью, с которой складками, напомилавшими каннелюры коринфской колонны, ниспадал индийский муслин. Под потолком и над полом поверх этого муслина шла пунцовая кайма с черными арабесками. Смягченный муслином красный цвет стен казался розовым, и этот цвет любви повторялся и на оконных занавесах из индийского шелка, подбитых розовой тафтой и отделанных пунцовой и черной шелковой бахромой. Шесть пурпурных двусвечных бра, через равные промежутки укрепленные в стене, освещали диван. Потолок, с которого свешивалась пурпурная люстра, украшенная матовой позолотой, сверкал белизной, оттененной золоченым карнизом. Ковер напоминал восточную шаль. Являя взорам тот же рисунок, что и на диване, он вызывал в памяти поэзию Персии, где его выткали руки рабынь. Вся мебель была обита белым кашемиром с черной и пунцовой отделкой. Часы, канделябры — все было из белого мрамора и сверкало позолотой. Единственный стол, стоявший в этой комнате, покрыт был тоже белой кашемировой скатертью. В изящных жардиньер-

как* цвели розы самых разных сортов и множество других цветов — белых и красных».

Все это живо напоминает нам вкусы Рихарда Вагнера — великого композитора и великого обойщика в душе, которого только среди этакой пышной груды шелков и кашемира осеяло истинное вдохновение. Но Бальзаку это убранство необходимо вовсе не для того, чтобы вызвать поэтическое вдохновение — оно к его услугам за любым некрашеным столом, — нет, оно нужно ему для значительно более реальных надобностей. Когда он горделиво демонстрирует своему другу Фонтанне эту роскошь, это «знаменитое белое канапе», у него, обычно столь скрытного, внезапно вырывается полусерьезное признание:

«Я приказал соорудить все это, ибо должен был принять даму из высшего общества. Настоящую даму! Для нее мне нужна была красивая мебель, ведь она к ней привыкла. И могу засвидетельствовать, что, пользуясь этим канапе, она отнюдь не проявила неудовольствия!»

Но даже если бы дотошный Фонтанне не занес тотчас же это признание в свой дневник, мы могли бы просто по виду нового жилья разобраться, в чем тут, собственно говоря, дело. Всегда, когда Бальзак наряжается во все новое и пытается превратиться в щеголя, — это верный признак того, что он влюблен. Всегда, когда он меблирует новое сладострастное убежище, — это значит, что он ожидает возлюбленную. Его радости и его печали всегда выражаются в крупных счетах.

Так, в свое время он купил экипаж и нанял грума — это происходило именно тогда, когда он добивался благосклонности герцогини де Кастри; для нее же было куплено его первое канапе. Для госпожи Берни была меблирована и украшена спальня на Рю де Маре. Для госпожи Ганской он выписал себе в Женеву еще дюжину перчаток и помаду, а собираясь отправиться в Вену, приобрел собственную коля-

* Жардиньерка — корзина, этажерка, ящик для цветов. — *Примеч. ред.*

ску. Итак, перед нами новый парадокс, вдобавок ко всем прочим. В том самом году, когда Бальзак дал обет вечной верности своей «супруге по любви», он влюблен в другую женщину, влюблен сильнее, чем когда-либо прежде. В том самом году, когда во всех своих письмах он расписывает муки своего целомудрия, он вступил в иные, страстные, бурные отношения. Волшебно-гиперболизированные любовные послания к «Единственной» — послания, которые целое поколение читало, затаив дыхание, написаны до и после интимных встреч с другой.

С этой новой возлюбленной, которая играет в жизни Бальзака громадную, хотя и тщательно завуалированную и затушеванную роль, Бальзак, как это ни парадоксально, свел знакомство благодаря косвенному участию госпожи Ганской. Покидая Женеву, госпожа Ганская вручила своему возлюбленному и предполагаемому супругу рекомендательное письмо к графине Аппоньи, супруге австрийского посла в Париже. И Бальзак, который при свойственной ему аристократомании, несмотря на всю свою занятость, всегда находит время для общения с принцессами, княгинями и графинями, тотчас наносит визит в посольство.

Здесь в 1835 году, на одном из великосветских вечеров, он замечает женщину примерно лет тридцати, высокую полную блондинку исключительной красоты, непринужденную и явно чувственную. Дама без всякого жеманства позволяет любоваться своими обнаженными плечами, восхищаться собой и ухаживать за собой. Но не только красота этой женщины очаровывает Бальзака. В своих влечениях он тоже остается вечным плебеем. Его всегда занимает социальное положение. Аристократическая фамилия женщины значит для него гораздо больше, чем ее личность. И достаточно ему услышать, что эта новая «Чужестранка» не кто-нибудь, а графиня Гвидобони-Висконти, чтобы вспылать! Висконти были герцогами Миланскими. Гвидобони — одно из знатнейших аристократических семейств Италии. Следовательно, родословное древо этих властителей эпохи Возрождения за-

тмеваает даже генеалогию Ржевусских. Движимый непреоборимой силой и мгновенно забывая все присяги и клятвы в вечной верности, Бальзак приближается к родовой красавице.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении выясняется, что эта прекрасная чужестранка вовсе не урожденная графиня и не итальянка. В девичестве ее звали Сара Лоуэлл, и она появилась на свет в Эол Парке, близ Лондона, в 1804 году. Происходит она из чрезвычайно странного, терзаемого сплинном британского семейства, в которой самоубийства и необыкновенные страсти приняли чуть ли не эпидемический характер. Ее мать, тоже прославленная красавица, ощутив приближение старости, наложила на себя руки. Так же завершает свой жизненный путь и один из ее братьев. Другой брат попросту спивается, младшая сестра страдает религиозным помешательством. Но прекрасная графиня, единственная нормальная в этом экзальтированном семействе, ограничивает свою страсть царством Эрота. Внешне холодная англичанка, светловолосая и невозмутимая, она без особых угрызений совести, но, впрочем, и без чрезмерного пафоса пускается в любое похождение, которое кажется ей соблазнительным. При этом она склонна, очевидно, упускать из виду, что в лице графа Эмилио Гвидобони-Висконти обладает законным супругом. Но тихий, скромный муженек-оригинал, с которым она обвенчалась во время какого-то путешествия, нисколько не докучает ей своей ревностью.

Впрочем, своеобразные увлечения графа Эмилио Гвидобони-Висконти, к счастью, никогда не сталкиваются с несколькими скандальными страстями его прелестной жены. Чудак, достойный того, чтобы новый Э.Т.А. Гофман увековечил его в своих новеллах, он знает лишь одну подлинную возлюбленную, одну всепоглощающую страсть — музыку. Быть может, это и не к лицу позднему потомку великих кондотьеров, но почтенного графа хлебом не корми, только дай ему посидеть в каком-нибудь плохоньком театральном оркестрике среди других музыкантов, бедных, нищенски оплачиваемых, и дай

ему вволю попиликовать на скрипке. У четы Гвидобони-Висконти, кроме их парижского и венского дворцов, есть еще дворец в Версале, и здесь граф Эмилио проводит за пультом все свои вечера. В какой бы город он ни прибыл, этот идеальный дилетант просит, как величайшей милости, дозволения попиликовать вместе с другими оркестрантами. Но это вечером, а днем он развлекается тем, что играет роль аптекаря. Ребячески подражая средневековым алхимикам, он вдохновенно смешивает всевозможные зелья, наполняет ими бесчисленные склянки и наклеивает на все эти бутылочки и флакончики преаккуратненькие этикетки и сигнатурки. Светские обязанности кажутся ему нестерпимым бременем; лишь в тиши чувствует он себя хорошо. Словом, он отнюдь не преграждает дорогу возлюбленным своей красавицы супруги, напротив, к каждому из них он относится весьма учтиво и благожелательно, ибо, если бы не они, разве мог бы он беспрепятственно предаваться своей любимой музыке?

Бальзак, который после господина де Берни и господина Ганского в третий раз имеет счастье встретить человека, полурыцарственно, полуравнодушно предоставляющего своей супруге принимать восторги знаменитого писателя, — Бальзак идет к вожаденной цели со всей свойственной ему поспешностью и нетерпением. Вскоре его свободные часы принадлежат исключительно семейству Гвидобони-Висконти. Он посещает эту милую чету в Нейи, он выезжает к ним в Версаль, он разделяет с ними ложу в Итальянской опере, а в апреле 1835 года (когда не прошло еще и трех месяцев после его возвращения из Женевы) он сообщает, само собой разумеется, не своей верховной исповеднице госпоже Ганской, а скромной и достойной всяческого доверия Зюльме Карро:

«Уже несколько дней, как я поддался чарам совершенно восхитительной женщины. Я даже не знаю, как мне обороняться от них. Подобно бедным юным девушкам, я не нахожу в себе сил, чтобы отречься от того, что мне нравится».

Но графиня все еще колеблется, она еще не склонна поддаться натиску Бальзака. Правда, только что она дала отставку своему прежнему возлюбленному, графу Козловскому, чьими молитвами подарила первенца своему меломану супругу, но она еще не решила, не лучше ли ей сделать преемником князя вовсе не Бальзака, а графа Лионеля де Бонваль, одного из роскошных львов парижского света. Что же касается Бальзака, то он тоже не вправе всей душой предаться своему новому сумасбродству, ибо, хочешь не хочешь, романы нужно написать, победу над кредиторами нужно одержать, а кроме того, он не хочет терять другую свою возможность.

Госпожа Ганская благодаря посредничеству русских и польских друзей — Козловских, Киселевых и прочих добротов-осведомителей — провела о внезапном приступе меломании у доселе довольно равнодушного к музыке Бальзака. Она знает, что великий писатель променял не внушающую опасений ложу Олимпии Пелисье, возлюбленной Россини, на ложу Висконти, и, поскольку она преисполнена решимости играть в глазах потомков роль примадонны в жизни Бальзака, она обвиняет его в нечестности и в обмане. По-видимому, в самый миг их необыкновенной помолвки за спиной еще вполне живого и решительно ничего не подозревающего мужа она потребовала от Бальзака неукоснительной верности.

Правда, она милостиво разрешает ему пользоваться услугами «девочек, ну всяких там девочек» — словом, обещает смотреть сквозь пальцы на его приключения, но, конечно, только если они будут совершенно незначительными и не будут компрометировать ее в глазах света. Она достаточно хорошо знает Бальзака, чтобы представить себе, как он пишет некой графине Гвидобони-Висконти столь же страстные, столь же пышные, столь же гиперболические письма, как и ей, госпоже Ганской. А ведь она считает, что принесла жертву, которая обеспечивает ей монополию! В конце концов, Бальзаку не остается никакой другой возможности успокоить

ее — нельзя ведь так, за здорово живешь, отказаться от будущей вдовы-миллионерши! — кроме как предпринять фантастическую поездку в Вену, поездку, влетевшую ему в копейчку. И все лишь затем, чтобы заверить госпожу Ганскую в том, что она одна самодержавная владычица его сердца. Затем наступает лето, и Бальзак проводит его в Саше, отработывает свои авансы.

В августе 1835 года снова начинается бег взапуски с Лионелем де Бонваль за благосклонность прекрасной англичанки. Бальзак одерживает победу, становится возлюбленным графини Висконти и, по всей вероятности (если только можно верить подозрительно хорошо информированному анониму, накропавшему книгу «Разоблаченный Бальзак»), отцом того Лионеля Ришара Гвидобони-Висконти, который появился на свет 29 мая 1836 года, — один из трех незаконных младенцев, не унаследовавших ни имени, ни гения своего отца.

Графиню Гвидобони-Висконти, которая целых пять лет была возлюбленной Бальзака, всегда готовой на жертвы подругой и неутомимой помощницей в самые трудные минуты, графиню Гвидобони-Висконти во всех жизнеописаниях Бальзака несправедливо оттесняют на второй план. Впрочем, это случилось по собственной ее вине. В жизни часто решающее значение имеет вовсе не то, как кто действовал и поступал, а только то, как он сумел представить свои действия. Графиня Висконти никогда не искала посмертной литературной славы, и поэтому ее образ затенен несравненно более тщеславной, целеустремленной и энергичной госпожой Ганской, которая с первых своих шагов добивалась роли «бессмертной возлюбленной» великого романиста.

Бальзак не был бы самим собой, если бы, охваченный страстью, не писал восторженных и полных обожания посланий также и графине Висконти. Но она не нумеровала их и не хранила в шкатулке, чтобы напечатать в будущем. Может быть, тому причиной была лень? А может быть, самовластная гордячка не желала, чтобы их интимные отношения

стали сюжетом для сплетен и фельетонов после того, как они оба умрут? Как бы то ни было, она сразу же отказалась от посмертной литературной известности, зато она всем сердцем, открыто и беззаботно отдалась живому Бальзаку.

Впрочем, тем самым она избавила себя от всего, что нас так коробит и так удручает при ближайшем рассмотрении отношения госпожи Ганской к Бальзаку. Даже в разгар этой якобы великой страсти неглупая и тщеславная аристократка непрестанно заботилась о своем положении в свете и о своем месте в истории изящной словесности. В течение целых двадцати лет госпожа Ганская всегда боялась, как бы ее не скомпрометировал Бальзак или как бы она не скомпрометировала себя ради Бальзака. Разумеется, ей хочется сохранить его расположение, удержать свое почетное место в его жизни, но только так, чтобы самой не давать ему тепла. Ей нужен Бальзак, возлюбленный, трубадур, но втайне, втайне, чтобы знатная родня, упаси Боже, не проведала ни о чем. Она жаждет его писем, его рукописей, но только, ради всего святого, никакого шума, никакого скандала. Тайком прокрадывается она к нему в отель, а в обществе холодно порицает экстравагантность этого странного господина де Бальзака. Она разыгрывает перед господином Ганским роль верной супруги и в то же время, предвосхищая свое вдовство, обещает себя Бальзаку, только бы удержать его возле себя, сделать из него своего вернейшего чичисбея.

Она не решается расстаться со своим супругом и его миллионами. Она не рискует ни граном своей безупречной репутации. И даже когда наконец обретает свободу, она все еще не может решиться на мезальянс. В ее поведении всегда чувствуется умысел, расчетливость, мелочность, осторожность, и когда она дарит Бальзаку в Женеве свою любовь, она словно бросает ему милостыню, да еще нехотя, будто тотчас же раскаиваясь в ней. Она действует, словно движимая любопытством, а не желанием свободно, сознательно принести себя ему в дар. И по сравнению с Ганской, которая превратила свои отношения с Бальзаком в неискреннюю,

холодную игру, преисполненную мелочной ревности, внешне безнравственная графиня Висконти кажется нам благородной и независимой. Как только она решила принадлежать Бальзаку, она отдалась ему безраздельно и страстно — как свидетельствует ее портрет в «Лилии в долине», — и ей глубоко безразлично, знает ли и болтает ли об этом «весь Париж».

Она появляется с Бальзаком в своей ложе. Она поселяет его, когда он не знает, как спастись от кредиторов, в своем доме. Она его ближайшая соседка в «Жарди».

Графиня Гвидобони вовсе не пытается разыгрывать перед мужем мерзкую комедию супружеской верности. Граф несколько не ревнивец, а она в противоположность своей далекой сопернице не докучает Бальзаку мелочными придирками и бездушной ревностью. Она предоставляет ему свободу и смеивается над его похождениями. Она не лжет ему и не вынуждает его лгать так усердно, как по необходимости ему приходится непрестанно лгать другой. Она не обладает и десятой долей богатства Ганских, но она множество раз помогает Бальзаку, то выдавая за него векселя, то снабжая его наличными. Она настоящая возлюбленная, и в то же время она друг. Она ежечасно обнаруживает смелость, прямодушные, свободу, которыми обладает только женщина, не подчиняющаяся ни общественным предрассудкам, ни окостенелым обычаям и порядкам. Она свободно и открыто живет так, как ей повелевает чувство. Ее откровенность, естественно, приводит к тому, что и Бальзак не в силах держать их отношения в тайне от госпожи Ганской. Быть может, ему удалось все-таки развеять ее подозрения, что страстные любовные сцены с леди Дэдлей в «Лилии в долине» сочинены непосредственно после первых восторгов, пережитых им с прекрасной англичанкой. «Уж не поговаривают ли, что я написал портрет госпожи Висконти?» — пишет он госпоже Ганской, якобы пораженный столь непостижимым коварством света.

Но ведь он не может перехватить отчеты, которые поль-

ские и русские корреспонденты шлют из Парижа в Верховню, и корреспонденты эти излагают истинное положение вещей со всеми живописными деталями. Естественно, что на его голову начинают градом сыпаться «письма, исполненные сомнений и упреков». Но Бальзак, все еще рассчитывая на посмертные миллионы господина Ганского, очертя голову продолжает лгать, уверяя, что графиня-де только идеальная подруга, преисполненная поразительной преданности. Желая уверить госпожу Ганскую в своей искренности, он поет изощреннейшие дифирамбы этой «дружбе, которая утешает меня во множестве моих печалей». Он пишет госпоже Ганской:

«Госпожа Висконти, о которой вы упоминаете, одна из самых достойных женщин, она преисполнена бесконечной, исключительной доброты. Нежная, элегантная и красивая, она помогает мне влачить бремя моей жизни. Она кротка и все же преисполнена твердости. Она непоколебима и непримирима в своих воззрениях и антипатиях. Она необычайно искренна в обхождении. Но она была не слишком счастлива в жизни. Вернее, обстоятельства, в которых находятся она и граф, не вполне гармонируют с великолепным именем, которое они носят...»

Однако эти хвалебные гимны Бальзак пишет лишь для того, чтобы заключить их элегическим вздохом: «К несчастью, я вижу ее чрезвычайно редко».

По-видимому, он знает, что госпожа Ганская, черпающая информацию из куда более солидных источников, чем его письма, не вполне доверяет ему. Но, впрочем, это, быть может, не так уж заботит его. Ибо сияние Полярной звезды в эти годы мало-помалу меркнет. Ведь она, уже недостижимая для него, светит за тысячи миль от Парижа, где-то у границы с Азией, кроме того, господин Ганский неожиданно оказался на диво цветущим и долговечным. В истории живые всегда торжествуют над мертвыми, а в любви — те, кто близко от нас, одерживают победу над находящимися вдали. А ведь графиня Висконти совсем рядом, молодая, красивая,

страстная, чувственная женщина, всегда готовая распахнуть ему объятия и никогда ничем не докучающая. Все ближайшие годы он живет с ней подлинной своей жизнью, но в то же время сочиняет и описывает госпоже Ганской — для шкапулки и для потомства — свое воображаемое бытие.

Тщеславная Эвелина Ганская хочет быть женщиной, понимающей Бальзака лучше, чем все другие. Она желает быть его наставницей, его советчицей. И по уровню литературного вкуса, по силе критического суждения она, быть может, во сто крат превосходит графиню Висконти. Но графиня Висконти лучше понимает, что нужно Бальзаку-человеку. Она распознает и постигает первейшую потребность этого вечно затравленного, преследуемого, стонущего под бременем бесчисленных обязательств художника — его великую потребность в свободе. Она видела, что принес Бальзаку несчастный 1836 год. Она видит, как он устал, как обессилен, как стремится к покою. И вместо того чтобы ревниво, как та, другая, держать его накрепко возле себя, она гениальным сердечным чутьем угадывает единственное, что способно встряхнуть сейчас Бальзака и вернуть ему творческое настроение. Графиня устраивает ему путешествие в Италию, которого Бальзак после своего злосчастного приключения с мадам де Кастри так страстно жаждет; путешествие, кстати сказать, не будет стоить Бальзаку ни гроша.

У графа Гвидобони-Висконти есть претензии к итальянским властям по делу о наследстве его матери. Однако суммы, ему причитающиеся, нелегко взыскать. Абсолютно неспособный к малейшему коммерческому усилию, блаженный меломан готов уже отказаться от борьбы за свои наследственные права.

И вот тут-то графиня обдумывает или придумывает хитроумнейшую комбинацию. Пусть Бальзак, их общий друг, чью энергию и деловитость граф, конечно, знает, отправится в Италию и урегулирует их финансовые дела. Добродушный супруг выражает свое согласие, и Бальзак, который только что возвратился из Саше и не знает, куда деваться от креди-

торов, разумеется, приходит в восторг. Ему вручают нотариальную доверенность и, видимо, некоторую сумму денег на путевые расходы. Итак, он может в июле сесть в почтовую карету и отправиться в столь давно лелеемое им в мечтах своих путешествие в «страну любви». Но этим не ограничивается великодушные графини Висконти. Она не сопутствует Бальзаку в этой поездке. Понятно, ведь она всего месяц назад стала матерью Лионеля Ришара, которого, очевидно, следует считать залогом их любви. Но — самое удивительное и неожиданное свидетельство ее великодушия — она не возражает, чтобы ее возлюбленного в Италию сопровождал некий смазливый юнец. Юноша с коротко остриженными черными волосами именует себя Марселем — прочие друзья Бальзака и слыхом о нем не слышали! Единственный, кто может дать о нем справку, — это портной Бальзака, Бюиссон. Совсем недавно Бальзак появился у него вместе с хорошенькой молоденькой брюнеткой и заказал для нее мужской костюм и серый редингот*, которые на юной даме сидят как влитые и весьма ей к лицу. Впрочем, не настолько, чтобы пронизательный взор не разгадал ее принадлежность к прекрасному полу. Вместо того чтобы искать приключений в «стране любви», Бальзак при помощи рискованного маскарада превращает свое путешествие туда в авантюру.

Эту новую свою возлюбленную вечно занятый Бальзак, как и почти всех своих приятельниц и знакомых, выудил при помощи переписки. И опять-таки, как почти все его приятельницы, она замужняя женщина, при этом, тоже как все, супруга весьма покладистого супруга. Госпожа Каролина Марбути, жена крупного судейского чиновника, скучает в Лиможе. И вот она пишет Бальзаку, присяжному поверенному всех разочарованных и непонятых француженок, романтическое письмо. Но у добровольного адвоката тогда, в 1835 году, не оказалось времени, чтобы ответить ей. И она начи-

* Редингот — длинный сюртук свободного покроя, первоначально надевавшийся для верховой езды. — *Примеч. ред.*

нает искать замены. Идя по алфавиту — после «Ба» — «Бе», — она попадает, точь-в-точь как герцогиня де Кастри, с Бальзака на Сент-Бева, у которого встречает больше радушия. Он предлагает ей приехать в Париж, и она приезжает, красивая, пылкая, юная. К сожалению, оказывается, что сухой и напыщенный Сент-Бев не в ее вкусе. Его декламаторские способности вовсе не помогают ему добиться успеха, хотя он и прославил ее в превыспреннем сонете.

И вот она снова пытается постучаться в другую дверь, и Бальзак, который после своего успеха у госпожи Ганской научился ценить молодых женщин, нисколько не разыгрывает Иосифа Прекрасного, оставаясь наедине с этой напористой женой Пентефрия. Первое же свидание в пресловутом будуаре на улице Батай затягивается на трое суток, и молодая цветущая особа настолько приходится ему по вкусу, что он предлагает ей отправиться в поездку по Турени. На это госпожа Марбути по различным причинам не может решиться. Но когда Бальзак, возвратившись из Саше, делает ей предложение отправиться вместе с ним (за счет другой его приятельницы) в Италию, она с восторгом соглашается. Она будет сопровождать его, переодевшись ради шутки пажом, ибо поездка в романтические края должна быть с самого начала романтической.

Только один-единственный из парижских друзей оказывается свидетелем этой комедии с переодеванием. Жюль Сандо, пришедший на Рю Кассини, чтобы пожелать Бальзаку счастливого пути, видит, как в фиакре подъезжает молодая, коротко остриженная дама и, превосходно ориентируясь, поспешно поднимается в спальню писателя. Он еще улыбается про себя, отметив это новое приобретение своего друга (ведь Бальзак на людях столь красноречиво восхваляет целомудрие как неперемненное предварительное условие творческой производительности), но через несколько минут из той же комнаты вдруг выскальзывает элегантный юноша в сером рединготе, с хлыстиком в руке и, смеясь, спускается по лестнице, прихватив с собой саквояжик, где лежат белье на неделю и, на

всякий случай, дамские наряды и мгновенно исчезает в недрах почтовой кареты. За ним, тяжело ступая, спускается Бальзак, радуясь, как мальчишка, своей удавшейся шутке. Он усаживается рядом с юным пажом, и несколько минут спустя карета уже катится на юг, в сторону Италии.

Это многообещающее начало. В дороге из этой проделки возникают — на что, собственно, и надеялся Бальзак — забавнейшие приключения. Путешественники решили переночевать в монастыре, однако монахов отнюдь не вводит в заблуждение просторный редингот и разутюженные брюки юного Марселя, и они строго-настрого запрещают существованию коварного пола переступить порог обители.

Юная нимфа нисколько не обескуражена, и в ближайшем альпийском ручье, прячась за многострадальным рединготом, принимает импровизированную ванну. Автор «Озорных рассказов» при этом приключении, конечно, не остается внакладе, и после головокружительно-быстрого переезда через Мон-Сенис молодая пара, или, официально, мсье де Бальзак со своим камердинером Марселем, прибывает в Турин.

Всякий разумный человек тотчас же прекратил бы небезопасную комедию с переодеванием или, как и положено тайным возлюбленным, снял бы номер в какой-нибудь гостинице на окраине, чтобы не привлекать к себе внимания. Но Бальзак любит доводить все до крайности. Ничуть не стесняясь, велит он ехать в лучший отель города, «Отель дель Эрроп», который расположен как раз против окон королевского дворца, и снимает для себя и своего спутника расположенные рядом лучшие номера.

Само собой разумеется, на следующий день «Гадзетта Пьемонтесе» сообщает о прибытии знаменитого писателя. Тотчас же все аристократическое общество любопытствует увидеть Бальзака и его прославленную трость, успех которой, по его же словам, не менее велик, чем успех его творений, и «грозит принять уже всеевропейские масштабы». Ла-

кеи из знатных домов приносят ему приглашения, все наперегонки стремятся познакомиться с Бальзаком. Благодаря посредничеству дружественных аристократов Бальзаку для прогулки предоставляют даже лошадей из королевских конюшен. Бальзак, который никогда не мог устоять перед восторгами княгинь, графинь и маркиз, благосклонно принимает приглашения пьемонтской аристократии. После того как ему месяцы и годы наносили визиты только засаленные и злбные кредиторы да судебные исполнители, тщеславие его приятно щекочет то обстоятельство, что его принимают во дворцах, обычно недоступных для буржуа, да еще со всеми почестями, словно заморского принца. Черт его дернул ввести в эти чванливые палаццо свою переряженную провинциалочку! И тут происходит такой неожиданный поворот сюжета, какого не придумал бы в своих романах и сам Бальзак.

В аристократических салонах немедленно узнают, что этот юный Марсель, подобно своему тезке из мейерберовских «Гугенотов», не что иное, как переодетая дама, и так как никто не считает возможным, что Бальзак совершил невероятную дерзость, ввел какое-то никому не ведомое легкомысленное создание во дворцы пьемонтской знати, то возникает удивительный слух. Известно, что коллега Бальзака знаменитая Жорж Санд коротко стрижется, курит сигары и трубку, носит штаны и меняет своих возлюбленных, как перчатки. Недавно она побывала с Альфредом де Мюссе в Италии. Почему бы на этот раз ей не прибыть с Оноре де Бальзаком? И вот бедная госпожа Марбути внезапно оказывается центром всеобщего внимания. Господа и дамы окружают ее, болтают с ней об изящной словесности, заранее готовы восторгаться ее остроумием и всячески пытаются выклянчить у нее жоржсандовский автограф. Шутка становится весьма неприятной даже для человека бальзаковского калибра, и писатель употребляет все свое присутствие духа и изворотливость, чтобы распутать эту запутанную шараду. Он по секрету признается маркизу Феликсу де Сен-Тома в этом

переодевании, конечно, тотчас же старательнейшим образом окутывая его высоконравственным плащом: «Она доверилась мне потому, что знает, сколь всецело я поглощен иной страстью...»

Однако Бальзак чувствует, что пора кончать, прежде чем шутка приобретет скандальный характер. Он довольно удачно улаживает дела своих друзей — супругов Висконти — и поспешно покидает город, где впервые в жизни был совершенно счастлив. Три недели без трудов, без пререканий с издателями, без корректур, без кредиторов и завистливых коллег. Впервые в жизни сияющими глазами смотрит он на реальный мир, а не на призрак, выдуманный им самим. Одна из последних станций — Женева, город его судьбы. Здесь пренебрегла им герцогиня де Кастри. Здесь он покорила госпожу Ганскую. Здесь, беззаботный и беспечальный, проводит он теперь время с маленькой госпожой Марбути. Если хоть на миг поверить его письмам к Ганской, то в Женеве он предавался только сладчайшим воспоминаниям да меланхолически оплакивал Исчезнувшую. Действительность куда менее романтична, но зато гораздо более приятна. Обычно Бальзак, в нетерпении снова приняться за работу, заставлял почтальонов до смерти загонять лошадей и проделывал путь от Женевы до Парижа за пять суток. Теперь, когда его сопровождает юная и не склонная к патетическим сценам брюнетка, он едет домой целых десять суток, останавливаясь на ночлег во всех городах по пути. И едва ли можно предположить, что эти ночи были посвящены исключительно сентиментальным и меланхолическим раздумьям о далекой Полярной звезде.

21 августа Бальзак возвращается в Париж, и волшебной поре сразу приходит конец. На дверях наклеены ярлыки судебных исполнителей, на столе лежит ворох неоплаченных счетов. Едва переступив порог, он узнает, что Верде, его издатель, обанкротился. Все это не повергает Бальзака в особое изумление. Он знает, и ему еще не раз придется узнать, что за каждый глоток свободы, который он позволяет

себе сделать, его еще безжалостней будет душить рука судьбы. Но тут под стопой безразличных или докучливых писем обнаруживается конверт с траурной каймой. Александр де Берни извещает, что его мать, госпожа Лаура де Берни, скончалась 27 июля. И, читая письма Бальзака, нельзя не почувствовать, как глубоко, как искренне потрясла его эта весть.

Он много месяцев был готов к этой утрате. Еще перед отъездом из Парижа он посетил Дилекту. Она была уже так слаба, что даже не могла радоваться тому, что в образе мадам де Морсоф из «Лилии в долине» он перед всем миром засвидетельствовал свою благодарность ей. Но все-таки он испытывает ужасный стыд, боль. Он так беззаботно и так весело разъезжал по Италии с этой никчемной Каролиной Марбути в то самое время, когда госпожа де Берни была на смертном одре! А его не было у ее постели, и он не слышал ее последних слов. Быть может, он, ничего не подозревая, шутил и смеялся в каком-нибудь туринском салоне в тот самый час, когда тело женщины, любившей его прежде и больше, чем все другие, предавали земле.

Уже через несколько дней Бальзак покидает Париж и уезжает, чтобы посетить ее могилу. Некое предчувствие говорит ему, что закончилась целая эпоха его жизни и что вместе с этой женщиной он похоронил и собственную свою молодость.

XVI. ГОД ПЕРЕЛОМА

Кончина госпожи де Берни — одна из величайших утрат в жизни Бальзака. Его Избранница, его истинная мать! Она воспитывала его, опекала, она научила его любить и верить в свое призвание, и вот ее нет в живых, она не может уже уберечь его от бед, защитить, ободрить. И пусть у него теперь две возлюбленные — далекая на Украине и близкая на Елисейских полях, он одинок. Никогда в жизни он не был еще

так одинок. Нечто новое пробуждается в нем после этой кончины, некое чувство, которого этот самоуверенный, жизнерадостный человек никогда прежде не ведал: страх — таинственный, непостижимый, многоликий страх. Боязнь, что у него не хватит сил завершить задуманный им исполинский труд, боязнь умереть слишком рано, упустить за бесконечной работой настоящую жизнь. «Что сделал я с собой, как и для чего живу я?» — спрашивает себя Бальзак. Он стоит перед зеркалом: седые волосы, целая прядь в уже сильно поредевшей гриве — вот они, следы забот и каждодневной борьбы, злосчастной гонки от книги к книге. Желтые, болезненно-дряблые щеки, двойной подбородок, обрюзгшее тело — вот он, итог бесконечных ночей за плотно задернутыми шторами, долгих бдений за рабочим столом, недель, проведенных в им же созданной тюрьме — без воздуха, без движения, без свободы. Семнадцать лет длится эта жизнь, день за днем, месяц за месяцем, — десять тысяч, сто тысяч исписанных страниц. Пятьсот тысяч гранок, книги и снова книги, а что достигнуто? Почти ничего, во всяком случае, недостаточно для него, для Бальзака! «Человеческая комедия» — творение, которое должно стать таким же всеобъемлющим и великим, как соборы Франции, — еще только начата. Возведено лишь несколько контрфорсов, еще не выведена сводчатая кровля, еще не поднялась ни одна из стрельчатых башен, которые должны устремиться в небо! Сможет ли он когда-нибудь завершить свой труд? Не отомстит ли ему хищническая разработка собственных богатств, которую он ведет вот уже долгие годы?

Уже не раз слышалось ему тихое, зловещее потрескивание в раскаленной машине, уже не раз терзали его неожиданные приступы головокружения, внезапная усталость, после которой он впадал в мертвый сон. А тут еще появились желудочные спазмы, вызванные злоупотреблением черным будоражающим кофе. Разве не самое время остановиться и жить, как живут все люди? Отдыхать, наслаждаться, позабыть о своем неумолимом творчестве, об этом вечном

творчестве, об этом непрестанном созидании — не из кирпичей, а из себя, из собственной плоти и духа, откуда другие, счастливые, беззаботные, выпитывают жизнь и наслаждаются ею? Кто отблагодарил его за все: за безграничное самопожертвование, за яростное самоотречение, кроме той, умершей? Да и что принесла ему его работа? Немного славы, о нет, пожалуй, много славы. Но зато сколько вокруг ненавистников, сколько злобствующих, сколько ненужных тягот! А кроме того, работа не принесла ему самого важного, существенного, вожделенного — она не принесла свободы и независимости.

Семь лет назад он начал все сначала. У него было тогда сто тысяч франков долгу, и он работал за десятерых, за двадцать человек, лишая себя сна, не щадя своих сил. Он написал тридцать романов. Но разве бремя сброшено? Нет, оно стало только в два раза тяжелее. Что ни день, он должен вновь и вновь продавать себя издателям и газетам, карабкаться по винтовой лестнице на пятый этаж к замызганным ростовщикам, должен, дрожа, как вор, убежать от судебных исполнителей. Стоит ли трудиться, если титанический труд не приносит свободы? На тридцать седьмом году жизни, в этот год перелома, Бальзак постигает, что все идет не так, как надо, что он слишком мало наслаждался и всю жизнь отдал работе — тщетной работе, ибо все его пылкие желания так и не исполнились.

«Жить по-иному!» — восклицает он, и внутренний голос призывает его не давать «женщинам издалека» очаровывать себя, а наслаждаться их мягким чувственным телом! Не торчать вечно за письменным столом, а путешествовать, странствовать, чтобы перед усталыми глазами сменялись все новые и новые образы. Надо опьянить наслаждением усталую душу, разорвать каторжные цепи, отшвырнуть их. Довольно лихорадочной гонки и непрестанного стремления вперед — пора вдохнуть благорастворенный воздух праздности! Только бы не состариться преждевременно, не дать превратностям судьбы истерзать себя! Убежать, ускользнуть и

прежде всего разбогатеть — как можно быстрее, любым способом, только не непрерывным писанием, писанием и писанием! Бальзаку тридцать семь лет, и его обуревают неведомая, дерзкая и дикая жажда жизни — жажда, которой он еще никогда не знал.

После первой победы над госпожой Ганской в нем, кто вкладывал всю свою страсть лишь в творчество, впервые по-настоящему пробудилась чувственность. Приключение следует за приключением. В этот год он сводит знакомство с большим числом женщин, чем за все предшествующее десятилетие. Наряду с графиней Гвидобони-Висконти маленькая Каролина Марбути, а кроме того, юная бретонская дворянка Элен де Валетт. Некую Луизу он пытается привлечь к себе привычным путем — перепиской. Он становится завсегдатаем роскошных ужинов, где знаменитейшие парижские кокетки, прототипы его Торпиль и Акилины, не скупятся на приманку и ласки.

Глаза его увидели лазурное небо Италии, мозг его несколько недель пребывал в блаженной праздности, и скудной кажется ему работа, которая прежде была для него всем. Путешествовать, жить, наслаждаться — вот что стало теперь жадной мечтой Бальзака. Ему не нужно ни работы, ни славы. Лишь теперь, когда холодная тень коснулась его сердца, в нем впервые вспыхнула потребность в радости, ласке, свободе.

К чести графини Гвидобони-Висконти, она понимает эту потребность Бальзака и, вместо того чтобы цепями из роз приковать к себе своего возлюбленного, дает ему возможность все под тем же предлогом отправиться вторично в Италию. Графиня знает, что в Париже ему нет спасения от кредиторов. Судебные исполнители, которые месяцами тщетно искали его на Рю Кассини, разнюхали наконец тайну квартиры на Рю де Батай, и Бальзаку приходится перебраться в меблированные комнаты на Рю де Прованс. Но и там уже рыщут, разыскивая его, вездесущие рассыльные из суда, и графиня видит, как он измучен, как он устал от этой

вечной борьбы. Она понимает, что затравленному Бальзаку необходима хоть самая короткая передышка. Она не поучает его, не досаждаст ему ревностью, она дарит ему то, в чем этот неисцелимый больной нуждается куда больше, чем в самых лучших, в самых благих советах: возможность несколько месяцев побыть наедине с самим собой, почувствовать себя свободным и беззаботным.

Графа снова побуждают уполномочить Бальзака окончательно урегулировать финансовые дела семьи Висконти, и 12 февраля 1837 года писатель переезжает Альпы, на этот раз в одиночестве, ибо он уже давно устал от чрезмерной назойливости мадам Марбути. А Теофиль Готье, который намеревался сопровождать его, вынужден в последнюю минуту отказаться от поездки. Только шесть дней, проведенные в почтовой карете, поездка через Тессин, мимо панорамы божественных пейзажей — и все заботы растаяли в солнечной лазури! Гениально восприимчивый и впечатлительный Бальзак столь же гениально легко умеет забывать обо всем на свете. И разумеется, он начисто забыл о долгах и заботах, об обязательствах и неприятностях в тот самый миг, как он вышел из кареты у подъезда миланской гостиницы «Прекрасная Венеция». Да, здесь он не тот, что дома! Ведь на чужбине он больше не господин Оноре де Бальзак, обязанный по приговору суда и под угрозой заточения в долговую тюрьму уплатить столько-то и столько-то франков тут, столько-то и столько-то — там. Он не вечный должник, вынужденный ускользать через черный ход, когда с парадного к нему стучатся рассыльные из суда. Здесь он знаменитый писатель, о чьем приезде почтительно сообщают газеты, и не проходит и двух часов, как он уже сенсация всего города.

Графиня Маффеи отправляется с ним на прогулку. В ложе князя Порция он с сестрой князя, графиней Сансевериной, присутствует на спектакле в театре «Ла Скала». Княгиня Бельджойозо и маркиза Тривульцио приглашают его к себе. Все прославленные, громкие, увековеченные в истории фамилии Италии преклоняются перед его именем, и австрий-

ские военные власти балуют его ничуть не меньше. Губернатор приглашает его отобедать, командующий войсками отдаст себя в его распоряжение; первый скульптор Милана, Пунтнати, добивается, как чести, дозволения извять с него статуэтку, и Бальзак презентует ее отнюдь не госпоже Ганской, а графу Висконти. Юный князь Порция осыпает его подарками и подчиняется его желаниям и велениям. Можно представить себе гордость и счастье Бальзака, неисцелимого плебея, когда в ответ на просьбы доподлинных князей и княгинь он ставит свою подпись в семейных альбомах миланской знати, а не на векселях и долговых обязательствах, как то было в Париже.

Куда сдержанней ведут себя литераторы, которых несколько уязвляет культ чужеземца и имена которых знакомы Бальзаку разве что понаслышке. Встреча с Мандзони протекает не совсем удачно. Автор «Отца Горио» беседует с творцом «Обрученных» (поскольку он не читал этого шедевра) лишь о самом себе. Впрочем, за всеми осмотрами достопримечательностей, визитами и празднествами Бальзак отнюдь не забывает о цели, ради которой он приехал. Он должен урегулировать дело о наследстве графа Висконти, и поскольку писатель знает толк в финансах, — разумеется, если речь идет не о собственных его деньгах, — ему удастся урегулировать его самым желательным образом. И так как на этот раз ему все улыбается, то он вынужден — и именно для завершения своих хлопот — отправиться в Венецию. Тот самый город, который он мечтал посетить сперва с герцогиней де Кастри, потом с госпожой Ганской, — город его «Фачино Кане» — призывает его теперь.

Первый день приносит разочарование. Венеция лишена красок. Она в тумане, идет дождь, падает снег. Но с первым же проблеском солнца в Бальзаке пробуждается вся его творческая страстность. Он наделен единственной в своем роде способностью воспринимать и впитывать новые впечатления. И сейчас он ходит повсюду и видит все: музеи, церкви, дворцы, театры, и ничто так не доказывает его великолепное

умение вживаться в окружающую обстановку, как то, что за несколько мимолетных дней он впитал в себя атмосферу, историю, обычаи, душу города. Всего только девять суток проводит Бальзак в Венеции, половину из них он посвящает делам и визитам. И все-таки, хотя о Венеции написаны тысячи романов и десятки тысяч новелл, ни один писатель — ни Байрон, ни Гёте, ни Стендаль, ни д'Аннунцио — не изобразил Венецию с такой ослепительной и проникновенной силой, как Бальзак в своей новелле «Массимилла Дони», в новелле, которая является одним из совершеннейших образцов истолкования музыки в литературе. Непостижимо, как мог беглый взор схватить самое существенное, как мог человек, который знал лишь несколько слов по-итальянски, найти столь образное и обобщенное выражение, способное передать возвышенную чувственность Италии. Вновь и вновь убеждаемся мы в том, что для Бальзака «смотреть» означало проникать, познавать, не изучая; познавать как бы посредством магии.

Эта неделя в Венеции, которую позднее он так замечательно увековечил в своей новелле, кульминационная точка в его итальянском путешествии. Он возвращается снова в Милан, но здесь его ждет уже гораздо более холодная встреча. Оказывается, на одном из приемов в Венеции он, будучи в прекрасном настроении, добродушно и легкомысленно наболтал с три короба всякой чепухи. Да еще по скверной своей привычке, которая и в Вене произвела неприятное впечатление, он слишком уж много говорил о презренном металле, о своих гонорах и долгах и, что было уж совсем нетактично, пренебрежительно отозвался о Ламартине и о Мандзони. Кто-то из присутствующих писателей поспешил немедленно сообщить непростительный отзыв Бальзака о Мандзони в миланскую газету. И миланцам не понравилось то, что писатель так плохо отплатил им за гостеприимство. Поэтому Бальзак счел нужным как можно скорей уехать из Милана. Однако после первой неудачи его ожидает вторая.

В Генуе, откуда он намеревался проехать через Ривьеру в

Ниццу, власти, опасаящиеся какой-то эпидемии, задерживают его на карантине. Это как будто лишь мелкая неприятность, но из нее разовьется другая, и при этом куда более серьезная. Мы не знаем, почему он изменил свое намерение и направился не в Париж, а в Ливорно и оттуда во Флоренцию. Только 3 мая, после почти трехмесячного отсутствия, Бальзак возвращается в Париж. Целых три месяца он, впервые в жизни, не написал ни единой строчки, не читал корректур, не прикасался к перу. Он вкушал только радость бытия, он впитывал впечатления и наслаждался жизнью.

Дилижанс приближался к парижской заставе. Роковое мгновение наступило. Бальзак знает, что ждет его после недель «блаженного ничегонеделания». Он знает, что груды неоплаченных счетов громоздятся на его письменном столе, что у него описали тильбюри и все, что только было возможно; что он так и не закончил «Банкирский дом Нусингена» и «Выдающуюся женщину», за которые уже получил аванс; что пятьдесят тысяч франков, которые перед его отъездом ему обещал новый издатель Боэн, все равно не попадут ему в руки. Но и это еще не все. После банкротства Верде, его прежнего издателя, оказались опротестованными и векселя, легкомысленно выданные Бальзаком. И кредиторы настаивают на аресте. Если его только сумеют изловить, то Бальзак, вчерашний гость принцев, князей и маркизов, угодит в долговую тюрьму. Поэтому самое главное — стать неуловимым. У Бальзака теперь три квартиры: одна на Рю Кассини, покамест еще на его имя, но ему удалось вывезти из нее мебель; вторая — на Рю де Батай, на имя мнимой вдовы Дюран и, наконец, еще третья — временное убежище на Рю де Прованс.

Но подобно тому, как после пятнадцати лет войн австрийские и прусские войска изучили тактику Наполеона, так кредиторы изучили наконец все уловки Бальзака. Никакие пароли и отзвы уже не служат ему защитой, и Бальзаку, владельцу трех квартир, фактически негде приклонить голову. Знаменитейший писатель Франции вынужден прятаться, как

беглый каторжник, и он охотно променял бы свою громкую славу, от которой он так щедро вкусил в Италии, на абсолютную безвестность. Даже бежать к преданной чете, к супругам Карро, во Фрапель, где к его услугам всегда комната, и то слишком опасно. Еще прежде, чем он влезет в дилижанс, власть предержавшим уже станет известно о скором его прибытии. В отчаянии обращается он к своему прежнему секретарю по «Кроник де Пари», к молодому графу Беллуа, и умоляет его предоставить ему «комнату, местонахождение которой должно оставаться в полной тайне, хлеб и воду, немного салата с бараниной да чернильницу и постель».

Никаких шелковых занавесей, никаких парчовых диванов, никаких тростей с набалдашником из носорожьей кости стоимостью в семьсот франков. Лишь стол для работы да постель для сна. Стрелки часов переставлены на пятнадцать лет назад, во времена мансарды на улице Ледигьер.

Но по каким-то причинам Беллуа не может предоставить ему убежище. И в это страшное мгновение его снова спасает верная подруга, графиня Гвидобони-Висконти.

Графиня несравненно отважнее госпожи Ганской, которая и в пятьдесят лет все еще будет бояться того, «что скажет свет». Она поселяет своего возлюбленного в собственной квартире на Елисейских полях, 54, и он вынужден подчиниться особому монастырскому режиму. Он не смеет выходить из дома, он не должен показываться гостям и знакомым и, лишь соблюдая величайшую осторожность, может, прячась за тяжелыми портьерами, бросить взгляд на парижскую весну. Но монашеская келья не пугает Бальзака, в особенности когда в нее ведет дверь прямо из спальни прекрасной возлюбленной. С необычайным жаром набрасывается Бальзак на работу. Меньше чем за два месяца заканчивает он «Банкирский дом Нусингена», «Выдающуюся женщину», последние «Озорные рассказы» и пишет вчерне новеллу «Гамбара». Едва ли еще когда-либо неоплаченные векселя и назойливые кредиторы оказывали столь вдохновляющее воздействие на продуктивность литературного творчества; и, по-видимому,

Бальзак, для которого заботы и долги существуют только пока они его допекают, продолжал бы и дальше творить в наилучшем расположении духа. Но однажды судебные исполнители постучались у дверей этого неприкосновенного убежища. Как всегда, Самсона предала Далила. Одна из предшественниц графини Висконти, быть может, не взятая вторично в Италию Каролина Марбути, из зависти к сопернице, которая держит такого постояльца в своем семейном доме, сообщила в полицию о местопребывании Бальзака. И вот судебные исполнители вторгаются в салон графини Висконти и ставят перед писателем ужасную альтернативу — либо немедленная уплата долга, либо переезд в долговую тюрьму. И снова его спасает великодушие графини Висконти. Графиня отнюдь не богата, но она тут же уплачивает долг, и судебские вынуждены убраться восвояси. Однако, к досаде Бальзака, выкуп возлюбленного не остается тайной.

Из «Судебной газеты» эта щекотливая подробность просачивается и в другие газеты, и Бальзак, который все еще продолжает бессмысленную игру и старается представить себя госпоже Ганской через тысячу разъединяющих миль несчастным и одиноким, вынужден сообщить ей:

«Субъекты, которые обязаны отводить должников в тюрьму, разыскали меня. Я пал жертвой предательства, и мне больно, что я скомпрометировал хозяев, столь великодушно предоставивших мне убежище. Не желая идти в тюрьму, я должен был, не сходя с места, заплатить долги по делу Верде и был вынужден обременить моих друзей, которые сами предложили мне деньги».

Естественно, он не рискнул назвать ревнивой корреспондентке имени своей спасительницы. В отношениях Бальзака и графини Висконти мужество и великодушие были только на ее стороне.

Женщины всегда спасают Бальзака от величайших бедствий. Теперь, когда долги — по крайней мере самые неотложные — уплачены, он может с поднятой головой и ни от кого не прячась вернуться в свое давнишнее убежище, туда, где

он привык работать. Он может вернуться к Маргоннам, в любимую Турень. Там никто не докучает ему своей назойливостью, да и пребывание у друзей ничего ему не стоит.

И снова, как бы в ответ на все тяготы, хлопоты и жизненные передраги, он создает шедевр — «Цезаря Бирото». Да и какой сюжет мог бы прийтись ему больше по душе, ему, только что спасенному от долговой тюрьмы, чем одиссея должника, который против собственной воли, из одного легковерия, запутывается в спекуляциях и подвергается затем травле, мучениям и оскорблениям со стороны бесчисленных адвокатов, кредиторов и судейских?

Все, что в последние годы Бальзак испытал на собственной шкуре, — напрасное обивание порогов в поисках кредита, измену друзей, неумолимую власть векселя и долговой расписки, сатанинскую злобу денег, которые мстят каждому, кто не служит им всей душой, — все воплотилось в великом буржуазном эпосе. В эпосе о той среде, которую не изобразил еще никто во всей французской литературе.

История совершенно заурядного банкротства, постигшего мелкого буржуа, резко контрастирует с грандиозными и нередко гиперболизированными событиями, описанными в романах Бальзака, и сообщает еще большую правдивость и полноту тому миру, который изображен в «Человеческой комедии».

Так еще раз удастся ему воплотить в великолепные образы все, что еще вчера его угнетало.

Свободный, радостный и поздоровевший, Бальзак возвращается осенью в Париж.

XVII. САРДИНСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ

Годы 1836 и 1837 были тяжелыми, катастрофическими годами в жизни Бальзака. И если бы к нему вообще была применима обычная мера, то 1838 год непременно должен был принести перелом.

Летом графиня Висконти уплатила его самые неотложные долги. За «Цезаря Бирото», которого он написал в течение двух месяцев, его вознаградили весьма щедро. Писатель никогда еще не получал столь высокого гонорара. Двадцать тысяч франков наличными уплатили ему за одно только право опубликовать роман в газете. В ту пору, когда деньги были гораздо дороже, а налогов и вовсе не было, двадцать тысяч франков были поистине огромной суммой. Бальзак котируется так высоко, что, если учесть его беспримерную трудоспособность и огромный запас еще не опубликованных материалов, он легко мог бы заработать от шестидесяти до ста тысяч франков в год. Живя вполне комфортабельно и работая без всякой спешки, он прекрасно может в течение двух лет освободиться от всех долгов. Едва ли была у него когда-либо лучшая возможность, чем теперь, чтобы ввести наконец свою жизнь в колею. Романы его с каждым годом становятся доходнее, готовится к печати большое собрание его сочинений, и прославленное имя Бальзака становится именем европейским.

Но такова уж его природа. Он вовсе не жаждет порядка. И именно тогда, когда небеса начинают проясняться, он, из чувства, быть может, неосознанного, но извечно ему свойственного, из чувства противоречия, ухитряется навлечь на себя новые бури. Корабль его уже готов войти в мирную гавань, но тут он меняет курс и устремляется опять в бушующее море. Именно в тот самый год, когда жизнь его как будто начинает упорядочиваться, он окончательно расстраивает ее двумя чудовищными сумасбродствами.

Сумасбродства Бальзака обладают одной типичной для него особенностью, а именно — истоки их всегда совершенно разумны. Все его предприятия построены на реальных, здоровых и ясных наблюдениях. В основе их лежит правильный и точный расчет. Типография и словолитня были, как доказали преемники Бальзака, весьма доходным предприятием. «Кроник де Пари», издаваемая столь блестящими сотрудниками, могла бы стать одной из влиятельнейших парижских

газет. Но все дела, а часто и книги Бальзака портит одно роковое обстоятельство — нетерпеливый до страсти и страстный от нетерпения, он сразу же все доводит до крайности и никогда не в силах удержаться в разумных границах. Довести все до размеров грандиозного — эта величайшая сила Бальзака, проявляющаяся в его романах, становится роковой, как только он переходит к практическим начинаниям, как только поэт вступает в мир трезвых, а порой и мелочных расчетов.

Новое предприятие Бальзака в основе своей тоже логично. Оно возникло в результате честного и вполне понятного стремления художника обеспечить себе наконец вожделенный покой. Годами влечет его извечная мечта всех творческих натур: скромный, уединенный домик на лоне природы, где, не тревожимый никем, поэт может всецело предаться осуществлению своей сокровенной задачи, — словом, нечто вроде виллы Делис Вольтера, Монморанси Жан-Жака, Воклюза Петрарки. Париж был хорош для художника в его юные годы, пока он мог жить там, еще неизвестный и незаметный, наблюдая за окружающей жизнью. Теперь же, когда наблюдают за ним самим, когда каждая мелкая подробность его частной жизни становится достоянием прессы, когда журналисты и кредиторы вырывают друг у друга шнурок звонка на дверях его квартиры, Бальзак чувствует, что его личная свобода стеснена, что его творческая сосредоточенность нарушена. Итак, стоит ли продолжать жить в Париже?

Прошли времена, когда он вынужден был обивать пороги редакций. Подобно королям Франции, которые управляют страной из Блуа и Версаля, он тоже может господствовать над прессой и публикой из своего приятного далека. А кроме того, он устал каждое лето гостить то у Маргоннов, то у Карро, то у разных других друзей. Как любому крестьянину, как любому рантье, Бальзаку хочется (ведь ему уже тридцать восемь!) иметь собственный скромный маленький домик. Давным-давно собирался он приобрести такой сельский дом, «Ла Гренадьер» в Турени, постоянно там жить и работать,

не отказываясь, впрочем, и от своей парижской квартиры. Но ему ни разу еще не удавалось наскрести необходимые средства. Теперь же Бальзак стал бережлив и изменяет прежнее свое решение (кстати сказать, все его самые безумные эксперименты всегда начинаются с попытки сократить свой бюджет). Стоит ли иметь дачу на лоне природы и при этом квартиру в Париже? Не лучше ли, не дешевле ли подыскать себе домик где-нибудь в окрестностях Парижа, в какой-нибудь живописной сельской местности, и жить там круглый год, вдали от докучных притязаний столичных обитателей? А в то же время он будет находиться достаточно близко от Парижа и иметь возможность в любое мгновение съездить туда по делам или развлечься.

Бальзаку не надо долго напрягать свою память, чтобы найти подходящее место. Память у него поистине демоническая, и до конца дней своих помнит он о каждом холме и о каждом строении, которые хотя бы на миг приковали к себе его внимание. Он много раз ездил в Версаль — сперва к герцогине д'Абрантес, потом к графине Висконти — и тогда-то ему и приглянулась измененность возле Севра и Вилль д'Авре. Здесь, как ему кажется, можно обрести «свежую тень, аромат и зелень швейцарской долины». Как чудесно после утомительной работы глядеть с холмов на серебряную, извиляющуюся змеей Сену, на широкую панораму, а вокруг тебя только виноградники, сады и поля! И притом он будет рядом с Парижем, с этим Парижем, стать властелином которого он некогда поклялся. Построить загородный домик без всякой роскоши, домик, как бы созданный для работы, и к тому же недорогой. И забыть раз и навсегда о ежеквартальной арендной плате.

Как всегда, Бальзак принял решение мгновенно. И он пишет госпоже Ганской, что начинает подыскивать себе в этой «неприметной деревеньке простенькую хижину». В сентябре 1837 года он подписывает контракт с супругами Вале, согласно которому Бальзак приобретает за четыре с половиной тысячи франков участок в восемь аров и двадцать восемь

сентиаров вместе с маленьким домиком и службами. По бальзаковским масштабам весьма скромная сделка и к тому же вполне разумная с чисто деловой точки зрения. Для человека, зарабатывающего от пятидесяти до восьмидесяти тысяч франков в год, приобрести столь удобно расположенный участок не слишком обременительно. Пройдет неделя, самое большее — две, расходы будут покрыты, и исполнится его давняя и заветная мечта.

Но едва только Бальзак прикасается к деньгам, как в дело вмешивается некий демон, тот самый демон, который вынуждает игрока удваивать ставки, учетверять, удесятерять. Не успел еще Бальзак стать счастливым обладателем собственного клочка земли, как оказалось, что ему этого мало. Каким-то образом он узнал, что проектируемая железная дорога Париж — Версаль пройдет совсем рядом, Севрский вокзал будет расположен бок о бок с его участком. Тотчас же Бальзак говорит себе, — опять-таки проявляя правильное чутье, — что земельные участки вблизи этого вокзала в ближайшее время должны подняться в цене. Следовательно, нужно покупать земельные участки! И Бальзак жадно и спешно скупает, разумеется, теряя при этом всякую меру, соседние участки у крестьян и мелких землевладельцев, которые быстро смекают, что этот нетерпеливый толстяк готов без долгих разговоров заплатить любую цену. Несколько недель спустя Бальзак, успев уже позабыть мечту о скромном маленьком домике, воображает себя обладателем прекрасного фруктового сада, хотя он не дал себе труда осмотреть местность и посоветоваться со специалистами. Словом, приобретено уже сорок аров земли и уплачено восемнадцать тысяч франков, но не заложен еще ни один камень, не посажено ни одно деревце, не возведена ограда.

Впрочем, для Бальзака расходы, пока они не превратились в долги, не имеют вообще никакого значения. Он переживает медовый месяц наслаждения собственностью. Стоит ли, прежде чем построить дом, ломать себе голову, как заплатить за него? А к чему же перо — этот магический жезл,

мигом превращающий писчую бумагу в только что сошедшие с печатного станка тысячефранковые банкноты? И потом фруктовые деревья, которые он посадит на этом покамест еще диком участке, на этом совершеннейшем пустыре, — да ведь они одни принесут ему состояние! Например, почему бы не устроить там ананасовую плантацию? Еще никого во Франции не осенила идея выращивать под нашим добрым солнышком оранжерейные ананасы, вместо того чтобы привозить их в корабельных трюмах из дальних стран. Только на этом одном можно, если, конечно, с толком взяться за дело, — такие выкладки он преподносит своему другу Теофилю Готье, — заработать сотню тысяч франков, следовательно, в три раза больше того, во что ему обойдется этот домик. И кроме того, дом вообще не будет стоить ему ни гроша, ибо он уговорил своих верных друзей, чету Висконти, принять участие в этой великолепной земельной сделке. Он построит себе здесь новехонький домик, а они рядом с ним переоборудуют старую хижину и заплатят ему соответствующие проценты. Стало быть, он не будет знать ни забот, ни хлопот!

И впрямь, Бальзак ни о чем не заботится, разве лишь о том, как бы быстрее построиться. С тем же нетерпением, с каким он в романах созидает судьбы людей, воздвигает он теперь свой дом. Прибывает целая армия мастеровых — каменщики, столяры, плотники, садовники, маляры, слесари. Все работы начинаются одновременно: здесь в страшной спешке возводят опорную стену, там роют котлован под фундамент бальзаковского шале*. Прокладывают и посыпают гравием аллейки, сажают сорок яблонь и восемьдесят груш. За ночь местность вокруг «неприметной деревеньки» преобразается в той великолепной суতোлке, которая, как воздух, необходима Бальзаку. Ведь она ободряет и молодит его.

* Шале — здесь: небольшая дача типа домов в горах Швейцарии. — *Примеч. ред.*

Несколько недель подряд чуть ли не ежедневно появляется он за городом. Задыхаясь, взбирается он на крутой бугор, чтобы подогнать строителей, так же, как во время своих поездок он немилосердно гонит и подстегивает кучеров почтовых карет. Чего бы это ни стоило, к февралю 1838 года все должно быть готово. И, если бы он только мог, Бальзак непременно заставил бы и фруктовые деревья принести плоды к этому сроку, а не плодоносить по старинке под осень. Так продолжается это строительство много недель, вплоть до глубокой осени, вплоть до самой зимы.

Стены растут, а вместе с ними растут и расходы. Постепенно Бальзак начинает испытывать легкое беспокойство. Гонорар за «Цезаря Бирото» вогнан в землю, издатели выдоены до последней капли, они не дают больше авансов, собственная работа никак не может сдвинуться с мертвой точки. Бальзак нетерпеливо ожидает: когда же он сможет въехать в новый дом?! Им овладела своего рода мания, но, согласно им же открытому закону, одна мания всегда порождает другую. Снова, как некогда в случае с типографией, Бальзак начинает с незначительной сделки, но доводит дело до таких масштабов, что оно явно становится ему не по плечу.

И точно так же, как в свое время он решил присоединить к типографии еще и словолитню, дабы одну глупость превзойти другой, еще большей глупостью, так и теперь он решает заключить новую сделку, которая должна вытащить его из омута забот. Сто тысяч франков новых долгов невозможно покрыть ни при помощи бережливости, ни при помощи литературного заработка. Их можно покрыть только, если одним махом заработать миллион. Литературное творчество не принесло Бальзаку «быстрого счастья». Значит, нужно изобрести новый способ, и Бальзаку кажется, что он нашел его. И вот еще до наступления весны Бальзак бесследно исчезает из Парижа, а ведь весной он собирался обосноваться в своем новом доме, в своем саду. Бальзак исчезает, и никто не знает — куда. Впрочем, кое-кому он сообщает о

своим плане: «Я буду свободен, я не буду больше знать никаких забот, никаких материальных затруднений. Я разбогатею!»

История о том, как Бальзак решил стать мгновенно миллионером, это и впрямь история о сумасбродстве чисто бальзаковских масштабов. И звучит эта история столь неправдоподобно, что, будь она эпизодом в романе, мы сочли бы ее невероятной — да что там, просто скверной выдумкой! И не будь все ее подробности подтверждены документально, мы не решились бы рассказать об этом дурачестве гения. Но в жизни Бальзака с жутким постоянством повторяется удивительное и парадоксальное явление: тот самый разум, который столь надежен и пронизателен в художественных творениях, оказывается ребячливым и наивным перед действительностью. Как только Бальзак, этот несравненный математик и психолог, покуда он повествует о каком-нибудь Гранде или Нусингене, переносится в реальную действительность, он сразу становится жертвой любого заурядного мошенника. У него куда легче вытащить деньги из кармана, чем у неисцелимого любителя ярмарочных лотерей. Бальзак своей властью разрешает любые ситуации в мире творчества, но стоит ему столкнуться с подобными же явлениями в обыденной жизни, и он оказывается неопытным и неисправимым. И все же во всей биографии Бальзака едва ли отыщется более наглядный пример ясности и в то же время затмения разума, чем эпизод с поисками клада.

Летом 1836 года Бальзак пишет одну из своих гениальных новелл, «Фачино Кане», неувядаемое сокровище новеллистики. Бальзак рассказывает о том, как на какой-то мещанской свадьбе он обратил внимание на одного из музыкантов. Это был кларнетист, восьмидесятилетний слепой старец с величественной головой. Своим магическим взглядом рассказчик мгновенно проникает в его трагическую судьбу. Он вступает в беседу со стариком, и слепой, осушив несколько стаканов вина, доверяет ему великую тайну. Он последний оставшийся в живых потомок княжеского рода Кане. Некогда

он был венецианским сенатором и провел долгие годы в темнице. Во время побега из тюрьмы через пролом в стене он якобы попал в тайник, в сокровищницу прокураторов, где горами навалено золото и серебро, бесчисленные миллионы республики! Кане один знает это место, но, увы, после многолетнего пребывания в тюрьме лишился зрения и не может отыскать сокровище. Однако место он знает точно, и если кто-нибудь решится отправиться вместе с ним в Венецию, они оба станут богатейшими людьми на свете. И старик хватает рассказчика, то есть Бальзака, за руку и закликает его отправиться с ним в Италию. Все вокруг смеются над безумцем, два других музыканта уже слышали его историю и не верят ей, да и Бальзак, излагающий эту новеллу в 1836 году, не помышляет отправиться вслед за дряхлым Фачино Кане и принять на себя дорожные расходы старика. Его не вдохновляет идея фантастической авантюры, и, когда впоследствии несчастный безумец умирает в приюте для слепых, рассказчик не пытается выступить в качестве его наследника.

В новелле, созданной творческим воображением писателя, Бальзак действует вполне рационально, как стал бы действовать на его месте любой разумный человек. Но до чего же все меняется, когда, лишь год спустя, эпизод, который он предвидел в мечтах, внезапно становится явью. Неприметно всплывает ситуация, подобная той, которую он выдумал. Возвращаясь из второй итальянской поездки в апреле 1837 года, Бальзак имел несчастье задержаться в генуэзском госпитале в карантине. Карантин — весьма унылая штука, нечто вроде тюрьмы без оград, вы свободны и все же не свободны, нельзя ни работать, ни гулять, и вам остается только болтать со случайными товарищами по несчастью. Один из этих товарищей, на этот раз, впрочем, не слепой кларнетист, а оборотистый купец по имени Джузеппе Пецци, как-то рассказывает Бальзаку без малейшего намерения посмеяться над ним или ввести его в расходы, какие величайшие сокровища можно извлечь из недр его, Пецци, отчизны. Вот, скажем, в Сардинии есть заброшенные серебря-

ные копи, ибо все придерживаются мнения, что римляне почти исчерпали их. В действительности же римляне (ведь техника их была весьма несовершенна!) могли извлечь из свинцовой руды лишь очень небольшой процент серебра, и шлаки, валяющиеся в отвалах пустой породы, содержат в себе еще немало драгоценного металла, который при помощи современной техники вполне можно извлечь. Человек, который сумеет добиться концессии на разработку этих рудников — а такую концессию теперь, безусловно, легко получить, и по баснословно дешевой цене, — станет богачом в кратчайший срок.

Так разглагольствует за столом славный синьор Пецци, и все, о чем он болтает, вообще говоря, чистая правда. Современная металлургия и в самом деле дает возможность извлекать гораздо более высокий процент благородных металлов из смешанных руд, чем в давно прошедшие времена. И бесчисленные копи, которые две тысячи лет тому назад были заброшены как недоходные, теперь и вправду разрабатываются самым рентабельным образом.

Но наивный Джузеппе Пецци не ведает, в какой пороховой погреб заронил он искру! Бальзак — духовидец, и перед умственным его взором мгновенно и самопроизвольно возникает в зримых образах все, о чем бы ему ни рассказывали. Он уже видит, как из серых свинцовых шлаков, белея и сверкая, высвобождается серебро, как оно наслаивается и принимает форму только что вычеканенных монет — сотен, тысяч, миллионов, миллиардов... И вот он уже опьянен, опьянен одной только мыслью! Он словно малый ребенок, которому дали стакан водки! Он пристаёт к простодушному Пецци. Необходимо тотчас же выяснить все обстоятельства. Надо, чтобы опыты произвели лучшие химики. Он с радостью вложит капитал в столь надежное дело. (Ведь пламенному оптимисту, который сидит в душе Бальзака, любое дело представляется надежным и верным, стоит только предложить ему принять в нем участие.) И тогда они оба обеспечат себе крупный пай в этом предприятии и разбогатеют — да, скажочно разбогатеют оба!

Добрый синьор Пецци явно озадачен безграничным энтузиазмом парижанина, фамилии которого он, к сожалению, не знает. Синьор Пецци становится гораздо сдержанней, однако он все же обещает Бальзаку заняться этим делом и прислать ему в Париж образцы упомянутых руд.

С этой минуты Бальзак оравлен мечтой о том, что Сардинские серебряные копи вручат его непременно. Он не только уплатит за новый дом, «Жарди», он выплатит все свои долги. Наконец-то он обретет свободу! В вымышленной ситуации, которая лежит в основе новеллы «Фачино Кане», здравомыслящий рассказчик считает искателя сокровищ безумцем. Теперь он сам становится безумцем, одержимым химерической мечтой. Необходимо побыстрее дописать «Цезаря Бирото». Тем временем обязательный синьор Пецци пришлет ему образцы сардинских руд, и тогда можно будет во всеоружии, имея капитал и экспертов, ринуться в великое предприятие. Но проходят недели, проходят месяцы, «Цезарь Бирото» давно написан, а синьор Джузеппе Пецци все еще не прислал обещанных образцов. Бальзак теряет покой. В конце концов он сам в своем чрезмерном воодушевлении раскрыл этому дуралею, какое миллионное дело лежит, можно сказать, без движения, и негодяй желает теперь получить концессию на свое имя, без участия его, Бальзака! Итак, существует только одно средство: обскакать синьора Джузеппе, самому провести разведку в Сардинии!

К несчастью, для будущего миллионного предприятия у Бальзака недостает нескольких сот франков исходного капитала, столь необходимого для поездки в Сардинию, и ему едва ли удастся их раздобыть. Он, конечно, мог бы обратиться к своему другу Ротшильду или к другим финансовым воротилам и открыть им свой проект. Но Бальзак, наивный и, нужно прямо сказать, бестолковый, как только дело касается собственных его сделок, полагает, что господин Пецци доверил свою великую тайну ему одному на всем белом свете. Он боится, что если он поделится этими сведениями с кем-нибудь третьим, то крупные капиталисты непременно похитят

у него великую идею, как они похитили секрет дешевой бумаги у Давида Сешара, одного из героев его «Утраченных иллюзий». Одному Карро рискует он доверить свою тайну. В распаленном воображении Бальзака этот честный отставной майор, который иногда, скуки ради, проделывает пустяковые химические опыты, сделался вдруг великим химиком, «знающим таинственный процесс, посредством коего можно выделить золото и серебро из любых сплавов, к тому же без особых затрат».

Карро, добровольный помощник Бальзака, находит его идею весьма спорной и не выражает готовности ни поехать с ним вместе в Сардинию, ни вложить деньги в его начинание.

Только у матери, которая вновь и вновь извлекает деньги из своего чулка, Бальзаку удастся перехватить несколько сот франков, остальные он занимает у доктора Наккара и у своего портного. И вот в середине марта 1838 года Оноре де Бальзак едет в Сардинию, чтобы завладеть тамошними серебряными рудниками.

Заранее очевидно, что все это путешествие — донкихотство чистой воды, донкихотство, которому уготован скандальный провал. Ибо если бы даже проект и был перспективен — а чутье и на этот раз не подвело Бальзака, — как может литератор, в жизни своей не выдавший ни одного рудника, в два-три дня определить его доходность? У Бальзака нет при себе измерительных инструментов. Да если бы и были, все равно он не смог бы определить количественное и процентное содержание серебра в отвалах. Он не посоветовался ни с одним серьезным специалистом. Он почти не владеет итальянским и не сумеет столкнуться с местными жителями. У него нет при себе никаких рекомендательных писем — ведь он никому не доверяет свою тайну. У него нет денег, чтобы раздобыть необходимую информацию. Он ведавать не ведает, в какие инстанции ему следует обратиться, чтобы получить концессию. А если бы и ведал, у него все равно нет для этого никаких деловых данных, и самое глав-

ное — у него отсутствует капитал. Правда, он говорит: «С меня будет довольно, если я сумею получить хотя бы пробу этой штуки».

Но где она, собственно, эта «штука»? И что она такое? Отвалы, встречающиеся в разных местах, давно уже поросшие мелким кустарником, или руда в заброшенных коях? Даже опытному горному инженеру потребовалось бы несколько месяцев, чтобы прийти к определенному заключению. Но Бальзак рассчитывает определить все мгновенно, доверяясь исключительно своему магическому зору. Впрочем, в распоряжении Бальзака все равно нет этих месяцев, ибо для него время — деньги. А поскольку денег-то у него и нет, он вынужден торопиться. С самого начала все идет обычными бальзаковскими темпами. Пять суток он проводит в пути от Парижа до Марселя, не смыкая глаз на козлах дилижанса. Средства его так скудны, что он питается исключительно молоком — на десять су в день. В Марселе он узнает, что ни один корабль в ближайшее время не отойдет в Сардинию и что, следовательно, остается единственная возможность: нужно отправиться кружным путем через Корсику, оттуда, быть может, и удастся переправиться на каком-нибудь суденышке в Сардинию. Это первый удар по его воздушным замкам, и, уже несколько остудив свой пыл, Бальзак едет дальше, в Тулон, успев написать своей приятельнице Зюльме Карро меланхолические слова:

«Через несколько дней я, к несчастью, стану бедней на одну иллюзию. Всегда так получается: как только приближаешься к развязке, начинаешь утрачивать веру».

После необычайно трудного плавания, ужасно страдая от морской болезни, он прибывает в Аяччо. Новое испытание для его терпения — пятидневный карантин, ибо в Марселе якобы были случаи холеры. После этих пяти суток он вынужден столь же бессмысленно потерять еще несколько дней. Ему приходится дожидаться какого-нибудь суденышка, которое соблаговолит отправиться в Сардинию. Слишком издерганный, слишком возбужденный для того, чтобы работать,

Бальзак слоняется по Аяччо. Он осматривает дом, в котором увидел свет великий его соперник — Наполеон, и на чем свет стоит он проклинает Джузеппе Пецци, который втравил его в эту идиотскую затею. 2 апреля ему удастся наконец в барке некоего искателя кораллов пересечь пролив, отделяющий Корсику от Сардинии. Он питается только рыбой, выловленной по пути.

В Альгеро снова пятидневный карантин, новая задержка, новые муки! Наконец 12 апреля он вступает на землю, которая столь ревниво скрывает в своих недрах его грядущие миллионы.

Целый месяц потерян напрасно, а он в глаза еще не видел и крупницы серебра.

Итак, скорей на рудники! Они расположены в тридцати километрах, но со времен римлян дороги к ним исчезли. В этой забытой Богом стране, население которой, как пишет Бальзак, цивилизовано не больше, чем полинезийцы или гуроны, нет ни дорог, ни экипажей. Полуголые люди в лохмотьях, лачуги без печей, ни трактиров, ни постоянных дворов. Бальзак, много лет не ездивший верхом, вынужден теперь, невзирая на свои сто килограммов, по четырнадцать—шестнадцать часов кряду трястись в седле. Наконец он попадает в Нурру и убеждается в том, что все его надежды пошли прахом. Даже если серебряные рудники и явятся доходными, он не сможет завладеть ими. Он приехал к шапочному разбору. Его собеседник, Джузеппе Пецци, увлеченный бальзаковским энтузиазмом, с толком использовал прошедшие восемнадцать месяцев. Правда, он не сочинил бесмертного романа, не выстроил себе шале среди парниковых ананасов, но зато упорно осаждал квестуры и префектуры, пока не получил, согласно королевскому декрету, право на разработку заброшенных отвалов. Итак, бальзаковское путешествие оказалось совершенно напрасным. Подобно Наполеону после Ватерлоо, он хочет только одного: как можно быстрее вернуться в Париж, назад «в свое возлюбленное пекло». Но ему не хватает денег на дорогу, и он вынужден

отправиться из Генуи в Милан, чтобы, заняв там деньги на имя Висконти, доехать до Парижа. И на этот раз пребывание его в Милане весьма печально — без принцев и графов, без пышных приемов.

В июне месяце, утомленный, разочарованный, но несколько не утратив своей внутренней силы, наш вечный банкрот возвращается в Париж. В итоге своей затеи Бальзак потерял три рабочих месяца. Желая добыть деньги, он только без толку их растратил. Он лишь попусту рисковал своим здоровьем и нервами ради бессмысленной авантюры, вернее — ради авантюры, которая была лишена смысла для него. Ибо — трагическая ирония — как и во всех его проектах, как в истории с типографией или в спекуляциях земельными участками, прилегающими к Жарди, Бальзак рассчитал правильно, интуиция не обманула его.

Проект, который должен был обогатить Бальзака, обогатит других. Через несколько десятилетий серебряные рудники, которые он видел заброшенными, бесполезными отвалами, эти самые серебряные рудники станут растущим и процветающим предприятием. В 1851 году на них будет занято 616 рудокопов, девять лет спустя, в 1860 году, — уже 2039, еще девять лет спустя — 9171, и «Общество серебряных рудников» («Минас д'Ардженьера») станет действительно загребать миллионы, реальнейшие наличные миллионы — те самые миллионы, о которых он только мечтал. Чутье никогда не обманывает Бальзака, но оно всегда руководит только Бальзаком-художником и вводит его в заблуждение, едва он пытается перешагнуть рубеж единственной родной ему сферы.

Стоит Бальзаку претворить свои фантазии в творчество, и они порождают бессмертие. Зато как только он пытается превратить свои иллюзии в деньги, они немедленно увеличивают время его долгов, и ему приходится трудиться в десять, нет, в сто раз больше. Уезжая, Бальзак пророчески написал своей подруге:

«Я страшусь не путешествия, я страшусь возвращения, если план мой потерпит неудачу».

Он знает, что каждый раз, когда он возвращается в Париж, его ожидает одно и то же: извещения, счета, процессы, упреки, требования и бесконечный труд. Все это повторилось и на сей раз, только в удвоенном, в удесятеренном масштабе.

Среди всех дурных предчувствий лишь одна мысль вселяет в него бодрость: мысль о том, что он тотчас же сможет убежать в свой уже готовый дом и «наверстать потерянное время». Однако новое разочарование. Ничего еще не готово. Участок «гол, как ладонь», дом не подведен под крышу, и Бальзак не может приняться в нем за работу, ибо архитектор, каменщики и землекопы — все они работали слишком вяло; ибо Бальзак опять упустил из виду, что всем прочим смертным не свойственны его темпы. И вот нетерпение Бальзака обращается против них. Кровельщики еще возятся на крыше, а он уже въезжает в дом, не считаясь с запретом врача, который считает, что ему вредно пребывать в только что отстроенном здании. Еще не перевезена мебель, которую он сберег на Рю де Батай. День-деньской еще стучат молотки и визжат пилы, ибо садовый флигель для графини Висконти тоже весь от фундамента до крыши перестраивается заново. Посыпаются щебнем и асфальтируются дорожки, возводят со страшным грохотом, с чрезвычайной и страшной поспешностью ограду вокруг его владений. Но Бальзак — неисправимый фантазер. В окружающем его хаосе он с наслаждением провидит завершенное творение и в первом чаду восторга описывает свой новый очаг:

«Мой дом расположен на склоне холма Сен-Клу, который граничит с королевским парком. Вид на запад охватывает весь Вилль д'Авре. На юге мне видна дорога, которая тянется из Вилль д'Авре, вдоль холмов до того места, где начинается Версальский парк. На востоке я вижу Севр, а далее передо мной открывается необычайно широкий горизонт, за которым уже лежит Париж. Испарения великого города окутывают зелень на знаменитых склонах Медон и Бельвю. По ту сто-

рону я вижу Монружскую долину и Орлеанскую дорогу, которая ведет в Тур. Пейзаж, полный удивительного великолепия и поразительных контрастов. Почти вплотную к моему участку прилегает вокзал железной дороги Париж — Версаль, и железнодорожная насыпь тянется в долине Вилль д'Авре, нисколько, однако, не заслоняя вида, расстилающегося перед моими глазами.

Итак, за десять минут и за десять су я могу добраться из Жарди до церкви Мадлен, до центра Парижа! Живи я на Рю де Батай, в Шайо или на Рю Кассини, это обошлось бы мне по меньшей мере в сорок су и отняло час времени. Жарди расположено так удобно, что покупка его отнюдь не была глупостью. Цена этого участка невероятно возрастет. У меня арпан земли, заканчивающийся на юге террасой в 150 футов, окруженный со всех сторон стенами. Здесь еще ничего не посажено, но осенью мы превратим этот клочок земли в эдем, полный растений, цветов и благовоний. В Париже и в окрестностях за деньги можно иметь все. У меня будут расти двадцатилетние магнолии, шестнадцатилетние липы, двенадцатилетние тополя, березы и прочие деревья, пересаженные с корнями вместе с землей, привезенные в корзинах; некоторые из них уже через год принесут плоды. О, наша цивилизация восхитительна!

Пока моя земля еще гола, как ладонь. Но в мае месяце она будет выглядеть потрясающе. Я решил приобрести еще два соседних арпана земли, чтобы иметь огород, фрукты и т. д. Мне понадобится тысяч тридцать франков, и я намерен заработать их этой зимой.

Дом похож на нашест для попугая. В каждом этаже по комнате, а всего этажей три. Внизу — столовая и гостиная, во втором этаже — туалет и спальня, в третьем — рабочий кабинет, где я пишу вам сейчас, глубокой ночью. Все этажи соединены лестницей, смахивающей на стремянку.

Вокруг дома идет крытая галерея, по которой можно прогуливаться. Она окружает второй этаж и покоится на кирпичных столбах. Весь этот маленький особняк, напоминаю-

щий итальянские, окрашен в кирпичный цвет, углы отделаны неотесанным камнем. Пристройка и вестибюль красного цвета. В доме как раз хватает места для меня одного. В шестидесяти шагах от задней стены дома, по направлению к парку Сен-Клу, находятся службы: в первом этаже — кухня, комната для прислуги, кладовая для провизии, конюшня, каретный сарай, чулан для сбруи, ванная, дровяной сарай. Во втором этаже расположена большая квартира, которую, в случае необходимости, можно сдавать, в третьем — помещения для слуг и комната для гостей. К моим услугам источник, который так же хорош, как и знаменитый источник Вилль д'Авре, ибо питается из того же бассейна подпочвенных вод, и участок мой со всех сторон окружен дорожками для прогулок. Еще ни одна комната не обставлена, но постепенно я перевезу сюда из Парижа все свое добро... Тут я буду жить до тех пор, пока не создам свое счастье. Мне уже сейчас так здесь нравится, что, полагаю, здесь я и завершу свои мирные дни, как только у меня будет достаточно денег, чтобы уйти на покой. И тогда я без шума и гама распрощаюсь со всеми моими надеждами и честолюбивыми планами».

Так пишет Бальзак. Свидетельства друзей и визитеров звучат по-иному. В них, во всех без исключения, слышится с трудом подавляемый смех, и даже лучшие, благожелательные друзья Бальзака вынуждены приложить усилия, чтобы сохранять серьезность, когда он с опьяняющим красноречием описывает им прелести своего имения. Домик, который удивительным образом предвосхищает архитектурные идеи Корбюзье и его последователей, напоминает пустую птичью клетку. В саду, который Бальзаку в мечтах его представляется раем, лишь несколько тощих саженцев воздевают к небу свои ручонки. Ни одна травинка не зеленеет на глинистой почве.

Наступает октябрь, потом ноябрь, а шумливая толпа мастеровых все еще топчется на участке, ибо Бальзак каждый день придумывает новые усовершенствования. То он собирается устроить оранжереи для своих ананасов, которые наме-

рен продавать в Париже с невероятной прибылью, то вдруг решает насадить токайские лозы и получать вино неведомой дотоле пламенности, то собирается воздвигнуть каменные ворота с гигантской надписью «Ле Жарди» и провести от ворот к дому зеленую крытую аллею. Кроме того, Бальзак руководит перестройкой флигеля графини Висконти, которая и вправду вскоре последует за своим возлюбленным на «уединенный», а в действительности столь шумный холм. Еще не оплачены счета: сорок три тысячи франков за строительные работы, четыре тысячи обойщику, тысяча слесарю и несколько десятков тысяч за прикупленную землю. Пока еще в этом райском саду не растет ничего, кроме процентов по закладной, как вдруг разражается катастрофа.

Совершая покупку, Бальзак слишком доверился бальзаковскому магическому взору и взял слишком бальзаковские темпы. Плененный красотами пейзажа и преждевременными своими мечтаниями о цветущих садах и пламенеющих виноградных лозах, Бальзак совершенно упустил из виду, что следует пригласить специалиста и исследовать почву, а почва эта — мягкая, скользкая глина. Однажды утром он просыпается от раската грома и бросается к окну. Небо совершенно ясно, грозы нет и в помине. Это не раскат грома, это обрушилась влетевшая в копеечку ограда. Бальзак в отчаянии.

«Тебе, сестра души моей, — пишет он Зюльме Карро, — могу я доверить мою глубочайшую тайну, а именно — я нахожусь сейчас в ужасающем положении. Вся ограда Жарди рухнула. Это вина подрядчика, он не выложил фундамент с соблюдением необходимых правил. Но хотя повинен он один, все тяготы снова падают на мою долю. У него нет ни су, а я уже уплатил ему в качестве задатка восемь тысяч франков».

Но он не может обойтись без этой ограды. Она для него символ его недоступности для всего света, она укрепляет в нем чувство обладания. И вновь призываются рабочие, и вновь возводят стену. И снова проходит несколько дней и

дождливых ночей, и снова раздаётся роковой грохот. Опять осел мягкий грунт, опять рухнула ограда. Но вдобавок возникает новая неприятность. Сосед, на участок которого обрушилась каменная лавина, подает жалобу и грозит процессом. Кто с землей, тот с войной. Заботы землевладельца — эту тему своего романа «Крестьяне» Бальзаку пришлось выстрадать так же глубоко, как некогда тему «Утраченных иллюзий». И потом его ждет злорадство всего Парижа! Все газеты полны анекдотами о доме, в котором Бальзак — гениальный архитектор — якобы забыл построить лестницу. Посетители, посмеиваясь, возвращаются в Париж и рассказывают, что они с опасностью для жизни вынуждены были карабкаться по беспорядочно нагроможденным каменным глыбам.

Анекдоты, правдивые и фантастичные, растут пышнее, чем бальзаковские деревья и цветы. Нисколько не помогает то обстоятельство, что Бальзак все строже уединяется и не приглашает больше гостей. Неизменные посетители с Рю Кассини и Рю де Батай — судебные исполнители и рассыльные — не смущаются крутизной каменистой тропы. Они преисполнены благородных намерений, они собираются сделать несколько просторней тесный домик Бальзака, вывезя из комнат наиболее ценную мебель. Даже в этом убежище, где Бальзак хочет только работать и любоваться красотами природы, начинается старая игра. Чтобы отбить у своих присяжных грабителей охоту к визитам, Бальзак каждый раз, как только наблюдательный пост оповещает его о приближении подозрительного незнакомца, переносит наиболее ценные предметы своей обстановки вниз, к своей возлюбленной. Но как только тучи рассеиваются и судебный исполнитель, не найдя в бальзаковской «клетке для попугая» ничего, кроме письменного стола, железной кровати и нескольких обшарпанных стульев, разочарованный, уезжает, всю красивую мебель с хохотом втаскивают снова наверх.

Эта игра в прятки с кредиторами, которая доставляет Бальзаку ребяческое наслаждение и составляет единствен-

ную отраду в его длящейся всю жизнь борьбе, удастся несколько месяцев подряд.

Но в конце концов он наталкивается на настоящего Гобсека, который, быть может, по его же собственным романам изучил искусство настигать обманщиков-должников. Ростовщик этот, к великой радости парижских любителей сенсаций, подает иск: не к Бальзаку и не к его возлюбленной, а к ни сном, ни духом не виноватому и совершенно беззащитному рогоносцу, к графу Гвидобони-Висконти. Согласно этой жалобе, граф:

«С одной стороны, как укрыватель, видимо, убрал в недоступное место часть мебелировки господина Бальзака, с другой стороны, участвовал в вывозе упомянутой мебели из имения Ле Жарди. Помимо того, граф сознательно старался лишить кредиторов господина Бальзака значительных ценностей, которые служили им залогом их требований. Тем самым он нанес им ущерб, который должен быть возмещен».

И вот греза о Жарди развеялась. Бальзак больше не в силах продолжать игру. «Хижина» обошлась ему в сто тысяч франков — следовательно, дороже, чем иному стоил бы дом на Елисейских полях. Да и с графини Висконти тоже довольно. Непрестанные денежные расчеты совершенно омрачили их отношения, и она покидает Жарди. Но Бальзак не может решиться окончательно распрощаться с мечтой о собственности. Еще раз пытается он проделать трюк псевдопродажи за пятнадцать тысяч франков в надежде через несколько лет с триумфом возвратиться в Жарди. Однако эти мечты столь же нереальны, как и все его иллюзии. Снова должен он отправиться на поиски нового убежища. Он находит квартиру в доме на Рю де Пасси. Единственное из всех его жилищ, которое сохранилось до наших дней и которое мы знаем и чтим как «дом Бальзака».

«Все стало тяжелее, работа и долги» — в этой лаконичной фразе сорокалетний Бальзак описал свое положение. И те три года, которые он провел в своей деревеньке Жарди, не что иное, как отчаянная, все вновь и вновь оканчивающаяся неудачей попытка выпутаться из долгов. Никогда еще Бальзак не работал так лихорадочно, и все-таки вынужден признать, что даже если он будет издавать по пять романов в год, он не сможет погасить сумму, выражающуюся в шестизначных числах. Все напрасно: даже то, что он изо всех своих ящиков извлекает начатые работы, даже то, что он анонимно составляет собрание наполеоновских афоризмов для некоего почтенного буржуа, жаждущего получить орден Почетного легиона. Уже в зените славы Бальзак тайно продает свое перо на потребу чужому тщеславию и бездарности. Громадные суммы, которые ему необходимы, заработать невозможно. Их можно добыть разве посредством волшебства. И так как копи Нурры отказались обогатить его своим серебром, он пытается теперь докопаться до иной, до золотой жилы.

Преодолевая отчаянную неохоту — ведь у него не лежит душа к этому делу, — Бальзак принуждает себя заняться театром. Он прекрасно знает, что не рожден комедиографом, что он предназначен создать «Человеческую комедию». Внутренний голос подсказывает ему, что дар его никогда не проявится полностью в драматической форме. Романы Бальзака замечательны не яркими и броскими сценами, а медленными химическими реакциями, взаимоотношениями характеров, их связью с почвой и средой. Он должен писать так же плавно, как течет река, ему необходимы простор и глубина, и не случайно все инсценировки бальзаковских романов не имели успеха. Любой из его образов, перенесенный на ограниченное пространство сцены, кажется неестественным, ибо утрачивает тонкую игру нюансов, логику переходов.

И однако, сконцентрировав всю свою волю, сосредоточив все свои силы, гений Бальзака, вероятно, и в драматическом жанре доработался бы до мастерства. Но Бальзак вовсе и не думает сконцентрировать всю свою волю и сосредоточить все свои силы именно в этой области. Былые иллюзии времен Рю Ледигьер давно исчезли; мечта Бальзака стать новым Расином или Корнелем давно развеялась. Теперь он рассматривает театр — лишь как средство заработать деньги. Для него это только махинация, к которой он холоден и внутренне безразличен, только сделка — с творческой точки зрения такая же, как выращивание ананасов или биржевые фокусы с акциями Северной железной дороги. С полным циничным хладнокровием Бальзак пишет мадам Карро во время своего путешествия в Сардинию: «Если мне не удастся это дело, я очертя голову брошусь в объятия театра».

Для него театр только «последнее средство», обещающее «больше доходов, чем мои книги». С грифелем в руках подсчитывает он, что пьеса, имеющая успех, может принести сто и даже двести тысяч франков дохода. Понятно, он не уверен, что первая же попытка принесет такой материальный успех. Но если писать в год пьес десять—двадцать, то можно с математической точностью высчитать, когда именно вытянешь главный выигрыш.

Сами масштабы подсчета — от десяти до двадцати пьес в год — показывают, как мало усилий предполагал затратить на них Бальзак. Он намерен швырять свои опусы театрам столь же небрежным жестом, каким швыряют луидор на зеленое поле рулетки, — ведь в игре все решает не достоинство, а случай. Бальзаковская концепция его грядущей драматургической деятельности совершенно недвусмысленна. Самое важное — найти директора театра, с которым удастся заключить возможно более выгодный договор и от которого можно добиться возможно более крупного аванса. Ради этого стоит попотеть. Придется опереться на всю славу своего имени, на всю убедительность своего красноречия, на всю свою изворотливость. Но зато, если это препятствие будет преодо-

лено, останется завершить только второстепенную работу — представить к установленному сроку драму. Впрочем, это уже детская игра по сравнению с геркулесовыми усилиями, которые потребуются, чтобы выколотить десять или двадцать тысяч франков аванса. У Бальзака сотни идей в голове и десятки незрелых опытов в ящиках письменного стола. Итак, следует нанять «негра» — эдакого молодого парня, чтобы не слишком дорожился, — изложить ему фабулу, затем пройти по его писанине рукой мастера и, сделав один-два штриха, придать всей пьесе блеск и очарование. Таким способом можно, тратя на каждую пьесу дня три-четыре, преспокойно писать их дюжинами в год, просто левой рукой. Зато правая будет с обычной тщательностью и страстью создавать настоящие вещи — романы.

Задача сфабриковать пьесу, которая непременно принесет сто тысяч франков, кажется Бальзаку до того несложной, что он даже не прилагает особых усилий, и, не утруждая себя поисками действительно опытного сотрудника, берет первого попавшегося, совершенно опустившегося забулдыгу. Шарль Лассальи никогда еще не имел дела с театром, и даже самые покладистые критики не способны отыскать у него и крупинцы таланта. Никто не может сказать, где Бальзак откопал этого несчастного, жалкого неврастеника, этого рыцаря печального образа, эту ходячую карикатуру, этого унылого субъекта с фантастически длинным носом и всклокоченной, в знак мировой скорби, шевелюрой! Быть может, Лассальи попался ему на улице или в кафе. Но как бы там ни было, Бальзак, не наводя никаких справок, поволок свою совершенно потерявшуюся жертву прямо в Жарди и устроил его там как своего гостя и сотрудника, предполагая еще в тот же день начать с ним совместно трагедию. В действительности же начинается комедия — одна из самых нелепых комедий в жизни Бальзака.

Ибо, когда Бальзак, подавляя Лассальи своим бурным красноречием, тащит его в Виль д'Авре, бедняга не имеет никакого понятия о том, чего, собственно, добивается его

покровитель. У Лассальи нет никакой идеи пьесы и ни малейшего представления о том, как она пишется. Впрочем, этой идеи от него и не требуют. По дороге домой Бальзак открыл по нему ураганный огонь. Он засыпал его проектами и планами, а затем досыта накормил изголодавшегося забулдыгу. Великий романист обедает в пять часов дня, трапеза очень обильна, бедного писаку потчуют такими винами, каких он отродясь еще не пивал. Настроение его явно поднимается, и, быть может, он и впрямь вдохновил бы Бальзака своими советами. Но, к его изумлению, Бальзак, отобедав, выходит в шесть часов из-за стола и приказывает гостю отправиться на боковую.

Лассальи, для которого, как и для прочей богемы, истинный день начинается ночью и который, вероятно, с самого детства никогда не ложился спать в шесть часов вечера, не решается все же противоречить. Он позволяет проводить себя в отдельную комнату, разоблачается, укладывается в постель и после обильных возлияний засыпает основательнейшим образом.

Лассальи спит беспробудно. Но в полночь, когда ему снится самый упоительный сон, кто-то безжалостно его будит. Перед его кроватью, как привидение, маячит Бальзак в своей белоснежной рясе. Принципал приказывает ему подняться. Пора приступить к работе.

Бедняга Лассальи, не привыкший к бальзаковским суткам наизусть, вздыхая, встает с постели. Он не решается сопротивляться своему новому повелителю и кормильцу и до шести утра, заспанный, обалдевший, слушает наметки Бальзака. В шесть часов утра Бальзак милостиво позволяет ему немного поспать. Днем Бальзак трудится над своим романом, а Лассальи обязан набросать начальные сцены, чтобы потом в полночь представить черновик, над которым они вместе будут работать.

В полночь бедняге Лассальи становится дурно. Это нелепое расписание просто сбивает его с толку: днем ему плохо спится, ночью, естественно, еще хуже работается. Жалкий

текст, который он приносит, отвергается на полуночном заседании, и подпольному драматургу приказано снова прина-лечь. Тщетно Лассальи в течение нескольких суток терзает свой изможденный мозг. Бедный «негр» утрачивает сон и аппетит от сознания, что с полуночи до утра ему придется спорить со своим работодателем, и однажды ночью, когда Бальзак входит в спальню Лассальи, оказывается, что его соавтор сбежал, оставив письмо:

«Я чувствую себя обязанным отказаться от работы, которую вы поручили мне с таким безграничным доверием. Всю ночь я терзал себя, но мне не пришла в голову ни одна мысль, которую стоило бы записать, которая была бы достойна вашего драматургического замысла. Я не решился сказать вам это, но мне нет больше смысла есть ваш хлеб. То, что мой разум оказался столь бесплодным, ввергает меня в отчаяние. Это был такой прекрасный и такой неожиданный случай, и я жаждал избавиться от всех своих злоключений...»

Бегство Лассальи столь неожиданно, что у Бальзака нет времени подыскать другого сотрудника, и ему приходится собственноручно закончить «Старшую продавщицу», или, как он назвал эту пьесу впоследствии, «Школу супружества», чтобы выцарапать в театре «Ренессанс» обещанный задаток в шесть тысяч франков. Когда он трудится над последним актом, не менее двадцати наборщиков уже набирают первый, дабы автор мог немедленно заключить договор. И, таким образом, через несколько дней писатель оказывается в состоянии сдать свою уродливую мазню. Но, увы, Бальзаку приходится узнать, что театральные директора, в высшей степени равнодушные к беллетристической славе, заботятся о своих будущих сборах не меньше, чем Бальзак о своих авансах. Директор хладнокровно отвергает пьесу. И сотни тысяч франков, пригрезившиеся Бальзаку, опять развеяны вихрем действительности, и опять он вписал только новый эпизод в свои утраченные иллюзии. Всякий другой на его месте почувствовал бы себя униженным или обескураженным; но у Бальзака неудачи вызывают всегда только один и тот же

эффект — он удваивает, нет, удесятерит свою энергию. Разве с романами у него было иначе? Разве не наталкивался он сперва на отказы? Разве многие годы подряд не испытывал одни разочарования? Со свойственным ему суеверием он видит в этом первом своем поражении гарантию будущего успеха:

«Моя театральная карьера начнется так же, как начиналась моя литературная карьера. Мой первый труд будет отклонен».

Итак, приступим к новой пьесе! Заключим новый договор!

Бальзак полон одним неискоренимым стремлением: он хочет театрализовать старые свои романы и диалоги, а вовсе не писать новые пьесы. И новая его драма удастся ему несколько не лучше. Но договор он на этот раз заключил куда выгоднее. Наученный первым горьким опытом, Бальзак не желает больше идти на унижение и принимать в свои объятия отвергнутую рукопись. И Арель — директор театра «Пор Сен-Мартен» — вынужден дать обязательство принять к немедленной постановке еще не написанную вещь. Благодаря счастливой случайности Бальзак узнал, что Арелю крайне срочно необходима завлекательная пьеса, и он предлагает ему инсценировать «Вотрена». Арель мгновенно воспылал энтузиазмом. Вотрен, персонаж «Отца Горио» и «Утраченных иллюзий», сделался уже столь популярной фигурой, что появление его на подмостках, в особенности если играть его будет Фредерик Леметр, должно стать настоящей сенсацией. Наконец-то братски объединились две иллюзии: иллюзия драматурга и иллюзия театрального директора. Договор подписан, и каждый из золотоискателей подсчитывает в уме грядущие несметные барыши.

На этот раз Бальзак принимается за дело энергичнее. Желая иметь под рукой Ареля, он на несколько недель покидает Жарди и поселяется у своего портного Бюиссона на Рю Ришелье, в пяти минутах ходьбы от театра. Он имеет также возможность присутствовать на всех репетициях пьесы

и тщательно подготовить свой великий триумф. Бальзак за-
годя обрабатывает прессу, широко рекламирует будущий
спектакль. Он покоряет всех своей нечеловеческой отвагой.
Ежедневно видят его в театре в затрапезном сюртуке, без
шляпы, в измятых широких штанах, в башмаках с вылезши-
ми языками. Пыхтя и отдуваясь, обсуждает он с актерами
наиболее эффектные сцены и заранее заказывает у кассира
места для всех своих знакомых. Ведь он уже решил, что на
эту премьеру соберется «весь Париж», вся аристократия кро-
ви и духа. Только одну мелочь упустил он из виду в этой
суматохе, а именно: написать пьесу. Он уже изложил в об-
щих чертах фабулу директору театра, он уже проинструкти-
ровал каждого актера в отдельности; репетиции вот-вот дол-
жны начаться, но господин директор Арель и в глаза не видел
рукописи, но никто из актеров не прочел и строчки роли. В
двадцать четыре часа, клятвенно заверяет Бальзак, театр
получит текст, все давно уже готово: Бальзак вечно принима-
ет желаемое за действительное — завтра же можно при-
ступить к репетициям.

О том, как Бальзак собирался за сутки накатать пяти-
актную пьесу, повествует верный друг его Теофиль Готье,
один из немногих, в чьих рассказах нет и тени преувеличе-
ния. Находясь на постое у портного Бюиссона, Бальзак
срочно созывает свой генеральный штаб — своих надежных
друзей. Последним из пяти является Теофиль Готье; и
Бальзак в монашеском облачении, нетерпеливо шагая взад-
вперед, приветствует его с широкой улыбкой: «Наконец-то
явился наш Тео, лентяй! Бродяга, соня, скорее за дело! Ты
обязан был быть уже здесь час назад! Я должен завтра про-
честь Арелю гигантскую пятиактную драму!» И тут следует
забавнейшая сцена, о которой рассказано в «Портретах»
Готье:

«Так, значит, ты хочешь выслушать наше профессиональ-
ное мнение?» — ответили мы и удобно расселись, как люди,
которые собираются внимать длительному чтению. Бальзак
угадал наши мысли.

«Драма вовсе не написана», — сказал он с невиннейшим выражением лица.

«Проклятье! — ответил я. — Ну, тогда придется отложить чтение месяца на полтора».

«Нет, — возразил Бальзак, — мы сейчас быстренько накропаем драму, чтобы заприходовать гонорар. Мне необходимо выполнить неотложное обязательство».

«Но до завтра это никакими силами не удастся сделать; не хватит времени даже на то, чтобы просто перебелить рукопись».

«Я все это уже обмозговал: ты напишешь первый акт, Урлиак — второй, Лорен-Жан — третий, дю Беллуа — четвертый, я возьму на себя пятый и завтра в полдень, как было договорено, прочту Арелю пьесу. В каждом акте не больше четырехсот-пятисот строк, их можно без труда набросать за сутки».

«Ну, так расскажи нам вкратце сюжет, дай нам план, опиши главные черты персонажей, и тогда я возьмусь за дело», — ответил я в некотором смятении.

«Бога ради, — воскликнул Бальзак с покоряющим великолепием и очаровательным пренебрежением к подобным пустякам. — Да ежели я начну рассказывать сюжет, мы никогда не кончим!»

Допытываясь о сюжете, мы не собирались ничего разболтать. Но Бальзаку это было явно неприятно. Наконец с превеликим трудом мы выудили из него несколько намеков на содержание пьесы.

Засим был наспех сочинен сценарий, от которого в окончательной версии осталось лишь несколько слов. Как каждый может себе представить, пьеса не была прочитана на следующий день. Ни один из соавторов не знал, что делают другие, единственный, кто действительно всерьез приложил руку к пьесе, был Лорен-Жан. Ему и посвятил ее впоследствии Бальзак».

Можно представить себе, что получилось из этой пьесы. За много столетий существования французского театра вряд

ли появлялась халтура более ничтожная, чем этот «Вотрен», о котором Арель, желая избежать банкротства, заранее рас-трубил, как о великом шедевре. Напрасно скупает Бальзак половину мест. В течение первых трех актов публика настроена холодно и даже несколько смущена. Друзья писателя испытывают чувство неловкости при мысли, что эта наспех сколоченная сенсационная комедия носит имя Бальзака. Да нам и ныне неприятно видеть ничтожный шарж в полном собрании его сочинений. Во время четвертого акта разразилась буря негодования. Появляется Вотрен в мундире мексиканского генерала. Однако исполнитель этой роли Фредерик Леметр выбрал парик, подозрительно напоминающий прическу Луи-Филиппа. Кое-кто из роялистов поднимает свист, и представление заканчивается под оглушительный шум.

На следующий день король запрещает пьесу, постановку которой автор и сам не должен был разрешать. Чтобы утихомирить Бальзака, управляющий министерством изящных искусств предлагает ему компенсацию в размере пяти тысяч франков. Но Бальзак, разумеется, обремененный долгами, гордо отказывается принять эту подачку. Он желает спасти хоть моральный престиж при столь жалком провале. Впрочем, и эта катастрофа ничему не научила неисправимого. Еще трижды пытается он счастье на подмостках.

«Изворотливый Кинола» и «Памела Жиро» — пьесы гораздо более удачные, чем «Вотрен». Но и им суждено провалиться. Только одна-единственная пьеса — «Делец» («Меркаде») оказалась не вовсе недостойной его гения. Но она была поставлена уже после смерти Бальзака. Ему всегда отмщается, когда он берется за дело, лежащее вне сферы его естественного призвания. И с грустью думает Бальзак, как мудры были шуточные слова Гейне, который, повстречав его на бульваре перед премьерой «Вотрена», дружески посоветовал ему писать только романы: «Берегитесь! Человек, привыкший к брестской каторге, чувствует себя неуютно на тулонской. Оставайтесь на вашей старой каторге!»

Строительство Жарди, серебряные копи Нурры, фабрикация пьес — вот три великие глупости, которые свидетельствуют о том, что во всех земных делах сорокалетний Бальзак столь же наивен, доверчив и неисправим, как и Бальзак в двадцать и в тридцать лет.

Сумасбродства Бальзака, как и его творчество, только возросли в масштабах, сделались фантастичнее, порывистее, причудливее и демоничнее.

Но нам, отдаленным во времени и поэтому более зорким, уже не приходится, подобно непочтительным его современникам, забывать при виде его ослепления о его проницательности, при виде его разорительных глупостей о творческих его свершениях.

В те самые годы, когда газеты полны пикантных анекдотов об ананасных плантациях Жарди, когда критики, журналисты и публика злорадно ликуют, радуясь театральным провалам Бальзака, Бальзак творит. Бальзак неутомимо занят своим главным трудом — «Человеческой комедией».

Спекулируя земельными участками, основывая новую газету, ведя процессы и тяжбы, он с прежней настойчивостью и упорством продолжает возводить свой собственный мир. Покуда плотники стучат топорами, покуда рушатся стены Жарди, он завершает грандиозную вторую часть «Утраченных иллюзий», одновременно работая над продолжением «Блеска и нищеты куртизанок», над «Музеем древностей», над великолепно задуманным, хотя и не вполне удавшимся романом «Беатриса». Он пишет замечательные вещи: политический роман «Темное дело», глубокие реалистические произведения «Баламутка» и «Воспоминания новобрачных».

Вслед за удивительной музыкальной новеллой «Массимилла Дони» появляются «Мнимая любовница», «Урсула Мирруэ», «З. Маркас», «Пьеретта», «Дочь Евы», «Тайны княгини де Кадиньян», «Провинциальная муза», «Кальвинист-мученик», «Пьер Грассу», множество статей да к тому же наброски «Сельского священника» и фрагменты «Мелких невзгод супружеской жизни».

Снова за четыре бурных года он создал произведения, которые по объему и художественной значимости для любого другого писателя были бы славным итогом всей прожитой жизни. Ни малейшего отзвука житейских передраг не слышится в этих творческих грезах; ни одна из многократно осмеянных эксцентрических черт характера Бальзака не проявляется в абсолютной законченности его творений. А многие из этих творений — «Массимиλλα Дони», «Пьер Грассу», «Темное дело», «Баламутка», «Мнимая любовница» — по завершенности композиции, по сдержанности стиля, прежде столь часто небрежного и многословного, превосходят все ранее созданное им. Словно тайная горечь разочарований и неудач, подобно благодетельной кислоте, медленно разъела все слащавое и сентиментальное, что в ранних вещах Бальзака еще оставалось данью романтическому вкусу эпохи, тяготевшей к неправдоподобному.

Чем старше становится Бальзак, чем трудней приходится ему в тисках бытия, тем больше становится он реалистом. Все более острым, все более недоверчивым взором проникает он во взаимоотношения и взаимосвязи, со все более пророческим знанием обзирает он хитро сплетенные нити. Сорокалетний Бальзак нам ближе сегодня, чем тридцатилетний. Прошедшие десять лет приблизили его к нам на столетие. Но даже в этих вещах, в этих творениях, порожденных титанической работоспособностью, бальзаковская творческая сила еще отнюдь не исчерпала себя. Замурованный в работу, он глядит из-за опущенных штор и видит мир яснее, чем другие. Уже не раз у него возникало искушение испытать свою активность и в этой живой жизни.

Он знает, что несколько парижских писателей попытались наконец объединиться для защиты своих прав. Они основали «Общество литераторов», хилое, немощное объединение. Собираясь иногда за столом, они выносят разные резолюции. Впрочем, участники этих совещаний вялы, резолюции их остаются только на бумаге, а бумага покрывается пылью в министерских архивах.

Бальзак — первый литератор, который понял, что если бы писатели действительно объединились и осознали свою миссию, они могли бы сделаться настоящей силой. И вот со всей своей бурной энергией он пытается выковать из этой вялой, аморфной массы серьезное оружие для защиты писательских прав. Здесь, как и во всех его концепциях, проницательный взор Бальзака опередил свою эпоху на много десятилетий. Бальзак всегда энергичен и целеустремлен, когда он ожесточается. А у него есть основания ожесточиться.

Каждую его книгу, еще влажную от типографской краски, захватывают литературные «пираты». Они перепечатают ее в Бельгии, не платят ему ни одного су и наводняют все зарубежные страны изданиями куда более дешевыми, чем французские. Эти издатели не обременены необходимостью платить гонорар и набирают книги самым небрежным образом. Но Бальзак относится к этому литературному разбою не как частное лицо. Он считает, что дело идет о чести всего писательского сословия, о его положении в глазах мирового общественного мнения. Бальзак набрасывает проект «Литературного кодекса», который для литературной республики явился документом такого же исторического значения, как «Декларация прав человека» для Французской республики и «Декларация независимости» — для американской. Он читает доклады на эту тему — он вновь и вновь пытается заставить писателей действовать сообща. Но начинается сопротивление, возникают мелкие дразги, и Бальзак выходит из «Общества», которое недостаточно велико для его идей и недостаточно действенно для его великого темперамента.

Неизменное повторение: на реальный мир этот могущественнейший человек своей эпохи не оказывает никакого воздействия. В эти годы Бальзаку еще раз приходится убедиться в этом.

Некий нотариус Пейтель, личность туманная, был обвинен в убийстве своей жены и ее лакея и приговорен судом

присяжных к гильотинированию. И, по всей вероятности, приговор был справедлив.

Этот Пейтель, бывший журналист, безнадежно погрязший в долгах, женился на косоглазой, но зато весьма состоятельной креолке, о прошлом которой ходили удручающие слухи. Переехав в дом к мужу, креолка взяла с собой лакея своих родителей. По-видимому, он был ее любовником. Однажды ночью, когда жена Пейтеля и ее лакей возвращались домой из соседнего местечка, они оба были убиты.

Подвергнутый допросу с пристрастием, Пейтель признался, что стрелял в лакея. Убийство любовника жены еще можно было простить. Но присяжные единодушно выразили мнение, что, воспользовавшись удобным стечением обстоятельств, Пейтель застрелил и жену, намереваясь унаследовать ее состояние. В начале своей литературной деятельности Бальзак хорошо знал этого Пейтеля, он был его коллегой по журналу «Вор». Теперь это дело занимает его с психологической точки зрения. А быть может, ему хочется продолжить традицию, начало которой положил Вольтер в деле Каласа и которую столь славно завершил Золя в деле Дрейфуса, — традицию, по которой французский писатель выступает провозвестником справедливости, защитником невинных и несчастных. Бальзак забрасывает работу — для него это величайшая жертва — и отправляется вместе с Гаварни в Беллей, чтобы лично переговорить с осужденным. Легко воспламеняющаяся фантазия Бальзака убеждает его, что Пейтель стрелял исключительно ради самозащиты и что только случайно в темноте он попал в убегающую женщину. Бальзак тотчас же составляет памятную записку — шедевр юридической проницательности и судебно-медицинской логики — и вручает ее кассационному суду. Но кассационный суд считает прошение, исходящее не из официальных сфер, как бы несуществующим и рассматривает только кассационную жалобу присяжного защитника Пейтеля — жалобу, которую так же отклоняют, как, впрочем, и просьбу о помиловании, поданную королю. Бальзак, вложивший в это дело деньги, время

и всю свою страсть, терпит полное поражение. Пейтеля казнят.

Но писатель, все еще с трудом воспринимающий действительность, должен был получить и третий урок, ибо нельзя испытывать в реальном мире силу, эффективную лишь в мире фантазии.

Четырех лет оказалось достаточным, чтобы Бальзак забыл катастрофу с «Кроник де Пари» и те двадцать тысяч франков, в которые ему влетела эта злосчастная газетенка. Он не в силах больше подавлять стремление обращаться к обществу непосредственно, оповещать весь мир о своих политических, литературных и социальных взглядах. Но он устал. Он знает, что каждое независимое слово непременно изувечат или заглушат. Своим независимым поведением он нажил себе врагов среди журналистов, издателей и редакторов, и для того чтобы не задохнуться от полноты чувств, он вынужден время от времени создавать свой собственный орган. На этот раз журнал называется «Ревю Паризьен», и Бальзак не сомневается в успехе, ибо он решил делать его почти весь самолично. Неужели Париж, неужели весь мир не превратится в слух, когда Оноре де Бальзак, единственный свободный, независимый политик и мыслитель Франции, еженедельно станет высказывать свои политические воззрения? Когда Оноре де Бальзак, маршал литературы, будет самолично сообщать обо всех новейших и значительнейших книгах и спектаклях? Когда Оноре де Бальзак, первый беллетрист Европы, начнет публиковать в нем свои новеллы и романы?

Только так и может выйти из этого толк. Да, он не станет передоверять работы никому другому. Дело, которое требует усилий пяти человек, Бальзак берет на себя одного, причем одновременно он проводит еще репетиции в театре и пишет романы. Бальзак взваливает на свои плечи все финансовое руководство. Он один редактирует свой еженедельник, и пишет его тоже один. Бальзак читает корректуры, договаривается с типографиями, подстегивает наборщиков, присматри-

вает за розничной продажей. С утра до ночи в распахнутом сюртуке, потев и отдуваясь, он то спускается из редакционного кабинета в наборный цех, но снова поднимается наверх в редакцию. В сутолоке, за измызганным столом, засучив рукава, наспех пишет он статью и в то же время дает различные указания. С изумлением узнает случайный посетитель, что неряшливый, обшарпанный, обрюзгший человек, читающий корректуры, человек, которого он принял за обтрепанного наборщика, — это и есть Бальзак, знаменитый писатель, хозяин сказочного замка в Вилль д'Авре.

Три месяца работает Бальзак. Одни только статьи, которые за эти четверть года он настрочил для своего журнала, могли бы составить три, если не четыре, тома обычного формата. Но Бальзаку суждено утратить еще одну иллюзию. Ни Париж, ни свет и знать не хотят, что думает Оноре де Бальзак о политике. И его литературные, философические и социальные воззрения тоже не возбуждают особого интереса. Спустя три месяца Бальзак забрасывает газету. Беспрецедентная трата сил опять оказалась напрасной.

И все же не совсем напрасной. Не совсем бессмысленной. Ведь если бы за три месяца в «Ревю Паризьен» не было опубликовано ничего, кроме статьи о «Пармской обители» Стендаля, то и тогда эта газета имела бы величайшие заслуги перед французской словесностью. Никогда еще великодушие Бальзака и его поразительное художественное чутье не проявлялись с таким благородством, как в этом гимне, возвестившем о появлении еще никому не ведомой книги никому не ведомого автора. Во всей мировой литературе отыщется немного примеров такой пронизательности и дружелюбия. Чтобы воздать должное благородству, с которым величайший романист Франции столь великодушно вручит пальму первенства величайшему своему соратнику в области романа, пытаясь — и здесь тоже на сто лет опережая свою эпоху — «поднять его на самое высокое место, которое по праву ему принадлежит», мы должны сравнить чисто внешние обстоятельства жизни этих двух людей.

В 1840 году Бальзак уже был знаменит во всех уголках Европы, Стендаль же, напротив, столь безвестен, что спустя несколько лет в посвященных ему некрологах немногие газеты, которые позволили себе эту роскошь, называют его не Стендаль, а Стенгаль и настоящую его фамилию Бейль пишут как Байль.

Перечисляя французских писателей, о нем и вовсе не упоминают. Журналы прославляют, восхваляют, порицают, высмеивают Альфонса Карра, Жюль Жанена, Сандо, Поль де Кока — прилежных сочинителей, чьи писания нынче всеми забыты. Пачкотня их расходуется в десятках тысяч экземпляров, зато публика покупает всего лишь двадцать экземпляров стендалевского трактата «О любви». Эту книгу сам автор в шутку называет «святыней», ибо никто не решается прикоснуться к ней.

При жизни писателя «Красное и черное» выдерживает только одно издание. Все профессиональные критики проглядели Стендаля. Сент-Бев при появлении «Красного и черного» находит, что не стоит труда высказываться об этой книге. Позднее он все же высказывается, но не жалеет иронии: «Герои Стендаля безжизненны — это просто хитроумные автоматы».

«Газетт де Франс» пишет: «Господин Стендаль не дурак, хотя и пишет дурацкие книги», а похвала Гете, высказанная им в разговоре с Эккерманом, станет известна лишь спустя много лет после смерти Стендаля. Но Бальзак уже в ранних вещах никому не ведомого писателя разглядел своим быстрым и проницательным взором особую интеллектуальную глубину и психологическое мастерство неизвестного, который лишь время от времени, словно истинный дилетант, для собственного удовольствия пишет книги и отдает их в печать, не проявляя особого честолюбия. Бальзак использует каждую возможность, чтобы высказать Неизвестному свое уважение. В «Человеческой комедии» он упоминает о «процессе кристаллизации любви», который впервые описан Стендалем, и ссылается на его итальянские дневники.

Стендаль слишком скромен, чтобы в ответ на эти знаки внимания приблизиться к Бальзаку, к великому, прославленному Бальзаку. Он даже ни разу не послал ему какую-либо из своих книг. К счастью, верный друг Стендаля Раймон Коломб берется обратить внимание Бальзака на «Пармскую обитель» и просит его принять участие в произведении непризнанного автора. Бальзак отвечает ему тотчас же (20/III 1839 г.):

«Я только что прочитал в «Конститусионнель» статью с выдержкой из «Пармской обители», и она наполнила меня греховной завистью. В самом деле, лихорадка ревности охватила меня при чтении великолепного и правдивого описания битвы. О чем-то подобном я всегда мечтал для «Сцен военной жизни», труднейшего раздела в моем творении. Этот отрывок наполнил меня восторгом, огорчил, восхитил и поверг в отчаяние. Я говорю вам это с полной откровенностью. Не удивляйтесь, пожалуйста, если я не сразу отвечаю согласием на вашу просьбу. Я должен сперва получить всю книгу. Верьте моему прямодушию. Я скажу вам все, что я о ней думаю. Прочитав этот отрывок, я стал взыскательней».

Любого человека, наделенного мелкой душой, раздосадовало бы, что другой, да еще с таким убедительным мастерством, предвосхитил сцену его будущего романа, описание наполеоновской битвы. Уже десять лет мечтает Бальзак о романе «Битва». Он хочет вместо героически-сентиментального повествования дать, наконец, реалистически честное, исторически подлинное, наглядное описание. И вот это сделал Стендаль, а он, Бальзак, промешкал. Но духовное богатство всегда придает художнику великодушие и благородство. Себялюбие писателя, лелеющего сотни планов, мысленно видящего сотни новых творений, не может быть уязвлено тем обстоятельством, что современник его тоже создал шедевр. А именно как шедевр, как величайший шедевр своего времени торжественно отмечает Бальзак появление «Пармской обители». Он называет ее «шедевром литературы идей» и весьма верно замечает: «Эту огромную работу мог задумать и вы-

полнить лишь человек, достигший пятидесяти лет, в расцвете сил и зрелости таланта».

Бальзак дает прекрасный анализ внутреннего действия романа, он подчеркивает, как великолепно Стендаль описал душу итальянского народа со всеми ее оттенками. Ни одно слово Бальзака в этой рецензии не утратило своего значения и по сей день.

Трогательны изумление и испуг Стендаля, французского консула в захолустном Чивита-Веккиа, когда эта статья попала ему в руки. Ведь он и не подозревал о ее существовании. Сперва Стендаль не верит собственным глазам. До этого мгновения он всегда слышал о своем творчестве только пошлую болтовню. И вот раздался голос человека, которого он уважает, и этот человек по-братски приветствует его. Смятение Стендаля ясно ощущается в письме, которое он посылает Бальзаку, в письме, где он тщетно пытается сохранить сдержанность:

«Что за сюрприз доставили вы мне вчера вечером, сударь. Никогда, полагаю, ни одного автора так не критиковали в газете, да еще лучший судья по этой части. Вы обогрели сироту, брошенного посреди улицы...» — так начинает Стендаль и благодарит за «изумительнейшую статью из всех когда-либо опубликованных писателем о писателе». С прозорливостью, равной творческой прозорливости Бальзака, Стендаль принимает предложение братства от человека, который, как и он, презрительно отвергнут Академией. Стендаль чувствует, что они оба творят не для современников, а для потомков:

«После смерти мы поменяемся ролями с этими людьми. Пока мы живы, они имеют власть над нашей преходящей плотью, но не успеют они покинуть сей мир, как их навеки покроет забвение».

Удивительный пример того, как благодаря таинственному родству душа всегда узнает душу. И странно видеть, что под грохот и гам, поднимаемый литературными посредственностями, эти двое сосредоточенно и спокойно, с терпеливой

уверенностью смотрят в глаза друг другу. Редко магический взгляд Бальзака оказывался более зорким, чем в этом случае, когда среди тысяч и тысяч книг он узнал и восславил именно эту, никем не замеченную книгу.

Но перед его современниками защита Стендаля оказалась такой же безуспешной, как и защита Пейтеля. Точно так же, как все судебные инстанции осудили на смерть Пейтеля, так и Стендаль осужден всеми литературными инстанциями, и произведение его бесславно предано земле. Пламенная защитительная речь и здесь оказалась неслышанной и напрасной, если только великое нравственное деяние, независимо от того, имело оно успех или не имело, может быть названо напрасным.

Напрасно! Напрасно! Напрасно! Слишком часто Бальзак произносил это слово и слишком часто слышал его. Ему уже сорок два года, он написал сто томов. Он извлек из собственного, не ведающего отдыха мозга две тысячи персонажей, и среди них пятьдесят, а может быть, и сто окажутся вечными. Он создал целый мир, но мир ничем не вознаградил его.

Теперь ему сорок два года, а он бедней, чем был двадцать лет тому назад на Рю Ледигьер. Тогда он питал множество иллюзий, сегодня они развеялись как дым. Двести тысяч франков долга — вот результат его трудов.

Он добивался благосклонности женщин — они отказали ему в ней. Он выстроил дом — дом этот описали за долги и отняли у него. Он основал газеты — они погибли. Он пускался в рискованные предприятия — они не удались. Он добивался места в парламенте своей страны — его не выбрали. Он выставил свою кандидатуру в Академию — и был отвергнут. Все было напрасно, или кажется напрасным. Все, что бы он ни предпринимал.

Долго ли еще его тело, его пылающий мозг, его вечно подстегиваемое сердце смогут сопротивляться этому вечному перенапряжению? Действительно ли у него хватит сил завершить свое творение, свою «Человеческую комедию»? Сможет ли он еще, как другие люди, отдыхать, путешествовать

и не знать забот? Впервые приходят к Бальзаку мгновения безнадежности. Всерьез обдумывает он — не покинуть ли ему Париж, Францию, Европу? Не поселиться ли в Бразилии? Там правит император Дон Педро, который спасет его и даст ему крышу над головой. Бальзак выписывает книги о Бразилии, он мечтает, он размышляет. Ибо он чувствует, что дальше так продолжаться не может. Должно свершиться чудо, чтобы спасти его от напрасного труда, чтобы озарить ночь, освободить его от каторги, даровать успокоение после этой невыносимой траты сил. Придет ли это чудо, придет ли оно в последний час? Бальзак, вечный фантазер, уже утратил надежду. Но однажды утром, 5 января 1842 года, когда, проработав всю ночь, он встает из-за письменного стола, слуга подает ему письма. Одно из них, написанное хорошо знакомым почерком, в необычном конверте, с черной каймой и под черной печатью.

Он вскрывает конверт. Госпожа Ганская извещает его, что ее супруг скончался. Женщина, которая с ним помолвлена, женщина, с которой он помолвлен, — вдова и наследница миллионов. Уже полузабытая мечта внезапно исполнилась. *Incipit vita nova* — так вот она — начинается новая, счастливая, мирная, беззаботная жизнь!

И возникает последняя иллюзия Бальзака, ради которой он будет жить и с которой умрет.





Книга пятая

СОЗДАТЕЛЬ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ»

ХІХ. БОРЬБА ЗА ГОСПОЖУ ГАНСКУЮ

Письмо, пришедшее 5 января 1842 года, знаменует последний великий перелом в жизни Бальзака. Прошлое становится настоящим и грядущим. С этой минуты его чудовищная воля стремится к единственной цели: воскресить старую привязанность к госпоже Ганской, превратить помолвку в венчание, обещание — в исполнение. Но чтобы достичь этой цели, требуются чрезвычайные усилия. Ибо в последние годы отношения с госпожой Ганской становились все формальнее, все холоднее и неискреннее. Нельзя насиловать природу столь длительное время. Бальзак и госпожа Ганская не виделись семь лет. Бальзак не мог приехать в Верховню из-за финансовых затруднений или, быть может, из-за связи с графиней Висконти. А госпожа Ганская не хотела или не могла заставить своего супруга отправиться в путешествие, которое сделало бы возможной ее встречу с возлюбленным. Но точно так же, как пламени необходим кислород, точно так же и любви необходимы близость и присутствие любимого. Отношения их постепенно утратили свой страстный характер.

Тщетно пытается Бальзак обрести в письмах прежний восторженный тон. Тон этот звучит не совсем естественно, и госпожа Ганская с полной ясностью видит искусственность его пыла. От своих парижских знакомых и родственников она знает, что графиня Висконти проживает в Жарди рядом с Бальзаком. Побег с мадам Марбути произвел слишком большую сенсацию, и можно понять гнев госпожи Ганской, когда

Бальзак, прикрываясь отчаянными жалобами на свое одиночество, долги и заботы, бесконечно клянется ей в любви. Она видит, что он пытается с ловкостью фокусника скрыть бесспорные факты. Мало-помалу гнев начинает окрашивать и ее письма. Госпожа Ганская явно недовольна тем, что Бальзак старается заставить ее поверить в свое монашеское, отшельническое существование. Она ясно, и даже несколько чрезмерно ясно, высказала свое сомнение в его искренности. Но Бальзак, затравленный кредиторами, обесиленный работой и, вероятно, сознанием, что он ведет не совсем чистую игру, отчаянно отбивается. Он не может стерпеть, что женщина, которая живет в супружестве, быть может, скучно, зато спокойно и беззаботно, свысока отчитывает его за «экстравагантность». Ее упреки вызывают его гневную отповедь:

«Прошу вас: оставьте свои советы и упреки. Чем они могут помочь утопающему, который пытается выплыть на поверхность! Богатые не понимают несчастных».

И еще раз, когда она говорит о «природном легкомыслии» его характера:

«Неужто я легкомыслен? Не потому ли, что двенадцать лет, не зная отдыха, я занимаюсь своим безмерным литературным трудом? Или потому, что в течение десяти лет я знаю лишь одну сердечную связь? Или потому, что в течение двенадцати лет я тружусь денно и нощно, дабы заплатить колоссальный долг, которым я обязан моей матери, ее немелым спекуляциям? Ужели я легкомыслен, если, несмотря на все мои несчастья, еще не задохнулся? Не сошел с ума? Не утопился?»

...Воистину у меня легкомысленный характер! Действительно, вы говорите точь-в-точь, как тот буржуа, который увидел Наполеона на поле брани и, заметив, как он вертится то направо, то налево, то во все стороны, производя рекогносцировку местности, заявил: «Этот человек не способен оставаться на месте! У него нет определенной идеи!»

В конце концов переписка между возлюбленными, семь лет не видевшими друг друга, утратила всякий смысл. Каждый из них давно живет своей собственной жизнью. У госпожи Ганской подрастает дочь, подруга, которой она доверяет в сто раз больше, чем этому пылкому фантазеру. Она уже не чувствует потребности в излияниях, и в ее обеспеченном и неярком существовании нет никаких тайн, которыми стоило бы делиться. Да и Бальзак, великий нетерпеливец, устал от долгого ожидания и начинает забывать обеты, которые, видимо, никогда не исполнятся.

В 1839 году он пишет Зюльме Карро. Пусть она вспомнит о нем, если где-нибудь найдется женщина с двумястами тысячами, пусть даже с сотней тысяч франков, «учитывая, что приданое ее может оказаться полезным, чтобы привести в порядок мои дела». Мечта о княгине давно развеялась, ибо миллионы господина Ганского решительно остаются в руках господина Ганского. Бальзаку нужна уже не Полярная звезда, ему нужна любая женщина — любая, только бы она заплатила его долги, была достаточно хороша собой и могла стать хозяйкой Жарди. На сороковом году жизни Бальзак начал мыслить реально, и от фантастических экскурсов возвратился к запросам своей давно прошедшей юности: «Женщина и состояние».

Собственно говоря, переписка уже пришла к концу. Она могла бы иссякнуть, как переписка с преданной Зюльмой Карро, которая наскучила Бальзаку, ибо требовала от него чрезмерной честности.

Но ни госпожа Ганская, ни Бальзак не в силах перестать писать друг другу. Госпожа Ганская в своей гордыне, вероятно, больше любила переписку с Бальзаком, чем самого Бальзака. Для нее барщина, которую безропотно несет величайший из всех живущих писателей, стала важнейшим событием жизни. И она не имеет оснований прервать их отношения. А для Бальзака постоянное самописание сделалось уже привычкой. Ему нужен человек, которому он может поведать о своих заботах, рассказать о своих трудах, сооб-

щить о своих долгах. Она намерена сберечь все эти письма, а он наслаждается мыслью о том, что письма его хранятся в каком-то недоступном тайнике. И оба продолжают писать друг другу, впрочем, все меньше и все реже. Порой Бальзак жалуется на «редкость» посланий, на «интервалы между вашими письмами». Порою она упрекает его за то, что он пишет слишком скупо. А он на это отвечает: как может она вообще сравнивать его корреспонденцию и ее? Она живет в «полнейшем уединении и не переобременена делами», а у него всегда не хватает времени, да к тому же он утомлен писанием по пятнадцати часов кряду и правкой корректур. Он вынужден каждую страницу своего письма похищать у творчества, у оплачиваемой работы, у сна. И Бальзак без всякого смущения сообщает Ганской, что длинное письмо к ней, к миллионерше, обходится ему, затравленному должнику, в двести, триста, даже в пятьсот франков. Ведь именно эту сумму дало бы ему такое же количество исписанной бумаги, предназначенной для газеты или для издателя. Право же, ее не обременит, если она будет ему писать каждые две недели. И когда она в ответ на это, по видимому, отвечает, что не будет писать, если он не будет писать ей (письмо в обмен на письмо), он мечет громы и молнии:

«Ах, я нахожу вас невероятно мелочной, а значит, и суетной. Вы не писали мне, потому что мои письма стали реже. И впрямь они стали реже, у меня просто не было денег, чтобы оплатить почтовую пошлину, но я не хотел вам об этом говорить. Да, вот до чего я дошел, и даже еще хуже. Это ужасно и слишком печально, но такова действительность — она столь же реальна, как Украина, где вы живете. Да, да, бывали дни, когда я, терзаемый волчьим голодом, наспех обглаживал корочку хлеба на бульваре».

Все резче становятся пикировки, все длительней паузы между письмами. И впервые, как раз перед этим решающим письмом, проходит целых три месяца, и Бальзак ни слова не пишет Ганской. Оба — и это явно чувствуется — взаимно

обозлены. Оба считают друг друга холодными, вялыми, неискренними. И перелагают друг на друга вину за то, что эта переписка, которая началась фортиссимо и престиссимо, утрачивает свою страстность, что она медленно иссякает.

В действительности не виноваты ни тот, ни другая. Повинны только неестественность и неискренность их отношений. Ведь они думали, что их ждет лишь короткая разлука, а затем скорое и окончательное соединение. Во время странной помолвки при живом муже, который проскрипел затем еще целых восемь лет, госпожа Ганская наложила на Бальзака обет верности. Такой обет был бы исполним, если бы разлука продлилась три или пусть даже шесть месяцев. Но ревнивая госпожа Ганская (а ревность ее не что иное, как вздыбившаяся гордыня) требует от Бальзака вечной верности. И это начинает его раздражать.

«Хоть раз посмотрим правде в глаза, — пишет он ей после долгой лжи и утаек. — Мужчина ведь в конце концов не женщина. Можно ли ожидать, что с 1834 по 1843 год он будет вести абсолютно целомудренную жизнь? В свое время ты сказала: «Я ничего не имею против легких развлечений». Будь же справедлива и прими во внимание, как необходимы отвлечения фантазеру, погруженному в вечный труд и нищету. По сути дела, тебе почти не в чем меня упрекнуть, а ты хочешь так жестоко меня наказать! Если уж ты желаешь говорить об этих давних делах, то, право, тебе следует пенять только на то, что мы были так долго в разлуке. Но сейчас мы снова вместе и снова беседуем неутомимо».

Напрасные слова! Госпожа Ганская имела возможность убедиться на личном опыте в темпераменте покинутого ею возлюбленного. И она продолжает бессмысленно обижаться.

Бальзак вовсе не пошлый волокита. Могучее творение его духа служит лучшей порукой его серьезности и глубины. Женщина, которая ведет супружескую жизнь, которая окружена довольством и роскошью, которая в течение долгих лет не принесла ему ни малейшей жертвы, эта женщина требует от затравленного и преследуемого художника, кото-

рый в вечном творческом опьянении пишет книгу за книгой, чтобы он вел монашескую жизнь, прозябал, как мелкий почтовый чиновник, не позволял себе ни отдыха, ни роскоши, ни забав. Она разрешает ему лишь писать, писать, писать до бесчувствия и ждать, ждать и ждать, пока, быть может, — но только быть может, — она решится после кончины рыцарственного Ганского вознаградить своего смиренного трубадура за его отчаянное долготерпение. И все-таки госпожа Ганская во многом права. Бальзак крайне неискренен в своих письмах к ней.

Вместо того, чтобы ясно и откровенно отстаивать свою свободу, вместо того, чтобы заявить, что он вправе жить по законам природы, он утаивает все действительное и существенное, пытаясь изобразить себя отшельником среди отшельников. Бальзак не решается признаться Ганской в своей связи с графиней Висконти, он виляет, он ходит вокруг да около, словно школьник, опасющийся учительской розги. В своем странном повиновении Бальзак не способен противопоставить деспотическим претензиям истинное мужество, этому захолустно-дворянскому божеству — истинное достоинство художника. Но вопреки всем мелким уловкам и уверткам Бальзак не грешит против истины, когда вновь и вновь уверяет госпожу Ганскую, что не только не ищет приключений, но, напротив, утомленный авантюрами и похождениями, стремится к покою и постоянству. Сорокалетний Бальзак уже устал. Ему опротивела вечная борьба с издателями, редакторами, журналистами. Он не хочет ежемесячно, еженедельно переписывать векселя. В течение двадцати лет его беспрерывно швыряло то вверх, то вниз. Его вечно терзали бури. Он всегда был в смертельной опасности. Теперь он хочет обрести покой в тихой гавани.

Довольно с него женщин, которыми он может наслаждаться только в короткие часы, похищенные у работы. Довольно приключений в укромных тайниках. Ведь он не в силах забыть о беспрерывных своих заботах.

«Клянусь вам, — пишет он 4 сентября 1838 года Зюльме

Карро, — что я распрощался со всеми своими надеждами, со всеми притязаниями на роскошь, со всеми честолюбивыми мечтами. Я хотел бы жить, как провинциальный кюре, безо всяких затей, на деревенский лад. Я охотно взял бы в жены тридцатилетнюю женщину, которой я был бы по душе, при условии, что у нее кроткий нрав и приятная внешность. Она заплатила бы мои долги, а я, трудясь, вернул бы ей деньги в течение пяти лет».

Такой женой в его мечтах ему и представлялась Эвелина Ганская.

Но постепенно становится совершенно невозможно устроить свою жизнь по указке возлюбленной, которая обитает где-то за тысячи миль и, быть может, давно уже не та, которой он обладал семь лет тому назад. Полярная звезда слишком далека, чтобы озарять его жизнь и облегчать ее бремя. В 1842 году, когда ему пошел сорок третий год, помолвка, та самая помолвка, которой он связал себя в 1833 году, уже недействительна. Незаметно «супруга по любви» снова становится Незнакомкой, женщиной из сновидений, которой он рассказывает свою вымышленную жизнь. И даже это писание писем утрачивает для него притягательную силу, которую оно имело некогда. Теперь оно попросту вошло в привычку. Он пишет редко и почти равнодушно. Даже столь страстный фантазер не верит больше в иллюзию женитьбы на госпоже Ганской. Развеялась и эта мечта о любви и миллионах, развеялась вместе с другими утраченными иллюзиями.

И вот внезапно, утром 5 января, это письмо с черной печатью, письмо, в котором доводится до его сведения, что 10 ноября 1841 года господин Ганский скончался. Письмо, от которого вся кровь прихлынула к сердцу, письмо, которое потрясло его так, что у него задрожали руки. Невообразимое, вернее, то, чего он уже столько лет не решался вообразить, случилось. Женщина, которой он дал обет, внезапно стала свободной. Она вдова, она владеет миллионами, о которых он грезил. Вот она — идеальная его жена: аристократ-

ка, молодая, умная, величественная. Она освободит его от долгов, даст ему возможность творить, она вдохновит его на грандиозные деяния, поднимет в собственных глазах, утолит его страсть. Вот она — женщина, которая любила его, и которую он любил, и которую в этот грозовой миг, после долгих лет забвения, любит снова, любит с прежней страстью.

Листок бумаги — Бальзак чувствует это — разом перевернул его жизнь. Все, на что он уповал, о чем он мечтал, чего он ждал, обрело внезапно образ, ее образ. И он знает: ему нужно сделать только одно — добиться этой женщины, завоевать в борьбе уже завоеванную когда-то, и на этот раз навсегда.

Глубокое волнение звучит в его ответном письме. Бальзак поступает честно, умно и мужественно. И более того, поступает искренне, не проявляя чрезмерной симпатии к покойному. Он не пытается ханжески сострадать женщине, которая, как он знает, очень сдержанно относилась к своему супругу и, может быть, вовсе не любила его. Он не пытается утешить ее в утрате, он не прославляет в вымученных фразах достоинств умершего. Бальзак стремится опровергнуть лишь одно подозрение, подозрение в том, что, питая такую страсть к женщине, он с нетерпением ждал кончины чужого ему человека:

«Что касается меня, моя любимая, обожаемая, то меня это событие, разумеется, заставляет думать о цели, к которой я столь пылко стремлюсь уже десять лет. И все-таки я могу перед вами и Богом сказать с чистой совестью, что в моем сердце никогда не было иной мысли, кроме полной покорности судьбе, и что никогда, даже в видениях самых ужасных, я не запятнал свою душу злыми желаниями.

Разумеется, нельзя подавить в себе подсознательные порывы. Часто я говорил себе: «Как легка была бы жизнь с ней!» Ведь нельзя же безнаказанно подавлять свои надежду, веру, все свои интимные чувства».

Только одно представляется ему теперь счастьем. Отны-

не он может писать ей с полной откровенностью. Он уверяет ее, что он ни в чем не изменился, что с тех пор, как они встретились в Невшателе, лишь она его жизнь, и он закликает ее: «Напишите, что вы всем существом принадлежите мне, что мы теперь обретем счастье, безоблачное счастье».

Он осыпает ее письмами. Для Бальзака их тайная помолвка снова сделалась реальностью, и любовь, уже ставшая бременем, вспыхнула вновь, запылала страстью. Что может воспрепятствовать их окончательному соединению? Он видит теперь все в ином свете, даже себя самого. Только год назад в письмах к ней, в этих письмах, всегда окрашенных меланхолией и одиночеством, он изображал себя стариком, поседевшим, усталым, обрюзгшим, страдающим головокружениями и приливами, неспособным мыслить. Теперь он рисует себя своей невесте, о которой он так долго мечтал, в самых привлекательных красках. Исчезли и седина и усталость:

«У меня появилось всего несколько седых волосков. Мой труд меня сохранил. Правда, я располнел, но ведь это почти неизбежно для человека, ведущего сидячий образ жизни. Мне кажется, что со времен Вены я нисколько не изменился. Мое сердце осталось молодым, и тело мое хорошо сохранилось, ибо я жил, как монах. И, наконец, у меня в запасе целых пятнадцать лет, которые в какой-то мере все еще могут считаться молодостью, как и у вас, любовь моя. Но сейчас я с радостью отдал бы десять лет жизни, лишь бы ускорить миг нашей встречи».

Его фантазия уже работает с обычной для него стремительностью. Он мысленно видит всю их будущую жизнь. Она должна немедленно подыскать для дочери «разумного и дельного мужа», «прежде всего богатого, чтобы его состояние позволило и вам сохранить за собой определенную сумму». Госпожа Ганская будет тогда свободна в материальном отношении, как она уже свободна в юридическом и нравственном. Она будет свободно принадлежать ему. И их совместная

жизнь, о которой он столько мечтал, станет прекраснее, чем в его грезах. Только не терять времени — ни месяца, ни недели, ни дня! Он немедленно приведет в порядок дела и переедет в Дрезден, чтобы быть поближе к ней, к своей безмерно любимой. Он готов на все, готов, как никогда. Он любит ее, как никогда еще не любил!

И мы чувствуем, что еще ничего в жизни этот демон нетерпения не ждал с такой жгучей жаждой, как единственного ее слова: «Приди!»

Наконец через шесть недель, 21 февраля, приходит ответ. Мы не знаем его дословно. Письмо уничтожено вместе со всеми другими письмами Незнакомки. Но мы знаем, что в нем содержался твердый и недвусмысленный отказ в ответ на все домогательства Бальзака, четкое «нет» в ответ на страстное его желание немедленно приехать к ней.

В тот самый миг, когда Бальзак, трепеща, ожидает исполнения ее обета, госпожа Ганская «с ледяным спокойствием» разрывает помолвку. «Вы свободны», — пишет она ему с неумолимой ясностью и приводит, по-видимому, исчерпывающее объяснение своему поступку. Она больше не доверяет ему. За эти семь лет он ни разу не поддался желанию увидеть ее, хотя у него нашлись и время и деньги, чтобы несколько раз съездить в Италию, и к тому же отнюдь не в одиночестве. Следовательно, не говоря уже обо всем прочем, он нарушил условие их помолвки. Все, что было, прошло. Прошло и миновало. Она хочет жить только ради дочери и никогда не покидать ее: «Если у меня отнимут мое бедное дитя, я умру!» Она не хочет делить себя. Судя по отчаянному ответу Бальзака, письмо было безжалостно, как удар топора. Оно подсекло под корень все его упования.

Было ли «нет» госпожи Ганской искренним и окончательным? Или это было только средством испытать его; только мнимым уходом актрисы, жаждущей вернуться на вызов; только уловкой гордой и тщеславной женщины, чтобы заставить Бальзака еще ожесточенней бороться за нее? Коварный и трудный вопрос. Он ведет нас в суть этой сложной пробле-

мы. Нам придется с самого начала проследить историю отношений Ганской и Бальзака.

Большую и страстную женскую любовь отличает прежде всего способность к безграничной жертвенности. В этом смысле госпожа Ганская была совершенно не способна любить, во всяком случае, любить Бальзака. Исполненная дворянской спеси, властная, самовлюбленная, капризная и нетерпеливая, уверенная в своем общественном превосходстве, Ганская требует любви как неперменной дани, которую она вправе милостиво принять или отвергнуть. Ее жертва — и это можно проследить по ее письмам — ограничена бесчисленными условиями. Она с первой же минуты взирает на Бальзака сверху вниз. Она снисходит до него, и Бальзак всегда занимает подчиненное положение, в которое она его поставила. Он именует себя «мужиком», ее «крепостным» и «рабом». Он всегда стоит перед ней на коленях, восторженно превозносит ее до небес. Он готов окончательно отказаться от себя, от своей личности. Даже самый беспристрастный человек, читая письма Бальзака к госпоже Ганской, порой невольно испытывает чувство неловкости.

Нас сердит и удручает, когда мы видим, что один из могущественнейших и гениальнейших людей семь лет смиренно кланяется, целует туфлю, бесконечно унижается перед самой заурядной, захолустной барынькой. Мы именно потому и усомнились в благородном характере госпожи Ганской, в столь часто восхваляемом ее защитниками такте, что она не только охотно терпела рабскую покорность Бальзака, но поощряла и даже требовала этого восторженного обожествления. Мы не можем избавиться от чувства, что женщина, понимающая величие Бальзака, не потерпела бы его подчиненного положения. Оно было бы ей неприятно, оно казалось бы ей неуместным. Она подняла бы его с колен. Она сама подчинилась бы ему, его желаниям и воле. Она потребовала бы, чтобы он стоял вровень с ней. Но, и в этом нет никакого сомнения, госпожа Ганская не была способна к такой любви. Ей доставляло наслаждение знать, что ее боготворит человек,

гениальность которого она сознавала. Это тешило ее гордыню, и в какой-то мере она отвечала на его любовь. Но всегда — и это самое важное — только принимая его любовь, только уступая ему.

«Добрый Бальзак» или «бедный Бальзак». Эта интонация в письмах к дочери — единственной, с кем она откровенна, — объясняет, в сущности говоря, все. Ганская была достаточно умна, чтобы понимать значительность этого человека. Она была достаточно чувствена, достаточно женственна, и его бурный темперамент был ей по душе. Несмотря на то, что она отлично видела все его слабости и непостоянство, он, несомненно, ей нравился. И все же в конечном счете госпожа Ганская любила только себя, а Бальзака постольку, поскольку он льстил ее самолюбию. Да, ей льстило то, что он сделал ее героиней необычайного приключения, что он любит ее столь пламенно и столь поэтически, что он внес перемену в ее доселе банальную жизнь, внес то опьянение, ту страсть, которые без него никогда не познала бы рассудочная и умная женщина. Но натура, столь закосневшая в дворянской спеси, в сословных предрассудках, не могла стать ни мягкой, ни жертвенной, ни податливой. Когда госпожа Ганская любит, она любит все-таки только себя, именно такой характер носит ее чувство к Бальзаку. Даже в ту пору, когда они были вместе, ближайшим ее доверенным был не он. Этим доверенным всегда была ее маленькая, глупенькая, пустая дочка. Только ей доверяет она безгранично, а для Бальзака, чужого, плебея и выскочки, последняя цитадель ее сердца всегда остается закрытой.

И все-таки он стал ее возлюбленным. Она отдалась ему, и, вероятно, так беззаветно, как только была способна эта рассудочная, благоразумная и сдержанная женщина. Она была замужем, она была аристократкой, и она боялась порвать с мужем и скомпрометировать себя в глазах света. Истинное испытание ее чувств начинается после кончины господина Ганского, когда она становится свободной, когда урожденная графиня Ржевусская, наследница Верховни, должна решить,

следует ли ей выйти замуж за своего «мужика», за своего трубадура — гениального, но погрязшего в долгах, расточительного, легкомысленного, закоренелого плебея, когда она должна сделать выбор между аристократией крови и денег и аристократией гения и славы.

В глубине души госпожа Ганская всегда страшилась этого решения, и одно из ее писем к брату, подлинность которых до сих пор оспаривается, прекрасно выражает ее душевное состояние:

«Иногда я очень довольна тем, что мне не приходится решать, выходить или не выходить замуж за человека, которого, как мне кажется, тебе бы не очень хотелось иметь своим зятем. Как бы там ни было, я люблю его, и, быть может, сильнее, чем ты думаешь. Его письма — великое событие в моей одинокой жизни. Я жду их и жажду восторга, который звучит с их страниц. Я преисполнена гордостью оттого, что значу для него больше, чем все другие женщины. Ибо он гений, один из величайших гениев Франции, и стоит мне подумать об этом, как все мои сомнения исчезают и душа моя полна одной мысли: я, я удостоилась его любви, а ведь я так мало достойна его! И все-таки, когда мы остаемся наедине, я не могу не видеть его изъянов, и я страдаю от мысли, что и другие видят их и делают определенные выводы. В такие минуты мне хочется закричать во весь голос, что я люблю его страстно, что эти люди не имеют права так себя вести, и в то же время я прекрасно вижу, что у них есть для этого все основания. Я просто подумать не решаюсь о том, в каком положении я окажусь, если господин Ганский скончается. Надеюсь, что я всегда буду исполнять свой долг и что я всегда старалась его исполнить, как нас учил наш отец. Но в глубине души я, пожалуй, довольна, что мне не приходится принимать решения. И все же бывают минуты, когда я забываю все на свете и думаю только об одном: вот этот великий человек готов пожертвовать всем ради меня, а ведь я так мало могу предложить ему взамен».

Тот самый обет, на который Бальзак возлагает все свои

надежды, всегда беспокоит и удручает ее. И поэтому совершенно понятно, что в первые минуты она старается отодвинуть любое решение и не допускает к себе этого необузданного человека, бешеного темперамента которого она страшится.

Положение госпожи Ганской вовсе не так просто и ясно, как это представляется Бальзаку. Кончина мужа принесла ей только мнимую свободу. В действительности же после смерти господина Ганского она попадает под еще больший семейный контроль. Дядюшки и тетушки в окрестных имениях, племянницы, живущие в доме, родственники в Петербурге и Париже — все, решительно все знают о ее романтической дружбе с господином Бальзаком, и всех объединяет теперь боязнь, как бы прекрасная вдова из Верховни вместе с заманчивыми миллионами господина Ганского не досталась французу, безродному писаке, который своими пышными речами и романтическими письмами вскружил голову богатой наследнице.

Один из родичей немедленно открывает военные действия и оспаривает завещание господина Ганского, утверждающее общность имущества супругов. Процесс перетаскивают в Киев, там госпожа Ганская его проигрывает, и ей приходится ехать в Петербург просить сенат и государя утвердить ее в наследственных правах. Между тем со всех сторон ее осаждают болтливые родичи. Они науськивают ее на Бальзака, особенно пресловутая тетка Розалия, которая смертельно ненавидит этого писателя, как, впрочем, и всех французов, и при этом небезосновательно. Мать ее была гильотинирована, как шпионка, во время Французской революции, она сама ребенком сидела в Консьержери, и мысль, что одна из Ржевусских может выйти замуж за сына участника красной коммуны, придает особую злобную силу ее настойчивым уговорам.

Если бы даже госпожа Ганская и хотела, она не могла пригласить сейчас Бальзака в Россию. Это повредило бы ее репутации, она проиграла бы свой процесс и, что самое

страшное, могла оказаться в смешном положении, если бы этот тучный, ребячливый и экстравагантный господин с плохими манерами вдруг появился в кругу петербургской знати и ее чванливой родни. Итак, не оставалось ничего другого, как отказать Бальзаку самым энергичным образом. Она и сделала это в резкой и обидной форме. Но, быть может, это было только средством испытать искренность и постоянство его привязанности.

Отказ поразил Бальзака как гром среди ясного неба. Фантазер, привыкший воплощать в мечтах все свои желания и грезы до мельчайших подробностей, уже приготовился ехать в Дрезден. Может быть, даже попытался раздобыть денег для этой поездки. Он наставлял госпожу Ганскую, поучал ее, что надо сделать, чтобы обеспечить состояние за дочерью, а проценты за собой. Он мечтал уже о свадьбе, о путешествиях, о домах и дворцах. И наверно, он уже обставил все эти дома и дворцы, развесив в них все, вплоть до картин, расставив все, до мельчайших предметов утвари. И вдруг это письмо с холодным, четким и кратким «вы свободны», с окончательным и решительным «нет».

Но раз уж Бальзак поставил на карту свою волю, значит, он не примирится с отказом. Он привык к препятствиям, они только подстегивают его, только укрепляют его решимость. Еженедельно, чуть ли не ежедневно, пишет он настоятельные, заклинающие письма. Он осыпает госпожу Ганскую уверениями в своем постоянстве, в своей любви. И хотя в последние годы порывы страсти уже заметно улеглись, в этих письмах вновь слышится восторг и призыв, звучавшие в тех, прежних письмах, которые он посылал в Невшатель и в Женеву:

«Нет, вы не знаете, как сильно привязан я к вам. В этой привязанности участвуют все человеческие чувства: любовь, дружба, честолюбие, сила, гордость, тщеславие, воспоминание, наслаждение, уверенность и вера в вас, которую я ставлю превыше всего».

Он клянется, что все написанное с тех пор, как он встре-

тился с нею, написано только для нее, только с мыслью о ней:

«Только во имя вас это все создано».

Он заявляет, что готов пойти на любые уступки.

Не завтра и не послезавтра должна она исполнить свою клятву. Только пусть укажет ему, уповающему, срок. Только дату, день, год, за который он может уцепиться:

«Ну, право же, милый ангел, я не предъявляю больших требований к моей Эве. Я прошу только, чтобы она сказала мне: «Через полтора года или через два мы будем счастливы». Мне нужен только определенный срок».

Он клянется ей, что не в силах жить, если она не подаст ему надежду, если к нему не придут «Ты и покой»:

«После пятнадцати лет непрерывного труда я не в силах больше выдержать это вечное единоборство. Творить, всегда творить! Сам Господь Бог творил всего лишь шесть дней».

Одна мысль о том, что они соединятся, пьянит его и лишает разума:

«О любовь моя, если бы мы могли наконец жить вместе, душа в душу, друг для друга, не зная оков! Бывают мгновения, когда эта мысль просто сводит меня с ума, и я спрашиваю себя, как мы вообще могли вытерпеть семнадцать месяцев — я здесь, а вы там, на Украине. Каким же могуществом обладают деньги! И как горько видеть, что самые прекрасные чувства так зависят от них. Быть прикованным, пригвожденным к Пасси, когда сердце мое витает за пятьсот миль отсюда! Порой я весь предаюсь мечтам. Я представляю себе, что все уже улажено, что разум, мудрость, осмотрительность моей королевы восторжествовали и она сказала мне одно-единственное слово: «Приди!» Мне видится, как я спешу к ней. В такие дни я делаюсь неузнаваемым. Все спрашивают, что со мной. А я отвечаю: «Мои горести скоро кончатся. У меня появилась надежда». И окружающие говорят: «Он спятил!»

Едва услышав, что она отправляется в Санкт-Петербург,

чтобы уладить дела со своим процессом, он тотчас же начинает подсчитывать, сколько дней продлится поездка его к ней, во что она ему обойдется. Четыреста франков от Гавра до Петербурга, четыреста на обратный путь, да двести франков от Гавра до Парижа. Он спешно придумывает самые нелепые предлоги, чтобы придать своей поездке характер крайней необходимости, заявляет, что давно уже должен был отправиться в Санкт-Петербург, чтобы поставить там свою пьесу во французском театре. Затем неожиданно заводит речь о пароходной компании, которую собирается основать его зять и которая будет поставлять суда по исключительно дешевой цене. Эта компания якобы уполномочила его вести переговоры с Россией. Внезапно он обнаруживает в себе — быть может, он думал, что письма его перлюстрируются, — «любовь» к императору всероссийскому, потому что император — единственный настоящий самодержец среди нынешних монархов. И Бальзак заявляет, что «готов стать российским подданным».

Так это и продолжается, письмо за письмом, ураганный огонь, поток нетерпения. Февраль, март, апрель, май, все лето, всю зиму. И снова наступает весна и снова лето. Прошло полтора года после смерти господина Ганского, а вожде- ленное слово «приди!» все еще не сказано.

Наконец, в июле позволение получено, и у него есть деньги на поездку. В июле 1843 года, ровно через десять лет после их первой встречи, Бальзак прибывает из Дюнкерка в Санкт-Петербург и сразу же отправляется в дом Кутайсова, где остановилась госпожа Ганская. Дом этот — что в достаточной мере символично — находится на Большой Миллионной.

XX. «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»

На сорок третьем году жизни, уже усталый и измученный, Бальзак видит перед собой одну-единственную цель: он хочет упорядочить свою жизнь, сбросить бремя долгов, спокойно и

неторопливо завершить свое гигантское творение. И знает, что может добиться этого лишь в одном случае. Он должен завоевать госпожу Ганскую и, по крайней мере, хоть часть ее наследственных миллионов. Человек, который сотни раз стоял за игорным столом, играя против судьбы, который всегда проигрывал и снова ставил в азарте, — теперь он вновь ставит все на одну карту: на эту женщину. За полтора года, которые прошли до того, как ему позволили приехать в Петербург, он изо всех сил старался придать себе как можно больше блеска. Он знает, что для Ржевусских и того чванного аристократического круга, в котором, как в зеркале, отражается их собственная спесь, какой-то там Оноре де Бальзак, крестьянский внук, с фальшивым «де», всегда останется человеком из низов, даже если он величайший писатель столетия. Но если бы мсье де Бальзак был выбран в палату пэров, если бы он обладал политическим влиянием, если бы король подтвердил его право на «де» или, еще лучше, пожаловал ему графский титул? А если бы мсье де Бальзак был членом Французской академии? Академика украшают такие официальные достоинства, что он уже не может быть смешным. И кроме того, академик не может быть бедняком: он получает две тысячи франков в год, и если к тому же его выберут в «Комиссию по составлению словаря» — а это пожизненный пост, — он будет получать целых шесть тысяч франков ежегодно. Кроме того, при этом носишь фрак с пальмами, шитыми золотом, и даже урожденной Ржевусской не придется стыдиться мезальянса. Или как отнеслись бы к Бальзаку-миллионеру, к писателю, который сочиняет по шесть пьес в год, заполняющих все шесть крупнейших парижских сцен? К писателю, который каждый год загребает пол-миллиона?

Желая добиться социального равенства с госпожой Ганской, Бальзак перепробовал все возможности. По всем трем лестницам пытается он вскарабкаться наверх, в недоступную сферу Ржевусских. И со всех трех лестниц этот тучный, снедаемый нетерпением человек скатывается вниз.

К выборам в палату он опоздал, ибо не сумел вовремя обеспечить себя капиталом, наличие которого является непременным предварительным условием для включения в список кандидатов. Так же не везет ему на выборах в Академию (и так же не повезет и на всех будущих). Поскольку никто не решается всерьез оспаривать его права, его противники отыскивают сотни предлогов, чтобы отклонить его кандидатуру. Они заявляют, что его финансы находятся в расстроенном состоянии. Не может-де восседать под священным куполом человек, которого на улице, у подъезда нетерпеливо поджидают судебные исполнители и ростовщики. Они выдвигают в качестве препятствия его частые отлучки. Но всего честнее характеризует истинное положение вещей некий заклятый враг его и тайный завистник: «Мсье Бальзак слишком необъятен для наших кресел!» Да, действительно, он утер бы нос им всем, за исключением Виктора Гюго и Ламартина.

Итак, следует на скорую руку сочинить две «драморамы», чтобы погасить по крайней мере самые скандальные, самые «кричащие долги», молва о которых докатилась до Петербурга и Верховни. Новую пьесу Бальзака «Памела Жиро», мещанскую мелодраму, написанную на четыре пятах двумя бесталанными «неграми», принимает к постановке театр «Водевиль». Другую — «Изворотливого Кинолу» — уже готовит к постановке «Одеон». И Бальзак исполнен решимости расквитаться с ее помощью за провал «Вотрена», добиться грандиозного успеха.

Как всегда, он сосредоточивает свои усилия не на самом главном, не на работе. Начинаются репетиции «Кинолы», но пятый акт все еще не готов, и это так раздражает исполнительницу главной роли, знаменитую мадам д'Орвалли, что она отказывается от участия в спектакле.

Но Бальзаку больше всего хочется превратить премьеру в самое блистательное зрелище из всех виденных Парижем, превратить ее в неслыханный и беспримерный триумф. Лица, обладающие именем и весом, должны все без исключения

быть в театре, восседать на самых почетных местах. Нельзя дать прокрасться ни одному врагу, ни одному завистнику, а то еще, как это было на премьере «Вотрена», они своими криками и свистками настроят враждебно и публику. И Бальзак уславливается с директором театра, что на первый спектакль билеты будут выдавать только с разрешения его, Бальзака, и время, которое он должен использовать за письменным столом, чтобы закончить еще совсем сырую пьесу, Бальзак проводит в театральной кассе и в директорской конторе.

План битвы разработан с истинно бальзаковским великолепием. Просцениум должны украшать послы и министры, места в партере будут заняты кавалерами ордена святого Людовика и пэрами Франции. Депутаты и государственные чиновники должны восседать в первом ярусе, финансисты — во втором, богатые буржуа — в третьем. Кроме того, зал будут украшать своим присутствием самые красивые женщины, блистающие на самых видных местах. И Бальзак нанял рисовальщиков и живописцев, дабы увековечить ослепительную картину этого вечера.

Поначалу Бальзак рассчитал, как всегда, верно. Слухи о блистательной премьере возбуждают всеобщий интерес. Парижане толпятся перед кассой и предлагают двойную и даже тройную цену за билеты. Но вдруг с устрашающей логикой происходит то, что происходит всегда, когда Бальзак пускается в деловые операции, он чрезмерно натянул тетиву, перенапряг лук, и лук ломается. Вместо того, чтобы брать двойную и тройную плату за билеты, он, стремясь еще больше подогреть интерес, распространяет слухи, будто все места в театре уже раскуплены. Зрители решают потерпеть и дожидаться третьего и четвертого представления сенсационной пьесы. И когда вечером 19 марта 1842 года должна собраться блистательная публика, тут вдруг выясняется, что из-за неудачной тактики Бальзака три четверти мест остались пустыми. Это заранее предопределяет реакцию зрителей, которые явились восторгаться друг другом. Напрасно директор

Лиро уже в последнюю минуту загоняет в театр целую орду клакеров, и всякий, кто только хочет, может тут же, и притом совершенно бесплатно, получить билет.

Предотвратить провал невозможно. Чем трагичнее развивается действие пьесы, тем развязнее ведут себя зрители. Следующие спектакли посещают только потому, что публике хочется принять участие в скандалах. Зрители трубят, дудят, свистят, поют хором: «Мсье Бальзак попал впросак!» Самого Бальзака ни разу не вызывают. Впрочем, это было бы напрасно, ибо усилия, затраченные на то, чтобы соответствующим образом заполнить зрительный зал, так вымотали его, что после окончания спектакля его находят спящим в ложе. Лишь проснувшись, узнает он, что снова — в который раз! — привидевшиеся ему в мечтах сотни тысяч растаяли как дым.

Жестокие удары обрушиваются на Бальзака. Сама судьба гонит писателя к его истинному призванию. И когда он в отчаянии жалуется госпоже Ганской, что вынужден, поскольку «Изворотливый Кинола» провалился, написать четыре тома романов, то мы не станем жаловаться вместе с ним. Ибо романы и новеллы, написанные Бальзаком под давлением обстоятельств в эти годы — с 1841-го по 1843-й, — принадлежат к самым могучим его произведениям, и, быть может, их не было бы, если бы жалкие его пьески снискали ему лавры драматурга.

В романах самого зрелого периода Бальзака исчезает все светское, все снобистское, что придает по временам столь неприятный привкус его более ранним вещам.

Бальзак постепенно научился видеть насквозь то самое высшее общество, которое он прежде обожествлял, на которое глядел с таким униженным плебейским благоговением. Салоны Сен-Жерменского предместья уже не оказывают на него магического действия. Ни тщеславие, ни мелкие претензии великих людей, ни великие претензии маленьких герцогинь и маркиз уже не будят в нем творческой мощи. Только великие страсти пробуждают ее. Чем суровой благо-

даря приобретенному опыту смотрит Бальзак на действительность, тем правдивее он пишет. Слащавая сентиментальность, которая некогда портила лучшие его вещи, подобно тому как масляные пятна портят дорогой наряд, теперь испаряется. Все шире и в то же время точнее становится перспектива его романов. В «Темном деле» Бальзак ослепительным лучом света озаряет закулисные стороны наполеоновской политики. В «Баламутке» он с такой смелостью трактует проблемы пола, на какую не решился никто из его современников.

Никто не исследовал так глубоко самые темные закоулки человеческой души, как Бальзак, создавший образы извращенного сластолюбца, семидесятилетнего доктора Руже, и тринадцатилетней покорной девочки — «баламутки», которую старик воспитал для того, чтобы сделать из нее свою любовницу.

А какая фигура Филипп Бридо! Аморальный, как Вотрен, он уже лишен его мелодраматизма, красноречия и пафоса. Устрашающе и незабываемо правдоподобен этот Филипп Бридо.

Бальзак завершает «Утраченные иллюзии» — великую фреску современной ему эпохи. Он набрасывает «Урсулу Мируэ». Произведение это кажется несколько фантастичным, ибо в нем присутствуют спиритические фокусы. Но зато каждый образ здесь отличается изумительным правдоподобием.

Бальзак пишет «Мнимую любовницу» и «Воспоминания новобрачных», «Альберта Саварюса» и «Первые шаги в жизни», «Онорину» и «Провинциальную музу». За три года этот несравненный неутомимый художник создал грандиозное количество самых разных набросков — создал столько, сколько всякий другой не создал бы и за всю свою жизнь.

Постепенно количество рожденных им произведений становится почти необозримым. И Бальзак, который хочет наконец упорядочить свое существование, решает привести в некоторую стройность и все свои творения. Вечно осаждае-

мый кредиторами, он, однако, сумел сохранить некий неприкосновенный резерв — издание полного собрания своих сочинений. Даже в самых отчаянных обстоятельствах Бальзак никогда не соглашался продать право на последующие переиздания своих книг. Право издателя он всегда оставлял за собой. При всем своем расточительстве Бальзак сумел сохранить в полной неприкосновенности величайший свой капитал. И он ждал подходящего момента, когда с гордостью сможет выставить на всеобщее обозрение — и друзьям и недругам — все созданное им.

Это мгновение теперь наступило. Добиваясь руки вдовы миллионера Венцеслава Ганского, он представит ей доказательства и собственного своего богатства. Ибо он тоже миллионер. Он обладатель одного миллиона строчек, пятисот печатных листов, двадцати огромных томов. Не успел Бальзак заявить о своем намерении выпустить полное собрание своих сочинений, как три издателя — Дюбоше, Фюрне и Этцель — тотчас объединились для того, чтобы получить в свое распоряжение исполинское произведение, которое с каждым годом будет еще разрастаться. 14 апреля 1842 года заключается договор на издание этого собрания. Издателям предоставляется право «по собственному их выбору и в установленные ими сроки выпустить два или три издания сочинений из числа уже опубликованных автором. Это относится и к тем вещам, которые еще будут опубликованы до завершения собрания. Первый тираж выйдет в количестве трех тысяч экземпляров ин-октаво. Всего же будет издано около двадцати томов, в зависимости от количества произведений, которые войдут в собрание».

Бальзак получает пятнадцать тысяч франков в качестве задатка. Окончательный гонорар, который будет исчисляться из расчета пятидесяти сантимов за экземпляр, будет выплачен после продажи сорока тысяч экземпляров.

Таким образом, Бальзак сумел создать себе постоянную ренту, которая из года в год неизбежно должна расти и которая позволит ему спокойно писать новые вещи. Единствен-

ный пункт в этом договоре кажется ему обременительным: он добровольно взял на себя обязательство в случае дополнительных корректур оплачивать расходы за собственный счет, если стоимость перебора превысит пять франков за лист.

Бальзак, разумеется, не в силах противостоять искушению. Он вновь и вновь, в шестнадцатый и семнадцатый раз, правит свои вещи. И эта страсть обходится ему в пять тысяч двести двадцать четыре франка двадцать пять сантимов. Одно-единственное возражение есть у издателей. Им не нравится название «Собрание сочинений». Оно слишком привычно, неинтересно. Нельзя ли придумать какое-нибудь другое, из которого будет видно, что все эти произведения, где предстанет целый мир, где действуют одни и те же фигуры и где показано и величие их и падение, в сущности, составляют единое целое?

Бальзак соглашается. Еще десять лет назад, когда он водил пером Феликса Давена, писавшего предисловие к собранию его романов, он убедился, что каждая его отдельная книга — это только органическая часть грандиозного мира, который он создал в своем воображении. Но как найти название, которое выразило бы масштабы и целостность этого сотворенного им мира? Бальзак раздумывает, колеблется. И вдруг на помощь ему приходит счастливый случай. Его приятель и прежний секретарь редакции, де Беллуа, только что возвратился из путешествия по Италии. Он много занимался итальянской литературой, читал «Божественную комедию» в подлиннике. Бальзака осеняет огненная мысль. Почему бы не противопоставить божественной комедии — земную, теологическому построению — социологическое?

Эврика! Название найдено: «Человеческая комедия».

Бальзак в восторге. Издатели тоже обрадованы. Они только просят его разъяснить публике это необычное и конечно же претенциозное название и написать предисловие ко всему собранию. Бальзак с неохотой соглашается. Ему вовсе не

улыбается терять драгоценное время на статью, сулящую столь малый доход. Нужно попросту взять старую статью Феликса Давена — «Предисловие к «Этюдам нравов XIX века», которая на девять десятых написана им самим, Бальзаком. Она объяснит читателям цели и намерения автора. Или пусть это предисловие напишет Жорж Санд, его добрая приятельница. Она умница и расположена к нему. Наконец Бальзак скрепя сердце сдается, убежденный письмом своего издателя Этцеля, который закликает его быть добрым отцом и не отрекаться от собственного детища. И Этцель ловко подсовывает ему действительно весьма ценные советы:

«Говорите дельно и скромно, как только возможно. Держитесь достойно и гордо, ведь вы завершили великий труд. Говорите как можно хладнокровней. Представьте себе, будто вы уже состарились и смотрите на себя самого с известного расстояния. Говорите так, словно это говорите не вы, а один из ваших персонажей, и вы добьетесь необходимого впечатления. Вот в этом духе и пишите, мой дорогой толстяк, и простите тощему издателю, что он решается столь дерзко разговаривать с вашим величеством. Вы знаете, что он делает это с самыми лучшими намерениями».

Так возникает знаменитое предисловие к «Человеческой комедии». Оно действительно написано спокойней, объективней и бесстрастнее, чем можно было ждать от Бальзака. Своим практическим умом он оценил дельность этцелевских призывов и нашел золотую середину для того, чтобы объяснить все величие своего замысла. И вероятно, не преувеличивает, хотя это ему свойственно, когда признается госпоже Ганской, что предисловие, занимающее всего шестнадцать страниц, стоило ему больших усилий, чем целый роман. В нем Бальзак объясняет свою систему мироздания, которую он сравнивает с системами Жоффруа де Сент-Илера и Бюффона.

Действительно, не создает ли общество из человека соответственно той среде, в которой он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует и в животном

мире? Писатель, желающий создать «Историю человеческого сердца», в которой действует от трех до четырех тысяч персонажей, обязан представить все слои общества, все формы его, все страсти, и нужно, чтобы каждая из них была представлена по крайней мере одним персонажем. А творческая сила художника уж свяжет воедино все отдельные эпизоды и фигуры так, чтобы они образовали «завершенную историю, в которой каждая глава — роман, а каждый роман — эпоха». Художник же, и в этом заключается, собственно, его задача, должен, учитывая бесконечное разнообразие человеческой природы, только наблюдать, ибо:

«Случай — величайший романист мира; чтобы быть плодотивым, нужно его изучать. Самим историком оказалось французское общество, мне оставалось только быть его секретарем. Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главнейшие события из жизни общества, создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, мне удалось бы написать историю, забытую столькими историками, — историю нравов».

Составить труд, который, к несчастью, не оставили нам Рим, Афины, Мемфис, Персия и Индия, составить такой труд о Франции девятнадцатого века — вот к чему стремится Бальзак. Он хочет описать общество своего столетия и одновременно показать силы, движущие этим обществом. Таким образом, Бальзак открыто объявляет себя сторонником реалистического романа, но при этом он ясно говорит, что, хотя роман ничего не стоит, если он не правдив до последних частных деталей, в нем обязательно должно выражаться и устремление к созданию лучшего мира. Широкими мазками Бальзак рисует свой план:

«Сцены частной жизни» изображают детство, юность, их заблуждения, в то время как «Сцены провинциальной жизни» — зрелый возраст, страсти, расчеты, интересы и честолюбие. Затем в «Сценах парижской жизни» дана картина

вкусов, пороков и всех необузданных проявлений жизни, вызванных нравами, свойственными столице, где одновременно встречаются крайнее добро и крайнее зло...

После того как я изобразил в этих трех разделах социальную жизнь, мне оставалось показать жизнь совсем особую, в которой отражаются интересы многих или всех, жизнь, протекающую, так сказать, вне общих рамок, — отсюда «Сцены политической жизни». После этой обширной картины общества надо было еще показать это общество в состоянии наивысшего напряжения, выступившим из своего обычного состояния — будь то для обороны или для завоевания. Отсюда «Сцены военной жизни» — пока еще наименее полная часть моей работы, но ей будет оставлено место в этом издании, с тем чтобы она вошла в него, когда я ее закончу. Наконец, «Сцены сельской жизни» представляют собой как бы вечер этого длинного дня, если мне позволено назвать так драму социальной жизни. В этом разделе встречаются самые чистые характеры и осуществление великих начал порядка, политики и нравственности».

И он заключает могучим аккордом:

«Огромный размах плана, охватывающего одновременно историю и критику общества, анализ его язв и обсуждение его основ, позволяет, мне думается, дать ему то заглавие, под которым оно появляется теперь: «Человеческая комедия». Чрезмерно ли оно? Или только правильно? Это решат читатели, когда труд будет окончен».

Потомство решило, что название это вовсе не является чрезмерно притязательным, хотя творение, каким оно предстало перед нашими глазами, всего лишь торс незавершенного изваяния, ибо смерть выбила резец из руки Бальзака. По своему обыкновению щедро выдавать векселя писатель опередил факты, говоря о трех или четырех тысячах персонажей.

«Человеческая комедия», лежащая перед нами в незавершенном своем виде, содержит только (стыдно произнести это «только») две тысячи персонажей. Однако эти три-четыре

тысячи персонажей со всем их жизненным укладом уже существовали в неисчерпаемой кладовой Бальзаковского воображения. И это ясно видно из каталога, составленного им в 1844 году. Здесь наряду с написанными уже романами указаны заглавия всех еще не написанных. И мы читаем этот перечень с не меньшей грустью, чем список утраченных драм Софокла или не дошедших до нас полотен Леонардо. Из перечисленных в его каталоге ста сорока четырех вещей Бальзаку не удалось написать целых пятьдесят. Но план этот показывает, как властно и уверенно возвел он в душе своей здание, в котором хотел разместить все многообразие явлений жизни.

Первый роман должен был называться «Дети»; второй и третий — «Пансион девушек» и «Жизнь в коллеже»; театральному миру уделялся особый том; затем шли дипломатия, министерства, ученые; далее он хотел разоблачить систему выборов и маневры политиканов в провинции и в столице со всей их механикой. В десяти с лишним романах, из которых написаны только «Шуаны», писатель намеревался изобразить Илиаду французской армии в эпоху Наполеона: французы в Египте, битвы под Асперном и Ваграмом, англичане в Испании, Москва, Лейпциг, кампания во Франции и даже Понтоны — французские солдаты в плену. Крестьянам он хотел посвятить один том и еще по одному — судьям и изобретателям. И над всеми этими произведениями, живописующими историю нравов, должны были возвышаться, объясняя все ранее написанное, аналитические труды: «Патология общественной жизни», «Анатомия учительского сословия» и «Философское и политическое рассуждение о превосходстве XIX века».

Несомненно, проживи Бальзак достаточно долго, он завершил бы все эти работы. При свойственной ему силе воображения все, что возникало в его фантазии, неизбежно становилось реальностью, воплощалось в образы. И только одного ему не хватало в течение всей его деятельной и короткой жизни: ему не хватало времени.

Возвестив о своем труде, писатель, несомненно, преисполнился ощущением гордого спокойствия. Впервые поведав миру, чего хочет Бальзак, он резко выделил себя из всех окружающих, среди которых никто не имел ни мужества, ни права поставить перед собой задачу столь исполинскую. Но он, Бальзак, уже почти завершил свой замысел. Еще несколько лет, всего лишь пять или шесть, дает он себе сроку. Он завершит все. Порядок в творчестве, порядок в жизни. И тогда он с прежней энергией разрешит задачу, которую никогда еще по-настоящему перед собой не ставил. Вернее, он только мимоходом думал о ней: он отдохнет, он будет наслаждаться покоем, он будет счастлив.

XXI. ПРЕДВЕСТИЕ БЕДЫ

В ноябре 1841 года скончался господин Ганский, и Бальзак, как всегда преисполненный оптимизма, надеялся, что вдова дождется лишь окончания срока траура, чтобы исполнить свой обет. Но проходит месяц за месяцем, а Ганская по-прежнему упорно сопротивляется, когда Бальзак уговаривает ее встретиться с ним в Санкт-Петербурге, где она ведет процесс о наследстве. Восемнадцать месяцев, вплоть до лета 1843 года, приходится ему ждать, пока наконец она уступает его настояниям. Правда, положение ее весьма затруднительно. Бальзак слишком знаменит, и его приезд в Россию не может пройти незамеченным. Со времен Екатерины ни один прославленный французский писатель не посещал столицы. И прибытие Бальзака неизбежно привлечет всеобщее внимание. За ним, а следовательно, и за ней, будут следить самым пристальным образом. А ведь она принята в высшем свете и даже самим царем. И разумеется, им не избежать молвы.

Пока был жив господин Ганский, приезд Бальзака можно было еще истолковать как дружеский визит. Писатель был бы гостем хозяина дома, и это служило бы им защитой от

кривотолков. Но приезд писателя к вдове, несомненно, будет истолкован как официальная помолвка. И даже если бы госпожа Ганская, что нисколько не соответствует действительности, стремилась к браку столь же настойчиво, как Бальзак, то осуществить это желание было отнюдь не в ее воле. По законам Российской империи дать разрешение на вступление в брак с иностранным подданным и на вывоз за границу родового состояния мог только сам государь. Госпожа Ганская, наследница супруга-миллионера, вовсе не так независима, как представляется Бальзаку и как это было бы в любой другой стране. Все, чем она обладает, — это, если употребить современное выражение, «капитал, на который наложен арест», и она может вывезти его во Францию лишь нелегальным путем. Кроме того, необходимо вспомнить еще и о сопротивлении родни. Семейство Ганской, в особенности тетка Розалия, видят в Бальзаке вовсе не гения, не человека, выходящего из рамок обычного. Для них он просто сомнительный субъект, безнравственный, погрязший в долгах парижанин, легкомысленно ухаживающий за женщинами любого возраста, волокита, который только и думает, как бы соблазнить богатую вдову, чтобы распутать собственные запутанные дела.

Быть может, госпожа Ганская и обладала достаточной решимостью (мы этого не знаем), чтобы преодолеть сопротивление аристократической родни. Но ведь она должна помнить и о своей незамужней дочери, к которой она фанатически привязана. Ни разу, с минуты ее рождения, она ни на один день не оставляла ее. Этот неравный брак сделает положение госпожи Ганской в русском великосветском обществе невозможным, и не только ее, но и положение ее дочери. Этот брак ухудшит шансы на замужество графини Анны.

Следовательно, вовсе не злая воля, не холодность и не отвращение, как это столь часто и столь неверно утверждают, повинны в том, что госпожа Ганская заставила Бальзака так долго ждать. Напротив, она проявила большую смелость, разрешив своему возлюбленному приехать в Санкт-Петербур-

бург. Ведь приезд этот свидетельствует перед целым светом, что она намерена вступить с ним с браком. Но и для Бальзака его путешествие равносильно жертве. В эпоху дилижансов Россия отстоит от Парижа дальше, чем в наши дни Япония. Для Бальзака время — деньги, как, пожалуй, ни для кого другого. И к тому же, как обычно, он не может даже раздобыть сумму, необходимую для поездки. Поэтому он вынужден отодвигать и передвигать сроки. Но он знает, что бы там ни было, он обязан переговорить с госпожой Ганской лично. В письмах он не в силах ее переубедить. Он должен приехать сам и уговорить ее, заставить ее — вот как тогда в Женеве. Бальзак продает все свои непроданные рукописи и еще несколько недописанных вещей. С поразительной легкостью он стремительно заканчивает пьесу «Памела Жиро», в надежде по возвращении в Париж получить гонорар, причитающийся ему за постановку.

Летом 1843 года Бальзак садится на пароход в Дюнкерке. 29 июля после тяжелого путешествия морем он прибывает в Петербург.

Странной, должно быть, была эта встреча в элегантной гостиной кутайсовского дворца на Большой Миллионной, где жила госпожа Ганская. Прошло почти десять лет после первого их свидания. Восемь лет они не виделись совсем. Бальзак не изменился за эти годы. Правда, он пополнел, и в его волосах появились седые пряди. Но он все так же полон энергии. Люди, наделенные даром фантазии, обладают вечной юностью. Зато в жизни женщины восемь лет — это очень большой срок. Ведь даже на портрете, писанном с госпожи Ганской миниатюристом Даффингером в Вене, на портрете, который, разумеется, ей льстит, она, мать семерых детей, производила впечатление уже немолодой и почтенной дамы. Но для Бальзака, если только можно верить его письмам, она нисколько не изменилась. Ему кажется, что она стала даже моложе и прекраснее, чем была, и любовь его становится все нетерпеливее, все страстнее после столь долгой разлуки. Быть может, госпожа Ганская надеялась, что, когда Бальзак

увидит уже не фантастическую женщину, мерещившуюся ему в мечтах, а реальную и немолодую, он откажется от своего намерения. Ничуть не бывало. Бальзак рвется к браку. Он готов немедленно осуществить все свои планы. Даже необходимые свидетельства он захватил с собой, чтобы французский консул в гражданском порядке зарегистрировал их союз.

Однако госпожа Ганская уговаривает его подождать. Как видно, она не отказала ему наотрез. Должно быть, она сказала, что не может вступить в брак, пока дочь ее еще не замужем. Значит, она все же назначила какой-то срок. Еще год, еще два. Дольше это продолжаться не может. Как Иаков ради Рахили, так и Бальзак идет в услужение ради госпожи Ганской. Первые семь лет он ждал кончины ее мужа. Теперь наступил второй срок ожидания — он ждет, пока дочь ее найдет себе мужа.

Мы мало знаем о днях, проведенных Бальзаком в Петербурге. На лето русская аристократия перебирается в свои усадьбы, столица пустеет. Бальзак, должно быть, мало что видел. Ни единым словом не обмолвился он об Эрмитаже, о собрании его картин. Для Бальзака-одержимого существует только одна цель: он должен во что бы то ни стало, окончательно и навсегда, завоевать свою возлюбленную. Заручившись обещанием, он уезжает, на этот раз сухопутным путем через Берлин, домой.

В ноябре Бальзак снова в Париже, и возвращение его к родным пенатам, как всегда, напоминает прыжок в стремнину. Четыре месяца потеряно, и это само по себе катастрофа для человека, жизнь которого — вечный бег взапуски со временем. Все силы ада снова вырвались на свободу. Мать, которая во время отсутствия Бальзака вела его хозяйство, «продолжает терзать меня, как истинный Шейлок». Снова он поставил на карту все. Неисправимый фантазер полагал, что пьеса «Памела Жиро» будет в его отсутствии работать на него. Каждый день она станет приносить ему столько, сколько там, в России, он истратит за целую неделю. Возвратившись в Париж, он, конечно же, сможет отдохнуть.

Однако еще в дороге он узнает о провале пьесы. Правда, она не так банальна, как «Вотрен», она живет и правдоподобнее «Изворотливого Кинолы». Но парижские журналисты не простили драматургу его атак на продажную парижскую прессу, и теперь они так яростно набросились на спектакль в театре Гэтэ, что пьесу приходится снять.

Все ополчилось против него. Акции Северной железной дороги, купленные для спекулятивной цели неизвестно на какие деньги, упали. Ликвидация имения в Жарди приносит одни неприятности. Его кандидатура на пост академика провалилась. Бальзак снова на краю полного банкротства. Он снова вынужден за краткую передышку расплачиваться ночами работы.

Но именно его несчастье становится нашим счастьем. Раз с театром не удалось, раз этот спешащий изо всех сил фабрикант «драморам» испытывает на подмостках поражение за поражением, значит, он вынужден вернуться опять к роману. Он вынужден снова приняться за главный свой труд, за «Человеческую комедию». Тома «Комедии» теперь быстро выходят в свет, один за другим. Прежде всего это переработанные «Сцены частной жизни» и «Сцены парижской жизни». Затем Бальзак договаривается с журналами и газетами и заключает договор на издание «Крестьян» — романа, которому суждено стать одним из главных произведений Бальзака. Уже много лет работал он над этой книгой. Но у него нет возможности долго вынашивать свои произведения, иначе они всегда оказываются под угрозой. Бальзак уже высчитал, сколько именно принесет ему этот роман — четырнадцать тысяч франков за публикацию в «Ла Пресс». Самый высокий гонорар, который до тех пор получал Бальзак — шестьдесят сантимов за строчку. К тому же ему должны заплатить еще двенадцать тысяч за издание «Крестьян». Итого двадцать шесть тысяч франков. «Ла Пресс» уже известила о публикации романа. Бальзак уже написал около восьмидесяти тысяч строк. И вдруг все застопорилось. Пружину перекрутили. Даже невероятная работоспособность Бальзака имеет свои

границы. И даже его жизнестойкость не способна выдержать долее столь хищнического разбазаривания собственных сил.

Здоровье Бальзака подтачивалось медленно. Гигантское дерево еще стоит, еще дает в изобилии плоды, еще меняет листву с каждой весной. Но в сердцевине его, в самом сердце уже завелся червь. Все чаще жалуется Бальзак на расшатанное свое здоровье. Вот что он пишет в апреле 1844 года:

«Я надолго погрузился в непреоборимую, благотворную дрему. Мой организм не в силах трудиться. Он отдыхает. Он не реагирует больше на кофе. Целые реки кофе влил я в себя, чтобы закончить «Модесту Миньон». А мне казалось, будто я хлебаю воду. Просыпаюсь я в три часа и тут же засыпаю снова. Завтракаю в восемь, чувствую потребность снова поспать и сплю».

У него тик, отеки, головные боли, нервное подергивание век. Он сомневается, хватит ли у него сил написать вторую часть «Крестьян»:

«Для меня наступил период ужасных нервных страданий, желудочных спазм, вызванных неумеренным потреблением черного кофе. Мне нужен полный покой. Эти невероятные, ужасные боли терзают меня вот уже три дня. При первом приступе я подумал, что это просто случайность... Ах, я невыразимо устал! Нынче утром я подсчитал все, что сделал за последние два года: четыре тома «Человеческой комедии». Думаю, что должно пройти дней двадцать, а то и больше, начиная с сегодняшнего дня. И тогда я смогу сесть в почтовую карету и укатить отсюда. Больше я уже ни на что не пригоден».

И снова:

«Да, я изнемог, как Иаков в единоборстве с Ангелом. А ведь я должен написать еще шесть томов, а может, и больше. Слух и взоры всей Франции обращены на мое творение. Это следует решительно из всех рассказов коммивояжеров, из сообщений книготорговых фирм, из писем, которые я получаю. «Ла Пресс» приобрела пять тысяч новых подписчиков. Публика ждет от меня книг, а я чувствую себя пустым мешком».

Но не только телесная усталость овладела Бальзаком. Душа его устала тоже. Отдохнуть, наконец, отдохнуть, пожить для себя, вырваться из вечного рабства! Он чувствует, что только госпожа Ганская сможет его спасти. Только с ней сможет он устроить свою жизнь:

«Бывают мгновения, когда от ожидания человек почти теряет рассудок. Я нахожусь сейчас именно в таком состоянии. Всю свою жизнь я так стремился к этой цели, что теперь чувствую себя внутренне разбитым».

Литература уже почти не интересует его. Мысли его далеки от творчества, и пишет он поэтому плохо. Бальзак мечтает теперь не о том, как построить живые образы, а о том, как построить собственную свою жизнь:

«В 1846 году я буду обладать одним из великолепнейших домов в Париже, трудясь над «Человеческой комедией», я не спеша заработаю пятьсот тысяч франков (это только грубый подсчет, ведь я не учитываю потиражных). В общем, моя прекрасная дама, я буду выгодным женихом, с капиталом в миллион и даже больше, если только я не умру. Да, если, вступая с вами в брак, я женюсь, как вы выразились, не на бедной девушке, то и вы, выйдя за меня замуж, выйдете отнюдь не за бедного юношу. Мы будем прелестными старичками, но для любви это не имеет никакого значения, как мы видим на примере Сисмонди и его супруги. Несчастен только тот, кто переживет другого. Для него жизнь будет горька».

Однако пока мы еще в 1844 году. И луч надежды все-таки появился. Госпожа Ганская решила оставить свое украинское затишье и отправиться в Дрезден. В июле состоялась помолвка ее дочери — графини Анны с богатым аристократом Георгием Мнишеком. Значит, так полагает неисправимо доверчивый Бальзак, все препятствия устранены. Настал срок, когда Иаков введет под свой кров Рахиль. Но его ждет лишь новое разочарование. В декабре госпожа Ганская действительно едет в Дрезден, чтобы провести там зиму со своей дочерью и будущим зятем. И мольбы Бальзака о свидании с нею оказываются напрасными. Боится ли она своих русских

знакомых или родственников, с которыми может встретиться? Или, может быть, общество Бальзака ей просто физически неприятно? А может быть, она вообще не хочет выходить за него замуж? Этого мы не знаем. Как бы там ни было, она не разрешает ему приехать. Единственный знак доверия, который он от нее получает, неприятен ему до крайности.

Госпожа Ганская не приезжает в Париж. Зато она посылает ему свою приятельницу-компаньонку — Лиретту, участницу их переписки. Девушка Борель неожиданно заявила, что желает покинуть дом Ганских и уйти в монастырь. Для швейцарской кальвинистки это просто поразительное решение. И причиной тому, по-видимому, какие-то темные обстоятельства. Очевидно, кончина Венцеслава Ганского тяжело потрясла Лиретту. Может быть, эта старая дева была связана с покойным? Может быть, она считала, что способствовала измене его жены, и чувствовала себя перед ним виноватой? Каковы бы ни были причины, но она стала неприязненно относиться к госпоже Ганской, и неприязнь эта перешла в тайную враждебность. Прежняя наперсница превращается в яростного врага. Об этом свидетельствуют и черты «Кузины Бетты», моделью для которой Бальзаку отчасти послужила Анриетта Борель. Как бы там ни было, но ее роль доверенной наперсницы давно кончена. В ней больше не нуждаются. И неприятная задача позаботиться об истеричной старой деве выпадает на долю Бальзака. Он вынужден относиться к ней с деликатностью, ибо чувствует себя ей обязанным, кроме того, госпожа Ганская поручила ему устроить все необходимое для ее перехода в лоно католической церкви. Бальзак тратит бесконечно много времени на визиты к церковным сановникам, на посещение разных монастырей. И вот он все устраивает и присутствует даже на церемонии пострижения. Так исчезает со сцены последняя соучастница романа с Незнакомкой.

Наконец весной 1845 года приходит весть: госпожа Ганская желает его видеть. Бальзак немедленно швыряет все свои рукописи в ящик стола. Его нисколько не трогает, что

тысячи читателей ждут продолжения романа, что редакция уже выплатила ему гонорар, что ее сердит его небрежность. Ему безразлична литература. Роман его жизни призывает его. Бальзак уже достаточно сделал: он имеет право на отдых и покой. В нем, должно быть, незрело безграничное отвращение к необходимости непрерывно заниматься умственным трудом, ко всем этим низменным сделкам, к долгам и срокам платежей. Словно раб, он разбивает свои оковы и бежит, нисколько не заботясь о том, что будет, когда он исчезнет. Пусть мать сражается с его кредиторами. Пусть главный редактор Жирарден как хочет улаживает дела с подписчиками. Пусть господа из Академии, которые заставили его унижаться перед ними, ждут. Хоть до второго пришествия. Он хочет жить, жить, как все.

Мы мало знаем о его пребывании в Дрездене. Писем Бальзак не пишет — ведь он проводит каждый день в обществе госпожи Ганской. Но мы чувствуем, что это было счастливое, веселое и беззаботное время. Бальзак прекрасно поладил со всей семьей. Юный жених графини Анны, граф Мнишек, не очень умен и не очень тактичен. Он попросту глуповат и с превеликой страстью занимается коллекционированием насекомых. Но он добродушен. Невеста его, графиня Анна, пустая и падкая на развлечения девица. Все они любят смех и забавы, и можно вообразить, какой находкой был для них Бальзак, когда им хотелось развеяться. Он смеется вместе с ними, он отлынивает от работы. Ему приходит на ум комедия, которую он однажды видел в Париже, и он окрестил их тесный семейный кружок «Группой Сальтембанк». Словно кочующие комедианты, разъезжают они по Европе. Только они не дают представлений, а, напротив, сами глядят спектакль, который дает им жизнь.

Да, путешественники не удовольствовались пребыванием в Дрездене. Все вместе едут они в Каннштадт, оттуда в Карлсруэ, потом в Страсбург. И так велико влияние Бальзака на семейство, что он уговаривает госпожу Ганскую дать гастроль и в Париже, разумеется инкогнито. Ведь Париж —

запретная территория для русских. Царь не разрешает своим подданным пребывание во Франции, охваченной революционным брожением. Но Бальзак мастер устранять всяческие препятствия. Госпожа Ганская получает паспорт на имя его сестры, графиню Анну провозят как племянницу Бальзака — Эжени. В Париже он снимает для них особнячок на Рю Басс и с неописуемым удовольствием показывает им город. А разве может быть лучший гид, чем он? Он им все объясняет, все растолковывает и при этом, словно заезжий чужестранец, сам наслаждается Парижем. В августе они снова все вместе едут в Фонтенбло, затем в Орлеан и в Бурж. Он показывает им Тур, свою родину. Оттуда они отправляются в Роттердам, в Гаагу, Антверпен, Брюссель. Здесь они делают остановку, и обязанности чичероне принимает на себя Георгий Мнишек, а Бальзак возвращается в Париж.

Однако уже в сентябре он снова спешит в Баден-Баден и проводит с ними здесь две недели. А потом «Труппа Сальтембанк» отправляется в веселое турне по Италии. Они плывут из Шалона в Лион, затем отправляются в Авиньон. В конце октября они уже в Марселе, а оттуда перебираются в Неаполь. Давнишняя мечта Бальзака посетить Италию вместе с возлюбленной сбылась. И то, в чем некогда ему отказала герцогиня де Кастри, теперь подарила ему графиня Ржевусская.

Во время этих путешествий Бальзак ни разу не брался за перо. Он, который обычно проводит по шестнадцать часов кряду за письменным столом, не пишет теперь даже писем. Для него не существует сейчас ни друзей, ни издателей, ни долгов. Для него существует лишь эта женщина и свобода. «Человеческая комедия» забыта, он равнодушен к загробной славе. Бальзак наслаждается, как только может наслаждаться человек с такой необузданной натурой. Человек, который так много лет с такой легкостью расточал себя, который был щедр, как никто из смертных, теперь впитывает в себя все, что может. Он накапливает новые силы. Бальзак счастлив, и поэтому он молчит. Он принадлежит к тем художникам, которые творят только по необходимости.

А как же долги, обязательства, взятые им на себя? Над ними опустилась завеса. Насколько мы можем подсчитать (ведь никому не удалось еще полностью разобраться и действительно проникнуть в лабиринт финансовых дел Бальзака), все эти путешествия оплачивались не из его кармана. По-видимому, уже тогда у возлюбленных существовала известная общность имущества. Госпожа Ганская еще не решилась выйти за него замуж, но, не беря на себя окончательных обязательств, она готова была соединить с ним на несколько лет свою жизнь, свою судьбу и свои деньги. Он, гений, чувствовал, как буржуа. Она, аристократка, была гораздо свободней в своих чувствах. Ей нравится это беззаботное времяпрепровождение с ним, с дочерью, с будущим зятем. И, быть может, страшит ее только одно: остаться наедине с Бальзаком.

XXII. БАЛЬЗАК-КОЛЛЕКЦИОНЕР

Если, утаив подпись Бальзака, показать его письма за 1845 и 1846 годы непредвзятому человеку и спросить, что он может сказать о профессии и призвании пишущего, то человек этот, конечно, ответит: автор писем — антиквар или коллекционер картин; впрочем, может быть, и торговец земельными участками или маклер по продаже недвижимости. Во всяком случае, никто не подумает, что это сочинитель романов. И действительно, в период завершения «Человеческой комедии» Бальзак, в сущности, занят ею куда меньше, чем домом, который он собирает построить для своей будущей жены на деньги, которые надеется получить от ее будущего наследства и от своих трудов. А надежды нашему удивительному и неисправимому фантазеру всегда кажутся реальностью. Вот и на этот раз он ставит телегу перед лошадьёю, или, вернее, пустую повозку перед пустым местом, где полагалось бы стоять лошади.

В 1845 году у Бальзака нет ни дома, ни участка, на кото-

ром он может построить новый дом, и у него нет даже денег, чтобы приобрести участок для своего палаццо. Но он уже начинает ревностно украшать еще не существующую резиденцию. Им овладевает новая мания: собирание антикварных предметов. Дом, в котором будет обитать Ржевусская, внучатая племянница королевы, должен стать сокровищницей, картинной галереей, музеем. Этот великий фантазер, у которого каждые два месяца описывают имущество за долги в двести-триста франков, вполне серьезно намеревается создать жилище, которое сравнилось бы с Лувром, с Эрмитажем, с палаццо Уфицци, с дворцами королей и царей. Бальзак хочет иметь собственного Гольбейна, собственного Рафаэля, собственного Себастьяна дель Пьомбо, собственного Ван-Дейка, собственного Ватто, собственного Рембрандта — словом, стены его галереи должны быть украшены шедеврами всех времен. Его гостиная будет обставлена драгоценной старинной мебелью, в горках будет красоваться отборнейший китайский и саксонский фарфор, чудеснейшие ковры устелют его паркет. Дом его должен стать мечтой, подобной замку Алладина. Но как же приобретет Бальзак полотна Гольбейна или Тинторетто, не имея денег? Да очень просто, по случаю, скупая у антикваров и старьевщиков ветхие полотна. Он сам назовет их Гольбейнами и Тинторетто. Унаследованная от матери склонность к коммерции находит внезапно выход в охоте за антикварными предметами. Бальзаку совершенно безразлично, в каком городе им находиться, только бы потолкаться в лавках антикваров. Из Неаполя, из Генуи, из Дрездена, из Голландии приходят (хотя он еще и сам не знает, куда девать все эти предметы, и в большинстве случаев не может даже оплатить их доставку) ящики с сокровищами для будущего бальзаковского дворца.

Само собой разумеется, писатель, несмотря на всю свою гениальность, не имеет ни малейшего представления о подлинной ценности этих вещей. Его может надуть самый мелкий торговец. Он действует, как в чаду. Словно больному,

галлюцинирующему в горячке, Бальзаку непрестанно грезятся бешеные прибыли от его приобретений.

Нищий и вечный должник, он уже в 1846 году оценивает свои сокровища от четырехсот до пятисот тысяч франков, и его письма к госпоже Ганской содержат непрестанные отчеты о новых покупках, о новых «главных выигрышах».

Правда, госпожа Ганская и сама не очень-то бережлива. Она и дочь ее страдают манией делать покупки, и ювелиры с Рю де ла Пэ не нахвалятся столь завидными клиентками. Они окружают себя претенциознейшими предметами роскоши, инкрустированными во вкусе эпохи золотом. Но тем не менее она все же знает, что деньги счет любят. Очевидно, Ганская предоставила в распоряжение Бальзака определенную сумму, около ста тысяч франков, так называемое «сокровище Лулу» («Лулу» — прозвище, под которым Бальзак фигурирует в их переписке), предназначенную для покупки и отделки дома. Основная мысль у Бальзака, как всегда, правильная. Он хочет обставить квартиру и для этого приобрести красивую старинную мебель. Если бы он дождался благоприятного случая, он мог бы на сто тысяч франков госпожи Ганской купить отличный дом и обставить его уютно и даже богато.

Но Бальзак не умеет ждать. Он не в силах сдержать себя. Из случайного покупателя он немедленно превращается в коллекционера, в маниакального коммерсанта. И хотя Бальзак с полным правом утверждает, что, как писатель, он вправе соперничать с любым современником, зато он впадает просто в идиотизм, намереваясь в качестве собирателя живописи сравниться с королями и принцами, создать собственный Лувр, да еще, само собой разумеется, за два-три года и почти что без денег. Сквозь всю его жизнь проходит эта тончайшая грань между разумом и безумием. Время от времени госпожа Ганская теряет покой и призывает его к осторожности. Но Бальзак делает самые обстоятельные подсчеты и доказывает ей, как умно он подходит к делу, как он экономен и оборотист. Мы устаем подчас от этих непрестанных

самообманов. Но, право, забавно пуститься по следам бальзаковских комбинаций и посмотреть, как будущий владелец картинной галереи делает деньги. Вот, например, он покупает сервиз из «старинного китайского фарфора» на девять персон и торжествует:

«Он мне достался за триста франков. Дюма заплатил за такой же четыре тысячи. А стоит он по меньшей мере шесть!»

Через некоторое время он вынужден, конечно, смиренно признаться, что китайский фарфор сфабрикован в Голландии:

«Он такой же китайский, как я китаец!»

И грустно прибавляет:

«Поверь мне, коллекционирование старинных предметов — это наука».

Впрочем, разочарование нисколько не удерживает Бальзака, и он бодро продолжает заниматься этой сложной наукой. Смотрите-ка, сколько выгодных сделок провернул он за один только день, 15 февраля 1846 года:

«Три часа подряд прошатался я и сделал множество приобретений. Во-первых, желтая чашка за пять франков. Стоит она по меньшей мере десять, это истинное произведение искусства. Во-вторых: синяя амбирная чашка — северский фарфор, — которую предлагали Тальма. Она невероятно богато расписана. Один букет цветов, который ее украшает, стоит двадцать пять дукатов (а я заплатил за нее всего двадцать франков). В-третьих: шесть кресел, отделанных с королевской роскошью. Четыре я сохраню, а из двух мне сделают козетку. Какое великолепие! Вот видишь, мы уже почти обставили маленький салон, и всего за двести сорок франков!»

В тот же день и также во время прогулки он находит:

«Две вазы из северского фарфора. Стоимость их от пятисот до шестисот франков (сохрани это в тайне), а мне они достались за тридцать пять. Такого случая у меня еще не было. Парижане, в сущности, не знают Парижа. Обладая временем и терпением, здесь можно найти все и к тому же по дешевке.

Ты просто откажешься мне поверить, когда увидишь желтую королевскую чашку, которую я приобрел за пять франков».

Но, кроме того, он ведет переговоры еще и о люстре:

«Она принадлежала германскому императору, в ней двести фунтов веса. Сделана она из массивной бронзы, которая одна только стоит по два франка пятьдесят сантимов за килограмм. Мне же эта люстра достанется за четыреста пятьдесят франков — это стоимость одного металла, то есть даром. Ты будешь жить элегантно и богато, как королева, окруженная всем, что только может предоставить искусство. И при этом капитала нашего мы не тронем».

Ибо он убежден, что покупает дешевле всех на свете: «Я хочу, чтобы ты признала, какой хороший управляющий, коммивояжер, посредник и делец твой Лулу. Я обшарил все уголки Парижа. Настоящие вещи дорожают день ото дня».

Изредка с ним случаются и маленькие неприятности. Даже он замечает это:

«Я разыскал миниатюру госпожи Севинье, времен Людовика XIV, она стоит сто франков. Хочешь ее приобрести? Это подлинный шедевр».

На следующий день он вносит поправку:

«Миниатюра отвратительна». Но, к счастью, ему снова невероятно повезло:

«Я открыл портрет твоей двоюродной бабки, королевы Франции Марии Лещинской, кисти Куапеля или во всяком случае кого-либо из его учеников. Я сказал себе: «Сходство портрета с оригиналом исключительное. Не упusti его, Лулу». И купил этот портрет».

Проходит неделя, и он узнает, что это не Куапель, а «только» Ланкре. К счастью, одна рама обошлась якобы в восемьсот франков ее хозяину. А он за все про все отдал лишь сто тридцать франков!

Иногда просто начинаешь сомневаться в его рассудке, например, когда он, ни на минуту не сомневаясь, пишет:

«Маленький пейзаж принадлежит кисти Рюйсдаля, Мивилль завидует мне — ведь я купил Натуара и Гольбейна за триста пятьдесят франков».

Если вспомнить, что в то же время тот же Бальзак в своем «Кузене Понсе» пишет о невероятной стоимости Гольбейна, то нам невольно приходится задать вопрос: неужели же ему ни разу не пришла в голову мысль, почему болваны, торговцы картинами, продают именно ему Гольбейна за триста франков? Но он не задает себе этого вопроса. Он мечтает. Он фантазирует. И он покупает. На каждом углу его подстерегает какая-нибудь фантастическая сделка. «Париж буквально вымощен такими случайностями». Обратная сторона великолепных сделок станет явной только при продаже его имущества. На аукционе в отеле Друо, после смерти жены Бальзака, подводится безжалостный итог. Никто никогда ничего не услышит о всех этих Гольбейнах и Рюйсдалях. Ни в одном каталоге мы не найдем упоминания о каком-либо выдающемся полотне «из собрания Бальзака». Суммы, вырученные за его величайшие сокровища, ничтожны. Правда, он не дожил до этого. Но и ему пришлось сделать пренеприятное открытие. История его флорентинской мебели показала или должна была показать ему, насколько легче купить, чем продать. Впрочем, он должен бы намотать это себе на ум еще во времена Жарди, которое он купил за сто тысяч и вынужден был продать за пятнадцать тысяч.

21 декабря 1843 года Бальзак увидел у какого-то антиквара секретер и ветхий поставец, по всей вероятности, итальянской работы. И с той же фантазией, с которой он, не задумываясь, аттестовал однажды дряхлые часы, завалившиеся в лавке старьевщика, часами королевы Генриетты Английской, он тотчас же пишет об этой мебели:

«Великолепные вещи из какого-то замка. Это секретер и поставец, изготовленные во Флоренции для Марии Медичи. На них ее герб. Оба предмета сделаны из массивного черного дерева и инкрустированы перламутром. Орнамент столь богат, изыскан и тонок, что покойный Sommerar упал бы в

обморок, увидев их. Я был просто ошеломлен. Таким вещам место в Лувре!»

Этот образцовый пример показывает нам, как неразрывно переплетена интуиция Бальзака с его страстью к коммерции. Стоит ему загореться восторгом, и его охватывает желание извлечь из прекрасного выгоду. Первоначальное его побуждение было еще эстетическое и даже с известным патристическим оттенком:

«Нужно вырвать из рук буржуа это воспоминание о Медичи, о королеве, которая покровительствовала Рубенсу! Я напишу об этом статью в двадцать страниц».

Однако тут же он добавляет:

«С деловой точки зрения, на этом можно заработать много тысяч!»

На следующий день, 22 декабря, Бальзак приобрел обе вещи за тысячу триста пятьдесят франков (к счастью, с рассрочкой на год) и в придачу новую иллюзию, еще более нелепую, чем все остальные:

«Я сделал замечательное историческое открытие, которое еще уточню завтра. Марии Медичи принадлежал только поставец. Правда, на секретере — герб Кончини или герцога Эпернонского. Но, кроме того, там имеются буквы «ММ», заключенные в изящную рамку, словно в любовные объятия. Это указывает на интимные отношения Марии Медичи с ее фаворитом. Она подарила ему свой поставец и вдобавок заказала для него секретер. А маршал д'Анкре — правда, как маршал он фигура весьма смехотворная — заказал к секретеру еще перламутровую инкрустацию в виде пушек и прочих воинственных эмблем».

В этой фантастической истории верно только то, что Кончини, впоследствии маршал д'Анкре, действительно был фаворитом Марии. Все прочее, разумеется, является беллетристическим домыслом. Но благодаря этому домыслу в глазах Бальзака обе вещи стали гораздо дороже. На другой день он оценивает их еще дороже, и, более того, у него есть на примете и покупатель:

«Один только поставец стоит четыре тысячи франков. Я продам его королю для музея Соммерар, а секретер оставлю себе. Или лучше я предложу поставец дворцовому ведомству. Предмет этот достоин Лувра».

И отнюдь еще не реализованный барыш в бальзаковском воображении предназначен, чтобы с его помощью заключить новые великолепные и выигрышные сделки:

«Вытянув из Луи-Филиппа три тысячи франков за мой поставец, я буду весьма доволен. Ведь я получу тысячу шестьсот пятьдесят франков прибыли. А это маленький фонд, с которым можно пуститься в дальнейшее путешествие по антикварам и приумножить наши сокровища».

Но, как ни странно, госпожа Ганская не очень верит в эти великолепные сделки и упрекает Бальзака за его «мебельное безумие». А он пишет в ответ: «Я поручил продать один из нашумевших предметов за сумму, в которую мне обошлись оба. Значит, другая вещь мне достанется даром, да к тому же у меня останутся деньги, чтобы заплатить за канделябр».

Тертый калач, Бальзак пытается создать рекламу в прессе, чтобы ускорить продажу:

«В ближайшее время вы, вероятно, прочтете в газетах о том, какой фурор произвело мое открытие».

И 11 февраля в «Мессаже» действительно появляется описание мебели, принадлежащей Бальзаку:

«Один из знаменитейших наших писателей, который является большим любителем старины, совершенно случайно нашел мебель величайшей исторической ценности. Речь идет о поставце, украшавшем спальню Марии Медичи. Предмет, сделанный из массивного черного дерева, — один из великолепнейших и удивительнейших произведений искусства...»

Но короля, по-видимому, не удастся убедить приобрести эту великозпную вещь, принадлежавшую его сиятельной предшественнице. В конце концов являются несколько старьевщиков, привлеченных газетной рекламой. Бальзак ликует:

«Нашелся покупатель. Он дает десять тысяч франков за

оба предмета флорентинской работы, чтобы перепродать их за двадцать тысяч двору. Тысячу франков комиссионных он обещал антиквару Дюфуру. Но я уступлю ему только поставец. Ко мне является множество покупателей, даже антикваров. Все они единодушно восторгаются моей мебелью».

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что покупатели и почитатели куда-то исчезли. В марте мебель все еще не продана, и любой другой на его месте уже убедился бы в своем заблуждении. Но Бальзак, увлеченный своей фантазией, только взвинчивает цену:

«Один из двух предметов, который я решил сохранить, стоит теперь у меня. Он превышает всяких похвал, просто описать невозможно, до чего он хорош. Однако я решил не оставлять его. Наш самый знаменитый антиквар оценил эту вещь в шесть тысяч франков. Краснодеревщик, который реставрировал секретер, полагает, что одна только работа мастера, сделавшего его, стоит двадцать пять тысяч франков. Он говорит, что на нее потрачено по меньшей мере три года ручного труда. Эти инкрустированные арабески достойны кисти Рафаэля. Я хочу предложить его герцогу Сандерлендскому в Лондоне или какому-нибудь пэру, какому-нибудь там Роберту Пилю. Они могут дать за него три тысячи фунтов стерлингов. За такую сумму я бы, пожалуй, отдал его и тогда заплатил бы свои долги. Но пока что я оставляю эту вещь у себя».

Проходит еще месяц, и из трех тысяч фунтов стерлингов не появился еще ни один. Но Бальзак не отступает. С поразительным упорством он вынашивает новый проект. Он собирается поместить в «Мюзэ де фамий» изображение этой королевской мебели, и за право опубликования журнал должен уплатить пятьсот франков. Таким образом, оба предмета обойдутся ему уже не в тысячу триста пятьдесят франков, а только в восемьсот пятьдесят. Однако проходит весна, потом лето, политипажи все еще не напечатаны, и все еще не явился ни один покупатель. В октябре мелькает проблеск надежды:

«Большая новость! Ротшильд заинтересовался моей флорентинской мебелью. Он собирается нанести мне визит, несомненно, чтобы осмотреть эти предметы у меня на дому. Я запрошу за них сорок тысяч».

Значит, после того как Бальзаку, несмотря на рекламу, в течение целого года так и не удалось заработать три тысячи франков, о которых он мечтал, совершая покупку, одна-единственная сказанная мимоходом вежливая фраза заставляет его взвинтить цену снова до сорока тысяч. Но о визите Ротшильда больше не слышно. Зато, правда, заходит речь о герцоге Девонширском, и Бальзак испускает стон:

«О, если б из этого что-нибудь вышло! Вот это был бы оборот!»

Но из этого, разумеется, ничего не выходит. «Оборота» не получается и никогда не получится. Последнюю попытку он делает в следующем году. Теперь он пытается продать свою мебель голландскому королю и в отчаянии называет абсолютно сумасшедшую сумму в семьдесят тысяч франков, то есть удешевляет цену, которую ему никто не давал в Париже. Для этого дела Бальзак мобилизует даже своего друга Теофиля Готье:

«Мне нужен Готье, чтобы написать фельетон о моей флорентинской мебели. У нас осталась только неделя, чтобы заказать клише. Оттиски я пошлю королю голландскому. Это надевает шуму!»

Но и этот шум заглох. Ни семидесяти, ни пятидесяти, ни даже пяти тысяч франков не увидел он за свою королевскую мебель. И только смерть спасла его от разочарования. Он так и не узнал, за какую смехотворную цену она была продана с аукциона в отеле Друо.

Мебель и фарфор, ящики и комоды нагромождает он для будущего своего дома. Эти сокровища уберечь нелегко, ибо кредиторы по-прежнему осаждают Бальзака. Следовательно, самое время подумать о доме, который, очевидно, надо купить на имя госпожи Ганской и тем самым сделать его недосягаемым для займодавцев. И тут первое желание Бальзака

опять-таки относительно умеренно. Как он полагает, они будут вести в Париже «самую скромную жизнь». Но и эта «самая скромная жизнь» будет, конечно, стоить по меньшей мере сорок тысяч франков в год. Дешевле, так объясняет он, ничего не получится, ибо Виктор Гюго, который расходует двадцать тысяч, живет, «словно жалкая крыса».

Купить дом для Бальзака вовсе не означает, как для всякого смертного, приобрести строение, в котором можно жить. Купить — для Бальзака всегда означает проверить хорошую сделку:

«Вот уже три года я лелею желание иметь дом. Идея эта возникла у меня прежде всего из практических соображений. Завершить свои дела приобретением дома — это совершенно естественное соображение».

И он начинает искать. Стоит ему увидеть хоть что-нибудь подходящее, как он тотчас внушает себе, что за дом просят меньше, чем он стоит на самом деле. Дом в Пасси стоит сто тысяч франков. Но ему он обойдется, по его подсчетам, только в шестьдесят:

«Потому что в Пасси будут прокладывать новую дорогу в обход горы. Дорога пройдет примерно в двенадцати футах от нашей скалы, муниципалитет будет вынужден купить часть этой территории, и за нее можно получить десять тысяч франков компенсации».

В декабре он обращает внимание на участки в Муссо. Засим обнаруживает дом на улице Монпарнас:

«Он подойдет нам в самый раз, как перчатка!»

Необходима только мелочь:

«Его придется частично снести».

Дом нужно полностью перестроить, что обойдется в сто двадцать тысяч франков. Расходы эти можно без труда возместить: надо только прикупить еще другие земельные участки и заработать на них. Это старая система, которую он применял еще в юности, когда к издательству прикупал типографию, а к типографии — словолитню.

Весной он вспоминает о сельской местности. Там жизнь

не только ничего не стоит, там можно еще спокойненько ждать повышения цен на землю. Это значит поместить капитал так, что он будет приносить непрерывную ренту. До чего же просто жить на свете!

«Виноградник в Вувре обеспечит нам пропитание полностью. Обойдется же он в двадцать—двадцать пять тысяч франков, не больше».

Но как глупо покупать виноградник, когда в Турени можно заполучить целый замок с виноградниками и фруктовыми садами, с террасами и чудесным видом на Луару. Да, но разве это не обойдется в двести или триста тысяч франков? Нет, Бальзак получит свой замок даром. И подсчитывает точнейшим образом: «Ты просто запрыгаешь от радости! Продается Монконтур. Мечта, которую я лелеял тридцать лет, становится действительностью, во всяком случае, может стать действительностью».

Наличными придется внести не больше двадцати тысяч франков. Потом нужно будет продать часть земли мелкими участками. Одни только виноградники — согласно точнейшим подсчетам, основанным на среднем доходе за десять лет, — безусловно, дадут пять процентов с капитала. Да и от этих виноградников легко отрезать десять арпанов и продать за сорок—пятьдесят тысяч франков. Точно так же он определяет и стоимость всей покупки. В конце письма Бальзак снова впадает в лирический тон:

«Помнишь ли ты Монконтур, тот прехорошенький замок с двумя башенками, которые отражались в Луаре? С него открывается вид на всю Турень...»

Некий школьный товарищ ведет от его имени переговоры. Но и этот проект оказывается слишком мелок для Бальзака. Он энергично защищает тезис, согласно которому только крупные покупки обходятся дешево:

«Мелкие участки безумно дороги, ибо мелким собственникам несть числа. Всякий, кто хочет сделать крупное дело, должен избрать себе действительно крупный объект».

Итак, почему бы не взять на прицел замок Сен-Грасьен?

Он принадлежит господину де Кюстину, который совершенно на нем разорился, как Бальзак в свое время на Жарди:

«Сен-Грасьен обошелся ему в триста тысяч франков, и он говорил мне, что продаст его за сто пятьдесят тысяч по первому же предложению... В конце концов он будет вынужден отдать его почти даром».

Впрочем, господин де Кюстин отнюдь не Бальзак. У него явно нет настроения отдавать свое имение даром. Бальзак вынужден продолжать поиски. Только осенью 1846 года он, наконец, находит дом, особняк Божон на улице Фортюне. Дом этот выстроен в восемнадцатом веке и в эпоху великой революции принадлежал богатейшему генеральному откупщику. Вот для этого дома и будут покупаться отныне королевские чашки, княжеские поставцы и секретеры, подлинные Гольбейны и Рюйсдали и увесистые люстры. Особняк Божон должен стать «музеем Бальзака», его Лувром. В нем воплотится умение Бальзака по мановению волшебного жезла вызывать шедевры из ничего. Но когда впоследствии Теофиль Готье, его друг, осматривает дом и восторженно восклицает, что Бальзак, по-видимому, действительно успел стать миллионером, тот с грустью отвечает:

«Нет, друг мой! Я беднее, чем когда-либо прежде. Ничего из всего этого великолепия мне не принадлежит. Я лишь привратник и сторож дворца».

Из осторожности, боясь кредиторов, он остается жить в уединенной келье на Рю де Пасси, где стоит его письменный стол. И этот скромный дом, заваленный рукописями, а вовсе не особняк Божон, с его коврами, уродливой бронзой и канделябрами, стал для нас подлинным «музеем Бальзака». Таков закон жизни: люди, и даже самые гениальные, гордятся не истинными своими деяниями. Нет, они полагают, что именно мелкие и легкие их достижения должны вызвать всеобщую любовь, восторг и признание.

И Бальзак-коллекционер является самым разительным тому примером.



Книга шестая
ЗАВЕРШЕНИЕ И СМЕРТЬ

XXII. ПОСЛЕДНИЕ ШЕДЕВРЫ

Годы 1843, 1844 и 1845 — период внутреннего нетерпения Бальзака. Чувствуется, что одержимость работой, эта сила, извечно ему присущая, сломлена, или, вернее, ее надломил. Писатель, который, не зная усталости, творил четверть века, становится собирателем-коллекционером, и не только в буквальном, но и в переносном смысле этого слова. Он коллекционирует не просто часы, фарфор, картины и мебель, он коллекционирует все, в чем до сих пор ему отказывала жизнь: мгновения праздности, прогулки с женщиной, беспечно-долгие ночи любви на чужбине и восхищение аристократических поклонников. Вся его энергия устремилась в новое русло. Вместо того чтобы завершить рукопись романа, он старается привести к счастливому финалу роман собственной жизни.

Вся внутренняя сила Бальзака обращена в эти годы только к жизни, она отделена от творческого начала, и это, безусловно, ощущается в его мастерстве. В 1841—1842 годах он еще создал столь великолепные вещи, как «Темное дело» — политический роман, где вопреки отдельным лишенным правдоподобия местам встает небывалая по своей пластичности картина чудовищной государственной интриги, или «Баламутку», новизну и глубину которой его современники совершенно не смогли оценить. Он завершил тогда и «Утраченные иллюзии», где, как в разрезе, предстал весь парижский художественный и театральный мир, мир искусства и искусственных триумфов. За ними последовали «Блеск и нищета куртизанок». Мир литературы сплетается здесь с миром фи-

нансовым. На авансцену опять возвращается его Вотрен, и, словно в большой панораме, Бальзак объединяет темы прежних своих вещей. Правда, он впадает иногда в бульварщину и в детектив, но именно в этой книге величественней, чем во всех других, предстает картина Парижа и парижского общества. Художник отомстил, наконец, и миру журналистики, который несет в себе столько опасностей, и миру денег, которые то и дело соблазняют и его персонажей и его самого.

Но уже следующий роман, «Крестьяне», в котором представлено столкновение между городом и деревней, в котором должна найти свое разрешение грандиозная социальная проблема, уже этот роман Бальзак был не в силах завершить. Та самая борьба, которая в Париже ведется на бирже или в литературе, протекает в деревне у крестьян еще в самой примитивной, начальной форме. И речь тут идет не о незримых и неосознаваемых ценностях, а о земле, о почве, о каждой пяди земли.

Много лет трудился Бальзак над этой книгой. Он чувствует, что она должна стать для него решающей. Снова и снова принимается он за это произведение и, пытаясь подстегнуть себя, преждевременно публикует первую его часть. И все-таки он вынужден прервать работу. Он пишет другие вещи, более мелкие, менее значительные. Вот он приклеивает к роману «Беатриса», в котором лишь первые главы еще могут считаться художественными, неестественную, сентиментальную и безжизненную развязку. Пишет пустяки вроде «Мелких неприятностей супружеской жизни» — правда, это только сдобренная остроумием и не лишенная обаяния, слегка подогретая версия его старой «Физиологии брака». Новелла «Модеста Миньон», тему которой дала ему госпожа Ганская и которую он ей же — «Польке» — затем посвятил, могла бы выйти из-под пера и какого-нибудь его подражателя. Ни в одном из этих произведений уже не видны когти, по которым узнают льва. Нигде не чувствуется подлинная мощь поэта, творца.

Бальзак провозгласил законом подлинного творчества мо-

номанию, и теперь, нарушив этот закон, он только подтвердил его. Он, который однажды сказал, что если художник забрасывает свою мастерскую, отрывается от работы, ему приходится опять тренировать свою руку. Нельзя писать, если целый день прицениваешься к домам или роешься в антикварных лавках. В письмах Бальзака той поры нет иногда и слова о работе или хотя бы о планах работы. Речь идет лишь о мебели, о светских знакомствах и о прочих пустяках. Закон концентрации нарушен.

Бальзак и сам это понимает. Этот несравненный труженик хорошо знает себя. Он сознает, что утратил радость труда с тех пор, как познал другую радость — «беспечно отдаваться жизни как таковой». В январе 1846 года он пишет госпоже Ганской в Неаполь: «Мой дух, мой разум застыли на месте... Во мне все вызывает скуку, все раздражает меня».

Его уже не удручает, что он никак не может кончить «Крестьян» или что «Мелкие буржуа», вещь и сама по себе крайне незначительная, не двигается с места. Он работает уже только ради того, чтобы избавиться от долгов, и порой нам кажется, что он стал безразличен к творчеству. Может быть, интерес этот и придет потом, когда дом будет, наконец, обставлен. Но тут внезапно Бальзак бросает все и летит в марте в Рим. А по возвращении он опять забрасывает письмами госпожу Ганскую, как всегда уверяя ее, что «будет вынужден невероятно много работать». И снова полагает он, что если на три месяца засядет за работу и будет трудиться сутки напролет, «без перерывов, ну, самое большее с перерывом на две недели, чтобы мы смогли обвенчаться», тогда ему, конечно, удастся выплатить уже последние шестьдесят тысяч франков долга. Но мы по-прежнему ничего еще не слышим о творческом его настроении.

И только 1 июня он, наконец, сообщает:

«Вот уже четыре дня, как я чувствую всепоглощающую энергию, которая клоочет во мне...»

А 12 июня:

«Я тружусь над планом «Крестьян» и, кроме того, еще над новеллой».

А 14-го уже вырисовываются контуры двух новых вещей:

«Мне хочется написать вот что: во-первых, «Историю бедных родственников». В нее войдут «Кузен Понс», которому отводится три-четыре листа в «Человеческой комедии», и «Кузина Бетта» размером в шесть листов. В заключение я напишу «Козни королевского прокурора».

Из одной новеллы получились две. Но Бальзак и сам еще не знает размаха и глубины своего плана. Об этом свидетельствует указанный им объем вещей. Он все еще считает, что напишет короткие рассказы, а вовсе не романы. Покамест он установил только масштаб своих вещей, а это значит, что Бальзак смотрит на них просто с точки зрения будущей их доходности. Он подсчитал, что «Крестьяне», «Мелкие буржуа» и «Кузина Бетта» избавят его, наконец, от бремени долгов, как вдруг в нем пробуждается прежнее честолюбие. Набрасывая план своих вещей, он вновь ощутил наслаждение творчеством. И честолюбие, свойственное истинному творцу, наконец-то снова захватило его.

В тот же день, 16 июня, Бальзак ставит перед собой задачу:

«Настоящий момент требует появления одной или, может быть, двух центральных моих вещей, которыми я сокрошу всех идолов незаконнорожденной литературы и докажу, что я моложе, мощнее и талантливее, чем они.

«Старый музыкант» — это «бедный родственник», человек с чистым сердцем, но подавленный горем. «Кузина Бетта» — бедная родственница, которую также преследуют несчастья, она живет попеременно в трех или четырех семействах, и ей удастся, наконец, отомстить за все свои страдания».

Как приятно после бесконечной болтовни о денежных делах, о земельных участках, об акциях Северной железной дороги и о фарфоровых сервизах снова увидеть Бальзака, его

действенную волю к подлинному художественному творчеству! Правда, по своей старой злополучной системе он, еще не представляя себе объема своих романов, уже договаривается с издателями о цене. Но он тут же с головой окунается в работу. Снова вводится прежний распорядок дня. И мы находим у Бальзака замечание о том, что бесконечные рассеяния и отвлечения, бесконечные вещи, которые ему посылают антиквары, уже только обременяют его:

«Мне хотелось бы, чтобы все мои ящики были, наконец, распакованы. Прекрасные вещи, которых я жду, волнение, — ведь я не знаю, в каком состоянии они придут, — все это действует на меня возбуждающе, особенно в нынешнем моем состоянии, когда я охвачен лихорадкой вдохновения и бессонницей. Надеюсь, что если я буду каждое утро вставать в половине второго, как нынче, «Старый музыкант» будет окончен в понедельник. Итак, я опять вернулся к прежнему распорядку рабочего времени».

Не отрываясь, с быстротой, невероятной даже для Бальзака, набрасывает он план своего романа. И в письме от 20 июня у него вырываются удивительные слова:

«Я очень доволен «Старым музыкантом». Но для «Кузины Бетты» мне придется еще все придумать».

И снова мы слышим только о том, что одна из прибывших картин исцарапана, что бронза, видимо, поддельная. И снова идет речь о долгах и портных. Но 28 июня «Кузен Понс» закончен. Бальзак издает такой радостный вопль, какого мы не слышали уже много лет:

«Сердце мое любимое! Я заканчиваю сейчас книгу, которую хочу назвать «Паразит». Да, таково окончательное заглавие рукописи, которую я называл то «Кузен Понс», то «Старый музыкант» и т. п. Эта вещь, по крайней мере для меня, одно из главных моих созданий. Внешне оно просто, но в нем целиком раскрывается человеческое сердце. Эта вещь столь же значительна, но еще прозрачнее, чем «Турский священник», и столь же душераздирающа. Я в восторге. Немедленно вышлю тебе оттиски.

Теперь принимаюсь за «Кузину Бетту», это жуткий роман, ибо характер главного в нем персонажа явится смешением черт моей матушки, госпожи Деборд-Вальмор и твоей тети Розали. В книге будет описана история нескольких семей».

Поруганное детство, судьба Лиретты, которая некогда способствовала их роману с госпожой Ганской, — все идет в дело. Но в то же самое время набирается и «Кузен Понс», а при бальзаковской технике работы это означает, что он еще только его пишет. Нетерпение художника сочетается с нетерпением дельца. Бальзаку кажется, что он работает недостаточно быстро:

«К великому сожалению, уже 15 июля!»

И стонет — вместо того, чтобы возблагодарить небо за то, что за две недели он создал такой шедевр:

«С грехом пополам закончу «Бедных родственников»! Я получу за них примерно десять тысяч франков, включая и издание отдельной книгой».

Само собой разумеется, что эти сумасшедшие сроки выдержать невозможно. Вещь не завершена даже в августе, 12 августа в один только день Бальзак пишет двадцать четыре страницы. Еле успев закончить черновик романа, он уже берется за его корректуру и трудится до полнейшего физического изнеможения. Его врач, как сообщает Бальзак, вне себя:

«Ни он и никто из его товарищей и коллег по профессии не мог даже представить, что человеческий мозг в силах выдержать такое напряжение. Он заявил мне, что я кончу скверно, и повторяет мне это с самым грустным выражением лица. Он закликает меня делать по крайней мере время от времени перерыв в этих «распутствах мозга», как он их называет. Он был вне себя, когда узнал, какие усилия потребовались мне, чтобы сочинить «Кузину Бетту». Я симпровизировал ее в течение шести недель. Врач сказал мне: «Это непременно кончится какой-нибудь катастрофой». И правда, я сам чувствую, что со мной что-то случилось. Я должен

искать бодрости в развлечениях, но подчас это вовсе нелегко. Действительно, мне самое время отдохнуть!»

В сентябре, в разгар работы над корректурами, Бальзак отправляется в Висбаден, к госпоже Ганской, набраться новых сил. Только что он создал свои шедевры. Ибо эти романы — «Кузен Понс» и «Кузина Бетта», которые развились из первоначального плана «Бедных родственников», — являются величайшими его творениями.

Достигнув вершины жизни, Бальзак достигает и высочайшей вершины своего искусства. Никогда еще взор его не был так ясен, никогда рука его, рука творца — крепче и беспощадней. Эти удивительные вещи создал отдохнувший Бальзак, а не затравленный и переутомленный борзописец. Из них исчез тот фальшивый идеализм и слащавая романтика, благодаря которым многие его более ранние вещи кажутся нам сейчас неправдоподобными и которые поэтому уже не производят на нас впечатления. В этих последних томах — горечь многоопытности, истинное познание мира. Их написал человек, которого уже ничто не ослепляет и которому ничто уже не льстит: ни показной успех, ни роскошь, ни щегольство. И если в «Отце Горио», в «Утраченных иллюзиях» еще слышался отзвук разочарований короля Лира, то в этих заключительных романах сконцентрирована пронзительная сила Кориолана. Бальзак всегда особенно величествен, когда он стоит над своим временем, когда он не простирается ниц перед своей эпохой и создает вещи, имеющие абсолютное значение. Действие «Кузины Бетты» и «Кузена Понса» лишь случайно разыгрывается в Париже и лишь случайно в первой половине девятнадцатого столетия. Его можно было бы перенести в Англию, в Германию, во Францию и в Америку наших дней, в любую страну, в любое время, ибо здесь описаны страсти первозданные.

К галерее бальзаковских мономанов прибавились теперь эротоман барон Юло и коллекционер Понс. И что это за фигуры! После Торпиль из «Блеска и нищеты куртизанок», после падшей девушки, вылощенной применительно к па-

рижскому вкусу, стилизованной под «Даму с камелиями», Бальзак вдруг дает настоящую прирожденную шлюху, мадам Марнеффе — мещанку, которая продается всем и каждому. А рядом с ней стоит несравненная кузина Бетта — Лиретта, выросшая в существо демоническое, старая дева, которая не знает наслаждений и, страстно завидуя, сводничает с каким-то злобным и тайным восторгом. И вдобавок трагедия «бедных родственников» — кузена Понса, которого терпят, пока на нем еще есть некий лоск. Здесь и непреодолимая сила алчности привратницы Сибо; здесь все коварства, все негодаяйства, которые таят в себе деньги и которых не видят простодушные и доверчивые. Здесь выражено в драматических контрастах то, что Вотрен в своих воплощениях выражал, быть может, чересчур патетически. В этих последних своих романах Бальзак достиг реализма и правдивости чувств, такого проникновения в страсти, которых французская литература не превзошла и поныне.

Вряд ли найдется художник, который простился бы со своим искусством прекрасней, чем это сделал Бальзак в поздних своих вещах. По ним, по этим произведениям, мы можем судить о том, чем могла бы стать «Человеческая комедия», если бы творцу ее было суждено прожить еще десять или хотя бы только пять лет и отдать их полноценному труду.

В «Крестьянах» он раскрыл бы глубочайшее противоречие между городом и деревней. Он нарисовал бы подлинного крестьянина (так же как нарисовал подлинный Париж), а не слащавый пейзаж с «естественными» людьми в духе Жан-Жака Руссо. В «Битве» и в других романах из военной жизни Бальзак изобразил бы войну, войну, какой она была в действительности, без той лирической оболочки, в которую он некогда облек ее в «Сельском враче», воспевая Наполеона. Уже в «Темном деле» Бальзак показал, сколь далеко он ушел от восприятия истории как цепи легенд к реалистическому ее изображению. Он воскресил бы театральный мир, пору ран-

него детства, быт в пансионах для юношей и девиц. Он показал бы ученых, дипломатов, махинации парламентариев, вандейский мятеж, французов в Египте, англичан в Испании и колониальные войны в Алжире. Просто вообразить невозможно, что еще мог создать человек, который за десять недель из ничего, словно мановением волшебного жезла, создал «Кузину Бетту» и «Кузена Понса». Даже в театре, где, следуя дурным примерам, он всегда увязал в мелодраме, и там он уже начал освобождаться от ее влияния. Комедия «Делец», названная потом «Меркаде», комедия, в которой должник торжествует над своими кредиторами, — первое оригинальное произведение Бальзака в области драматургии. И, поставленная на сцене после его смерти, эта пьеса, единственная из всех его пьес, принесла ему настоящий театральный успех. Никогда еще он не был так во всеоружии своих творческих сил. Мы чувствуем, что только теперь, и в романе и в драме, он вышел на настоящую дорогу; что только теперь он понял, что ему нужно делать, в чем сущность его задачи.

Но и тело и душа его уже изнемогли окончательно. Едва завершив обе эти вещи, Бальзак бросает все свои дела. Он хочет отдохнуть, отдохнуть основательно. Он хочет уехать, уехать как можно дальше и отнюдь не на короткое время. Он чувствует, что этой своей последней великой работой заслужил себе право на отдых. И Бальзак покидает Францию и едет на Украину, в Верховню, к госпоже Ганской.

XXIV. БАЛЬЗАК НА УКРАИНЕ

Осенью 1846 года на какой-то миг могло показаться, что жизнь Бальзака должна войти наконец в колею, что Бальзак обретет наконец покой. Отговорка, которую вновь и вновь выдвигала госпожа Ганская — она должна выдать замуж любимую дочь, прежде чем думать о собственном браке, — отпадает. 13 октября 1846 года в Висбадене граф Мнишек

сочетается браком с графиней Анной. Бальзак присутствует при церемонии и снова преисполнен упований. Он тщательно собрал все необходимые ему документы под тем предлогом, что они нужны ему для представления к ордену Почетного легиона. Он решительно все приготовил для того, чтобы в Меце, где их почти никто не знает, тайно обвенчаться с госпожой Ганской. Бальзак немного знаком с тамошним мэром, и мэр поддерживает этот проект. Гражданская регистрация брака — ибо только она и действительна во Франции — будет произведена в мэрии, ночью, при полнейшем соблюдении инкогнито. Свидетели — сын его друга и врача Наккара и еще один приятель — должны прибыть из Парижа. Госпожа Ганская вплоть до решительного дня будет находиться на немецкой территории, в Саарбрюккене, и прибудет в Мец только вечером. А церковный брак состоится затем в Германии. Епископ мецкий и священник из Пасси дадут свое разрешение, и возлюбленных обвенчают в Висбадене. Подобные романтически сложные приготовления нужны для того, чтобы слухи об этом браке не дошли до России. Бальзак настаивает:

«Я жду немедленного твоего ответа. И говорю тебе, что нет такого часа, когда бы я не жил в тебе. И это теперь вдвойне правда».

Ибо известные обстоятельства делают поспешное вступление в брак необходимым. Сомнения нет. Упоительные недели, проведенные в Италии, не остались без последствий. Госпожа Ганская, несмотря на то, что ей уже сорок пять лет, ждет ребенка. И Бальзак, как всегда, со свойственным ему оптимизмом заранее уверен, что у них непременно будет сын. Он даже уже приготовил для него имя: Виктор Оноре.

Но госпожа Ганская и теперь не может решиться. Она не хочет разлучаться с дочерью. Вместо того чтобы выйти замуж, она предпочитает сопровождать в свадебном путешествии свою дочь. И Бальзак вынужден снова спрятать в дорожный портфель все свои старательно заготовленные бумаги,

отказаться от хитросплетенного плана и несолоно хлебавши вернуться в Париж, к корректурам «Бедных родственников». Можно как угодно отвечать на спорный вопрос — любила ли госпожа Ганская Бальзака. Во всяком случае, ясно одно: каждый раз, когда ей нужно было выбирать между дочерью и Бальзаком, она выбирала дочь. Ни замужество графини Анны, ни впоследствии собственный ее брак не смогли нарушить исключительной близости между матерью и дочерью. Зато к своим возлюбленным и мужьям обе эти женщины относились несколько свысока и пренебрежительно.

В феврале следующего года Бальзаку приходится спешно отправиться в Форбах за госпожой Ганской, которая решила приехать в Париж. Так это и продолжается без конца. Когда она уезжает, он должен ее сопровождать; когда она собирается приехать, он обязан ее встретить. Навсегда взял он на себя роль покорного «мужика», слуги. Писатель, труд которого бесконечно важен для всего человечества, который бесконечно дорожит каждым днем, должен смиренно ожидать, пока она подаст ему знак. И тотчас же он забрасывает все свои дела, летит в Женеву, в Неаполь, в Невшатель, в Вену, в Форбах. Он скачет день и ночь, чтобы засвидетельствовать ей свое низжайшее почтение.

Второе пребывание госпожи Ганской в Париже окутано непроницаемой тайной. Вероятно, они вместе строят планы устройства нового дома. У них рождается ребенок. Очевидно, он родился преждевременно, может быть, сразу же умер. Это была девочка, и Бальзак с наивной отцовской бесцеремонностью пишет, что последнее обстоятельство умерило его скорбь:

«Мне так хотелось Виктора Оноре! Виктор никогда бы не покинул свою мать. Двадцать пять лет он везде был бы рядом с нами. Столько, сколько нам с тобой еще предстоит прожить вместе».

Но и теперь госпожа Ганская медлит сделать решительный шаг. Она непрерывно находит новые отговорки. Ей все

еще нужна отсрочка, и нам кажется, что, чем больше она узнает Бальзака, тем больше боится связать себя с ним окончательно. На этот раз она уверяет, что ей непременно нужно еще раз съездить в Верховню, чтобы привести в порядок свои дела. И Бальзак покорно сопровождает ее в Форбах и снова возвращается в Париж, к письменному столу.

Бальзак, неизменный оптимист, надеялся, что сможет вскоре последовать за ней. Нужно только дописать «Крестьян» — книгу, за которую он уже получил деньги вперед. А второй его долг — пятнадцать тысяч франков — покроет новая пьеса. Это долг старым друзьям — чете Висконти. Но впервые в жизни организм не повинуется ему. И вероятно, открытие это потрясло Бальзака. Чудо «Кузины Бетты» уже больше не повторяется. Врачи предостерегают его. Но и сам он уже не ощущает былой уверенности. Издатели и редакторы тоже начинают смотреть на него с подозрением. Несколько лет назад редактор «Прессы» Жирарден уплатил ему гонорар за роман «Крестьяне». Дважды Жирарден принимался за публикацию романа в своей газете. Он уповал на известную всему Парижу энергию Бальзака, который никогда не подводил ни одного журнала и ни одного издателя. В худшем случае, если уж он никак не мог выполнить взятого на себя обязательства, он заменял одно произведение другим. На этот раз редактор заявляет, что ему нужна вся рукопись целиком, иначе он не может начать ее печатание. И впервые в жизни Бальзак вынужден капитулировать на литературном поле брани. Впервые в жизни приходится ему произнести слова: «Я не могу». Желая скрыть от самого себя свое поражение, он раздобывает — никто не знает где и как — какую-то сумму и возвращает аванс почти целиком. Это выкуп, уплаченный им за освобождение из темницы, где он в поте лица трудился четверть века.

И он бежит, далеко, на самый край света, в Верховню, чтобы забрать оттуда свою невесту и, женившись, вернуться в Париж супругом, миллионером и отныне беззаботно и не-

зависимо жить в своем новом доме. Уже ничто больше не занимает его, ничто, кроме видения грядущего счастья или, вернее, мечты об устройстве своей жизни.

Ради этого дома он даже заключает нечто вроде перемирия со своей матерью, которую, в сущности, ненавидит и о которой упоминает в письмах со все возрастающей горечью. Семидесятилетняя старуха — единственный человек, который знает его намерения, единственная женщина, на жесткие руки и крестьянскую бережливость которой он может положиться. И задачу оберегать его драгоценное имущество он возлагает на нее, так же как в свое время, когда, изнемогая в борьбе с кредиторами, он вынужден был бежать из квартиры на Рю Кассини. Всегда, когда ему необходим действительно надежный человек, он обращается к этой старой женщине. И он дает ей удивительные, напоминающие его новеллы инструкции по части охраны его дома. Так, она должна время от времени стращать слуг, сообщая им, что господина де Бальзака ожидают в ближайшие дни. И повторять это каждую неделю, «чтобы держать людей настороже».

И пусть она заботливо охраняет «домик», в котором хранится столько сокровищ.

«Госпожа Ганская чрезвычайно тревожится за это жилище, в котором собрано такое богатство. Оно является плодом шестилетней моей бережливости. А вдруг там что-нибудь украдут или стряется еще другая беда», — так он пишет сестре.

И затем с удовлетворением сообщает матери:

«Мои слуги не умеют читать и писать. Ты единственная знаешь мой почерк и мою подпись».

В эти минуты ему впервые приходит в голову, что, в сущности, у него нет никого, кроме этой старухи.

А затем он отправляется в далекое путешествие.

Поездка в Верховню во времена Бальзака — затея почти фантастическая. Он может с полным правом сказать: «Я пересек четверть земного шара. Если бы я проехал еще такое же расстояние, то оказался бы по ту сторону Гималаев».

Обыкновенному путешественнику потребовалось бы для такой экспедиции по крайней мере две недели. Бальзак, которого и тут снедает честолюбивая мечта проделать нечто необычайное, летит во весь опор, не останавливаясь. Не проходит и семи дней, как он нежданно-негаданно уже является в дом к своим друзьям, опередив на десять дней собственное письмо, в котором он сообщал им о своем приезде.

Первое впечатление приводит его в экстаз. Бальзак всегда легко вспыхивает, но ничто не может ввергнуть его в состояние такого восторга, как богатство. А Верховня, бесспорно, богата. Только теперь видит он собственными глазами, что его друзья — баре большой руки! Дом с великолепными анфиладами кажется ему дворцом, напоминающим Лувр. Поместье Ганских действительно необыкновенное поместье. Оно почти такой же величины, как целый французский департамент. Бальзака восхищает жирный украинский чернозем, земля, которая родит хлеб, никогда не зная удобрения. Его удивляют дремучие леса, принадлежащие Ганским. Его поражают полчища челяди. И Бальзак-реакционер с удовольствием замечает, что: «Дворовые буквально пресмыкаются, бьют земные поклоны и целуют ноги. Только на востоке знают еще, что такое настоящая покорность. Только там слово «власть» действительно имеет смысл!»

Бальзак видит грандиозное количество серебра и фарфора и всяческих предметов роскоши. Он чувствует, что здесь живут, не ведая забот. И начинает понимать, в каких условиях росли все эти люди — Ржевусские, Мнишеки, предки которых владели землями размером с пол-Франции. Графу Мнишеку и теперь еще принадлежат сорок тысяч «душ», как он именует своих крепостных. Но ему понадобилось бы не сорок, а четыреста тысяч «душ», если бы он захотел действительно обрабатывать свои латифундии. Да, здесь живут столь расточительно, столь широко, как только и могло пригреться Бальзаку. В этом замке он чувствует себя как дома.

Впервые в жизни ему действительно нет нужды думать о деньгах. Все, чего он только может пожелать — комнаты, челядь, лошади, экипажи, книги, — все к его услугам. Сюда не являются докучливые кредиторы, даже письма почти не доходят до него. Но человеку не дано ускользнуть от собственной природы. Думать о деньгах для Бальзака настоятельная потребность. Точно так же как у композитора все чувства и настроения изливаются в музыке, так у Бальзака каждое впечатление находит выражение в подсчетах. Он остается неисправимым коммерсантом. Он еще не добрался до Верховни, он только еще едет через лесные уголья Ганских, но, глядя на деревья, уже не видит их роскошного зеленого наряда, он видит в них только предмет торговли. И снова овладевает им давнишняя мечта разбогатеть сразу, при помощи одной грандиозной сделки. Провал с типографией, со словолитней, с сардинскими серебряными рудниками и с ротшильдовскими акциями Северной железной дороги — ничто не смогло отрезвить Бальзака. Он видит лес — и тотчас же предлагает своему будущему зятю начать торговать лесом.

В это время на русской границе уже строится железная дорога, которая вскоре свяжет Францию с Россией. И Бальзак, нетерпеливый, как всегда, одним лишь взмахом карандаша доставляет деревья своих друзей на французский лесной рынок:

«Франция нуждается сейчас в огромном количестве дуба для железнодорожных шпал, но этого дуба у нас почти нет. Он необходим нам и для строительных целей, и для столярных поделок. Мне известно, что цены на дуб выросли почти вдвое».

И Бальзак начинает высчитывать и подсчитывать. Сперва стоимость перевозки из Брод в Краков. Оттуда в Париж ведет уже железная дорога. Правда, она прерывается. Через Эльбу у Магдебурга и через Рейн возле Кельна железнодорожные мосты еще не построены. Это означает, что дешевые украинские шпалы придется сплавлять плотами:

«Сплавить шестьдесят тысяч этих стволов, — ибо только в таких грандиозных масштабах считает и грезит Бальзак, — дело не шуточное».

Подсчитав все до последней копейки, Бальзак сам уже видит, что каждый из стволов дуба обойдется в десять франков при покупке и в двадцать после перевозки. А ведь нужно еще распилить эти стволы на десятифутовые шпалы. Необходимо привлечь к этому делу байкиров и заинтересовать управление Северной железной дороги. Может быть, в собственных своих интересах она снизит плату за провоз. И если на каждом стволе получить всего по пять франков прибыли, то и тогда, за вычетом всех издержек, остается чetyреста двадцать тысяч франков барыша:

«А над этим, пожалуй, стоит поразмыслить».

Стоит ли упоминать, что и эта последняя коммерческая сделка Бальзака осталась на бумаге.

Бальзака всячески убажуют в эти месяцы, проведенные им в Верховне. Он отправляется с дамами в Киев. В очерке об этой поездке он рассказывает, какими знаками внимания его там осыпали. Некий русский богач каждую неделю ставит за него свечку. Этот оригинал обещал слугам госпожи Ганской щедрые чаевые, если они известят его потихоньку, когда Бальзак возвращается домой, чтобы он мог поглядеть на него. Во дворце Ганской Бальзак обитает в «прелестных апартаментах, состоящих из гостиной, кабинета и спальни. Кабинет украшен розовыми и лепными панелями, там есть камин, роскошные ковры и удобная мебель. В окна вставлены громадные зеркальные стекла, и передо мной на все четыре стороны открывается неоглядная даль».

Бальзак замышляет новые поездки и путешествия, даже в Крым и на Кавказ, и мы можем только пожалеть о том, что они не состоялись. Но он совсем или почти совсем не работает. Все эти последние годы, когда он бывал вместе с госпожой Ганской, он не работал по-настоящему. Для нее, для ее дочери и зятя Бальзак — это лишь «бильбоке», весельчак. А ведь все другие его друзья — супруги Карро, Маргонны тем

и проявляли свое глубочайшее уважение к художнику, что никогда не претендовали на его время и лишь тогда составляли ему общество, когда он сам этого хотел. Там, живя у них, он работал. Но здесь все по-другому. Есть что-то в этих праздных, избалованных женщинах, которые ни разу в жизни пальцем не пошевелили, что нарушает атмосферу настоящего и серьезного труда. И вот внезапно, в январскую стужу, Бальзак отправляется в Париж. Ему приходится проделать весь путь при двадцативосьмиградусном морозе. Наступил срок платежа за злосчастные акции Северной железной дороги. Это обстоятельство и гонит его столь внезапно назад в Париж. А может быть, им опять овладело беспокойство за свой дом. Разумеется, госпожа Ганская не сопровождает его. И даже речи нет больше об обручении и браке. Чем дольше она его знает, тем больше колеблется. Она понимает, что здесь на Украине ей живется удобно, богато и беззаботно. И вероятно, она поняла, что никогда не будет знать покоя в Париже с этим безнадежным расточителем и дельцом. Без долгих размышлений она дает ему уехать одному. Он немного прихворнул. И, прощаясь, она набрасывает ему на плечи теплую русскую шубу.

Когда бы ни возвращался Бальзак из долгого путешествия, еще прежде чем он успевал переступить порог дома, его у самой двери подстерегали катастрофы, в которых обычно он был сам повинен. На этот раз, едва только он ступает на французскую землю, вспыхивает февральская революция 1848 года. Монархия сметена, и, следовательно, для него, убежденного монархиста и даже легитимиста, уже нет никаких шансов сделать политическую карьеру. Правда, 18 марта он публикует в «Конститюсьоннель» заявление, в котором выражает согласие, если это ему предложат, выставить свою кандидатуру в качестве депутата. Но, разумеется, никто всерьез не предлагает ему этого. Только один из парижских клубов, «Всемирное братство», изъявляет готовность включить его в список кандидатов, если он, в свою очередь, выразит готовность изложить свое политическое кредо. Однако

Бальзак отвечает надменным отказом, желающие выдвинуть его своим депутатом должны бы давно уже знать из собрания его сочинений, каковы политические убеждения Бальзака. И характерно, что он, который, действуя в своем творчестве, столь проникательно предвидит все политические сдвиги, как только дело доходит до практики, всегда защищает интересы проигрывающей стороны. Но и, помимо того, разочарование следует за разочарованием. Акции Северной железной дороги упали еще ниже. Вечные надежды на театральные триумфы не оправдались. Давно обещанную Бальзаком пьесу «Петр I и Екатерина» он так и не написал. Вместо нее он привез из России другую — «интимную драму» «Мачеха». Премьера ее состоялась 25 мая в «Театр Историк». Но в эпоху политических бурь интимная драма не производит особого впечатления. Его самую значительную пьесу «Меркаде» единогласно принимает к постановке литературный комитет «Комеди Франсез», но спектакль покамест откладывается. О романах Бальзака в этот период почти ничего не слышно. Кажется, что он всецело отдался на милость театра. Времена литературного честолюбия для него прошли. Ему важен теперь только его дом. В его отсутствие уже многое сделано, но дом все еще не готов. Контраст между роскошью, которая должна распуститься в нем пышным цветом, и бедностью Бальзака невероятен. Он уже ничего больше не в силах выдоить у издателей, утративших к нему доверие. Он не может предложить им никаких новых рукописей, и к тому же он еще сильно задолжал своему последнему издателю Суверену. С журналами у него конфликт. Иногда, должно быть, его охватывает такое чувство, словно его забыли. Но память ненависти яснее памяти любви. Эмиль Жирарден, которому Бальзак вернул аванс за «Крестьян» (весь, за исключением 721 франка 85 сантимов), Эмиль Жирарден появляется у Бальзака, едва узнав о его возвращении, и именно из-за этой незначительной суммы. Спустя две недели Жирарден подает иск, и суд обязывает писателя выплатить долг. Миновали блаженные времена, когда он мог требовать с издателей по

шестьдесят сантимов за строчку. Новеллу «Посвященный» Бальзак вынужден за гроши продать журналу «Мюзе де фамий», чтобы попросту было на что пообедать. Он беднее теперь, чем когда-либо прежде. Все источники иссякли, он слишком долго пребывал в отсутствии. И потом, Бальзак немного стыдится занимать. Ведь ради украшения своей «скромной квартирки» — дворца на Рю Фортюне — он бесмысленно растратил огромные деньги. Там в вестибюле стены обиты золотой парчой, двери покрыты резьбой и инкрустированы слоновой костью. Одна только библиотека, книжный шкаф, украшенный черепахой и весьма уродливый по нынешним нашим понятиям, обходится Бальзаку в пятнадцать тысяч франков. После смерти госпожи Бальзак на аукционе в отеле Друо с трудом отыскался покупатель, заплативший за него пятьсот франков.

Даже лестница должна быть устлана драгоценнейшими коврами. Повсюду расставлены китайские вазы, фарфор, малахитовые чаши — всевозможные подлинные и поддельные атрибуты роскошной жизни. Гордость Бальзака — «Большая галерея»; из-за нее он и выбрал этот дом, этот, в сущности говоря, чрезвычайно неудобный особняк, который можно было продать разве что такому фантазеру. «Большая галерея» — овальная ротонда со стеклянным потолком. Стены ее покрыты белой и золотой росписью; вдоль них расставлены четырнадцать статуй. В шкафах черного дерева красуются всяческие антикварные вещицы, купленные по случаю. Порой это истинные произведения искусства, которые писатель в часы праздных скитаний накупил в Дрездене, Гейдельберге или Неаполе. Здесь есть вещи подлинные и фальшивые, безвкусные и исполненные вкуса. На стенах развешано шестьдесят семь картин, собранных Бальзаком: мнимый Себастьян дель Пьомбо, мнимый пейзаж Гоббемы и портрет, который Бальзак не колеблясь приписывает кисти Дюрера.

Контраст между безумными тратами на украшение этого дворца и бедностью Бальзака, запутавшегося в долгах, неизбежно должен был привести к напряженным отношениям с

родней. Писатель не в силах быть откровенным со своими близкими: он вынужден измышлять все новые доводы, чтобы объяснить, почему госпожа Ганская откладывает их свадьбу. Иногда он заявляет, что писал непосредственно самому царю, испрашивая его соизволения, но получил отказ. По всей вероятности, история эта выдумана Бальзаком. Порой он говорит, что бесконечные тяжбы из-за наследства удерживают госпожу Ганскую в России. Все время он пытается создать у своих родных впечатление, что финансы его невесты расстроены.

Порой он уверяет, что она переписала все свое состояние на дочь и уже не может распоряжаться своими средствами. Однажды он написал даже, что весь ее урожай якобы сгорел на корню. В действительности госпожа Ганская всю жизнь была чрезвычайно богата, но Бальзак всегда старался уменьшить в глазах своей родни несоответствие между их финансовым положением.

Обе семьи чрезвычайно чужды друг другу: с одной стороны, Ржевусские во главе с неумолимой теткой Розалией, которая постоянно отговаривает свою племянницу и характеризует парижского писателя как безнадежного расточителя и непроходимого идиота, как безумца, который скомпрометирует ее и развеет по ветру состояние Ганских. С другой стороны, престарелая госпожа Бальзак и сестра Бальзака Лаура. В невесте сына и брата они видят лишь высокомерную чванливую аристократку, холодную эгоистку, которая унизит его и превратит в своего «лакея», которая, не обращая внимания на его здоровье, гоняет хворого Оноре чуть не по всему свету.

Мать Бальзака, семидесятилетняя старуха, терпеливо несла возложенные на нее обязанности сторожа и надзирателя за перестройкой дворца на улице Фортюне. Ей доверена утомительная и неблагоприятная миссия — препираться и торговаться с поставщиками, отражать натиск кредиторов, присматривать за слугами и вести счета. И все это старуха отважно взвалила на свои плечи и выполняла очень толково.

Но она ясно чувствует, что ее господство в новом доме продлится лишь до тех пор, пока не будет завершена его отделка. Она сознает, что призвана лишь для временной помощи в нужде. Ей совершенно ясно, что для нее в этих великолепных хоромах не отыщется и жалкой каморки, ежели эта польская или русская княгиня и впрямь вознамерится поселиться здесь. Ее выметут из дворца заодно с последней пылинкой. Ей не позволят даже встретить свою невестку на пороге дома, того самого дома, который она так заботливо и так долго охраняла, — и факты подтвердили основательность ее опасений. Госпожа Ганская ни разу не потрудилась, хоть в одном письме, хоть в одной строчке, осведомиться о здоровье матери своего возлюбленного и нареченного, не говоря уже о том, чтобы поблагодарить ее за хлопоты. И понятно, что в душе госпожи Бальзак накопилось немало горечи. Не раз, а десятки раз возникает вопрос: может ли семидесятилетняя старуха поехать omnibusом с улицы Фортюне в Сюренн, к дочери. Позволительна ли ей такая роскошь? Два су составляют для нее существенный расход. Но что касается дворца, где она обитает на правах кастелянши, то здесь счет идет на тысячи и десятки тысяч франков. Там будут жить по-княжески, и в этих княжеских палатах не отыщется местечка для ничтожной мешанки, мадам Бальзак.

Итак, семейство Бальзака скептически относится к этим российским великосветским свойственникам. Родные дивятся, и не вполне обосновательно, почему эта наследница миллионов не подумает о том, чтобы вернуть деньги, которые ее жених взял займы у своей матери, или, по крайней мере, не предоставит ей нотариально оформленной ренты. Вопреки всем клятвам Оноре от глаз семейства не может ускользнуть, что госпожа Ганская колеблется вступить в брак, и родичи небезосновательно подозревают, что в основе этих колебаний лежит высокомерие. С другой стороны, и госпоже Ганской, несомненно, многое мешает отправиться в Париж, где ей непременно придется якшаться с этой ста-

рухой матерью, с сестрой, с шурином и прочими свойственниками, со всем этим мещанским сбродом и даже, может быть, жить с ними бок о бок. Великолепный золоченый дворец приносит Бальзаку одни лишь неприятности. Никогда он не сможет наслаждаться им по-настоящему. Ведь всегда, когда Бальзак хочет вкусить наслаждение, судьба карает его.

Должно быть, все эти месяцы Бальзак надеялся, что теперь, когда дом совершенно готов, госпожа Ганская наконец приедет. Но вновь и вновь становится очевидным, что нежные чувства и стремление к прочным узам испытывает лишь великий писатель, а владелица замка в Верховне не испытывает ни малейшего желания обосноваться в доме на Рю Фортюне. Итак, Бальзаку приходится в конце сентября, еще до зимних холодов, от которых он так страдал на обратном пути в январе, вновь проехать четверть земного шара, чтобы вновь, в который уже раз, попытаться повлечь к алтарю свою строптивую возлюбленную.

Перед отъездом он, впрочем, пробует добиться академического кресла. После смерти Шатобриана и еще одного бессмертного, имя которого теперь уже давно позабыто, освободились два места, и Бальзак решил выставить свою кандидатуру. Согласно парижским обычаям, ему следует нанести визиты тридцати восьми академикам, которые должны поддерживать его. Но у Бальзака уже нет времени. Он должен во что бы то ни стало до наступления зимы вернуться в Россию. И он бросает все на произвол судьбы. Исход событий печален. Правда, с нашей точки зрения, он печальней для Академии, чем для Бальзака. За творца «Человеческой комедии» подано всего два голоса. Герцог де Ноайль и еще один деятель, чьих бессмертных заслуг мы теперь уже не в силах припомнить, удостоиваются кресел и облачаются во фраки, расшитые пальмами. К чести Бальзака следует сказать, что он и это — третье — отклонение своей кандидатуры встречает с достоинством и спокойствием. Он только просит одного из своих друзей узнать, кто же были те два смельчака, которые реши-

лись поддержать его, дабы он мог выразить им свою благодарность.

В октябре Бальзак снова приезжает в Верховню, но на этот раз восторги в его посланиях заметно поостыли. Верховня уже больше не рай, напротив — она пустыня. «Ах, если бы ты прожила две недели здесь на Украине, то Рю Фортюне показалась бы тебе очаровательной», — пишет он матери. И он непрерывно с каким-то страхом подчеркивает, сколь желанным гостем он здесь является:

«Люди, среди которых я живу, исключительно любезны ко мне. Я избалованный гость и друг в полном смысле этого слова. Здесь знают всех членов моей семьи, проявляют величайший к ним интерес, разделяют все мои заботы. Но что можно сделать против невозможного?»

Так, пользуясь безличной формой, Бальзак никогда не называет госпожу Ганскую. Но все же ей надлежит знать, что там, в Париже, у него есть мать и сестра. Впрочем, между строк или, собственно говоря, просто из текста, явствует, что в Верховне не все благополучно. Здесь кажутся «невозможными» действительно невозможные расходы Бальзака. Госпожа Ганская, и, очевидно, не без оснований, была испугана безумными деньгами, потраченными на дом, в котором она, вероятно, вовсе не собиралась жить. Бальзак пытается сократить свои расходы, и он пишет в Париж:

«Достаточно, если я скажу, что жертвы, которые здесь готовы принести, имеют предел, и не нужно становиться в тягость даже самым близким людям. Эти вечные долги, связанные с домом, произвели неблагоприятное впечатление, и если произойдет еще какая-нибудь история, то, право же, вся моя будущность может оказаться под вопросом».

По-видимому, у них были серьезные размолвки:

«Здесь раздражены тем, что я потратил столь крупную сумму».

Госпожа Ганская должна была вновь убедиться в том, что коммерческие таланты Бальзака нуждаются в строгом контроле. Дом, который, по первоначальным его расчетам, дол-

жен был обойтись в сто тысяч франков, стоит ему теперь, после ремонта, уже триста тысяч. И даже для миллионерши Эвы Ганской это, вероятно, не слишком приятно. Раздражение, царящее в Верховне, оказывается заразительным. Бальзак в раздражении пишет домой, и мать раздраженно ему отвечает. Одно из этих писем попадает в руки госпожи Ганской. Возникают новые размолвки, и Бальзак пытается свалить всю вину на своих близких — лишь они повинны в том, что его свадьба все откладывается. Речь идет уже о том, что госпожа Ганская, вероятно, захочет продать особняк на Рю Фортюне:

«Здесь она богата, любима и уважаема. Она ни в чем не испытывает недостатка. Понятно, что она колеблется, боясь очутиться в такой обстановке, где ее не ждет ничего, кроме беспокойства, долгов, расходов и где вокруг нее будут одни только незнакомые люди. И ее дети трепещут за нее».

Бальзака тоже охватывает страх, и он делает совершенно бессмысленные попытки навести экономию. Внезапно оказывается необходимым рассчитать служанку. Именно ее жалование и харчи становятся для него чрезмерным бременем. Только слугу Франсуа следует оставить. Он незаменимый страж накопленных сокровищ. Бальзак впадает в еще более комичную крайность. Из глубин черноземной Украины он пишет сестре в Сюрени и спрашивает, не сможет ли она, когда он вернется, посылать ему раз в неделю, по понедельникам, свою кухарку. Та будет варить для него и для его слуги говядину впрок, на всю неделю.

И он, который считал уже на миллионы, теперь оперирует скромнейшими числами:

«Мне остается не больше двухсот франков, и скоро я вообще ничего не буду получать, кроме доходов с театральных постановок. И вообще я вижу, что близится день, когда даже мои лучшие вещи не принесут мне уже ни гроша».

Такой упадок духа — новость у Бальзака. Писатель явно подавлен, он уже больше не тот, что прежде. Его жизнестойкости нанесен сокрушительный удар. И организм мстит за

себя. Сигналы бедствия поступали к нему и прежде, но Бальзак никогда не обращал на них достаточного внимания. Однако теперь здоровье его потрясено серьезно. Еще один толчок, и его могучий организм потерпит крушение.

Злосчастное путешествие в Верховную было неразумно. Бальзак, дитя Турени, не привык к российской стуже. Он простужается, у него бронхит. И тут становится ясным, что сердце его, которое верный друг доктор Наккар еще в 1842 году нашел внушающим опасения, теперь в прескверном состоянии. Наконец Бальзак получает возможность оставить постель, но от его былой подвижности не осталось и следа. Он задыхается на каждом шагу; ему трудно даже говорить. Он исхудал, стал худее, чем был в 1819 году. Он пишет, что болезнь «сделала меня ребенком».

О работе и думать нечего.

«За целый год я ничего не заработал».

И кажется символичным, что он вынужден снять свое любимое рабочее платье, свою монашескую рясу:

«Во время моей болезни я носил шлафрок — он надолго заменит мне теперь белоснежное облачение картезианцев». На возвращение в Париж в разгар русской зимы не приходится и рассчитывать. Даже предполагавшуюся поездку в Киев и Москву он вынужден отменить. Два немецких врача, отец и сын Кноте, пользуются его. Они пытаются укрепить его силы — они пичкают его лимонами, совсем как в наши дни. Но все усилия медиков приносят лишь кратковременное облегчение. Здоровье его уже не может восстановиться. Сначала Бальзака мучают глаза, потом его трясет лихорадка, наконец, начинается воспаление легких.

Мы мало что знаем о поведении госпожи Ганской. Но, бесспорно, отношения их в это время испортились. Некогда она восторгалась знаменитым писателем и, польщенная, принимала его обожание. Потом он стал ее «бильбоке», всего только забавным шутником, веселым и неунывающим собеседником, остроумным актером бродячей труппы «Сальтембанк». Теперь он всем им попросту в тягость. И мать и дочка,

изголодавшиеся по развлечениям, с нетерпением ждали большой киевской ярмарки. В Киеве уже была снята квартира; экипажи, слуги и мебель были уже туда посланы, уже была куплена тьма туалетов. И вот из-за болезни Бальзака, а может быть, из-за распутицы, им приходится вновь и вновь откладывать свою поездку.

И единственное развлечение Бальзака, лежащего с воспалением легких, заключается в том, что обе дамы демонстрируют ему новые туалеты, в которых они собираются развлекаться.

В письмах к близким Бальзак, конечно, по-прежнему восторгается своей Эвой, этим неземным созданием, и ее в действительности чрезвычайно недалекой и пустой дочерью. Но вокруг него, очевидно, возникла ледяная пустыня одиночества. Он, конечно, чувствовал себя совсем чужим в обществе этих избалованных женщин, помышляющих только о своих удовольствиях. Ибо внезапно он вновь вспоминает своих старых друзей. Много лет госпожа Ганская вытесняла их. Он уже почти не писал Зюльме Карро, самой верной и самой чуткой своей приятельнице. Теперь он снова вспоминает о ней, вспоминает, как она заботилась о нем, и он представляет себе, как бы она ухаживала за ним в нынешнем его состоянии.

Правда, он так долго уже не вспоминал о ней, что привычное обращение «дорогая» или «милая» не сходит у него с пера. «Моя милейшая и добрейшая мадам Зюльма» — так начинает он. И кажется, дело идет о знакомой, от которой ты уже немного отвык. Но вскоре он снова обретает прежний доверительный тон, и слова его проникаются грустью:

«Мои племянницы и сестра уже дважды сообщали мне весьма огорчительные вести о вас, и если я не писал вам, то просто потому, что это было не в моих силах. Я был на волосок от смерти... Это ужасная болезнь сердца, развившаяся в результате перенапряжения, длившегося пятнадцать лет. И вот я живу здесь уже восемь месяцев под надзором

врача, который, что весьма поразительно для украинской глуши, оказался превосходным врачом и служит в усадьбе друзей, у которых я живу. Лечение пришлось прекратить из-за ужасной лихорадки, которую называют «молдавской». Лихорадка эта водится в придунайских плавнях, распространяется до Одессы, а оттуда приходит в здешние степи. Я страдал лихорадкой, которая называется перемежающейся, — она поражает мозг. Болезнь продолжалась два месяца. Только неделя, как я оправился настолько, что можно опять продолжать лечение моей застарелой болезни сердца. А позавчера я получил от моих племянниц письмо и прочел, что вы, милая Зюльма, хотя и продаете свой участок в Фрапеле, хотите сохранить там свой дом.

Эти слова: Фрапель и мадам Карро, разом оживили все мои воспоминания. И хотя мне запрещено малейшее усилие, даже писание писем, мне хочется все-таки вам объяснить, почему и отчего я не писал с прошлого февраля, кроме нескольких деловых писем. Я должен вам сказать, не думайте, будто можно забыть истинных друзей, и вы должны знать, что я никогда не переставал думать о вас, любить вас и говорить о вас. Ведь даже здешние мои друзья еще в 1833 году познакомились с нашим общим другом Борже!..

Мы совсем по-иному смотрим на жизнь с высоты своих пятидесяти лет! И как часто оказываемся мы далеки от того, на что некогда уповали. Вспоминаете ли вы еще Фрапель, и как я усыпил там мадам Дегре? Полагаю, что с тех пор я усыпил многих людей. Но какое множество иллюзий вышвырнул я с тех пор за борт! И поверьте мне, если не считать симпатии к вам, которая все растет, я с тех пор и донныне не слишком-то продвинулся. Как быстро умножаются наши несчастья и как много препятствий стоит на пути нашего счастья! В самом деле, начинаешь испытывать отвращение к жизни. Уже три года я вью себе гнездо: оно, будь оно неладно, стоило мне целого состояния. Но где ж птички? Когда они прилетят? Годы проходят, мы старимся, и все увядает и блекнет, даже драпировки и обивка в моем гнезде. Вы видите, моя

милая, что не все усеяно розами, даже для тех, кого якобы балует судьба...»

Он пишет и мадам Деланнуа, которая так часто помогала запутавшемуся должнику и которую он ни разу еще, в сущности, не отблагодарил. Он не в состоянии заплатить свои долги, но он, видимо, испытывает бессознательную потребность, пока еще есть время, вернуть долг благодарности и любви. Быть может, Бальзак в глубине души уже знает, что дни его сочтены.

XXV. ВЕНЧАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Вероятно, Бальзак и сам догадывается о своем положении, но врачи совершенно точно знают, что он обречен, и следует предположить, что они откровенно высказали свое мнение госпоже Ганской. И теперь, когда она уверена, что ее замужество будет лишь кратким эпизодом, она решается исполнить последнее, самое заветное желание человека, который столько лет добивался ее руки.

Она знает, что с этим шагом больше не связана никакая опасность: Бальзак уже не сможет слишком много промотать. «Милый Бальзак» стал «бедным Бальзаком», и ее охватывает сострадание, точь-в-точь как знатных дам, когда они узнают, что их преданный дряхлый слуга находится при смерти. И поэтому в марте 1850 года, наконец, назначается срок венчания. Оно должно произойти в Бердичеве, в ближайшем уездном городе. А затем весной молодожены отправятся в Париж, в дом, который обставлен и украшен.

Ничто не дает такого ясного представления о нетерпении, охватившем фантазера Бальзака, как подробные распоряжения об устройстве встречи, которые он шлет издали.

Самый исчерпывающе точный наказ посылается матери:

«В большой китайской чаше, что стоит на коричневом шкафу в первой комнате верхнего этажа, рядом с гостиной, ты найдешь адрес торговца цветами на Елисейских полях. Он

посетил меня еще в 1848 году, и мы договорились о том, что в течение двух недель он будет поставлять цветы для украшения дома. Он сообщил мне, сколько стоит поставка цветов на год. Это должно стоить от шестисот до семисот франков. Но так как я должен был уехать, я отказался от этого расхода, который можно позволить себе только, если есть достаточно денег и если та, ради которой это делается, на это согласна. Она любит цветы, я знаю. Если цветочник уже начал декорировать дом, то у тебя есть повод договориться с ним и о дальнейшем по сходной цене. Позаботься, чтобы он принес действительно красивые цветы, и требуй с него как можно строже. Вот как нужно украсить дом: во-первых, подставка для цветов в первой комнате, во-вторых, в японском салоне, в-третьих, две жардиньерки в комнате под куполом, в-четвертых, маленькие цветочные ящики из африканского дерева на камине, в серой комнате под куполом, в-пятых, две большие цветочные вазы на площадке лестницы в вестибюле и, в-шестых, маленькие деревянные цветочные ящики, которые стоят на подставках, собранных Феше».

Так он делает распоряжения, еще не женившись, за много недель до того, как он сможет въехать в новый дом. Мы видим, как чудесно еще работает фантазия больного, до чего ясна его память, он помнит все, вплоть до малейших деталей обстановки. Он помнит каждый предмет, он знает, где стоит каждая ваза и каждая жардиньерка. И в помыслах, опережая обряд венчания и долгий обратный путь, он давно уже там, на Рю Фортюне.

14 марта в костеле Святой Варвары, в уездном городе Бердичеве, на Украине, состоится венчание. Таинство совершается в полнейшей тишине, дабы избежать малейшей огласки. Приглашенных нет. В семь утра, в предрассветных сумерках, происходит церемония. Правда, епископ житомирский, присутствия которого ожидали, не прибыл, но Бальзаку льстит, что обряд венчания совершает великосветский ксендз, граф Чарусский. В качестве свидетелей присутствуют только родственники ксендза и граф Мнишек, отныне зять

Бальзака. Сразу же после церемонии они отправляются домой в Верховню и, смертельно усталые, около одиннадцати часов ночи прибывают в усадьбу.

В один из ближайших дней, словно счастье вновь вернуло ему здоровье и силы, Бальзак садится за письменный стол и составляет все в том же высокопарном наполеоновском стиле реляцию о своей последней, о своей величайшей победе. Он пишет своей матери, сестре, своему другу и врачу Наккару, старой подруге своей юности мадам Зюльме Карро, Зюльме, которой он и в этом послании повторяет:

«Когда меня спрашивали о моих прежних дружеских привязанностях, я всегда первой называл вас».

И сообщает ей:

«Итак, три дня назад я женился на единственной женщине, которую любил, люблю больше, чем прежде, и которую буду любить до самой смерти. Мне кажется, что Господь вознаградил меня этим союзом за столько бедствий, столько лет труда, столько трудностей, перенесенных и преодоленных. У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны. Но у меня будет самое сверкающее лето и самая теплая осень. И, быть может, мой счастливый брак пошлет утешение и вам. Он покажет вам, что провидение после долгих страданий, которые оно нам ниспосылает, держит наготове сокровища, чтобы в конце концов наделить ими нас».

Бальзак запечатывает письмо. И у него остается единственное желание — последовать самому за письмом и отправиться, наконец, в обратный путь.

Но жена его не пишет писем. Она и строчки не присоединяет к его посланиям. Даже в эту минуту ему не удалось заставить ее оказать хоть какое-нибудь внимание его близким, и Бальзак вынужден весьма неуклюже передать ее холодные извинения матери:

«Жена моя намеревалась прибавить несколько строк к этому письму, но курьер уже ждет, а она больна и лежит в постели. Руки ее так опухли от ревматизма, что она не в

силах держать перо. В следующем моем письме она выскажет тебе свою преданность».

Бальзак всегда дорого расплачивается за свое счастье. Он не может выехать: дороги все еще непроезжи. И даже если бы новобрачные и могли отправиться в путь, состояние его здоровья делает это невозможным. Слишком рано заказал он цветы для дома на Рю Фортюне. Новые тяжкие недуги терзают больное тело:

«У меня был тяжелый рецидив моей сердечной болезни и воспаления легких. Мы снова сильно отступили, а ведь казалось, будто мы уже делаем успехи... У меня перед глазами темная пелена, которая окутывает все и не может развеяться, и это мешает мне писать... Моя болезнь — это воистину гром среди ясного неба. Сегодня я впервые берусь за перо».

Можно было ожидать, что мадам Эва хоть теперь напишет несколько слов матери больного, чтобы успокоить ее. Но Бальзаку приходится с опаской добавить:

«У моей жены нет и минуты свободной, и, кроме того, руки ее страшно опухли. Всему виной сырость...»

Спустя две недели, 15 апреля, Бальзак снова вынужден собрать всю свою энергию и написать матери:

«Еле разбирая буквы, я нацарапал тебе это письмо. Болезнь глаз не позволяет мне ни читать, ни писать».

Но урожденная Ржевусская все еще не может решиться послать старухе хоть несколько строк. Бальзак вынужден снова придумать неуклюжую отговорку: на этот раз все дело в дочери госпожи Эвы — дочь больна, и мать прикована к ее ложу. Она просит только «передать тебе ее уважение». И он признается матери:

«Мне очень нехорошо, и сердце и легкие никуда не годятся. Я задыхаюсь при каждом движении, и голос мой прерывается».

Наконец новобрачные решаются все-таки отправиться в дорогу. И путешествие это чудовищно. Уже в Бродах, у австрийской границы, Бальзака охватывает чрезвычайная

слабость. У него совершенно нет аппетита, изнурительный пот окончательно обессиливает его. Знакомые, которых они встречают, с трудом узнают его. Из Дрездена он пишет 11 мая 1850 года:

«Нам потребовалось больше месяца, чтобы преодолеть расстояние, на которое обычно требуется шесть дней. Не раз, а сотни раз жизнь наша была в опасности. Часто нам требовалось пятнадцать или шестнадцать человек с воротами, чтобы вытащить нас из трясины, в которую карета наша погружалась до окон. Наконец мы все-таки прибыли сюда, и живые, но мы больны и устали... Эта поездка состарила нас на десять лет. Можешь представить себе, что значит страшиться умереть в объятиях друг друга, да еще когда так любишь».

В Дрезден Бальзак прибывает обессиленный и полуслепой. Он не в силах вскарабкаться по ступенькам и боится, что не доберется до Парижа:

«Мое здоровье в плачевном состоянии. Это ужасающее путешествие усугубило мой недуг».

Бальзак вынужден, хотя зрение у него резко ухудшилось, собственноручно написать письмо, и ему снова приходится брать жену под защиту, боясь, что ее обвинят в недостатке внимания:

«Она очень благодарна за все, что ты говоришь о ней в своих письмах. Но состояние ее пальцев не позволяет ей написать тебе».

Однако сколь ни удивительно, но этот страшный ревматизм, сковывающий ее пальцы, несколько не мешает госпоже Эве обегать всех дрезденских ювелиров и купить за двадцать пять тысяч франков исключительно красивое жемчужное ожерелье. Госпожа Эва, которая за все эти месяцы так и не удосужилась послать хоть строчку матери и сестре Бальзака, оказывается вполне в состоянии четким и уверенным почерком сообщить своей дочери об этом приобретении. В тот самый миг, когда Бальзак, изнуренный и полуслепой, лежит в своем номере, госпожа Эва не думает ни о чем другом,

кроме как об этом жемчужном ожерелье. И разумеется, это свидетельствует о ее бессердечии.

Чрезвычайно характерно, что в этом письме к дочери она пишет о Бальзаке лишь как о «добром, милом друге». Для нее он уже только бремя, которое она решилась взвалить на себя, ибо знает, что все протянется очень недолго.

О том, какие трагедии разыгрывались тогда в Дрездене, мы можем лишь догадываться, читая между строк в ее письмах, а строки эти исполнены равнодушия. Но Бальзаку приходится доиграть свою роль до конца. Он пишет сестре:

«Я рассчитываю на тебя. Пожалуйста, дай понять матери, что она не должна быть на Рю Фортюне, когда я приеду».

Он явно боится встречи этих двух женщин и прибегает к неуклюжей отговорке:

«Мать может почувствовать себя уязвленной в своем достоинстве, если ей придется присутствовать при распаковке наших вещей и помогать нам».

Недоверчивая старуха оказалась права. Все эти месяцы она преданно оберегала бальзаковские сокровища, следила за слугами и торговалась с поставщиками. Она знала, что надменная русская княгиня не пожелает ее видеть в своем доме. Только одно поручение еще дали ей: украсить дом цветами к приезду. А потом старуха должна потихоньку уйти. У дверей будет стоять слуга Франсуа, который введет урожденную Ржевусскую в ее княжеские парижские покои. Все будет залито светом: комнаты и вестибюль. Это будет торжественный въезд. Но матушка Бальзак во избежание лишней трений уже давно и незаметно перебралась к дочери в Сюренн.

Проклятие опять тяготеет над возвращением Бальзака. Ведь за каждое мгновение пригрезившегося ему счастья он должен приносить весьма реальные жертвы. Он всегда не только автор, но и страдающий герой «Утраченных иллюзий». Прибытие в дом на Рю Фортюне в Париже оборачивается сценой, ужасней которой и сам Бальзак не смог бы придумать ни в одном своем романе. Оставшуюся часть пути

супруги проделали по железной дороге. Поезд опоздал. Глубокой ночью в карете прибывают они к подъезду своего дома. Бальзак весь горит от нетерпения: выполнены ли его распоряжения с буквальной точностью?

Он педантичным образом распорядился о каждой мелочи. Он помнит, где должна стоять каждая ваза и каждая жардиньерка, сколько светильников должно гореть и как слуга должен встретить мадам Эвелину, а именно — держа в руках увитый цветами канделябр.

Наконец карета останавливается, Франсуа сдержал слово. Дом сияет сверху донизу. Но никто не стоит у подъезда. Они звонят. Никто не отвечает. Еще и еще раз дергает Бальзак ручку звонка. Сияющий дом безмолвствует. Собираются соседи, все спрашивают друг друга, но никто ничего толком не знает.

Госпожа де Бальзак остается в карете, а Бальзак посылает кучера за слесарем, чтобы взломать дверь. Силой добился он этого брака и силой вламывается в собственный дом.

И следует жуткая сцена: слугу Франсуа находят в одной из комнат. Он сошел с ума. Как раз в это мгновение он утратил рассудок, и еще среди ночи его отправляют в госпиталь.

И в то время как буйствующего Франсуа связывают и увозят, Бальзак вводит уроденную Ржевусскую в свой дом, о котором он так пылко мечтал.

XXVI. КОНЕЦ

Так до конца сбывается судьба Бальзака: грезы свои он всегда воплощает только в книгах, никогда в собственной жизни. С невыразимым трудом, с отчаянными жертвами, с самыми пылкими упованиями воздвиг он этот дом, чтобы поселиться здесь со своей завоеванной наконец женой и прожить в нем целых «двадцать пять лет». А в действительности он въезжает сюда только затем, чтобы умереть. Он обставил

свой кабинет точно так, как желал. Ведь он собирался закончить в нем «Человеческую комедию». Перед ним лежат планы более пятидесяти новых работ. Но в этом кабинете он уже не напишет ни строчки. Он уже почти ничего не видит. И нас потрясает единственное дошедшее до нас письмо, которое он послал, вернувшись в дом на Рю Фортюне. Письмо адресовано другу — Теофилю Готье — и написано рукой госпожи Эвы. Только одна строчка — постскриптум — с трудом нацарапана рукою Бальзака:

«Я не могу уже ни читать, ни писать».

Он обставил библиотеку самыми дорогими инкрустированными шкафами. Но не может уже раскрыть ни одной книги.

Его гостиная обита золотой парчой. Здесь он собирался принимать своих великосветских друзей. Но никто не приходит навестить его. Каждое слово требует от него усилий, и врачи запрещают ему даже разговаривать. Он увешал «Большую галерею» картинами, которые собрал с такой любовью, чтобы поразить ими весь Париж — вот какие несравненные полотна приобрел потихоньку Бальзак! Ему представлялось, как он будет показывать шедевры своим друзьям — писателям и художникам — и объяснять им картину за картиной... Но то, о чем он грезил как о дворце радости, становится для него страшной тюрьмой. Он лежит одинокий в громадном доме. Только иногда, боязливо, как тень, появляется его мать и ухаживает за ним. Ибо жена его — и об этом сообщают все свидетели в один голос — проявляет к нему безразличие и жестокое равнодушие, которые в полной мере обнаружались во время их путешествия и пребывания в Дрездене.

Поведение Эвелины Ганской становится для нас совершенно ясно, когда мы читаем ее письма к дочери. Они полны пустой болтовни о кружевах, драгоценностях и новых нарядах. Ни в одной строке не звучит настоящая скорбь об умирающем.

«Бильбоке» — так когда-то, в беззаботные времена, про-

звали весельчака из «Труппы Сальтембанк». Так она и теперь называет почти ослепшего человека, который, задыхаясь, насилу взбирается по лестнице:

«Бильбоке прибыл сюда в состоянии, которое хуже, гораздо хуже, чем было. Он уже не может ходить и то и дело теряет сознание».

Бальзак — конченный человек, и это знает каждый, кто его видит. И только один-единственный человек не верит в это или не хочет верить — он сам. Бальзак привык смеяться над трудностями и делать невозможное возможным. И сейчас этот небывалый, несокрушимый оптимист не прекращает борьбы. Иногда ему становится чуть лучше, он снова способен говорить. И Бальзак собирает все свои силы и беседует с кем-либо из посетителей, пришедших осведомиться о его здоровье. Он рассуждает о политических вопросах. Он исполнен надежд. Он пытается ввести в заблуждение других, так же как вводит в заблуждение себя. Пусть все думают, что силы его не исчерпаны. И порой, словно в последней вспышке, снова прорывается его неистребимый темперамент. К началу лета сомнений больше не остается. Созывают консилиум в составе четырех врачей — Наккара, Луи, Ру и Фукье, и из их заключения следует, что теперь остается думать только о средствах, заглушающих боль и поддерживающих сердце. Очевидно, врачи считают его уже безнадежным.

Виктор Гюго только в последние годы сблизился с Бальзаком. В эти недели он проявил себя замечательным другом. Придя к Бальзаку, он застаёт его уже без движения. Лицо Бальзака воспалено, лишь глаза еще живут. Бальзак сам испуган своим состоянием. Он сетует на то, что не сможет завершить «Человеческую комедию». Он говорит о том, как распорядиться его произведениями после его смерти. Он требует, чтобы врач, верный доктор Наккар, откровенно сказал, сколько ему еще осталось жить. И по лицу старого друга он видит, как плохи его дела. Правда ли это или только наивная легенда, но рассказывают, что в бреду Бальзак призывал

Ораса Бьяншона, врача, которого в своей «Человеческой комедии» он заставляет творить чудеса:

«Будь Бьяншон здесь, он бы меня спас!»

Но развязка приближается неудержимо. Ни один из его героев не умирал такой ужасной смертью. В своих воспоминаниях Виктор Гюго описал Бальзака на смертном одре:

«Я позвонил. Месяц светил сквозь тучи. Улица была пустынна. Никто не вышел. Я позвонил еще раз. Дверь открыли. Появилась служанка со свечой.

— Что вам угодно, сударь?

Она плакала. Я назвал себя. Меня впустили в гостиную, находившуюся в первом этаже. Здесь на консоли, против камина, стоял огромный мраморный бюст Бальзака работы Давида Анжерского. Горела свеча на богатом, стоявшем посредине гостиной столе, ножками которому служили шесть позолоченных прелестных маленьких изваяний. Вошла еще одна женщина. Тоже заплаканная.

— Он умирает, — сказала она. — Мадам ушла к себе. Доктора еще вчера потеряли надежду. У него рана на левой ноге. Антонов огонь. Доктора не знают, что делать. Они говорят, что у него водянка. Он весь вздулся, мясо и кожа словно просалены, и поэтому невозможно сделать прокол. В прошлом месяце мсье зацепился за резную мебель и поранился... С девяти утра он уже больше не говорит. Мадам посылала за кюре. Он пришел и соборовал мсье. Мсье подал знак. Он понимал, что происходит. Через час он протянул своей сестре, мадам Сюрвилль, руку. С одиннадцати часов он хрипит. Он не переживет ночи. Если хотите, я позову мсье Сюрвилля, он еще не ложился...

Женщина ушла. Я ждал несколько минут. Свеча еле освещала гостиную и висевшие на стенах чудесные картины Порбуса и Гольбейна. Мраморный бюст маячил в полутьме, словно призрак человека, который умирает. По дому распространялся трупный запах. Вошел господин Сюрвилль и подтвердил мне все, что говорила служанка.

Мы прошли коридор, поднялись по лестнице, устланной

красным ковром, тесно уставленной статуями, вазами, увешанной по стене картинами, эмалевыми блюдами. Потом был опять коридор, в нем я увидел открытую дверь. Я услышал громкое, жуткое хрипение. Я вошел в комнату Бальзака. Посреди нее стояла кровать красного дерева с брусьями и ремнями в головах и в ногах — приспособление, чтобы поднимать больного. Голова Бальзака покоилась на груди подушек, к которым прибавили еще и диванные, крытые красным дамасским шелком. Лицо его было лиловое, почти черное, склоненное на правую сторону, небритое. Волосы седые, коротко остриженные. Глаза открытые и неподвижные. Я видел его в профиль, он был похож на Императора. Старушка сиделка и слуга стояли по обеим сторонам постели. Одна свеча горела позади кровати на столе, другая — на комод у двери. На ночном столике стояла серебряная ваза. Мужчина и женщина молчали в каком-то ужасе и прислушивались к громкому хрипению умирающего. Свеча на столе ярко освещала висевший над камином портрет румяного улыбающегося юноши. От постели исходило невыносимое зловоние. Я поднял одеяло и взял руку Бальзака. Она была потная. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие... Сиделка сказала мне: «На рассвете он умрет». Я сошел вниз, унося в памяти его померкнувшее лицо. Проходя через гостиную, я снова увидел бюст, неподвижный, бесстрастный, надменный, озаренный смутным светом, и я невольно сравнил смерть с бессмертием».

Бальзак умер в ночь с 18 на 19 августа 1850 года. Только мать была при нем. Госпожа Бальзак давно заперлась в своих покоях.

21 августа состоялись похороны. Заупокойную мессу отслужили в церкви Святого Филиппа Рульского. Похоронная процессия двигалась под дождем. Жена его, очевидно, совсем не знала его самых заветных желаний: надгробный покров несли Виктор Гюго, Александр Дюма, Сент-Бев и министр Барош.

Кроме Виктора Гюго, никто из этих четверых никогда не

был другом Бальзака. Сент-Бев был даже его заклятым врагом, единственным человеком, которого Бальзак действительно ненавидел. Тело было предано земле на кладбище Пер-Лашез. Бальзак всегда любил это место.

Отсюда его Растиньяк глядел на Париж, отсюда он вызвал Париж на борьбу. Это его последнее жилище, единственное, где он стал недоступен для кредиторов, и здесь он обрел покой.

Надгробную речь произнес Виктор Гюго. Он один обладал достоинством и величием, которые соответствовали минуте:

«Человек, сошедший в эту могилу, — один из тех, кого провожает скорбь общества. В наше время иллюзий больше нет. Теперь взоры обращены не к тем, кто правит, а к тем, кто мыслит, вот почему, когда один из мыслящих уходит, содрогается вся страна. Смерть человека талантливого — это всеобщий траур, смерть гениального человека — траур все-народный.

Господа, имя Бальзака сольется с блистательным следом, который наша эпоха оставит в веках...

Смерть его повергла Францию в оцепенение. Несколько месяцев тому назад он вернулся домой. Чувствуя, что умирает, он еще раз хотел увидеть родину, как хочет обнять сын свою мать накануне дальнего странствия...

Жизнь его была коротка, но насыщенная; больше наполнена трудами, чем днями.

Увы! Этот могучий и неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений прожил среди нас жизнь, полную гроз, борьбы, схваток, битв, — жизнь, которой во все времена живут все великие люди. Теперь он вкусил мир. Он выше соперничества и вражды. В один и тот же день он вступает в славу и в могилу. Отныне превыше туч, нависших над нашими головами, он будет сиять в созвездии нашего отечества. Вы все, собравшиеся здесь, разве вы не завидуете ему? Но как ни велика наша скорбь перед лицом такой потери, мы не впадем в уныние. Воспримем ее вместе со всем, что есть в ней жестокого и печального. Быть может,

это благо, быть может, в эпохи, подобные нашим, необходимо, чтобы время от времени смерть великого человека вызывала религиозное потрясение в душах, погрязших в сомнении и скепсисе. Провидение знает, что творит, когда оно ставит народ лицом к лицу с величайшей тайной и дает ему поразмыслить о смерти, которая является высшим равенством и в то же время высшей свободой. Только серьезные и торжественно-величавые помыслы должны наполнять души всех, когда высокий ум со славой вступает в другую жизнь, когда тот, кто долго парил над толпой на зримых крыльях гения, внезапно распахивает иные крылья, которые нельзя увидеть, и растворяется в неведомом. Нет, не в неведомом! Я однажды уже сказал об этом при другом печальном событии и не устану повторять никогда: это не мгла — это свет. Это не ничто — это вечность. Это не конец — это начало. Разве это не правда, скажите мне все вы, слушающие меня? Могилы, как эта, являются доказательством бессмертия...»

Таких слов Бальзак никогда не слышал при жизни. И отсюда, с Пер-Лашез, подобно герою своего творения, он покорит этот город.



СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ МАСТЕРА

Предисловие	7
Бальзак. <i>Перевод Г. Зуккау</i>	11
Диккенс. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	44
Достоевский. <i>Перевод П. Бернштейн</i>	75
Созвучие	75
Облик	78
Трагедия его жизни	80
Значение его судьбы	93
Герои Достоевского	107
Реализм и фантастика	124
Зодчество и страсть	141
Переступающий границы	154
«Искание Бога»	164
Vita triumphatrix	177

БАЛЬЗАК. *Перевод А. Голембы*

<i>Книга первая.</i> Юность. Первые шаги	183
I. Трагедия одного детства	183
II. Преждевременные запросы к судьбе	205
III. Фабрика романов «Орас де Сент-Обен и К»	224
IV. Госпожа де Берни	240
V. Коммерческая интермедия	257
VI. Бальзак и Наполеон	278
<i>Книга вторая.</i> Бальзак за работой	301
VII. Тридцатилетний мужчина	301
VIII. Бальзак. Его облик и духовный мир	322
IX. Герцогиня де Кастри	350
X. Бальзак открывает свою тайну	377
<i>Книга третья.</i> Роман жизни	389
XI. Незнакомка	389
XII. Женева	418
XIII. Прощание в Вене	428
<i>Книга четвертая.</i> Блеск и нищета беллетриста Бальзака ..	445
XIV. Катастрофический восемьсот тридцать шестой ..	445

XV. Путешествие в Италию	462
XVI. Год перелома	481
XVII. Сардинские серебряные рудники	491
XVIII. Дела театральные	512
<i>Книга пятая. Создатель «Человеческой комедии»</i>	<i>532</i>
XIX. Борьба за госпожу Ганскую	532
XX. «Человеческая комедия»	548
XXI. Предвестие беды	560
XXII. Бальзак-коллекционер	570
<i>Книга шестая. Завершение и смерть</i>	<i>583</i>
XXIII. Последние шедевры	583
XXIV. Бальзак на Украине	591
XXV. Венчание и возвращение домой	610
XXVI. Конец	616

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Собрание сочинений
в десяти томах

Том четвертый

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
И. Марев

Технический редактор
Г. Шитова

Корректоры
Н. Кузнецова, И. Сахарук

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 26.03.96 г. Уч.-изд. л. 32,3.
Цена 24 900 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.